БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ 6

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Марии

Имя ваше, имя той, чей портрет лучшее украшение этого труда, да будет здесь как бы зеленой веткою благословенного букса, сорванною неведомо где, но, несомненно, освященною религией и обновляемою в неизменной свежести благочестивыми руками во хранение дома.

Де Бальзак.

Бывают в иных провинциальных городах такие дома, что одним уже видом своим наводят грусть, подобную той, какую вызывают монастыри самые мрачные, степи самые серые или развалины самые унылые. В этих домах есть что-то от безмолвия монастыря, от пустынности степей и тления развалин. Жизнь и движение в них до того спокойны, что пришельцу показались бы они необитаемыми, если бы вдруг не встретился он глазами с тусклым и холодным взглядом неподвижного существа, чья полумонашеская физиономия появилась над подоконником при звуке незнакомых шагов. Этими характерными чертами меланхолии отмечен облик жилища, расположенного в верхней части Сомюра, в конце кривой улицы, что поднимается в гору и ведет к замку. На улице этой, ныне малолюдной, летом жарко, зимой холодно, местами темно даже днем; примечательна она звонкостью своей мостовой из мелкого булыжника, постоянно сухой и чистой, узостью извилистого пути, тишиною своих домов, принадлежащих к старому городу, над

которым высятся древние городские укрепления. Трехвековые эти постройки, хотя и деревянные, еще крепки, и разнородный внешний вид их способствует своеобразию, привлекающему к этой части Сомюра внимание любителей старины и людей искусства. Трудно пройти мимо этих домов и не полюбоваться огромными дубовыми брусьями, концы которых, вырезанные причудливыми фигурами, увенчивают черными барельефами нижний этаж большинства этих домов. Перекрестные балки покрыты шифером и вырисовываются синеватыми полосами на ветхих стенах здания, завершенного деревянной островерхой крышей, осевшей от времени, с гнилым гонтом, покоробленным от переменного действия дождя и солнца. Кое-где виднеются подоконники, затертые, потемневшие, с едва заметной тонкой резьбой, и кажется, что им не выдержать тяжести темного глиняного горшка с кустиками гвоздик или роз, выращенных какой-нибудь бедной труженицей. Далее бросится в глаза узор из огромных шляпок гвоздей, вбитых в ворота, на которых гений предков наших начертал семейные иероглифы, смысл коих никому не разгадать. Не то протестант изложил здесь свое исповедание веры, не то какой-нибудь член Лиги проклял Генриха IV. Некий горожанин вырезал тут геральдические знаки своего именитого гражданства, своего давно забытого славного звания купеческого старшины. Тут вся целиком история Франции. Бок о бок с шатким домом, стены которого покрыты грубой штукатуркой, увековечившей труд ремесленника, возвышается особняк дворянина, где на самой середине каменного свода ворот еще видны следы герба, разбитого революциями, потрясавшими страну с 1789 года. На этой улице нижние этажи купеческих домов заняты не лавками и не складами; почитатели средневековья могут здесь найти неприкосновенным лабаз наших отцов во всей его откровенной простоте. Эти низкие просторные помещения без витрин, без нарядных выставок, без расписных стекол лишены всяких украшений, внутренних и наружных. Тяжелая входная дверь грубо обита железом и состоит из двух частей: верхняя откидывается внутрь, образуя окошко, а нижняя, с колокольчиком на пружине, то и дело отворяется и затворяется. Воздух и свет проникают в это подобие сырой пещеры или через фрамугу, выре-

занную над дверью, или через проем меж сводом и низенькой, в высоту прилавка, стенкой,— там в пазах укрепляются крепкие внутренние ставни, которые по утрам снимают, а по вечерам ставят на место и задвигают железными засовами. На этой стенке раскладываются товары. И здесь уж не пускают пыль в глаза. Смотря по роду торговли, образцы состоят из двух или трех кадок, доверху наполненных солью и треской, из нескольких тюков парусного полотна, из канатов, из медной посуды, подвешенной к потолочным балкам, из обручей, поставленных вдоль стен, из нескольких штук сукна на полках. Войдите. Опрятная молоденькая девушка, пышущая здоровьем, в белоснежной косынке, с красными руками, оставляет вязанье, зовет мать или отца. Кто-нибудь из них выходит и продает что́ вам требуется,— на два су или на двадцать тысяч товару, держась при этом равнодушно, любезно или высокомерно, смотря по характеру. Вы увидите — торговец дубовыми досками сидит у своих дверей и перебирает большими пальцами, разговаривая с соседом, и по виду у него только и есть, что неказистые доски для бочонков да два-три пучка дранок; а на пристани его лесной двор снабжает всех анжуйских бочаров; он высчитал до единой дощечки, сколько бочек он *осилит*, ежели сбор винограда будет хорош: солнце — и он богач, дождливая погода — он разорен; в одно и то же утро винные бочки стоят одиннадцать франков или падают до шести ливров. В этом краю, как и в Турени, превратности погоды властвуют над торговой жизнью. Виноградари, землевладельцы, лесоторговцы, бочары, трактирщики, судовщики — все подстерегают солнечный луч; ложась вечером спать, они дрожат, как бы утром не узнать, что ночью морозило; они опасаются дождя, ветра, засухи и хотят влаги, тепла, облаков — что кому на руку. Происходит непрерывный поединок между небом и земной корыстью. Барометр попеременно опечаливает, просветляет, озаряет весельем физиономии. Из конца в конец этой улицы, древней Большой улицы Сомюра, слова «Золотой денек!» — перелетают от крыльца к крыльцу. И каждый отвечает соседу: «Луидоры с неба льются»,— понимая, что́ несет ему луч солнца или дождь, подоспевший вовремя. В летнюю пору по субботам уже с полудня не купить ни на грош

товару у этих честных купцов. У каждого свой виноградник, свой хуторок, и всякий дня на два отправляется за город. Тут, когда все рассчитано — покупка, продажа, прибыль,—у торговцев остается десять часов из двенадцати на пикники, на всяческие пересуды, непрестанные подглядывания друг за другом. Хозяйке нельзя купить куропатку без того, чтобы соседи потом не спросили мужа, удачно ли птица зажарилась. Девушке нельзя высунуть голову из окна, чтобы со всех сторон не увидели ее кучки праздных людей. Здесь ведь и душевная жизнь каждого у всех на виду точно так же, как и все события, происходящие в этих непроницаемых, мрачных и безмолвных домах. Жизнь обывателей почти вся проходит на вольном воздухе. Каждая семья усаживается у своего крыльца, тут и завтракает, и обедает, и ссорится. Всякого, кто пройдет по улице, оглядывают с головы до ног. А встарь стоило только чужаку появиться в провинциальном городе, его начинали высмеивать у каждой двери. Отсюда — забавные рассказы, отсюда — прозвище *пересмешники*, данное обывателям Анжера, которые особенно отличались в этих пересудах.

Древние особняки старого города расположены в верхней части улицы, некогда населенной местными дворянами. Угрюмый дом, где протекали события, описанные в этой истории, был как раз одним из таких обиталищ, почтенным осколком былого века, когда вещи и люди отличались той простотою, которую французские нравы утрачивают с каждым днем. Пройдя по этой живописной улице, где каждая извилина пробуждает воспоминания о старине, а общее впечатление навевает невольную унылую задумчивость, вы замечаете довольно темный свод, в середине которого сокрыта дверь дома *господина Гранде*. Невозможно понять все значение этого словосочетания, не зная биографии г-на Гранде.

Господин Гранде пользовался в Сомюре особой репутацией, и она не вполне будет понята теми, кто не жил хоть короткое время в провинции. Г-н Гранде, все еще именуемый некоторыми «папаша Гранде», хотя число таких стариков заметно уменьшалось, был в 1789 году простым бочаром, но с большим достатком, умел читать, писать и считать. Когда французская республика

пустила в продажу в Сомюрском округе земли духовенства, бочар Гранде, которому было тогда сорок лет, только что женился на дочери богатого торговца лесными материалами. Имея на руках свои собственные наличные средства и приданое жены, а всего две тысячи луидоров, Гранде отправился в главный город округа, где благодаря взятке в двести дублонов, предложенной его тестем суровому республиканцу, заведовавшему продажей национальных имуществ, он за бесценок приобрел, если и не вполне законно, то законным порядком, лучшие в округе виноградники, старое аббатство и несколько ферм. Сомюрские обыватели были мало революционны, и папашу Гранде сочли за смелого человека, республиканца, патриота, за умную голову, приверженную новым идеям, тогда как бочар был просто привержен к виноградникам. Он был избран членом административного управления Сомюрского округа, а там его миролюбивое влияние сказалось как в политическом, так и в коммерческом отношении. В политике он покровительствовал бывшим людям и всеми силами противился продаже имений эмигрантов; в коммерции — он снабдил республиканские армии тысячью или двумя тысячами бочек белого вина и сумел добиться, чтобы ему заплатили за них великолепными лугами из владений одного женского монастыря, оставленных для продажи в последнюю очередь. При Консульстве добряк Гранде сделался мэром, управлял хорошо, а собирал виноград и того лучше; во время Империи он уже стал *господином* Гранде. Наполеон не любил республиканцев; г-на Гранде, который слыл за человека, щеголявшего в красном колпаке, он заменил крупным землевладельцем, носившим фамилию с частицей «де», будущим бароном Империи. Г-н Гранде расстался с муниципальным почетом без малейшего сожаления. Он уже успел проложить «на пользу города» превосходные дороги, которые вели к его собственным владениям. Дом и имения Гранде, очень выгодно для него оцененные по поземельной росписи, облагались налогами умеренными. Виноградники его благодаря непрестанным заботам хозяина стали «головкой края» — техническое выражение, обозначающее виноградники, которые дают вино высшего качества. Он мог бы испросить себе крест Почетного легиона. Это и произошло в 1806 году.

Г-ну Гранде было в то время пятьдесят семь лет, а жене его — около тридцати шести. Единственная их дочь, плод законной любви, была тогда в возрасте десяти лет. Г-н Гранде, которого, несомненно, провидение пожелало вознаградить за его служебную опалу, в этом году получил одно за другим три наследства: от г-жи де ла Годиньер, урожденной де ла Бертельер, матери г-жи Гранде; затем — от старика де ла Бертельер, отца покойной тещи; и еще от г-жи Жантийе, бабушки с материнской стороны,— три наследства, размеры которых никому не были известны. Скупость этих трех стариков превратилась в такую сильную страсть, что уже с давних пор они держали свои деньги в сундуках, чтобы тайком любоваться ими. Старик де ла Бертельер всякое помещение денег в оборот называл мотовством, находя больше радости в созерцании золота, нежели в доходах от ростовщичества. Город Сомюр предположительно определял накопления г-на Гранде по его недвижимости. В ту пору Гранде приобрел тот высокий титул, который наше безумное пристрастие к равенству никогда не уничтожит: он стал первостепенным налогоплательщиком округа. У него было сто арпанов виноградника, который в урожайные годы давал ему от семисот до восьмисот бочек вина. Ему принадлежали также тринадцать ферм, старое аббатство, где из бережливости он заштукатурил окна, стрелки сводов и витражи, что их и сохраняло; да еще — сто двадцать семь арпанов лугов, где росли и увеличивались в объеме три тысячи тополей, посаженных в 1793 году. Наконец, и дом, где он жил, был его собственностью. Так определяли размеры его состояния, очевидные для всех. Что до его капиталов, то только два лица могли иметь смутное представление об их величине: одним из этих лиц был нотариус Крюшо, постоянный поверенный г-на Гранде по помещению в рост его капиталов; другим — г-н де Грассен, самый богатый сомюрский банкир, в операциях и барышах которого винодел имел долю по тайному соглашению. Хотя старик Крюшо и г-н де Грассен умели хранить тайну,— это в провинции вызывает доверие и выгодно отражается на делах,— однако оба они весьма откровенно оказывали г-ну Гранде столь великое уважение, что наблюдательные люди могли догадаться о внушительных размерах капиталов быв-

шего мэра по угодливому заискиванию, предметом которого он являлся. В Сомюре все были уверены, что у г-на Гранде припрятан целый клад, что у него есть тайник, полный луидоров, и там он по ночам доставляет себе несказанное наслаждение, созерцая груду накопленного золота. Скупцы чувствовали какую-то уверенность в этом, поглядев в глаза старику Гранде, которым желтый металл как будто передал свои краски. Взгляд человека, привыкшего извлекать из своих капиталов огромные барыши, как и взгляд сластолюбца, игрока или царедворца, неизбежно приобретает некие неопределимые навыки, выражая беглые, жадные, загадочные движения чувств, которые не ускользают от единоверцев. Этот тайный язык образует в некотором роде франкмасонство страстей. Итак, г-н Гранде внушал всем уважение, как человек, который никогда и никому ничего не был должен, как старый бочар и старый винодел, определявший с астрономической точностью, нужно ли для сбора винограда заготовить тысячу бочек или только пятьсот; как человек, который не упускал ни одной спекуляции, имел всегда на продажу бочки, когда бочка стоила дороже, чем само вино, мог спрятать все свое вино нового урожая в подвалы и выжидать случая сбыть бочку за двести франков, когда мелкие виноделы уступают свои за пять золотых. Его знаменитый сбор 1811 года, благоразумно припрятанный, неспешно проданный, принес ему более двухсот сорока тысяч ливров. В коммерции г-н Гранде был похож на тигра и на боа: он умел лечь, свернуться в клубок, долго вглядываться в свою добычу и ринуться на нее; потом он разевал пасть своего кошелька, проглатывал очередную долю экю и спокойно укладывался, как змея, переваривающая пищу; все это проделывал он бесстрастно, холодно, методически. Когда он проходил по улицам, все смотрели на него с чувством почтительного восхищения и страха. Каждый в Сомюре испытал на себе вежливую хватку его стальных когтей: такому-то нотариус Крюшо достал у него денег на покупку имения, но из одиннадцати процентов; этому г-н де Грассен учел вексель, но с ужасающим учетным процентом. Редко выдавались дни, когда имя г-на Гранде не упоминалось либо на рынке, либо вечерами в разговорах обывателей. Для иных богатство старого винодела служило предме-

том патриотической гордости. И не один купец, не один трактирщик говаривал приезжим с некоторой хвастливостью:

— Есть, сударь, тут у нас два или три торговых предприятия миллионных. А уж что до господина Гранде, так он и сам своим деньгам счету не знает.

В 1816 году наиболее искусные счетчики Сомюра оценивали земельные владения старика Гранде почти в четыре миллиона; но так как, по среднему расчету, он за время с 1793 по 1817 год должен был выручать со своих владений по сто тысяч франков ежегодно, то можно было предполагать, что наличными деньгами у него была сумма, почти равная стоимости его недвижимого имущества. И когда после партии в бостон или какой-нибудь беседы о виноградниках заходила речь о г-не Гранде, люди сообразительные говорили:

— Папаша Гранде?.. У папаши Гранде верных шесть-семь миллионов.

— Вы ловчее меня. Мне так и не удалось узнать общей суммы,— отвечали г-н Крюшо или г-н де Грассен, если слышали такой разговор.

Когда заезжий парижанин говорил о Ротшильдах или о г-не Лафите, сомюрцы спрашивали, так же ли они богаты, как г-н Гранде. Если парижанин с пренебрежительной улыбкой бросал положительный ответ, они переглядывались и недоверчиво покачивали головами. Такое огромное состояние накидывало золотое покрывало на все поступки этого человека. Прежде некоторые странности его жизни давали повод к насмешкам и шуткам, но теперь и насмешки и шутки иссякли. Что бы ни делал г-н Гранде, авторитет его был непререкаем. Его речь, одежда, жесты, мигание его глаз были законом для всей округи, где всякий, предварительно изучив его, как натуралист изучает действия инстинкта у животных, мог познать всю глубокую и безмолвную мудрость его ничтожнейших движений.

— Суровая будет зима,— говорили люди,— папаша Гранде надел меховые перчатки. Нужно убирать виноград.

— Папаша Гранде берет много бочарных досок,— быть в этом году вину.

Г-н Гранде никогда не покупал ни мяса, ни хлеба.

Его фермеры-испольщики привозили ему каждую неделю достаточный запас каплунов, цыплят, яиц, масла и пшеницы. У него была мельница; арендатор обязан был, помимо договорной платы, приезжать за определенным количеством зерна, смолоть его и привезти муку и отруби. Нанета-громадина, его единственная прислуга, хотя была уже не молода, каждую субботу сама пекла хлеб для семьи. Г-н Гранде уговорился со своими съемщиками-огородниками, чтобы они снабжали его овощами. А что касается фруктов, то он собирал их так много, что значительную часть отправлял продавать на рынок. На дрова он рубил сухостой в своих живых изгородях или пользовался старыми, полусгнившими пнями, корчуя их по краям своих полей; его фермеры безвозмездно привозили ему в город дрова уже распиленными, из любезности складывали их в сарай и получали словесную благодарность. Расходовал он деньги, как то известно было всем, только на освященный хлеб, на одежду жене и дочери и на оплату их стульев в церкви, на освещение, на жалованье Нанете, на лужение кастрюль, на налоги, на ремонт построек и издержки по своим предприятиям. У него было шестьсот арпанов лесу, недавно купленного; надзор за ним Гранде поручил соседскому сторожу, пообещав ему за это вознаграждение. Только после приобретения лесных угодий к столу у него стали подавать дичь. В обращении он был чрезвычайно прост, говорил мало и обычно выражал свои мысли короткими поучительными фразами, произнося их вкрадчивым голосом. Со времени революции, когда Гранде привлек к себе внимание, он стал утомительнейшим образом заикаться, как только ему приходилось долго говорить или выдерживать спор. Косноязычие, несвязность речи, поток слов, в котором он топил свою мысль, явный недостаток логики, приписываемый отсутствию образования,— все это подчеркивалось им и будет в должной мере объяснено некоторыми происшествиями этой истории. Впрочем, четыре фразы, точные, как алгебраические формулы, обычно помогали ему соображать и разрешать всевозможные затруднения в жизни и торговле: «Не знаю. Не могу. Не хочу. Посмотрим». Он никогда не говорил ни да, ни нет и никогда не писал. Если ему что-нибудь говорили, он слушал хладнокровно, поддерживая подбородок правой

рукой и опершись локтем на ладонь левой руки, и о каждом деле составлял себе мнение, которого уже не изменял. Он длительно обдумывал даже самые мелкие сделки. Когда, после хитрого разговора, собеседник, уверенный, что держит его в руках, выдавал ему тайну своих намерений, Гранде отвечал:

— Ничего не могу решить, пока с женой не посоветуюсь.

Его жена, доведенная им до полного рабства, была для него в делах самой удобной ширмой. Он никогда ни к кому не ходил и к себе не приглашал, не желая устраивать званых обедов; никогда не производил никакого шума и, казалось, экономил на всем, даже на движениях. У чужих он ни к чему не притрагивался из укоренившегося в нем почтения к собственности. Тем не менее наперекор вкрадчивости голоса, наперекор осмотрительной манере держаться у него прорывались выражения и замашки бочара, особенно когда он был дома, где сдерживал себя меньше, чем в любом другом месте. По внешности Гранде был мужчина в пять футов ростом, коренастый, плотный, с икрами ног по двенадцати дюймов в окружности, с узловатыми суставами и широкими плечами; лицо у него было круглое, топорное, рябое; подбородок прямой, губы без всякого изгиба, а зубы очень белые; выражение глаз спокойное и хищное, какое народ приписывает василиску; лоб, испещренный поперечными морщинами, не без характерных бугров, волосы— рыжеватые с проседью — золото и серебро, как говорил кое-кто из молодежи, еще не зная, что значит подшучивать над г-ном Гранде. На носу у него, толстом к концу, была шишка с кровяными жилками, которую народ не без основания считал признаком коварства. Это лицо выдавало опасную хитрость, холодную честность, эгоизм человека, привыкшего сосредоточивать все свои чувства на утехах скряжничества; только одно существо было ему хоть немного дорого — дочь Евгения, единственная его наследница. Манера держать себя, приемы, походка — все в нем свидетельствовало о той уверенности в себе, какую дает привычка к удаче во всех своих предприятиях. Г-н Гранде, на вид нрава уживчивого и мягкого, отличался железным характером. Одет он был всегда одинаково и по внешности был все тот же, что и в 1791

году. Его грубые башмаки завязывались кожаными шнурками; во всякое время года он носил валяные шерстяные чулки, короткие штаны толстого коричневого сукна с серебряными пряжками, бархатный двубортный жилет в желтую и темно-коричневую полоску, просторный, всегда наглухо застегнутый длиннополый сюртук каштанового цвета, черный галстук и квакерскую шляпу. Перчатки, прочные, как у жандармов, служили ему двадцать месяцев, и, чтобы не пачкать, он привычным движением клал их на поля шляпы, всегда на то же место. Сомюр ничего больше не знал об этом человеке.

Из всех городских обывателей только шестеро пользовались правом посещать дом г-на Гранде. Самым значительным из первых трех был племянник г-на Крюшо. Со дня своего назначения председателем сомюрского суда первой инстанции этот молодой человек к фамилии Крюшо присоединил еще *де Бонфон* и всеми силами старался, чтобы Бонфон возобладал над Крюшо. Он уже и подписывался: К. де Бонфон. Несообразительный истец, назвавший его «господином Крюшо», вскоре на судебном заседании догадывался о своей оплошности. Судья мирволил тем, кто называл его «господин председатель», и отличал благосклоннейшими улыбками льстецов, именовавших его «господин де Бонфон». Председателю было тридцать три года; ему принадлежало имение Бонфон (Boni fontis [1]), дававшее семь тысяч ливров дохода; он ждал наследства после своего дяди-нотариуса и после другого своего дяди — аббата Крюшо, сановного члена капитула Сен-Мартен де Тур,— оба считались довольно богатыми. Трое этих Крюшо, поддержанные изрядным числом родственников, связанные с двадцатью семьями в городе, образовали своего рода партию, как некогда Медичи во Флоренции; и как у Медичи, у Крюшо были свои Пацци. Г-жа де Грассен, родительница двадцатитрехлетнего сына, неукоснительно являлась к г-же Гранде составить ей партию в карты, надеясь женить своего дорогого Адольфа на мадемуазель Евгении. Банкир де Грассен усиленно содействовал происка м своей жены постоянными услугами, которые втайне оказывал старому скряге, и всегда вовремя являлся на

---

[1] Bonus fons — хороший источник *(лат.)*.

поле битвы. У этих троих де Грассенов тоже были свои приверженцы, свои родичи, свои верные союзники.

Со стороны Крюшо старик-аббат, Талейран этого семейства, опираясь на своего брата-нотариуса, бодро оспаривал позицию у банкирши и пытался уберечь богатое наследство для своего племянника, председателя суда. Тайный бой между Крюшо и Грассенами, в котором наградой была рука Евгении Гранде, страстно занимал разнообразные круги сомюрского общества. Выйдет ли мадемуазель Гранде за господина председателя или за господина Адольфа де Грассена? Одни разрешали эту проблему в том смысле, что г-н Гранде не отдаст свою дочь ни за того, ни за другого. Бывший бочар, снедаемый честолюбием, говорили они, подыскивает себе в зятья какого-нибудь пэра Франции, которого триста тысяч ливров дохода заставят помириться со всеми прежними, настоящими и будущими бочками дома Гранде. Другие возражали, что супруги де Грассен оба благородного происхождения и очень богаты, что Адольф очень милый кавалер, и, если только за Евгению не посватается племянник самого папы, такой союз должен был бы удовлетворить человека, вышедшего из низкого звания, бывшего бочара, которого весь Сомюр видел со скобелем в руках и к тому же носившего в свое время красный колпак. Наиболее рассудительные указывали, что для г-на Крюшо де Бонфон двери дома были открыты во всякое время, тогда как его соперника принимали только по воскресеньям. Одни утверждали, что г-жа де Грассен теснее, чем Крюшо, связана с дамами семейства Гранде, имеет возможность внушить им определенные мысли, а поэтому рано или поздно добьется своего. Другие возражали, что аббат Крюшо самый вкрадчивый человек на свете и что женщина против монаха — игра равная. «Два сапога — пара»,— говорил некий сомюрский остроумец.

Местные старожилы, более осведомленные, полагали, что Гранде слишком осторожен и не выпустит богатства из рук семьи, сомюрская Евгения Гранде выйдет за сына парижского Гранде, богатого оптового виноторговца. На это и крюшотинцы и грассенисты отвечали:

— Прежде всего за тридцать лет братья не виделись и двух раз. А затем парижский Гранде для своего сына метит высоко. Он мэр своего округа, депутат,

полковник национальной гвардии, член коммерческого суда. Он не признает сомюрских Гранде и намерен породниться с семьей какого-нибудь герцога милостью Наполеона.

Чего только не говорили о наследнице этого состояния, о ней судили и рядили на двадцать лье кругом и даже в дилижансах от Анжера до Блуа включительно! В начале 1819 года крюшотинцы явно взяли перевес над грассенистами. Как раз тогда было назначено в продажу имение Фруафон, замечательное своим парком, восхитительным замком, фермами, речками, прудами, лесами,— имение ценностью в три миллиона; молодой маркиз де Фруафон нуждался в деньгах и решил реализовать свое недвижимое имущество. Нотариус Крюшо, председатель Крюшо и аббат Крюшо с помощью своих приверженцев сумели помешать распродаже имения мелкими участками. Нотариус заключил с маркизом очень выгодную сделку, уверив его, что пришлось бы вести бесконечные судебные тяжбы с отдельными покупщиками, прежде чем они уплатят за участки, гораздо лучше продать все поместье г-ну Гранде, человеку состоятельному и к тому же готовому заплатить наличными деньгами. Пре-
красный фруафонский маркизат был препровожден в глотку г-на Гранде, который, к великому удивлению всего Сомюра, после необходимых формальностей, учтя проценты, заплатил за поместье чистоганом. Это событие наделало шуму и в Нанте и в Орлеане. Г-н Гранде отправился посмотреть свой замок, воспользовавшись оказией,— в тележке, которая туда возвращалась. Окинув хозяйским взором свое владение, он возвратился в Сомюр, уверенный, что затраченные им деньги будут приносить пять процентов, и задавшись смелой мыслью округлить фруафонский маркизат, присоединив к нему все свои владения. Затем, чтобы пополнить свою почти опустевшую казну, он решил начисто вырубить свои рощи и леса, а также свести на продажу и тополя у себя на лугах.

Теперь легко понять все значение слов: «дом господина Гранде»,— дом угрюмо-холодный, безмолвный, расположенный в высокой части города и укрытый развалинами крепостной стены. Два столба и глубокая арка, под которой находились ворота, были, как и весь дом,

сложены из песчаника — белого камня, которым изобилует побережье Луары, настолько мягкого, что его прочности едва хватает в среднем на двести лет. Множество неровных, причудливо расположенных дыр — следствие переменчивого климата — сообщали арке и косякам входа характерный для французской архитектуры вид, как будто они были источены червями, и некоторое сходство с тюремными воротами. Над аркой высился продолговатый барельеф из крепкого камня, но высеченные на нем аллегорические фигуры — четыре времени года—уже выветрились и совершенно почернели. Над барельефом выступал карниз, на котором росло несколько случайно попавших туда растений — желтые стенницы, повилика, вьюнок, подорожник и даже молоденькая вишня, уже довольно высокая. Массивные дубовые ворота, темные, ссохшиеся, растрескавшиеся со всех концов, ветхие с виду, крепко поддерживались системой болтов, составлявших симметрические рисунки. Посредине ворот, в калитке, было прорезано маленькое квадратное отверстие, забранное частой решеткой с побуревшими от ржавчины железными прутьями, и она служила, так сказать, основанием для существования дверного молотка, прикрепленного к ней кольцом и ударявшего по кривой приплюснутой головке большого гвоздя. Этот молоток продолговатой формы из тех, что наши предки называли «жакмаром», походил на жирный восклицательный знак; исследуя его внимательно, антиквар нашел бы в нем некоторые признаки характерной шутовской физиономии, каковую он некогда изображал; она истерлась от долгого употребления молотка. Поглядев в это решетчатое окошце, предназначавшееся во времена гражданских войн для распознавания друзей и врагов, любопытные могли бы увидеть темный зеленоватый свод, а в глубине двора несколько обветшалых ступеней, по которым поднимались в сад, живописно огражденный толстыми стенами, сочащимися влагой и сплошь покрытыми худосочными пучками зелени. Это были стены городских укреплений, над которыми на земляных валах высились сады нескольких соседних домов.

В нижнем этаже дома самой главной комнатой был *зал*,— вход туда был устроен под сводом ворот. Не многие понимают, какое значение имеет зал в маленьких го-

родах Анжу, Турени и Берри. Зал представляет собою одновременно переднюю, гостиную, кабинет, будуар и столовую, является основным местом домашней жизни, ее средоточием; сюда являлся два раза в год местный цирюльник подстригать волосы г-ну Гранде; здесь принимали фермеров, приходского священника, супрефекта, подручного мельника. В этой комнате с двумя окнами на улицу пол был дощатый; сверху донизу она была обшита серыми панелями с древним орнаментом; потолок состоял из неприкрытых балок, также выкрашенных в серый цвет, с промежутками, заткнутыми белой пожелтелой паклей. Полку камина, сложенного из белого камня с грубой резьбой, украшали старые медные часы, инкрустированные роговыми арабесками; на ней стояло также зеленоватое зеркало, края которого срезаны были фацетом, чтобы показать его толщину, они отражались светлой полоской в старинном трюмо, оправленном в стальную раму с золотой насечкой. Пара медных позолоченных жирандолей, поставленных по углам камина, имела два назначения: если убрать служившие розетками розы, большая ветка которых была прилажена к подставке из голубоватого мрамора, отделанной старой медью, то эта подставка могла служить подсвечником для малых семейных приемов. На обивке кресел старинной формы были вытканы сцены из басен Лафонтена, но это нужно было знать заранее, чтобы разобрать их сюжеты,— с таким трудом можно было разглядеть выцветшие краски и протертые до дыр изображения. По четырем углам зала помещались угловые шкапы вроде буфетов с засаленными этажерками по сторонам. В простенке между двумя окнами помещался старый ломберный столик, верх которого представлял собою шахматную доску. Над столиком висел овальный барометр с черным ободком, украшенный перевязями из позолоченного дерева, но до того засиженный мухами, что о позолоте можно было только догадываться. На стене, противоположной камину, красовались два портрета, которые должны были изображать деда г-жи Гранде, старого г-на де ла Бертельер, в мундире лейтенанта французской гвардии, и покойную г-жу Жантийе в костюме пастушки. На двух окнах были красные гродетуровые занавеси, перехваченные шелковыми шнурами с кистями по

концам. Эта роскошная обстановка, так мало соответствовавшая привычкам Гранде, была приобретена им вместе с домом, так же как трюмо, часы, мебель с гобеленовой обивкой и угловые шкапы розового дерева. У окна, ближайшего к двери, находился соломенный стул с ножками, поставленными на подпорки, чтобы г-жа Гранде могла видеть прохожих. Простенький рабочий столик вишневого дерева занимал всю нишу окна, а возле вплотную стояло маленькое кресло Евгении Гранде. В течение пятнадцати лет с апреля по ноябрь все дни матери и дочери мирно протекали на этом месте в постоянной работе; первого ноября они могли переходить на зимнее положение — к камину. Только с этого дня Гранде позволял разводить в камине огонь и приказывал гасить его тридцать первого марта, не обращая внимания на весенние и осенние заморозки. Ножная грелка с горячими углями из кухонной печи, которые умело сберегала для своих хозяек Нанета-громадина, помогала им переносить холодные утра или вечера в апреле и октябре. Мать и дочь шили и чинили белье для всей семьи, обе добросовестно работали целыми днями, словно поденщицы, и когда Евгении хотелось вышить воротничок для матери, ей приходилось урывать время от часов, назначенных для сна, обманывать отца, пользуясь украдкой свечами. Уже с давних пор скряга по счету выдавал свечи дочери и Нанете, точно так же, как с утра распределял хлеб и съестные припасы на дневное потребление.

Нанета-громадина была, пожалуй, единственным человеческим существом, способным полностью примириться с деспотизмом хозяина. Весь город завидовал супругам Гранде из-за этой Нанеты. Нанета-громадина, прозванная так за свой рост в пять футов восемь дюймов, служила у Гранде уже тридцать пять лет. Хотя она получала всего только шестьдесят ливров жалованья, ее считали одной из самых богатых служанок во всем Сомюре. Эти шестьдесят ливров, нараставшие в течение тридцати пяти лет, дали ей возможность недавно поместить у нотариуса Крюшо четыре тысячи ливров в обеспечение пожизненной ренты. Такой итог долгих и настойчивых сбережений Нанеты-громадины представлялся непомерным. Всякая служанка, видя, что у бедной шестидесятилетней женщины оказался кусок хлеба на старо-

сти лет, завидовала ей, не думая о том, ценою какого жестокого рабства он достался. Когда Нанете было двадцать два года, она ни у кого не могла найти себе места, до такой степени внешность ее казалась отталкивающей; а на самом деле это впечатление было очень несправедливо: будь ее голова на плечах какого-нибудь гвардейского гренадера, ею любовались бы, но всему, говорят, свое место. Нанета, принужденная после пожара покинуть ферму, где она ходила за коровами, пришла в Сомюр и искала себе места, воодушевляемая твердой решимостью не отказываться ни от какой работы. В то время Гранде подумывал о женитьбе и уже хотел налаживать свое хозяйство. Он высмотрел эту девушку, которую спроваживали от двери к двери. Умея, как истый бочар, ценить физическую силу, он понял, какую выгоду можно извлечь из существа женского пола, сложенного, как Геркулес, твердо стоявшего на ногах, как шестидесятилетний дуб на корнях своих, существа с широкими бедрами и квадратной спиной, с руками ломового извозчика и с честностью непоколебимой, как ее нетронутое целомудрие. Ни бородавки, украшавшие это лицо воина, ни его кирпичный цвет, ни жилистые руки, ни рубище Нанеты не отпугнули бочара, который был еще в тех летах, когда сердце способно трепетать. Он накормил, одел, обул бедную девушку и взял ее на работу, положил ей жалованье и обращался с нею не слишком сурово. Видя такой прием, Нанета-громадина втихомолку плакала от радости и искренне привязалась к бочару, который, впрочем, пользовался ее трудом по-феодальному. Нанета делала все: она стряпала, стирала, ходила на Луару полоскать белье, тащила его на своих плечах; она поднималась с рассветом, ложилась поздно, готовила еду для всех работников во время сбора винограда, наблюдала за ними, охраняла, как верный пес, добро своего хозяина; наконец, питая к нему слепое доверие, она безропотно повиновалась самым нелепым его фантазиям. В знаменитом 1811 году, когда сбор винограда стоил неслыханных трудов, Гранде решил подарить Нанете за двадцатилетнюю службу свои старые часы — единственный подарок, полученный ею от него за всю жизнь. Правда, он отдавал ей свои старые башмаки (они ей были впору), однако башмаки Гранде после трехмесячной

носки невозможно рассматривать как подарок, настолько они бывали уже изношены. Бедная девушка волей-неволей сделалась такой скупой, что Гранде в конце концов полюбил ее, как любят собаку, и Нанета допустила, чтобы на нее надели ошейник, утыканный шипами, которые уже не кололи ее. Если Гранде нарезал хлеб слишком уж скаредно, она на это не жаловалась; она весело переносила вместе со всеми строгий режим питания, установленный Гранде и имевший некоторые гигиенические преимущества: в доме никто никогда не хворал.

Нанета стала членом семьи: она смеялась, когда смеялся Гранде, печалилась, зябла, отогревалась, работала вместе с ним. Сколько сладостного удовлетворения в этом равенстве! Никогда хозяин не попрекал служанку, если она съедала под деревом падалицу — персик или сливу.

— Ладно, угощайся, Нанета,— говорил он ей в такие годы, когда в садах ветви сгибались под тяжестью плодов и фермерам приходилось кормить ими свиней.

Для деревенской девушки, в юности встречавшей только плохое обращение, для нищенки, призренной из милости, лукавый смешок папаши Гранде был истинным лучом солнечного света. К тому же чистое сердце и ограниченный ум Нанеты не могли вместить более одного чувства и одной мысли. Тридцать пять лет подряд ей все вспоминалось, как она подошла к порогу мастерской г-на Гранде, босиком, в лохмотьях; ей постоянно слышалось, как бочар сказал: «Что вам угодно, красавица?»—и признательность ее была всегда юной. Порою Гранде, думая о том, что это бедное создание никогда не слышало хотя бы малейшего лестного слова, что ей неизвестны нежные чувства, внушаемые женщиной, и что она может в свое время предстать перед богом более непорочной, нежели сама дева Мария,— Гранде, охваченный умилением, говорил, глядя на нее:

— Бедняжка Нанета!

На это восклицание старая служанка всегда отвечала ему неизъяснимым взглядом. Эти слова, повторяемые хозяином время от времени, издавна образовали цепь неразрывной дружбы и каждый раз прибавляли к ней новое звено. В жалости, нашедшей себе место в сердце Гранде и благодарно принятой старой девой, было не-

что невыразимо ужасное. То была жестокая жалость скряги, весьма приятно щекотавшая себялюбие старого бочара, но для Нанеты она являлась вершиною счастья. Кто не повторит: «Бедняжка Нанета!» Господь узнает ангелов своих по оттенкам их голосов и по сокровенному смыслу их сочувствия. В Сомюре было очень много семейств, где со слугами обращались лучше, но, несмотря на это, они не питали к хозяевам особой признательности, и в городе говорили:

— Что же такое делают господа Гранде для своей Нанеты-громадины? Почему она так к ним привязана? Она ради них в огонь бросится!

Ее кухня с решетчатыми окнами во двор была всегда чистой, опрятной, холодной — настоящей кухней скряги, где ничто не должно было пропадать зря. Кончив мыть посуду, прибрав остатки обеда, Нанета гасила огонь под плитой, уходила из кухни, отделенной от зала коридором, и шла прясть пеньку возле своих хозяев. Одной свечи было достаточно для всей семьи на целый вечер.

Служанка спала в конце коридора, в закоулке, еле освещенном оконцем, которое заслонялось стеной. Могучее здоровье позволяло ей жить безнаказанно в этой конуре, откуда она могла слышать малейший шум среди глубокого безмолвия, царившего в доме день и ночь. Она была обязана, как сторожевой пес, спать вполглаза и отдыхать бодрствуя.

Описание прочих комнат этого обиталища будет связано с событиями нашего повествования; а впрочем, набросок зала, где блистала вся роскошь дома Гранде, позволит догадаться, до чего убого было убранство покоев в верхних этажах.

В половине октября 1819 года ранним вечером Нанета в первый раз затопила камин. Осень стояла прекрасная. На этот день приходился праздник, хорошо памятный крюшотинцам и грассенистам. Все шестеро противников готовились прийти во всеоружии, встретиться в этом зале и превзойти друг друга в доказательствах дружбы. Утром весь Сомюр видел, как г-жа Гранде и Евгения в сопровождении Нанеты шли в приходскую церковь к обедне, и всякий вспомнил, что это день рождения мадемуазель Евгении. Поэтому, рассчитав час, ко-

гда должен был кончиться семейный обед, нотариус Крюшо, аббат Крюшо и г-н де Бонфон поспешили явиться раньше Грассенов поздравить мадемуазель Гранде. Все трое несли по огромному букету, набранному в их маленьких теплицах. Стебли цветов, которые собирался поднести председатель суда, были искусно обернуты белой атласной лентой с золотою бахромой. Утром г-н Гранде, следуя обыкновению, заведенному для памятных дней рождения и именин Евгении, пришел в ее комнату, когда она еще лежала в постели, и торжественно вручил ей отеческий свой подарок, состоявший, вот уже тринадцать лет, из редкой золотой монеты. Г-жа Гранде обыкновенно дарила дочери платье, зимнее или летнее (смотря по обстоятельствам). Эти платья да золотые монеты, которые Евгения получала от отца в Новый год и в день именин, составляли маленький доход, приблизительно в сотню экю, и Гранде приятно было видеть, как она его копит. Ведь это было все равно, что перекладывать свои деньги из одного ящика в другой и на мелочах, так сказать, воспитывать скупость в наследнице; иногда он требовал отчета о ее казне, когда-то приумноженной ла Бертельерами, и говорил ей:

— Это будет твоей свадебной дюжиной.

Дарить дюжину — старинный обычай, еще процветающий и свято хранимый в некоторых местностях средней Франции. В Берри, в Анжу, когда девушка выходит замуж, ее семья или семья ее жениха обязана подарить невесте кошелек, содержащий, смотря по состоянию, двенадцать монет или двенадцать дюжин монет, или двенадцать сотен серебряных или золотых монет. Самая бедная пастушка не пошла бы замуж без своей «дюжины», пусть она состоит хоть из медяков. В Иссудене до сих пор рассказывают о «дюжине», поднесенной одной богатой наследнице и состоявшей из ста сорока четырех португальских золотых. Папа Климент VII, дядя Екатерины Медичи, выдавая ее за Генриха II, подарил ей дюжину золотых античных медалей огромной ценности.

За обедом отец, любуясь своей дочерью, похорошевшей в новом платье, воскликнул:

— Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин! Это будет доброй приметой!

— Выйти барышне замуж в этот год, уж это верно!— сказала Нанета-громадина, унося остатки гуся, этого фазана бочаров.

— Я не вижу для нее достойной партии в Сомюре,— ответила г-жа Гранде, глядя на своего мужа с робким видом, совсем не соответствовавшим ее годам и показывавшим полное супружеское рабство, под гнетом которого изнывала эта бедная женщина.

Гранде оглядел дочь и весело крикнул:

— Ей, деточке, исполнилось сегодня двадцать три года, скоро нужно будет позаботиться о ней!

Евгения с матерью молча переглянулись понимающим взглядом.

Госпожа Гранде была женщина иссохшая, желтая, как лимон, неловкая, медлительная,— одна из тех женщин, которые, кажется, созданы для того, чтобы над ними тиранствовали. Она была ширококостна, с большим носом, большим лбом, большими глазами навыкате, и при первом взгляде на нее вспоминались дряблые плоды, в которых больше нет ни вкуса, ни сока. Зубы у нее были черные и редкие, рот увядший, подбородок, как говорится, калошей. Однако это была прекрасная женщина, истинная ла Бертельер. Аббат Крюшо не раз находил предлог сказать ей, что она в свое время была недурна собой, и она этому верила. Ангельская ее кротость, покорность букашки, истязаемой детьми, редкое благочестие, невозмутимое смирение, доброе сердце вызывали у всех жалость и уважение к ней. Муж никогда не давал ей больше шести франков зараз на ее мелкие расходы, хотя своим приданым и полученными ею наследствами она принесла г-ну Гранде более трехсот тысяч франков. Однако эта женщина, смешная по внешности, была наделена высокой душой, она всегда чувствовала себя столь глубоко униженной зависимостью и порабощением, против которого кротость не позволяла ей восставать, что никогда не спросила у мужа ни гроша, ни разу не сделала никаких замечаний по поводу бумаг, которые нотариус Крюшо представлял ей для подписи. Гордость, нелепая и тайная гордость, благородство душевное, постоянно оскорбляемое г-ном Гранде, преобладали в ее поведении. Она ходила неизменно в платье зеленоватого левантина, привыкнув носить его по целому году, в

большой белой нитяной косынке, в соломенной шляпе и почти всегда в переднике из черной тафты. Редко выходя из дому, она мало изнашивала башмаков. Словом, для себя она никогда ничего не желала. И Гранде, чувствуя иногда угрызения совести при воспоминании, как много времени прошло со дня выдачи шести франков жене, давал ей обыкновенно «на булавки» при продаже сбора винограда. Четыре или пять луидоров из денег, уплаченных голландским или бельгийским покупателем урожая с виноградников мужа, составляли наиболее определенный ежегодный доход г-жи Гранде. Но после того как она получала свои пять луидоров, супруг часто говорил ей, словно кошелек был у них общий: «Не можешь ли ты одолжить мне несколько су?» — и за зиму он таким образом отбирал у нее несколько экю из «булавочных» денег, а бедная женщина была счастлива, что может что-то сделать для человека, которого духовник изображал ей как ее господина и повелителя. Когда Гранде вынимал из кармана монету в сто су, назначенную на кое-какие месячные расходы — нитки, иголки и мелочи туалета дочери,— он никогда не забывал, застегнув жилетный карман, сказать жене:

— А тебе, мать, не нужно ли сколько-нибудь?

— Друг мой,— отвечала г-жа Гранде с чувством материнского достоинства,— там видно будет.

Напрасное величие души! Г-н Гранде считал себя весьма щедрым по отношению к жене. Философы, встречая в жизни натуры, подобные Нанете, г-же Гранде, Евгении, не вправе ли полагать, что в основе воли провидения лежит ирония?

После обеда, за которым впервые зашел разговор о замужестве Евгении, Нанета отправилась за бутылкой смородинной наливки в комнату г-на Гранде и чуть не упала, сходя оттуда по лестнице.

— Дурища,— сказал ей хозяин,— неужто тебя угораздило свалиться? Я думал, ты ловчее других.

— Сударь, ступенька-то на лестнице еле держится.

— Она права,— сказала г-жа Гранде,— вам давно следовало распорядиться, чтобы починили эту ступеньку. Вчера Евгения чуть себе ногу не вывихнула.

— Ну, ладно,—обратился Гранде к Нанете, видя, что она совсем побледнела,— по случаю дня рождения Ев-

гении и по тому случаю, что ты чуть не упала, выпей рюмочку смородиновки, подкрепись.

— Право, я ее заслужила,— сказала Нанета.— На моем месте всякий бы разбил бутылку, а уж я лучше себе локоть расшибу, да удержу бутылку в воздухе.

— Бедняжка Нанета,— сказал Гранде, наливая ей смородиновки.

— Ты ушиблась? — спросила Евгения, с сочувствием глядя на нее.

— Нет, ведь я всей поясницей удержалась.

— Ну, уж ради рождения Евгении починю вам лестницу,— сказал Гранде.— Нет у вас догадки ставить ногу в уголок. Там ступенька еще крепка.

Гранде взял свечу, оставив жену, дочь и служанку только при свете камина, ярко горевшего, и пошел в кухню за досками, гвоздями и инструментами.

— Не помочь ли вам? — крикнула ему Нанета, слыша, как он стучит на лестнице.

— Нет, нет! Дело привычное,— отвечал бывший бочар.

Как раз в то время, когда он сам чинил источенную червями лестницу и свистел изо всей мочи, вспоминая годы юности, в калитку постучались трое Крюшо.

— Это вы там, господин Крюшо? — спросила Нанета, глядя сквозь решеточку.

— Я,— отвечал председатель.

Нанета отворила калитку, и при свете камина, отражавшемся на своде ворот, трое Крюшо разглядели вход в зал.

— Ах, вы с поздравлением,— сказала им Нанета, услышав запах цветов.

— Виноват, господа,— вскричал Гранде, узнавая голоса друзей,— сейчас буду к вашим услугам! Я человек негордый, вот кое-как сам прилаживаю ступеньку собственной лестницы.

— Работайте, работайте, господин Гранде. «И угольщик у себя дома голова»,— сентенциозно заметил председатель, один усмехаясь на свой намек, которого никто не понял.

Мать и дочь Гранде поднялись со своих мест. Тут председатель, пока было темно, сказал Евгении:

— Позвольте мне, сударыня, пожелать вам сегодня,

в день вашего рождения, жить долго, счастливо и в таком же добром здоровье, как и ныне.

Он поднес огромный букет редких в Сомюре цветов; потом, сжимая локти наследницы, он поцеловал ее с обеих сторон в шею с галантностью, от которой Евгении стало неловко. Председатель, похожий на длинный ржавый гвоздь, воображал, что так действуют светские волокиты.

— Однако вы не церемонитесь! — сказал Гранде.— Так и быть, вольничайте, господин председатель, по случаю семейного праздника!

— В обществе вашей дочери,— отвечал аббат Крюшо, держа букет в руках,— всякий день был бы для моего племянника праздником.

Аббат поцеловал руку Евгении. А старик-нотариус попросту расцеловал девушку в обе щеки и промолвил:

— Как время-то наше идет! Что ни год, то двенадцать месяцев.

Ставя свечу на место, перед часами, Гранде, который никогда не мог отвязаться от шутки, показавшейся ему забавной, и повторял ее до пресыщения, сказал:

— Так как сегодня праздник Евгении, возжем светильники.

Он старательно снял ветвистый канделябр, надел по розетке на каждую подставку, взял из рук Нанеты сальную новую свечу, обернутую снизу бумагой, воткнул ее в подсвечник, укрепил, зажег и сел возле жены, поглядывая поочередно на друзей, на дочь и на обе свечи. Аббат Крюшо, низенький, пухлый, жирный человек в рыжем гладеньком парике, с лицом старой картежницы, вытянул ноги, обутые в прочные башмаки с серебряными пряжками, и спросил:

— А что, Грассены не приходили?

— Нет еще,— отвечал Гранде.

— А разве они должны прийти? — спросил старый нотариус с гримасой на лице, рябом, как шумовка.

— Я думаю,— отвечала г-жа Гранде.

— Ну как, собрали виноград? — спросил Гранде председатель Бонфон.

— Везде! — ответил старый винодел, вставая и про-

хаживаясь взад и вперед по залу; при этом он выпятил грудь движением, исполненным той же горделивости, что и слово «везде».

В дверь коридора он увидел, что Нанета-громадина при свече сидит у очага, собираясь там заняться пряжей, чтобы не мешать торжеству.

— Нанета,— сказал он, выходя в коридор,— загасика ты и очаг и свечу да садись с нами. Право, в зале хватит места на нас всех.

— Но у вас, сударь, будут знатные гости.

— А чем ты хуже их? Они ровно столько же из адамова рода, как и ты.

Гранде возвратился к председателю и спросил его:

— Урожай ваш продали?

— Нет, откровенно сказать — приберегу. Коли сейчас вино хорошо, через год будет еще лучше. Владельцы, ведь вы знаете, договорились не спускать условленной цены, и нынче бельгийцы нас не обломают. А уедут,— ну что же, воротятся.

— Да, но будем держаться крепко,— сказал Гранде таким тоном, что председатель затрепетал.

«Уж не ведет ли он переговоры?» — подумал Крюшо.

В эту минуту стук молотка возвестил о приходе семейства Грассен, и их появление прервало разговор, завязавшийся между г-жой Гранде и аббатом.

Госпожа де Грассен принадлежала к числу тех маленьких женщин, подвижных, пухленьких, белых и румяных, которые благодаря затворническому провинциальному быту и привычкам добродетельной жизни и в сорок лет еще моложавы. Они похожи на последние розы поздней осени: вид их приятен, но в лепестках есть какой-то холодок и аромат их все слабеет! Одевалась она довольно хорошо, выписывая парижские моды, задавала тон всему Сомюру и устраивала у себя вечера. Муж ее, бывший квартирмейстер императорской гвардии, тяжело раненный под Аустерлицем и вышедший в отставку, сохранял, при всем своем почтении к Гранде, подчеркнутую прямоту военного человека.

— Здравствуйте, Гранде,— сказал он, протягивая виноделу руку с подчеркнутым выражением превосходства, которым он постоянно подавлял господ Крюшо.— Сударыня,— обратился он к Евгении, сначала поклонив-

шись г-же Гранде,— вы всегда прекрасны и умны. Право, не знаю, что возможно вам пожелать.

Он преподнес свой подарок, который внес за ним слуга: ящичек с капским вереском — цветком, недавно привезенным в Европу и весьма редким.

Г-жа де Грассен очень сердечно поцеловала Евгению и, пожав ей руку, сказала:

— Адольф взялся передать вам мой маленький подарок.

Высокий белокурый молодой человек, бледный и хрупкий, с довольно хорошими манерами, по виду робкий, но только что промотавший в Париже, куда он ездил изучать право, восемь или десять тысяч франков сверх своего содержания, подошел к Евгении, поцеловал ее в обе щеки и преподнес ей рабочую шкатулку с принадлежностями из позолоченного серебра — настоящий рыночный товар, несмотря на дощечку с готическими инициалами Е. Г., неплохо вырезанными и позволявшими предполагать, что и вся отделка очень тщательна. Открывая шкатулку, Евгения испытала неожиданную и полную радость, которая заставляет девушек краснеть, вздрагивать, трепетать от удовольствия. Она взглянула на отца, словно желая спросить, можно ли ей принять подарок, и г-н Гранде сказал что-то вроде: «Возьми, дочь моя»,— с таким выражением, какое сделало бы честь иному актеру. Все трое Крюшо остолбенели, заметив радостный и оживленный взгляд, брошенный на Адольфа де Грассена наследницей, которой подарок показался неслыханным сокровищем.

Г-н де Грассен предложил Гранде щепотку табаку, сам захватил такую же, стряхнул пыль с ленточки Почетного легиона, красовавшейся в петлице его синего фрака, потом посмотрел на г-на Крюшо с торжествующим видом, казалось, говорившим: «Ну-ка, отбейте этакий удар!» Г-жа де Грассен с деланным простодушием насмешливой женщины взглянула на синие вазы с букетами Крюшо, как будто искала, где же их подарки. При создавшемся щекотливом положении аббат Крюшо предоставил обществу расположиться кружком перед камином, а сам прошелся вместе с Гранде по залу. Когда оба старика оказались в нише окна, наиболее отдаленной от Грассенов, священник сказал скряге на ухо:

— Эти люди швыряют деньги в окошко.

— Что ж такого, коли они попадáют в мой подвал,— ответил старый винодел.

— Если б вам захотелось, вы бы вполне могли подарить дочери золотые ножницы,— промолвил аббат.

— Мои подарки получше ножниц,— ответил Гранде.

«Экий олух мой племянник! — подумал аббат, глядя на председателя, растрепанные волосы которого делали еще более непривлекатéльной его смуглую физиономию.— Неужели не мог он придумать какую-нибудь имеющую ценность безделушку!»

— Мы составим вам партию, госпожа Гранде,— сказала г-жа де Грассен.

— Но сегодня мы все в сборе, можно играть за двумя столами...

— Раз сегодня день рождения Евгении, играйте все вместе в лото,— сказал папаша Гранде,— в нем примут участие и эти двое детей.

Бывший бочар, никогда не игравший ни в какие игры, указал на дочь и на Адольфа.

— Ну, расставляй столы, Нанета.

— Мы вам поможем, мадемуазель Нанета,— весело сказала г-жа де Грассен, от всей души радуясь, что доставила радость Евгении.

— Никогда в жизни не была я так довольна,— сказала ей наследница.— Нигде не видывала я такой прелести.

— Это Адольф привез из Парижа, сам выбрал,— шепнула ей на ухо г-жа де Грассен.

— Так, так, продолжай свое дело, интриганка проклятая!— ворчал про себя председатель.—Вот будет когда-нибудь у тебя или у супруга твоего судебное дело, так вряд ли оно удачно для вас повернется.

Нотариус сидел в углу и, со спокойным видом посматривая на аббата, думал:

«Пускай себе де Грассены хлопочут,—мое состояние вместе с состоянием брата и племянника доходит до миллиона ста тысяч франков. У де Грассенов самое большее — половина этого, да еще у них дочь. Пускай дарят, что им угодно! И наследница и подарки — все будет наше».

В половине девятого были поставлены два стола. Хорошенькой г-же де Грассен удалось посадить сына возле Евгении. Действующие лица этой сцены, чрезвычайно занимательной, хотя и обыденной на первый взгляд, запаслись пестрыми карточками с рядами цифр и, закрывая их марками из синего стекла, как будто слушали шутки старого нотариуса, сопровождавшего каждое выходившее число каким-нибудь замечанием, а на самом деле все думали о миллионах г-на Гранде. Старый бочар кичливо поглядывал на розовые перья и свежий наряд г-жи де Грассен, на воинственную физиономию банкира, на Адольфа, на председателя, аббата, нотариуса и говорил себе:

«Они здесь ради моих денег. Они приходят сюда скучать ради моей дочки. Ха-ха! Моя дочь не достанется ни тем, ни другим, и все эти господа — только крючки на моей удочке».

Это семейное празднество в старом сером зале, тускло освещенном двумя свечами; этот смех под шум самопрялки Нанеты-громадины, искренний только у Евгении да у ее матери; эта мелочность при таких огромных доходах; эта девушка, напоминающая птиц — жертв высокой цены, по какой они идут, неведомо для себя, опутанная и связанная изъявлениями дружбы, которую она мнила искренней,— все содействовало тому, чтобы сделать эту сцену грустно-комической. Впрочем, не была ли она сценой обычной во все времена и для всех стран, только сведенной к простейшему выражению?

Фигура старого Гранде, пользовавшегося с огромной выгодой для себя мнимой привязанностью двух семей, господствовала в этой драме и вскрывала ее смысл. Не был ли он воплощением единственного божества, в которое верит современный мир, олицетворением могущества денег? Нежные человеческие чувства занимали здесь только второстепенное место в жизни; ими одушевлялись три чистых сердца: Нанеты, Евгении и ее матери. Зато сколько неведения в их простодушии! Евгения с матерью понятия не имели о богатстве Гранде; они судили о житейских делах по своим смутным представлениям о них; деньги они не презирали и не почитали, привыкнув обходиться без них. Чувства их, неведомо для них подавленные, но живучие, составлявшие тайную основу их суще-

ствования, делали их любопытным исключением среди этих людей, жизнь которых была ограничена чисто материальными интересами. Страшный удел человека! Всякое счастье исходит от неведения. В ту минуту, когда г-жа Гранде выиграла «котел» в шестнадцать су, самый крупный, какой когда-либо выпадал в этом зале, и когда Нанета-громадина смеялась от радости, глядя, как ее хозяйка прячет в карман эту большую сумму, у подъезда раздался стук молотка, и с такой силой, что женщины привскочили на стульях.

— Сомюрцы так не стучатся,— сказал нотариус.

— Можно ли так колотить? — сказала Нанета.— Что они, дверь, что ли, хотят выломать?

— Кого это черт принес? — воскликнул Гранде.

Нанета взяла одну из двух свечей и пошла отворять в сопровождении Гранде.

— Гранде! Гранде! — воскликнула жена его и, движимая смутным чувством страха, бросилась к дверям зала.

Игроки переглянулись.

— Не пойти ли и нам? — проронил г-н де Грассен.— Мне сдается, этот стук не к добру.

Господин де Грассен едва успел заметить фигуру молодого человека, сопровождаемого комиссионером конторы дилижансов, который нес два огромных чемодана и спальный мешок. Гранде резко повернулся к жене и сказал:

— Госпожа Гранде, вернитесь к вашему лото. Дайте мне переговорить с этим господином.

Затем он быстро затворил дверь в гостиную, где возбужденные игроки снова заняли свои места, но игры не продолжали.

— Это кто-нибудь из сомюрских? — спросила мужа г-жа де Грассен.

— Нет, приезжий.

— Не иначе, как из Парижа.

— В самом деле,— сказал нотариус, вытаскивая старые часы в два пальца толщиной, похожие на голландский корабль,—сейчас ровно девять часов. Тьфу ты пропасть! Дилижанс главной конторы никогда не опаздывает.

— А человек-то молодой? — спросил аббат Крюшо.

— Да,— отвечал г-н де Грассен.— С ним багажа по меньшей мере кило триста.

— Нанета не возвращается,— заметила Евгения.

— Возможно, кто-нибудь из ваших родственников приехал,— сказал председатель.

— Возобновим ставки,— тихо воскликнула г-жа Гранде.— По голосу я заметила, что господин Гранде чем-то недоволен. Может быть, ему будет неприятно, ежели он заметит, что мы говорим о его делах.

— Это, верно, ваш двоюродный брат,— обратился Адольф к своей соседке.— Очень красивый молодой человек, я видел его на балу у господина де Нусингена...

Адольф остановился: мать толкнула его ногой и, громко попросив у него два су для своей ставки, шепнула ему на ухо:

— Да замолчи ты, простофиля!

В эту минуту вошел Гранде без Нанеты-громадины: шаги ее и комиссионера послышались на лестнице. Вслед за Гранде шел приезжий, возбудивший такое любопытство и так живо занявший воображение присутствовавших; его нежданное прибытие в этот дом и в среду этих людей, куда он свалился как снег на голову, можно было сравнить с падением улитки в улей или с появлением павлина на каком-нибудь невзрачном деревенском птичьем дворе.

— Садитесь к огню,— сказал Гранде приезжему.

Прежде чем сесть, молодой человек очень мило поклонился присутствовавшим. Мужчины поднялись и ответили вежливым поклоном, дамы чопорно сделали реверанс.

— Вы, верно, озябли, сударь? — сказала г-жа Гранде.— Вы, может быть, приехали из...

— Ах, уж эти женщины! — сказал старый винодел, отрываясь от чтения письма, которое держал в руке.— Дайте же человеку отдохнуть.

— Но, папенька, может быть, гостю вашему что-нибудь нужно,— сказала Евгения.

— У него у самого есть язык,— строго ответил винодел.

Только незнакомец удивился этой сцене, прочие привыкли к деспотической манере хозяина. Тем не менее после этих двух вопросов и ответов незнакомец поднялся с

места, повернулся спиной к огню, поднял ногу, чтобы согреть подошву сапога, и сказал Евгении:

— Благодарю вас, кузина, я обедал в Туре. И мне ничего не нужно,— прибавил он, глядя на Гранде.—Я даже совсем не устал.

— Вы, сударь, приехали из столицы? — спросила г-жа де Грассен.

Шарль — так звали сына парижского г-на Гранде,— слыша обращенный к нему вопрос, достал маленький лорнет на цепочке, висевший у него на шее, приставил его к правому глазу, чтобы рассмотреть и то, что было на столе, и тех, кто был за столом, оглядел весьма беззастенчиво г-жу де Грассен и, все обозрев, сказал ей:

— Да, сударыня. Вы играете в лото, тетушка? — прибавил он.— Пожалуйста, продолжайте. Разве можно бросать такую занимательную игру...

«Я была уверена, что это кузен»,— думала г-жа де Грассен, кокетливо поглядывая на него.

— Сорок семь! — выкрикнул старый аббат.—Ставьте же марку, госпожа де Грассен, ведь это ваш номер.

Господин де Грассен положил стеклянный кружочек на карту жены, между тем как она, охваченная грустными предчувствиями, наблюдала попеременно то за парижским кузеном, то за Евгенией, не думая о лото. Время от времени молодая наследница бросала беглые взгляды на двоюродного брата, и жена банкира легко могла заметить в них crescendo [1] удивления или любопытства.

Шарль Гранде, красивый молодой человек двадцати двух лет, представлял собой в эту минуту необычайную противоположность этим добрым провинциалам, которых достаточно возмущали уж одни его аристократические манеры; все разглядывали приезжего, чтобы понасмехаться над ним. Это требует объяснения. В двадцать два года молодые люди еще настолько близки к детству, что склонны ребячиться. Да, пожалуй, из сотни юношей ровно девяносто девять стали бы вести себя так же, как Шарль Гранде. Незадолго до этого вечера отец предложил ему отправиться на несколько месяцев к дяде в Сомюр. Быть может, парижский Гранде думал женить его

---

[1] Нарастание *(итал.)*.

на Евгении. Шарль, попавший в провинцию впервые, вознамерился появиться во всем блеске парижанина, поразить всю округу роскошью своих нарядов, составить для нее эпоху и ввезти туда новейшие затеи парижской жизни. Словом, он намеревался в Сомюре проводить больше времени, чем в Париже, за полированием ногтей и одеваться с подчеркнутой изысканностью, которую элегантный молодой человек иногда заменяет небрежностью, не лишенной изящества. Шарль взял с собой лучший парижский охотничий костюм, лучшее ружье, лучший нож в лучших ножнах, захватил целую коллекцию изумительных жилетов: были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах. Взял всевозможные воротники и галстуки, бывшие тогда в моде. Взял два костюма, сшитые у Бюиссона, и самое тонкое белье. Взял прекрасный золотой туалетный прибор — подарок матери. Взял всякие безделушки, необходимые для денди, не забыв восхитительный маленький письменный прибор, подаренный ему любезнейшей из женщин,— по крайней мере по отношению к нему,— великосветскою дамою, которую он называл Анетой и которая теперь скучнейшим образом путешествовала вместе с супругом по Шотландии, как жертва неких подозрений, заставивших ее на время пожертвовать своим счастьем; затем — обильный запас красивой бумаги, чтобы писать к ней каждые две недели. Короче говоря, он привез с собой набор парижских ненужностей, полный как только возможно, и где — от хлыста, пригодного для завязки дуэли, до превосходных чеканных пистолетов, ее заканчивающих,— были налицо все те орудия, коими пользуется юный бездельник, чтобы вспахивать поле жизни. Так как отец наказал ему путешествовать в одиночестве и скромно, он приехал в купе дилижанса, взятом для него одного, довольный, что не портит прелестной дорожной кареты, заказанной им для того, чтобы отправиться навстречу Анете, великосветской даме, которую... и так далее, и с которой он должен был увидеться в июне месяце на водах в Бадене. Шарль рассчитывал встретить у дяди общество человек во сто, забавлять-

ся псовой охотой в дядиных лесах,— словом, пожить помещичьей жизнью. Он не думал застать дядю в Сомюре, осведомился о нем только для того, чтобы расспросить, как проехать в Фруафон, и, узнав, что Гранде в городе, полагал найти его в огромном особняке. Чтобы достодолжным образом показаться впервые у дяди, в Сомюре или в Фруафоне, он облекся в дорожный наряд, весьма кокетливый, но изысканно простой и очаровательный,— воспользуемся словцом, каким в то время определяли особое совершенство вещи или человека. В Туре парикмахер завил ему прекрасные каштановые волосы, там он переменил сорочку, надел черный атласный галстук и круглый воротник, приятно обрамлявший его белое смеющееся лицо. Дорожный наполовину застегнутый сюртук обрисовывал его талию и открывал кашемировый жилет шалью, под которым был второй — белый. Часы его, небрежно брошенные в карман, как бы по воле случая, были прикреплены к одной из петель золотой цепочкой. Серые панталоны застегивались по бокам, где швы были украшены узорами, вышитыми черным шелком. Он играл изящной тросточкой, и золотой резной набалдашник лишь оттенял безукоризненную свежесть его серых перчаток. Фуражка его была отличного вкуса. Парижанин, только парижанин из самой высокой сферы, мог не казаться смешным в таком наряде и сообщить какую-то фатовскую гармонию всем этим безделицам, впрочем, придававшим их носителю мужественный вид, вид молодого человека — обладателя превосходных пистолетов, меткого глаза и Анеты.

Теперь, если вы желаете как следует понять обоюдное удивление сомюрцев и молодого парижанина, увидеть, каким ярким блеском сияло изящество путешественника среди серых стен зала и действующих лиц этой семейной картины, попытайтесь представить себе господ Крюшо. Все трое нюхали табак и уже давно не пытались избавиться ни от следов капель, падавших из носа, ни от маленьких черных пятен, которыми были усеяны манишки их порыжелых рубашек со съежившимися воротничками и желтоватыми складками. Мягкие галстуки скручивались веревочкой, как только их повязывали на шею. Огромные запасы белья позволяли им не устраивать стирки по полугоду и хранить его в глубине шкафов,

поэтому время успевало окрасить его в свои серые, ветхие тона. Они вполне подходили друг к другу по угрюмости и старообразности. Их лица, такие же выцветшие, как потертые их одежды, такие же сморщенные, как их панталоны, казались поношенными, заскорузлыми и как будто строили гримасы. Неряшливости Крюшо соответствовала и небрежность одеяния всех остальных, неказистого, несвежего, как водится в провинции, где незаметным образом перестают одеваться для других и бо́ятся потратиться на пару перчаток. Отвращение к моде было единственным пунктом, где грассенисты и крюшотинцы совершенно сходились. Стоило парижанину взяться за лорнет с намерением рассмотреть своеобразную отделку зала, брусья потолка, цвет деревянной обшивки или мушиные следы, испещрившие ее в таком обилии, что их хватило бы на расстановку точек в «Методической энциклопедии» или «Монитере»,— немедленно игравшие в лото поднимали нос и глядели на него с таким любопытством, словно перед ними очутился жираф. Г-н де Грассен и сын его, для которых человек, следящий за модой, не был диковинкой, тем не менее выражали такое же изумление, как и их соседи,— потому ли, что они поддавались непреодолимому влиянию всеобщего чувства, или же потому, что одобряли его, говоря своим согражданам иронические подмигиваниями: «Вот каковы *они* там, в Париже». Все, впрочем, могли наблюдать за Шарлем сколько угодно, без опасения рассердить хозяина дома. Гранде был поглощен длинным письмом, бывшим у него в руках, и для его прочтения взял со стола единственную свечу, нимало не заботясь о гостях и об их удовольствии. Евгения еще не видывала подобного совершенства и в манере одеваться и во всем обличии; двоюродный брат представлялся ей существом, спустившимся из каких-то ангельских сфер. С наслаждением вдыхала она благоухания, исходившие от его кудрей, таких блестящих, так красиво вьющихся. Ей хотелось погладить тонкую атласную кожу его прелестных перчаток. Она завидовала маленьким рукам Шарля, свежему цвету его лица и тонкости его черт. Словом, если только это сравнение может выразить все впечатления, внушенные изящным юношей девушке, ничего не знавшей, беспрерывно занятой штопкою

чулок, починкою отцовского платья, жизнь которой протекала под этим грязным потолком, на этой грязной улице, где она видела разве что одного прохожего за целый час, то появление кузена всколыхнуло в ее сердце такое же страстное волнение, какое вызывают в молодом человеке фантастические женские головки, рисованные Вестоллом в английских кипсеках и гравированные резцом Финденов с таким искусством, что, подув на бумагу, боишься, как бы не улетели эти небесные видения. Шарль вынул из кармана носовой платок, вышитый великосветской дамой, путешествовавшей по Шотландии. При виде этой прекрасной вышивки, выполненной с любовью в часы, потерянные для любви, Евгения взглянула на кузена, чтобы узнать, неужто он в самом деле пользуется таким платком. Манеры Шарля, его жесты, то, как он брался за свой лорнет, подчеркнутая беззастенчивость, презрение его к шкатулке, только что доставившей так много удовольствия богатой наследнице и которую он находил, очевидно, или грошовой, или смешной,— словом, все, что неприятно поражало и Крюшо и Грассенов, ей нравилось так сильно, что в тот вечер она, верно, долго не могла уснуть и грезила об этом фениксе среди кузенов.

Номера вынимались еще очень долго, но, наконец, лото кончилось. Нанета-громадина вошла и громко сказала:

— Сударыня, выдайте мне простыни на постель гостю.

Госпожа Гранде вышла вслед за Нанетой. Тогда г-жа де Грассен тихо сказала:

— Возьмем наши деньги и бросим игру.

Каждый взял свои два су со старого щербатого блюдечка; потом собравшиеся встали все сразу и несколько приблизились к огню.

— Что ж, кончили? — сказал Гранде, не отрываясь от письма.

— Да, да,— ответила г-жа де Грассен, заняв место возле Шарля.

Евгения, побуждаемая одной из тех мыслей, какие возникают у девушек, когда в сердце их впервые закрадывается чувство, вышла из зала, чтобы помочь матери и Нанете. Если бы умелый исповедник спросил ее,

она бы несомненно призналась, что не думала ни о матери, ни о Нанете, но что ее одолевало острое желание осмотреть комнату, отведенную кузену, заняться там его устройством, что-нибудь там поставить, поглядеть, не забыли ли чего, все предусмотреть, постараться сделать ее насколько возможно уютной и чистой. Евгения уже считала, что лишь она одна способна угадать вкусы и привычки кузена. В самом деле, она явилась очень кстати: и мать и Нанета уже собирались уйти, думая, будто они уже сделали все необходимое, но она доказала им, что все только еще предстояло сделать. Она подала Нанете-громадине мысль согреть простыни грелкою с угольями из печи; она сама покрыла скатертью старый стол и крепко наказала Нанете менять ее каждое утро. Она убедила мать, что необходимо затопить камин, и уговорила Нанету притащить в коридор объемистую вязанку дров, ничего не говоря отцу. Она сама побежала в зал взять там в одном из угловых шкафов старый лакированный поднос — наследство от покойного старика де ла Бертельера, взяла там же шестигранный хрустальный стакан, ложечку со стершейся позолотой, старинный флакон с вырезанными на нем амурами и все это торжественно поставила на камин. За четверть часа у нее возникло больше мыслей, чем со дня появления ее на свет.

— Маменька,— сказала она,— братцу будет невыносим запах сальной свечки. Что, если бы нам купить восковую?..

Она вспорхнула легче птички и взяла из своего кошелька монету в сто су, выданную ей на месячный расход.

— Вот тебе, Нанета, беги скорей.

— А что папенька скажет?

Это страшное возражение было выдвинуто г-жой Гранде, когда она увидела в руках дочери сахарницу старинного севрского фарфора, привезенную из замка Фруафон самим Гранде.

— А где же ты возьмешь сахару? Да ты с ума сошла!

— Маменька, Нанета купит и сахару и свечку.

— А папенька?

— Прилично ли, чтобы в его доме племянник не мог

выпить стакана сахарной воды? Впрочем, папенька и внимания не обратит.

— Отец все видит,— сказала г-жа Гранде, качая головой.

Нанета колебалась: она знала хозяина.

— Ступай же, Нанета, ведь сегодня мое рождение!

Нанета громко захохотала, услышав первую в жизни шутку своей молодой хозяйки, и повиновалась ей. Пока Евгения с матерью изо всех сил старались украсить комнату, предназначенную г-ном Гранде для племянника, Шарль был предметом любезностей г-жи де Грассен, старавшейся привлечь его внимание.

— Вы очень мужественны, сударь,— сказала она ему,— если решились покинуть зимние удовольствия столицы для жизни в Сомюре. Но если вы не слишком боитесь нас, то увидите, что и здесь можно развлекаться.

Она бросила на него многозначительный взгляд, как истая провинциалка: в провинции женщины по привычке вкладывают в свои взоры столько сдержанности и осторожности, что сообщают им какое-то слащавое вожделение, свойственное иным духовным лицам, которым всякое удовольствие кажется или воровством, или греховным заблуждением. Шарль чувствовал себя в этом зале совершенно чужим, все здесь было так далеко от прекрасного замка и роскоши, какую он предполагал найти у дяди, что рад был встретить сочувствие, и, внимательно вглядываясь в г-жу де Грассен, разглядел наконец в ней полустершийся образ парижанки. Он любезно отвечал на косвенное приглашение, обращенное к нему, и разговор завязался сам собой, причем г-жа де Грассен постепенно понижала голос в соответствии с характером своих излияний. И она и Шарль испытывали одинаковую потребность в доверии. Таким образом, после нескольких минут кокетливого разговора и степенных шуток ловкая провинциалка, убедившись, что ее не слышат другие, говорившие о продаже вин, чем в это время был занят каждый сомюрец, успела сообщить парижанину:

— Сударь, если вы пожелаете оказать нам честь своим посещением, вы, разумеется, доставите большое удовольствие и моему мужу и мне. Наш салон — единственный в Сомюре, где собираются представители круп-

ной коммерции и представители дворянства: мы принадлежим к двум кругам общества, и они предпочитают встречаться только у нас, потому что у нас весело. Моего мужа — я с гордостью говорю это — одинаково уважают и те и другие. Таким образом, мы постараемся доставить вам развлечение в дни вашего скучного пребывания здесь. Если бы вы безвыходно сидели у господина Гранде,— боже мой, что сталось бы с вами! Дядюшка ваш — скряга и думает только о своих виноградных отводках; ваша тетушка — святоша, неспособная связать две мысли в голове, а ваша кузина — дурочка, необразованная, пошленькая, без приданого, весь свой век проводит за чинкой тряпья.

«Она очень мила, эта барынька»,— заметил про себя Шарль, отвечая на жеманные заигрывания г-жи де Грассен.

— Да ты, жена, сдается мне, собираешься взять на откуп господина Гранде,— сказал со смехом грузный и рослый банкир.

На это замечание нотариус и председатель отозвались более или менее ехидными словами; но аббат взглянул на них с лукавым видом, взял понюшку табаку и, предлагая табакерку окружающим, кратко выразил их мысли:

— Кто же лучше госпожи де Грассен мог бы для господина Гранде олицетворить сомюрское радушие?

— Вот как! В каком же смысле вы это понимаете, господин аббат? — спросил г-н де Грассен.

— Я это понимаю, сударь, в смысле самом лестном для вас, для вашей супруги, для города Сомюра и для столичного гостя,— прибавил хитрый старик, оборачиваясь к Шарлю.

Не обращая, казалось, ни малейшего внимания на разговор Шарля и г-жи де Грассен, аббат Крюшо сумел угадать его смысл.

— Сударь,— обратился наконец к Шарлю Адольф, стараясь придать себе непринужденный вид,— не знаю, помните ли вы меня сколько-нибудь. Я имел удовольствие быть вашим визави на балу у барона де Нусингена, и...

— Совершенно верно, сударь, совершенно верно,— отвечал Шарль, с удивлением видя, что оказался пред-

метом всеобщего внимания.— Это ваш сын, сударыня? — спросил он г-жу де Грассен.

Аббат ехидно взглянул на мамашу.

— Да, сударь,— ответила она.

— Так вы, очевидно, еще совсем юным были в Париже? — продолжал Шарль, обращаясь к Адольфу.

— Что поделаешь! — сказал аббат.— У нас сыновей посылают в Вавилон, как только их отнимут от груди.— Г-жа де Грассен бросила на аббата удивительно глубокий, вопрошающий взгляд.— Нужно приехать в провинцию,— сказал он, продолжая разговор,— чтобы встретить женщин тридцати лет с небольшим, так прекрасно сохранившихся, как госпожа де Грассен, у которой сыновья скоро будут лиценциатами прав. Мне кажется, я еще переживаю день, когда в бальном зале молодые люди и дамы становились на стулья, чтобы видеть, как вы танцуете, сударыня,— прибавил аббат, поворачиваясь к своему противнику в женском образе.— Право, ваш триумф как будто был только вчера...

«Ах, старый злодей! — воскликнула в душе г-жа де Грассен.— Неужто он меня разгадал?»

«Кажется, мне предстоит большой успех в Сомюре»,— думал про себя Шарль, расстегивая сюртук, закладывая руку за жилет и устремляя вдаль задумчивый взор,— подражание позе, приданной Чантри лорду Байрону.

Невнимание старика Гранде, или, лучше сказать, озабоченность, в какую погружало его чтение письма, не ускользнуло ни от нотариуса, ни от председателя, и они старались угадать содержание этого письма по неуловимым движениям лица хозяина, как раз ярко освещенного свечой. Винодел с трудом сохранял привычно спокойное выражение лица. Впрочем, каждый сможет себе представить нарочито спокойный вид этого человека, читая нижеследующее роковое письмо:

«Дорогой брат, вот уже скоро двадцать три года, как мы не виделись с тобой. Моя женитьба была поводом для нашего последнего свидания, после чего мы расстались, радуясь друг на друга. Конечно, я никак не мог предвидеть, что со временем ты будешь единственной опорой семьи, процветание которой ты приветствовал.

Когда это письмо попадет в твои руки, меня уже не будет на свете. Я попал в безвыходное положение и не хочу пережить позор банкротства. Я до последней минуты держался на краю бездны, все еще надеясь выбраться. Приходится упасть в нее. Банкротство моего биржевого маклера и де Рогена, моего нотариуса, отняло у меня последние средства,— у меня ничего не осталось. К моему отчаянию, я должен около четырех миллионов, а могу уплатить кредиторам не более двадцати пяти процентов всей суммы долга. Мои вин.. лежат на складе мертвым грузом из-за сокрушительного понижения цен, которое вызвано обильным урожаем винограда прекрасного качества. Через три дня Париж скажет: «Господин Гранде был мошенник!» Я, честный человек, буду лежать, покрытый саваном бесчестия. Я лишаю своего сына и честного имени, запятнанного мною, и состояния его матери. Бедный мальчик об этом ничего не знает. Я боготворю его. Мы нежно простились. К счастью, он и не знал, что в этом прощании излилась последняя волна жизни моей. Неужели он когда-нибудь будет проклинать меня? Брат мой, брат мой! Как ужасно проклятие детей! Они могут обжаловать наше проклятие, но их проклятие неотменно. Гранде, ты — старший, ты обязан за меня вступиться. Сделай так, чтобы у Шарля не вырвалось ни одного горького слова на моей могиле. Брат мой, если бы я писал к тебе кровью и слезами, в них не было бы столько страдания, сколько стоит мне это письмо; тогда я плакал бы, истекал кровью, я умер бы, и кончились бы мои муки. Но я страдаю без единой слезы — и вижу перед собой смерть. И вот ты теперь — отец Шарля: у него нет родных со стороны матери — ты знаешь почему. Зачем я не послушался общественных предрассудков? Зачем покорился любви? Зачем женился на побочной дочери большого барина? У Шарля нет больше семьи. О мой несчастный сын! Мой сын!

Слушай, Гранде, я взываю к тебе не с мольбой за себя,— и возможно, ты не столь богат, чтобы выдержать залог в три миллиона,— но я молю за сына. Знай, брат, я с мольбой простираю к тебе руки. Гранде, умирая, я вверяю тебе Шарля. Я уверен, что ты заменишь ему отца, и без душевной боли смотрю на пистолеты. Шарль

очень любил меня; я был к нему добр, никогда не огорчал его. Нет, он не проклянет меня. Ты сам увидишь, он кроток,— он так похож на свою мать, он никогда не причинит тебе горя.

Бедный мальчик, он привык к роскоши, не ведает ни одного из лишений, на какие обрекла нас с тобою бедность с первых дней. И вот он разорен, он одинок. Все друзья покинут его, и это я буду виновником его унижения. Ах, хотелось бы мне обладать достаточно твердой рукой, чтобы одним ударом избавить его от этого и соединить его в небесах с матерью. Безумная мысль!

Возвращаюсь к моему несчастью, к несчастью Шарля. Я послал его к тебе, чтобы ты должным образом объявил ему о моей смерти и о его грядущей судьбе. Будь отцом для него, и отцом добрым. Не отрывай его сразу от беспечной жизни, а то ты убьешь его. На коленях молю его отказаться от судебного иска, который он мог бы предъявить как наследник матери. Но это излишняя просьба, у него есть чувство чести, он поймет, что не должен вступать в число моих кредиторов. Уговори его вовремя отказаться от наследства. Открой ему, в какие суровые условия жизни я поставил его, и если он сохранит нежность ко мне, убеди его от моего имени, что не все для него потеряно. Да, труд спас нас обоих, труд может и ему вернуть богатство, которое я у него похищаю. И если он захочет внять голосу отца, который ради него хотел бы встать на миг из могилы, пусть он уезжает, пусть отправится в Индию. Брат мой! Шарль — честный и мужественный юноша. Ты снабдишь его товаром, и он скорее умрет, чем не вернет того, что ты одолжишь ему на первые расходы. Ведь ты же дашь ему ссуду, Гранде! Иначе совесть тебя замучит. Помни, если мое дитя не найдет у тебя ни помощи, ни ласки, я вечно буду молить создателя об отмщении за твою черствость. О, если бы я мог спасти хоть кое-какие ценности, я имел бы полное право передать ему сколько-нибудь денег в счет наследства от матери, но уплаты при окончании месяца поглотили все мои средства. Мне тяжко умирать, терзаясь сомнениями об участи моего сына; я хотел бы почувствовать святые обещания в горячем пожатии твоей руки, которое меня согрело бы. Но времени у меня нет. Пока Шарль в дороге, я должен составить баланс.

Я постараюсь доказать с добросовестностью, руководившей всеми моими действиями, что в моем разорении нет ни вины, ни бесчестности. Разве это не забота о Шарле? Прощай, брат! Да будет над тобою во всем благословение божье за великодушную опеку над моим сыном, ибо, я не сомневаюсь, ты примешь ее на себя. Будет голос, вечно молящийся за тебя в том мире, куда все мы рано или поздно должны перейти, и я уже стою на пороге его.

Виктор-Анж-Гильом Гранде».

— Беседуете? — сказал старый Гранде, старательно складывая письмо по сгибам и пряча его в жилетный карман.

Он посмотрел смущенно и опасливо на племянника, скрывая свое волнение и свои расчеты.

— Согрелись?

— Отлично, дядюшка!

— Ну, а где же наши дамы? — сказал дядя, совсем позабыв, что племянник ночует у него.

В эту минуту вошли Евгения и г-жа Гранде.

— Готово ли все наверху? — спросил старик, овладев собой.

— Да, папенька.

— Ну-с, племянничек, если ты устал, Нанета проводит тебя в твою комнату. Только это не какие-нибудь франтовские апартаменты! Но ты не посетуешь на бедных виноделов, у которых нет никогда копейки за душой. Налоги поглощают у нас все.

— Мы не хотим мешать вам, Гранде,— сказал банкир.— Вам, наверно, нужно поговорить с племянником. Желаем вам доброго вечера. До завтра!

При этих словах все поднялись с мест, и каждый откланялся соответственно своему характеру. Старый нотариус пошел взять у двери свой фонарь и стал его зажигать, предложив де Грассенам проводить их. Г-жа де Грассен не могла предвидеть происшествия, заставившего кончить вечер преждевременно, и слуга ее еще не пришел.

— Может быть, вы разрешите мне взять вас под руку, сударыня? — сказал аббат Крюшо г-же де Грассен.

— Благодарю, господин аббат. Я пойду с сыном,— ответила она сухо.

— Со мной дамы не могут себя скомпрометировать,— возразил аббат.

— Дай же руку господину Крюшо,— сказал супруг.

Аббат повел хорошенькую даму достаточно быстро, чтобы оказаться на несколько шагов впереди шествия.

— А молодой человек очень мил, сударыня,— сказал он, прижимая ее руку.— *Прощайте, корзины, виноград собран.* Придется вам попрощаться с барышней Гранде. Евгения достанется парижанину. Если только у этого кузена нет какой-нибудь страстишки в Париже, будет вашему сыну Адольфу соперник, самый...

— Да перестаньте, господин аббат! Молодой человек очень скоро заметит, что Евгения глупенькая девушка, да она уж и потеряла свежесть. Всмотрелись вы в нее? Она нынче вечером была желта, как лимон.

— Вы помогли кузену это разглядеть?

— Даже без всякого стеснения.

— Садитесь всегда, сударыня, около Евгении, и вам не придется много наговаривать молодому человеку на кузину, он сам сумеет сделать сравнение, которое...

— Прежде всего, он обещал прийти ко мне обедать послезавтра.

— Эх, захотели бы вы, сударыня...— сказал аббат.

— А чего мне, по-вашему, нужно захотеть, господин аббат? Не собираетесь ли вы давать мне дурные советы? Не для того я дожила до тридцати девяти лет с незапятнанной, слава богу, репутацией, чтобы подвергать ее опасности, даже если бы дело шло о целой империи Великого Могола. Мы с вами в таком возрасте, когда люди отвечают за свои слова. Для духовного лица мысли у вас в самом деле весьма непристойные. Фи, это ведь под стать Фоблазу.

— Так вы читали «Фоблаза»?

— Нет, господин аббат, я хотела сказать — «Опасные связи».

— О, эта книга бесконечно более нравственная,— со смехом сказал аббат.— Да вы меня считаете таким же испорченным, как нынешние молодые люди. Я просто хотел вас...

— Посмейте только сказать, что вы не собирались насоветовать мне всяких гадостей! Разве это не ясно? Если бы этот молодой человек,— очень милый, я согласен,

на,— стал ухаживать за мной, он бы и не думал о своей кузине. В Париже, я знаю, иные добродетельные маменьки таким образом жертвуют собой ради счастья и будущего своих детей, но мы живем в провинции, господин аббат...

— О сударыня!

— И ни я,— продолжала она,— ни сам Адольф не пожелаем получить и сто миллионов такой ценой.

— Сударыня, о ста миллионах я и не говорил. Такое искушение было бы, пожалуй, не под силу ни мне, ни вам. Я лишь полагаю, что порядочная женщина может, не нарушая приличий, позволить себе легкое кокетство, без последствий, это даже входит в число ее светских обязанностей, и...

— Вы думаете?

— Разве мы не должны стараться, сударыня, быть приятными друг другу?.. Позвольте высморкаться. Уверяю вас, сударыня, что он рассматривал вас в лорнет более лестным взглядом, чем меня. Но я ему прощаю, что он чтит красоту больше, чем старость.

— Все ясно,— говорил председатель своим грубым голосом.— Господин Гранде из Парижа послал своего сына в Сомюр с целями в высшей степени матримониальными.

— Но тогда кузен не ворвался бы нежданно-негаданно,— ответил нотариус.

— Это ничего не значит,— заметил де Грассен,— наш старик себе на уме.

— Де Грассен, друг мой, я этого молодого человека пригласила к нам пообедать. Тебе надо сходить и просить к нам господина и госпожу Ларсоньер и господ дю Отуа, с красавицей дочкой, разумеется. Только бы в этот день она получше оделась! Мамаша из ревности наряжает ее так скверно. Я надеюсь, господа, что и вы окажете нам честь посетить нас? — прибавила она, останавливая шествие, чтобы повернуться к обоим Крюшо.

— Вот вы и дома, сударыня,— сказал нотариус.

Раскланявшись с тремя Грассенами, трое Крюшо отправились домой и, пустив в ход тот гений анализа, которым обладают провинциалы, со всех сторон обсудили великое событие этого вечера, совершенно менявшее позиции крюшотинцев и грассенистов по отношению друг

к другу. Поразительный здравый смысл, неизменно управлявший действиями этих великих дипломатов, заставил их всех почувствовать необходимость временного союза против общего неприятеля. Не должны ли они совместными усилиями помешать Евгении влюбиться в своего кузена, а Шарлю — помышлять о своей кузине? Разве сможет парижанин противостоять коварным наветам, слащавой клевете, хвалебному злоречию, простодушным уверениям, которые настойчиво будут виться вокруг него, облепят его, как пчелы облепляют воском несчастную улитку, попавшую в их улей.

Когда родственники остались в зале одни, г-н Гранде сказал племяннику:

— Пора спать. Сейчас поздно разговаривать о делах, которые привели вас сюда. Завтра найдем подходящую минуту. Мы тут завтракаем в восемь часов. В полдень закусываем — немного фруктов, кусочек хлебца — и выпиваем стакан белого вина, а обедаем, как и парижане, в пять часов. Вот наш распорядок. Если тебе хочется посмотреть город и окрестности, ты свободен, как ветер. Только уж извини, дела не всегда мне позволят сопутствовать тебе. Ты, пожалуй, услышишь в городе разговоры о моем богатстве: «Господин Гранде — здесь, господин Гранде — там». Пусть говорят: их болтовня моему кредиту не повредит. Но у меня нет ни гроша, и я в мои годы работаю, как мальчишка-подмастерье, у которого только и есть, что плохой рубанок да пара здоровых рук. Вот, может быть, скоро по́ себе увидишь, чего стоит каждый грош, когда он по́том достается... Эй, Нанета, свечу!

— Надеюсь, дорогой племянник, что там найдется все, что вам понадобится,— сказала г-жа Гранде.— А если чего́ недостанет, кликните Нанету.

— Дорогая тетушка, не беспокойтесь. Я как будто захватил все, что мне нужно. Позвольте пожелать спокойной ночи вам и кузине.

Шарль взял из рук Нанеты зажженную свечу, свечу анжуйскую, густо-желтого цвета, залежавшуюся в лавочке и столь похожую на сальную, что г-н Гранде, неспособный заподозрить существование восковых свечей в его доме, даже не заметил этого великолепия.

— Я вас провожу,— сказал старик.

Вместо того чтобы выйти из зала в дверь под аркой ворот, Гранде проделал церемониальный путь коридором, отделявшим зал от кухни. Со стороны наружной лестницы коридор закрывала дверь с большим овальным стеклом, снабженная пружиной, чтобы не давать доступа холоду, тянувшему со двора. Однако зимой ветер прорывался в коридор очень резко, и, несмотря на прокладку под дверью зала, тепло там с трудом поддерживалось в надлежащей мере. Нанета пошла заложить на засов наружную дверь, заперла зал, затем спустила в конюшне волкодава, лаявшего так хрипло, как будто у него был ларингит. Этот пес, знаменитый своей свирепостью, признавал только Нанету. Два деревенских существа понимали друг друга.

Когда Шарль увидел пожелтелые и закопченные стены лестничной клетки, почувствовал, как трясутся полусгнившие ступеньки под грузными шагами дядюшки, его отрезвление пошло rinforzando[1]. Ему показалось, что он на насесте для кур. Обернувшись, он посмотрел на тетку и кузину вопрошающим взглядом, но они так привыкли к этой лестнице, что, не догадываясь о причине его удивления, сочли этот взгляд за дружелюбный привет и ответили приятной улыбкой, повергшей его в отчаяние.

«Какого черта отец послал меня сюда?»—подумал Шарль.

Поднявшись на первую площадку лестницы, он заметил три двери, выкрашенные этрусской красной краской; эти двери без наличников, сливавшиеся с пыльной стеной, были обиты бросающимися в глаза железными полосами на заклепках, изогнутыми в виде огненных языков; такие же языки были и вокруг продолговатой замочной скважины. Дверь, что находилась ближе к лестнице и вела в комнату над кухней, явно была заложена. И действительно, в эту комнату, служившую Гранде кабинетом, можно было пройти только через его спальню. Единственное окно кабинета, выходившее во двор, было забрано железной решеткой с толстыми прутьями. Никому, даже самой г-же Гранде, не позволялось туда входить. Хозяин желал оставаться здесь один, как ал-

---

[1] Быстрым темпом *(итал.)*.

химик у своего горна. Здесь, разумеется, был весьма искусно устроен тайник; здесь хранились всяческие документы, здесь находились весы для взвешивания луидоров, здесь тайно по ночам писались квитанции, расписки, производились подсчеты и расчеты; и деловые люди, находя Гранде всегда готовым на любые финансовые операции, могли воображать, что к его услугам постоянно были не то фея, не то дьявол. Когда Нанета храпела так, что тряслись стены, когда волкодав сторожил и, зевая, бродил по двору, когда г-жа Гранде и Евгения спали мирным сном, несомненно, старый бочар приходил сюда ссыпать, лелеять, перебирать, пересыпать, перекладывать свое золото. Стены были толсты, ставни надежны. У него одного был ключ от этой лаборатории, где, как говорили, он рассматривал планы своих владений с обозначенными на них плодовыми деревьями и высчитывал свои прибытки до последнего отводка виноградной лозы, до малейшего прутика.

Вход в комнату Евгении был напротив этой заделанной двери. Затем, в конце площадки находились покои обоих супругов, занимавших всю переднюю часть дома. Г-жа Гранде спала в комнате, соседней с комнатой Евгении, куда вела стеклянная дверь. Комната хозяина отделялась от комнаты жены перегородкою, а от таинственного кабинета — толстой стеною.

Папаша Гранде поместил племянника на третьем этаже, в высокой мансарде, как раз над своей комнатой, чтобы слышать, когда он приходит и уходит. Дойдя до середины площадки, Евгения и ее мать перед расставаньем поцеловались; потом, сказав Шарлю на прощанье несколько слов, холодных на устах, но, несомненно, горячих в сердце девушки, они разошлись по своим комнатам.

— Вот ты и у себя, племянничек,— сказал старый Гранде, отворяя ему дверь.— Если понадобится выйти, можешь позвать Нанету. Предупреждаю, без нее собака может тебя загрызть, ты и крикнуть не успеешь. Приятного сна, спокойной ночи. Ха! Ха! наши дамы у тебя натопили,— прибавил он.

В эту минуту появилась Нанета-громадина, вооруженная грелкой.

— Это еще что за новости? — воскликнул г-н Гран-

де.—Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину? Унеси-ка уголья, Нанета.

— Да ведь простыни отсырели, хозяин, а, видать, племянник ваш неженка не хуже женщины.

— Ну уж ладно, коли вбила себе это в голову,— сказал Гранде, толкая ее за плечи,— да смотри, не зарони огня.

И скряга пошел вниз, бормоча какие-то неясные слова.

Шарль, растерявшись, остановился среди своих баулов. Он окинул взглядом стены мансарды, оклеенные, как в трактире, желтыми обоями с букетиками; потрескавшийся камин, сложенный из известняка и одним видом своим нагонявший холод; стулья желтого дерева, украшенные лакированным камышом и, казалось, имевшие более четырех углов; ночной столик с раскрытым шкафчиком, где мог бы поместиться маленький канатный плясун; тощий ковер, постланный у кровати с пологом, суконные полотнища которого, изъеденные молью, дрожали, словно собирались упасть,— затем Шарль пристально посмотрел на Нанету-громадину и сказал ей:

— Вот что, голубушка, я в самом деле у господина Гранде, бывшего сомюрского мэра, брата парижского господина Гранде?

— Да, сударь, у него са́мого, у приятнейшего, добрейшего господина. Не помочь ли вам разложить ваши сундуки?

— Да, да, помогите, пожалуйста, старый служака. А не служили ли вы в императорских моряках гвардейского экипажа?

— О-хо-хо! — произнесла Нанета.— А что же это такое — моряки в экипаже? Что же это, соленое? По воде ходит?

— Ну-ка, найдите халат, вот в этом чемодане. Нате ключ.

Нанета была потрясена, как чудом, увидев шелковый зеленый халат с золотыми цветами и с античным узором.

— И вы это наденете на ночь? — спросила она.

— Да.

— Матерь божья! Что за прекрасный вышел бы из этого покров на престол. Непременно, барин мой миленький, отдайте его в церковь. Вы душу спасете, а этак ее и

загубите. Ах, какой же вы в нем красавчик! Позову барышню поглядеть на вас.

— Ладно, Нанета, раз уж вы Нанета, помолчите. Не мешайте мне спать. Вещи свои я разложу завтра. А уж если мой халат вам так нравится, можете спасти свою душу. Я хороший христианин и подарю его вам, когда буду уезжать; делайте из него все, что вам заблагорассудится.

Нанета так и застыла на месте, глядя на Шарля во все глаза, не смея верить его словам.

— Подарить мне такой красивый наряд! — сказала она, уходя.— Это он уж во сне. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Нанета...

«За каким делом я здесь оказался? — спрашивал себя Шарль, засыпая.— Отец ведь разумный человек — какая-нибудь цель должна быть у моего путешествия. Ладно, «до завтра важные дела», как говорил какой-то греческий олух».

«Пресвятая дева! Как мил мой кузен»,— сказала про себя Евгения, прерывая молитвы,— в этот вечер они так и не были дочитаны до конца.

Госпожа Гранде, укладываясь в постель, ни о чем не думала. За дверью, находившейся посреди перегородки, она слышала, как скряга шагал взад и вперед по своей комнате. Подобно всем робким женщинам, она давно изучила характер своего властелина. Как чайка предвидит бурю, так она по неуловимым признакам всегда угадывала бури, бушевавшие в груди Гранде, и, по ее обычному выражению, она тогда лежала ни жива ни мертва.

Гранде посматривал на дверь кабинета, обитую изнутри, по его распоряжению, листовым железом, и говорил себе:

«Что за нелепая мысль пришла брату — завещать мне свое детище! Вот так наследство, нечего сказать! Я и двадцати экю дать не могу. А что такое двадцать экю для этого франта! Он так рассматривал в лорнет мой барометр, словно хотел сжечь его в печке».

Раздумывая о последствиях этого скорбного завещания, Гранде испытывал, может быть, еще большее волнение, чем брат, когда писал его.

«И это раззолоченное платье будет моим?..» — думала Нанета и, засыпая, видела себя в мечтах одетой в свой напрестольный покров, грезила о цветах, коврах, узорча-

тых шелках, в первый раз в жизни, как Евгения грезила о любви.

В чистой и безмятежной жизни девушек наступает чудесный час, когда солнце заливает лучами их душу, когда каждый цветок что-то говорит им, когда биение сердца сообщает мозгу горячую плодотворность и сливает мечты в смутном желании,— день невинного раздумья и сладостных утех. Когда ребенок впервые начинает видеть, он улыбается. Когда девушке впервые открывается непосредственное чувство, она улыбается, как улыбалась ребенком. Если свет — первая любовь в жизни, то любовь не свет ли сердцу?

Минута ясного представления об окружающем наступила и для Евгении. Ранняя птичка, как все провинциальные девушки, она поднялась на заре, помолилась и принялась за свой туалет — занятие, с этих пор получившее для нее смысл. Сначала она расчесала свои каштановые волосы, с величайшей тщательностью свернула их толстыми жгутами на голове, стараясь, чтобы ни одна прядка не выбилась из косы, и привела в симметрию локоны, оттенявшие робкое и невинное выражение ее лица, согласуя простоту прически с чистотою его линий. Она несколько раз вымыла свои прекрасные округлые руки в прозрачной холодной воде, от которой грубела и краснела кожа, и, глядя на них, задавала себе вопрос: почему у ее кузена такие мягкие белые руки и так изящно отделаны ногти, что он для этого делает. Она надела новые чулки и лучшие башмаки, она туго зашнуровалась, не пропуская ни одной петельки корсета. Наконец, желая впервые в жизни появиться одетой к лицу, она поняла, какое для женщины счастье надеть свежее, хорошо сшитое платье. Когда ее туалет был закончен, она услышала бой церковных часов и удивилась, насчитав только семь ударов. Желание побольше уделить времени на то, чтобы одеться как следует, заставило ее подняться слишком рано. Не ведая искусства по десяти раз переделывать один локон и изучать полученный эффект, Евгения просто-напросто скрестила на груди руки, села у окна и стала смотреть во двор, на узкий сад и высокие, поднимавшиеся над ним террасы: вид, наводивший грусть, ограниченный, но не лишенный таинственной красоты, свойственной местам уединенным или дикой природе. Возле кухни находился колодезь с камен-

ными закраинами; блок был укреплен на железном изогнутом рычаге, охваченном отростками виноградной лозы с блеклыми, покрасневшими осенними листьями. Отсюда лоза причудливо вилась по стене, цепляясь за нее, бежала вдоль дома и кончалась на крыше дровяного сарая, в котором дрова были уложены с такой же тщательностью, как книги на полках библиофила. Мощеный двор являл взору черноватые тона, появившиеся с течением времени от мха, травы, от недостатка движения на дворе. Толстые стены с длинными извилистыми потеками от дождей покрылись зеленоватой плесенью. Наконец, в глубине двора, у садовой калитки, высились восемь ступеней, осевших и заросших высокой травой, словно гробница рыцаря, погребенного вдовой во времена крестовых походов. Над источенным каменным основанием поднималась покосившаяся деревянная решетка, которую без помехи обвивали ползучие растения. По обеим сторонам решетчатой калитки протягивались навстречу друг другу кривые сучья старых яблонь. Прямоугольные куртины, обсаженные буксом и разделенные тремя параллельными дорожками, составляли весь сад, замыкавшийся в конце тенистыми липами. С одной стороны густо разрослись кусты малины, с другой — огромный орешник склонял свои ветви прямо к кабинету бочара. Безоблачный день и яркое солнце погожей осени, обычной на побережье Луары, уже начинали сгонять влажный налет, наброшенный ночным холодом на стены, на растения, живописно украшавшие и сад и двор.

Евгения нашла совершенно новое очарование в этой картине, прежде такой обыкновенной для нее. Тысячи неясных мечтаний рождались в ее душе и разрастались по мере того, как усиливался кругом свет солнечных лучей. Наконец пробудилось в ней смутное, необъяснимое наслаждение, которое мягко обволакивает наше духовное бытие, как облако окутывает существо телесное. Ее размышления шли в лад с подробностями своеобразного вида, который был у нее перед глазами, гармония сердца ее сливалась с гармонией природы. Когда солнце коснулось поверхности стены, густо оплетенной «венериным волосом» с плотными листьями, переливчато окрашенными, словно голубиная шея, небесные лучи надежды озарили будущее Евгении, и с той поры она полюбила смотреть

на эту стену, на бледные цветы, голубые колокольчики и увядшую траву, с которыми соединялось воспоминание, милое, как воспоминание детства. Шелест каждого листка, падавшего с ветки, слышный в этом гулком дворе, звучал ответом на тайные вопрошания девушки, и она просидела бы здесь целый день, не замечая, как бегут часы. Но потом наступило душевное смятение. Она быстро поднялась, стала перед зеркалом и посмотрелась в него, как взыскательный автор вглядывается в свое произведение и, разбирая его, беспощадно судит себя.

«Я недостаточно красива для него» — такова была мысль Евгении, мысль смиренная и горькая. Бедняжка была к себе несправедлива, но скромность, или, вернее, робость—одна из первых добродетелей любви. Евгения принадлежала к типу девушек крепкого сложения, какие встречаются в среде мелкой буржуазии, и красота ее могла иным показаться заурядной, но если она формами и походила на Венеру Милосскую, то весь облик ее был облагорожен кротостью христианского чувства, просветляющего женщину и придающего ей тонкую душевную прелесть, неведомую ваятелям древности. У нее была большая голова, мужской лоб, очерченный, однако, изящно, как у фидиева Юпитера, и серые лучистые глаза, в которых отражалась вся ее жизнь. Черты округлого лица ее, когда-то свежего и румяного, огрубели от оспы, которая была достаточно милостива, чтобы не оставить рябин, но уничтожила бархатистость кожи, все же настолько еще нежной и тонкой, что поцелуй матери оставлял на ней мимолетный розовый след. Нос был немного крупен, но гармонировал с ее ртом; алые губы, усеянные множеством черточек, были исполнены любви и доброты. Шея отличалась совершенством формы. Полная грудь, тщательно сокрытая, привлекала взгляд и будила воображение; конечно, Евгении не хватало изящества, которое придает женщине искусный туалет, но знатоку недостаточная гибкость этой высокой фигуры должна была казаться очаровательной. Нет, в Евгении, крупной и плотной, не было той миловидности, что нравится всем и каждому, но она была прекрасна той величавой красотой, которую сразу увидит плененный взор художника. Живописец, ищущий здесь, на земле, образ божественной чистоты девы Марии и высматривающий в каждой женской натуре эти

скромно-гордые глаза, угаданные Рафаэлем, этот девственный облик, иной раз являющийся случайным даром природы, но сохраняемый или приобретаемый только благодаря христианской и непорочной жизни,— такой живописец, влюбленный в столь редкий образец, увидел бы в Евгении врожденное благородство, самое себя не сознающее; он прозрел бы за спокойствием чела целый мир любви, и в разрезе глаз, в складке век—нечто божественное, невыразимое словами. Ее черты, контуры ее лица, которых никогда не искажало и не утомляло выражение чувственного удовольствия, походили на линии горизонта, так нежно обрисовывающиеся вдали, за тихими озерами. Это спокойное лицо, исполненное красок, озаренное солнцем, словно только что распустившийся цветок, веяло на душу отдохновением, отражало внутреннее очарование спокойной совести и притягивало взор. Евгения находилась еще на том берегу жизни, где цветут младенческие грезы, где собирают маргаритки с отрадою, позднее уже неизвестной. И вот, рассматривая себя, она сказала, еще не ведая, что такое любовь:

— Я совсем некрасива, он не обратит на меня внимания!

Потом она отворила дверь своей комнаты, выходившую на площадку лестницы, и, вытянув шею, прислушалась к звукам, раздававшимся в доме.

«Он еще не встает»,— подумала она, слыша, как покашливает Нанета, всегда кашлявшая по утрам, как эта усердная девица ходит по коридору, метет зал, разводит огонь, привязывает на цепь собаку и говорит с коровой в хлеву. Евгения тотчас же сошла вниз и побежала к Нанете, доившей корову.

— Нанета, милая Нанета, подай братцу сливок к кофею.

— Барышня, да ведь молоко-то для отстою надо было поставить вчера,— сказала Нанета, залившись басистым хохотом.— Не могу я сделать сливок. А братец ваш миленький, миленький, воистину миленький! Вы вот его не видали в раззолоченном да шелковом халатике. А я-то видела, видела. А белье носит он тонкое, словно стихарь у господина кюре.

— Нанета, испеки, пожалуйста, печенья.

— А где мне взять дров для духовки, да муки, да

масла? — сказала Нанета, иной раз приобретавшая в качестве первого министра Гранде огромное значение в глазах Евгении и ее матери.— Что ж мне, обворовывать его, что ли, самого-то, чтобы ублажать вашего братца?.. Спросите у него масла, муки, дров,— он вам отец, он вам и дать может. Да вот он как раз идет вниз распорядиться насчет припасов.

Евгения убежала в сад, охваченная ужасом, чуть только услышала, как дрожит лестница под шагами отца. Она уже сгорала от затаенного стыда, ибо переполняющее душу чувство счастья заставляет нас опасаться, и, может быть, не напрасно, что мысли наши написаны у нас на лбу и всем бросаются в глаза. Осознав, наконец, всю холодом веющую скудость отцовского дома, бедная девушка почувствовала досаду оттого, что ничего не может сделать, чтобы все тут было достойно ее изящного кузена. Ее томила страстная потребность что-то сделать для него, но что — она сама не знала. Простодушная и правдивая, она поддавалась влечению ангельской своей природы, была чужда недоверия и к собственным впечатлениям и к чувствам. Нежданная встреча с кузеном пробудила в ней природные склонности женщины, и они должны были развернуться тем живее, что ей уже пошел двадцать третий год и она вступила в пору расцвета умственных и телесных сил. Впервые она испытала страх при виде отца, увидела в нем владыку своей судьбы и почувствовала себя виновной, утаив от него некоторые свои мысли. Она принялась ходить по саду стремительным шагом, изумленная тем, что дышит воздухом более чистым, чувствует лучи солнца более живительными и черпает в них жар душевный, обновленную жизнь.

В то время как она придумывала хитрость, чтобы добиться к завтраку печенья, между Нанетой и Гранде поднялись пререкания, столь же редкие между ними, как редко появление ласточек зимой. Хозяин, вооруженный ключами, пришел отвешивать припасы на дневной расход.

— Осталось ли сколько-нибудь вчерашнего хлеба? — спросил он Нанету.

— Ни крошки, сударь.

Гранде взял большой круглый каравай, густо обсыпанный мукой, выпеченный в круглых плоских плетенках,

употребляемых анжуйскими булочниками, и уже хотел его разрезать, но тут Нанета сказала ему:

— Сегодня нас пятеро, сударь.

— Правда,— ответил Гранде,— но в твоем хлебе шесть фунтов, должно еще остаться. К тому же эти парижские молодчики, вот увидишь, совсем не едят хлеба.

— Они едят только *фрипп?* — спросила Нанета.

В Анжу *фрипп*, выражение народное, означает все, что намазывается на хлеб, начиная с масла — самый обычный «фрипп» — и кончая персиковым вареньем, самым изысканным из *фриппов;* и всякий, кто в детстве слизывал *фрипп* и оставлял хлеб, поймет смысл этого слова.

— Нет,— отвечал Гранде,— они не едят ни *фриппа*, ни хлеба. Они вроде разборчивых невест.

Наконец, скаредно распорядившись заказом блюд на предстоящий день, старик запер шкафы в кладовой и направился было к фруктовому саду, но Нанета остановила его:

— Сударь, дайте-ка мне теперь муки и масла, я испеку печенья детям.

— Ты что? Собираешься разграбить дом ради моего племянника?

— Столько же я думала о вашем племяннике, сколько о вашей собаке,— не больше, чем сами вы о нем думаете... Не вы ли сейчас мне выдали всего шесть кусков сахару? А мне нужно восемь.

— Вот как! Нанета, я никогда тебя такой не видел. Что у тебя в голове? Ты что, хозяйка здесь? Не будет тебе больше шести кусков сахару.

— Ну, а как же племянник ваш? С чем он кофей будет пить?

— С двумя кусками. Я без сахару обойдусь.

— Вы обойдетесь без сахару — в ваши годы! Да уж лучше я вам из своего кармана куплю.

— Не суйся не в свое дело.

Несмотря на понижение цен, сахар все-таки оставался, по мнению бочара, самым дорогим из колониальных товаров, в его представлении сахар все еще стоил шесть франков за фунт. Обыкновение экономить сахар, принятое во времена Империи, стало неискоренимою привычкою для г-на Гранде. Все женщины, даже самые просто-

ватые, умеют хитрить, чтобы поставить на своем. Нанета оставила вопрос о сахаре, чтобы добиться печенья.

— Барышня! — закричала она в окошко.— Ведь хочется вам печенья?

— Нет, нет! — ответила Евгения.

— Ладно, Нанета,— сказал Гранде, услышав голос дочери,— держи!

Открыв ларь с мукой, он насыпал мерку и прибавил несколько унций масла к куску, отрезанному раньше.

— Надо дров, чтобы духовку подтопить,— сказала неумолимая Нанета.

— Ну, так и быть, возьми сколько нужно,— отвечал он в раздумье,— только тогда уж ты нам сделай торт с фруктами и свари в духовке весь обед: не придется разводить огонь в двух местах.

— Эка! — возмутилась Нанета.— Не к чему мне это и говорить.

Гранде бросил на своего верного министра взгляд почти отеческий.

— Барышня,— закричала кухарка,— будет печенье!

Старик Гранде возвратился с фруктами и выложил первую тарелку на кухонный стол.

— Гляньте-ка, сударь, что за красота сапоги у вашего племянника,— сказала Нанета.— Кожа-то какова и до чего хорошо пахнет! А чем это чистят? Нужно ли их смазывать вашей яичной ваксой?

— Думаю, Нанета, что яичной ваксой можно такую кожу испортить. Лучше скажи ему, что ты не знаешь, как чистят сафьян. Да, это сафьян. Он сам купит в Сомюре и даст тебе, чем начищать эти сапоги. Я слыхал, будто для них в ваксу прибавляют сахару, чтобы лучше блестело.

— Так, верно, это и на вкус хорошо! — сказала служанка, поднося сапоги к носу.— Ну, ну! Они пахнут, как барынин одеколон. Вот так потеха!

— Потеха? — повторил хозяин.— По-твоему, потеха просаживать на сапоги уйму денег. Тот, кто их носит, сам таких денег не стоит.

— Сударь,— сказала она, когда хозяин пришел второй раз, уже заперев калитку фруктового сада,— не хотите ли раз-другой в неделю подать к столу бульон — по случаю приезда...

— Ладно.

— Придется сбегать в мясную.

— Вовсе не надо: ты сваришь нам бульон из птицы, фермеры зададут тебе работы. Вот я скажу Корнуайе настрелять мне воронов. Из воронов выходит лучший бульон на свете.

— А правда, сударь, будто вороны едят мертвецов?

— Ты дура, Нанета! Они, как и все на свете, едят, что найдут. Разве мы-то не живем мертвецами? А наследство что такое?

Закончив распоряжения, папаша Гранде вынул часы и, видя, что завтрака еще ждать полчаса, взял шляпу, пошел к дочери поцеловать ее и сказал:

— Не хочешь ли прогуляться по берегу Луары на мои луга? У меня там есть дело.

Евгения пошла надеть соломенную шляпу, подбитую розовой тафтой; затем отец с дочерью спустились по извилистой улице к площади.

— Куда это вы в такую рань? — спросил нотариус Крюшо, повстречавшийся Гранде.

— Кое-что посмотреть,—отвечал старик, которого не ввела в обман утренняя прогулка приятеля.

Когда папаша Гранде шел «кое-что посмотреть», нотариус по опыту знал, что тут можно кое-что заработать. И он пошел вместе с Гранде.

— Пойдемте, Крюшо,— сказал тот нотариусу.— Мы с вами друзья. Вот я вам докажу, до чего глупо сажать тополя на хороших землях.

— А вы ни во что считаете шестьдесят тысяч франков, которые вы выручили за тополя с ваших лугов на Луаре? — сказал Крюшо, недоуменно вытаращив глаза.— И повезло же вам! Срубили тополя как раз, когда в Нанте был недохват белого дерева, и сбыли по тридцать франков!

Евгения слушала, не подозревая, что близится страшная минута ее жизни, что нотариус даст повод ее отцу и повелителю произнести над нею приговор.

Гранде дошел до принадлежавших ему великолепных лугов по берегу Луары; там были заняты тридцать работников, они расчищали, засыпали и уравнивали места, прежде занятые тополями.

— Любезный Крюшо, посмотрите, какой кусок земли занимает каждый тополь,— сказал Гранде нотариусу.—

Жан! — крикнул он работнику.— П... п... прикинь-ка меркой по... по... всем направлениям!

— Четыре раза по восьми футов,— отвечал работник, примерив.

— Тридцать два фута потери,— обратился Гранде к Крюшо.— У меня в этом ряду было триста тополей, не так ли? Стало быть, т... т... триста раз по т... т... тридцать два фута... эти тополя съедали у меня п... п... пятьсот вязанок сена. Прибавьте ровно вдвое по краям — полторы тысячи; да средние ряды по столько же. Скажем, ты... ты... тысяча вязанок сена.

— Итого,— поспешил Крюшо на помощь приятелю,— тысяча вязанок такого сена стоит около шестисот франков.

— П... п... правильнее — ты... ты... тысяча двести франков, п... потому что от трехсот до четырехсот франков дает отава. Так вот по... по... по... подсчитайте: т... т... т... тысяча двести франков в год за... за... сорок лет да... да... дадут с сложными п... п... процентами — вы сами з... з... знаете...

— Считайте шестьдесят тысяч франков,— сказал нотариус.

— Вот я и говорю! В... в... всего только шестьдесят тысяч франков. Дело в том,— продолжал винодел, уже не заикаясь,— что две тысячи сорокалетних тополей не дали бы мне пятидесяти тысяч франков. Здесь убыток. И вот я это подсчитал,— сказал Гранде вызывающе.— Жан,— продолжал он,— засыпай все ямы, кроме тех, что у берега Луары,— в них посади те тополя, которые я купил. Посадим их корнями к воде, они и будут жить на казенный счет,— прибавил он, оборачиваясь в сторону Крюшо, и шишка на его носу произвела легкое движение, что соответствовало самой насмешливой улыбке.

— Это ясно: тополя следует сажать только на плохой земле,— сказал Крюшо, пораженный расчетами Гранде.

— Да-с, сударь мой,—иронически ответил бочар.

Евгения любовалась великолепным видом на Луару, не вникая в выкладки отца, но вскоре стала прислушиваться к словам Крюшо, услыхав, как он сказал своему клиенту:

— Так вот как! Вы из Парижа зятя себе выписали! Во всем Сомюре только и разговору, что о вашем племян-

нике. Скоро мне придется свадебный контракт составлять,— а, папаша Гранде?

— Вы... вы... вы... так рано вы... вышли, чтобы мне это сообщить? — заговорил вновь Гранде, и этот вопрос сопровождался движением шишки на носу.— Ну, ладно, ст... т... тарый приятель, я буду откровенен и скажу вам то, что вы... вы же... желаете узнать. Я предпочел бы, извольте видеть, б... б... бросить свою дочь в Луару, чем вы... вы... выдать ее за этого ку... ку... кузена: мо... мо... можете объявить об этом. Да нет, п... п... пусть люди бо... болтают.

Такой ответ ошеломил Евгению. Смутные надежды, начинавшие пробиваться в ее сердце, вдруг расцвели, получили бытие и предстали купою цветов, которые теперь на ее глазах срезали и швырнули на землю. Со вчерашнего дня она привязалась к Шарлю всеми узами счастья, соединяющего душу; отныне же эти узы должно было укреплять страдание. Не свойственно ли благородному предназначению женщины больше соприкасаться с величием страдания, нежели с великолепием счастья? Как могло отеческое чувство погаснуть в сердце ее отца? В каком же преступлении виноват был Шарль? Мучительная загадка! Едва возникшую любовь ее, тайну столь глубокую, уже окутывали другие тайны. На обратном пути ноги ее дрожали, и, когда она дошла до старой темной улицы, обычно такой радостной для нее, все тут показалось Евгении унылым; она почувствовала меланхолию, запечатленную былыми веками и событиями. Она уже усваивала все, чему учит любовь. За несколько шагов до дома она опередила отца и, постучавшись, остановилась у калитки, поджидая его. Но Гранде, видя в руке нотариуса газету еще в бандероли, спросил его:

— Как с процентными бумагами?

— Вы не хотите меня слушать,— ответил ему Крюшо.— Покупайте их скорее, еще можно в два года нажить двадцать на сто. На восемьдесят тысяч франков, помимо великолепных процентов, набежит пять тысяч ливров ренты. Курс теперь восемьдесят франков пятьдесят сантимов.

— Посмотрим! — отвечал Гранде, потирая подбородок.

— Боже мой! — воскликнул нотариус, развернув газету.

— В чем дело? — спросил Гранде.

Крюшо сунул газету ему в руки со словами: «Прочтите эту заметку».

«Вчера после обычного появления на бирже застрелился г. Гранде, один из наиболее уважаемых коммерсантов Парижа. Он успел послать председателю палаты депутатов заявление об отставке, а также сложил с себя обязанности члена коммерческого суда. Причина самоубийства — разорение, вызванное несостоятельностью нотариуса г. Рогена и биржевого маклера г. Суше. Уважение, которым пользовался г. Гранде, и его кредит были, тем не менее, таковы, что он, несомненно, нашел бы поддержку в парижском коммерческом мире. Нельзя не сожалеть, что этот почтенный человек поддался первому порыву отчаяния...» и пр.

— Я это знал,— спокойно сказал старый винодел нотариусу.

Эти слова обдали холодом Крюшо, и, несмотря на подобающее нотариусу бесстрастие, у него мороз пробежал по спине при мысли, что парижский Гранде, может быть, тщетно взывал с мольбой к миллионам сомюрского Гранде.

— А сын его такой был вчера веселый...

— Он еще ничего не знает,— отвечал Гранде так же спокойно.

— Прощайте, господин Гранде,— сказал Крюшо; он все понял и отправился успокоить председателя де Бонфона.

Войдя в зал, Гранде застал завтрак на столе. Евгения бросилась на шею матери, целуя ее с страстной нежностью, ища утешения в тайной своей печали; г-жа Гранде уже сидела в кресле с подпорками и вязала себе на зиму фуфайку.

— Можете кушать,— сказала Нанета, спускаясь с лестницы сразу через три ступеньки.— Мальчик спит, словно херувим. До чего же он мил с закрытыми глазками! Вошла я, позвала его. Не тут-то было: ни гу-гу.

— Оставь его, пускай спит,— сказал Гранде,— се-

годня чем позже проснется, тем позже услышит дурную весть.

— Что случилось? — спросила Евгения, положив себе в кофе два крошечных кусочка сахара, весивших трудно сказать по скольку граммов· старик любил сам колоть на досуге сахар. Г-жа Гранде, не смея задать тот же вопрос, только взглянула на мужа.

— Отец его застрелился.

— Дядюшка?..— произнесла Евгения.

— Бедный юноша! — воскликнула г-жа Гранде.

— Да, бедный,— продолжал Гранде.— У него нет ни гроша.

— А он-то спит, словно царь земной,— сказала Нанета растроганным голосом.

Евгения перестала есть. Сердце ее сжалось, как сжимается оно, когда впервые страдание, рожденное несчастием любимого, охватывает все существо женщины. Слезы полились у нее из глаз.

— Ты и не знала дяди, чего же ты плачешь? — сказал ей отец, бросая на нее взгляд голодного тигра,— таким же взглядом он, вероятно, смотрел на свои груды золота.

— Ну, сударь,— сказала служанка,— как же не пожалеть этого бедненького молодчика. Спит себе, как убитый, а судьбы своей и не знает!

— Я не с тобой разговариваю, Нанета! Помалкивай.

Евгения поняла в эту минуту, что женщина, которая любит, постоянно должна скрывать свои чувства. Она ничего не ответила.

— Пока я не вернусь, вы, надеюсь, ни о чем с ним не будете говорить, госпожа Гранде,— продолжал старик.— Мне надо пойти сказать, чтобы выровняли канаву вдоль дороги у моих лугов. Я буду дома в полдень, ко второму завтраку, и поговорю с племянником об его делах. А ты, сударыня моя, Евгения, коли ты об этом франте плачешь, так пора кончить с этим, дитя мое. Он живо отправится в Ост-Индию. Ты его больше не увидишь.

Отец взял перчатки с полей шляпы, надел их с обычным спокойствием, расправил, натянул хорошенько на пальцы и вышел.

— Ах, маменька, я задыхаюсь! — всхлипнула Евгения, оставшись одна с матерью.— Я никогда так не страдала...

Госпожа Гранде, видя, что дочь побледнела, распахнула окно, чтобы дать ей подышать свежим воздухом.

— Мне лучше,— сказала Евгения минуту спустя.

Это нервное возбуждение натуры, до сих пор как будто спокойной и холодной, подействовало на г-жу Гранде, она посмотрела на дочь с тем сочувственным проникновением, каким одарены матери, горячо любящие своих детей,— и угадала все. Да и в самом деле, жизнь известных сестер-венгерок, игрою природы сращенных одна с другой, была связана не теснее, чем жизнь Евгении и ее матери, они всегда были вместе, и в этой нише окна, и в церкви, и во сне дышали одним и тем же воздухом.

— Бедное дитя мое,— сказала г-жа Гранде, обхватив обеими руками голову Евгении и прижав ее к своей груди.

При этих словах девушка приподняла голову, посмотрела на мать вопрошающим взглядом, угадала ее сокровенные мысли и сказала ей:

— Зачем посылать его в Индию? Раз он несчастен, не следует ли ему оставаться здесь? Ведь он самый близкий нам родственник?

— Да, дитя мое, это было бы вполне естественно. Но у отца твоего есть свои соображения, мы обязаны их уважать.

Мать и дочь в молчании сели к окну — одна на стул с подпорками, другая — в свое креслице, и обе снова принялись за работу. Чувствуя признательность за удивительную чуткость сердца, выказанную матерью, Евгения поцеловала ей руку.

— Какая ты добрая, мама милая!

От этих слов увядшее за годы страданий лицо матери просияло.

— Он тебе нравится? — спросила Евгения.

Госпожа Гранде ответила лишь улыбкой; потом, после минутного молчания, сказала тихо:

— Неужели ты уже любишь его? Это было бы нехорошо.

— Нехорошо? — возразила Евгения.— Почему? Тебе он нравится, нравится Нанете, почему же не может он понравиться мне? Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака.

Она бросила свою работу, мать сделала то же, говоря ей:

— Ты с ума сошла!

Но ей захотелось разделить безумие дочери, чтобы его оправдать...

Евгения позвала Нанету.

— Что вам еще, барышня?

— Нанета, будут у тебя сливки к полднику?

— Ладно, к полднику-то будут,— отвечала старая служанка.

— Ну, а пока подай ему кофе покрепче. Я слышала, как господин де Грассен говорил, что в Париже варят очень крепкий кофе. Положи его побольше.

— А где мне его взять?

— Купи.

— А если мне встретится хозяин?

— Он ушел на свои луга.

— Ладно, сбегаю, куплю. А только господин Фессар и так уже спрашивал, когда отпускал мне восковую свечку, не зашли ли к нам три волхва? Теперь весь город узнает, как мы раскутились.

— Если отец что-нибудь заметит,— сказала г-жа Гранде,— он готов будет нас поколотить.

— Ну и что ж, и поколотит, мы на коленях примем его удары.

Вместо всякого ответа г-жа Гранде подняла глаза к небу. Нанета надела чепчик и вышла. Евгения достала белоснежную скатерть, пошла взять несколько гроздьев винограда, которые любила развешивать в амбаре на веревках; она тихонько прошла по коридору, чтобы как-нибудь не разбудить кузена, и не удержалась — прислушалась у двери к его ровному, спокойному дыханию.

«Он спит, а несчастье сторожит»,— сказала она про себя.

Нарвав самых свежих виноградных листьев, она уложила виноград так привлекательно, как это сумел бы сделать старый дворецкий, и торжественно принесла тарелку на стол. В кухне она похитила груши, сосчитанные отцом, и уложила их пирамидой, украсив ее листьями. Она ходила взад и вперед, бегала, прыгала. Она была бы способна опустошить отцовский дом, но ключи решительно ото всего были у отца. Нанета возвратилась и принесла

два свежих яйца. Увидев яйца, Евгения готова была броситься ей на шею.

— Встретила фермера с Пустоши, гляжу — у него в корзине яйца; я попросила — дай парочку, голубчик, он и дал, чтобы сделать мне удовольствие.

Прохлопотав целых два часа, в продолжение которых Евгения раз двадцать бросала работу, чтобы сбегать посмотреть, не кипит ли кофе, чтобы пойти и прислушаться, не встает ли кузен, она добилась, что был приготовлен завтрак очень простой, дешевый, но который был чудовищным нарушением закоренелых обычаев в доме. За полуденным завтраком обыкновенно не садились. Каждый брал со стола немножко хлеба, масла или что-нибудь из фруктов и стакан вина.

Окинув взглядом стол, переставленный к камину, кресло перед прибором кузена, бутылку белого вина, хлеб и кучку сахара на блюдце, Евгения задрожала всем телом, только тут представив, какие взгляды метал бы на нее отец, если бы случайно вошел в эту минуту. Она то и дело посматривала на часы, чтобы рассчитать, успеет ли кузен позавтракать до возвращения старика Гранде.

— Будь покойна, Евгения: если отец раньше времени вернется, я все возьму на себя,— сказала г-жа Гранде.

Евгения, не сдержав волнения, уронила слезу.

— Ах, милая маменька,— воскликнула она,— я недостаточно тебя любила!

Шарль, напевая, долго прохаживался по комнате, затем спустился вниз. Было, к счастью, только одиннадцать часов. Уж этот парижанин! Он оделся с таким щегольством, как будто очутился в замке той благородной дамы, что путешествовала по Шотландии. Он вошел с приветливым и веселым видом, что так к лицу молодости, но его улыбка грустной радостью отозвалась в сердце Евгении. Шарль уже посмеивался над разрушением своих анжуйских замков и совсем весело подошел к тетке.

— Хорошо ли вы провели ночь, дорогая тетушка? А вы, кузина?

— Хорошо, сударь. А вы? — сказала г-жа Гранде.

— Я — превосходно.

— Вы, верно, проголодались, братец,— сказала Евгения,— садитесь за стол.

— Нет, я никогда не завтракаю раньше двенадцати, потому что обычно встаю лишь в полдень. Однако после дорожного образа жизни мне уж это неважно. Впрочем...

Он вынул очаровательные плоские часы работы Бре-гета.

— Как? Только еще одиннадцать? Рано я поднялся.

— Рано? — удивилась г-жа Гранде.

— Да, но мне хотелось заняться делами. Пожалуй, я с удовольствием съем что-нибудь, так, пустячок — кусочек дичи, куропатку.

— Матерь божья! — вскричала Нанета при этих словах.

«Куропатку!» — мысленно повторила Евгения: она бы с радостью отдала за куропатку все свои сбережения.

— Садитесь, пожалуйста,— обратилась к нему тетка.

Денди грациозно опустился в кресло, как хорошенькая женщина усаживается на диван. Евгения с матерью придвинули стулья и сели возле него перед камином.

— Вы постоянно здесь живете? — спросил их Шарль, которому зал при дневном свете показался еще безобразнее, чем при свечах.

— Постоянно,— отвечала Евгения, глядя на него.— Кроме поры сбора винограда. Тогда мы отправляемся на помощь Нанете и живем все в аббатстве Нуайе.

— Вы никогда не гуляете?

— Иногда по воскресеньям, после вечерни, если хорошая погода,— сказала г-жа Гранде,— мы ходим на мост или же посмотреть, как косят сено.

— Есть у вас тут театр?

— Ходить на представления? — воскликнула г-жа Гранде.— Смотреть комедиантов? Но неужели вы не знаете, сударь, что это смертный грех?

— Кушайте, сударь,— сказала Нанета, ставя на стол яйца,— мы вам подадим цыплят в скорлупке.

— А, свежие яйца! — сказал Шарль, который, как человек, привыкший к роскоши, уже и не думал о куропатке.— Да это чудесно! А нельзя ли масла, а, голубушка?

— Ладно, масла! Только уж тогда не будет вам печенья,— сказала служанка.

— Подай же масла, Нанета! — воскликнула Евгения.

Девушка наблюдала, как ее кузен резал узенькие кусочки хлеба, и находила в этом такое же удовольствие,

как самая чувствительная парижская гризетка, глядя на представление мелодрамы, где порок наказан и торжествует добродетель. Правда, Шарль, воспитанный баловницей матерью, окончательно отшлифованной модной барыней, отличался щегольством изящных и мелких движений, какие бывают у манерных женщин. Сочувствие и нежность молодой девушки обладают в самом деле магнетической силой влияния. Поэтому Шарль, чувствуя особую заботливость кузины и тетки, не мог не поддаться воздействию чувств, щедро изливаемых на него. Он бросил на Евгению взгляд, сиявший добротой и ласковостью, взгляд, который, казалось, улыбался.

Рассматривая Евгению, он заметил гармонию черт этого ясного лица, всю ее невинную повадку, чарующий свет ее глаз, говоривших о мечтах юной любви, о желаниях, не ведавших страсти.

— Ей-богу, милая кузина, появись вы в вечернем туалете в ложе оперного театра,— я вам ручаюсь, тетушка оказалась бы права,— вы бы ввели мужчин в тяжкий грех вожделения, а женщинам внушили бы ревность.

От этого комплимента у Евгении забилось сердце, и она затрепетала от радости, хотя ничего в нем не поняла.

— Ах, кузен, вам хочется посмеяться над бедной провинциалкой.

— Если бы вы меня знали, кузина, вы поверили бы, что я ненавижу насмешку: она сушит сердце, оскорбляет все чувства.

И он очень мило проглотил кусочек хлеба с маслом.

— Нет, у меня, вероятно, не хватает остроты ума, чтобы смеяться над другими, и этот недостаток мне очень мешает. В Париже умеют убить человека, сказав: «У него доброе сердце». Эта фраза означает: «Бедный малый глуп, как носорог». Но, так как я богат и, что всем известно, попадаю в мишень на открытом месте с первого выстрела в тридцати шагах, из пистолета любой системы,— насмешники остерегаются задевать меня.

— Ваши слова, племянник, показывают, что у вас доброе сердце.

— Какое у вас красивое кольцо,— сказала Евгения.— Не будет нескромностью попросить его у вас посмотреть?

Сняв с руки кольцо, Шарль подал его Евгении; при-

нимая это кольцо, она покраснела, чуть коснувшись кончиками пальцев розовых ногтей кузена.

— Посмотрите, маменька, что за прекрасная работа!

— Ого, тут золота немало,— заявила Нанета, подавая кофе.

— Что это такое? — спросил Шарль смеясь.

И он указал на продолговатый темный глиняный горшочек, муравленный, покрытый внутри белой глазурью, с бахромой золы по краям; на дно его спускался кофе, поднимаясь затем на поверхность кипящей жидкости.

— Это *взваренный* кофей,— сказала Нанета.

— Ах, тетушка, я оставлю хоть какой-нибудь благотворный след моего приезда сюда. Вы ужасно отстали! Я вас научу варить хороший кофе в кофейнике а ля Шапталь,— и он попытался объяснить устройство этого кофейника.

— Чего там, ежели с этим столько возни,— сказала Нанета.— Так и жизни не хватит. Никогда я этак не стану кофей варить. Ладно! А кто же корове травы задаст, покуда я буду с кофеем возиться?

— Я сама буду варить,— сказала Евгения.

— Дитя! — произнесла г-жа Гранде, глядя на дочь.

При этом слове, напоминавшем о горе, готовом обрушиться на молодого человека, все три женщины умолкли и посмотрели на него с таким явным состраданием, что он был поражен.

— Что с вами, кузина?

— Т-сс! — остановила г-жа Гранде Евгению, готовую ответить.— Ты знаешь, дочь моя, что папенька собирается говорить с господином...

— Называйте меня просто Шарль,— сказал молодой Гранде.

— Ах, вас зовут Шарль? Прекрасное имя! — воскликнула Евгения.

Несчастья, которые предчувствуют, почти всегда случаются. Нанета, г-жа Гранде и Евгения, которые не могли без содрогания подумать о возвращении старого бочара, услышали удары молотка — стук, хорошо им знакомый.

— Вот папенька! — сказала Евгения.

Она убрала блюдечко с сахаром, оставив несколько кусков на скатерти. Нанета унесла тарелку с яичной скорлупой. Г-жа Гранде вскочила, как испуганная лань. Этот

панический страх изумил Шарля, он не мог его объяснить себе.

— Да что же это с вами? — спросил он их.

— Ведь это папенька,— сказала Евгения.

— Так что же?

Господин Гранде вошел, бросил свой острый взгляд на стол, на Шарля и понял все.

— Эге! Вы устроили праздник племяннику,—хорошо, очень хорошо, чрезвычайно хорошо! — произнес он не заикаясь.— Когда кот бегает по крышам, мыши пляшут на полу.

«Праздник?» — с удивлением подумал Шарль, не зная еще образа жизни и нравов этого дома.

— Подай мой стакан, Нанета,— сказал хозяин.

Евгения принесла стакан. Гранде вынул из кармана нож в роговой оправе с широким лезвием, отрезал ломтик хлеба, взял кусочек масла, тщательно его намазал на хлеб и стоя приступил к еде. В эту минуту Шарль клал сахар себе в кофе. Старый Гранде заметил куски сахара, пристально посмотрел на жену, та побледнела и подошла к нему; он наклонился к уху несчастной старухи и спросил:

— Где же это вы взяли столько сахару?

— Нанета сходила и купила у Фессара, у нас не было сахару.

Невозможно представить себе глубокую значительность этой сцены для трех женщин: Нанета вышла из кухни и заглядывала в зал, чтобы узнать, чем разрешится это дело. Шарль, отхлебнув кофе, нашел его недостаточно сладким и поискал взглядом сахар, но Гранде уже зажал сахар в руках.

— Что вам угодно, племянник? — спросил старик.

— Сахару.

— Подлейте молока,— ответил хозяин дома,— кофе будет слаще.

Евгения взяла блюдечко с сахаром, которое Гранде было захватил, и поставила его на стол, глядя на отца со спокойным видом. Право, парижанка, которая для облегчения бегства любовнику поддерживает слабыми руками шелковую лестницу, выказывает не больше храбрости, чем проявила ее Евгения, ставя сахар обратно на стол. Любовник вознаградит парижанку, когда она с гордостью покажет ему прекрасную онемевшую руку, каждая жилка

которой будет орошена его слезами, покрыта поцелуями и исцелена наслаждением, между тем как Шарлю никогда не суждено было проникнуть в тайну глубоких волнений, сокрушавших сердце кузины, сраженное в ту минуту взглядом бочара.

— Отчего ты не ешь, жена?

Бедная рабыня подошла, с жалким видом отрезала кусочек хлеба и взяла грушу. Евгения отважно предложила отцу винограда.

— Попробуй же моих запасов, папенька! Братец, вы скушаете, не правда ли? Я нарочно принесла для вас эти прекрасные гроздья.

— О, если их не остановить, они для вас, племянничек, весь Сомюр разорят. Когда вы кончите, пойдемте в сад, мне нужно вам сказать кое-что совсем не сладкое.

Евгения и мать бросили на Шарля взгляд, значение которого он не мог не понять.

— Что означают эти слова, дядюшка? Со смерти моей бедной матери... (при этих словах голос его дрогнул) уж нет несчастия, для меня возможного...

— Милый Шарль, кто может знать, какими скорбями господь желает нас испытать? — сказала ему тетка

— Та-та-та-та! — сказал Гранде.— Уже начинаются глупости. Мне досадно смотреть на ваши холеные, белые руки.

Он показал племяннику свои руки, похожие на бараньи лопатки, которыми наградила его природа.

— Вот руки, не вашим чета, руки, созданные для того, чтобы собирать золото! Мы набиваем бумажники банковыми билетами, а вот вы были воспитаны так, что носите сапожки из кожи, предназначенной для выделки бумажников. Скверно, племянничек, скверно!

— Что вы хотите сказать, дядюшка? Пусть меня повесят, если я понимаю хоть слово.

— Пойдемте,— сказал Гранде.

Скряга защелкнул нож, допил вино и отворил дверь.

— Кузен, будьте мужественны!

Особая выразительность восклицания девушки оледенила Шарля, он в смертельной тревоге последовал за грозным родственником. Евгения, мать и Нанета перешли в кухню, побуждаемые непреодолимым влечением последить за двумя действующими лицами той сцены, которая

должна была развернуться в сыром садике, где дядя сначала молча прохаживался с племянником.

Гранде не пугала необходимость сообщить Шарлю о смерти отца, но он испытывал нечто вроде сострадания, зная, что тот остался без гроша, и скряга подыскивал выражения, чтобы смягчить эту жестокую правду. «Вы потеряли отца» — этим ничего не было бы сказано. Отцы по закону природы умирают раньше детей. Но сказать: «Вы потеряли все свое состояние» — в этих словах соединились все земные несчастья. И старик в третий раз молча прошелся по средней аллее; песок хрустел под его ногами. В великих событиях жизни душа крепкими узами связывается с теми местами, где на нас обрушивается горе или изливается радость. Так и Шарль с особым вниманием всматривался в кусты букса, в поблеклые, опадавшие листья, в неровности стен, в причудливые выгибы фруктовых деревьев — живописные подробности, которым было суждено навек врезаться в его память, сочетаться с этим страшным мгновением путем особой мнемотехники, свойственной страданиям.

— Какая теплынь! Прекрасная погода! — сказал Гранде, глубоко вдыхая воздух.

— Да, дядюшка, но зачем...

— Так вот, мой милый,— продолжал дядя,— я должен сообщить тебе плохие вести. Отец твой очень болен...

— Зачем же я здесь? — воскликнул Шарль.— Нанета,— закричал он,— почтовых лошадей! Ведь я найду здесь коляску? — прибавил он, оборачиваясь к дяде, стоявшему неподвижно.

— Лошади и коляска бесполезны,— отвечал Гранде, глядя на Шарля, который стоял молча, с остановившимися глазами.— Да, бедный мальчик, ты догадываешься. Он умер. Но это ничего. Дело серьезнее,— он застрелился...

— Отец?

— Да. Но и это ничего. Газеты толкуют об этом, как будто они имеют на то право. На вот, прочти.

Гранде, взявший газету у Крюшо, развернул роковую статью перед глазами Шарля. В эту минуту бедный молодой человек, еще ребенок, еще в том возрасте, когда чувства проявляются непосредственно, залился слезами.

«Ну, обошлось! — подумал Гранде.— Глаза его меня пугали. Он плачет — он спасен».

— Это еще ничего, мой бедный мальчик,— сказал Гранде, не зная, слушает ли его Шарль,— это ничего, ты утешишься, но...

— Никогда! Никогда! Отец! Отец!

— Он тебя разорил, ты остался ни с чем.

— Что мне до этого? Где мой отец... Отец!

Плач и рыдания звучали в этих стенах с ужасающей силой и отдавались эхом. Три женщины, охваченные жалостью, плакали: слезы так же заразительны, как и смех. Шарль, не слушая дяди, выбежал во двор, разыскал лестницу, поднялся в свою комнату и упал поперек кровати, зарывшись лицом в одеяла, чтобы поплакать вволю подальше от родных.

— Надо дать вылиться первому ливню,— сказал Гранде, возвращаясь в зал, где Евгения с матерью быстро заняли свои места и, вытерев глаза, работали дрожащими руками.— Но этот молодчик никуда не годится: он больше занят покойниками, чем деньгами.

Евгения вздрогнула, услышав, что отец так говорит о самом святом страдании. С этой минуты она стала судить своего отца. Рыдания Шарля, хотя и приглушенные, раздавались в этом гулком доме, и его глухие стоны, которые, казалось, шли из-под земли, постепенно ослабевая, стихли только к вечеру.

— Бедный юноша! — сказала г-жа Гранде.

Роковое восклицание! Старик Гранде посмотрел на жену, на Евгению, на сахарницу; он вспомнил необыкновенный завтрак, приготовленный для несчастного родственника, и стал посреди зала.

— Вот что! Надеюсь,— сказал он с обычным своим спокойствием,— вы прекратите это мотовство, госпожа Гранде. Я не на то даю вам деньги, чтобы пичкать сахаром этого щеголя.

— Маменька здесь ни при чем,— сказала Евгения,— это все я...

— Уж не по случаю ли совершеннолетия,— прервал дочь Гранде,— ты собралась мне перечить? Подумай, Евгения...

— Папенька, разве можно, чтобы сын вашего брата, приехав к вам, нуждался в...

— Та-та-та-та! — ответил бочар четырьмя тонами хроматической гаммы.— То сын брата, то племянник! Этот Шарль для нас ничто, у него ни гроша, отец его банкрот, и когда этот франт наплачется досыта, он отсюда уберется вон: не желаю, чтоб он мне дом мутил.

— Папенька, а что такое банкрот? — спросила Евгения.

— Оказаться банкротом,— отвечал отец,— это значит совершить самое позорное из всех деяний, какие могут опозорить человека.

— Это, должно быть, большой грех,— сказала г-жа Гранде,— и брат ваш, пожалуй, будет осужден на вечные муки.

— Ну, завела канитель! — сказал старик, пожимая плечами.— Банкротство, Евгения,— продолжал он,— это кража, которой закон, к сожалению, мирволит. Люди доверили свое имущество Гильому Гранде, полагаясь на его доброе имя и честность, а он, взявши все, разорил их, и теперь они слезы кулаками утирают. Разбойник с большой дороги — и тот лучше несостоятельного должника: грабитель на вас нападает, вы можете защищаться, он хоть рискует головой, а этот... Короче говоря, Шарль опозорен.

Эти слова отозвались в сердце бедной девушки и пали на него всей своей тяжестью. Чистая душой, как чист и нежен цветок, родившийся в лесной глуши, она не знала ни правил света, ни его обманчивых рассуждений, ни его софизмов; она доверчиво приняла жестокое объяснение, какое дал ей отец относительно банкротства, намеренно умолчав о разнице между банкротством неумышленным и злостным.

— Значит, вы, папенька, не могли отвратить эту беду?

— Брат со мной не посоветовался. К тому же у него долгов на четыре миллиона.

— А что такое миллион, папенька? Сколько это денег? — спросила Евгения с простодушием ребенка, который уверен, что немедленно получит желаемое.

— Миллион? — сказал Гранде.— Да это миллион монет по двадцать су.— Нужно пять монет по двадцать су, чтобы получить пять франков, а двести тысяч таких монет составят миллион.

— Боже мой, боже мой! — воскликнула Евгения.— Как же это у дяденьки могло быть у одного целых четыре миллиона? Есть ли еще кто-нибудь во Франции, у кого может быть столько миллионов?

Старик Гранде поглаживал подбородок, улыбался, и, казалось, шишка на его носу расплывалась.

— Но что же будет с братцем Шарлем?

— Он отправится в Ост-Индию и там, согласно воле отца, постарается составить себе состояние.

— А есть ли у него деньги на дорогу?

— Я оплачу его путешествия... до... ну, до Нанта.

Евгения бросилась отцу на шею.

— Ах, папенька, какой вы добрый!

Она с такой нежностью целовала отца, что заставила Гранде почти устыдиться, в нем чуть-чуть зашевелилась совесть.

— Много нужно времени, чтобы накопить миллион? — спросила Евгения.

— Еще бы! — сказал бочар.— Ты знаешь, что такое наполеондор? Так вот, их нужно пятьдесят тысяч, чтобы получился миллион.

— Маменька, мы закажем для него напутственный молебен.

— Я тоже думала.

— Так и есть! Вам бы только тратить деньги! — вскричал отец.— Вы что думаете — у меня сотни тысяч?

В эту минуту в мансарде раздался глухой стон, еще более скорбный, чем прежде; Евгения и ее мать похолодели от ужаса.

— Нанета, подымись наверх и посмотри, не покончил ли он с собой,— сказал Гранде.— Ну вот,— продолжал он, оборачиваясь к жене и дочери, побледневшим от его слов,— бросьте глупости вы обе! Я ухожу! Надо обломать наших голландцев, они уезжают сегодня. Потом зайду к Крюшо поговорить обо всем этом.

Он ушел. Когда Гранде затворил за собой дверь, Евгения и мать облегченно вздохнули. До этого утра дочь никогда не чувствовала себя принужденно в присутствии отца, но за эти несколько часов ее мысли и чувства менялись с каждой минутой.

— Маменька, сколько луидоров получают за бочку вина?

— Отец продает вино от ста до полутораста франков за бочку; иногда берет по двести, как я слышала.

— Если он выделывает по тысяче четыреста бочек вина...

— Право, дитя мое, я не знаю, сколько это выходит: отец никогда не рассказывает мне о своих делах.

— Да ведь тогда папенька, наверно, богат.

— Может быть. А только господин Крюшо мне говорил, что два года назад он купил Фруафон. Должно быть, он теперь стеснен в средствах.

Евгения ничего не могла понять в размерах состояния отца и остановилась в своих подсчетах.

— Он меня вовсе не заметил, красавчик,— сказала Нанета возвратившись.— Лежит на постели, как теленок, и плачет навзрыд. Жалко смотреть на него! До чего же горюет бедненький молодчик!

— Пойдемте же скорее утешить его, маменька. А если постучатся, мы сейчас же спустимся.

Госпожа Гранде не в силах была воспротивиться гармоническим звукам голоса дочери. Евгения была возвышенно прекрасна: в ней проснулась женщина. У обеих сильно бились сердца, когда они поднимались к комнате Шарля. Дверь была отворена настежь. Юноша ничего не видел и не слышал. Заливаясь слезами, он что-то приговаривал и жалостно стонал.

— Как он любит отца! — тихо сказала Евгения.

Невозможно было в самом звуке ее голоса не распознать надежд сердца, неведомо для себя охваченного страстью. И г-жа Гранде бросила на дочь свою взгляд, исполненный материнской любви; затем, едва слышно, шепнула ей на ухо:

— Берегись, ты можешь полюбить его.

— Его любить! — отозвалась Евгения.— О, если бы ты только знала, что сказал отец!

Шарль обернулся, увидел тетку и кузину.

— Я лишился отца. Бедный мой, зачем он не захотел доверить мне тайну своего несчастья! Мы стали бы вместе работать, чтобы все поправить! Боже мой! Отец! Дорогой мой! Я так был уверен, что мы скоро увидимся, что даже, кажется, холодно обнял его на прощанье...

Рыдания не дали ему говорить.

— Мы будем горячо за него молиться,— сказала г-жа Гранде.— Предайтесь воле божией.

— Братец,—сказала Евгения,—будьте мужественны! Утрата ваша непоправима, так подумайте же теперь о спасении своей чести...

С верным инстинктом, с душевной тонкостью женщины, влагающей разум в каждое дело, даже в дело утешения, Евгения хотела усыпить страдания кузена, заняв его самим собой.

— Моей чести?! — вскричал юноша, резким движением откидывая волосы. И он сел на кровати, скрестив руки.

— Ах, в самом деле! Дядя говорил, что отец обанкротился.

Он испустил душераздирающий крик и закрыл лицо руками.

— Оставьте меня, кузина, оставьте меня! Боже мой! Боже мой! Прости отца, он, должно быть, ужасно страдал!

Было что-то жутко привлекательное в выражении этой юной скорби, искренней, без расчетов и без задних мыслей. То была стыдливая скорбь, сразу понятая простыми сердцами Евгении и ее матери, когда Шарль сделал движение, моля оставить его наедине с собой. Они сошли вниз, молча сели опять на свои места у окна и около часа работали, не проронив ни слова.

Евгения окинула беглым взглядом маленькое хозяйство молодого человека, тем взглядом, каким девушки мгновенно видят все окружающее, и заметила красивые безделушки его туалета, его ножницы, его бритвенные принадлежности, оправленные в золото. Этот блеск роскоши в убогой комнате, где лились слезы страдания, сделал для нее Шарля еще интереснее — может быть, по противоположности. Никогда еще столь важное событие, никогда зрелище столь драматическое не поражало воображения этих двух существ, живших до сих пор в спокойствии и в одиночестве.

— Маменька,— сказала Евгения,— мы наденем траур по дядюшке.

— Это как решит отец,— ответила г-жа Гранде.

Они опять замолчали. Евгения делала стежки с такой равномерностью движений, которая выдала бы наблюда-

телю, как много мыслей нахлынуло на нее. Первым желанием прелестной девушки было разделить печаль кузена.

Около четырех часов резкий стук молотка отдался в сердце г-жи Гранде.

— Что такое с папенькой? — сказала она дочери.

Винодел вошел веселый. Сняв перчатки, он с такой силой потер себе руки, что содрал бы кожу, если б она не была выдублена, как русский кожевенный товар, с той лишь разницей, что она не отдавала ни лиственницей, ни душистой смолой. Старик прохаживался по комнате, смотрел на часы. Он не мог больше таить свой секрет.

— Жена,— сказал он, нисколько не заикаясь,— я их всех провел. Вино наше продано! Нынче утром голландцы и бельгийцы уезжали, я стал прогуливаться по площади мимо их постоялого двора, этаким простачком. Дело, тебе известное, само далось мне в руки. Владельцы всех хороших виноградников берегут свой сбор и хотят выждать,— я им в этом не препятствовал. Бельгиец наш был в отчаянии. Я это видел. Дело решенное: он берет весь наш сбор по двести франков бочка, половина наличными. Получаю золотом. Документы готовы, вот тебе шесть луидоров. Через три месяца вина упадут в цене.

Последние слова были сказаны спокойно, но с такой глубокой иронией, что сомюрцы, собравшиеся в это время кучкой на площади и подавленные известием о продаже, только что совершенной стариком Гранде,— содрогнулись бы от этих слов, если бы их услышали. Панический страх снизил бы цену вин наполовину.

— У вас в этом году тысяча бочек, папенька? — спросила Евгения.

— Да, дочурка.

Это слово было высшим выражением радости старого бочара.

— Это выходит двести тысяч монет по двадцать су?

— Да, мадемуазель Гранде.

— Значит, папенька, вы легко можете помочь Шарлю.

Изумление, гнев, оцепенение Валтасара, увидевшего надпись: *Мане — Текел — Фарес*, не могли бы сравниться с холодной яростью Гранде, когда, забыв и думать о племяннике, он вдруг снова увидел, что Шарль заполонил и сердце и расчеты дочери.

— А, вот как! Чуть этот франт сунулся в *мой* дом, вы всё тут перевернули вверх дном! Бросились покупать угощения, устраивать пиры да кутежи. Не желаю подобных шуток! Я, кажется, в мои годы достаточно знаю, как себя следует вести! И во всяком случае мне не приходится брать уроки ни у дочери, ни у кого бы то ни было. Я сделаю для племянника то, что следует, вам в это нечего нос совать. А ты, Евгения,— добавил он, поворачиваясь к ней,— мне об этом больше ни слова, не то отправлю тебя с Нанетой проветриться в аббатство Нуайе, и не позже, как завтра же, если ты у меня хоть шевельнешься. А где же он, этот мальчишка? Сошел ли вниз?

— Нет, мой друг,— ответила г-жа Гранде.

— Да что же он делает?

— Он оплакивает отца,— ответила Евгения.

Гранде посмотрел на дочь, не найдя, что сказать: он все же был немного отцом. Пройдясь раза два по залу, он быстро поднялся в свой кабинет, чтобы там обдумать помещение кое-каких денег в процентные бумаги. Две тысячи арпанов лесу, сведенного дочиста, дали ему шестьсот тысяч франков. Присоединив к этой сумме деньги за тополя, доходы прошлого года и текущего года, помимо двухсот тысяч франков от только что заключенной сделки, он мог располагать суммой в девятьсот тысяч франков. Двадцать процентов, которые он мог нажить в короткий срок на ренте, ходившей по семидесяти франков, соблазняли его. Он набросал свои подсчеты на газете, где сообщалось о смерти его брата, слыша, хотя и не слушая, стенания племянника. Нанета постучала в стенку, приглашая хозяина сойти вниз: обед был подан. На последней ступеньке лестницы Гранде говорил себе:

«Раз я получу восемь процентов, я сделаю это дело. В два года у меня будет полтора миллиона франков, которые я получу из Парижа чистоганом».

— Ну, а где же племянник?

— Говорит, что не хочет кушать,— отвечала Нанета.— А ведь это нездорово.

— Зато экономно,— ответил ей хозяин.

— Уж это само собой,— сказала Нанета.

— Да что! Не вечно же будет он плакать. Голод и волка из лесу гонит.

Обед прошел в необычном молчании.

— Друг мой,— сказала г-жа Гранде, когда сняли со стола скатерть,— нам нужно надеть траур.

— В самом деле, госпожа Гранде, вы уж не знаете, что выдумать, только бы тратить деньги. Траур в сердце, а не в одежде.

— Но по брату полагается носить траур, и церковь велит нам...

— Покупайте для себя траур на свои шесть луидоров. Мне дадите креп, для меня довольно.

Евгения подняла глаза к небу, не вымолвив ни слова. В первый раз в жизни великодушные склонности ее, дремавшие, подавленные, но вдруг пробужденные, каждую минуту подвергались оскорблениям. Этот вечер с виду был похож на тысячу вечеров однообразного их существования, но, несомненно, был самым ужасным из них. Евгения работала, не поднимая головы, и не пользовалась рабочей шкатулкой, к которой Шарль пренебрежительно отнесся накануне. Г-жа Гранде вязала нарукавники, Гранде вертел большими пальцами рук, целых четыре часа погруженный в расчеты, последствия которых должны были на другой день изумить Сомюр. В этот день к ним никто не пришел. Тем временем весь город толковал о произведенной Гранде продаже вина, о несостоятельности его брата и о приезде племянника. Повинуясь потребности поговорить о своих общих интересах, все владельцы виноградников, принадлежащие к высшим и средним кругам Сомюра, собрались у г-на де Грассена и метали гром и молнии, проклиная бывшего мэра.

Нанета пряла, и жужжание колеса ее прялки было единственным звуком, раздававшимся в грязно-серых стенах зала.

— Что-то мы языком не треплем? — сказала она, показав в улыбке свои зубы, белые и крупные, как чищеный миндаль.

— Зря нечего и трепать,— отозвался Гранде, очнувшись от глубокого раздумья.

Он видел себя в перспективе — через три года — обладателем восьми миллионов и словно уже плыл по золотой шири.

— Давайте-ка спать ложиться. Я пойду прощусь за всех с племянником да спрошу, не поест ли он чего.

Госпожа Гранде осталась на площадке второго этажа, чтобы слышать разговор Шарля с дядей. Евгения была похрабрее матери и поднялась на две ступеньки.

— Ну, что, племянничек, у вас горе? Что же, поплачьте, это в порядке вещей. Отец — всегда отец. Горе перетерпеть приходится. Пока вы плачете, я вашими делами занимаюсь. Я, видите ли, родственник неплохой. Ну-ка, приободритесь. Может, выпьете вина стаканчик? Вино в Сомюре нипочем, его предлагают, как чашку чаю в Индии. А что ж вы сидите впотьмах? Нехорошо! Нехорошо! Надо ясно видеть, что делаешь.

Гранде подошел к камину.

— Вот так так! — вскричал он.— Целая свеча. Где, черт возьми, они свечку выудили? Девки готовы пол в доме выломать, чтобы сварить яиц этому мальчишке.

Услышав эти слова, мать и дочь кинулись по своим комнатам и забились в постели так быстро, словно испуганные мыши в норки.

— Госпожа Гранде, что у вас, золотые россыпи? — сказал старик, входя в комнату жены.

— Мой друг, я молюсь, подождите,— отвечала взволнованным голосом бедная мать.

— А черт бы побрал твоего господа бога! — пробурчал в ответ Гранде.

Скряги не верят в будущую жизнь, для них все — в настоящем. Эта мысль проливает ужасающий свет на современную эпоху, когда больше, чем в какое бы то ни было другое время, деньги владычествуют над законами, политикой и нравами. Установления, книги, люди и учения — все сговорилось подорвать веру в будущую жизнь, на которую опиралось общество в продолжение восемнадцати столетий. Ныне могила — переход, которого мало боятся. Будущее, ожидающее нас по ту сторону *Реквиема*, переместилось в настоящее. Достигнуть per fas et nefas [1] земного рая роскоши и суетных наслаждений, превратить сердце в камень, а тело изнурить ради обладания преходящими благами, как некогда претерпевали смертельные муки в чаянии вечных благ,— такова всеобщая мысль! Мысль, к тому же начертанная всюду, вплоть до законов, вопрошающих законодателя: «Что

---

[1] Правдами и неправдами *(лат.)*.

платишь?» — вместо того, чтобы сказать ему: «Что мыслишь?». Когда учение это перейдет от буржуазии в народ, что станется со страною?

— Кончила ли ты, сударыня? — сказал старый бочар.

— Друг мой, я молюсь за тебя.

— Прекрасно! Спокойной ночи. Утром поговорим.

Бедная женщина легла спать с тяжелым сердцем, как школьница, которая не приготовила уроков и боится при пробуждении встретить сердитое лицо учителя. В ту минуту, когда она со страху забилась под одеяло, чтобы ничего не слышать, Евгения прокралась к ней в одной рубашке, босиком и поцеловала ее в лоб.

— Ах, милая маменька,— молвила она,— завтра я скажу ему, что это все я.

— Нет, он, чего доброго, отошлет тебя в Нуайе. Предоставь это мне,— не съест же он меня.

— Слышите, маменька?

— Что?

— Он все еще плачет.

— Иди же, ложись, доченька. Ты ноги простудишь, пол сырой.

Так прошел торжественный день, которому суждено было тяготеть над всей жизнью богатой и бедной наследницы, уснувшей уже не тем глубоким и невинным сном, как прежде. Нередко иные поступки человека, хотя и достоверные, представляются, выражаясь литературно, неправдоподобными. Но не потому ли, что почти всегда забывают проливать на наши произвольные решения свет психологического анализа, не объясняют таинственно зародившихся оснований этих решений. Быть может, глубокую страсть Евгении надлежало бы исследовать в тончайших ее фибрах, потому что она стала, как сказали бы иные насмешники, болезнью и повлияла на все ее существование. Многие предпочитают начисто отрицать подлинные события и развязку их, только бы не измерять всю силу связей, узлов, скреплений, которые тайно сращивают один факт с другим в области морали. А здесь прошлое Евгении послужит наблюдателям человеческой природы порукою простодушной непосредственности и внезапности проявлений ее души. Чем спокойнее была ее жизнь, тем сильнее развернулось в душе ее женственное

чувство жалости, самое изобретательное из чувств. Встревоженная происшествиями дня, она несколько раз просыпалась, прислушивалась, и ей чудились вздохи кузена, с прошедшего дня звучавшие в ее сердце. То виделось ей, что он испускает дух от горя, то снилось, что он умирает с голоду. К утру ей отчетливо послышался ужасный крик. Она сейчас же оделась и при брезжащем свете зари легкими шагами вбежала к кузену, который оставил дверь отворенной. Свеча догорела в розетке подсвечника. Шарль, побежденный природой, уснул, не раздеваясь, в кресле, уронив голову на постель: ему что-то снилось, как снится людям с пустым желудком. Евгения могла наплакаться вволю; могла любоваться юным и прекрасным лицом, побледневшим, как мрамор, от страдания; глаза Шарля распухли от слез и, смеженные сном, казалось, все еще плакали. Он почувствовал присутствие Евгении, открыл глаза и увидел ее, глубоко растроганную.

— Простите, кузина,— сказал он, видимо, не соображая, где он находится и который час.

— Тут есть сердца, которые слышат вас, кузен, и мы подумали, не нужно ли вам чего-нибудь. Вам бы следовало лечь: в таком положении вы утомляетесь.

— Это правда.

— Ну, прощайте.

Она поспешно скрылась, стыдясь и радуясь этому посещению. Только невинность отваживается на такие смелые шаги. Добродетель, наученная опытом, рассчитывает не хуже порока. Евгения не чувствовала страха возле кузена, но когда очутилась в своей комнате, едва держалась на ногах. Внезапно кончилась для нее жизнь, полная неведения, она начала рассуждать, осыпала себя упреками: «Что он обо мне подумает? Он решит, что я его люблю». А между тем больше всего на свете она желала, чтобы Шарль подумал именно это. Истинная любовь одарена предвидением и знает, что любовь вызывает любовь. Какое событие для этой привыкшей к уединению девушки — тайком прокрасться к молодому человеку! Не существуют ли мысли и действия, в любви равные для иных душ священному обручению? Через час Евгения вошла к матери и по обыкновению помогла ей одеться. Затем они сели на свои места у окна и стали

поджидать Гранде с той тревогой, которая, смотря по характерам, леденит сердце или обдает его жаром, сжимает или расширяет его в минуту ожидания бурной сцены или строгой кары,— чувство, впрочем, столь естественное, что домашние животные под влиянием его кричат при самом легком наказании, не могут вынести слабой боли,— тогда как они молча терпят, если случайно поранят себя. Старик сошел вниз, с рассеянным видом поговорил с женою, поцеловал Евгению и сел за стол, казалось, не думая о вчерашних угрозах.

— А что племянник? Мальчик не шумливый.

— Он спит, сударь,— отвечала Нанета.

— Тем лучше: не надо на него свечку тратить,— промолвил Гранде насмешливо.

Это необычное милосердие, эта желчная веселость поразили г-жу Гранде, и она пристально посмотрела на мужа. Добряк... (Здесь, может быть, уместно заметить, что в Турени, Анжу, Пуату, в Бретани слово «добряк», которое мы часто прилагали к Гранде, применяется и к людям самым жестоким и к самым добродушным, когда они пришли в известный возраст. Наименование это вовсе не указывает на благодушие, присущее тому или иному лицу.) Итак, добряк наш взял шляпу, перчатки и сказал:

— Пойду поболтаюсь на площади, не встречу ли наших Крюшо.

— Евгения, у твоего отца есть что-то на уме, непременно.

Привыкнув мало спать, Гранде, в сущности, половину ночного времени посвящал предварительным расчетам, обдумывал свои наблюдения, замыслы, планы, что обеспечивало им редкостную безошибочность и постоянную удачу, изумлявшую сомюрцев. Вся человеческая сила слагается из терпения и времени. Люди сильные хотят и бодрствуют. Жизнь скряги — постоянное упражнение человеческого могущества, отданного на служение личной выгоде. Скряга опирается только на два чувства — себялюбие и своекорыстие, но так как своекорыстие есть в некотором роде себялюбие, солидное и положительное, непрестанное свидетельство реального превосходства, то себялюбие и своекорыстие — это две стороны одного целого: эгоизма. Может быть, этим и объясняется необы-

чайное любопытство, возбуждаемое скрягами, искусно выведенными на сцене. Каждый по-своему тонкою нитью связан с этими персонажами пьесы—они затрагивают все человеческие чувства, подытоживая их все. Где найдется человек без желаний, и какое желание в человеческом обществе осуществится без денег? У Гранде действительно было что-то на уме, по выражению его жены. Он испытывал, как и все скряги, настоятельную потребность вести игру с людьми, законным порядком добираться до их денег. Внушать почтение другому — разве это не значит проявлять власть, непрестанно присваивать себе право презирать существа слабые, которые здесь, на земле, отдают себя на растерзание? О, кто же действительно понял агнца, мирно лежащего у ног божьих, трогательнейший прообраз всех жертв земных, прообраз их будущего — словом, страдание и слабость, вознесенные в славе? Этому агнцу скряга дает откормиться, ставит его в загон, убивает, жарит, ест и презирает. Деньги и презрение к людям питают силу скряги. Ночью мысли «добряка» приняли другой оборот — в сторону жалости. Он замыслил козни с целью поиздеваться над парижанами. Скрутить их в бараний рог, стереть в порошок, заставить их метаться взад и вперед, потеть, надеяться, бледнеть, чтобы позабавиться своей игрой,— вот о чем думал бывший бочар, сидя в грязном зале своего сомюрского дома и поднимаясь по источенной червями лестнице. Племянник привлек его внимание. Ему хотелось спасти честь умершего брата, и спасти так, чтобы это ни гроша не стоило ни племяннику, ни ему самому. Капиталы его предстояло поместить на три года, ему оставалось только управление имениями; и вот необходима была пища для его злостной деятельности; он и нашел ее в несостоятельности брата. Не чувствуя ничего в своих лапах, что можно было бы сдавить и уничтожить, он хотел истолочь парижан к выгоде Шарля и дешевой ценой показать себя примерным братом. Семейная честь занимала в этом проекте настолько мало места, что его благие намерения можно сравнить с потребностью закоренелых игроков наблюдать ловкую игру, где у них самих нет ставки. Крюшо стали необходимы г-ну Гранде, но он не хотел идти к ним, а решил заставить их самих прийти к нему вечером и начать комедию, план которой он задумал, с тем чтобы

завтра, не истратив ни одного су, сделаться предметом восхищения всего города.

В отсутствие отца Евгения имела счастье открыто заняться возлюбленным своим кузеном, безбоязненно излить на него сокровища своей жалости — одного из высочайших проявлений превосходства женщины, единственного, какое она желала бы дать почувствовать любимому, единственного, где она считает простительным, если мужчина допускает, чтоб над ним взяли верх. Три или четыре раза Евгения подходила к комнате кузена, чтобы прислушаться к его дыханию, узнать, спит ли он, просыпается ли; потом, когда он встал, сливки, кофе, яйца, фрукты, тарелки, стакан, все, что относилось к завтраку,— ко всему она заботливо приложила руку. Она легко взбежала по старой лестнице — послушать, одевается ли он? Все ли еще плачет? Она подошла к двери.

— Братец!

— Что, кузина?

— Где вы будете завтракать — в зале или в своей комнате?

— Где вам угодно.

— Как вы себя чувствуете?

— Дорогая кузина, к стыду моему, я голоден.

Этот разговор через дверь был для Евгении целым эпизодом романа.

— Ну, так мы принесем вам завтрак в вашу комнату, чтобы не разгневать папеньку.

Она спустилась в кухню с легкостью птички.

— Нанета, иди же, убери его комнату.

Исхоженная вверх и вниз лестница, где отдавался малейший звук, утратила, как казалось Евгении, всю свою ветхость, она представлялась девушке залитою светом, получила дар речи, была молода, как сама Евгения, молода, как ее любовь, которой эта лестница служила.

Под конец и ее матери, доброй, снисходительной матери, самой захотелось принять участие в фантазиях влюбленной дочери, и когда комната Шарля была прибрана, они пошли туда вдвоем рассеять одинокую тоску несчастного: разве не предписывало христианское милосердие утешить его? Обе женщины постарались извлечь из предписаний религии маленькие софизмы для оправдания своих вольностей. И вот Шарль Гранде увидел,

что его окружили самым ласковым и нежным попечением. Наболевшее сердце его живо ощутило сладость этой милой дружбы, этого теплого сочувствия, какое обе эти женские души, всегда подневольные, оказавшись на минуту свободными, щедро проявили в своей привычной сфере — в области страданий. Евгения, на правах родственницы, стала приводить в порядок белье, туалетные принадлежности, привезенные кузеном, и могла вволю любоваться каждой дорогой безделушкой, серебряными и золотыми мелочами тонкой работы, попадавшими ей под руку, подолгу держала их, как будто затем, чтобы рассмотреть.

Шарль не мог не растрогаться великодушным участием тетки и кузины; он достаточно знал парижское общество и понимал, что там он, в его положении, встретил бы одни равнодушные или холодные сердца. Евгения предстала ему во всем блеске особой своей красоты; теперь он восхищался простодушием тех нравов, к которым так насмешливо относился накануне. И когда Евгения взяла из рук Нанеты фаянсовую чашку кофе со сливками и передала ее кузену со всем простодушием сердечного чувства, бросив на него взгляд, полный доброты, на глазах парижанина выступили слезы, он взял ее руку и поцеловал.

— Да что с вами опять? — спросила она.

— Ах, это слезы благодарности,— ответил он.

Евгения вдруг повернулась к камину и взяла подсвечники.

— Нанета, возьми унеси,— сказала она.

Когда она посмотрела на кузена, краска еще не сбежала с ее лица, но взгляд ее мог уже обманывать и не выдал чрезмерной радости, переполнявшей ее сердце; однако глаза обоих выражали одно и то же чувство, а души слились в одной мысли: будущее принадлежало им. Это нежное волнение было сладостно для Шарля в великом его горе, тем более что оно было неожиданно. Стук молотка заставил обеих женщин возвратиться на свои места. К счастью, они успели достаточно быстро спуститься с лестницы, и когда Гранде вошел, обе уже сидели за работой; если бы он встретил их под аркой, этого было бы достаточно, чтобы возбудить его подозрения. После завтрака, который старик перехватил на ходу, пришел

сторож из Фруафона, еще не получивший обещанного вознаграждения, и принес зайца, куропаток, убитых в фруафонском парке, угрей и две щуки, доставленные по обязательству мельниками.

— Эге! Ты, Корнуайе, явился кстати. А что, это вкусно, а?

— Да, ваша милость, два дня как их убили.

— Ну, Нанета, живо! — сказал Гранде.— Забирай, это пойдет к обеду: я нынче угощаю обоих Крюшо.

Нанета вытаращила глаза и оглядела всех присутствующих.

— Ладно,— сказала она,— а где мне взять шпик и приправы?

— Жена,— сказал Гранде,— дай Нанете шесть франков и напомни мне, что надо сходить в погреб за хорошим вином.

— Так как же, господин Гранде,— продолжал сторож, приготовивший почтительную речь, чтобы добиться решения вопроса о жаловании,— господин Гранде...

— Та-та-та,— сказал Гранде,— я знаю, что ты хочешь сказать. Ты добрый малый. Все порешим завтра, сегодня я очень спешу. Жена, дай ему сто су,— обратился он к г-же Гранде.

Он вышел. Бедная женщина счастлива была купить мир ценою одиннадцати франков. Она знала, что Гранде успокаивался недели на две, отобрав таким образом, монета за монетой, все деньги, которые дал ей.

— Возьми, Корнуайе,— сказала она и сунула ему в руку десять франков.— Как-нибудь мы отблагодарим тебя за твои услуги.

Корнуайе нечего было сказать; он ушел.

— Сударыня,— сказала Нанета, явившись в черном чепце и с корзинкой,— мне нужно только три франка, приберегите остальное. Ладно, сойдет и так.

— Сготовь хороший обед, Нанета: братец выйдет к обеду,— сказала Евгения.

— Решительно тут происходит что-то необыкновенное,— сказала г-жа Гранде.— Ведь это всего третий раз с самой нашей свадьбы, что папенька дает обед.

Около четырех часов, когда Евгения с матерью кончили накрывать стол на семь человек, а хозяин поставил

на него несколько бутылок отборных вин, любовно хранимых провинциалами,— Шарль пришел в зал. Молодой парижанин был бледен. В его движениях, позах, взглядах и звуках голоса сказывалась печаль, полная привлекательности. Он не рисовался своей скорбью, он страдал искренне, и тень, наброшенная горем на его черты, придавала ему «интересный вид», который так нравится женщинам. Евгения полюбила его теперь еще больше. Несчастье, быть может, приблизило его к ней. Шарль уже не был молодым богачом и красавцем из недоступного для нее круга,— это был родной человек, постигнутый ужасным несчастьем. Несчастье порождает равенство. У женщины то общее с ангелом, что страдающие существа принадлежат ей. Шарль и Евгения поняли друг друга, хотя разговаривали только глазами, потому что бедный павший денди, сирота, забился в угол и сидел там безмолвный, спокойный и кроткий, но время от времени нежный и ласкающий взгляд кузины озарял его светом, и, отрываясь от печальных мыслей, он устремлялся вместе с нею в края надежды и будущего, куда Евгении отрадно было уноситься вместе с ним. В это время весь Сомюр был взволнован званым обедом, который устраивал Гранде, даже более, чем взбудоражен был накануне продажей сбора винограда, представлявшей собою предательство по отношению к местной винной торговле. Если бы политик-винодел давал обед с тою же мыслью, какая стоила хвоста собаке Алкивиада, он, может быть, оказался бы великим человеком; но, стоя слишком высоко над обывателями города и постоянно играя их интересами, Гранде не ставил сомюрцев ни во что. Де Грассены, узнав о самоубийстве и возможном банкротстве отца Шарля, решили отправиться в тот же вечер к своему клиенту, выразить сочувствие его горю, выказать ему свою дружбу и разузнать в то же время о причинах, побудивших его в подобных обстоятельствах пригласить на обед всех Крюшо. Ровно в пять часов председатель суда К. де Бонфон и дядя его, нотариус, явились расфранченные в пух и прах. Приглашенные уселись за стол и прежде всего начали усердно есть. Гранде был важен, Шарль молчалив, Евгения безмолвна, г-жа Гранде говорила не более обыкновенного, так что обед оказался настоящим поминальным обедом.

Когда встали из-за стола, Шарль обратился к тете и дяде:

— Позвольте мне удалиться. Я должен заняться обширной и печальной корреспонденцией.

— Идите, племянничек.

После его ухода, когда наш добряк мог предположить, что Шарль ничего не услышит и, вероятно, занят своими письмами, он исподлобья поглядел на жену.

— Госпожа Гранде, наши предстоящие разговоры были бы для вас вроде латыни. Теперь половина восьмого, пора вам и на боковую. Спокойной ночи, дочь моя.

Он поцеловал Евгению, и обе женщины вышли. Тут началась та сцена, где папаша Гранде больше, чем когда бы то ни было в своей жизни, пустил в ход всю ловкость, приобретенную в отношениях с людьми и часто дававшую повод тем, кого он чересчур крепко хватал за шкуру, награждать его прозвищем *старый пес*.

Если бы у сомюрского мэра было побольше честолюбия, если бы удачно сложившиеся обстоятельства вознесли его в высшие общественные сферы и направили на конгрессы, где обсуждались дела народов, и если бы там он воспользовался даром дипломатии, каким наделило его корыстолюбие,— нет никакого сомнения, он бы прославился и был бы полезен Франции. Но не менее вероятно, что, очутившись вне Сомюра, наш добряк оказался бы жалкой фигурой. Возможно, существуют умы, подобные иным животным, которые утрачивают производительные способности, если их переселить из родного климата.

— Го... го... го...сподин пре... пре... председатель, в... вы го...ворили, что б...а...анкротство...

Притворное заикание, к которому уже давно прибегал старик Гранде, сходило за прирожденное, равно как и глухота, на которую он жаловался в дождливую погоду; но при сложившихся условиях оно было так утомительно для обоих Крюшо, что, слушая винодела, они бессознательно морщились, выражая мучительные усилия понять его, и пытались договаривать за него, когда он ни с того ни с сего застревал на каком-нибудь слове. Здесь, пожалуй, становится необходимым сообщить историю заикания и глухоты Гранде. Никто во всем Анжу не слышал лучше и не умел произносить отчетливее по-французски

на анжуйском наречии, чем наш хитрый винодел. Некогда, при всей своей проницательности, он был одурачен одним израилитом, который во время переговоров прикладывал руку трубочкой к уху, под тем предлогом, что он плохо слышит, и так ловко запинался, бормотал, подыскивая слова, что Гранде, жертва человеколюбия, счел своим долгом подсказывать этому лукавому еврею слова и мысли, какие тот, казалось, искал, старался заканчивать сам умозаключения еврея, говорить, как надлежало бы говорить проклятому еврею, быть в конце концов этим евреем, а не Гранде. Бочар потерпел поражение в этом своеобразном поединке, заключив единственную сделку, о которой он мог сожалеть в продолжение всей своей коммерческой жизни. Но если он здесь потерпел убыток в отношении денежном, то в моральном получил полезный урок и позднее пожал его плоды. В конце концов он стал благословлять еврея, когда-то научившего его искусству выводить из терпения своего коммерческого противника, направлять все его внимание на выражение чужой мысли, постоянно упуская из виду свою собственную. А ведь это дело, о котором пойдет речь, более чем какое-либо другое, требовало применения мнимой глухоты, заикания и неудобопонятных обиняков, какими Гранде прикрывал свои мысли. Прежде всего он не хотел брать на себя ответственность за свои слова; затем он желал оставаться хозяином положения и держать под сомнением истинные свои замыслы.

— Го... го-спо-дин де Б...Бо...

Второй только раз за три года Гранде называл Крюшо-племянника «господин де Бонфон».

Председатель мог подумать, что ловкий добряк выбрал его в зятья.

— Так в... вы-ы го... го... говорили, что ба... ба... ба... банкротство мо... мо... могут в-в-в и...и...известных случаях бы... бы... бы... быть оспа-париваемы вме-ме-шательством...

— Самих коммерческих судов. Это делается каждый день,— сказал г-н К. де Бонфон, схватывая мысль старика Гранде или воображая, что угадал ее, и предупредительно желая ему ее объяснить.— Слушайте.

— Я с... с... слу...слушаю,— смиренно отвечал добряк, принимая издевательски смиренный вид, как мальчишка,

который внутренне смеется над учителем, выказывая ему при этом величайшее внимание.

— Когда человеку почтенному и почитаемому, каким был, например, покойный брат ваш в Париже...

— Мой брат, да.

— Грозит разорение...

— Э...э...это на-а-зывается раз...ра...разорением?

— Да. В случае, если несостоятельность должника становится неминуемой, коммерческий суд, которому он подсуден (следите внимательно!) по принадлежности, имеет право назначить ликвидаторов его торговому дому. Ликвидировать предприятие не значит сделаться несостоятельным, понимаете? Став несостоятельным, человек обесчещен, а ликвидировав дело,— он остается честным человеком!

— Это бо...бо...большая разница, если то...то... только обходится не...не...не до...до... дороже,— сказал Гранде.

— Но ликвидацию можно также произвести и не прибегая к коммерческому суду,— сказал председатель.— Вы знаете, как объявляется несостоятельность?

— Я об этом ник...к...когда не ду...ду...думал,— отвечал Гранде.

— Во-первых,— продолжал чиновник,— заявлением о несостоятельности в канцелярию суда с предъявлением баланса, что делает сам негоциант или его уполномоченный, с соответственным занесением в протокол. Во-вторых, по ходатайству кредиторов. Итак, если негоциант не объявляет себя несостоятельным, если ни один из кредиторов не испрашивает у суда постановления, которым названный негоциант объявляется несостоятельным, тогда что происходит?

— Да-да-а, ну... что же?

— В таком случае семья покойного, ее представители или сам негоциант, если он жив, или его друзья, ежели он скрылся, производят ликвидацию. Может быть, вы желаете ликвидировать дела вашего брата? — спросил председатель.

— О Гранде! — воскликнул нотариус.— Это было бы прекрасно! Живо чувство чести в глубине наших провинций. Если бы вы спасли свое имя, потому что ведь и вы носите это имя, вы были бы человеком...

— Возвышенным! — договорил председатель, перебивая дядю.

— Ра...разумеется,— возразил старый винодел,—мой брр...бра...брат на...на...на...назывался Гранде, ка-ак и я. Э-э-то верно и правильно. Я...я...я не...не...не го...го...говорю нет. И... и...и эта ли...ли...ликвидация мо...мо...могла бы во...во...во всяком случае быть во всех отношениях очень вы...вы...выгодна в и...и...интересах моего пле... пле...племянника, которого я лю...люблю. Но надо подумать. Я не зна...зна...знаю парижских *хитрецов*. Я-то... видите ли, в Со-о-о-мюре! Виноградные о-о-от-водки, ка-а-ана-вы, и в-в-ведь у меня же д-е-е-е-ла. Я никогда не давал ве...ве...векселей. Что такое вексель? Я...я...я их много получал, но никогда не по...по...подписывал. И-и-их выдают, и-и-и-их учитывают. Вот все-о-о, что я знаю. Я слы...слыхал, что мо...мо...можно выкупать ве... ве... ве...

— Да,— сказал председатель.— Можно приобретать векселя на месте по стольку-то за сто. Понимаете?

Гранде сложил руку трубочкой, приставил к уху, и председатель повторил фразу.

— Да ведь нужно же,— отвечал винодел,— н-нужно же пить-есть все...все это время? Я...я...я ничего не знаю в мои годы об э-э-этих все-е-ёх в-вещах. Я до...должен б-б-быть здесь, смо...смо...смотреть за хлебами. Зерно сообби-би-рают и зерном распла...пла...плачиваются. Прежде всего нужно с-с-смотреть за жа...жа...жатвой. У меня са-а-амоважнейшие дела в Фруафоне и вы...вы...выгодные. Не могу я б-б-бро-о-сить мо...мой дом для не... неразбе-р-р-рихи все...всей этой, ч-чертовщины, в которой ничего не по...по...понимаю. Вы говорите, мне...надо для ли...ли... ликвидации, для приостановки объявления о несостоятельности быть в Париже? Нельзя быть сразу в дву-дву...двух местах,— разве сделаться пти...пти...птичкой и...

— Я понимаю вас! — воскликнул нотариус.— Так послушайте, старый друг, у вас есть друзья, старые друзья, готовые доказать свою преданность.

«Так, так! — думал про себя винодел.— Решайтесь же!»

— А если бы кто-нибудь отправился в Париж, к са-

мому крупному кредитору брата вашего Гильома, и сказал бы ему...

— Мм...м...минутку постойте,— перебил добряк,— сказал бы ему... что? Что... что-ни...ни...нибудь та...та... кое: «Господин Гранде-де-де из Сомюра — то-то, господин Гранде-де из Сомюра — так-то. Любит брата, любит... пле...пле...мянника. Гранде-де добрый родственник, у него хо-хо-рошие намерения. Он вы...выгодно продал у-урожай. Не объявляйте не...не...несостоятельности, соберитесь, на...на...назначьте ли...ли...ликвидаторов. Тогда Гранде по...по...посмотрит. Ва-ам го...го...гораздо выгодней ликвидировать, чем да...дать чиновникам су...сунуть свой нос». Ведь так?

— Именно,— подтвердил председатель.

— Потому, видите ли, господин де Бон...Бонфон, надо поглядеть, а потом ре...ре...решать. Чего не бы...бы... бывает! Во всяком о-о-обремени-нительном деле, что-о-обы не ра...ра... разориться, нужно знать свои средства и обязательства. А? Ведь так?

— Разумеется,— сказал председатель.— Я, со своей стороны, держусь того мнения, что в несколько месяцев можно скупить долговые обязательства за определенную сумму и полностью расплатиться по соглашению. Ха-ха! Куском сала собак далеко заведешь! Если не было объявления несостоятельности, а долговые обязательства в ваших руках,— вы чисты, как снег.

— Как с-с-снег? — повторил Гранде, опять складывая руку трубочкой.— Я не понимаю — с-с-снег.

— Тогда,— закричал председатель,— слушайте меня!

— Слу...слу...слушаю.

— Вексель — это товар, который может повышаться и понижаться в цене. К такому выводу приходит Иеремия Бентам в своем рассуждении о ростовщичестве. Этот публицист доказал, что обычное презрение к ростовщикам — глупейший предрассудок.

— Вот как! — заметил Гранде.

— Согласно рассуждению Бентама,— продолжал председатель,— следует исходить из того основного положения, что деньги являются товаром, а посему все, в чем они выражены, равным образом становится товаром. Всем известен постоянно действующий в торговле

закон колебания цен, и векселя, подписанные тем или иным лицом, так же как тот или иной товар, то дорожают, то стоимость их падает до нуля в зависимости от того, много или мало их на рынке, а на основании сего коммерческий суд выносит постановление.

— Погодите, как же это я не сообразил — вот дурак!.. Да ведь вы можете выкупить векселя вашего брата по двадцати пяти за сто.

— К-как вы г-о-о-говорите? И-и-иеремия Бентам?

— Да, Бентам, англичанин.

— Молодец этот Иеремия,— смеясь, сказал нотариус.— Будем теперь ссылаться на него в делах, когда обиженные хнычут.

— З-з-значит, ин-ной раз и у англичан есть ч-чему п-п-поучиться,— заметил Гранде.— С-с-стало быть, по-по Б-б-бентаму, если векселя моего брата с-с-стоят... н-не стоят. Если... я-я-я верно говорю? К-к-кажется, ясно? Кредиторы были бы... Нет, не были бы... Я з-з-запутался...

— Позвольте вам все это объяснить,— сказал председатель.— Юридически, если все документы по долговым обязательствам дома Гранде окажутся в ваших руках, то брат ваш или его прямые наследники никому не должны. Так.

— Так,— повторил добряк.

— По справедливости, если векселя брата вашего котируются (котируются,— вы хорошо понимаете этот термин?) на рынке со скидкой во столько-то процентов, если один из ваших друзей отправится в Париж, если он скупит векселя без всякого принуждения кредиторов каким бы то ни было давлением к уступке, то все обязательства по наследству покойного Гранде в Париже признают честно выполненными.

— Правда, де...де...дела так уж и есть дела. А раз это так... Однако все-таки, вы понима...маете, что тру... тру...трудно. У меня н-нет ни... ни... денег, ни... ни... ни времени, ни времени, ни...

— Да, вам тронуться невозможно. Так вот, предлагаю вам: я отправлюсь в Париж (вы мне оплатите поездку — сущие пустяки). Я увижусь с кредиторами, поговорю с ними, отсрочу платежи, и все уладится при помощи доплаты, которую вы прибавите к деньгам, вы-

рученным при ликвидации, и тогда вы вступите во владение долговыми обязательствами.

— Посмотрим, я не... не... не могу, я... я... я не хочу ничего б...б...бра...брать на себя пока... пока не... Кто... кто... кто... не может, не может... По-о-онимаете?

— Это верно.

— У меня голова ло...ло...лопается от всего, что вы-ы мне тут на...на...на... наворотили. Пе...пе...первый раз в жизни мне при...при...приходится ду...ду...ду...думать о...

— Да, вы не юрист.

— Я...я просто бе...бе...бедный винодел и понятия не имею о том, что вы...вы...вы только что говорили. Мне ну...нужно и-и-и-изучить это.

— Итак...— начал председатель, принимая такую позу, как будто собирался резюмировать дискуссию.

— Племянник! — произнес нотариус с выражением упрека, прерывая его.

— Что, дядюшка? — отвечал председатель.

— Дай же господину Гранде объяснить тебе свои намерения. В данную минуту дело касается важного полномочия. Наш дорогой друг должен определить его надлежащ...

Стук молотка, возвестивший о приходе семейства де Грассенов, их появление и приветствия помешали Крюшо закончить фразу. Нотариус обрадовался, что их прервали. Гранде уже посматривал на него косо, и шишка на его носу показывала внутреннюю бурю. Но прежде всего благоразумный нотариус полагал, что председателю суда первой инстанции неприлично ехать в Париж для того, чтобы принуждать там кредиторов к капитуляции и соучаствовать в делишках, оскорблявших законы безукоризненной честности; затем, не услышав до сих пор от старика Гранде даже намека на желание оплатить какие бы то ни было расходы, он бессознательно дрожал от боязни, что племянник впутается в это дело. Воспользовавшись минутой, когда входили де Грассены, он взял председателя за руку и увлек его в амбразуру окна.

— Ты, племянничек, вполне достаточно себя показал, но довольно чрезмерной преданности. Тебе до смерти хочется добиться такой невесты, и это тебя ослепляет. Кой черт! Не следует действовать как щипцы, что кро-

шат вместе со скорлупой и самый орех. Предоставь теперь мне вести ладью и только помогай маневрировать. Подобает ли тебе ронять достоинство должностного лица в подобной...

Он оборвал свое наставление, услышав, что г-н де Грассен говорит старому бочару, протягивая ему руку:

— Гранде, мы узнали об ужасном несчастье, постигшем ваше семейство: о разорении торгового дома Гильома Гранде и кончине вашего брата. Мы пришли выразить вам сочувствие. Такое ужасное несчастье!

— Другого несчастья нет, кроме кончины господина Гранде-младшего,— сказал нотариус, прерывая банкира.— Да и он не покончил бы с собой, если бы ему пришло на мысль призвать на помощь брата. Старый друг наш, преисполненный чести до кончиков ногтей своих, предполагает ликвидировать долги торгового дома Гранде в Париже. Мой племянник, председатель, чтобы избавить его от хлопот по делу чисто судебному, предлагает немедленно отправиться в Париж, с тем чтобы войти в соглашение с кредиторами и должным образом их удовлетворить.

Слова эти, подтвержденные всей повадкой винодела, который поглаживал себе подбородок, необычайно поразили троих де Грассенов,— ведь дорогой они вволю позлословили насчет скупости Гранде и обвиняли его чуть ли не в братоубийстве.

— О, я был в этом уверен! — воскликнул банкир, поглядывая на жену.— Что я доро́гой говорил тебе, госпожа Грассен? Гранде преисполнен чести до кончиков волос и не допустит, чтобы хоть малейшим образом было затронуто его имя! Богатство без чести — это уродство. Есть еще честь у нас в провинциях! Это очень, очень хорошо, Гранде. Я старый военный служака и не умею таить своей мысли, режу напрямик. Гром и молния! Это — возвышенно!

— В таком случае во...воз...возвышенное обходится до... о...очень до...до..дорого,— отвечал добряк, пока банкир горячо тряс его руку.

— Но ведь это, благородный мой Гранде, не в упрек будь сказано господину председателю, дело чисто коммерческое и требует опытного негоцианта. Тут необходимо знакомство с обратными счетами, авансами, исчисле-

ниями процентов. Я собираюсь в Париж по своим делам и кстати мог бы взять на себя...

— Да, мы могли бы попыта-та-таться сго-о-овориться друг с другом относительно во...возможностей и чтоб мне не обя-обязываться в чем-нибудь, чего я не... не... не желал бы де...лать,—сказал Гранде заикаясь,—потому что, видите ли, господин председатель естественным образом предлагал, чтобы я взял на себя дорожные расходы.

На этих последних словах Гранде уже не запинался.

— Ах,— сказала г-жа де Грассен,— да ведь это же удовольствие — побывать в Париже! Я бы с радостью сама заплатила, лишь бы туда поехать.

И она сделала знак мужу, как бы подзадоривая его отбить во что бы то ни стало поручение у противников; затем она весьма иронически поглядела на обоих Крюшо, принявших совсем жалкий вид. Гранде схватил тогда банкира за пуговицу сюртука и отвел его в угол.

— Я бы гораздо охотнее доверился вам, чем председателю,— сказал он ему.—Вообще тут что-то неладно,— прибавил он, и шишка на его носу зашевелилась.—Я намерен приобрести ренту. Мне нужно поручить кому-нибудь покупку ренты на несколько тысяч франков, и не иначе как по восьмидесяти франков. Эта механика, говорят, обходится дешевле под конец каждого месяца. Вам это дело знакомо, не правда ли?

— Ну, еще бы! Значит, мне предстоит устроить вам ренту на несколько тысяч франков?

— Не бог весть что для начала. Только — молчок! Мне хочется разыграть эту музыку так, чтобы никто ничего не знал. Вы бы заключили для меня сделку к концу месяца. Но ничего не говорите Крюшо, чтоб их не дразнить. Раз вы едете в Париж, посмотрим заодно, каковы козыри бедного моего племянника.

— Значит, решено. Я еду завтра с почтовым дилижансом,— громко сказал де Грассен.— Я зайду к вам за последними инструкциями в... в котором часу?

— В пять часов, перед обедом,— сказал винодел, потирая руки.

Обе враждебные партии задержались еще некоторое время в зале. Де Грассен, после паузы, сказал, хлопая Гранде по плечу:

— Хорошо, у кого есть такие добрые родственники.

— Да, да, хоть оно и не кажется,— отвечал Гранде,— а я до-о-обрый родственник. Я люблю брата и докажу это, если... если это обойдется не...

— Мы покидаем вас! — сказал банкир, удачно прерывая его, прежде чем он кончил фразу.— Раз я ускоряю свой отъезд, мне нужно привести в порядок кое-какие дела.

— Ладно, ладно. Да и я сам, вы... вы з-з-знаете для чего, уда-далюсь в свою ко... «комнату ра...размышлений», как говорит председатель Крюшо.

«Дьявольщина! Я уже больше не господин де Бонфон»,— грустно подумал чиновник, и лицо его приняло унылое выражение, как у судьи, которому наскучила речь защитника. Главы обоих соперничающих семейств ушли вместе. Ни те, ни другие уже не думали о предательстве в отношении винодельческой округи, в котором оказался виновным Гранде, и только тщетно пытались выпытать друг у друга, кто что думает о действительных намерениях добряка в этом новом деле.

— Не желаете ли зайти вместе с нами к госпоже д'Орсонваль? — спросил де Грассен нотариуса.

— Мы придем попозже,— ответил председатель.— Я обещал барышне де Грибокур заглянуть вечерком, и, если дядюшка не возражает, мы сначала отправимся туда.

— Значит, до свидания, господа,— сказала г-жа де Грассен.

И когда де Грассены отошли на несколько шагов от Крюшо, Адольф сказал отцу:

— Оставили их в дураках, а?

— Сын, замолчи,— ответила г-жа де Грассен,— они нас еще могут слышать. Да и слова твои дурного тона и отдают студенческим жаргоном.

— Так-то, дядюшка!—вскричал чиновник, как только увидел, что де Грассены далеко.—Сначала старик именовал меня председателем де Бонфоном, а потом разжаловал, и я уже стал просто Крюшо.

— Я заметил, что тебе это неприятно. Да, ветер дул в сторону де Грассенов. Но до чего ж ты глуп при всем своем уме! Предоставь им покататься на этом *«посмотрим»* старика Гранде и держись спокойно, мой мальчик: Евгения от этого еще верней будет твоей женой.

В несколько минут весть о великодушном решении Гранде разнеслась по трем домам сразу, и в тот же вечер во всем городе только и толковали об этой братской самоотверженности. Всякий прощал Гранде его продажу, произведенную в нарушение взаимного клятвенного обязательства всех сомюрских виноделов, все дивились его чувству чести, восхваляли великодушие, на какое не считали его способным. Французскому характеру свойственно приходить в восторг, в гнев, в страстное воодушевление из-за минутного метеора, из-за плывущих по течению щепок злободневности. Неужели коллективные существа — народы — в самом деле лишены памяти?

Едва старик Гранде запер дверь, как позвал Нанету.

— Не спускай с цепи собаку и не спи, нам с тобой предстоит поработать. В одиннадцать часов Корнуайе должен быть у ворот с фруафонской кареткой. Подожди его у калитки, чтоб он не стучался, и скажи ему, пусть войдет как можно тише. Полицейские правила запрещают производить ночью шум. Да и околотку незачем знать, что я отправляюсь в дорогу.

Сказав это, Гранде поднялся в свою лабораторию, и Нанета слышала, как он там возился, рылся, ходил взад и вперед, но осторожно. Очевидно, старик старался не разбудить жены и дочери и особенно не привлечь внимания племянника, которого он начинал прямо проклинать, замечая свет в его комнате. Среди ночи Евгении, всецело озабоченной кузеном, показалось, что она слышит стенания, и для нее уже не было сомнения: Шарль умирает,— ведь она оставила его таким бледным, в таком отчаянии! Может быть, он покончил с собой? Мгновенно она завернулась в накидку, вроде плаща с капюшоном, и хотела выйти. Сначала яркий свет, пробивавшийся в дверные щели, ее испугал: показалось — пожар; но вскоре она успокоилась, заслышав тяжелые шаги Нанеты и ее голос, мешающийся с ржанием нескольких лошадей.

«А что, если отец увозит куда-то кузена?» — спросила она себя, приотворяя дверь осторожно, чтобы она не скрипела, но так, чтобы видеть происходящее в коридоре.

Вдруг ее глаза встретились с глазами отца, и от его взгляда, хотя спокойного и рассеянного, у Евгении мороз побежал по коже. Добряк и Нанета несли вдвоем толстую жердь, концами лежавшую у него и у нее на правом

плече, к жерди был привязан канатом бочонок, вроде тех, какие старик Гранде для развлечения мастерил у себя в черной кухне в свободные минуты.

— Пресвятая дева! Ну и тяжеленный! — сказала тихо Нанета.

— Жаль, что там всего только медяки! — отвечал Гранде.— Смотри, не задень подсвечник.

Эта сцена была освещена единственной свечой, поставленной между двумя балясинами перил.

— Корнуайе,— сказал Гранде своему сторожу in partibus [1],— пистолеты захватил?

— Нет, сударь. Да и подумаешь, есть чего бояться, раз у вас тут медяки!

— И, верно, нечего,— сказал старик Гранде.

— К тому же и поедем мы быстро,— продолжал сторож.— Ваши фермеры выбрали для вас лучших своих лошадей.

— Ладно, ладно. Ты же не сказал им, куда я еду?

— Да я и не знал.

— Ладно. Повозка прочная?

— А то как же! Куда уж крепче,— три тысячи фунтов выдержит. А что они весят-то, ваши дрянные бочонки.

— На-ко! — сказала Нанета.— Нам-то известно! Близко восемнадцати сотен.

— Помалкивай, Нанета. Жене скажешь, что я поехал в деревню. К обеду вернусь. Гони вовсю, Корнуайе, в Анжере нужно быть раньше девяти.

Повозка отъехала. Нанета задвинула ворота засовом, спустила с цепи собаку, улеглась, потирая онемевшее плечо, и никто во всем околотке не подозревал ни об отъезде Гранде, ни о цели его путешествия. Скрытность добряка была доведена до совершенства. Никто гроша не видал в этом доме, полном золота. Узнав утром из разговоров на пристани, что цена на золото удвоилась вследствие размещения в Нанте крупных военных заказов и что спекулянты нахлынули в Анжер скупать золото, старый винодел, попросту заняв лошадей у своих фермеров, отправился ночью в Анжер, чтобы продать там накопленное золото и на полученные банковые билеты

---

[1] Здесь — частично исполняющему обязанности сторожа (*лат.*).

приобрести государственную ренту, заработав еще и на разнице в биржевом курсе.

— Отец уезжает,— прошептала Евгения, с лестницы слышавшая все.

В доме опять воцарилась тишина; постепенно замер вдали грохот повозки, не тревожа более спящий Сомюр. И тут Евгения, прежде чем услышать, сердцем почуяла стон, донесшийся из комнаты кузена. Светлая полоска, тоненькая, как лезвие сабли, шла из дверной щели и перерезала поперек балясины перил на старой лестнице.

— Он страдает,— сказала она, поднимаясь на две ступеньки.

Услыхав второй стон, она взбежала на площадку и остановилась перед его комнатой. Дверь была приотворена, она толкнула ее. Шарль спал, свесившись головой со старого кресла; его рука выронила перо и почти касалась пола. Прерывистое дыхание Шарля, вызванное неудобным положением тела, вдруг испугало Евгению, и она быстро вошла.

«Он, верно, очень устал»,— подумала она, глядя на десяток запечатанных писем. Она прочла адреса: Гг. Фарри, Брейльман и К°, экипажным мастерам, Г. Бюиссону, портному, и т. д.

«Он, очевидно, устроил все свои дела, чтобы иметь возможность вскоре уехать из Франции»,— подумала она. Взгляд ее упал на два раскрытых письма. Слова, какими начиналось одно из них: «Дорогая моя Анета...» — ошеломили ее. Сердце ее застучало, ноги приросли к полу.

«Его дорогая Анета? Он любит, он любим! Больше нет надежды!.. Что он пишет ей?»

Эти мысли пронеслись в голове и сердце ее. Она читала эти слова повсюду, даже на квадратах пола, написанные огненными чертами.

«Уже отказаться от него! Нет, не буду читать это письмо. Я должна уйти... А если бы я все-таки прочла?..»

Она посмотрела на Шарля, тихо приподняла ему голову и положила на спинку кресла, а он отдался этому, как ребенок, даже во сне узнающий мать и, не просыпаясь, принимающий ее заботы и поцелуи. Словно мать,

Евгения подняла его свесившуюся руку и, словно мать, тихо поцеловала его в голову. «Дорогая Анета!» Какой-то демон кричал ей в уши эти два слова.

— Знаю, что, может быть, поступаю дурно, но я прочту это письмо,— сказала она.

Евгения отвернулась,— благородная честность ее возроптала.

Впервые в жизни столкнулись в ее сердце добро и зло. До сих пор ей не приходилось краснеть ни за один свой поступок. Страсть, любопытство увлекли ее. С каждой фразой сердце ее все более ширилось, и от жгучего любопытства, обуявшего ее во время этого чтения, еще слаще стали для нее радости первой любви.

«Дорогая Анета, ничто бы нас не разлучило, если бы не обрушилось на меня несчастье, которого самый осторожный человек не мог бы предвидеть. Отец мой покончил с собой; состояние его и мое погибло полностью. Я осиротел в таком возрасте, когда по самому уж моему воспитанию могу считаться ребенком; и, тем не менее, я должен мужем подняться из бездны, в которую повергнут. Я только что посвятил часть ночи своим расчетам. Если я хочу покинуть Францию честным человеком,— а в этом сомнения нет,— то у меня не останется и сотни франков, чтобы отправиться попытать счастья в Ост-Индии или Америке. Да, бедная моя Анна, я поеду в страны самого губительного климата добывать состояние. Под такими небесами, как мне говорили, это дело верное и быстрое. Остаться в Париже я не смог бы. Ни душа моя, ни мой характер, отражающийся на моем лице, не созданы для того, чтобы переносить оскорбления, холод, презрение, ожидающие человека разоренного, сына банкрота! Боже мой! Быть должным два миллиона!.. Да я был бы убит на поединке в первую же неделю. Поэтому я не вернусь в Париж. Даже твоя любовь, самая нежная и преданная, какая только облагораживала когда-либо мужское сердце, не была бы в силах привлечь меня в Париж. Увы! Возлюбленная моя, у меня не хватает денег, чтобы поехать туда, где ты, дать и получить последний поцелуй,— поцелуй, в котором почерпнул бы я силу, необходимую для моего предприятия...»

«Бедный Шарль! Я хорошо сделала, что прочла это письмо. У меня есть золото, я отдам ему»,— сказала про себя Евгения.

Она отерла слезы и снова принялась за чтение.

«Я еще вовсе не размышлял о несчастиях нищеты. Если у меня найдется сто луидоров, необходимых на проезд, то не останется ни гроша, чтобы приобрести товары. Да нет, у меня не будет ни ста, ни даже одного луидора, я узнаю, сколько у меня останется, только расплатившись с долгами в Париже. Если у меня не окажется ничего, я преспокойно отправлюсь в Нант, поступлю на корабль простым матросом и начну так, как начинали многие энергичные люди, в молодости не имевшие ни гроша и вернувшиеся из Индии богачами. С сегодняшнего утра я хладнокровно стал смотреть на свое будущее. Оно для меня ужаснее, чем для кого бы то ни было; мать обожала и лелеяла меня, я избалован нежностью отца, лучшего на свете, я встретил при вступлении в свет твою любовь, Анна. Я знал лишь цветы жизни: это блаженство не могло быть долговечно. И все-таки, дорогая Анна, во мне больше мужества, чем можно предположить его в беззаботном юноше, привыкшем к нежным ласкам прелестнейшей в Париже женщины, счастливого семейными радостями, которому дома все улыбалось и желания которого были законом для отца. О, отец мой! Он умер, Анета! И вот я задумался над моим положением, задумался и над твоим. Я постарел за одни сутки. Дорогая Анна, если бы ты даже попыталась сохранить меня возле себя, в Париже, и пожертвовала ради этого всеми наслаждениями роскоши, туалетами, ложею в Опере, мы все же не покрыли бы тех расходов, которые необходимы для молодого человека, привыкшего к рассеянной жизни. Да я и не мог бы принять такой жертвы. Значит, сегодня мы расстаемся навсегда».

«Он с нею расстается, пресвятая дева! Какое счастье!»

Евгения чуть не закричала от радости. Шарль пошевелился во сне, она похолодела от страха; однако, к счастью для нее, он не проснулся. Она продолжала:

«Когда возвращусь я? Не знаю. От климата Ост-Индии европеец быстро стареет, в особенности когда европейцу приходится работать. Перенесемся на десять лет вперед. Через десять лет дочери твоей будет восемнадцать, она станет тебе подругой, станет и твоим соглядатаем. Свет будет к тебе жесток, а дочь твоя, может быть, еще более. Мы видели примеры таких приговоров света и такой неблагодарности девушек; сумеем же воспользоваться уроком. Сохрани в самой глубине души, как сохраню и я, воспоминание о четырех годах счастья и, если можешь, будь верна своему бедному другу. Я не смею, однако, этого требовать, потому что, видишь ли, дорогая Анна, я должен сообразоваться со своим положением, смотреть на жизнь трезво, считаться с житейской действительностью. Итак, я должен подумать о женитьбе, она становится для меня необходимой в новых условиях существования; и я признаюсь тебе, что встретил здесь, в Сомюре, у своего дяди кузину,— ее манеры, лицо, ум и сердце понравились бы тебе, у нее сверх того, мне кажется, есть...»

«Он, должно быть, очень устал, если не кончил писать к ней»,— сказала себе Евгения, видя, что письмо прервано на середине этой фразы.

Она его оправдывала! Следовательно, невинная девушка не заметила холодности, сквозившей в этом письме? Для девушек, получивших религиозное воспитание, полных неведения и чистоты, все исполнено любви, как только они вступают в заколдованное царство любви. Они идут по этому царству, окруженные небесным светом, источник которого сокрыт в их собственной душе и лучами падает на их возлюбленного; они озаряют его огнями собственного чувства и наделяют своими прекрасными мыслями. Ошибки женщины почти всегда происходят от веры ее в добро или из ее уверенности в правде. Для Евгении слова: «Дорогая Анета, возлюбленная моя», звучали в сердце как прекраснейшие слова любви и ласкали душу, как в детстве ласкали ее слух божественные звуки «Приидите, поклонимся», которым вторил орган. К тому же слезы, еще увлажнявшие ресницы Шарля, казались ей свидетельством благороднейших чувств, неизбежно пленяющих юных девушек. Могла ли она

знать, что если Шарль так любил отца и так искренне его оплакивал, то нежность эта исходила не столько от доброты его сердца, сколько от добрых отцовских качеств? И мать и отец постоянно удовлетворяли все его фантазии, доставляли ему все удовольствия богатства, и поэтому у него не возникали те ужасающие расчеты, в каких более или менее повинно в Париже большинство молодых людей, когда среди столичных соблазнов слагаются их желания, намечаются планы, и они с огорчением видят, как выполнение этих планов беспрестанно откладывается и затягивается из-за того, что родители еще живы. Щедрость отца породила в сердце сына любовь сыновнюю — истинную, без задней мысли. Тем не менее Шарль был дитя Парижа, приученный парижскими нравами, самою Анетою все рассчитывать,— уже старик под маскою молодого человека. Он получил страшное воспитание, вращаясь в том обществе, где за один вечер совершается в мыслях, в словах больше преступлений, чем их наказывается судом присяжных; где острословием убиваются величайшие идеи, где что-нибудь значит только тот, кто смотрит на вещи правильно, а правильно смотреть там означает: не верить ни во что — ни в чувства, ни в людей, ни даже в события; там создают события мнимые. Там, чтобы «смотреть правильно», необходимо каждое утро взвешивать кошелек друга, уметь дипломатически поставить себя выше всего, что происходит; заранее ничем не восхищаться — ни созданиями искусства, ни благородными деяниями и движущею силою во всем считать личную выгоду. После любовных безумств великосветская дама, прекрасная Анета, принуждала Шарля «думать серьезно»; она говорила ему о положении в будущем, проводя по его волосам надушенной рукой; поправляя ему локон, она убеждала его, что в жизни нужно быть расчетливым, под ее влиянием он стал изнеженным и весьма практичным. Двойное развращение, но развращение хорошего тона, изящное и тонкое.

— Шарль, вы глупыш,— говорила она ему,— мне будет очень трудно научить вас обычаям света. Вы были очень нелюбезны с господином де Люпо. Я отлично знаю, что он не очень-то достоин уважения. Но подождите, пока этот де Люпо потеряет власть, тогда можете презирать его, сколько вам угодно. Знаете, что нам говорила

госпожа Кампан? «Дети мои, пока человек в составе министерства, преклоняйтесь перед ним. Падет — помогайте тащить его на свалку. В могуществе он нечто вроде бога, но, сверженный, он ниже Марата, брошенного в яму,— потому что он еще жив, а Марат был уже мертв. Жизнь — это чередование всяких комбинаций, их нужно изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться в выгодном положении».

Шарль был человек, слишком вошедший в моду, он был слишком избалован своими родителями, слишком обласкан светом, чтобы иметь сильные чувства. Зерно чистого золота, брошенное в его сердце матерью, растянула в ниточку волочильня парижской жизни; он пользовался им небрежно, и золото постепенно истерлось в житейской суете. Но Шарлю было тогда всего двадцать один год. В этом возрасте свежесть жизни кажется неразлучной с чистотою души. Голос, взгляд, юное лицо вызывают мысль о полной гармонии их с чувствами. Самый суровый судья, самый недоверчивый стряпчий, самый алчный ростовщик все же не решается верить в дряхлость сердца, в порочные расчеты, когда глаза юноши еще блестят влажным блеском, как у ребенка, а на лбу нет ни одной морщины. У Шарля никогда не было случая применять на деле правила парижской морали, и он был прекрасен своей неопытностью. Но помимо него самого эгоизм уже был привит ему. В сердце его уже таились зародыши тех материальных интересов, которые составляют основу политической экономии парижан, и они не замедлили бы развиться, как только он из праздного зрителя стал бы актером в драме реальной жизни. Почти все девушки доверяются сладостным обещаниям пленительной внешности. Но будь Евгения такою же осторожной и наблюдательной, какими бывают многие девушки в провинции, могла ли она не доверять кузену, когда его обращение, слова и поступки были еще в согласии со стремлениями сердца? Случай, для нее роковой, сделал ее свидетельницей последних излияний искренней чувствительности, еще не угасшей в этом юном сердце, и дал ей услышать, так сказать, последние вздохи совести. И вот она оставила это письмо, в ее понимании исполненное любви, и стала с нежностью всматриваться в спящего кузена: нетронутые иллюзии жизни еще озаря-

ли для нее это лицо; и тут же она поклялась себе любить его вечно. Затем она бросила взгляд на другое письмо, не придавая большого значения этой вторичной нескромности. И если начала читать его, то лишь для того, чтобы получить новые доказательства душевного благородства, которым она, подобно всем женщинам, наделяла своего избранника.

«Дорогой Альфонс, в ту минуту, когда ты будешь читать это письмо, у меня уже не будет друзей; но признаюсь тебе, что, сомневаясь в наших светских людях, привыкших злоупотреблять этим словом, я не усомнился в твоей дружбе. Поэтому я обременяю тебя поручением уладить мои дела и рассчитываю на тебя, чтобы извлечь пользу из всего, чем я владею. Теперь ты должен узнать о моем положении. У меня нет ничего, и я собираюсь уехать в Ост-Индию. Я только что написал ко всем, кому, как припоминаю, что-нибудь остался должен. Прилагаю к письму список их, точный настолько, насколько я в состоянии составить его по памяти. Продай мою библиотеку, всю обстановку, экипажи, лошадей и прочее; вырученных денег, надеюсь, хватит на уплату моих долгов. Для себя хочу я сохранить только ничего не стоящие безделушки, которые мне пригодятся для начала моей торговли. Дорогой Альфонс, отсюда я пришлю тебе для этой продажи формальную доверенность на случай оспоривания. Пришли мне все мое оружие. Британа оставь себе. Никто не оценит это восхитительное животное, и я предпочитаю подарить его тебе, вместо обычного кольца, которое умирающий завещает душеприказчику. В мастерской Фарри, Брельман и К° мне сделали очень удобную дорожную карету; но они мне ее не привезли; добейся от них, чтобы они ее оставили у себя, не требуя с меня возмещения убытков; если они откажутся от этой сделки, то избегни всего, что могло бы при нынешних моих обстоятельствах бросить тень на мою честность. Я должен шесть луидоров англичанину — проиграл их в карты — непременно отдай...»

— Милый кузен! — сказала Евгения, бросив читать письмо, и крадучись вернулась к себе, захватив одну из горящих у Шарля свечей.

Очутившись в своей комнате, она не без приятного волнения выдвинула ящик старинного дубового поставца, одного из прекраснейших изделий так называемой эпохи Возрождения,— на дверце еще была видна полустершаяся знаменитая королевская саламандра. Из ящика она достала туго набитый кошелек алого бархата с золотыми кистями, вышитый по краям уже обветшалой канителью,— наследство от бабушки. Она с превеликой гордостью взвесила этот кошелек на ладони и с удовольствием стала проверять забытый итог скромных своих сбережений. Прежде всего она отделила двадцать португальских червонцев, чеканенных при Иоанне V, в 1725 году. В обмен за ходячую монету за них дали бы не меньше чем по сто шестьдесят восемь франков шестьдесят четыре сантима,— так говорил ей отец. Но настоящая цена им была сто восемьдесят франков штука,—такой редкостью были эти красивые монеты, сиявшие, как солнце.

Затем пять генуэзских червонцев — тоже редкостная монета; на обмен они стоили восемьдесят семь франков каждый, но любитель дал бы за них и все сто. Они достались Евгении от покойного дяди, старика де ла Бертельера.

Далее три золотых испанских пистоля времен Филиппа V, чеканенных в 1729 году,—подарки г-жи де Жантийе, которая, даря пистоль, каждый раз приговаривала:

— Этот хорошенький кенарь, этот желтенький милушка стоит девяносто восемь ливров. Береги его, детка,— это украшение твоей коллекции.

Далее сто голландских червонцев, чеканенных в 1756 году и ходивших по тринадцати франков — старик Гранде более всего дорожил ими, ибо золота в каждой монете было двадцать три с лишним карата.

И, наконец, наиредчайшие монеты, ценившиеся любителями наравне с античными медалями и дорогие для скупцов: три рупии со знаком Весов и пять рупий со знаком Девы, в двадцать четыре карата каждая, великолепные золотые Великого Могола; цена каждой из них была по весу тридцать семь франков сорок сантимов, но знаток охотно заплатил бы пятьдесят франков.

Последним Евгения взяла в руки двойной наполеондор, стоимостью в сорок франков, который она полу-

чила от отца третьего дня, и небрежно бросила его в кошелек.

Словом, ее казна состояла из новеньких, нетронутых монет, подлинно художественных вещиц, и время от времени папаша Гранде осведомлялся о них, выражая желание полюбоваться ими и объяснить дочери во всех тонкостях присущие им высокие достоинства — чистоту обреза, блеск поверхности, великолепие букв с четкими, еще не стертыми гранями. Но Евгения не размышляла ни об этих редкостях, ни о мании отца, ни о страшной опасности утратить сокровище, столь дорогое ее отцу; нет, она думала о кузене, и ей удалось, наконец, подсчитать, после нескольких ошибок, что у нее накопилось около пяти тысяч восьмисот франков золотом, которое, договорившись, можно продать за две тысячи экю. При виде этого богатства она захлопала в ладоши, словно ребенок, изливающий в простодушных движениях преизбыток радости. Так отец и дочь подсчитали каждый свое состояние; он — чтобы продать свое золото, Евгения — чтобы бросить свое золото в океан чувства. Она положила монеты обратно в старый кошелек, взяла его и без колебаний вновь поднялась наверх. Тайная нищета кузена заставила ее забыть и поздний ночной час и приличия; она была сильна чистой совестью, самоотвержением, счастьем.

В ту минуту, как она показалась на пороге двери, со свечой в одной руке и кошельком в другой, Шарль проснулся, увидел кузину и остолбенел, раскрыв рот от изумления. Евгения подошла к нему, поставила подсвечник на стол и сказала взволнованным голосом:

— Кузен, я должна просить у вас прощения в тяжкой вине перед вами; но бог мне простит этот грех, если вы захотите отпустить мне его.

— Да что такое? — спросил Шарль, протирая глаза.

— Я прочла оба эти письма.

Шарль покраснел.

— Как это случилось? — продолжала она.— Почему я поднялась к вам? По правде сказать, сама теперь не знаю. Но я склонна не слишком раскаиваться в том, что прочла эти письма: теперь я знаю ваше сердце, вашу душу и...

— И еще что? — спросил Шарль.

— И ваши планы· то, что вам необходима некоторая сумма...

— Дорогая кузина!..

— Тсс, тсс, кузен! Не надо говорить громко, а то кого-нибудь разбудим. Вот,— сказала она, раскрывая кошелек,— сбережения бедной девушки, которая не нуждается ни в чем. Шарль, примите их. Сегодня утром я еще не понимала, что такое деньги. Вы научили меня: деньги — только средство, вот и все. Кузен — почти брат, вы со спокойной совестью можете взять деньги у сестры. Я даю их вам взаймы.

Евгения́, в которой женская настойчивость сочеталась с чистотой юной девушки, не предвидела отказа, а кузен молчал.

— Неужели вы отказываетесь? — спросила Евгения, и в глубокой тишине было слышно, как бьется ее сердце.

Раздумье кузена обидело ее, но его нужда представилась ей еще живее, и она опустилась на колени.

— Я не встану, пока вы не возьмете это золото!—сказала она.— Кузен, умоляю, отвечайте!.. чтобы я знала, уважаете ли вы меня, великодушны ли вы...

Услыша этот крик сердца, полного благородным отчаянием, Шарль оросил слезами руки кузины, схватив их, чтобы не дать ей стоять на коленях. Почувствовав эти горячие слезы, Евгения кинулась к кошельку и высыпала деньги на стол.

— Значит, да — правда? — сказала она, плача от радости.— Не бойтесь ничего, кузен, вы будете богаты. Это золото принесет вам счастье, когда-нибудь вы мне его вернете. Кроме того, мы составим товарищество. Словом, я соглашусь на все условия, какими вы меня свяжете. Но вы бы не должны придавать такое значение этому подарку.

Шарль смог, наконец, выразить свои чувства.

— Да, Евгения, у меня была бы мелкая душа, если бы я отказался. Однако дар за дар, доверие за доверие.

— О чем вы говорите? — с испугом спросила она.

— Послушайте, дорогая кузина, там у меня...

И, не докончив, он указал на квадратный ящичек в кожаном чехле, стоявший на комоде.

— Там у меня, видите ли, вещь мне дорогая, как

жизнь. Этот ларец — подарок матери. Нынче с утра я все думал, что если бы она могла встать из могилы, то сама продала бы золото, которым из нежной любви ко мне она так щедро наполнила несессер, но сделать это самому я счел бы святотатством.

При последних словах Евгения судорожно сжала руку кузена.

— Нет,— продолжал он после недолгого молчания, когда они обменялись взглядом, влажным от слез,— нет, я не хочу ни уничтожать его, ни подвергать опасности в моих странствованиях. Дорогая Евгения, вы будете его хранительницей. Никогда друг не доверял другу ничего более священного. Судите сами.

Он подошел к комоду, вынул ларец из футляра и, открыв его, с грустью показал восхищенной кузине несессер, по работе еще более ценный, чем по весу золота.

— То, чем вы любуетесь,— ничто,— сказал он, нажимая пружину, раскрывшую двойное дно.— Вот что мне дороже всего на свете.

Он вынул два портрета, два шедевра г-жи Мирбель, в богатых жемчужных оправах.

— О! Вот красавица! Не та ли это дама, которой вы писали...

— Нет,— сказал он, улыбаясь.— Эта женщина—моя мать, а вот мой отец,— ваши тетка и дядя. Евгения, я готов на коленях умолять вас сохранить мне это сокровище. Если бы я погиб и погубил ваше маленькое состояние, то это золото возместит вам потерю. Только вам одной могу я оставить эти портреты: вы достойны хранить их. Но уничтожьте их, чтобы после вас они не попали в чужие руки...

Евгения молчала.

— Вы согласны, не так ли? — прибавил он ласково.

В ответ она бросила на него первый взгляд любящей женщины, один из тех взглядов, где почти столько же кокетства, как и глубины. Он взял ее руку и поцеловал.

— Ангел чистоты! Для нас с вами, не правда ли, деньги никогда ничего не будут значить? Чувство, придающее им некоторую ценность, будет отныне все.

— Вы похожи на свою мать. А голос у нее был такой же нежный, как у вас?

— О, гораздо нежнее...

— Да, для вас,— сказала она, опуская глаза.—Ну, Шарль, ложитесь спать, прошу вас, вы устали. До завтра.

Она тихо высвободила руку из рук кузена; он проводил ее, захватив с собой свечу. Когда они были уже у двери ее комнаты, он сказал:

— Ах, зачем я разорен!

— Мой отец богат, я думаю,— ответила она.

— Бедное дитя,— продолжал Шарль, остановившись у порога и прислоняясь спиной к косяку,— будь дядюшка богат, он не дал бы умереть моему отцу, не оставлял бы вас в такой скудости, словом, жил бы иначе.

— Но у него есть Фруафон.

— Да что стоит Фруафон?

— Я не знаю; но у него есть Нуайе.

— Какая-нибудь жалкая ферма!

— У него есть виноградники и луга...

— Пустяки! — сказал Шарль с презрительным видом.— Будь у вашего отца хоть двадцать четыре тысячи ливров дохода, разве вы жили бы в этой холодной, пустой комнате? — прибавил он, переступив порог.— Значит, тут будет мое сокровище,— сказал он, указывая на старый поставец, чтобы скрыть свою мысль.

— Идите спать,— сказала она, не давая ему войти в неубранную комнату.

Шарль вышел, и они с улыбкой простились, друг с другом.

Оба они уснули, грезились им одинаковые сны, и с той поры перед глазами Шарля мелькали розы на его трауре.

Наутро, перед завтраком, г-жа Гранде увидела, что ее дочь прогуливается по саду вместе с Шарлем. Он был еще печален, как человек, который ввергнут судьбою в бездну, измерил всю ее глубину и почувствовал бремя предстоящей ему жизни.

— Отец вернется только к обеду,— сказала Евгения, заметив, что мать обеспокоена этой прогулкой.

В каждом движении девушки, в выражении лица, в воркующей нежности голоса сквозило, что между нею и ее кузеном установилось полное согласие мыслей. Души их соединяло жаркое чувство, быть может хорошо еще не осознанное ими во всей его силе. Шарль остался в зале, и к грусти его отнеслись с должным уважением.

У каждой из трех женщин было свое занятие. Гранде бросил дома дела, а приходило довольно много народа: кровельщик, водопроводчик, каменщик, землекопы, плотник, хуторяне, фермеры: одни — договориться о починках и всяких работах, другие — внести арендную плату или получить деньги. И вот г-же Гранде и Евгении пришлось суетиться, вести бесконечные разговоры с рабочими и с деревенским людом. Нанета в кухне складывала в ящики взносы натурой, доставленные фермерами. Она всегда ждала распоряжений хозяина, чтобы знать, что оставить для дома и что продать на рынке. У Гранде, как и у многих помещиков, было обыкновение пить самое плохое свое вино и есть подгнившие фрукты.

Часов в пять вечера Гранде вернулся из Анжера, выручив за свое золото четырнадцать тысяч франков и получив свидетельство государственного казначейства на выплату процентов по день получения облигаций ренты. Корнуайе он оставил в Анжере, наказав ему покормить полузагнанных лошадей, дать им хорошенько отдохнуть и не торопясь ехать домой.

— Я из Анжера, жена,— сказал он.— Есть хочу.

Нанета закричала ему из кухни:

— Разве вы ничего не кушали со вчерашнего дня?

— Ничего,— ответил старик.

Нанета подала суп. Де Грассен явился к клиенту за распоряжениями, когда семья сидела за столом. Папаша Гранде даже не взглянул на племянника.

— Кушайте, Гранде, не беспокойтесь,— сказал банкир.— Побеседуем. Не знаете ли, какая цена золоту в Анжере? Туда понаехали скупать его для Нанта. Я собираюсь послать.

— Не посылайте,— ответил добряк Гранде,— там уже избыток. Мы с вами хорошие друзья, и я избавлю вас от напрасной потери времени.

— Но ведь золото там стоит тринадцать франков пятьдесят сантимов.

— Скажите лучше — стоило.

— Откуда же, черт возьми, оно явилось?

— Я ездил нынче ночью в Анжер,— ответил Гранде, понизив голос.

Банкир вздрогнул от изумления. Затем де Грассен и Гранде стали что-то говорить друг другу на ухо, время

от времени поглядывая на Шарля. И снова де Грассен весь встрепенулся от удивления,— несомненно, в ту минуту, когда бывший бочар дал банкиру распоряжение купить для него государственной ренты на сто тысяч ливров.

— Господин Гранде,— обратился он к Шарлю,— я еду в Париж, и если бы вы пожелали дать мне какое-нибудь поручение...

— Никаких, сударь. Благодарю вас,— ответил Шарль.

— Поблагодарите его как следует, племянник. Господин де Грассен едет улаживать дела фирмы Гильома Гранде.

— Так есть какая-нибудь надежда? — спросил Шарль.

— Но разве вы не мой племянник? — воскликнул бочар с хорошо разыгранной гордостью.— Ваша честь — наша честь. Разве вы не Гранде?

Шарль вскочил, обнял папашу Гранде, крепко поцеловал и, побледнев, вышел. Евгения с восхищением глядела на отца.

— Ну, до свидания, мой добрый Грассен,— я ваш покорный слуга, а вы уж обработайте мне тех господ!

Два дипломата пожали друг другу руки; бывший бочар проводил банкира до дверей, потом, затворив их, вернулся и сказал Нанете, опускаясь в кресло:

— Подай-ка черносмородинной.

Но от волнения он не мог сидеть на месте, поднялся, притопнул ногой и, выделывая «коленца», как говорила Нанета, стал напевать:

Служил в французской гвардии
Папаша добрый мой.

Нанета, г-жа Гранде и Евгения молча посматривали друг на друга. Когда веселость винодела достигала высшей точки, она каждый раз приводила их в ужас.

Вечер скоро пришел к концу. Папаша Гранде захотел лечь пораньше, а когда он ложился, все в доме должны были спать, так же как, «когда Август напивался, Польша была пьяна». Впрочем, Нанета, Шарль и Евгения устали не меньше хозяина. Что до г-жи Гранде, то она спала, ела, пила, ходила, как того желал супруг. Однако

в течение двух часов, посвященных пищеварению, бочар настроен был необыкновенно игриво и сыпал своими особыми изречениями; по одному из них можно будет судить о степени его остроумия.

Выпив черносмородинной, он посмотрел на рюмку.

— Не успеешь пригубить, а рюмка уж и пуста! Так-то и мы. Живем, живем, да и помрем. Ох, хороша была бы жизнь, ежели б червончики по свету катились да в мошне у нас зацепились.

Он стал весел и милостив. Когда Нанета пришла с прялкой, он ей сказал:

— Ты, верно, устала,— брось свою пеньку.

— Чего там, мне скучно будет! — ответила служанка.

— Бедная Нанета! Хочешь черносмородинной?

— Вот от черносмородинной не откажусь: барыня ее делает получше аптекарей. У них она вроде лекарства.

— Они чересчур много сахару в нее кладут, весь запах пропадает,— сказал добряк.

На другой день семья собралась в восемь часов к завтраку и впервые явила картину полного, естественного согласия. Несчастье быстро сблизило г-жу Гранде, Евгению и Шарля. Нанета, и та, сама того не ведая, чувствовала заодно с ними. Они вчетвером становились одной семьей. Что до старого винодела, то, насытив свою корысть и уверившись, что вертопраха он скоро спровадит, оплатив ему дорогу только до Нанта, он стал почти равнодушен к его присутствию в доме. Он предоставил обоим детям, как он называл Шарля и Евгению, делать, что им вздумается, под надзором г-жи Гранде, так как вполне доверял ей во всем, что касалось нравственности и религии. Планировка лугов и придорожных канав, посадка тополей у Луары, зимние работы на фермах и в Фруафоне всецело занимали его.

И тогда для Евгении началась весна любви. С той ночной сцены, когда она отдала свое сокровище Шарлю, и сердце ее последовало за сокровищем. Соучастники общей для них тайны, они обменивались взглядами, выражавшими взаимное понимание, которое углубляло их чувства, усиливало их единение, душевную близость, ставило их обоих, так сказать, над обыденной жизнью. Разве не дозволяло им родство не скрывать нежности в звуках голоса и ласки во взглядах? И Евгения с на-

слаждением усыпляла страдания кузена детскими восторгами зарождавшейся любви. Нет ли пленительного сходства между первоначальной порою любви и жизни? Разве не баюкают ребенка тихими песнями, с нежностью глядя на него? Разве не рассказывают ему чудесных сказок, позлащающих для него грядущее? Не простирает ли над ним надежда лучезарные свои крылья? Не плачет ли он попеременно слезами радости и горя? Не ссорится ли он по пустякам — из-за камешков, из которых пытается построить себе шаткий дворец, из-за пучка цветов, забываемых, едва они срезаны? Не жадно ли ловит он время и торопится идти вперед по пути жизни? Любовь — наше второе превращение.

Детство и любовь были одно для Евгении и Шарля: то была первая страсть со всеми ее ребячествами, тем более ласкавшими их сердца, что они повиты были печалью. С рождения своего эта любовь таилась под траурным крепом и оттого только стройнее сочеталась с провинциальной простотой этого полуразвалившегося дома. Обмениваясь с кузиной несколькими словами у колодца в безмолвном дворе, гуляя в садике, сидя вдвоем до захода солнца на замшелой скамье, когда оба говорили друг другу полные значения пустяки или, словно под сводами церкви, молчали, внимая тишине, царившей между оградой и домом,— Шарль понял святость любви: ведь его великосветская дама, его дорогая Анета познакомила его только с бурными ее тревогами. Ныне он расставался с парижской страстью, кокетливой, суетной, блестящей, ради чистой и истинной любви. Ему мил был этот дом, нравы которого не казались уже смешными. Он выходил из своей комнаты рано утром, чтобы несколько минут поговорить с Евгенией, пока Гранде придет выдавать провизию, а когда шаги старика раздавались на лестнице, он убегал в сад. Мнимая преступность этого утреннего свидания, остававшегося тайной даже для матери Евгении и якобы не замечаемого Нанетой, придавала невиннейшей в мире любви прелесть запретных радостей.

После завтрака, когда Гранде отправлялся осматривать свои земли и предприятия, Шарль оставался с матерью и дочерью и переживал еще неведомые ему наслаждения, протягивая руки, чтобы разматывать нитки,

глядя на их работу, слушая их болтовню. Простота этой жизни, почти монастырской, открывшей ему красоту этих душ, не ведавших мирской суеты, живо его трогала. Он думал, что такие нравы невозможны во Франции, и допускал существование их только в Германии, и то лишь в преданиях да в романах Августа Лафонтена. Вскоре Евгения сделалась для него идеалом гетевской Маргариты, но еще непорочной. День ото дня его взгляды, его слова все сильнее увлекали бедную девушку, и она с восхищением отдалась течению любви; она хваталась за свое счастье, как пловец за ивовую ветку, чтобы выбраться из потока и отдохнуть на берегу. Но разве горе не омрачало уже самых радостных часов этих быстролетных дней? Каждый день какой-нибудь случай напоминал им о близкой разлуке. Так, три дня спустя после отъезда де Грассена старик Гранде повел племянника в суд первой инстанции: Шарль должен был подписать отказ от отцовского наследства с той торжественностью, какую провинциалы придают подобным делам. Страшное отречение! Своего рода отступничество сына. Шарль побывал у нотариуса Крюшо, чтобы засвидетельствовать две доверенности — одну на имя де Грассена, другую — на имя приятеля, которому он поручил продать свою обстановку. Затем надо было выполнить формальности для получения заграничного паспорта. Наконец, когда прибыла простая траурная одежда, выписанная Шарлем из Парижа, он призвал сомюрского портного и продал ему свои, теперь ненужные костюмы. Этот поступок особенно понравился папаше Гранде.

— А, вот теперь ты похож на человека, который собирается сесть на корабль и хочет разбогатеть,— сказал Гранде, увидя Шарля в сюртуке толстого черного сукна.— Хорошо, очень хорошо!

— Уверяю вас, сударь,— ответил ему Шарль,— что я сумею быть таким, как подобает в моем положении.

— Это что такое? — сказал добряк, смотря загоревшимся взглядом на пригоршню золота, которую показал ему Шарль.

— Сударь, я собрал запонки, кольца, все лишние вещи, какие у меня есть и могли бы что-нибудь стоить, но, никого не зная в Сомюре, я хотел просить вас нынче утром...

— Купить у тебя это? — сказал Гранде, прерывая его.

— Нет, дядя, указать мне честного человека, который бы...

— Давай мне все это, племянник. Я схожу наверх, оценю и вернусь сказать тебе, что́ это стоит, с точностью до одного сантима. Золото в ювелирных изделиях,— сказал он, рассматривая длинную цепочку,— от восемнадцати до девятнадцати каратов.

Старик протянул свою ручищу и унес золото.

— Кузина,— сказал Шарль,— позвольте предложить вам эти две застежки, они могут вам пригодиться — скреплять ленты у кистей рук. Получается браслет. Теперь это очень модно.

— Принимаю без всяких колебаний,— сказала она, бросив на него понимающий взгляд.

— Тетушка, вот наперсток моей матери. Я бережно хранил его в своем дорожном несессере,— сказал Шарль, преподнося г-же Гранде красивый золотой наперсток, предмет ее десятилетних желаний.

— Благодарности моей даже и выразить невозможно, племянничек,— сказала старушка, и у нее на глаза набежали слезы.— Вечером и утром к моим молитвам я буду прибавлять самую усердную за вас — молитву о путешествующих. Когда я умру, Евгения сохранит вам эту драгоценность.

— Все стоит девятьсот восемьдесят франков семьдесят пять сантимов, племянник,— сказал Гранде, отворяя дверь.— Но, чтобы избавить тебя от хлопот по продаже, я отсчитаю тебе эту сумму... в ливрах.

На побережье Луары выражение «в ливрах» означает что экю в шесть ливров должны приниматься за шесть франков, без вычета.

— Я не смел вам это предложить,— ответил Шарль,— но мне было бы противно торговать своими драгоценностями в городе, где вы живете. Стирать свое грязное белье надо у себя дома, говорил Наполеон. Очень вам благодарен за вашу любезность.

Гранде почесал за ухом; минута прошла в молчании.

— Дорогой дядя,— продолжал Шарль, тревожно глядя на него, словно боялся задеть его щепетильность,— кузина и тетушка соблаговолили принять от ме-

ня на память скромные подарки; благоволите и вы принять запонки, мне уже ненужные: пусть они напоминают вам о бедном малом, который и в далеких краях будет думать о тех, в ком отныне — вся его семья.

— Мальчик, мальчик, не надо так разорять себя... Что у тебя, жена? — сказал Гранде с жадностью, оборачиваясь к ней.— О, золотой наперсток!.. А у тебя, дочурка? Так! Бриллиантовые застежки!.. Ладно, беру твои запонки, мальчик,— продолжал он, пожимая руку Шарлю.— Но... ты позволишь мне... оплатить твой... да, твой проезд в Индию? Да, я хочу оплатить тебе проезд. К тому же, видишь ли, мальчик, оценивая твои драгоценности, я подсчитал только вес золота, а может быть, удастся кое-что выручить и на работе. Так решено! Я дам тебе полторы тысячи франков... в ливрах. Мне Крюшо одолжит, ведь у меня в доме медного гроша нет, разве только Перроте раскачается и заплатит просроченные деньги за аренду. Да, да, зайду-ка я к нему!

Он взял шляпу, надел перчатки и вышел.

— Значит, вы уедете? — сказала Евгения, бросая на Шарля взгляд, выражавший и печаль и восхищение.

— Так надо,— ответил он, опуская голову.

Уже несколько дней, как у Шарля появились манеры, осанка, вид человека, глубоко удрученного, но сознающего всю тяжесть лежащих на нем важных обязанностей и черпающего новое мужество в своем несчастье. Он не вздыхал более, он стал мужчиной. И Евгения лучше чем когда-либо оценила характер кузена, когда он спустился сверху в одежде из толстого черного сукна, которая очень шла к его побледневшему и сумрачному лицу. В этот день обе женщины надели траур и пошли с Шарлем в приходскую церковь, заказав там отслужить панихиду за упокой души Гильома Гранде.

Во время второго завтрака Шарль получил письма из Парижа и прочел их.

— Ну, как, вы довольны своими делами, братец? — тихо сказала Евгения.

— Никогда не задавай таких вопросов, дочь,— заметил Гранде.— Какого черта! Я не рассказываю тебе о своих делах,— зачем же ты суешь нос в дела твоего брата? Оставь мальчика в покое.

— О! У меня нет никаких тайн,— сказал Шарль.

— Та-та-та-та-та! Племянник, да будет тебе известно, что в коммерческих делах надо держать язык за зубами.

Когда влюбленные остались одни в саду, Шарль сказал Евгении, уводя ее на старую скамью, где они сели под ореховым деревом:

— Я не ошибся в Альфонсе, он отнесся ко мне как истинный друг, устроил мои дела толково и добросовестно. Все мои долги в Париже уплачены, вся обстановка моя выгодно продана, и он сообщает, что, по совету одного капитана дальнего плавания, употребил оставшиеся у него три тысячи франков на покупку всякого хлама — европейских диковинок, из которых извлекают большую выгоду в Ост-Индии. Он послал мои тюки в Нант, где грузится корабль на Яву. Через пять дней, Евгения, нам придется проститься, может быть навсегда или по крайней мере надолго. Мой товар и десять тысяч франков, которые мне посылают двое друзей,— начало очень скромное. Вернуться раньше нескольких лет и думать нечего. Дорогая кузина, не связывайте свою жизнь с моей; я могу погибнуть, может быть вам представится хорошая партия...

— Вы меня любите? — спросила Евгения.

— О да, очень! — ответил он с глубокой выразительностью, обличавшей глубину чувства.

— Я буду ждать, Шарль. Господи! Отец у окна,— сказала она, быстро отстраняя кузена, который придвинулся было, чтобы обнять ее.

Она убежала под арку ворот, Шарль пошел за ней; увидя его, она отошла к лестнице и отворила дверь; потом, не вполне сознавая, куда идет, Евгения очутилась возле чулана Нанеты, в самом темном месте коридора; тут Шарль, шедший за нею, взял ее за руку, привлек к сердцу, обнял за талию и нежно прижал к себе. Евгения не противилась более, она приняла и подарила поцелуй, самый чистый, самый сладостный и самый беззаветный из всех поцелуев.

— Дорогая Евгения, кузен лучше, чем брат: он может жениться на тебе,— сказал ей Шарль.

— Да будет так! — вскричала Нанета, отворяя дверь своей конуры.

Влюбленные в страхе спаслись бегством в зал, где Евгения снова взялась за рукоделье, а Шарль принялся читать литании пресвятой деве по молитвеннику г-жи Гранде.

— Так-то! — сказала Нанета.— Мы все молимся.

С тех пор как Шарль объявил о своем отъезде, Гранде засуетился, желая внушить всем, что он относится к племяннику с большим участием; он выказывал большую щедрость во всем, что ничего ему не стоило, взялся приискать упаковщика и, заявив, что этот человек запросил слишком дорого за ящики, захотел во что бы то ни стало сделать их сам, пустив для этого в ход старые доски; он вставал спозаранку, стругал, прилаживал, выравнивал, сколачивал планки и соорудил прекрасные ящики, куда и уложил все вещи Шарля; он взялся сплавить их на судне вниз по Луаре, застраховать и отправить, когда придет время, в Нант.

После поцелуя в коридоре часы бежали для Евгении с ужасающей быстротой. Временами она хотела отправиться вместе с кузеном. Кто познал самую неотступную из страстей, длительность которой с каждым днем сокращает возраст, время, смертельная болезнь, те или иные роковые условия человеческой жизни,— тот поймет муки Евгении. Часто она плакала, гуляя в саду, теперь слишком для нее тесном, так же как и дом, и двор, и город: она заранее уносилась в широкий простор морей.

Наконец наступил канун отъезда.

Утром, в отсутствие Гранде и Нанеты, драгоценная шкатулка, где находились два портрета, была торжественно помещена в единственном запиравшемся на ключ ящике поставца, где лежал также пустой кошелек. Водворение этого сокровища не обошлось без обильных слез и поцелуев. Когда Евгения спрятала ключ на груди, у нее не хватило духу запретить Шарлю поцеловать место, где он теперь хранился.

— Ему уже отсюда не уйти, друг мой.

— Так и сердце мое всегда будет здесь.

— Ах, Шарль, это нехорошо,— сказала она с некоторым недовольством.

— Разве мы не муж и жена? — ответил он.— Ты дала мне слово, прими же мое слово.

— Твой! Твоя навеки! — раздалось одновременно.

На земле не бывало обета более целомудренного: душевная чистота Евгении на мгновение освятила любовь Шарля.

На следующий день утренний завтрак прошел грустно. Несмотря на раззолоченный халат и шейный крестик, подаренный Шарлем Нанете, она прослезилась, свободно выражая свои чувства.

— Бедненький молодой барин в море идет. Да сохранит его господь!

В половине одиннадцатого вся семья отправилась проводить Шарля до нантского дилижанса. Нанета спустила пса, заперла ворота и взялась нести дорожный мешок Шарля. Все торговцы старой улицы высыпали на порог своих лавок, чтобы поглядеть на это шествие, к которому присоединился на площади нотариус Крюшо.

— Смотри не заплачь, Евгения,— сказала ей мать.

— Ну, племянник,— сказал Гранде в подъезде гостиницы, целуя Шарля в обе щеки,— уезжаете бедным, возвращайтесь богатым; вы найдете честь отца целой и невредимой. За это отвечаю вам я, Гранде. И тогда от вас самих будет зависеть, чтобы...

— Ах, дядюшка, вы смягчаете горечь моего отъезда. Это лучший подарок, какой вы могли мне сделать!

Не понимая, что говорит старый бочар, которого он прервал, Шарль поцеловал его, оросив слезами благодарности его дубленую физиономию, а в это время Евгения жала изо всех сил руку кузена и руку отца. Только нотариус улыбался, дивясь хитрости Гранде: он один его понял. Четверо сомюрцев, окруженные несколькими зрителями, оставались возле дилижанса, пока он не тронулся; а когда он исчез на мосту и стук колес слышался уже в отдалении, винодел сказал:

— Скатертью дорожка!

К счастью, только нотариус Крюшо услышал это восклицание. Евгения с матерью пошли на то место набережной, откуда могли еще видеть дилижанс, и махали белыми платками; в ответ на это и Шарль замахал платком.

— Мама, мне хотелось бы на одну минуту обладать всемогуществом бога,— сказала Евгения, когда платок Шарля исчез из глаз.

Чтобы не прерывать течения событий, происходивших в семье Гранде, необходимо забежать вперед и бросить взгляд на операции, какие производил добряк в Париже при посредстве де Грассена. Месяц спустя после отъезда банкира в руках Гранде были государственные облигации на сто тысяч ливров ренты, купленные по курсу в восемьдесят франков. Даже сведения, полученные из счетных книг после его смерти, так и не пролили ни малейшего света на уловки, подсказанные ему недоверчивостью, никто не узнал, к каким же способам он прибегнул, чтобы оплатить и получить эти облигации. Нотариус Крюшо полагал, что Нанета, сама того не зная, явилась верным орудием переправки денег. В эту пору служанка отлучалась на пять дней под предлогом какой-то уборки в Фруафоне, как будто добряк способен был что-нибудь запустить в своих владениях. Что касается дел торгового дома Гильома Гранде, то все предположения бочара осуществились.

Французский государственный банк, как знает всякий, располагает самыми точными сведениями о крупных состояниях в Париже и в департаментах. Имена де Грассена и Феликса Гранде из Сомюра были там известны и пользовались уважением, воздаваемым тузам финансового мира, которые опираются на огромные незаложенные земельные владения. Поэтому прибытия сомюрского банкира, приехавшего, как говорили, для достойной ликвидации дел парижской фирмы Гранде, было достаточно, чтобы избавить тень покойного негоцианта от позора протеста векселей. В присутствии кредиторов были сняты печати, и нотариус приступил к составлению по всем правилам описи наследства. Вскоре де Грассен собрал кредиторов, и они единогласно избрали ликвидатором сомюрского банкира совместно с Франсуа Келлером, главою богатой фирмы, одним из главных заинтересованных лиц; ликвидаторов наделили всеми полномочиями, необходимыми для того, чтобы спасти и честь семейства Гранде и интересы кредиторов.

Кредитоспособность сомюрского Гранде, надежда, вселенная им в сердца кредиторов при посредстве де Грассена, облегчила соглашение,— среди кредиторов не оказалось ни одного несговорчивого. Никто не думал

списывать сумму долга по счету убытков, всякий говорил:

— Сомюрский Гранде заплатит!

Прошло полгода. Парижане оплатили находившиеся в обращении векселя умершего и хранили их в своих бумажниках: первый результат, которого хотел достигнуть бочар. Через девять месяцев после первого собрания ликвидаторы уплатили каждому кредитору сорок семь за сто. Эта сумма была выручена от проведенной с величайшей точностью продажи процентных бумаг, движимого и недвижимого имущества и вообще всего, принадлежавшего покойному Гильому Гранде. Ликвидация руководствовалась самой безукоризненной добросовестностью. Кредиторы с удовлетворением признали достойную удивления, бесспорную честь фамилии Гранде. Когда эти хвалы получили соответственное распространение, кредиторы потребовали остальные деньги. Им пришлось писать коллективное письмо Гранде.

— Дожидайтесь! — сказал бывший бочар, бросая письма в огонь.— Терпение, дружки!

В ответ на предложения, содержавшиеся в письме, сомюрский Гранде под предлогом проверки счетов и уточнения положения дел по наследству потребовал, чтобы кредиторы сдали на хранение к одному нотариусу все имеющиеся у них векселя, дававшие право на наследство его брата, с приложением расписок по уже произведенным уплатам. Вопрос о сдаче на хранение повел к неисчислимым трудностям.

Вообще кредитор — разновидность душевнобольного: сегодня он готов пойти на полюбовную сделку, завтра он непримирим, неумолим; пройдет немного времени — он опять становится кроток. Сегодня жена у него в хорошем расположении духа, у маленького прорезались зубки, все в доме спокойно,— он не согласен уступить ни одного су. На другой день идет дождь, он не может выйти на улицу; он грустен, соглашается на все, что может привести к скорейшему окончанию дела; послезавтра он требует гарантий, а в конце месяца этот палач угрожает предъявить векселя ко взысканию. Кредитор похож на того воробья, которому маленьким детям предлагают насыпать соли на хвост. Однако кредитор сам применяет

этот образ к векселям, по которым ничего не может получить.

Гранде отлично изучил все колебания, которым подвержены настроения кредиторов; его расчеты целиком оправдались на кредиторах брата. Одни из них пришли в ярость и наотрез отказались сдать документы на хранение. «Славно! Славно!» — думал про себя Гранде, читая письма, которые писал ему по этому поводу де Грассен. Другие соглашались сдать векселя на хранение, но при непременном условии должного обеспечения прав заимодавцев, включая и право потребовать объявления должника несостоятельным. Снова завязалась переписка, в результате которой сомюрский Гранде согласился на все требуемые условия. На основании этой уступки покладистые кредиторы уломали кредиторов несговорчивых. Сдача на хранение совершилась, но не без пререканий.

— Этот хитрец,— говорили кредиторы де Грассену,— издевается над вами и над нами.

Через год и одиннадцать месяцев после смерти Гильома Гранде многие коммерсанты, увлеченные деловой сутолокой Парижа, забыли о векселях Гранде или вспоминали о них, только чтобы сказать себе:

— Я начинаю думать, что сорок семь процентов — это все, что я тут вытяну.

Бочар рассчитывал на могущество времени, которое он называл «добрым малым». В конце третьего года де Грассен написал Гранде, что добился от кредиторов согласия вернуть векселя при условии, что им уплатят еще десять процентов оставшегося долга фирмы Гранде в два миллиона четыреста тысяч франков. Гранде ответил, что нотариус и биржевой маклер, банкротства которых были причиной смерти его брата,— живы, и им бы следовало быть подобрее; надо их расшевелить, чтобы вытянуть из них сколько-нибудь и уменьшить сумму долга.

К концу четвертого года долг был надлежащим образом сведен к миллиону двумстам тысячам франков. Возникли переговоры между ликвидаторами и кредиторами, между Гранде и ликвидаторами; они длились шесть месяцев. В конце концов, усиленно понуждаемый кончить дело, сомюрский Гранде на девятом месяце этого года ответил ликвидаторам, что племянник его, Шарль Гранде,

«ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».

«ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

составивший себе состояние в Ост-Индии, заявил ему о намерении уплатить долги отца полностью; сам он не может взять на себя убыточную для кредиторов частичную расплату, не посоветовавшись с племянником, и ждет от него ответа. В середине пятого года кредиторы еще не давали хода протесту векселей благодаря словечку *полностью*, бросаемому время от времени великодушным бочаром, а тот посмеивался в бороду и приговаривал: «Уж эти парижане!..» не иначе, как с хитрой улыбкой и с бранным словцом. Но кредиторов ждала судьба, неслыханная в истории торговли. Когда события, описываемые в этой повести, заставят их снова появиться, они окажутся в том же положении, в каком без малого пять лет держал их Гранде. Как только курс облигаций государственной ренты поднялся до ста пятнадцати франков, папаша Гранде продал их и получил из Парижа около двух миллионов четырехсот тысяч франков золотом, которые присоединились в его бочонках к шестистам тысячам франков сложных процентов от облигаций.

Де Грассен оставался в Париже, и вот почему: прежде всего он был избран депутатом, а кроме того, ему опостылела скучная сомюрская жизнь, и он, отец семейства, влюбился в Флорину, одну из самых хорошеньких актрис театра герцогини Беррийской. Домашние дела банкира осложнились. Не стоит говорить о его поведении: в Сомюре оно было признано глубоко безнравственным. Его жене посчастливилось выхлопотать раздел имущества, она достаточно разумно вела дела сомюрской конторы, продолжавшей работать под ее именем, и заделала брешь, произведенную в ее состоянии безумствами де Грассена. Крюшотинцы так ловко ухудшили и без того ложное положение соломенной вдовы, что она очень неудачно выдала замуж дочь и должна была отказаться от планов женить сына на Евгении Гранде. Адольф уехал в Париж к отцу и, говорят, сделался там большим повесой. Крюшо торжествовали.

— Ваш муж с ума сошел,— говорил Гранде, давая г-же де Грассен ссуду под надежное обеспечение.— Мне вас очень жалко, вы — славная женщина.

— Ах, сударь,— отвечала бедная дама,— кто мог думать, что в тот день, когда Грассен отправился по вашим делам в Париж, он шел к своему разорению?

— Призываю небо в свидетели, сударыня, я до последней минуты делал все, чтобы не допустить этой поездки. Господин председатель хотел во что бы то ни стало заменить его, и если ваш муж так стремился в Париж, то мы теперь знаем, ради чего.

Таким образом, Гранде ничем не был обязан де Грассену.

Во всяком положении на долю женщины достается больше горя и страданий, чем на долю мужчины. У мужчины—сила и возможность проявлять свои способности: он действует, движется, работает, мыслит, он предвидит будущее и в нем находит утешение. Так поступал Шарль.

Женщина же остается на месте. Одна со своей скорбью, от которой ничто ее не отвлекает, она спускается до дна разверстой пропасти, измеряет ее и нередко заполняет своими обетами и слезами. Так поступала Евгения. Она познала свою судьбу. Чувствовать, любить, страдать, жертвовать собой — вот что всегда будет содержанием жизни женщины. Евгении суждено было быть женщиной во всем, но не знать женских утешений. Согласно превосходному выражению Боссюэ, «если б собрать воедино мгновения счастья, как гвозди, рассеянные по стене, они не могли бы наполнить когда-нибудь горсть ее руки». Горести никогда не заставляют себя ждать, и для нее они наступили очень скоро. На другой день после отъезда Шарля дом Гранде принял свой обычный облик для всех, кроме Евгении,— для нее дом вдруг опустел. Без ведома отца она решила оставить комнату Шарля в том виде, в каком он покинул ее. Г-жа Гранде и Нанета охотно согласились участвовать в этом невинном заговоре...

— Кто знает, не вернется ли он раньше, чем мы думаем? — сказала Евгения.

— Ах, мне хотелось бы видеть его здесь! — ответила Нанета.— Привыкла я к нему! Такой был ласковый, чудесный барин, а уж какой красавчик, завитой, словно девушка!

Евгения посмотрела на Нанету.

— Пресвятая дева! У вас, барышня, глаза такие, что прямо на погибель души. Не смотрите так на людей!

С этого дня красота Евгении приняла новый характер. Важные мысли о любви, постепенно овладевшие ее

душой, достоинство любимой женщины придавали ее чертам то сияние, какое живописцы изображают в виде нимба. До встречи с кузеном Евгению можно было сравнить с мадонной до непорочного зачатия; после его отъезда она походила на деву-мать: она познала любовь. Обе эти Марии, столь различные и так хорошо изображенные некоторыми испанскими художниками, представляют собою один из блистательнейших образов, которыми изобилует христианство. На другой день после отъезда Шарля, возвращаясь из церкви, куда она решила ходить ежедневно, Евгения купила в книжной лавке карту полушарий; эту карту она прибила подле зеркала, чтобы следовать за кузеном по его пути в Ост-Индию, мысленно уноситься утром и вечером на перевозивший его корабль, видеть его, обращаться к нему с тысячью вопросов, говорить ему:

— Хорошо ли тебе? Не болен ли ты? Думаешь ли ты обо мне, видя ту звезду, красоту и значение которой ты открыл мне?

По утрам она в задумчивости сидела под ореховым деревом на источенной червями и поросшей серым мхом деревянной скамье, где они сказали друг другу столько хорошего, столько милых пустяков, где строили воздушные замки своей жизни вдвоем. Она размышляла о будущем, глядя на клочок неба, доступный ее взору между стен, на часть ветхой стены, на крышу, под которой была комната Шарля. Словом, это была любовь одинокая, любовь неизменная, которая наполняет все мысли и становится сущностью или, как сказали бы наши отцы, тканью жизни. Когда так называемые друзья старика Гранде приходили вечером в гости, Евгения была весела, она притворялась, но по целым утрам говорила о Шарле с матерью и Нанетой.

Нанета поняла, что может соболезновать страданиям молодой хозяйки не в ущерб своему долгу перед старым хозяином, и говорила Евгении:

— Если бы у меня был милый, я бы за ним... в ад пошла. Я бы его... да что там!.. Я бы за него погубила себя... А вот нет ничего. Умру, не узнавши, какая такая жизнь бывает. Поверите ли, барышня, этот старый Корнуайе — все-таки неплохой человек — вертится около меня из-за моих доходов, прямо как те, что приходят

сюда вынюхивать бариновы денежки и за вами ухаживают. Я-то насквозь его вижу, я все-таки разбираюсь тонко, даром что вымахала ростом с башню, и вот, барышня, это мне приятно, хотя какая уж тут любовь!..

Так прошло два месяца. Жизнь в четырех стенах, прежде столь однообразная, оживилась теперь захватывающей привлекательностью тайны, теснее связавшей этих женщин. Для них под сероватым потолком зала жил, ходил, двигался Шарль. Утром и вечером Евгения отпирала ларец и подолгу смотрела на портрет своей тетки. Как-то раз мать застала ее за этим созерцанием — она старалась найти черты Шарля в чертах портрета. Тогда-то г-жа Гранде и была посвящена в страшную тайну обмена шкатулки далекого путника на сокровище Евгении.

— Ты все ему отдала?! — сказала мать в ужасе.— Что же ты скажешь отцу в новый год, когда он захочет посмотреть на твое золото?

Глаза Евгении стали неподвижны, и обе женщины половину утра были в смертельном ужасе, в таком смятении, что пропустили раннюю обедню и пошли только к поздней. Через три дня кончался 1819 год, и вскоре должны были разыграться страшные события: буржуазная трагедия без яда, без кинжала, без пролития крови, но для действующих лиц более жестокая, чем все драмы, происходившие в знаменитом роде Атридов.

— Что с нами будет? — сказала г-жа Гранде дочери, опуская вязание на колени.

Бедная мать переживала столько волнений в последние два месяца, что не кончила вязать шерстяную фуфайку, которая была ей так нужна зимой. Этот незначительный, по-видимому, случай домашней жизни имел для нее печальные последствия. Без фуфайки она жестоко простудилась, когда вся покрылась испариной, испугавшись страшного гнева своего мужа.

— Мне пришло в голову, дитя мое бедное, что если бы ты доверила мне свою тайну, мы успели бы написать в Париж господину де Грассену. Он мог бы прислать нам золотые монеты, похожие на твои, и хотя отец хорошо знает их, может быть...

— Но где же мы достали бы столько денег?

— Я взяла бы из своих. К тому же господин де Грассен нам бы охотно...

— Уж поздно,— ответила Евгения глухим, изменившимся голосом, прерывая мать.— Ведь завтра утром нам надо идти к нему в комнату поздравлять с новым годом!

— Но почему бы, дочка, не поговорить с Крюшо?

— Нет, нет, это значило бы выдать меня им и поставить нас в зависимость от них. А затем — я решилась. Я поступила хорошо, я ни в чем не раскаиваюсь. Бог не оставит меня. Пусть свершится его святая воля. Ах, если бы вы прочли письмо Шарля, вы бы только о нем и думали, маменька.

На другой день утром, 1 января 1820 года, ужас, охвативший мать и дочь, подсказал им самое естественное оправдание, чтобы отказаться от торжественного появления в комнате Гранде. Зима 1819—1820 года была одна из суровейших зим. Крыши были завалены снегом. Г-жа Гранде сказала мужу, как только услышала, что он шевелится в своей комнате:

— Гранде, прикажи Нанете затопить у меня печку,— так холодно, что я замерзаю под одеялом. Я уж в таких летах, когда надо поберечь меня. Кроме того,— продолжала она после небольшой остановки,— Евгения придет сюда одеться. Бедная девочка может заболеть, одеваясь у себя в такой холод. Потом мы придем поздравить тебя с новым годом у камина в зале.

— Та-та-та-та-та, что за разговоры! Как ты начинаешь новый год, госпожа Гранде? Ты никогда столько не говорила. Однако ты не хлебнула лишнего, я полагаю.

Прошла минута молчания.

— Ладно,— продолжал добряк: видимо, ему самому было по душе предложение жены,— пусть будет по-вашему, госпожа Гранде. Ты ведь, правда, хорошая женщина, и я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье в твои годы, хотя вообще все Бертельеры кремневые. Что, не правда? — крикнул он после паузы.— А мы все-таки наследство после них получили, бог с ними.

И он закашлялся.

— Сегодня вы веселы, сударь,— степенно промолвила бедная женщина.

— Я всегда весел...

Бочар наш весел, весел,
Лохань чинить повесил...—

прибавил он, входя в комнату жены совсем одетый.— Да, скажу как честный человек, холодище-то изрядный. Мы славно позавтракаем, жена. Господин де Грассен прислал мне паштет из гусиной печенки с трюфелями! Сейчас схожу за ним на остановку дилижанса. Должно быть, с двойным наполеондором для Евгении в приданчу,— шепнул бочар на ухо жене.— У меня нет больше золота, жена. Осталось еще несколько старых червонцев,— тебе-то я могу сказать,— да пришлось пустить их в оборот.

И ради новогоднего торжества он поцеловал жену в лоб.

— Евгения! — добродушно крикнула мать, когда Гранде ушел.— Не знаю, с какой ноги встал отец, но сегодня он прямо добряк. Ничего, как-нибудь выпутаемся.

— Что такое с хозяином? — сказала Нанета, входя к барыне затопить печку.— Сперва он сказал мне: «Здравствуй, с новым годом, дуреха! Поди затопи у жены, ей холодно». Я прямо одурела, когда он протянул руку и дал мне экю — шестифранковик, почти что не стертый! Вот, барыня, поглядите. О, он славный человек! Как-никак, достойный человек. Есть которые — что старей, то черствей, а он становится сладким, как ваша черносмородинная, и добреет. Человек, каких мало, предобрый человек...

Разгадкою такой веселости Гранде была полная удача его спекуляции. Де Грассен, вычтя сумму, которую бочар был ему должен за учет голландских векселей на полтораста тысяч франков, и ссуду, данную им Гранде для покупки государственной ренты на сто тысяч ливров, послал бочару с дилижансом тридцать тысяч франков монетами в одно экю, оставшихся от следуемых старику процентов за полгода, и извещал его о повышении курса государственной ренты. Курс ее был тогда восемьдесят девять франков, а в конце января известнейшие капиталисты покупали облигации уже по девяносто два. Гранде в два месяца нажил двенадцать процентов на свой капитал, погасил свой долг де Грассену и отныне должен

был получать пятьдесят тысяч франков каждые полгода, без платежа налогов, без всяких проторей и убытков. Он раскусил, наконец, выгоду государственной ренты—помещение капитала, вызывающее у провинциалов неодолимое отвращение,— и видел себя меньше чем через пять лет обладателем капитала в шесть миллионов, приумноженного без больших хлопот,— капитала, который в соединении со стоимостью его имений, должен был образовать колоссальное состояние. Шесть франков, подаренные им Нанете, были, возможно, платою за огромную услугу, какую служанка, сама того не ведая, оказала хозяину.

— О! О! Куда это идет папаша Гранде спозаранку, да еще спешит, словно на пожар? — говорили купцы, отпирая лавки.

Потом, когда увидели, что он возвращается с набережной в сопровождении артельщика почтово-пассажирской конторы, который вез на тачке туго набитые мешки, посыпались восклицания.

— Ручей к речке бежит, а наш добряк к денежкам,— говорил один.

— Они к нему идут из Парижа, из Фруафона, из Голландии,— прибавлял другой.

— В конце концов он купит весь Сомюр! — воскликал третий.

— Ему и холод нипочем, он всегда делом занят,— уязвила мужа какая-то женщина.

— Эй, господин Гранде, может, вам эти мешки некуда девать,— балагурил торговец сукном, его ближайший сосед,— так я могу вас избавить!

— Чего там! Одни медяки,— отвечал винодел.

— Серебряные,— буркнул артельщик.

— Если хочешь, чтобы я тебя поблагодарил, так держи язык за зубами,— сказал добряк артельщику, отворяя дверь.

«А, старая лисица, а я-то считал его за глухого,— подумал артельщик.— Видно, в холод он слышит».

— Вот тебе двадцать су на новый год и нишкни. Проваливай! — сказал ему Гранде.— Нанета отвезет тебе тачку... Нанета, а мои вертушки пошли к обедне?

— Да, сударь.

— Ну, живо! За работу! — крикнул он, взваливая на нее мешки.

Мигом деньги были перенесены в его комнату, и Гранде заперся там.

— Когда завтрак будет готов, постучишь мне в стену. Отвези тачку в контору.

Завтракать сели только в десять.

— Авось отец не вздумает посмотреть твое золото,— сказала г-жа Гранде дочери, возвращаясь домой после обедни.— В крайнем случае сделай вид, что ты совсем замерзла. А ко дню твоего рождения мы успеем наполнить монетами твой кошелек...

Гранде спустился по лестнице, раздумывая о том, как быстрее превратить свои парижские экю в чистое золото, и о том, как удалась ему спекуляция государственною рентой. Он решил и впредь вкладывать свои доходы в государственную ренту, пока курс ее не дойдет до ста франков. Размышления, гибельные для Евгении. Как только он вошел, обе женщины поздравили его с новым годом: дочь — обняв за шею и ласкаясь к нему, г-жа Гранде — степенно и с достоинством.

— А, дитя мое,— сказал он, целуя Евгению в щеку,— видишь, я для тебя работаю! Твоего счастья хочу. Чтобы быть счастливым, нужны деньги. Без денег далеко не уйдешь. Вот тебе новенький двойной наполеондор, я заказал привезти его из Парижа. По совести скажу, в доме ни крупицы золота. Только у тебя золото. Покажика мне свое золото, дочка.

— Ой, до чего холодно! Давайте завтракать,— ответила ему Евгения.

— Значит, после завтрака, а? Это поможет пищеварению. Толстяк де Грассен все-таки прислал нам кое-что. Молодец де Грассен, я им доволен! Увалень этот оказывает услугу Шарлю, да еще даром. Он отлично устраивает дела покойника Гранде. Ууу!..—произнес он с полным ртом после паузы.— Недурно! Кушай, кушай, женушка! Этим два дня сыт будешь.

— Мне не хочется есть. Мое здоровье никуда не годится, ты хорошо знаешь.

— Ну вот еще! Можешь нагружаться без опаски, не лопнешь; ты из Бертельеров, женщина крепкая. Ты чуточку пожелтела, да я люблю желтое.

Приговоренный ждет позорной публичной казни, может быть, с меньшим ужасом, чем г-жа Гранде и ее дочь ждали событий, которыми должен был закончиться этот семейный завтрак. Чем веселее болтал и ел старый винодел, тем сильнее сжимались сердца обеих женщин. В эту тяжкую минуту у Евгении была по крайней мере опора: она черпала силу в своей любви.

«Ради него, ради него,— говорила она себе,— я готова тысячу раз умереть!»

При этой мысли она бросала на мать взгляды, горевшие мужеством.

— Убери все это,— сказал Гранде Нанете, когда около одиннадцати кончили завтракать,— а стола не трогай. Нам удобно будет смотреть тут, у камелька, твое маленькое сокровище,— сказал он, глядя на Евгению.— Нет, разве оно маленькое? Честное слово! У тебя пять тысяч девятьсот пятьдесят девять франков золотом, да нынче утром я дал тебе сорок: выходит — без одного шесть тысяч франков. Ладно, подарю тебе, сам подарю франк этот — для круглого счета, потому что, видишь ли, дочка... А ты что, Нанета, развесила уши? Проваливай и принимайся за свое дело,— сказал добряк.

Нанета исчезла.

— Послушай, Евгения! Ты должна отдать мне свое золото. Ведь ты не откажешь отцу, доченька, а?

Обе женщины молчали.

— У меня больше нет золота. Было и не стало. Я верну тебе шесть тысяч франков в ливрах, и ты поместишь их, как я тебе скажу. Не заботься о свадебном подарке. Когда я буду выдавать тебя замуж, а это не за горами, я найду тебе жениха, который сможет преподнести тебе такой прекрасный свадебный подарок, о каком никогда и не слыхивали в провинции. Послушай же, дочка! Представляется замечательный случай: ты можешь вложить свои шесть тысяч франков в государственную ренту и каждые полгода будешь получать около двухсот франков процентов — без всяких хлопот и без убытков, ни налогов, ни починок, ни града, ни мороза, ни разливов,— словом, ничего, что бьет по доходам. Тебе, может, не хочется расстаться со своим золотом, дочка? Все-таки принеси мне его. Я опять наскребу для тебя

золотых монет — голландских, португальских, генуэзских, рупий Великого Могола, а с теми, что я буду тебе дарить ко дню рождения, ты в три года скопишь половину своего маленького золотого сокровища. Что скажешь, дочка? Ну, подыми носик. Ну, сходи за ним, принеси милую свою кубышку. Ты должна бы расцеловать меня за то, что я рассказываю тебе секреты, тайны жизни и смерти этих червонцев. А верно, червонцы живут и копошатся, как люди: уходят, приходят, потеют, множатся.

Евгения встала, но, сделав несколько шагов к двери, круто повернулась, взглянула отцу в лицо и сказала:

— У меня нет больше *моего* золота.

— У тебя нет больше твоего золота!—вскричал Гранде, подскочив, как лошадь, услышавшая пушечный выстрел в десяти шагах.

— Нет у меня, нет больше золота!

— Ты шутишь, Евгения?

— Нет.

— Клянусь садовым ножом моего отца!

Когда бочар клялся так, потолок дрожал.

— Пресвятой боже! Барыня вся побелела! — закричала Нанета.

— Гранде, твой гнев убьет меня,— промолвила бедная женщина.

— Та-та-та-та-та! В вашей семье все живучие, никакая смерть вас не берет!.. Евгения, куда вы девали свои монеты? — крикнул он, кидаясь к дочери.

— Сударь,— сказала Евгения, стоя на коленях возле г-жи Гранде,— матушке очень нехорошо... видите... Не убивайте ее.

Гранде испугала бледность, разлившаяся по лицу жены, еще недавно желтому.

— Нанета, помоги мне лечь в постель,— сказала г-жа Гранде слабым голосом.— Я умираю...

Нанета сейчас же взяла свою хозяйку под руку, то же сделала Евгения, и им с величайшим трудом удалось подняться с ней до ее комнаты,— она падала без чувств на каждой ступеньке. Гранде остался один. Все же через несколько минут он поднялся на семь или восемь ступенек и крикнул:

— Евгения, когда мать ляжет в постель, вы спуститесь вниз!

— Хорошо, отец.

Успокоив мать, она не замедлила прийти.

— Дочь моя,— сказал ей Гранде,— вы скажете мне, где ваше сокровище?

— Отец, если вы делаете мне подарки, которыми я не могу распоряжаться, как хочу, то возьмите их обратно,— холодно ответила Евгения, взяв с камина наполеондор и подавая отцу.

Гранде быстро схватил наполеондор и сунул его в карман жилета.

— Ну, конечно, я не дам тебе больше ничего! Ни вот столечко! — сказал он, щелкнув ногтем большого пальца о зубы.— Так вы, значит, презираете своего отца? Не доверяете ему? Не знаете, что такое отец? Если он не все для вас, так, значит, он — ничто? Где ваше золото?

— Отец, я люблю вас и уважаю, несмотря на ваш гнев, но осмелюсь вам заметить: мне двадцать три года. Вы достаточно часто говорили, что я совершеннолетняя, и я это знаю. Я сделала со своими деньгами то, что хотела, и будьте покойны — они помещены хорошо...

— Где?

— Это нерушимая тайна,— сказала она.— Разве у вас нет своих тайн?

— Я глава семьи. У меня свои дела!

— А у меня свои.

— Должно быть, дурные дела, если вы не можете сказать о них отцу, мадемуазель Гранде.

— Нет, прекрасные дела. Но я не могу сказать о них вам.

— По крайней мере скажите, когда вы отдали ваше золото?

Евгения отрицательно покачала головой.

— Было оно еще у вас в день вашего рождения, а?

Евгения, которую любовь сделала такой же хитрой, как отца — скупость, опять покачала головой.

— Где это видано! Такое упрямство и такое воровство! — сказал Гранде, постепенно возвышая голос, который все громче разносился по дому.— Как! Здесь, в моем собственном доме, у меня кто-то взял твое золото! Единственное золото в моем доме! И я не буду знать, кто взял? Золото — вещь дорогая. Самые честные девушки могут совершить ошибку и отдать не знаю что,—

это бывает у знатных господ и даже буржуазии,— но отдать золото... Вы ведь отдали его кому-то?

Евгения осталась безучастной.

— Видана ли такая дочь? Отец я вам или нет? Если вы поместили золото в какое-нибудь предприятие, то у вас есть расписка...

— Разве я не вольна была делать с ним то, что мне казалось хорошим? Разве оно было не мое?

— Но ты — дитя.

— Я совершеннолетняя.

Сбитый с толку логикой дочери, Гранде побледнел, затопал ногами, стал ругаться; потом, обретя, наконец, дар слова, закричал:

— Дочь — змея проклятая! А! Негодное семя, ты отлично знаешь, что я люблю тебя, и употребляешь это во зло. Она без ножа режет своего отца! Черт возьми! Ты бросила состояние к ногам этого голяка в сафьяновых сапожках! Клянусь отцовским садовым ножом! Я не могу лишить тебя наследства, клянусь бочкой! Но я тебя проклинаю... тебя, и твоего кузена, и твоих детей! Не видать тебе никакого добра от всего этого, понимаешь? Если ты Шарлю отдала... Нет, этого быть не может! Как! Этот мерзкий вертопрах да меня бы ограбил?

Он смотрел на дочь, остававшуюся немой и холодной.

— Она не пошевелится! Она бровью не поведет! Она больше Гранде, чем я сам. Ты не отдала по крайней мере своего золота даром? Ну, говори!

Евгения бросила на отца иронический взгляд, оскорбивший его.

— Евгения, вы у меня в доме, у своего отца. Чтобы оставаться здесь, вы обязаны подчиняться моим приказаниям. Священники велят вам повиноваться мне.

Евгения опустила голову.

— Вы оскорбляете меня в том, что мне всего дороже,— продолжал он.— Не желаю вас видеть, пока вы не покоритесь. Ступайте в свою комнату! Вы останетесь там, пока я не позволю вам выйти. Нанета будет вам приносить хлеб и воду. Вы слышали? Идите.

Евгения залилась слезами и убежала к матери.

А Гранде вышел в сад и долго кружил по снегу, не замечая холода, потом заподозрил, что дочь, должно

быть, у матери, и, радуясь, что сейчас уличит ее в непослушании, он проворно, как кошка, взбежал по лестнице и появился в комнате г-жи Гранде как раз в ту минуту, когда она гладила волосы Евгении, спрятавшей лицо на ее груди.

— Утешься, дитя мое бедное, отец утихомирится.

— Нет больше у нее отца! — сказал бочар.— И это мы с вами, госпожа Гранде, произвели на свет такую непослушную дочь, как она? Нечего сказать, отличное воспитание дают нынче, особенно религиозное! Почему вы не в своей комнате? Отправляйтесь в тюрьму, в тюрьму, сударыня!

— Вы хотите лишить меня дочери? — сказала г-жа Гранде, обращая к нему лихорадочно покрасневшее лицо.

— Если вы хотите оставить ее при себе, берите ее и убирайтесь обе из дома! Разрази вас гром! Где золото? Что сталось с золотом?

Евгения встала, гордо взглянула на отца и вернулась в свою комнату, а Гранде запер ее на ключ.

— Нанета! — крикнул он.— Потуши камин в зале.

И он уселся в кресле у камина со словами:

— Она, конечно, отдала золото этому подлому совблазнителю Шарлю, а ему только наши денежки и были нужны.

В опасности, грозившей Евгении, и в своей любви к дочери г-жа Гранде нашла достаточно сил, чтобы остаться холодной с виду, безмолвной и глухой.

— Я ничего обо всем этом не знала,— ответила она, повернув голову к стенке, чтобы не видеть сверкавших взглядов мужа.— Я так страдаю от вашей жестокости, что, если предчувствия меня не обманывают, мне отсюда одна дорога — на кладбище. Вы бы должны сейчас меня пощадить, сударь, ведь я никогда не причиняла вам горя,— так по крайней мере я думаю. Ваша дочь любит вас. Я убеждена, что она невинна, как новорожденный младенец, и вы не наказывайте ее, отмените свое решение. В ее комнате такой холод, что по вашей вине она может тяжело заболеть.

— Я не хочу ее видеть, не хочу говорить с ней. Пусть сидит в своей комнате на хлебе и воде до тех пор, пока не выполнит требований отца. Какого черта! Глава семьи должен знать, куда уходит золото из его дома. Ей при-

надлежали рупии, может быть, единственные во Франции, затем генуэзские и голландские дукаты...

— Сударь, Евгения — наше единственное дитя, и если бы даже она бросила их в воду...

— В воду?! — закричал добряк.— В воду?! Да вы с ума сошли, госпожа Гранде! У меня что сказано, то крепко, вы знаете. Если хотите мира в доме, вызовите дочь на исповедь, вытяните у нее признание: женщины лучше столкуются, чем наш брат. Что бы она ни натворила, не съем же я ее. Боится она меня, что ли? Кабы она даже озолотила своего кузена с головы до ног, так он в море, не бежать же за ним.

— Ну что ж, сударь...

Возбужденная нервной лихорадкой, охватившей ее, или несчастьем Евгении, усилившим нежную любовь матери, способность понимания и проницательность, г-жа Гранде заметила грозное движение шишки на носу ее супруга и тотчас изменила свой ответ, не меняя тона:

— Ну что ж, сударь, разве у меня больше власти над нею, чем у вас? Она мне ничего не сказала. Вся в вас.

— Дьявольщина! Как нынче ловко привешен у вас язык! Та-та-та-та! Вы, кажется, издеваетесь надо мной Пожалуй, вы с ней заодно.

Он пристально посмотрел на жену.

— Если вы, господин Гранде, действительно хотите убить меня, то продолжайте в том же духе. Я уже сказала вам, сударь, и пусть мне это будет стоить жизни, готова повторить снова: вы не правы перед своей дочерью, она рассудительнее вас. Деньги принадлежали ей, ни на что другое, кроме хорошего, она не могла их истратить, а только бог вправе знать наши добрые дела. Сударь, умоляю вас, смилуйтесь над Евгенией! Вы тем ослабите удар, нанесенный мне вашим гневом, и, может быть, спасете мне жизнь. Верните мне дочь, сударь, верните!

— Я удираю,— сказал Гранде.— Житья в доме не стало: и матушка и дочка рассуждают, разглагольствуют, словно... Тьфу! Приятный новогодний подарок вы мне сделали. Евгения! — крикнул он.— Да, да, плачьте. Вас совесть замучает за то, что вы делаете, слышите? Какой толк, что вы причащаетесь чуть не два раза в месяц, если вы украдкой отдаете золото своего отца бездельнику, который растерзает ваше сердце, когда вам нечего больше

будет подарить ему? Увидите, чего стоит ваш Шарль со своими сафьяновыми сапожками и с видом недотроги. У него нет ни сердца, ни души, раз он посмел взять сбережения бедной девушки без согласия ее родителей.

Когда дверь на улицу захлопнулась, Евгения вышла из своей комнаты.

— Как отважно вы вступились за меня! — сказала она матери.

— Видишь, дитя мое, к чему приводят запретные дела! Ты заставила меня солгать.

— Я умолю бога наказать меня одну!

— Неужто правда,— сказала, входя, перепуганная Нанета,— что барышня посажена на хлеб и воду по конец дней своих?

— Что за беда, Нанета! — спокойно ответила Евгения.

— Ну, тогда уж и мне не лакомиться, если хозяйская дочь ест сухой хлеб!.. Ну уж нет!

— Ни слова обо всем этом, Нанета! — сказала Евгения.

— Буду молчать, как мертвая, но уж этого не допущу!

Гранде обедал один в первый раз за двадцать четыре года.

— Вот вы и овдовели, сударь,— сказала ему Нанета.— Мало приятного быть вдовцом, когда две женщины в доме.

— Я с тобой не разговариваю, кажется. Заткни рот, или я тебя выгоню! Что это у тебя, я слышу, кипит в кастрюле на плите?

— Сало перетапливаю...

— Сегодня придут гости, затопи камин.

Господа Крюшо и г-жа де Грассен с сыном явились в восемь часов и были удивлены, не видя ни г-жи Гранде, ни Евгении.

— Жене нездоровится, Евгения подле нее,— ответил старый винодел, и лицо его не выдало никакого волнения.

После целого часа пустых разговоров г-жа де Грассен поднялась навестить г-жу Гранде, и когда она вернулась в зал, все обратились к ней:

— Как чувствует себя госпожа Гранде?

— Да нехорошо, совсем нехорошо,— сказала она.— Состояние ее здоровья, по-моему, в самом деле внушает

тревогу. В ее годы необходимы все предосторожности, папаша Гранде.

— Посмотрим, посмотрим...— рассеянно ответил винодел.

Все простились с ним. Когда Крюшо вышли на улицу, г-жа де Грассен сказала им:

— У Гранде что-то произошло. Мать очень плоха, хоть сама и не подозревает этого. У дочери красные глаза, как будто она долго плакала. Не хотят ли ее выдать замуж против воли?

Когда винодел лег спать, Нанета, неслышно ступая в мягких туфлях, пришла к Евгении и открыла перед ней паштет, запеченный в кастрюле.

— Возьмите, барышня,— сказала добрая девушка.— Корнуайе дал мне зайца. Вы так мало кушаете, что этого паштета хватит вам на неделю, а в таком холоде он не испортится. По крайней мере вы не будете сидеть на сухом хлебе. Ведь это вредно для здоровья.

— Бедная Нанета! — сказала Евгения, пожимая ей руку.

— Паштет у меня вышел вкусный, нежный. А *он* ничего и не заметил. Я и шпику и лаврового листа купила,— все на свои шесть франков, им-то я хозяйка.

Затем служанка убежала: ей послышалось, что идет Гранде.

В течение нескольких месяцев винодел постоянно заходил навестить жену в различные часы дня, но никогда не произносил имени дочери, не видел ее, не делал о ней ни малейшего намека. Г-жа Гранде не выходила из своей комнаты, и положение ее день ото дня ухудшалось. Ничто не могло сломить старого бочара. Он оставался непоколебимым, жестким и холодным, словно гранитный столб. Он по-прежнему приходил и уходил, как было заведено; но теперь уже не заикался, меньше разговаривал и в делах стал черствее, чем когда-нибудь. Нередко прорывались у него ошибки в подсчетах.

— Что-то произошло у Гранде,— говорили крюшотинцы и грассенисты.

— Что такое случилось в доме Гранде? — неизменно спрашивали друг друга на всех вечерах в Сомюре.

Евгения ходила в церковь под надзором Нанеты. Ес-

ли при выходе г-жа де Грассен обращалась к ней с несколькими словами, она отвечала уклончиво, не удовлетворяя ее любопытства. Тем не менее к концу второго месяца уже невозможно было скрыть ни от троих Крюшо, ни от г-жи де Грассен тайну заточения Евгении; вечное ее отсутствие не могло быть объяснено никакими вымышленными причинами. Затем, хоть и невозможно было выяснить, кто выдал тайну, весь город узнал, что с нового года мадемуазель Гранде заперта по приказанию отца в нетопленной комнате на хлебе и воде, что Нанета готовит лакомые блюда и носит ей по ночам; узнали даже, что девушка может видеть мать и ухаживать за нею только в то время, когда отца нет дома. Поведение Гранде подверглось строгому осуждению. Весь город поставил его, так сказать, вне закона, вспомнил его вероломство, его жестокость и исключил его из общества. Когда он проходил, все показывали на него и перешептывались. Когда его дочь спускалась по извилистой улице, идя в сопровождении Нанеты к обедне или к вечерне, все обыватели подбегали к окнам, с любопытством разглядывая осанку богатой наследницы и ее лицо, на котором написаны были задумчивость и ангельская кротость.

Заточение, немилость отца ничего не значили для нее. Разве не видела она карту полушарий, скамейку, сад, часть стены? Не ощущала на губах своих мед, оставленный поцелуями любви? Некоторое время Евгения ничего не знала о разговорах в городе, предметом которых она была, так же как не ведал о них ее отец! Ей, верующей и чистой перед богом, спокойная совесть и любовь помогали терпеливо переносить гнев и месть отца. Но одно глубокое горе заставляло умолкать все остальные горести: ее мать, кроткое и нежное создание, заблиставшее на пороге к могиле особой красотой — отблеском души,— ее мать ослабевала с каждым днем. Часто Евгения упрекала себя в том, что была невольной причиною жестокой медленной болезни, убивавшей мать. Эти угрызения совести, хотя мать и успокаивала их, еще крепче связывали ее с любимым. Каждое утро, как только отец уходил, она являлась к изголовью матери, и туда Нанета приносила ей завтрак. Но бедная Евгения, страдавшая страданиями своей матери, безмолвно ука-

зывала Нанете на лицо несчастной, плакала и не смела упоминать о кузене. Г-же Гранде приходилось первой говорить ей:

— Где-то он? Почему он не пишет?

Ни мать, ни дочь понятия не имели о расстояниях.

— Будем о нем думать, маменька,— отвечала Евгения,— но не будем говорить. Вы больны, вы — прежде всего.

Все — это был *он*.

— Дети мои,— говорила г-жа Гранде,— мне нисколько не жаль жизни. Господь мне помог, дав мне радостно встретить конец моих несчастий.

Слова этой женщины постоянно были истинно христианскими и святыми. Уже несколько месяцев, с начала года, когда муж завтракал возле нее, прогуливаясь по комнате, она говорила ему все те же речи, повторяя их с ангельской кротостью и вместе с тем с твердостью,—близкая смерть придавала этой робкой женщине мужество, недостававшее ей при жизни.

— Сударь, благодарю вас за внимание и заботы о моем здоровье,— отвечала она, когда Гранде задавал ей пошлейший из вопросов,— но если вы хотите усладить горечь моих последних минут и облегчить мои муки, то верните дочери благорасположение, покажите себя христианином, супругом и отцом.

При этих словах Гранде садился у постели жены, молча выслушивал ее уговоры и не отвечал ничего,— он поступал как пешеход, спокойно пережидающий под воротами, когда пройдет захвативший его ливень. Если жена обращалась к нему с самыми трогательными, самыми нежными, самыми благоговейными мольбами, он говорил:

— Ты немного бледненькая сегодня, бедняжка!

Казалось, полнейшее забвение дочери запечатлелось на его лбу, точно высеченном из камня, на его сжатых губах. Его не трогали даже слезы, которые текли по бледным щекам жены, слышавшей от него лишь неопределенные и почти одинаковые ответы на ее мольбы.

— Да простит вас господь, сударь, как я вас прощаю,— говорила она.— Когда-нибудь и вы будете нуждаться в прощении.

Со времени болезни жены он не решался пускать в

ход свое страшное «Та-та-та-та-та!», но его деспотизм не был обезоружен этим ангелом кротости, внешняя некрасивость которого сглаживалась с каждым днем, ибо лицо ее отражало высокие душевные свойства. Вся она была — душа. Как будто молитвы очистили, смягчили грубые черты ее лица и озарили его внутренним светом. Кто не наблюдал такого преображения на лицах праведников, когда красота души в конце концов торжествует над самыми топорными чертами, сообщая им какую-то особую одухотворенность, исходящую от благородства и чистоты возвышенных мыслей? Зрелище такого преображения, совершенного страданиями, пожиравшими обломки человеческого существа в этой умирающей женщине, действовало даже на старого бочара, хотя железный характер его не изменился. Речь его утратила свою презрительность, зато все больше он прибегал к невозмутимому молчанию, спасавшему его главенство в семье. Общественное мнение громко осуждало папашу Гранде; стоило его верной Нанете появиться на рынке, как ей начинали жужжать в уши насмешки, жалобы на ее хозяина; однако служанка защищала его, блюдя честь дома.

— Ну что ж,— говорила она хулителям,— разве мы все не делаемся под старость жестче? Почему вы не допускаете, чтобы наш старик стал немножко черствее? Не треплите языком! Барышня живет, как королева. Она одинока? Ну что ж, ей так нравится. Да помимо того у моих господ есть на то свои важные резоны.

Наконец однажды вечером, в исходе весны, г-жа Гранде, терзаемая горем больше, чем болезнью, потерпев, несмотря на все мольбы, неудачу в попытках примирить Евгению с отцом, доверила свои тайные муки Крюшо.

— Посадить двадцатитрехлетнюю девушку на хлеб и на воду,— воскликнул председатель де Бонфон,— и без всякого основания! Да это составляет противозаконное злоупотребление отеческой властью. Мадемуазель Евгения может протестовать, и поскольку...

— Ну, племянник, бросьте болтать, вы не в суде,— сказал нотариус.— Будьте покойны, сударыня, я завтра же положу конец этому заточению.

Слыша, что говорят о ней, Евгения вышла из своей комнаты.

— Господа,— с гордой осанкой сказала она, подойдя к ним,— убедительно прошу вас не вмешиваться в это дело. Отец — хозяин у себя. Пока я живу у него в доме, я обязана ему повиноваться. Его отношение ко мне не должно быть предметом одобрения или порицания посторонних людей: он отвечает только перед богом. Я взываю к вашей дружбе и обращаюсь к вам с просьбой о полном молчании в этом деле. Порицать моего отца — значило бы подрывать наше уважение к нему. Я очень благодарна вам, господа, за внимание ко мне, но вы обязали бы меня еще более, если бы захотели положить конец оскорбительным слухам, которые носятся по городу и случайно дошли до меня.

— Она права,— сказала г-жа Гранде.

— Мадемуазель, лучшее средство пресечь всякие пересуды — это добиться возвращения вам свободы,— почтительно ответил старик нотариус, пораженный красотой, которую одиночество, грусть и любовь придали Евгении.

— Ну что же, дочка, предоставь господину Крюшо все уладить, раз он ручается за успех. Он изучил твоего отца и знает, как подойти к нему. Если ты хочешь видеть меня счастливой те немногие дни, какие мне остается жить, надо тебе помириться с отцом во что бы то ни стало.

На другой день, по привычке, усвоенной с первого дня заточения дочери, Гранде вышел прогуляться по садику. Он выбирал для этой прогулки тот час, когда Евгения кончала одеваться. Старик подходил к большому ореховому дереву, прячась за ствол, по нескольку минут смотрел, как дочь расчесывает и укладывает длинные косы, и, несомненно, колебался между теми суровыми мыслями, какие внушало ему упорство характера, и желанием обнять свое дитя. Часто он засиживался на деревянной полусгнившей скамейке, где Шарль и Евгения клялись друг другу в вечной любви, а в это время дочь, тоже украдкой, смотрела на отца или следила за ним в зеркале. Если он вставал и снова начинал ходить по дорожке, она предупредительно садилась у окна и принималась разглядывать стену, где свешивались красивейшие цветы и выступали из расщелин стебли «венерина волоса», повилика и очиток — растение с желтыми или

белыми цветами, в изобилии растущее по виноградникам Сомюра и Тура.

В это прекрасное июньское утро пришел нотариус Крюшо и застал старика винодела в саду: он сидел на скамейке, прислонясь спиной к стене каменной ограды, и поглощен был созерцанием дочери.

— Чем могу служить, господин Крюшо? — сказал он, увидя нотариуса.

— Я пришел поговорить с вами по делу.

— А! Не принесли ли вы мне немного золота в обмен на экю?

— Нет, речь пойдет не о деньгах, а о дочери вашей Евгении. Все говорят о ней и о вас.

— Чего они суются? И угольщик в своем доме хозяин.

— Согласен, угольщик властен также убить себя или, что еще хуже, выбросить собственные деньги за окошко.

— Как так?

— Но ведь ваша жена очень больна, друг мой. Вам бы даже следовало посоветоваться с господином Бержереном: она в смертельной опасности. А если, не дай бог, она умрет из-за того, что не были приняты все меры, вряд ли вы были бы спокойны, я думаю.

— Та-та-та-та! Откуда вы знаете, что с моей женой? Докторов только пусти на порог, они повадятся ходить по шести раз в день.

— Конечно, Гранде, поступайте, как найдете нужным. Мы старые друзья; во всем Сомюре нет человека, который ближе меня принимал бы к сердцу все, что вас касается, и я считал своим долгом сказать вам это. Теперь будь что будет,— вы не мальчик и знаете, что делаете. Впрочем, я не за тем к вам пришел. Речь, может быть, пойдет кое о чем посерьезнее. В конце концов не хотите же вы убить свою жену,— она слишком полезна для вас. Так подумайте, в каком положении вы бы оказались перед дочерью, если бы госпожа Гранде умерла. Вам пришлось бы отчитываться перед Евгенией, потому что имущество у вас в общем владении с женой. Ваша дочь будет вправе потребовать раздела состояния, продажи Фруафона. Словом, она наследует после матери, а вы наследовать не можете.

Эти слова были для Гранде ударом молнии: в юрис-

пруденции он был не так силен, как в коммерции. Ему никогда и в голову не приходила продажа с торгов.

— Итак, настоятельно советую вам помягче обращаться с дочерью,— сказал Крюшо в заключение.

— А вы знаете, Крюшо, что она сделала?

— Что? — сказал нотариус, с любопытством приготовляясь выслушать признание Гранде и узнать причину ссоры.

— Она отдала свое золото.

— А золото было ее? — спросил нотариус.

— Все они мне это твердят! — сказал добряк, трагическим движением опуская руки.

— Что же вы из-за пустяков,— продолжал Крюшо,— хотите устроить помеху соглашению, какое вы ей предложите в случае смерти матери?

— Вот как! По-вашему, шесть тысяч франков золотом — пустяки?

— Эх, старый друг, а знаете ли вы, во что обойдутся опись и раздел наследства вашей жены, если Евгения того потребует?

— Во сколько?

— В двести или триста, может быть, в четыреста тысяч франков! Как же без торгов и продажи определить действительную стоимость? А между тем взаимное соглашение...

— Клянусь отцовским садовым ножом! — вскричал винодел и, бледнея, опустился на скамью.— Мы еще посмотрим, Крюшо.

После минутного молчания или агонии старик посмотрел на нотариуса и сказал:

— Жизнь — суровая штука! Огорчений в ней не оберешься. Крюшо,— продолжал он торжественно,— вы не захотите меня обманывать,— дайте честное слово, что то, о чем вы тут поете мне, основано на законе. Покажите мне свод законов, я хочу видеть свод законов!

— Бедный друг мой,—ответил нотариус,— неужели я не знаю своего дела?

— Значит, это правда? Родная дочь разорит, предаст, убьет, растерзает меня!

— Она — наследница матери.

— К чему же тогда дети? Ах, жена, жена! Я люблю ее! К счастью, она живучая, вся в Бертельеров.

— Она и месяца не проживет.

Бочар хлопнул себя по лбу, зашагал, вернулся назад и, с ужасом глядя на Крюшо, сказал:

— Что же делать?

— Евгения может просто-напросто отказаться от состояния матери. Вы же не хотите лишить ее наследства, не правда ли? Но чтобы добиться такой уступки, не будьте к ней жестоки. То, что я говорю вам, дружище, против моих интересов. Ведь нотариус чем кормится? Ликвидация, описи, продажи, разделы имущества...

— Посмотрим, посмотрим! Не будем больше говорить об этом, Крюшо. Вы мне все нутро переворачиваете. Золото получили?

— Нет. Но есть у меня с десяток старых луидоров, я вам их отдам. Друг мой, помиритесь с Евгенией! Ведь весь Сомюр в вас камни бросает.

— Негодяи!

— А рента-то по девяносто девять. Будьте же довольны хоть раз в жизни...

— Девяносто девять, Крюшо?

— Да.

— Эге! Девяносто девять!—сказал старик, провожая старого нотариуса до калитки.

Потом, слишком взволнованный всем, что он услышал, чтобы оставаться дома, он поднялся к жене и сказал ей:

— Ну, мать, можешь провести день с дочерью, я отправляюсь в Фруафон. Будьте обе умницами. Сегодня день нашей свадьбы, женушка. На вот десять экю на твой переносный алтарь к празднику Тела господня. Давно уж тебе хочется соорудить его, доставь же себе удовольствие. Развлекайтесь! Будьте веселы, здоровы! Да здравствует радость!

Он бросил десять экю по шести франков на постель жены, взял обеими руками ее за голову и поцеловал в лоб.

— Тебе лучше, женушка, не правда ли?

— Как можете вы думать — принять в наш дом всепрощающего бога, когда вы дочь свою изгнали из сердца? — в волнении сказала г-жа Гранде.

— Та-та-та-та-та! — сказал отец ласковым голосом.— Там видно будет.

— Боже милостивый! Евгения! — закричала мать,

краснея от радости.— Иди, обними отца, он тебя прощает.

Но Гранде уже не было. Он бежал со всех ног на хутор, стараясь привести в порядок свои запутавшиеся мысли. Гранде пошел в это время семьдесят шестой год. За последние два года скупость его особенно возросла, как возрастают в человеке все укоренившиеся в нем страсти, что подтверждается наблюдениями над скрягами, над честолюбцами, над всеми людьми, посвятившими жизнь одной господствующей над ними мысли; все чувства его с особенной силой устремились на символ его страсти. Видеть золото, владеть золотом стало его манией. Вместе со скупостью усиливался в нем дух деспотизма, и отказаться от самовластного распоряжения хотя бы малейшею частью своих богатств после смерти жены казалось ему чем-то противоестественным. Объявить дочери размеры своего состояния, подвергнуть описи все свое движимое и недвижимое имущество, чтобы продать его с торгов?

— Это значило бы перерезать себе горло,— сказал он вслух, стоя посреди огороженного виноградника и рассматривая лозы.

Наконец он покорился необходимости и вернулся в Сомюр в обеденный час, решив уступить Евгении, приласкать ее, умаслить ее, для того чтобы умереть властителем, держа до последнего вздоха бразды правления и распоряжаясь своими миллионами.

В ту минуту, когда старик, случайно захвативший свой ключ от входной двери, крадучись, как волк, поднимался к жене, Евгения принесла и положила матери на постель прекрасный несессер. Они вдвоем, пока не было Гранде, наслаждались, рассматривая портрет матери Шарля, выискивая в ее чертах сходство с сыном.

— Вылитые его и лоб и рот! — говорила Евгения в ту минуту, когда винодел отворил дверь.

При одном взгляде, какой ее муж бросил на золото, г-жа Гранде воскликнула:

— Господи, смилуйся над нами!

Старик кинулся на несессер, как тигр бросается на спящего ребенка.

— Это что такое? — произнес он, хватая ларец и подходя к окну.— Чистое золото! Золото! — вскричал он.—

Много золота! Фунта два весит. Ага! Шарль дал тебе это за твои прекрасные монеты, а? Что ж ты мне ничего не сказала? Неплохое дельце обделала дочка! Ты моя дочь, узнаю тебя. (Евгения дрожала всем телом.) Это вещи Шарля, не правда ли? — продолжал добряк.

— Да, отец, это не мое. Эти вещи должны храниться свято и неприкосновенно.

— Та-та-та-та-та! Он забрал твое состояние! Тебе надо восстановить свое сокровище.

— Отец!..

Старик хотел взять нож, чтобы отодрать золотую пластинку, и ему пришлось поставить несессер на стул. Евгения кинулась перехватить его, но бочар, не спускавший глаз ни с дочери, ни с ларца, так неистово оттолкнул ее, что она упала на кровать матери.

— Сударь, сударь! — закричала мать, приподнимаясь на постели.

Гранде уже вынул нож и собирался содрать золото.

— Отец! — закричала Евгения, бросаясь на колени, и, подползая к Гранде, простерла к нему руки.— Отец, ради всех святых и пресвятой девы, ради самого Христа, умершего на кресте, ради вашего вечного спасения, отец, ради жизни моей — не трогайте этого! Этот ларец не ваш и не мой, а несчастного брата, который мне его доверил, и я обязана вернуть его в неприкосновенности.

— Почему же ты его рассматривала, ежели он отдан тебе на хранение? Смотреть — хуже, чем трогать.

— Отец, не ломайте его, вы меня обесчестите! Отец, вы слышите?

— Сударь, пощадите! — сказала мать.

— Отец! — закричала Евгения так громко, что снизу в испуге прибежала Нанета.

Евгения бросилась к ножу, лежавшему под рукой, и вооружилась им.

— Что же дальше? — спокойно сказал Гранде и холодно улыбнулся.

— Сударь, сударь, вы убиваете меня! — воскликнула мать.

— Отец, если ваш нож отрежет хоть крупицу этого золота, то я зарежусь вот этим ножом. Вы уже довели до смертельной болезни мою мать,— вы убьете и свою дочь. Теперь ломайте. Рана за рану!

Гранде держал нож над ларцом и растерянно смотрел на дочь.

— Неужели ты способна на это, Евгения? — промолвил он.

— Да, сударь,— сказала мать.

— Что она сказала, то и сделает! — воскликнула Нанета.— Будьте же рассудительны, сударь, хоть раз в жизни.

Бочар мгновение смотрел то на золото, то на дочь. Г-жа Гранде лишилась чувств.

— Смотрите, барин дорогой, барыня умирает! — закричала Нанета.

— На, дочка, не будем ссориться из-за ларчика. Бери его! — крикнул бочар, бросая несессер на кровать.— Ты, Нанета, сходи за господином Бержереном. Ну, мать,— сказал он, целуя жене руку,— не беда, ну, мы помирились. Не так ли, дочурка? Прочь сухой хлеб,— ты будешь кушать, что захочешь... Ах, она открывает глаза! Ну, мать, маменька, мамочка, очнись же! Вот, смотри, я целую Евгению. Она любит своего кузена, она выйдет за него замуж, если захочет; она сбережет ему ларчик. Только живи, живи долго, женушка моя бедная! Ну, пошевелись же... Слушай, у тебя будет такой прекрасный алтарь, какого никогда еще не бывало в Сомюре.

— Боже мой! Как можете вы так обращаться с женой и дочерью! — сказала слабым голосом г-жа Гранде.

— Я больше не буду, не буду! — воскликнул бочар.— Вот увидишь, женушка моя бедная!

Он пошел в кабинет, принес оттуда горсть луидоров и рассыпал их по постели.

— На, Евгения, на, жена, вот вам! — говорил он, перебирая луидоры.—Ну, развеселись, жена, будь здорова: ты ни в чем теперь не будешь нуждаться, ни ты, ни Евгения. Вот сто золотых для нее. Ты ведь никому не отдашь их, Евгения, этих-то, а?

Госпожа Гранде и дочь ее переглядывались в изумлении.

— Возьмите их назад, отец, мы нуждаемся только в вашей нежности!

— Ладно, пусть будет так,— сказал Гранде, засовывая луидоры в карманы,— будем жить добрыми друзья-

ми. Будем спускаться в зал обедать, играть в лото каждый вечер по маленькой. Шутите, смейтесь! Так, жена?

— Ах, я бы рада была, если это может быть вам приятно,— произнесла умирающая,— да встать мне не под силу.

— Мамочка, бедная,— сказал бочар,— ты не знаешь, как я люблю тебя. И тебя, дочка!

Он крепко обнял ее и поцеловал.

— О! Как хорошо обнять дочь свою после размолвки! Моя дочурка!.. Ну, видишь, мамочка, мы с тобой теперь— одно. Иди же спрячь это,— сказал он Евгении, показывая на ларец.— Иди, не бойся. Я никогда и не заикнусь об этом.

Вскоре явился Бержерен, первая сомюрская знаменитость. Окончив осмотр, он объявил Гранде, что жена его тяжело больна, но при условии полного душевного спокойствия, сердечных забот о ней и тщательного ухода она еще может прожить до конца осени.

— А это дорого будет стоить? — сказал добряк.— Понадобятся лекарства?

— Мало лекарств, но много забот,— ответил врач и не мог скрыть улыбки.

— Словом, господин Бержерен,— ответил Гранде,— вы человек честный, не правда ли? Я доверяюсь вам. Навещайте мою жену столько раз, сколько найдете нужным. Сохраните мне мою добрую жену. Видите ли, я очень люблю ее, хоть этого и не видно,— у меня все таится внутри и переворачивает мне душу. Я в горе. Горе пришло ко мне со смертью брата, ради которого я трачу в Париже такие деньги... прямо глаза на лоб лезут, и конца краю не видать. До свидания, сударь! Если возможно спасти мою жену, спасите ее, хотя бы это стоило сто, двести франков.

Несмотря на горячее желание Гранде видеть жену здоровой, ибо раздел наследства после нее был бы для него первым смертельным ударом; несмотря на то, что теперь он, к великому изумлению матери и дочери, постоянно проявлял готовность исполнять малейшие их желания; несмотря на самые нежные заботы Евгении, г-жа Гранде быстрыми шагами шла к смерти. С каждым днем она слабела и хирела, как большинство женщин, пораженных тяжелой болезнью в преклонном возрасте. Она бы-

ла хрупка, словно осенние листья на деревьях. Небесные лучи озаряли ее сиянием, как солнце озаряет эти листья, когда оно пронизывает их и позлащает. Это была смерть, достойная ее жизни, кончина истинно христианская, не сказать ли — возвышенная?

В октябре 1822 года особенным душевным светом проявилась ее доброта, ее ангельское терпение, любовь ее к дочери; она угасла, не проронив ни малейшей жалобы. Кроткая, непорочная душа, устремляясь к небу, не сожалела ни о чем, кроме милой своей спутницы, которую она оставляла теперь одну в холодом овеянной жизни; и ее последний взгляд, казалось, предрекал дочери неисчислимые бедствия. С трепетом оставляла она эту овечку, белоснежную, как она сама, одинокую среди себялюбивого мира, грозившего сорвать руно ее сокровища.

— Дитя мое,— сказала она в предсмертную минуту,— счастье только на небесах, ты поймешь это когда-нибудь.

На другой день после ее смерти Евгения ощутила новые связи свои с этим домом, где она родилась, где столько перестрадала, где только что умерла ее мать. Она не могла без слез смотреть на окно в зале и на стул с подпорками. Ей казалось, что раньше она не знала души своего старого отца, видя нежнейшие его заботы о ней самой: он приходил и предлагал ей руку, чтобы сойти вниз к завтраку, он целыми часами смотрел на нее взором почти добрым,— словом, лелеял ее, как будто она была золотою. Старый бочар стал сам на себя непохож и так трепетал перед дочерью, что Нанета и крюшотинцы, свидетели этой слабости, приписывали ее преклонному возрасту и даже несколько опасались за умственные способности г-на Гранде; но в тот день, когда семья надела траур, после обеда, к которому был приглашен нотариус Крюшо, один только знавший тайну своего клиента, поведение его объяснилось.

— Дорогое дитя мое,—сказал он Евгении, когда убрали со стола и двери были плотно затворены,— вот ты теперь наследница матери, и нам надо уладить кое-какие дела, касающиеся нас двоих,— не правда ли, Крюшо?

— Да.

— Разве так необходимо заниматься этим сегодня, отец?

—Да, да, доченька, я не могу больше оставаться в неизвестности. Не думаю, чтобы ты хотела огорчить меня.

— О отец!..

— Так вот, надо уладить все это сегодня же вечером.

— Чего же вы хотите от меня?

— Доченька, это дело не мое. Скажите же ей, Крюшо.

— Мадемуазель, ваш отец не хотел бы ни делить, ни продавать свои имения, ни платить огромные налоги за наличный капитал, который может ему принадлежать. И вот для этого нужно было бы избегнуть описи всего состояния, в настоящее время не разделенного между вами и вашим отцом...

— Крюшо, достаточно ли вы уверены в этом, чтобы говорить так в присутствии ребенка?

— Дайте мне сказать, Гранде.

— Да, да, мой друг. Ни вы, ни моя дочь не хотите меня обобрать. Не так ли, дочка?

— Но что же я должна сделать, господин Крюшо? — нетерпеливо спросила Евгения.

— Так вот,— сказал нотариус,— нужно бы подписать этот акт, которым вы отказывались бы от наследства вашей матушки и предоставили бы вашему отцу право пользования всем вашим неразделенным имуществом, причем он обеспечивает за вами право распоряжения этим имуществом.

— Я ничего не понимаю в том, что вы говорите,— ответила Евгения.— Дайте мне бумагу и укажите место, где я должна подписать.

Папаша Гранде переводил взгляд с бумаги на дочь и с дочери на бумагу; от волнения на лбу у него выступили капли пота, и он вытирал их платком.

— Дочка,— сказал он,— вместо того чтобы подписывать этот акт, регистрация которого обойдется дорого, не лучше ли тебе просто-напросто отказаться от наследства дорогой покойницы-матери и положиться на меня в отношении будущего? По-моему, так лучше будет. Я бы тогда выдавал тебе ежемесячно кругленькую сумму в сто франков. Право, ты сможешь заказывать сколько угодно обеден, за кого хочешь. А? Сто франков в месяц, в ливрах?

— Я сделаю все, что вам угодно, папенька.

— Сударыня,— вмешался нотариус,— мой долг указать вам, что вы лишаете себя всего...

— О боже мой,— сказала она,— что мне до этого?

— Молчи, Крюшо! Сказано, сказано! — крикнул Гранде, хватая руку дочери и ударяя по ней ладонью.— Евгения, ты не откажешься от своих слов, ты ведь честная девушка, а?

— О батюшка!..

Он порывисто поцеловал ее и едва не задушил в объятиях.

— Ну, дитя мое, ты отцу жизнь даешь, но ты только возвращаешь ему то, что он тебе дал: мы квиты. Вот как делаются дела, Крюшо. Ведь вся жизнь человеческая — сделка. Благословляю тебя, Евгения! Ты добродетельная дочь, ты крепко любишь своего отца. Делай теперь, что хочешь... Значит, до завтра, Крюшо,— сказал он, глядя на пришедшего в ужас нотариуса.— Благоволите заготовить в канцелярии суда акт об отказе от наследства.

На другой день, около полудня, был подписан акт, которым Евгения добровольно согласилась на это ограбление. Однако, несмотря на данное слово, старый бочар к концу первого года не дал еще ни гроша из ежемесячной сотни франков, столь торжественно обещанной дочери. И когда Евгения шутя сказала ему об этом, он не мог не покраснеть. Он живо поднялся в свой кабинет и, вернувшись оттуда, преподнес ей около трети драгоценностей, взятых им у племянника.

— На, дочка,—сказал он с выражением, полным иронии,— хочешь получить это вместо своих тысячи двухсот франков?

— Батюшка, вы в самом деле мне их даете?

— Я дам тебе столько же и в будущем году,— сказал он, бросая ей драгоценности в передник.— Так в короткое время у тебя окажутся все *его* брелоки,— прибавил он, потирая руки, радуясь, что может спекулировать на чувстве дочери.

Как ни крепок был еще старик, он все же понимал, что смерть не за горами и что необходимо посвятить дочь в тайны хозяйства. Два года подряд он заставлял Евгению давать в его присутствии распоряжения по дому и получать платежи. Не спеша, постепенно он сообщал ей

названия своих полей и ферм, знакомил с их состоянием. На третий год он так хорошо приучил ее ко всем видам скупости, так крепко привил ей свои повадки и превратил их в ее привычки, что без опасения доверял дочери ключи от кладовых и утвердил ее хозяйкою дома.

Прошло пять лет, и никаким событием не было отмечено однообразное существование Евгении и отца ее. Одни и те же действия совершались с хронометрической правильностью хода старых стенных часов. Глубокая грусть барышни Гранде ни для кого не была тайною; но если каждый мог догадываться о причине ее, то Евгения никогда ни одним словом не подтвердила догадок, строившихся во всех кругах Сомюра о сердечных делах богатой наследницы. Ее общество ограничивалось тремя Крюшо и несколькими их друзьями, которых они незаметно ввели в дом. Они научили ее играть в вист и каждый вечер являлись на партию.

В 1827 году Гранде, чувствуя тяжесть недугов, принужден был посвятить дочь в тайны своих земельных владений и посоветовал ей в случае затруднений обращаться к нотариусу Крюшо, честность которого была ему известна. Затем, в конце этого года, старик в возрасте восьмидесяти двух лет был разбит параличом; состояние больного быстро ухудшалось; Бержерен не оставил никакой надежды. Мысль о том, что скоро она останется на свете одна, сблизила Евгению с отцом и укрепила это последнее звено привязанности. В ее представлении, как и у всех любящих женщин, любовь была целым миром, а Шарля не было возле нее. Она с нежнейшей заботливостью ухаживала за стариком отцом, умственные способности которого начали падать, но скупость, ставшая уже инстинктивной, сохранялась. Смерть этого человека была под стать его жизни. С утра он приказывал подвозить себя в кресле к простенку между камином своей комнаты и дверью в кабинет, несомненно полный золота. Тут оставался он без движения, но тревожно глядел то на приходивших навестить его, то на обитую железом дверь. Он заставлял объяснять ему малейший доносившийся до него шум и, к большому удивлению нотариуса, слышал даже позевывания собаки во дворе. Пробуждался он от оцепенения в тот день и час, когда надо было получать платежи по фермам, рассчитываться с арендаторами или вы-

давать расписки. Тогда он сам двигал свое кресло на колесах и, добравшись до дверей кабинета, приказывал дочери отворить их, требовал, чтобы она собственными руками, без свидетелей укладывала одни мешки с деньгами на другие и запирала дверь. Затем он молча возвращался на прежнее место, как только она отдавала ему драгоценный ключ, всегда хранившийся в его жилетном кармане, который он время от времени ощупывал. Старый друг его нотариус, предчувствуя, что богатая наследница неминуемо выйдет за его племянника, председателя, если только Шарль Гранде не вернется, усилил заботы и внимание; каждый день он являлся к Гранде за распоряжениями, ездил по его поручению в Фруафон, на пашни, на луга, на виноградники, продавал урожай, превращая все в золото и серебро, которое тайно присоединялось к мешкам, наваленным в кабинете. Наконец наступили дни агонии, когда крепкий организм старика вступил в схватку с разрушением. Однако он не хотел расставаться со своим местом у камина, перед дверью кабинета. Он тащил на себя и комкал все одеяла, которыми его покрывали, и говорил Нанете, кутаясь в них:

— Укрой, укрой меня получше, чтоб меня не обокрали.

Когда он в силах был открывать глаза, где еще тлела искра жизни, то сейчас же обращал их к двери кабинета, где покоились его сокровища, и говорил дочери:

— Там ли они? Там ли они? — и в тоне его голоса звучал панический ужас.

— Да, батюшка.

— Береги золото!.. Положи золото передо мной!

Евгения раскладывала луидоры на столе, и он целыми часами не спускал глаз с золотых монет, подобно ребенку, который, начиная видеть, бессмысленно созерцает один и тот же предмет, и, как у ребенка, у него мелькала напряженная улыбка.

— Это согревает меня! — говорил он иногда, и лицо его принимало блаженное выражение.

Когда приходский священник пришел его напутствовать, глаза его, уже несколько часов казавшиеся мертвыми, оживились при виде креста, подсвечников, серебряной кропильницы, на которую он пристально посмотрел, и шишка на его носу пошевелилась в последний раз. В ту

«ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».

«ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГОДИССАР».

минуту, как священник поднес к его губам позолоченное распятие, чтобы он приложился к изображению Христа, Гранде сделал страшное движение, чтобы его схватить, и это последнее усилие стоило ему жизни. Он позвал Евгению, не видя ее более, хотя она стояла перед ним на коленях и орошала слезами его руку, уже холодевшую.

— Отец, благословите меня,— попросила она.

— Береги золото, береги! Ты дашь мне отчет на том свете! — сказал он, доказывая этим последним словом, что христианство должно быть религией скупцов.

И вот Евгения Гранде осталась одна на свете в этом доме, только к Нанете могла она обратить взор с уверенностью, что встретит понимание и сочувствие, к Нанете, единственному существу, любившему ее ради нее самой и с которым она могла говорить о своих горестях. Нанета была провидением для Евгении и стала уже не служанкой, а смиренною подругой.

После смерти отца Евгения узнала от нотариуса Крюшо, что она владеет рентой в триста тысяч ливров с недвижимой собственности в Сомюрском округе и шестью миллионами в трехпроцентных бумагах с номинальным курсом в шестьдесят франков, поднявшимся тогда до семидесяти семи; кроме того—двумя миллионами золотом и сотней тысяч франков в серебряных экю, помимо недополученных недоимок. Общий размер ее состояния достигал семнадцати миллионов.

«Где же Шарль?» — спрашивала она себя.

День, когда нотариус Крюшо ознакомил свою клиентку с состоянием ее наследства, приведенного в известность и свободного от долгов, Евгения провела одна, вместе с Нанетой; обе они сидели у камина в этом зале, теперь таком опустелом, где все рождало воспоминания, начиная от стула на подпорках, на котором сидела ее мать, и до стакана, из которого когда-то пил двоюродный брат.

— Вот мы одни, Нанета!

— Да, барышня. А если б я только знала, где он, красавчик, я пешком пошла бы за ним.

— Между нами море,— сказала Евгения.

В то время как несчастная наследница горевала в обществе своей старой служанки в этом холодном и мрач-

ном доме, составлявшем для нее всю вселенную, от Нанта до Орлеана не было другого разговора, кроме как о семнадцати миллионах барышни Гранде. Одним из первых ее дел было назначение пожизненной пенсии в тысячу двести франков Нанете, которая со своими прежними шестьюстами франков ренты стала богатой невестой. Меньше чем в месяц старая дева вышла замуж за Антуана Корнуайе, назначенного главным смотрителем земель и владений барышни Гранде. Г-жа Корнуайе имела огромное преимущество перед своими ровесницами: хотя ей было пятьдесят девять лет, на вид ей казалось не больше сорока. Ее крупные черты устояли против натиска времени. Благодаря монастырскому укладу своей жизни она словно насмехалась над старостью, сохранив яркий румянец и железное здоровье. Может быть, никогда у нее не было такого хорошего вида, как в день свадьбы. Самое ее безобразие пошло ей на пользу, и когда она направилась в церковь, грузная, плотная, крепкая, с выражением счастья на несокрушимом лице, некоторые позавидовали Антуану Корнуайе.

— У нее хороший цвет лица,—сказал суконщик.

— Да, такая, пожалуй, еще может рожать ребят,— заметил торговец солью,— она сохранилась, как в рассоле, с позволения сказать.

— Она богата. Корнуайе сделал выгодное дельце,— сказал еще один сосед.

При выходе из старого дома Нанета, любимая всеми соседями, слышала одни похвалы, пока спускалась по извилистой улице, направляясь в приходскую церковь.

В виде свадебного подарка Евгения подарила ей три дюжины столовых приборов. Корнуайе, пораженный такой щедростью, говорил о своей хозяйке со слезами на глазах; ради нее он готов был в огонь и в воду. Став доверенным лицом Евгении, г-жа Корнуайе испытывала от этого не меньшее счастье, чем от замужества. Она могла наконец запирать и отпирать кладовую, выдавать по утрам провизию, как делал покойный ее хозяин. Кроме того, у нее под началом были две служанки — кухарка и горничная, которой была поручена починка домашнего белья и чистка платьев Евгении. Корнуайе совмещал должности сторожа и управителя. Излишне говорить, что кухарка и горничная, на которых остановила свой выбор

Нанета, были настоящей находкой. Таким образом, у барышни Гранде было четверо безгранично преданных слуг. Фермеры и не заметили смерти старика Гранде, так строго установил он порядки и обычаи своего управления, которым старательно следовали супруги Корнуайе.

В тридцать лет Евгения не изведала еще ни одной из радостей жизни. Ее тусклое и печальное детство протекло возле матери, сердце которой, непризнанное, оскорбленное, постоянно страдало. Радостно расставаясь с жизнью, мать сожалела о дочери, которой предстояло влачить существование, и оставила в душе ее легкие угрызения совести и вечные сожаления. Первая, единственная любовь Евгении была для нее источником грусти. Всего несколько дней мельком видела она своего возлюбленного и отдала ему сердце между двумя украдкой полученными и возвращенными поцелуями; затем он уехал, отделив себя от нее целым миром. Эта любовь, проклятая отцом, едва не лишила ее матери и причиняла ей только страдания, смешанные с хрупкими надеждами. Так до сих пор стремилась она к счастью, теряя силы и не обновляя их. В духовной жизни, так же как и в жизни физической, существует вдыхание и выдыхание, душе необходимо поглощать чувства другой души, усваивать их себе, чтобы ей же вернуть их обогащенными. Без этого прекрасного явления нет жизни для человеческого сердца, ему тогда не хватает воздуха, оно страдает и чахнет. Евгения начинала страдать. Для нее богатство не было ни властью, ни утешением; она могла жить только любовью, религией, верой в будущее. Любовь объяснила ей вечность. Собственное сердце и евангелие были для нее два желанных мира. Днем и ночью погружалась она в глубины этих безбрежных мыслей, быть может составлявших для нее одно целое. Она уходила в себя, любя и веря, что любима. За семь лет страсть заполнила все. Ее сокровищами были не миллионы, доходы с которых все нарастали, но ларец Шарля, два портрета, повешенные у ее постели, драгоценности, выкупленные у отца, красовавшиеся на слое ваты в ящике комода, и наперсток ее тетки, которым пользовалась ее мать; Евгения с благоговением брала его ежедневно, садясь за вышивание; она трудилась, как Пенелопа, и за-

теяла эту работу только для того, чтобы надевать на палец золотой наперсток, овеянный воспоминаниями.

Представлялось невероятным, чтобы барышня Гранде пожелала выйти замуж раньше окончания траура. Всем было известно ее искреннее благочестие. Поэтому семейство Крюшо, политику которого мудро направлял старый аббат, удовлетворилось тем, что сомкнулось вокруг наследницы, окружив ее самыми сердечными заботами. Каждый вечер зал ее наполнялся обществом, состоявшим из самых горячих и самых преданных крюшотинцев округи, старавшихся на все лады петь хвалу хозяйке дома. У нее был постоянный придворный врач, свой дворцовый духовник, свой камергер, своя статс-дама, свой первый министр и, главное, свой канцлер, который хотел во всем руководить ею. Пожелай наследница иметь пажа, который носил бы ее шлейф,—ей нашли бы и его. Она была королевой, и ни перед одной королевой так искусно не заискивали. Лесть никогда не исходит от великих душ, она удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы лучше войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют. Лесть подразумевает корысть. Люди, приходившие каждый вечер украшать своим присутствием зал барышни Гранде, именуемой ими мадемуазель де Фруафон, осыпали ее восхвалениями. Этот хор похвал, новых для Евгении, сначала смущал ее, и она краснела; но как ни грубы были комплименты, незаметно она так привыкла к прославлению ее красоты, что если бы какой-нибудь новый человек в городе нашел ее некрасивой, это порицание было бы ей теперь гораздо чувствительнее, чем восемь лет назад. С течением времени она полюбила эти приторные восторги и втайне слагала их к ногам своего кумира. Постепенно она привыкла, что с ней обращаются как с владетельной особой, привыкла видеть каждый вечер свой двор в полном сборе.

Председатель суда де Бонфон был героем этого кружка, тут беспрестанно превозносили его ум, его характер, его образование, его любезность. Один, например, как бы вскользь сообщил, что за семь лет председатель очень увеличил свое состояние, что поместье Бонфон дает не меньше десяти тысяч дохода и что оно, как и все земли

семейства Крюшо, вклинивается в обширные владения наследницы.

— Знаете, сударыня,—говорил другой завсегдатай,— ведь у господ Крюшо сорок тысяч ливров дохода!

— А как они умеют вести дела!— подхватывала старая крюшотинка, мадемуазель де Грибокур.— Один господин из Парижа недавно предлагал господину Крюшо двести тысяч франков за его нотариальную контору. Ему придется продать контору, если он хочет, чтобы его назначили мировым судьей.

— Он желает получить должность председателя суда после господина де Бонфона и принимает свои меры,— добавляла г-жа д'Орсонваль.— Ведь господин председатель сделается советником, а потом и председателем судебной палаты: у него так много данных, что он непременно достигнет этого.

— Да, это весьма выдающийся человек,—замечал другой.—Не правда ли, сударыня?

Господин председатель старался держаться согласно той роли, какую хотел играть. Несмотря на свои сорок лет, несмотря на свое темное, неприветливое лицо, помятое, как почти все судейские физиономии, он одевался как молодой человек, играл тросточкой, не нюхал табаку в присутствии мадемуазель де Фруафон, являлся всегда в белом галстуке и в рубашке с жабо, заложенным крупными складками и придававшим ему семейное сходство с представителями породы индюков. Он разговаривал с прекрасной наследницей по-приятельски и называл ее «наша дорогая Евгения». Словом, если не считать того, что действующих лиц стало больше, что игра в лото сменилась вистом, а г-н и г-жа Гранде скончались, картина, открывающая это повествование, оставалась почти что прежней и по сути своей была приблизительно та же. По-прежнему шла охота за Евгенией и ее миллионами, но свора более многочисленная лучше лаяла и согласнее окружала добычу. И если бы Шарль воротился из далекой Ост-Индии, он снова застал бы те же лица и те же интересы. Г-жа де Грассен, с которой Евгения была очень приветлива и добра, упорно продолжала тревожить всех Крюшо. Но и теперь, как прежде, образ Евгении господствовал в картине; как прежде, Шарль оставался бы здесь властелином. Однако был и прогресс. Букет, пре-

поднесенный некогда Евгении председателем в день ее рождения, стал постоянным подношением. Каждый вечер г-н де Бонфон приносил богатой наследнице объемистый и великолепный букет, который г-жа Корнуайе на глазах у всех ставила в вазу и выбрасывала потихоньку на задний двор, как только гости уходили.

В начале весны г-жа де Грассен попыталась смутить счастье крюшотинцев, заговаривая с Евгенией о маркизе де Фруафон, разоренный род которого мог бы подняться снова, если бы наследница пожелала вернуть ему имение по брачному контракту. Г-жа де Грассен трубила ей в уши о звании пэра, титуле маркиза и, принимая презрительную улыбку Евгении за одобрение, распространяла слух, что дело женитьбы председателя Крюшо не так уж подвинулось, как многие полагали.

— Хотя господину де Фруафон пятьдесят лет,—говорила она,— с виду он не старше господина Крюшо. Правда, он вдовец, у него дети, но он маркиз, он будет пэром Франции. Попробуйте-ка в наше время найти подобную партию! Я знаю из верных источников, что господин Гранде, объединяя свои владения с землями Фруафона, имел в виду привить свою ветвь к древу Фруафонов. Он мне часто говорил об этом. Старик был человек не промах.

— Как же так, Нанета,— сказала как-то вечером Евгения, ложась в постель,— за семь лет он так ни разу мне и не написал!..

Пока все это происходило в Сомюре, Шарль наживал богатство в Ост-Индии. Прежде всего он очень выгодно продал свой мелочной товар. Скоро в его руках оказалась сумма в шесть тысяч долларов. Своего рода боевое крещение на экваторе заставило его отделаться от многих предрассудков; он сообразил, что как в тропических странах, так и в Европе лучшим способом разбогатеть является покупка и продажа людей. Поэтому он отправился на берега Африки и стал торговать неграми, соединяя торговлю людьми со сбытом товаров, наиболее выгодных для обмена на разных рынках, куда приводила его корысть. Он отдался делу с таким рвением, что у него не оставалось свободной минуты. Им овладела мысль вновь появиться в Париже во всем блеске огромного бо-

гатства и вновь достичь еще более завидного положения, чем то, какого он лишился. Вследствие скитаний, смены людей и стран, вследствие наблюдения противоречивых обычаев он изменился во взглядах своих и сделался скептиком. У него не стало твердых представлений о справедливом и несправедливом — он видел, как в одной стране считают преступлением то, что в другой является добродетелью. От вечной мысли о наживе сердце его застыло, сжалось, иссохло. Кровь рода Гранде сказалась и на его судьбе. Шарль сделался черств и алчен. Он продавал китайцев, негров, ласточкины гнезда, детей, артистов; он сделался крупным ростовщиком. Привычка мошеннически обходить таможенные установления сделала его менее щепетильным в отношении человеческих прав. Он ездил в Сен-Тома покупать за бесценок товары, награбленные пиратами, и отвозил их в места, где в них был недостаток.

Если благородный и чистый образ Евгении сопутствовал ему в первом путешествии, как изображение пресвятой девы, помещаемое на корабле испанскими моряками, и если первые свои успехи он приписывал волшебному влиянию обетов и молитв этой кроткой девушки, то позднее негритянки, мулатки, белые женщины, яванки, алмеи, оргии с красавицами всех цветов и похождения в разных странах окончательно стерли воспоминание о кузине, о Сомюре, о доме, о скамье, о поцелуе в коридоре. Он вспоминал только садик, окруженный старыми стенами, потому что там получила начало полная случайностей судьба его, но он отрекся от семьи: дядя был старый пес, стянувший его драгоценности, Евгения не занимала ни сердца его, ни мыслей,— она занимала место в его делах как кредитор, ссудивший ему шесть тысяч франков. Такое поведение и такие взгляды объясняют молчание Шарля Гранде. В Ост-Индии, в Сен-Тома, на африканском побережье, в Лиссабоне, в Соединенных Штатах молодой спекулянт, не желая компрометировать свое имя, взял себе псевдоним—Сефер. Карл Сефер мог безопасно показываться всюду — неутомимый, отважный, алчный, как человек, который, решившись разбогатеть quibuscumque viis [1], спешит покончить гнусное

[1] Любыми путями *(лат.)*.

дело, чтобы стать затем честным человеком до конца своей жизни. При такой системе обогащение его было быстрым и блестящим.

И вот в 1827 году он возвращался в Бордо на красивом бриге «Мария-Каролина», принадлежавшем роялистскому торговому дому. Он вез с собой в трех хорошо окованных бочках золотой песок на миллион девятьсот тысяч франков, рассчитывая получить на нем в Париже семь или восемь процентов прибыли, обратив его в монеты.

На том же бриге ехал также камергер двора его величества короля Карла X, г-н д'Обрион, славный старик, в свое время безрассудно женившийся на модной женщине. Все его состояние было на островах Индийского океана; чтобы покрыть то, что промотала г-жа д'Обрион, он ездил продавать свои владения. У четы д'Обрион, из дома д'Обрион де Бюш (последний капталь которого умер до 1789 года), оставалось каких-нибудь двадцать тысяч ливров дохода и была дочь, отменно некрасивая; мать хотела выдать ее замуж без приданого, потому что своего состояния ей едва хватало на жизнь в Париже. Успех подобного замысла казался сомнительным всем светским людям, несмотря на ловкость, какую признают они за модными женщинами. И сама г-жа д'Обрион, глядя на дочь, почти отчаивалась навязать ее кому бы то ни было, даже человеку, помешанному на родовитости. Мадемуазель д'Обрион была девица долговязая, как жук-дровосек, тощая, хилая, с презрительным ртом, над которым свисал чрезмерно длинный нос, толстый к концу, желтоватый при обычном состоянии, но совершенно красный после еды,—род растительного феномена, особенно неприятный на бледном скучающем лице. Словом, она была именно такой дочерью, какой могла желать маменька в тридцать восемь лет, еще красивая и не отказавшаяся от претензии нравиться. Однако в противовес таким недочетам маркиза д'Обрион придала дочери самый изысканный вид, подчинила ее гигиене, временно поддерживавшей умеренную окраску носа, передала ей искусство одеваться изящно, наделила ее хорошими манерами, научила меланхолическим взглядам, вызывающим интерес в мужчине и заставляющим его верить, что он встретил ангела, которого столь тщетно искал; она

показала дочери, как пользоваться движениями ножки, чтобы кстати выставить ее и принудить любоваться ее миниатюрностью как раз в минуту, когда нос нагло позволит себе покраснеть; словом, она добилась от дочери успехов весьма удовлетворительных. С помощью широких рукавов, обманных корсажей, искусно отделанных пышных платьев, туго стянутого корсета она достигла столь удивительных иллюзорных прелестей, что в назидание маменькам ей бы следовало выставить их в особом музее.

Шарль очень сблизился с г-жой д'Обрион, как раз желавшей сблизиться с ним. Некоторые утверждают даже, будто за время переезда прекрасная г-жа д'Обрион не пренебрегла никакими средствами, чтобы пленить такого богатого зятя. Высадившись в Бордо в июне 1827 года, господин, госпожа и мадемуазель д'Обрион и Шарль остановились вместе в одной гостинице и вместе отправились в Париж. Особняк д'Обрионов был заложен и перезаложен. Шарль должен был выкупить его. Мать говорила уже о счастье, с каким она уступила бы свой нижний этаж зятю и дочери. Не разделяя предрассудков г-на д'Обриона относительно родовитости, она обещала Шарлю Гранде получить от доброго Карла X королевский указ, дающий права ему, Гранде, носить фамилию д'Обрион, принять ее герб и наследовать поместье Обрион путем учреждения майората в тридцать шесть тысяч ливров годового дохода в качестве капталя де Бюш и маркиза д'Обрион. Соединив состояния, живя в добром согласии и получив всякие синекуры, можно было бы довести доходы в особняке д'Обрионов до ста с лишним тысяч ливров.

— А при ста тысячах ливров дохода, титуле, семье, принятой при дворе,—потому что я добуду вам звание камер-юнкера,—достигают всего, чего хотят,—говорила она Шарлю.—Таким образом, вы станете, по вашему выбору, докладчиком в государственном совете, префектом, секретарем посольства, послом. Карл Десятый очень любит д'Обриона, они знакомы с детства.

Опьяненный честолюбием, разгоревшимся под влиянием ловкой женщины, Шарль во время плавания лелеял все эти надежды, умелой рукой развернутые перед ним под видом доверчивых признаний, идущих от сердца к

сердцу. Полагая, что отцовские дела улажены дядей, он уже заранее видел, как сейчас же бросит якорь в Сен-Жерменском предместье, куда все хотели тогда попасть и где под сенью сизого носа мадемуазель Матильды он вдруг появился бы в качестве графа д'Обриона, как господа Дрё появились в один прекрасный день в качестве маркизов Брэзе. Ослепленный преуспеянием Реставрации, еще шаткой при его отъезде, очарованный блеском аристократических идей, Шарль и в Париже не выходил из состояния опьянения, начавшегося на корабле; он решил пойти на все, чтобы достичь высокого положения, возможность которого нарисовала ему себялюбивая теща. И кузина стала для него не более как точкой в просторе этой блестящей перспективы. Он свиделся с Анетой. Как светская женщина, Анета горячо советовала старому другу заключить этот союз и обещала свою поддержку во всех его честолюбивых планах. Анета была в восторге от мысли женить Шарля на некрасивой и скучной девице, так как после пребывания в Индии он стал весьма обаятельным; он загорел, манеры его были теперь решительны, смелы, как у человека, привыкшего рубить сплеча, властвовать, добиваться успеха. Шарль свободнее стал дышать в Париже, увидев, что может здесь играть роль.

Де Грассен, узнав о его возвращении, скорой свадьбе, богатстве, пошел к нему переговорить о трехстах тысячах франков, каковыми он мог расквитаться с долгами отца. Он застал Шарля за совещанием с ювелиром, работавшим над драгоценностями, заказанными для свадебного подарка мадемуазель д'Обрион, и пришедшим показать рисунки. Помимо великолепных бриллиантов, привезенных Шарлем из Ост-Индии, художественные изделия, столовое серебро, крупные и мелкие ювелирные вещи, которыми обзавелись молодые, стоили больше двухсот тысяч франков. Шарль, не узнав де Грассена, принял его с развязностью молодого модника, уложившего в Ост-Индии четырех человек на дуэли. Де Грассен заходил уже три раза. Шарль выслушал его холодно; потом ответил, не поняв хорошенько:

— Дела моего отца меня не касаются. Я признателен вам, сударь, за те заботы, какие вы соблаговолили взять на себя, но мне не придется ими воспользоваться. Я не

для того в поте лица заработал около двух миллионов, чтобы швырнуть их кредиторам отца.

— А если вашего батюшку через несколько дней объявят несостоятельным?

— Сударь, через несколько дней я буду называться графом д'Обрион. Вы хорошо понимаете, что для меня это будет совершенно безразлично. К тому же вы знаете лучше меня: если у человека сто тысяч ливров дохода, его отца никогда не объявят несостоятельным,—прибавил он, вежливо выпроваживая г-на де Грассена за дверь.

В начале августа того же года Евгения сидела на деревянной скамейке, где кузен клялся ей в вечной любви и куда в хорошую погоду она приходила завтракать. Бедная девушка в это свежее радостное утро была занята тем, что перебирала в памяти крупные и мелкие события, связанные с ее любовью, и последовавшие за ними катастрофы. Солнце освещало красивую поверхность потрескавшейся, полуразвалившейся стены, которую по какой-то причуде наследницы запрещено было трогать, хотя Корнуайе часто повторял жене, что стена, того и гляди, обвалится и кого-нибудь задавит. В эту минуту постучал почтальон, подал письмо г-же Корнуайе, та пришла в сад с криком:

— Барышня, письмо!

Отдав письмо хозяйке, она сказала:

— Не то ли, которого вы дожидаетесь?

Эти слова раздались в сердце Евгении так же громко, как прозвучали на самом деле в стенах двора и сада.

— Париж!.. Это от него! Он вернулся.

Евгения побледнела и с минуту не могла тронуть письма. Она слишком волновалась и не в силах была распечатать его и прочесть. Нанета остановилась, подбоченясь, и казалось, что радость, сквозившая на ее смуглом лице, пробивается, как дым сквозь расщелины скалы.

— Читайте же, барышня...

— Ах, Нанета, почему он уехал из Сомюра, а возвращается в Париж?

— Читайте, узнàете!

Евгения, дрожа, распечатала письмо. Из него выпал

чек на банкирскую контору г-жи де Грассен и Коре в Сомюре. Нанета подняла его.

«Дорогая кузина...»

«Я уже для него не Евгения»,— подумала она, и сердце ее сжалось.

«Вы...»

«Он говорил мне «ты»!»

Она скрестила руки, не решаясь читать дальше, и на глазах ее выступили крупные слезы.

— Он умер?— спросила Нанета.

— Тогда он не писал бы,— сказала Евгения.

Она прочла все письмо. Вот оно:

«Дорогая кузина, полагаю, вы с удовольствием узнаете об успехе моих предприятий. Вы принесли мне счастье, я возвратился богатым, я следовал советам дядюшки. Только что узнал о кончине его и тетушки от г-на де Грассена. Смерть наших родителей в порядке вещей, и мы должны заступать их место. Надеюсь, что в настоящее время вы уже утешились. Ничто не может устоять перед временем, я испытываю это на себе. Да, дорогая кузина, к несчастью для меня, пора иллюзий миновала. Как же иначе? Путешествуя по многим странам, я размышлял о жизни. Уезжая, я был ребенком, теперь я стал зрелым человеком. Нынче я думаю о многих вещах, о каких в те времена и не помышлял. Вы свободны, кузина, и я еще свободен, ничто как будто не препятствует осуществлению наших юных мечтаний; но в моем характере слишком много прямоты, чтобы скрывать от вас положение моих дел. Я отнюдь не забыл, что не принадлежу себе: я постоянно вспоминал в долгие мои переезды деревянную скамеечку...»

Евгения встала, словно под ней были раскаленные уголья, и пересела на ступеньку крыльца.

«...деревянную скамеечку, на которой мы клялись вечно любить друг друга, коридор, серый зал, мою комнату в мансарде и ночь, когда вы своим чутким участием облегчили мне мое будущее. Да, эти воспоминания поддерживали мое мужество, и я говорил себе, что вы по-прежнему думаете обо мне, так же как я часто думал о вас, в

час, условленный между нами. Смотрели вы на облака в девять часов? Да, не правда ли? И я не хочу изменять священной для меня дружбе; нет, я не должен ни в чем обманывать вас. Для меня сейчас дело идет о союзе, удовлетворяющем всем представлениям, какие составил я себе о браке. Любовь в браке— химера. Ныне опыт мой говорит мне, что надобно подчиняться всем общественным законам и, вступая в брак, соблюдать все требования, предъявляемые светом. А между нами прежде всего есть разница в возрасте, которая, быть может, сильнее отозвалась бы на вашем будущем, нежели на моем. Я не буду говорить вам ни о ваших вкусах, ни о вашем воспитании, ни о ваших привычках, которые никак не вяжутся с парижской жизнью и, без сомнения, совершенно не соответствовали бы моим видам на будущее. В планы мои входит жизнь открытым домом, большие приемы, а вы, как мне помнится, любите жизнь тихую и спокойную. Нет, я буду откровеннее и хочу сделать вас судьею моего положения; вам надлежит знать его, и вы вправе его судить. Сейчас у меня восемьдесят тысяч ливров дохода. Это состояние позволяет мне породниться с семейством д'Обрион, наследница которого, молодая особа девятнадцати лет, с замужеством приносит мне имя, титул, звание камер-юнкера двора его величества и одно из самых блестящих положений в свете. Признаюсь вам, дорогая кузина, я меньше всего в мире люблю мадемуазель д'Обрион, но браком с ней я обеспечиваю своим детям общественное положение, преимущества которого со временем будут неисчислимы. С каждым днем монархические идеи все больше входят в силу, и через несколько времени мой сын, сделавшись маркизом д'Обрион, владея майоратом с доходом в сорок тысяч ливров, сможет занять в государстве любое место, какое соблаговолит выбрать. Мы ответственны перед нашими детьми. Вы видите, кузина, с каким чистосердечием излагаю я перед вами состояние своего сердца, своих надежд и всей своей судьбы. Возможно, что вы, с своей стороны, забыли наши ребячества после семилетней разлуки, но я, я не забыл ни вашей снисходительности, ни своих слов,—я помню их все, даже ни к чему не обязывающие слова, о которых молодой человек, менее добросовестный, чем я, не с таким юным и честным сердцем, забыл бы и думать. Го-

воря вам, что я думаю лишь о браке по рассудку и что я еще помню нашу детскую любовь, разве я не отдаю этим себя целиком в ваше распоряжение, разве не делаю вас госпожой моей судьбы, разве не говорю этим самым, что если надобно отказаться от честолюбивых планов, то я охотно удовлетворюсь простым и чистым счастием, которого столь трогательный образ открыли мне вы...»

— Тан-та-та. Тан-та-та... Тинн-та-та-тун! Тун-та-ти... Тин-та-та...—напевал Шарль Гранде арию «Non piu andrai», подписываясь:

«*Ваш преданный кузен Шарль*».

— Гром и молния! Это называется соблюсти все приличия,—сказал он себе.

Затем он отыскал чек и прибавил следующее:

«Прилагаю к своему письму чек на банкирскую контору де Грассен в восемь тысяч франков на ваше имя, подлежащий оплате золотом,—проценты и сумму, которую вы соблаговолили мне одолжить. Я ожидаю доставки из Бордо сундука, где находится несколько предметов, которые, надеюсь, вы мне позволите поднести вам в знак моей вечной признательности. Благоволите прислать дилижансом мой несессер в особняк д'Обрионов, улица Илерен-Бертен».

— Дилижансом! —сказала Евгения.—Вещь, за которую я тысячу раз отдала бы жизнь!

Страшное и полное крушение! Корабль тонул, не оставляя ни каната, ни доски на необозримом океане надежд. Видя себя покинутыми, иные женщины стараются вырвать своего возлюбленного из рук соперницы, убивают ее и бегут на край света, на эшафот или в могилу. Это, без сомнения, прекрасно; побудитель такого преступления— возвышенная страсть, внушающая уважение человеческому правосудию. Другие женщины поникают головою и страдают безмолвно; они проходят, умирающие и отрекшиеся от себя, плача и прощая, молясь и вспоминая до последнего вздоха. Эта любовь— любовь истинная, любовь ангельская, любовь гордая, живущая своим страданием и от него умирающая. Таково было чувство

Евгении, после того как она прочла это ужасное письмо. Она подняла глаза к небу, думая о последних словах матери, которая, как бывает иногда с умирающими, устремила на будущее прозорливый, просветленный взгляд. Затем Евгения, вспоминая эту пророческую смерть и жизнь, измерила одним взглядом всю свою судьбу. Ей оставалось только развернуть крылья, устремиться к небу и жить в молитве до дня своего освобождения.

— Моя мать была права,—сказала она плача.— Страдать и умереть...

Медленными шагами перешла она из сада в зал. Против своего обыкновения она не прошла коридором. Но ей снова напомнил кузена этот старый серый зал, где на камине всегда стояло известное блюдце, служившее каждое утро ей для завтрака, как и старинная севрская сахарница.

Этому утру было суждено стать для нее торжественным и полным событий. Нанета доложила ей, что пожаловал приходский священник. Этот кюре, родственник семьи Крюшо, был сторонником председателя де Бонфона. Несколько дней как старый аббат уговорил его побеседовать с барышней Гранде, в духе чисто религиозном, о том, что она обязана вступить в брак. Увидя своего духовника, Евгения подумала, что он пришел за тысячью франков, которые она ежемесячно выдавала ему на бедных; она послала Нанету за деньгами, но священник, улыбаясь, сказал:

— Сегодня, сударыня, я пришел говорить с вами об одной бедной девушке, которой интересуется весь Сомюр и которая, по недостатку милосердия к себе самой, живет не по-христиански.

— Боже мой! Вы застали меня, господин кюре, в такую минуту, когда я не в силах думать о своих ближних, я всецело занята собой. Я очень несчастна, у меня нет другого прибежища, кроме церкви; лоно ее достаточно обширно, чтобы вместить все наши скорби, и добрые чувства достаточно изобильны, чтобы мы могли черпать их, не боясь, что они истощатся.

— Так вот, сударыня, уделяя внимание этой девушке, мы и займемся вами. Послушайте! Если вы хотите своего спасения, перед вами только два пути: или покинуть мир, или подчиняться его законам; следовать или

вашему предназначению земному, или вашему предназначению небесному.

— Ах, голос ваш обращается ко мне в ту минуту, когда я жаждала услышать голос свыше. Да, бог направил вас сюда, сударь. Я прощусь с миром и буду жить только для бога, в безмолвии и уединении.

— Необходимо, дочь моя, поразмыслить над этим суровым решением. Замужество — жизнь, а покрывало монахини — смерть.

— Ну, хорошо, смерть, поскорее смерть, господин кюре!— сказала она с ужасающей живостью.

— Смерть? Но на вас лежат великие обязанности перед обществом, сударыня. Разве не мать вы для бедных? Вы даете им одежду, дрова зимой и работу летом. Ваше большое богатство—ссуда, которую надо вернуть, вы так благочестиво и приняли его. Похоронить себя в монастыре было бы эгоизмом, оставаться старой девой вы не должны. Прежде всего, сможете ли вы управлять одна вашим огромным состоянием? Вы, может быть, его потеряете. У вас сейчас же будет бесконечное множество судебных дел, и вы запутаетесь в безвыходных затруднениях. Поверьте вашему пастырю: супруг будет вам на пользу, вы обязаны сохранить то, что вам даровано богом. Я говорю с вами, как с многолюбимой агницей стада своего. Любовь ваша к богу искренна, вам можно спастись и живя в миру, вы одно из прекраснейших его украшений и подаете ему пример святой жизни.

В эту минуту доложили о г-же де Грассен. Она явилась, руководимая местью и великим отчаянием.

— Мадемуазель...— сказала она.— Ах, тут господин кюре... Умолкаю. Я пришла поговорить с вами по делу, но вижу, что вы заняты важным разговором.

— Сударыня,—молвил кюре,— освобождаю вам поле действий.

— О господин кюре,—сказала Евгения,—возвращайтесь же через несколько минут, ваша поддержка мне сейчас крайне необходима.

— Да, бедное дитя мое,—сказала г-жа де Грассен.

— Что вы хотите сказать? — спросили мадемуазель Гранде и кюре.

— Разве я не знаю, что возвратился ваш кузен и что

он женится на мадемуазель д'Обрион?.. От женского глаза ничто не скроется.

Евгения покраснела и смолчала, но решила на будущее время усвоить бесстрастную манеру держаться, какую умел напускать на себя ее отец.

— Ну что ж, сударыня,—отвечала она с иронией,— у меня, должно быть, плохой женский глаз, я вас не понимаю. Говорите, говорите в присутствии господина кюре,—вы знаете, он мой руководитель.

— Хорошо, мадемуазель. Вот что пишет мне де Грассен. Прочтите.

Евгения прочла следующее письмо:

«Дорогая жена, Шарль Гранде прибыл из Ост-Индии; он уже месяц как живет в Париже...»

«Месяц!» — повторила про себя Евгения, опуская руку.

После остановки она снова принялась за письмо.

«Мне пришлось два раза ждать в передней, прежде чем я добился разговора с этим будущим графом д'Обрион. Хотя весь Париж говорит об его свадьбе и уже сделано церковное оглашение...»

«Значит, он писал мне в ту самую минуту, когда...» — подумала Евгения.

Она не кончила, не воскликнула, как парижанка: «Негодяй!» Но презрение, хоть и не выраженное, было оттого не менее полным.

«...до свадьбы еще далеко: маркиз д'Обрион не отдаст дочери за сына несостоятельного должника. Я пришел сообщить Шарлю, как мы, его дядя и я, заботились о делах его отца и какими ловкими ходами нам удавалось до сих пор успокаивать кредиторов. У этого наглого мальчишки хватило совести ответить мне —целых пять лет денно и нощно отстаивавшему его интересы и его честь,— что *отцовские дела его не касаются!* Поверенный имел бы право потребовать с него тридцать— сорок тысяч франков гонорара—один процент с суммы долга. Но посмотрим! Он должен самым законным образом миллион двести

тысяч франков кредиторам, и я сделаю так, что его отца объявят несостоятельным. Я ввязался в дело, доверясь на слово старому крокодилу Гранде, и надавал обещаний от имени этой семьи. Если граф д'Обрион мало заботится о своей чести, то моя честь для меня весьма не безразлична. Поэтому я объясню кредиторам, в какое попал положение. Однако я слишком уважаю мадемуазель Евгению, с которой в лучшие времена мы думали породниться, и не хочу действовать раньше, чем ты поговоришь с нею об этом деле...»

Тут Евгения холодно вернула письмо, не дочитав его.

— Благодарю вас,— сказала она г-же де Грассен,— *мы посмотрим...*

— Сейчас у вас голос точь-в-точь, как у покойного отца,—сказала г-жа де Грассен.

— Сударыня, нам следует получить с вас восемь тысяч сто франков золотом,— напомнила ей Нанета.

— Совершенно верно. Будьте любезны пойти со мной, госпожа Корнуайе.

— Господин кюре,— сказала Евгения с благородным самообладанием, внушенным ей мыслью, которую она собиралась выразить,— было бы это грехом оставаться в состоянии девства, будучи замужем?

— Это вопрос совести, решение которого мне неизвестно. Если вы желаете знать, что думает об этом в своем компендиуме «De matrimonio» («О браке») знаменитый Санчес, я мог бы сказать вам это завтра.

Кюре ушел. Евгения поднялась в отцовский кабинет и провела там целый день в одиночестве, не пожелав сойти к обеду, несмотря на настояния и просьбы Нанеты. Она появилась только вечером, когда собрались обычные члены ее кружка. Никогда салон семейства Гранде не был так полон, как в этот вечер. Новость о возвращении и глупой измене Шарля распространилась по всему городу. Но как ни чутко было любопытство посетителей, оно осталось неудовлетворенным. Евгения приготовилась к этому и не дала проступить на спокойном лице своем ни единому из волновавших ее жестоких переживаний. Она с улыбкой на лице отвечала тем, кто хотел выразить ей участие грустным взглядом или словами. Она сумела также скрыть свое несчастье под по-

кровом любезности. Около девяти часов игра кончилась, игроки отходили от столов, рассчитываясь и споря о последних ходах виста, и присоединялись к кружку собеседников. В ту минуту, когда гости поднялись все разом, чтобы разойтись, произошло неожиданное событие, нашумевшее по всему Сомюру, а оттуда по округу и по четырем соседним префектурам.

— Останьтесь, господин председатель,— сказала Евгения г-ну Бонфону, увидя, что он взялся за трость.

При этом слове не оказалось никого в этом многочисленном собрании, кто бы не почувствовал волнения. Председатель побледнел и принужден был сесть.

— Председателю — миллионы,— сказала мадемуазель де Грибокур.

— Ясно, председатель де Бонфон женится на барышне Гранде!—воскликнула г-жа д'Орсонваль.

— Вот лучшая ставка за всю игру,— сказал аббат.

— Большой шлем,— сказал нотариус.

Каждый сострил, сказал свой каламбур. Всем представлялась наследница, возвышающаяся на своих миллионах, как на пьедестале. Драма, начавшаяся девять лет назад, подходила к развязке. Предложить перед лицом всего Сомюра председателю остаться — разве это не значило объявить, что он ее избранник? В маленьких городах приличия строго соблюдаются, и такого рода нарушение их равносильно самому торжественному обещанию.

— Господин председатель,— сказала Евгения взволнованным голосом, когда они остались одни,— я знаю, что́ нравится вам во мне. Поклянитесь мне оставить меня свободной на всю мою жизнь, не напоминать мне ни об одном из прав, какие женитьба дала бы вам на меня, и рука моя — ваша. О,— продолжала она, видя, что он становится на колени,— я не все сказала. Я не должна вас обманывать, сударь, я ношу в своем сердце неугасимое чувство. Дружба будет единственным чувством, каким я смогу одарить своего мужа: я не хочу ни оскорблять его, ни поступать против велений моего сердца. Но я отдам вам свою руку и свое состояние только при условии, что вы окажете мне одну огромную услугу.

— Вы видите, я готов на все.

— Вот полтора миллиона франков, господин предсе-

датель,— сказала Евгения, доставая спрятанный на груди ордер на получение ста акций государственного банка.—Поезжайте в Париж не завтра, не этой ночью, а сию минуту. Отправьтесь к господину де Грассену, узнайте у него имена всех кредиторов моего дяди, соберите их, уплатите все до одного оставшиеся после него долги,— капитал и пять процентов на него со дня долга до дня платежа; наконец, соблаговолите получить общую нотариальную расписку с соблюдением всех формальностей. Вы служите в судебном ведомстве, вам одному доверяюсь я в этом деле. Вы человек верный, порядочный. Опираясь на веру в ваше слово, пройду я через опасности жизни под защитой вашего имени. Мы оба будем снисходительны друг к другу. Мы знакомы так давно, мы почти родные,— вы не захотите сделать меня несчастной.

Председатель упал к ногам богатой наследницы, трепеща от радости и томления.

— Я буду вашим рабом,— произнес он.

— Получив расписку,— продолжала она, бросая на него холодный взгляд,— вы отнесете ее со всеми оправдательными документами моему кузену Гранде и передадите ему вот это письмо. Когда вы возвратитесь, я сдержу слово.

Председатель понял, что руку барышни Гранде получит только под влиянием оскорбленной любви, и он поспешил исполнить ее приказания с величайшей быстротой, чтобы как-нибудь не произошло примирения между влюбленными.

Когда г-н де Бонфон ушел, Евгения упала в кресло, заливаясь слезами. Все было кончено.

Председатель сел в дилижанс и на другой день вечером был уже в Париже. Наутро он отправился к де Грассену. Чиновник собрал кредиторов в конторе нотариуса, где хранились долговые обязательства. Заимодавцы явились все до одного. Хотя это были кредиторы, надо отдать им справедливость: они были точны. Здесь председатель де Бонфон от имени мадемуазель Гранде уплатил им должный капитал и проценты. Уплата процентов была одним из удивительнейших событий в парижском коммерческом мире того времени. Получив расписку, засвидетельствованную нотариусом, уплатив

де Грассену за его хлопоты пятьдесят тысяч франков, назначенные Евгенией, председатель отправился в особняк д'Обрионов и застал Шарля, когда он входил к себе в покои, удрученный объяснением с тестем. Старый маркиз только что заявил, что выдаст свою дочь за Шарля лишь в том случае, если все кредиторы Гильома Гранде будут удовлетворены.

Председатель прежде всего передал ему следующее письмо:

«Кузен, господин председатель де Бонфон по моей просьбе вручит вам расписку кредиторов в уплате им всех долгов моего дяди, а также расписку, которой я удостоверяю, что эти суммы получила от вас. До меня дошел слух о возможном объявлении банкротства. Я подумала, что сын банкрота, пожалуй, не мог бы вступить в брак с мадемуазель д'Обрион. Да, кузен, вы правильно рассудили о моем уме и моих манерах: нет во мне ничего светского. Ни расчеты, ни нравы света мне не знакомы, и в свете я не могла бы доставить вам те удовольствия, какие вы хотите там найти. Будьте счастливы, следуя общественным условностям, которым вы приносите в жертву нашу первую любовь. Чтобы сделать ваше счастье полным, самое большее, чем я могу вас одарить,— это честь вашего отца. Прощайте! Вам всегда будет верным другом ваша кузина

Евгения».

Председатель улыбнулся, услышав восклицание, от которого не мог удержаться этот честолюбец, получив в руки подлинный акт.

— Мы можем объявить друг другу о наших свадьбах,— сказал он Шарлю.

— А, вы женитесь на Евгении? Что же, очень рад, она хорошая девушка. Но,— продолжал он, вдруг пораженный блеснувшей мыслью,— значит, она богата?

— Четыре дня назад,— ответил председатель с насмешливым видом,— у нее было около девятнадцати миллионов, но сегодня у нее только семнадцать.

Шарль смотрел на председателя растерянно.

— Семнадцать... милл...

— Семнадцать миллионов, да, сударь. В общей сложности у нас — у мадемуазель Гранде и у меня—со вступ-

лением в брак будет семьсот пятьдесят тысяч франков дохода.

— Дорогой кузен,— сказал Шарль, несколько придя в себя,— мы сможем продвигать друг друга вперед.

— Согласен,— сказал председатель.—Вот еще ящичек, который я должен лично передать вам,—прибавил он, ставя на стол ларец с туалетными принадлежностями.

— Пожалуйста, дорогой друг,— сказала маркиза д'Обрион, входя и не обращая внимания на Крюшо,— не беспокойтесь нисколько о том, что вам сказал сейчас этот бедняга д'Обрион. Его сбила с толку герцогиня де Шолье. Повторяю, ничто не помешает вашей свадьбе...

— Ничто, сударыня,— ответил Шарль.— Три миллиона старых долгов моего отца вчера уплачены.

— Деньгами? — сказала она.

— Полностью, и капитал и проценты. Я восстановлю о нем добрую память.

— Какая глупость! — воскликнула маркиза.— Что это за господин? — спросила она зятя на ухо, заметив Крюшо.

— Мой поверенный,— тихо ответил он.

Маркиза презрительно кивнула г-ну де Бонфону и вышла.

— Мы уже продвигаем друг друга вперед,— сказал председатель, беря шляпу.— Прощайте, кузен.

«Эта сомюрская обезьяна издевается надо мной. Хочется мне воткнуть ему в живот стальную шпагу».

Председатель ушел.

Через три дня г-н де Бонфон, возвратясь в Сомюр, объявил о своей женитьбе на Евгении. Через полгода он был назначен членом судебной палаты в Анжер. Перед отъездом из Сомюра Евгения отдала переплавить золотые вещицы, бывшие так долго драгоценными для ее сердца, и вместе с восемью тысячами франков своего кузена пожертвовала их приходской церкви на дарохранительницу,— в этой церкви она так усердно молилась за него! С тех пор она жила то в Анжере, то в Сомюре. Супруг ее, выказавший преданность правительству в важных политических обстоятельствах, сделался председателем палаты, а через несколько лет — старшим

председателем. С нетерпением ждал он общих выборов, чтобы получить кресло в палате депутатов. Он помышлял уже о звании пэра, и тогда...

— Тогда, значит, король будет его кузеном? — говорила Нанета-громадина, г-жа Корнуайе, сомюрская гражданка, осведомленная хозяйкой о высоких званиях, ей предназначенных.

Однако г-ну председателю де Бонфону (он наконец отменил отцовскую фамилию Крюшо) не пришлось осуществить ни одного из своих честолюбивых планов. Он умер через неделю после избрания его в депутаты от Сомюра. Бог, видящий все и никогда не карающий понапрасну, наказывал его, без сомнения, за его расчеты и юридическую изворотливость, с какой он смастерил accurante Chruchot[1] свой брачный договор, по которому оба будущих супруга отдавали друг другу, *«в случае отсутствия детей, в полную собственность всю совокупность своего движимого и недвижимого имущества, ничего не исключая и не выделяя из него, освобождаясь даже от формальной описи, причем опущение вышеуказанной описи не может служить поводом для отвода их наследников или лиц причастных, ввиду того что упомянутая отдача в собственность...»* и т. д.

Эта концовка достаточно объясняет глубокое и постоянное уважение председателя к воле и одиночеству г-жи де Бонфон.

Дамы приводили в пример господина первого председателя как одного из деликатнейших людей, жалели его и часто доходили даже до порицания скорби и страстной любви Евгении, но так, как они умеют осуждать женщину,— с жесточайшей бережностью.

— Должно быть, госпожа председательница де Бонфон очень больна, что оставляет мужа в одиночестве. Бедненькая! Скоро ли она выздоровеет? Что у нее — гастрит или рак? Почему она не обратится к врачам? Она в последнее время прямо пожелтела. Ей следовало бы поехать в Париж посоветоваться с тамошними знаменитостями. Как может она не желать ребенка? Говорят, она очень любит мужа. Как при его положении не дать ему наследника? Знаете, ведь это ужасно! А если это из

---

[1] С помощью Крюшо *(лат.)*.

каприза, так уж заслуживало бы всякого осуждения... Бедный председатель!

Наделенная тонкой чуткостью, которая развивается у одинокого человека благодаря постоянным размышлениям и той исключительной зоркости, с какой он схватывает все, что попадает в поле его зрения, Евгения, приученная несчастьем и опытом последних лет все угадывать, знала, что председатель желал ее смерти, чтобы оказаться владельцем огромного состояния, еще увеличенного наследствами дяди-нотариуса и дяди-аббата, которых богу заблагорассудилось призвать к себе. Бедная затворница жалела председателя. Провидение отомстило за нее супругу, расчетливо и позорно-равнодушно оберегавшему, как свое крепчайшее обеспечение, безнадежную страсть, которой жила Евгения. Дать жизнь ребенку — не значило ли убить надежды эгоизма, радости честолюбия, лелеемые первым председателем? И вот бог бросил груды золота своей пленнице, равнодушной к золоту и стремившейся к небу, благочестивой, доброй женщине, которая жила святыми помыслами, втайне не переставая помогать несчастным.

Госпожа де Бонфон стала вдовою в тридцать шесть лет, с богатством, дававшим восемьсот тысяч ливров дохода, еще красивою, но как бывает красива женщина лет под сорок. У нее белое, свежее, спокойное лицо. Голос ее мягок и сдержан, манеры просты. В ней все благородные черты страдания, вся святость человека, не загрязнившего себя соприкосновением с житейской грязью, но также и сухость старой девы, и мелочные привычки, создаваемые узким провинциальным существованием.

Несмотря на восемьсот тысяч ливров дохода, она живет все так же, как жила раньше бедная Евгения Гранде, топит печь в своей комнате только по тем дням, когда отец позволял ей, затапливает камин в зале и тушит его, как полагалось по правилам, действовавшим в юные годы ее. Всегда одета, как одевалась ее мать. Сомюрский дом, без солнца, без тепла, постоянно окутанный тенью и исполненный меланхолии,— отображение жизни ее. Она тщательно собирает доходы и, пожалуй, могла бы показаться скопидомкой, если бы не опровергала злословия благородным употреблением своего богатства.

Основываемые ею богоугодные и благотворительные учреждения, убежище для престарелых и христианские школы для детей, богатая публичная библиотека ежегодно свидетельствуют против скупости, в какой иные упрекают ее. Сомюрские церкви обязаны ей многими украшениями.

Госпожа де Бонфон, в шутку называемая «мадемуазель», всем внушает благоговейное уважение. Это благородное сердце, бившееся только для нежнейших чувств, должно было, однако, подчиниться расчетам людского корыстолюбия. Деньгам суждено было сообщить свою холодную окраску этой небесной жизни и заронить в женщине, которая вся была чувство, недоверие к чувствам.

— Ты одна меня любишь,— говорила она Нанете.

Рука этой женщины врачует тайные раны всех семей. Евгения совершает свой путь к небу в сопровождении сонма добрых дел. Величие ее души скрадывает мелочность, привитую ей воспитанием и навыками первой поры ее жизни. Такова история этой женщины — женщины не от мира среди мира, созданной для величия супруги и матери и не получившей ни мужа, ни детей, ни семьи.

Несколько дней как заговорили о новом для нее замужестве. Сомюрцы заняты ею и маркизом де Фруафон, родня которого начинает обступать богатую вдову, как некогда делали это Крюшо. Говорят, что Нанета и Корнуайе держат руку маркиза, но в этом нет и тени правды. Ни Нанета, ни Корнуайе недостаточно умны, чтобы понять испорченность света.

Париж, сентябрь 1833 г.

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГОДИССАР

Посвящается графине де Кастри.

Коммивояжер, личность в древности неизвестная,— не является ли она одной из самых примечательных фигур, порожденных нравами нашего времени? Не предназначена ли она в определенных условиях стать знамением того великого перехода, который для людей наблюдательных соединяет эпоху, извлекающую выгоду из ценностей материальных, с эпохой, извлекающей выгоду из ценностей интеллектуальных? Нашему веку суждено сочетать господство индивидуальной силы, богатой своеобразными творениями, с господством силы единообразной, но обезличивающей, уравнивающей все, что она производит, выбрасывающей продукты во множестве и послушной единой мысли, которая выражает дух современного общества. Вслед за разгулом этого духа, вслед за предельными усилиями цивилизации, стремящейся сосредоточить воедино все богатства земного шара, не воцаряется ли обычно мрак варварства? Не является ли коммивояжер в понятии людей тем же, чем являются для них и для вещей дилижансы? Он перевозит их, заставляет передвигаться, сталкивает друг с другом; он черпает в средоточии света лучи и рассеивает их затем среди погруженного в спячку населения. А между тем этот человек-фейерверк — невежественный ученый, обманутый обманщик, неверующий священнослужитель, с апломбом рассуждающий о таинствах и догмах. Любопытная фигура! Он все видел, все знает, со всеми знаком. Пресыщенный пороками Парижа, он умеет

надеть на себя личину провинциального простодушия. Он звено, связующее деревню и столицу, хотя, по существу, он и не парижанин и не провинциал,— он путешественник. Он ни во что не вникает; людей и города знает лишь по названию; о вещах судит только по внешнему виду, ко всему прикидывает свою мерку — словом, взгляд его скользит по поверхности, не проникая в глубь вещей. Он интересуется всем, но его ничто не интересует по-настоящему. Балагур и сочинитель куплетов, он словно благоволит ко всем партиям, но в глубине души считает себя патриотом. Отличный актер, он умеет улыбаться то нежно, то самодовольно, то угодливо и, перестав улыбаться, вновь делается самим собой, возвращается к своему нормальному состоянию и отдыхает. Он обязан быть наблюдательным, иначе ему пришлось бы отказаться от своего ремесла. Разве не должен он видеть людей насквозь, угадывать их действия, их нравы, а главным образом их платежеспособность, чтобы не терять времени даром и сразу учесть шансы на успех? Привычка быстро принимать решения во всяком деле выработала из него настоящего «знатока»: он судит авторитетно обо всем, рассуждает о театрах Парижа, их актерах, об актерах провинциальных. Кроме того, он de actu et visu [1] осведомлен о пристойных и непристойных местах во Франции; в случае надобности он с одинаковой уверенностью укажет вам путь как к пороку, так и к добродетели. Красноречие его подобно струе горячей воды, которую, повернув кран, можно по желанию остановить; он тоже сразу останавливает или опять пускает в ход поток трафаретных фраз, которые льются непрерывно, действуя на его жертву словно моральный душ. Краснобай и весельчак, он курит, выпивает. Он носит брелоки, внушает уважение мелкому люду, в деревнях слывет за милорда, никогда не позволяет себя «облапошить» — словечко из его жаргона,— знает, когда похлопать себя по карману и звякнуть денежками, чтобы не приняли его за вора сугубо подозрительные служанки тех богатых домов, куда он сумел втереться. Присущая ему кипучая энергия, пожалуй,— самое незначительное качество этого человека-машины. Ни коршуну, камнем

[1] По опыту и наблюдениям *(лат.)*.

падающему на добычу, ни оленю, петляющему, чтобы сбить со следа охотников и собак, ни собакам, учуявшим дичь, не сравниться с ним по быстроте полета мысли, когда он предвидит «дельце», по ловкости, с которой он подставляет ножку сопернику, чтобы опередить его, по тому чутью, с каким он ощущает, вынюхивает, обнаруживает возможности для помещения своего товара. Какими же непревзойденными качествами должен обладать такой человек! И много ли найдется в любой стране этих дипломатов низшего ранга, этих глубокомысленных посредников, которые ораторствуют во имя коленкора, драгоценностей, сукон, вин и подчас оказываются куда изворотливее послов, ибо в большинстве случаев у тех нет ничего, кроме внешнего лоска. Никто во Франции не подозревает, какую невероятную силу непрерывно развивают вояжеры, которые бесстрашно парируют отказы и в самом захолустном городишке выступают представителями духа цивилизации и парижских изобретений, вступивших в единоборство с расчетливостью, невежеством или косностью провинции. Разве можно обойти молчанием этих замечательных тружеников, которые обтачивают умы людей, обрабатывая своим словом самые неподатливые глыбы, и похожи на неутомимых шлифовщиков, чей напильник сглаживает даже твердый порфир? Если вы желаете узнать всю власть слова и то высокое давление, какое оно оказывает на самые тугие, неподатливые кошельки, на те кошельки, что принадлежат засевшему в своей деревенской берлоге собственнику, то послушайте речь одного из тузов парижского финансового мира, ради выгоды которых ходят, стучат и трудятся эти мыслящие поршни паровой машины, именуемой куплей-продажей.

— Сударь,— говорил ученому экономисту директор-кассир-управляющий, главный секретарь и администратор одного из знаменитейших обществ по страхованию от пожара,— сударь, в провинции из общей суммы в пятьсот тысяч франков возобновляемых полисов добровольная подписка дает не более пятидесяти тысяч; остальные четыреста пятьдесят мы размещаем благодаря настойчивости наших агентов, которые являются к тем, кто просрочил взносы, и не отстают от них, стращая и подогревая их жуткими россказнями о пожарах, пока не-

плательщики не возобновят страховку. Таким образом, на долю красноречия, этого словесного потока, приходится девять десятых тех путей и способов, которыми мы пользуемся в нашей работе.

Говорить! Заставлять себя слушать,— да ведь это же все равно, что соблазнять? Страну, имеющую две палаты, и женщину, слушающую обоими ушами, одинаково можно считать погибшими. Ева и ее змий — вот извечный миф о повседневном факте, он родился вместе с миром и, возможно, с ним и умрет.

— После двухчасовой беседы клиент должен вам принадлежать целиком,— говаривал один отставной ходатай по делам.

Осмотрите коммивояжера со всех сторон. Вглядитесь в эту фигуру. Не забудьте ни оливкового редингота, ни плаща с сафьяновым воротником, ни трубки, ни рубашки из шертинга в голубенькую полосочку. Какое множество разнообразных натур можно обнаружить в этом персонаже, настолько самобытном, что он остается самим собой, куда бы ни втирался. Посмотрите! Что за атлет! Его арена — весь мир, его оружие — язык. Бесстрашный мореход, он отправляется в путь, имея в запасе всего лишь несколько фраз, намереваясь своим красноречием выловить пятьсот или шестьсот тысяч франков в полярных морях, в стране ирокезов или во Франции! Ведь ему надо изъять чисто моральным воздействием золото, запрятанное в провинциальных кубышках,— изъять его безболезненно! Охотой с гарпуном и факелом распугаешь провинциальную рыбешку, она ловится только вершой, неводом — самой безобидной снастью. Как же после этого без трепета представить себе тот словесный поток, который во Франции с самой зари низвергает свои водопады? Теперь вы знаете вид, а вот вам и особь.

Есть в Париже несравненный вояжер, образец этого типа, человек, предельно обладающий всеми качествами, свойственными природе его успехов. В его речи вы найдете одновременно и купорос и птичий клей; клей— для того, чтобы засосать, облепить свою жертву и приклеить ее к себе, а купорос, чтобы растворить самые твердые ее расчеты. Он специализировался на шляпах, но его талант и искусство опутывать людей снискали ему

столь громкую коммерческую славу, что парижские торговцы галантереей лебезили перед ним, только бы он соблаговолил взять на себя их поручения. Поэтому, вернувшись в Париж после своих победных походов, он проводил время в пирах и попойках; в провинции корреспонденты торговых домов заискивали перед ним; в Париже крупные фирмы его ласкали. Всюду его так привечали, чествовали, кормили, что позавтракать или пообедать одному было для него редким наслаждением. Он вел образ жизни владетельной особы, или, вернее, журналиста. Ведь он же был ходячей хроникой парижской торговли. Звался он Годиссаром, а его известность, всеобщее доверие, похвалы, которые ему расточались, снискали ему прозвище «прославленного». Всюду, где бы он ни появлялся,— в торговой ли конторе или в харчевне, в гостиной или в дилижансе, в мансарде или в кабинете банкира,— его встречали радостным возгласом: «А, вот он, наш прославленный Годиссар!» Не было еще на свете человека по осанке, манерам, физиономии, голосу и речи столь подходящего к своей фамилии[1]. Все улыбалось вояжеру, и вояжер улыбался всему. Similia similibus[2], он был сторонником гомеопатии. Каламбуры, раскатистый хохот, лицо веселого монаха, румянец францисканца, внешность в духе Рабле, одежда, тело, ум, повадки—все сливалось воедино, придавая всей его особе что-то подкупающее, некую приятную игривость. Бойкий в делах, благодушный шутник — словом, человек, любезный сердцу гризетки; он с изяществом взбирается на империал дилижанса; подает руку даме, помогая ей выйти из кареты; подсмеивается над шейным платком почтаря и продает ему шляпу; улыбается служанке, завладевая либо ее станом, либо ее чувствами, подражает за столом бульканью бутылки, надув щеку и щелкая по ней; умеет изобразить шипение пива, выдувая воздух сквозь зубы; стучит ножом по бокалам для шампанского, не разбивая их, и предлагает другим: «Ну-ка, попробуйте!»; он высмеивает робких пассажиров, опровергает мнения образованных людей, царит за столом и уписывает лучшие куски. Впрочем, как человек с твердой во-

---

[1] Годиссар (Godissart) — шутник, весельчак.
[2] Подобное [лечится] подобным *(лат.)*.

лей, он умел вовремя прекратить свои шутки и казался глубокомысленным, когда, отбросив окурок сигары, говорил, озирая город: «Посмотрим, что у этих людей в середке». Вот тут-то Годиссар превращался в самого тонкого, в самого хитроумного дипломата. Он умел держать себя администратором — у супрефекта, капиталистом — у банкира, верующим и верноподданным — у роялиста, обывателем — у обывателя; словом, всюду он был тем, кем ему полагалось быть, оставляя Годиссара за порогом и вновь воплощаясь в него при выходе.

До 1830 года прославленный Годиссар был верен галантерее. Предназначенные для удовлетворения большинства человеческих прихотей, разнообразные отрасли этой торговли дали ему возможность наблюдать извилины человеческого сердца, обучили тайнам завлекающего красноречия, способам развязывать шнурки самой тугой мошны, указали, как пробудить капризы женщин, мужей, детей, служанок и уговорить их осуществить свои причуды. Никто лучше его не владел искусством поманить торговцев выгодной сделкой и уйти как раз тогда, когда их аппетит достиг своей высшей точки. Исполненный благодарности к шляпному делу, он утверждал, что, обслуживая голову снаружи, он научился понимать то, что происходит внутри головы, он привык «околпачивать» людей, «садиться им на голову» и т. д. Его шутки о шляпах были неистощимы. Тем не менее после августа и октября 1830 года он оставил шляпное дело и галантерею, расстался с комиссиями по торговле предметами зримыми, сделанными руками человека, ради того, чтобы кинуться в самые возвышенные сферы парижской спекуляции. Он отказался от материи ради мысли, говорил он, от фабричных изделий — ради бесконечно более чистых продуктов ума. Это требует пояснения.

Известно, что переворот 1830 года возродил многие прежние идеи, которые ловкие дельцы попытались обновить. Говоря языком коммерческим, после 1830 года идеи превратились в ценности, и, как сказал некий писатель, достаточно разумный для того, чтобы ничего не печатать,— нынче больше воруют идей, нежели носовых платков. Быть может, мы еще увидим биржу идей, но уже и сейчас идеи — хорошие или плохие — котируются, подхватываются, ввозятся и вывозятся, продают-

ся, реализуются и приносят доход. За неимением на рынке идей дельцы стараются пустить в ход слова, придав им видимость идей, и живут этими словами, словно птички просяными зернышками. Не смейтесь! В стране, где ярлык, наклеенный на мешке, прельщает сильнее, нежели его содержимое, слово равноценно идее. Разве мы не наблюдаем, как издательства наживаются на слове «живописный», после того как литература убила слово «фантастический»? Вот почему казна почуяла возможность ввести налог на интеллект; она отлично сумела измерить плодоносное поле объявлений, зарегистрировать проспекты и взвесить мысль на улице Мира, в палате гербовых сборов. Превратившись в источник дохода, интеллект и его продукты, естественно, должны были подчиниться законам фабричного производства. И вот идеи, зачатые после попойки в мозгу какого-нибудь из тех на первый взгляд праздных парижан, которые, осушая бутылку или разрезая рябчика, дают моральные сраженья,— эти идеи на следующий же день после их интеллектуального рождения были предоставлены коммивояжерам с поручением искусно преподнести urbi et orbi[1], в Париже и в провинции, объявления и проспекты, на приманку которых, как на поджаренное сало, попадается в мышеловку, расставленную торговой конторой, провинциальная крыса, в просторечии именуемая то абонентом, то акционером, то корреспондентом, иногда подписчиком или патроном, но всегда и всюду дураком.

— Ну и дурак же я! — восклицал не один несчастный собственник, прельстившийся перспективой стать основателем чего-то, а в конечном счете основательно растрясший тысячу или тысячу двести франков.

— Все подписчики дураки, они не хотят понять, что для движения вперед в царстве интеллекта надо куда больше денег, чем для путешествий по Европе и т. д.,— говорит делец.

Итак, существует вечная борьба между отсталой публикой, отказывающейся платить парижские обложения, и сборщиками, которые, живя на то, что выручат, пичкают публику новыми идеями, шпигуют предприятиями, кормят проспектами, нанизывают ее на вертел лести и в

---

[1] Городу и миру *(лат.)*. В значении «всем и вся».

конце концов проглатывают под каким-нибудь новым соусом, в котором она захлебывается, одурманенная, как муха отравой. Действительно, чего только не делали во Франции после 1830 года, чтобы разжечь рвение и самолюбие «разумных и просвещенных масс»! Звания, медали, дипломы — своего рода орден Почетного легиона, выдумка для мучеников попроще,— следовали друг за другом. Наконец, все фабрики продуктов интеллектуальных изобрели себе на радость некий перец, особого рода возбуждающие пряности. И вот пошли премии, пошли досрочные дивиденды, пошло привлечение известных имен, объявленное без ведома тех несчастных знаменитостей, которые их носят и оказываются, таким образом, участниками большего числа предприятий, чем насчитывается дней в году, ибо эта кража имен законом не наказуется. Одновременно пошло и похищение идей, которые предприимчивые дельцы, подобные азиатским торговцам невольницами, вырывают из мозга, их зачавшего, еще не вполне созревшими, совлекают с них одежды и тащат пред очи своего остолбеневшего султана Шахабахама — жестокой толпы, которая, если они ее не позабавят, зарежет их без ножа, урезав им золотой паек.

Итак, это безумие нашего времени оказало свое воздействие и на прославленного Годиссара, и вот каким образом. Некое общество страхования жизни и капиталов, прослышав о его неотразимом красноречии, предложило ему неслыханно выгодные условия, и он согласился. Сделка совершилась, договор был подписан, и вояжер поступил на выучку к главному секретарю администрации, который просветил ум Годиссара, вскрыл перед ним тайны ремесла, обучил его профессиональному жаргону, разобрал всю механику дела, исследовал ту особую публику, которую ему придется обрабатывать, начинил его фразами, нашпиговал импровизированными ответами, снабдил запасом убедительных доводов, короче говоря, заострил кончик его языка, долженствующего производить операции над жизнью во Франции. Ученик вполне оправдал старания господина главного секретаря. Заправилы «Страхования жизни и капиталов» так горячо расхвалили прославленного Годиссара, окружили его таким вниманием, так выгодно обрисовали в высоких сферах банковской и интеллектуаль-

ной дипломатии таланты этого ходячего проспекта, что финансовые директора двух в ту пору знаменитых, а ныне уже покойных газет вздумали использовать его для сбора подписки. «Земной шар», орган сен-симонистов, и «Движение», республиканская газета, пригласили к себе в конторы прославленного Годиссара и предложили ему каждая по десяти франков с подписчика, если он привлечет их тысячу, и по пяти франков, если он уловит только пятьсот. Сделка была заключена, ибо работа для газеты не наносила ущерба работе для «Страхования капиталов». Тем не менее Годиссар, ссылаясь на чрезвычайные усилия памяти и ума, необходимые для досконального изучения этого сорта «товара» и приобретения умения рассуждать о нем должным образом, «так, чтобы не ударить в грязь лицом», как говорил он, потребовал компенсации в пятьсот франков за ту неделю, в течение которой он ознакомился с учением Сен-Симона. От республиканцев он ничего не потребовал. Прежде всего он и сам склонялся к республиканским идеям, единственно способным — согласно его, годиссаровской, философии,— установить разумное равенство; к тому же Годиссар был в свое время замешан в заговорах французских карбонариев, арестован, но за неимением улик выпущен; в общем, он заявил владельцам газеты, что после Июльских дней отрастил себе усы, и теперь ему не хватает только каскетки да длинных шпор, чтобы олицетворять собой республику. В течение недели он ходил по утрам в «Земной шар» начиняться сен-симонизмом, а по вечерам бегал в контору Страхового общества постигать тонкости финансового языка. Его способности, его память оказались столь редкими, что он смог отправиться в путешествие уже к 15 апреля — дата, в которую он ежегодно начинал свой поход. Два крупных торговых дома, напуганные понижением доходов, будто бы соблазнили честолюбивого Годиссара и уговорили взять на себя еще и их поручения. Король вояжеров великодушно согласился, приняв во внимание старую дружбу и обещанную ему громадную премию.

— Слушай, цыпочка моя, Женни,— говорил он, сидя в фиакре, хорошенькой цветочнице.

Все истинно великие люди любят, чтобы их тиранило слабое существо; для Годиссара таким тираном бы-

ла Женни; в одиннадцать часов вечера он вез ее домой из театра Жимназ, куда сопровождал в парадном туалете в ложу бенуара у авансцены.

— Как только вернусь, Женни, обставлю тебе комнату, да еще как. Заткнем рот сухопарой Матильде; нечего ей тыкать тебе в нос своими настоящими кашемировыми шалями, которые ей привозят курьеры русского посольства, своей позолоченной серебряной посудой и своим русским князем, на мой взгляд, отъявленным хвастунишкой. Я пожертвую на украшение твоей комнаты всех детей, которых сделаю в провинции.

— Вот это мило! — воскликнула цветочница.— И ты, чудовище, спокойно говоришь мне о том, что сделаешь детей... Уж не думаешь ли ты, что я это потерплю?

— Ты что, Женни, рехнулась?.. Это наш профессиональный жаргон!

— Ну и профессия, нечего сказать!

— Да ты выслушай. Если все время будешь говорить ты одна, то, конечно, всегда будешь права ты!

— А я и хочу всегда быть правой! Ты теперь уж совсем не стесняешься!

— Дай же мне договорить! Я взял под свое покровительство отличный замысел — журнал, который будут издавать для детей. Так вот, когда в нашем деле вояжеры завербуют в каком-нибудь городе, скажем, десять подписчиков на «Детский журнал», они говорят: «Я сделал десятерых детей»; так же вот и я, если наберу десять подписчиков на газету «Движение», скажу: «Сегодня я сделал десять «Движений»... Поняла?

— Час от часу не легче! Теперь ты еще и в политику ударился. Помяни мое слово, сидеть тебе в Сент-Пелажи, и я еще туда набегаюсь. Если бы мы только могли вообразить, чем мы рискуем, полюбив мужчину, то, ей-ей, предоставили бы вам, мужчинам, устраиваться как знаете. Ну ладно, завтра ты уезжаешь, так не будем поддаваться черным мыслям; все это глупости!

Фиакр остановился перед красивым, недавно построенным домом на улице Артуа, и Годиссар с Женни поднялись на пятый этаж. Здесь проживала мадемуазель Женни Куран, о которой шла молва, будто она тайно повенчана с Годиссаром, и вояжер не опровергал этого слуха. Чтобы поддерживать свою власть, Женни Куран

требовала от прославленного Годиссара тысячи забот, постоянно угрожая бросить его, если он пренебрежет хотя бы малейшим проявлением внимания. Годиссар должен был писать ей из каждого города, где останавливался, отдавать отчет во всех своих действиях.

— Сколько же потребуется детей, чтобы обставить мне комнату? — спросила она, сбрасывая шаль и усаживаясь у жарко пылающего камина.

— Я получаю по пяти су с подписчика!

— Замечательно! И этими пятью су ты думаешь обогатить меня? Разве только, если ты уподобишься Вечному Жиду в своих скитаниях да еще наглухо зашьешь карманы.

— Да ведь я, Женни, тысячи детей сделаю. Ты только подумай, у детей никогда не было своего журнала. А впрочем, и дурак же я! Толкую с тобой о коммерческих делах, а ты в этом ничего не смыслишь!

— Вот как! Ну, тогда, Годиссар, скажи, за что ты меня любишь, раз я так глупа?

— За то, что ты божественно глупа! Послушай, Женни. Видишь ли, если я сумею всучить «Земной шар», «Движение», страховку и модные товары, то вместо каких-то жалких восьми или десяти тысяч в год, которые я добываю своим горбом, исколесив всю страну, как настоящий Майе, я буду привозить по двадцати, по тридцати тысяч франков с каждой поездки.

— Расшнуруй-ка мне корсет, Годиссар, только поосторожней,— не дергай.

— Тогда,— продолжал вояжер, любуясь гладкой спиной цветочницы,— я стану акционером газеты, как Фино, один из моих друзей; он сын шляпочника, а теперь получает тридцать тысяч франков дохода и скоро станет пэром Франции! И подумать только, что какой-то там Попино... Боже мой! Ведь я забыл тебе сказать, что вчера господина Попино назначили министром торговли... Почему бы и мне не быть честолюбивым? Хе-хе, я отлично усвоил бы парламентскую болтовню и мог бы стать министром, да еще каким! Ну-ка, послушай!

— Господа,— начал он, опершись обеими руками на спинку кресла,— печать не орудие и не торговое предприятие. С политической точки зрения печать — это общественный институт. А мы здесь безусловно обязаны

смотреть на вещи с политической точки зрения, стало быть... (он перевел дух). Стало быть, нам предстоит обсудить, полезна ли печать, или вредна, следует ли поощрять ее, или преследовать, надо ли ее ограничить, или предоставить ей свободу,— вопросы существенные! Я полагаю, что не злоупотреблю драгоценным временем палаты, если рассмотрю положение печати и изложу вам все данные. Мы катимся в пропасть. Конечно, законы не смягчены, как полагалось бы...

— Каково? — спросил он, взглянув на Женни.— У всех ораторов Франция катится в пропасть; они утверждают либо это, либо упоминают о государственной колеснице, о бурях и о политическом горизонте. Ну как, правда, ведь я разбираюсь в любых воззрениях? У меня есть коммерческая сметка. А знаешь почему? Я родился в сорочке. Мать сохранила мою сорочку, я тебе ее подарю! Итак, скоро я приду к власти.

— Ты?

— А почему бы мне не стать бароном Годиссаром, пэром Франции? Ведь избирали же дважды господина Попино в депутаты от четвертого округа; он обедает с Луи-Филиппом! Говорят, Фино вот-вот станет государственным советником! Ах, если бы меня назначили послом в Лондон, я бы уж прижал англичан к стенке! Никогда и никто не обставлял еще Годиссара, прославленного Годиссара! Да, никогда и никто не провел и не проведет меня ни по какой части, будь то политика или не политика, тут или в ином месте. А пока что я должен целиком отдаться «Капиталам», «Земному шару», «Движению», «Детям» и галантерее.

— Попадешься ты с твоими газетами. Бьюсь об заклад, не успеешь доехать до Пуатье, как уже влипнешь!

— Хочешь пари, милочка?

— На шаль!

— Идет! Если я проспорю шаль, то вернусь к своей галантерее и шляпам. Но чтобы обставили Годиссара, да никогда этому не бывать!

И прославленный вояжер приосанился, гордо взглянул на Женни, засунул руку за борт жилета и повернул слегка голову в сторону, подражая наполеоновской позе.

— Ну, до чего же ты смешон! Какая тебя сегодня муха укусила?

Годиссар был мужчина лет тридцати восьми, среднего роста, плотный и даже несколько тучный, как человек, путешествующий не по способу пешего хождения, а обычно пользующийся дилижансом; лицо у него было круглое, как тыква, румяное, с правильными чертами и походило на те классические лица, коими скульпторы всех стран наделяют статуи Изобилия, Закона, Силы, Торговли и т. д. Его выступающее брюшко имело форму груши; несмотря на короткие ноги, Годиссар был ловок и подвижен. Он поднял полураздетую Женни и отнес ее на кровать.

— Молчите, «свободная женщина»! — сказал он.— Ты не знаешь, что такое свободная женщина, что такое сен-симонизм, антагонизм, фурьеризм, критицизм и неистовая эксплуатация,— так вот, это... словом,— это десять франков с подписчика, госпожа Годиссар!

— Честное слово, ты сходишь с ума, Годиссар!

— От тебя я с каждым днем все больше и больше без ума,— сказал он, бросая шляпу на диван.

На следующее утро Годиссар после обильного завтрака с Женни Куран отправился верхом по окружным центрам, особо рекомендованным его вниманию различными предприятиями, процветанию коих он посвятил свои таланты. Объездив за полтора месяца местность, лежащую между Парижем и Блуа, он задержался на две недели в этом последнем городе, где привел в порядок свою корреспонденцию и посетил окрестные базарные местечки. Накануне отъезда в Тур он написал мадемуазель Женни Куран следующее письмо, точность и прелесть которого не поддаются пересказу и которое, кстати говоря, свидетельствует о несомненной законности уз, соединяющих этих двух особ.

Письмо Годиссара к Женни Куран

«Дорогая моя Женни, боюсь, как бы ты не проиграла свое пари. Как и у Наполеона, у Годиссара есть своя звезда, но Ватерлоо у него не будет. При данных обстоятельствах я всюду одержал победу. Страхование капиталов идет отлично. От Парижа до Блуа я разместил около двух миллионов; но по мере того как я продвигаюсь в глубь Франции, люди становятся удивительно тупоумными, а значит, и миллионы гораздо более редки-

ми. Галантерея понемногу расходится. Это верные денежки. Простаки-лавочники отлично идут на мою испытанную удочку. В Орлеане я сбыл 162 кашемировые шали Терно. Право, не знаю, что они с ними будут делать; разве что накинут на спины своим баранам. А вот по части газет, черт возьми,— совсем другой коленкор! Господи боже мой! Ну и люди, намучаешься, прежде чем они запоют у тебя на новый лад! Пока я сделал всего шестьдесят два «Движения»! И это за весь мой путь, на сотню меньше, нежели шалей Терно в одном городе. Чертовы республиканцы никак не желают подписываться. Беседуешь с ними, они беседуют с тобой, разделяют твои взгляды, кажется,— вот-вот, уже договорились, что пора свергнуть все на свете, воображаешь, что хоть один подпишется! Черта с два! Если у него есть клочок земли, чтобы вырастить дюжину кочанов капусты, или лесок, где дерева хватит разве только на зубочистку,— так он сразу же начинает болтать об упрочении собственности, о налогах, доходах, возмещениях, о разном вздоре, и я только зря трачу время и красноречие на разговоры о патриотизме. Никудышное дело! Чаще всего «Движение» не движется. Я пишу об этом и моим доверителям. Меня это огорчает ввиду моих убеждений. Для «Земного шара» нужен другой народ. Начнешь говорить о новых учениях людям, которые как будто могут клюнуть на эту удочку, а они смотрят на тебя так, словно ты предлагаешь им сжечь собственные их дома. Уж я им твержу, твержу, что в этом будущее, правильно понятая выгода, что тут ничего не пропадет; что пора человеку прекратить эксплуатировать человека, а женщине пора перестать быть рабой, что надо добиться торжества великих провиденциальных идей и более разумного устройства общественного порядка, ну, словом, пускаю в ход весь запас моего потрясающего красноречия... Не тут-то было! Стоит мне раскрыть эти мысли, провинциалы закрывают свои шкафы, словно я собираюсь их обокрасть, и выставляют меня за дверь. До чего же они глупы! «Земной шар» провалился. Я им тогда же еще говорил: «Вы слишком прогрессивны. Вы идете вперед, это хорошо, но нужны результаты, провинция любит результаты!» Все же я сделал сто «Земных шаров», а, принимая во внимание, что здешние деревен-

ские башки никак не продолбишь,— это просто чудо. Я им наобещал столько всякой всячины, что, ей-богу, не знаю, как мои шары, шарики, шаруны, шаристы все это выполнят; но так как они мне сказали, что устроят мир на новый лад, гораздо лучше, чем теперь, то я опережаю события и проповедую — во имя десяти франков с подписчика. Один фермер из-за названия «Земной шар» решил, что речь идет о земле,— вот он у меня на один «Земной шар» и налетел. Этот клюнет уж наверняка, у него крутой лоб, а все, у кого крутые лбы,—идеологи. Ах, то ли дело «Дети»! От Парижа до Блуа я сделал две тысячи «Детей». Замечательное дельце! Тут много слов не требуется. Показываешь матери картиночку тайком от ребенка, но так, чтобы ребенку обязательно захотелось на нее посмотреть; ну, ребенок, конечно, на нее посмотрит и начнет тянуть маму за платье, пока не выклянчит себе журнала,— ведь у папы есть свой журнал. Мамино платье стоит двадцать франков, она не хочет, чтобы малыш его разорвал, а журнал стоит всего шесть франков,— есть расчет, вот вам и готова подписка! Замечательная штука, это же реальная потребность, ее место между вареньем и картинкой — двумя вечными потребностями детей. Ну и разбойники дети пошли: уже читают! Здесь, за табльдотом, я повздорил из-за газет и убеждений.

Я спокойно завтракал, сидя рядом с господином в серой шляпе, читавшим «Деба». Я подумал: «Вот когда надо бы испытать свое парламентское красноречие. Этот человек — приверженец королевского дома, попробуем-ка его обойти. Такая победа блестяще доказала бы мои министерские таланты». И вот я принимаюсь за работу. Начал с расхваливания его газеты,— издалека повел дело, верно ведь! Но мало-помалу я беру верх над собеседником, пуская в ход высокопарные фразы, замысловатые рассуждения — одним словом, все свои знаменитые эффекты. Меня слушали все, а один человек, у которого в усах было что-то от июльских событий, готов уже был клюнуть на «Движение». И дернула же меня нелегкая отпустить слово «дурак»! И тут-то эта монархистская шляпа, эта серая шляпа,— кстати сказать, шляпа скверная — лионская, полушелк-полубумага,— как закусит удила, как рассвирепеет. Я сразу принимаю ве-

личественный вид,— представляешь себе? И говорю: «Черт возьми, милостивый государь, да вы чудак! Если вы недовольны мною, я согласен дать вам удовлетворение. В Июле я дрался». «Хоть я отец семейства,— отвечает он,— но и я готов...» «Как, сударь, вы отец семейства!— восклицаю я.— Может, у вас и детки есть?» «Да, сударь». «Лет одиннадцати?» «Примерно». «Ну так вот, сударь, вскоре выйдет «Журнал для детей»: шесть франков в год, один номер в месяц, в два столбца, составленный литературными светилами, прекрасно изданный; плотная бумага, гравюры, исполненные метким карандашом наших лучших художников, настоящие индийские рисунки с невыцветающими красками». Затем я даю залп из всех орудий. Отец потрясен! Ссора закончилась подпиской.

«Только Годиссар способен на подобные фокусы»,— говорил тщедушный Ламар долговязому дурню Бюло, рассказывая об этой сцене в кафе.

Завтра я уезжаю в Амбуаз. Амбуаз я обработаю за два дня и напишу тебе уже из Тура, где попытаюсь помериться силами с деревней самой тупой в рассуждении ума и коммерции. Но, не будь я Годиссаром, мы их одолеем! Одолеем! Прощай, цыпочка! Люби меня по-прежнему, будь мне верна. Что там ни говори, а верность— одна из добродетелей свободной женщины. А кто тебя целует в глазки?

До гроба твой *Феликс*».

Спустя пять дней Годиссар покинул утром гостиницу «Фазан», где проживал во время своего пребывания в Туре, и отправился в Вувре, богатый и населенный округ, ибо полагал возможным извлечь выгоду из умонастроения тамошних жителей. Он ехал рысцой вдоль плотины, столько же думая о том, что будет говорить, сколько актер, уже сто раз сыгравший ту же роль. Прославленный Годиссар ехал, беззаботно любуясь окрестностями, и продвигался вперед, не подозревая, что в веселых долинах Вувре найдет свою гибель его коммерческая непогрешимость.

Здесь необходимо дать некоторые сведения относительно склада ума жителей Турени. Общительный, лукавый, насмешливый, иронический ум, которым пропи-

тана каждая страница творения Рабле, точно выражает туренский склад ума — ума острого, изысканного, каким и полагается ему быть в том краю, где так долго находился двор французских королей; ума пламенного, художественного, поэтического, сладострастного, но чьи первоначальные порывы быстро остывают. Мягкость воздуха, прелесть климата, известная легкость жизни и добродушие нравов скоро притупляют здесь восприимчивость к искусству, сужают даже самое широкое сердце, разъедают самую настойчивую волю. Пересадите туренца в другое место, и его природные дарования разовьются и породят великих людей — как это доказали в самых различных сферах деятельности Рабле и Санблансе, печатник Плантен и Декарт; Бусико, этот Наполеон своего времени, и Пинегрие, который расписал большинство витражей в соборах, затем Вервиль и Курье. Таким образом, туренец, столь выдающийся вне дома, у себя предается блаженной лени, как индеец, растянувшийся на циновке, или турок, возлежащий на диване. Он изощряется в насмешках над соседями, удовлетворяется этим и счастливо доживает свой век. Турень — это подлинное Телемское аббатство, столь восхваляемое в книге о Гаргантюа; здесь, как и в творении Рабле, можно найти весьма любезных монашенок, вкусные яства, воспетые этим писателем. Туренская лень поистине божественна, она нашла великолепное выражение в народной прибаутке: «Туренец, хочешь супа? — Да.— Принеси миску.— А я уже не голоден». Что же породило эту мягкую леность, эти легкие и приятные нравы? Не веселый ли хмель винограда, не гармоничная ли сладость самых прекрасных пейзажей во Франции, не спокойствие ли края, куда не проникал ни разу враг? На эти вопросы ответа нет. Поезжайте в эту французскую Турцию, и вы тоже будете жить там в праздности, созерцании, неге. Будь вы даже таким честолюбцем, как Наполеон, или таким великим поэтом, как Байрон, все равно сила неслыханная, непреодолимая заставит вас забыть о стихах и претворит в наивные мечтания ваши честолюбивые замыслы.

Прославленному Годиссару суждено было встретить в Вувре одного из местных шутников, чьи тонкие насмешки уязвляют лишь совершенством самой насмешки, и с

ним Годиссару пришлось выдержать жестокую схватку. Правы туренцы или нет, но только они очень любят получать наследство от родственников. Поэтому учение Сен-Симона в ту пору там особенно ненавидели и поносили, но так ненавидели и так поносили, как это умеют делать в Турени, с презрительной и озорной насмешкой, достойной страны веселых рассказов и шутливых проделок над соседями, с остроумием, которое день ото дня уступает место тому, что лорд Байрон называл «британским ханжеством». Остановившись в харчевне «Золотое солнце», принадлежащей Митуфле, старому гренадеру императорской гвардии, женатому на богатой владелице виноградников, и вверив хозяину свою лошадь, Годиссар, на свое несчастье, отправился к местному хитрецу, затейнику и острослову, которого взятая им на себя роль и природные свойства побуждали веселить своих земляков. Этот сельский Фигаро, некогда красильщик, был обладателем ренты в семь — восемь тысяч ливров, хорошенького домика на холме, пухленькой жены и цветущего здоровья. Уже десять лет он не знавал иных забот, кроме как ухаживать за огородом и за женой, подыскивать жениха для дочери, играть вечерком в карты, разузнавать интересующие его сплетни, строить каверзы во время выборов, воевать с крупными землевладельцами и угощать приятелей вкусными обедами, гулять по плотине, ездить за новостями в Тур и изводить священника; единственно, что составляло драму его жизни,— это дожидаться, когда же ему продадут, наконец, земельный участок, вклинившийся в его виноградники. Короче говоря, он жил туренской жизнью, жил, как живут в захолустном городишке. Впрочем, он пользовался влиянием среди местных жителей, возглавлял мелких собственников, жадных и завистливых, со вкусом подбирающих и разносящих выдумки и злословие об аристократии, низводящих все до собственного уровня, враждебных всем, кто выше их, и с великолепным спокойствием невежд даже презирающих таких людей. Г-н Вернье—так звали этого незначительного человека, столь значительного в своем городке — кончал завтракать, сидя между женой и дочерью, когда Годиссар появился в столовой, из окон которой виднелись Луара и Шер,— в одной из самых веселых вуврейских столовых.

— Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с самим господином Вернье? — спросил вояжер, изгибаясь с таким изяществом, словно спина у него была гуттаперчевая.

— Да, сударь,— ответил хитрый красильщик, окинув посетителя проницательным взглядом и сразу поняв, к какому типу людей он принадлежит.

— Я приехал, сударь,— продолжал Годиссар,— просить вашего просвещенного содействия и руководства мною в этом округе, где, как мне сказал Митуфле, вы пользуетесь огромным влиянием. Сударь, я направлен в департаменты, чтобы наладить предприятие чрезвычайной важности, основанное банкирами, которые хотят...

— Которые хотят нашими руками таскать каштаны из огня,— перебил, улыбаясь, Вернье, в свое время имевший дело с коммивояжерами и понимавший, к чему они клонят.

— Совершенно справедливо,— нахально ответил прославленный Годиссар.— Но вы, сударь, должны знать, раз уж вы столь проницательны, что можно заставить людей таскать для других каштаны только в том случае, если они видят в этом какую-то выгоду для себя. Прошу вас не смешивать меня с обыкновенными вояжерами, которые строят свой успех на хитрости и назойливости. Я уже не вояжер, сударь, но я был им когда-то и горжусь этим. Ныне я облечен чрезвычайно важной миссией, и люди понимающие признают во мне человека, отдавшего свои силы на просвещение родины. Соблаговолите выслушать меня, сударь, и вы убедитесь, сколь много приобретете от получасовой беседы, о которой я имею честь просить вас. Самые крупные банкиры Парижа принимают в этом деле настоящее, а не фиктивное участие, как это бывает в бесчестных аферах, которые я называю «мышеловками». Нет, нет, здесь совсем не то. Я бы никогда не согласился расставлять подобные ловушки для простаков. Нет, сударь, лучшие и наиболее уважаемые банкирские дома Парижа вошли в это дело в качестве заинтересованных и гарантирующих сторон...

И тут Годиссар выложил весь свой словесный товар, а господин Вернье продолжал его слушать с притворным интересом, что и ввело Годиссара в заблуждение. Но как только Вернье услышал слово «гарантия», он пе-

рестал обращать внимание на риторику вояжера; он обдумывал, какую бы сыграть с ним шутку, дабы избавить от этого вида парижских гусениц край, справедливо именуемый «варварским» теми дельцами, которым не удается там ничем поживиться.

В верхней части очаровательной долины, прозванной «Веселой долиной» за извилины и изгибы, которые возникают в ней на каждом шагу и становятся чем дальше, тем живописнее, все равно, идти ли вверх или вниз по этой красивой лощине, жил в окруженном виноградниками доме полусумасшедший человек по имени Маргаритис. Итальянец по происхождению, Маргаритис был женат, но бездетен; жена заботилась о нем с самоотвержением, заслужившим всеобщее признание. Несомненно, г-жа Маргаритис постоянно подвергалась опасности, живя бок о бок с человеком, у которого были разные причуды,— между прочим, он никогда не расставался с двумя длинными ножами и подчас грозился ее зарезать. Но кому не известно, с какой поистине трогательной самоотверженностью отдают себя провинциалы заботам о страждущих,— быть может, потому, что каждый осудил бы мать семейства, если бы она отправила ребенка или мужа в больницу на общественное попечение. Кроме того, кому не известно то отвращение, с каким провинциальные жители вносят плату в сто луидоров или тысячу экю, требуемую в Шарантоне и в лечебницах для душевнобольных. Когда кто-либо говорил г-же Маргаритис о докторах Дюбюиссоне, Эскироле, Бланше или других, она с благородным негодованием отвечала, что предпочитает оставить при себе и свои три тысячи франков и своего «старика». Поскольку непонятные прихоти, которые безумие внушало старику Маргаритису, связаны с ходом этой истории, необходимо упомянуть о самых примечательных из них. Стоило только пойти проливному дождю, как Маргаритис выходил из дома и разгуливал с непокрытой головой по своему винограднику. Дома он ежеминутно требовал газету; чтобы ему не перечить, жена или служанка подавали ему старую газету департамента Эндр-э-Луар; и за семь лет он ни разу не заметил, что читал один и тот же номер. Быть может, врач не без некоторого интереса подметил бы связь между увеличением спроса на га-

зету и атмосферическими изменениями. Излюбленным занятием сумасшедшего было проверять влияние погоды на виноградники. Обычно, когда у жены его бывали гости,— что случалось почти каждый вечер, так как сердобольные соседки приходили поиграть с ней в бостон,— Маргаритис молча, не шевелясь, сидел в углу. Но когда на часах в большом стоячем футляре било десять, он вставал с механической точностью заводной немецкой игрушки, с последним ударом медленно приближался к игрокам, бросал на них взгляд, подобный безжизненному взгляду греков или турок, изображенных на бульваре Тампль в Париже, и говорил: «Ступайте вон!» Иногда этот человек вновь обретал свой былой разум, и тогда он давал жене прекрасные советы по части продажи вин; но в эти периоды он становился и крайне несносным, воровал из шкафов сласти и тайком пожирал их. Подчас, когда приходили постоянные их гости, он отвечал на вопросы учтиво, но чаще всего бормотал что-то несвязное. Так, например, даме, спросившей его: «Как вы сегодня себя чувствуете, господин Маргаритис?»— он ответил: «Я побрился, а вы?..» «Не лучше ли вам, сударь?» — спросила другая, а он ответил: «Иерусалим, Иерусалим». Но обычно он тупо смотрел на гостей, молчал, и тогда жена говорила: «Старик мой сегодня ничего не смыслит». Два или три раза за пять лет, обычно в период равноденствия, случалось все же, что он вдруг свирепел от этого замечания, вытаскивал нож и орал: «Эта стерва меня бесчестит!» Впрочем, он пил, ел и совершал прогулки, как совершенно здоровый человек. И в конце концов на него перестали обращать внимание, словно он был мебелью. Среди прочих его чудачеств было одно, смысл которого никто не мог разгадать,— ибо с течением времени местные мудрецы принялись комментировать и толковать даже самые сумасбродные действия этого умалишенного. Он требовал, чтобы дома всегда был в запасе мешок муки и две бочки вина собственных виноградников, и не разрешал трогать ни эту муку, ни это вино. Но как только наступал июнь месяц, он с настойчивостью, свойственной сумасшедшим, начинал беспокоиться о продаже этого мешка муки и двух бочек вина. Обычно г-жа Маргаритис говорила ему, что продала обе бочки по невероятно высокой цене, и отдавала ему

деньги; он прятал их, и ни жене, ни служанке, как бы они за ним ни следили, не удавалось подсмотреть—куда.

Накануне того дня, когда Годиссар прибыл в Вувре, г-же Маргаритис было труднее чем когда-либо обмануть мужа, к которому, казалось, вернулся рассудок.

— Право, не знаю,— сказала она г-же Вернье,— как пройдет завтрашний день. Представьте себе, мой старик захотел поглядеть на свои заветные бочки. Он весь день меня поедом ел, так что пришлось показать ему две полные бочки. К счастью, у нашего соседа Пьера Шамплена оказались две непроданные бочки; по моей просьбе он прикатил их в наш погреб. И что же! Как увидел старик бочки, приспичило ему самому их продавать!

Как раз перед прибытием Годиссара г-жа Вернье рассказывала мужу о затруднительном положении, в котором оказалась г-жа Маргаритис. При первых же словах коммивояжера Вернье решил натравить его на старика Маргаритиса.

— Сударь,— сказал бывший красильщик, после того как Годиссар выпустил свой первый залп,— я не скрою от вас трудностей, с которыми на первых порах столкнется ваша затея. В нашей стороне большинство живет suo modo [1], в нашей стороне новая идея не привьется. Мы живем по старинке, как жили наши отцы, развлекаемся тем, что кушаем четыре раза на день, занимаемся тем, что обрабатываем виноградники и выгодно продаем вино. Коммерция у нас несложная, мы попросту стараемся продать свой товар подороже. И с этой проторенной дорожки мы не сойдем, и ни богу, ни черту нас с нее не спихнуть. Но я дам вам добрый совет, а добрый совет дороже денег. Живет в нашем городке бывший банкир, осведомленности которого я лично чрезвычайно доверяю; если вы заручитесь его поддержкой, то и я присоединюсь. Если ваши предложения действительно выгодны, если мы в этом убедимся, то на призыв господина Маргаритиса, за которым последует и мой призыв, откликнутся в Вувре двадцать богатых семейств, они раскошелятся и приобретут вашу панацею.

Услышав фамилию сумасшедшего, г-жа Вернье взглянула на мужа.

---

[1] По-своему *(лат.)*.

— Кстати, жена с соседкой как раз собираются навестить госпожу Маргаритис. Подождите немного, дамы вас проводят. Ты зайдешь за госпожой Фонтанье,— сказал старый красильщик, подмигнув жене.

Назвав самую смешливую, самую болтливую, самую ехидную из местных кумушек, он дал понять г-же Вернье, чтобы она заручилась свидетельницей, которая ничего не упустит и будет потом целый месяц потешать весь городок, рассказывая сценку между коммивояжером и сумасшедшим. Супруги Вернье так хорошо сыграли свою роль, что Годиссар не возымел ни малейшего подозрения и сразу попался в ловушку; он галантно предложил руку г-же Вернье и был убежден, что дорогой покорил обеих дам, которых старался ослепить остроумием, шутками и непонятными каламбурами.

Дом мнимого банкира находился у входа в «Веселую долину». Усадьба, называвшаяся «Ла-Фюи», ничем особенно не отличалась. В первом этаже была большая, обшитая деревом гостиная, по обе стороны которой расположены были спальни — старика и его жены. В гостиную вела прихожая, служившая столовой и смежная с кухней. Над первым этажом, лишенным внешней нарядности, обычно свойственной даже самым скромным жилищам Турени, помещались мансарды, куда вела наружная лестница, опирающаяся на один из выступов дома и покрытая навесом. Дом был отделен от виноградников садиком, заросшим жасмином, ноготками и бузиной. Вокруг двора расположились службы, необходимые в хозяйстве виноградарей.

Маргаритис, сидевший в гостиной у окна, в кресле, обитом желтым утрехтским бархатом, не встал при виде двух входящих дам и Годиссара: он думал о том, как бы продать свои две бочки вина. Это был сухопарый человек, с грушевидным черепом, лысым спереди и обрамленным редкими волосами сзади. Глубоко посаженные глаза, обведенные синевой; густые черные брови; тонкий, словно лезвие ножа, нос; выступающие челюсти и впалые щеки, вытянутое лицо — все, даже подбородок, чрезмерно длинный и плоский, все придавало его физиономии странное сходство с преподавателем риторики или с тряпичником.

— Господин Маргаритис,— обратилась к нему г-жа Вернье,— очнитесь! Этого господина направил к вам мой муж, выслушайте его внимательно. Бросьте ваши вычисления и потолкуйте с ним.

Услышав это, сумасшедший встал, взглянул на Годиссара и, указав ему на стул, сказал:

— Потолкуем, сударь.

Три женщины ушли в спальню г-жи Маргаритис, оставив дверь приоткрытой, чтобы слышать весь разговор и в случае надобности вмешаться. Не успели они усесться, как через виноградник прокрался г-н Вернье, попросил открыть окно и бесшумно влез в комнату.

— Вы, сударь,— сказал Годиссар,— занимались делами...

— Общественными,— ответил, прерывая его, Маргаритис.— При короле Мюрате я усмирил Калабрию.

— Вот так штука! Теперь он и в Калабрию попал,— шепотом заметил г-н Вернье.

— О, в таком случае,— продолжал Годиссар,— мы отлично договоримся.

— Я вас слушаю,— ответил Маргаритис, принимая осанку человека, который позирует живописцу для портрета.

— Сударь,— сказал Годиссар, играя ключиком от часов и машинально вращая его равномерными движениями, что крайне занимало сумасшедшего; по-видимому, именно поэтому он и сидел спокойно,— сударь, если бы вы не были человеком выдающегося ума... (тут сумасшедший поклонился), я ограничился бы тем, что изложил вам в цифрах материальные выгоды дела, психологические основания которого заслуживают того, чтобы вас с ним ознакомить. Послушайте! Не правда ли, из всех общественных сокровищ самое ценное — время? Экономить время—не значит ли это богатеть? Что же больше всего пожирает времени в жизни, как не тревога о том, что я называю похлебкой,— выражение вульгарное, но в данном случае меткое? Что может поглощать больше времени, чем невозможность представить гарантии тем лицам, у которых вы просите денег, когда, временно обеднев, вы богаты надеждой.

— Деньги,—вот и договорились,— вставил Маргаритис.

— Итак, сударь, я послан в разные департаменты компанией банкиров и капиталистов, которые заметили, как много люди с большим будущим теряют времени, а стало быть, и ума и производительной деятельности. И вот нам пришло в голову превратить для таких людей их будущее в капитал, выдать им векселя под их таланты, выдать векселя подо что?.. Опять-таки под упомянутое время и обеспечить эту ценность их наследникам. Здесь идет речь уже не о том, чтобы сэкономить время, а о том, чтобы придать ему ценность, выразить его в цифрах, перевести на деньги те его продукты, которые вы желаете получить в этом умозрительном пространстве, представляя те моральные качества, коими вы наделены и кои, сударь, являются движущими силами, как водопад, как паровая машина в три, в десять, в двадцать, в пятьдесят лошадиных сил. Ах, вот это прогресс, стремление к более совершенному порядку вещей, стремление, вызванное деятельностью нашей эпохи, по самому существу своему прогрессивной, как я и докажу вам, когда мы коснемся принципов более разумного согласования общественных интересов. Я объясню вам это на наглядных примерах. Оставим отвлеченное рассуждение, которое у нас принято называть математикой идей. Допустим, что вы не рантье, а художник, музыкант, артист, поэт...

— Я художник,— заявил сумасшедший как бы вскользь.

— Ну и отлично, раз вы так хорошо усваиваете мою метафору. Вы художник, у вас впереди прекрасное будущее, богатое будущее. Но я иду дальше...

Услышав эти слова, сумасшедший тревожно взглянул на Годиссара, словно боясь, как бы тот на самом деле не ушел, и успокоился только тогда, когда увидел, что тот сидит на прежнем месте.

— Вы даже еще ничто,— продолжал Годиссар,— но вы себя чувствуете...

— Я себя чувствую,— сказал помешанный.

— В душе вы говорите: я буду министром. И вот вы художник, вы артист, вы литератор, вы будущий министр, вы определяете в цифрах ваши надежды, вы устанавливаете на них тариф, вы оцениваете себя, предположим, в сто тысяч экю...

— Стало быть, вы принесли мне сто тысяч экю? — спросил сумасшедший.

— Да, сударь, и вы сейчас убедитесь в этом. Либо их обязательно получат ваши наследники в случае вашей смерти, ибо Общество обязуется выплатить им эти деньги, либо вы получите эту сумму благодаря вашим работам в области искусства, вашим удачным предприятиям, если вы останетесь в живых. Если вы ошиблись в своих расчетах, то можете начать все сызнова. Но поскольку вы установили — как я уже имел честь вам доложить — стоимость вашего умственного капитала,— ибо это умственный капитал, усвойте это хорошенько, умственный...

— Понимаю,— сказал сумасшедший.

— Вы подписываете страховой договор с администрацией, которая признает за вами ценность в сто тысяч экю, вашу ценность как художника...

— Я художник,— пробормотал сумасшедший.

— Нет,— продолжал Годиссар,— вашу ценность как музыканта, как министра, и обязуется выплатить их вашей семье, вашим наследникам в том случае, если смерть разрушит ваши надежды — эту, так сказать, похлебку, наваренную на умственном капитале. Таким образом, уплата премии будет достаточна, чтобы укрепить...

— Вашу кассу,—перебил его сумасшедший.

— Ну, естественно, сударь. Я вижу, вы в курсе дел.

— Да,— сказал сумасшедший,— я был основателем Земельного банка на улице Фоссе-Монмартр в Париже в тысяча семьсот девяносто восьмом году.

— Не вытекает ли отсюда,— продолжал Годиссар,— что страхуемые, дабы упрочить умственные капиталы, которые каждый за собой признает и себе приписывает, должны делать небольшой взнос — три процента, три процента в год? Таким образом, уплачивая пустяковую сумму, сущую ерунду, вы ограждаете свою семью от плачевных последствий вашей смерти.

— Но я жив,— возразил сумасшедший.

— Ах, да, и, весьма возможно, проживете еще долго! Вот возражение, чаще всего встречающееся, возражение самое обычное, и вы понимаете, что если бы мы его не предусмотрели, не изничтожили, то не были бы достойны быть... кем?.. Кто мы такие в конце концов? Бухгалтера огромной конторы умов. Сударь, я говорю это не

для вас, но мне всюду приходится встречать людей, претендующих на то, что они говорят что-либо новое, приводят какой-нибудь новый довод людям, которые поседели на этом деле. Честное слово, жалость берет глядеть на них. Но таков мир, не мне его переделывать. Ваше возражение, сударь, бессмысленно...

— Que'saco? [1] — спросил Маргаритис.

— Вот почему. Если вы будете жить и владеть некоторыми средствами, определенными в вашем страховом полисе и обеспечивающими на случай вашей смерти... следите внимательно.

— Я слежу.

— Так вот, вы преуспели в своих делах! Преуспели же именно благодаря страховому полису, ибо вы удвоили свои шансы на успех, освободившись от тревог за жену и детей, которых ваша смерть может ввергнуть в тяжелую нужду. Если же вы преуспели, значит, вы умножили свой умственный капитал, и по сравнению с этой прибылью страховка была пустяком, настоящим пустяком, сущим пустяком.

— Прекрасная мысль!

— Не правда ли, сударь? — продолжал Годиссар.— Я называю эту благотворительную кассу взаимным страхованием против нищеты... или, если хотите, учетом таланта. Ибо талант, сударь, это вексель, выданный природой гениальному человеку,— вексель, подчас очень долгосрочный... хе-хе...

— Великолепное ростовщичество,— воскликнул Маргаритис.

«Черт возьми! Да ведь он тонкая бестия, я в нем ошибся,—подумал Годиссар.— Надо будет подействовать на него более высокими соображениями, шуткой номер первый».

— Отнюдь нет, сударь,—громко воскликнул Годиссар,— для вас, который...

— Не выпьете ли вы стакан вина?—предложил Маргаритис

— Охотно,— ответил Годиссар.

— Жена, подай-ка нам бутылку того вина, которого у нас осталось две бочки. Вы здесь в самом сердце Вувре,—

---

[1] Что такое? *(итал.)*

сказал старик, указывая Годиссару на свой виноградник.—Виноградник Маргаритиса.

Служанка принесла стаканы и бутылку вина 1819 года. Старик осторожно налил стакан и торжественно подал Годиссару. Тот выпил.

— Вы меня провели, сударь,— сказал коммивояжер,—ведь это мадера, настоящая мадера!

— Еще бы,—сказал сумасшедший.—Недостаток вуврейского вина в том, сударь мой, что оно и не простое вино и не десертное; оно слишком благородно, слишком крепко; поэтому в Париже вам продают его за мадеру, подбавив в него водки. Наше вино настоящий ликер, многие парижские торговцы, когда наш урожай недостаточно хорош для Голландии и Бельгии, скупают у нас вино, разбавляют его вином парижских пригородов и делают из него таким образом бордоское вино. Но то, что вы пьете сейчас, сударь,—это королевское вино, лучшее, что есть в Вувре. У меня его две бочки, всего только две. Тот, кто любит тонкие вина, вина высокой марки, кто желает подавать к своему столу вино, не поступающее в продажу, как некоторые парижские семьи, гордящиеся своими винами, тот получает вино непосредственно от нас. Знаете ли вы кого-нибудь, кто...

— Вернемся к делу,— сказал Годиссар.

— Вот мы и подошли к нему, сударь,—заговорил опять сумасшедший.—Перед моим вином все вина капитулируют, а капитулировать имеет общий корень с капиталом,— кстати, о капиталах, хе-хе,— «caput» — голова, а мое вино в голову ударяет... все одно к одному.

— Таким образом,— продолжал Годиссар,— или вы реализуете ваши умственные капиталы...

— Я реализовал, сударь. Ну как, покупаете вы мои две бочки? О сроках платежей мы договоримся.

— Да нет,— возразил прославленный Годиссар,— я говорю о страховании умственных капиталов и операциях по страхованию жизни. Я продолжаю свои рассуждения...

Сумасшедший успокоился, принял прежнюю позу и опять уставился на Годиссара.

— Я говорю, сударь, что в случае вашей смерти капитал выплачивается вашей семье без всяких затруднений.

— Без затруднений.

— Да, если это только не самоубийство.

— Это дело кляузное.

— Нет, сударь. Ведь вы знаете, что самоубийство всегда легко установить.

— Во Франции — да,— согласился сумасшедший,— но...

— Но за границей?..—подхватил Годиссар.—Так вот, сударь, чтобы покончить с этим, я скажу, что естественная смерть за границей и смерть на поле брани не входят...

— Так что же вы в таком случае страхуете?.. Ничего! — воскликнул Маргаритис.— Мой Земельный банк основан был на...

— Как ничего, сударь? —перебил Годиссар.—Ничего? А болезнь, а неприятности, а нищета и страсти? Но не будем перечислять исключительные случаи.

— Да, не будем рассматривать эти случаи,— согласился сумасшедший.

— Каков же итог всего дела? — воскликнул Годиссар.— Вам, как банкиру, я в точных цифрах вычислю результат. Существует человек, перед ним будущее, он на верном пути, живет своим искусством, ему понадобились деньги, он просит их... Денег нет! Весь цивилизованный мир отказывает в деньгах этому человеку, который мысленно уже покорил себе весь цивилизованный мир и должен в будущем покорить его кистью, резцом, словом, мыслью, системой. Жестокая цивилизация! У нее нет хлеба для великих людей, которые сообщают ей блеск, эта золоченая сволочь кормит их только оскорблениями и насмешками... Выражение сильное, но я отнюдь не отказываюсь от него. Тогда этот непонятый великий человек приходит к нам; мы чествуем его как великого человека, мы с уважением приветствуем его, мы его выслушиваем, а он говорит: «Господа представители Общества страхования капиталов, моя жизнь стоит столько-то: я буду вам выплачивать такой-то процент... с произведений моего творчества...» Что же мы делаем?.. Тотчас же без всяких колебаний допускаем его к великолепному пиршеству цивилизации в качестве достойного сотрапезника...

— В таком случае надо вина...— вставил сумасшедший.

— Достойного сотрапезника... Он подписывает свой

страховой полис, получает наши бумажонки, наши жалкие бумажонки, которые, хоть они и ничтожные бумажонки, обладают все же большей силой, чем его гений. Действительно, если ему понадобятся деньги, то всякий, зная, что у него есть полис, одолжит ему денег. На бирже, у банкиров, везде и даже у ростовщиков он найдет кредит, потому что представит гарантии. Итак, сударь, ведь это же называется заполнить пробел в общественной системе! Но, сударь, это лишь часть операций, предпринятых Обществом страхования жизни. Мы страхуем должников по другой системе премий. Мы предоставляем пожизненные проценты из расчета, соответствующего возрасту, по шкале значительно более льготной, чем были до сих пор нарастающие пожизненные ренты, основанные на заведомо фальшивых таблицах смертности. Так как наше Общество имеет дело с обширным кругом людей, то владельцы пожизненной ренты не должны опасаться мыслей, которые омрачают их и без того печальную старость, а эти мысли неизбежно ожидают их, если ренту ему выплачивает частное лицо. Вы видите, сударь, у нас жизнь оценена во всех направлениях...

— Обсосана со всех сторон,—сказал старик,—но выпейте же стаканчик вина, вы вполне заслужили его. Если вы хотите, чтоб у вас был мед на языке, надо, чтоб у вас был мед и в желудке. Сударь, хорошо выдержанное вуврейское вино — это сущий мед.

— Что вы об этом думаете? — спросил Годиссар, осушая стакан.

— Очень хорошо, очень ново, очень полезно, но я предпочитаю учет земельных ценностей, который производили в моем банке на улице Фоссе-Монмартр.

— Вы совершенно правы, сударь,— ответил Годиссар,— но это уже тысячу раз пробовано и перепробовано, делано и переделано. У нас в данное время есть залоговая касса, которая дает ссуды под заклад недвижимости, широко предоставляя право выкупа. Но ведь это жалкий замысел по сравнению с упрочением надежд. Упрочить надежды, сконцентрировать, выражаясь языком финансовым, желания каждого разбогатеть, обеспечить ему выполнение этих желаний. Для этого необходима была наша эпоха, сударь, эпоха переходная, переходная и одновременно прогрессивная.

— Да, прогрессивная,— сказал сумасшедший.— Я люблю прогресс, особенно тот, который обеспечивает виноградникам хорошую погоду. В старое время...

— «Время»,— продолжал Годиссар, не вникая в слова Маргаритиса.— «Время», сударь, плохая газета. Если вы ее читаете, то мне вас жаль.

— Газета! — отозвался Маргаритис.— Еще бы, я страстный любитель газет. Жена! Жена! Где газета?— закричал он, повернувшись к спальне.

— Ну, сударь, если вас интересуют газеты, то мы с вами прекрасно договоримся.

— Да, но раньше, чем читать газету, признайтесь, что это вино...

— Восхитительно! — подтвердил Годиссар.

— Тогда давайте допьем бутылку.— Сумасшедший налил себе немного вина и наполнил стакан Годиссара.— Так вот, сударь, у меня две бочки этого вина. Если оно вам нравится и если это вам подходит...

— Вот именно,— подхватил Годиссар.— Столпы сенсимонистского учения просили меня снабдить их припасами, которые я... Но поговорим о их большой и прекрасной газете. Вот вы так хорошо разбираетесь в денежных операциях, вы поможете мне наладить это дело в вашем округе...

— Охотно,— сказал Маргаритис,— если...

— Понятно, если я куплю у вас вино. Кстати, это — отменное вино, сударь, густое вино...

— Из него делают шампанское, один парижанин приезжает за ним сюда, в Тур.

— Верю, сударь. «Земной шар», о котором вы слыхали...

— Я его вдоль и поперек знаю,— перебил его Маргаритис.

— Я был в этом уверен,— сказал Годиссар.— Сударь, у вас хорошая голова, башка, как у нас говорят, крепкая башка, лошадиная,— головы всех великих людей чем-то схожи с лошадиными. Можно быть величайшим гением и оставаться неизвестным. Такие шутки случаются довольно часто с теми, кто, несмотря на свои возможности, остается в тени, как это чуть не случилось с великим Сен-Симоном и с господином Вико, человеком выдающимся, который начинает выдвигаться, Вико идет

в гору. Я доволен. Тут мы переходим к теории и новой формуле человечества. Внимание, сударь...

— Внимание,— повторил сумасшедший.

— Эксплуатация человека человеком, сударь, должна была бы прекратиться с того дня, когда Христос — я не говорю Иисус Христос, а Христос — провозгласил всеобщее равенство людей перед богом. Но разве до сей поры это равенство не было самой жалкой химерой? А Сен-Симон есть дополнение Христа. Христос уже свой срок отслужил.

— И вышел в отставку? — спросил Маргаритис.

— Он отслужил свой срок, как и либерализм. Теперь перед нами нечто более важное: новая вера, свободное, индивидуальное производство, общественное устройство, при котором каждый будет получать справедливое общественное вознаграждение, соответственно своему труду, и не будет эксплуатироваться бездарными личностями, которые заставляют работать всех на пользу одного. Отсюда учение...

— А что будет с прислугой? — спросил Маргаритис.

— Прислуга так и останется прислугой, если она только на это и способна.

— А тогда какой же смысл в этом учении?

— О, чтобы судить об этом, сударь, надо подняться выше, расширить кругозор, и тогда вы будете иметь общую ясную картину человечества. Тут уж мы прямо попадаем в теорию Балланша. Известен ли вам господин Балланш?

— Еще бы, мы только это и знаем,— ответил сумасшедший, которому послышалось «баланс».

— Хорошо,— продолжал Годиссар.— Итак, если зрелище постоянно возрождающихся последовательных изменений одухотворенного земного шара вас трогает, увлекает, волнует, в таком случае, сударь, газета «Земной шар» — великолепное заглавие, четко определяющее ее назначение,— «Земной шар» — это ваш cicerone [1], каждое утро он будет разъяснять вам новые условия, при которых в ближайшее время должно осуществиться политическое и духовное изменение мира.

— Que' saco? — спросил старик.

---

[1] Проводник *(итал.)*.

— Я поясню вам свое рассуждение на наглядном примере,— продолжал Годиссар.— В детстве няньки толковали нам о серафимах, теперь же, в старости, нам нужны картины будущего. Эти господа...

— Пьют они вино?

— Да, сударь. Их дома поставлены на широкую ногу, на незыблемую ногу: великолепное общество, все знаменитости, блестящие приемы...

— Ну, что же,— сказал сумасшедший,— рабочие, которые разрушают, нуждаются в вине не менее тех, кто строит.

— Тем более, сударь, в том случае, когда одной рукой разрушают, а другой строят, как это делают апостолы «Земного шара».

— В таком случае им нужно вино, вуврейское вино, те оставшиеся у меня две бочки, триста бутылок за сто франков, сущие пустяки!

«Почем же выходит бутылка? —прикинул в уме Годиссар.— Ну-ка! Доставка, акцизная пошлина семи су не составят; выгодная сделка; они дороже платят за любые вина. Ну, теперь он у меня в руках,— решил Годиссар.— Ты хочешь сплавить мне вино, в котором я нуждаюсь, я тебя не упущу».

— Что же, сударь,— продолжал он,— когда люди спорят, то в конце концов они всегда договорятся. Поговорим начистоту. Вы пользуетесь большим влиянием в вашем округе?

— Еще бы,—сказал сумасшедший.— Я глава Вувре.

— Хорошо, вы вполне уяснили себе идею предприятия с умственными капиталами?

— Отлично.

— Вы измерили всю ширь «Земного шара»?

— Дважды, и притом пешком.

Годиссар не расслышал. Он, как человек уверенный в успехе, был погружен в свои мысли и слушал только самого себя:

— Действительно, принимая во внимание ваше положение, мне кажется, что вам в вашем возрасте нечего застраховывать. Но, сударь, вы же можете помочь мне застраховать тех лиц в округе, которые, то ли по своим личным качествам, то ли вследствие материального положения своих семейств, желали бы обеспечить себя. Таким

образом, если вы подпишетесь на «Земной шар» и поддержите меня вашим влиянием в округе, разрешив ссылаться на вас для привлечения капиталов в пожизненную ренту,— ибо в провинции питают пристрастие к пожизненной ренте,— то мы договоримся с вами о ваших двух бочках вина. Итак, подписываетесь вы на «Земной шар»?

— Идет.

— Поддержите вы меня среди влиятельных лиц округа?

— Поддержу.

— И...

— И...

— И я... Но вы подпишетесь на «Земной шар»?

— «Земной шар»—газета хорошая, пожизненная газета.

— Пожизненная, сударь? Ах, да, вы правы, она полна жизни, силы, сведений, можно сказать, напичкана сведениями, великолепно составлена, четкий шрифт, хорошие краски, прекрасная бумага. Это вам не дрянной товар, не бульварная газетка, от нее не «рябит» в глазах, это не дешевый шелк, который расползается от одного взгляда. Это газета добротная, над ее рассуждениями стоит призадуматься, она очень скрашивает досуг в деревенской глуши.

— Все это мне подходит,— сказал сумасшедший.

— «Земной шар» стоит пустяки, всего двадцать четыре франка.

— А это уже мне не подходит,— возразил Маргаритис.

— Сударь, я уверен, вы имеете внуков.

— Еще бы! — ответил Маргаритис, не расслышав реплики.

— Отлично! «Журнал для детей» — семь франков в год.

— Купите у меня две бочки вина, и я подпишусь на журнал для детей. Это мне подходит, прекрасная мысль. Умственная эксплуатация ребенка, разве не означает она эксплуатацию человека человеком? А?

— Вы все поняли, сударь,— ответил Годиссар.

— Я понял.

— Значит, вы согласны поддержать меня в округе?

— Да, в округе.

— Могу я ссылаться на ваше согласие?

— Можете.

— Итак, сударь, я покупаю у вас ваши две бочки вина за сто франков.

— Э, нет! За сто десять.

— Ну, хорошо, сударь, пусть будет за сто десять, но это для столпов учения, а для меня сто. Я устраиваю вам продажу вина, а вы мне за это даете комиссионные. Идет?

— А вы поставьте им сто двадцать. Большой вины не будет, если от продажи вина вы получите невинную прибыль.

— Прекрасный каламбур, не только складный, но и остроумный.

— Он и острый и умный, сударь.

— Что ни слово — острота, как у Николе.

— Да уж я таков,— ответил сумасшедший.— Хотите взглянуть на мой виноградник?

— С большим удовольствием,— ответил Годиссар.— Ваше вино прямо в голову ударяет.

И прославленный Годиссар вышел с Маргаритисом, который водил его по винограднику от отводка к отводку, от лозы к лозе. А три дамы и г-н Вернье могли тем временем вдоволь натешиться, наблюдая издали, как вояжер и сумасшедший спорили, жестикулировали, останавливались, вновь принимались ходить и оживленно о чем-то рассуждали.

— И зачем это наш старик увел его туда? — недоумевал Вернье.

Наконец Маргаритис и коммивояжер повернули и быстро пошли обратно, словно торопясь закончить какую-то сделку.

— Наш старик, видимо, здорово обработал парижанина,— сказал г-н Вернье.

Действительно, к великой радости Маргаритиса, прославленный Годиссар, усевшись у края ломберного стола, написал заказ на две бочки вина. Прочитав обязательство коммивояжера, г-н Маргаритис уплатил семь франков за подписку на «Журнал для детей».

— Итак, до завтра, сударь,—сказал прославленный Годиссар, играя ключиком от часов,— завтра я буду иметь честь прийти за вами. Вино же вы можете отпра-

вить в Париж по указанному адресу, и вам тотчас же будет уплачено за него.

Годиссар был нормандец и потому любил обоюдные обязательства. Он потребовал обязательства с г-на Маргаритиса, а тот, довольный, как всякий сумасшедший, которому удалось осуществить свою навязчивую идею, подписал, предварительно прочитав его, обязательство выдать Годиссару две бочки вина из подвала Маргаритиса. И прославленный Годиссар, приплясывая и напевая «Король морей, греби сильней!», отправился в харчевню «Золотое солнце», где в ожидании обеда натурально вступил в беседу с хозяином. Митуфле был прост и лукав, как большинство крестьян, но он никогда не смеялся шуткам, ибо был отставным солдатом, привыкшим шутить под грохот пушек и свист пуль.

— Какие у вас здесь живут дельные люди,— сказал Годиссар, прислонясь к косяку двери и закуривая сигару от трубки Митуфле.

— А вы кого имеете в виду? — спросил Митуфле.

— Конечно, людей, основательно подкованных в политических и финансовых вопросах.

— У кого же это вы были, если это не нескромный вопрос?—простодушно спросил трактирщик, ловко сплевывая сквозь зубы, как это время от времени обычно делают курильщики.

— У тонкой бестии, у некоего Маргаритиса.

Митуфле иронически и холодно взглянул на постояльца.

— Правильно, это человек тонкий и очень знающий, такого не всякий поймет.

— Еще бы! Он прекрасно разбирается в самых сложных финансовых вопросах.

— Да,— ответил трактирщик,— я всегда очень сожалел, что он сумасшедший.

— Как сумасшедший?

— Да так, сумасшедший, какими бывают все сумасшедшие, когда они сходят с ума,— ответил Митуфле.— Только он не опасен, и жена держит его дома. Так вы с ним поладили? — хладнокровно спросил безжалостный трактирщик.— Забавно.

— Забавно?— воскликнул Годиссар.— Как так «за-

бавно»? Что же это? Выходит, ваш господин Вернье подшутил надо мной?

— Так это он вас туда направил? — спросил Митуфле.

— Он.

— Жена, послушай-ка! — кликнул трактирщик.— И как это только Вернье пришло в голову направить господина Годиссара к Маргаритису!

— О чем же вы говорили с ним, уважаемый? — спросила трактирщица.— Ведь он сумасшедший!

— Он продал мне две бочки вина.

— И вы их купили?

— Купил.

— Так ведь на этом-то он и помешан: он продает вино, которого у него нет.

— Хорошо же! — воскликнул вояжер.— Прежде всего надо отблагодарить господина Вернье.

И, кипя негодованием, Годиссар поспешил к бывшему красильщику, которого застал в столовой потешающимся вместе с соседями над своей проделкой.

— Сударь,— закричал король коммивояжеров, испепеляя его взглядом,— вы шут и невежа, и если вы не хотите, чтобы я почитал вас ниже последнего тюремщика, а для меня эти люди хуже каторжников, то вы дадите мне удовлетворение, ибо вы оскорбили меня, сведя с заведомо сумасшедшим человеком. Слышите ли вы, что я вам говорю, господин красильщик Вернье!

Такова была обвинительная речь Годиссара, которую он подготовил, как трагик подготовляет свой выход на сцену.

— Как! — возразил Вернье, возбужденный присутствием соседей.—Вы воображаете, что мы не вправе подшутить над хлыщом, который приезжает к нам в Вувре, задирает нос и выманивает у нас наши денежки под тем предлогом, что мы якобы великие люди, художники, рифмоплеты и тем самым он приобщает нас к людям, не имеющим ни гроша за душой, к темным личностям, к тем, у кого ни кола ни двора. А чем мы это заслужили? Мы— почтенные отцы семейств. Является какой-то проходимец и предлагает подписаться на «Земной шар», на газету, первая заповедь которой, видите ли, не наследовать отцу с матерью. Ей-богу же, дядюшка Маргаритис говорит ку-

да разумнее. Впрочем, на что вы, сударь, жалуетесь? Вы ведь прекрасно договорились. Присутствующие могут подтвердить, что ни с одним другим жителем нашего округа вы не договорились бы лучше.

— Может быть, все это и прекрасно, но я, сударь, почитаю себя оскорбленным, и вы дадите мне удовлетворение.

— Если вам так угодно, сударь, то я тоже готов считать вас оскорбленным, но драться с вами не буду, потому что не вижу во всем этом деле достаточного основания для поединка. Ну и шутник же вы!

Услышав эти слова, Годиссар кинулся на красильщика, намереваясь дать ему пощечину, но бдительные вувреицы бросились между ними, и Годиссар только замахнулся и сдернул с красильщика парик, который сел на голову девицы Клары Вернье.

— Если вы не удовлетворены, сударь, то можете найти меня в гостинице «Золотое солнце», где я пробуду до завтрашнего утра, и я готов объяснить вам, что значит удовлетворение за обиду. Я, сударь, дрался в Июле.

— Ну и прекрасно, а теперь вы будете драться в Вувре, и как бы вам не загоститься здесь на более долгий срок, нежели вы предполагали.

Годиссар удалился, размышляя над последними словами, показавшимися ему дурным предзнаменованием. Впервые в жизни вояжер пообедал без удовольствия.

Ссора Годиссара и г-на Вернье взбудоражила весь городок. В этом благословенном уголке никогда и помина не было о дуэлях.

— Господин Митуфле, завтра я дерусь на дуэли с господином Вернье, у меня здесь нет знакомых, не согласитесь ли вы быть моим секундантом? — спросил Годиссар своего хозяина.

— Охотно,— ответил трактирщик.

Не успел Годиссар пообедать, как в гостиницу «Золотое солнце» пришли г-жа Фонтанье и помощник мэра, отвели к сторонке Митуфле и растолковали ему, как неприятно будет для всего округа, если кто-нибудь погибнет у них насильственной смертью; они обрисовали ему ужасное положение несчастной г-жи Вернье и заклинали Митуфле уладить дело так, чтобы спасти честь их городка.

— Я все улажу,— ответил лукавый трактирщик.

Вечером Митуфле принес Годиссару перо, чернила и бумагу.

— Что это вы мне принесли? — спросил Годиссар.

— Да вы же завтра деретесь,—ответил Митуфле,—я полагал, что вы пожелаете оставить какое-либо распоряжение или написать письмо; ведь у каждого из нас есть привязанности. О, не беспокойтесь, от этого не умирают. Ведь вы хорошо владеете оружием? Не хотите ли слегка потренироваться? У меня есть две рапиры.

— Что ж, пожалуй.

Митуфле принес рапиры и две маски.

— Итак, начнем.

Хозяин и постоялец стали в позицию.

Митуфле, когда-то обучавший молодых гренадеров владеть шпагой, сделал шестьдесят восемь выпадов, загнав Годиссара и прижав его к стене.

— Черт возьми! Вы здорово деретесь! — воскликнул запыхавшийся Годиссар.

— Господин Вернье дерется еще лучше.

— Черт возьми! В таком случае я буду драться на пистолетах.

— И правильно сделаете. Видите ли, если вы возьмете огромные седельные пистолеты и зарядите их до самого дула, то вы ничем не рискуете: получится отдача, вы промажете и разойдетесь с честью. Хотите, я все это вам устрою? А? Ей-богу же, глупо порядочным людям убивать друг друга из-за ерунды!

— А вы уверены, что мы промажем? По правде говоря, не хотелось бы убивать этого человека,— сказал Годиссар.

— Спите спокойно.

На следующее утро несколько побледневшие противники встретились у моста через реку Сизу. Шутник Вернье чуть не застрелил корову, которая паслась у обочины дороги в десяти шагах от него.

— О, вы выстрелили в воздух! — воскликнул Годиссар.

И противники обнялись.

— Сударь,— сказал вояжер,— ваша шутка была несколько резка, но зато забавна. Мне очень досадно, что я на вас накинулся, но я был вне себя. Я считаю вас человеком порядочным.

— Сударь,— ответил все еще бледный красильщик,— мы найдем вам двадцать подписчиков на «Журнал для детей».

— А если так, то почему бы нам не позавтракать вместе? — предложил Годиссар.— Почему бы людям, которые подрались, не договориться?

— Господин Митуфле,—спросил Годиссар, вернувшись в гостиницу,— нет ли у вас здесь судебного пристава?

— А зачем он вам?

— Я хочу послать вызов в суд дорогому господину Маргаритису, уж ему придется доставить мне две бочки вина из своего подвала.

— Но у него их нет,— воскликнул Вернье.

— В таком случае, сударь, это дело можно уладить, если он мне уплатит двадцать франков неустойки. Я не желаю, чтобы болтали, будто в вашем городке облапошили прославленного Годиссара.

Госпожа Маргаритис, напуганная возможностью судебного процесса, который, несомненно, должен был кончиться в пользу истца, поспешила принести двадцать франков милостивому вояжеру, кстати сказать, навсегда избавившемуся от желания заняться одним из самых веселых, но зато и неподатливых на новые веяния округов Франции.

Возвращаясь из поездки по югу Франции, прославленный Годиссар занимал переднее место в дилижансе Лафит-Гайяр, где его попутчиком был молодой человек, которого уже с Ангулема он поучал тайнам жизни, вероятно приняв его за птенца.

Когда подъезжали к Вувре, молодой человек воскликнул:

— Какой прелестный городок!

— Да, сударь,— ответил Годиссар,— но жители в этой местности невыносимы. Здесь вам пришлось бы драться на дуэли чуть не каждый день. Глядите, вот там...— он указал на мост через Сизу,— как раз три месяца назад у меня был поединок — я дрался на пистолетах с одним неистовым красильщиком, но... я его одолел!

Париж, ноябрь 1834 г.

СТАРАЯ ДЕВА

Г-ну Эжену-Огюсту-Жоржу Луи Миди де ла Гренре Сюрваль, из Королевского корпуса инженеров путей сообщения,— в знак сердечной привязанности посвящает его шурин

де Бальзак.

Многим, вероятно, случалось встречать в некоторых областях Франции одного, а то и нескольких шевалье де Валуа. Какой-то из них жил в Нормандии, другой обретался в Бу́рже, третий в 1816 году благоденствовал в городе Алансоне, четвертого, быть может, заполучил Юг. Но давать перечень этого валуаского племени здесь ни к чему. Все эти шевалье, среди которых, разумеется, кое-кто был таким же Валуа, как Людовик XIV— Бурбоном, знали друг о друге так мало, что решительно ни с кем из них не стоило говорить об остальных. Все они, впрочем, оставили Бурбонов в полном покое на троне Франции, ибо уж слишком хорошо известно, что Генрих IV стал королем из-за отсутствия наследника мужского пола в старшей ветви Орлеанского дома, именуемой де Валуа. Если и существуют де Валуа, то происходят они от Карла IX и Марии Туше, мужское потомство которого считалось угасшим до той поры, когда в лице аббата де Ротлена было получено доказательство противного, а род Валуа-Сен-Реми, отпрысков Генриха II, тоже прекратился на пресловутой Ламот-Валуа, замешанной в деле об ожерелье.

Все эти шевалье, если верить сведениям о них, были, подобно алансонскому, пожилыми дворянами, долговязыми, сухопарыми и без всяких средств. Шевалье буржский эмигрировал, туренский скрылся,— алансонский же воевал в Вандее и несколько шуанил. Почти всю свою молодость, до тридцати лет, он провел в Париже, где в разгаре любовных побед был настигнут революцией. Алансонский шевалье де Валуа, признанный высшей провинциальной знатью подлинным Валуа, отличался, подобно всем своим однофамильцам, превосходными манерами и производил впечатление человека великосветского. Ежедневно он обедал в гостях, а по вечерам играл в карты. Шевалье прослыл острословом благодаря одной из своих слабостей — он сыпал анекдотами о царствовании Людовика XV и о начале революции. Всякий, кто слушал эти истории впервые, находил, что они весьма недурно переданы. Впрочем, к чести шевалье де Валуа надо заметить, что своих собственных острот он никогда не повторял, равно как никогда не рассказывал о своих любовных похождениях, так что лишь ужимки и улыбочки очаровательным образом досказывали недосказанное. Этот славный человек, в качестве старого вельможи-вольтерьянца, даже не заглядывал в церковь, но к его безбожию относились на редкость снисходительно, принимая во внимание его приверженность королевскому трону. Какая-то особенная прелесть была в том жесте, вероятно заимствованном у Моле, каким он брал понюшку из старой золотой табакерки, украшенной портретом княгини Горицы, обольстительной венгерки, прославленной красавицы последних лет царствования Людовика XV. Об этой знаменитой чужестранке, привязанности своих юных дней, он всегда говорил с сердечным волнением; он дрался из-за нее на дуэли с г-ном де Лозеном. Шевалье, которому в описываемую пору было лет пятьдесят восемь, признавал за собою лишь пятьдесят и мог позволить себе эту невинную ложь, ибо из всех особенностей, которые выгодно отличают сухощавых блондинов, он все еще сохранял юношескую стройность стана, столь молодящую и женщин и мужчин. Да, знайте, вся жизнь — или все изящество, которое есть выражение жизни,— заключается в стане. К отличительным признакам шевалье надо также отнести до-

стойный удивления нос, каким наградила его природа. Нос этот резко делил его бледное лицо на две части, казалось, знать не знавшие друг о друге, из которых только одна краснела во время процесса пищеварения. Факт этот следует отметить в эпоху, когда физиология столько занимается изучением человеческого сердца: воспламенялась левая сторона. Хотя длинные и тонкие ноги, хрупкость и мертвенная бледность г-на де Валуа не свидетельствовали о крепком здоровье, тем не менее он ел за десятерых и утверждал — вероятно, желая оправдать свой чрезмерный аппетит,— что страдает недугом, который в провинции определяется термином *горячая печень*. Краснота одной щеки убеждала в этом всех; но в краю, где тридцать-сорок блюд следуют развернутым строем по четыре часа кряду, желудок шевалье казался благодатью, ниспосланной славному городу Алансону самим провидением. Согласно теориям некоторых медиков, жар слева указывает на любвеобильное сердце. Галантная сторона жизни шевалье подтверждала эти научные выводы, ответственность за которые, к великому счастью, не лежит на историке. Вопреки этим симптомам г-н де Валуа обладал натурой выносливой, следовательно живучей. Если печень его горела, то, по старинному выражению, пламень его сердца был не меньше. Пусть лицо шевалье было несколько морщинистым, пусть волосы его серебрились,— глаз сведущего наблюдателя уловил бы в этом печать страстей и следы наслаждений. Выразительными *гусиными лапками* и *дворцовыми ступеньками* складывались эти элегантные морщинки, что столь ценятся в царстве Киферы. Все в этом кокетливом шевалье обличало дамского угодника. Он так тщательно умывался, что приятно было глядеть на его щеки, как бы протертые волшебным эликсиром. Та часть черепа, которую никак уже не удавалось прикрыть волосами, блестела, как слоновая кость. Его брови, так же как волосы, подчиняясь искусной гребенке, сохраняли молодой вид. Казалось, кожа его, и без того такая белая, была еще убелена каким-то секретным снадобьем. Он не употреблял духов, но от него исходило как бы свежее благоухание молодости. Его барственные руки, холеные, как у щеголихи, привлекали взор розовыми, прекрасно отделанными ногтями. Словом, если бы

не внушительный, ни с чем не сравнимый нос, он был бы красавчиком.

Придется испортить этот портрет, открыв одну безделицу. Шевалье закладывал уши ватой и вдобавок носил бриллиантовые сережки — две негритянские головки, впрочем дивной работы; он очень дорожил ими и в оправдание этому странному для мужчины украшению заявлял, что стоило ему проколоть себе уши, как он избавился от мигреней — у него бывали мигрени. Мы не представляем шевалье каким-то совершенством; но не следует ли хоть сколько-нибудь прощать старым холостякам, у которых сердце пригоняет столько крови к голове, их очаровательные чудачества, основанные, возможно, на возвышенных тайнах? К тому же шевалье де Валуа искупал свои серьги столькими приятными чертами, что общество могло считать себя достаточно вознагражденным. В самом деле, он прилагал немало усилий, чтобы скрывать свои годы и нравиться знакомым. Надо отметить прежде всего его доведенную до крайности заботу о своем белье — единственное щегольство, которое порядочный человек может нынче позволить себе в одежде; у шевалье белье всегда отличалось тонкостью и белизной. А на платье его, отменно чистом, хотя и поношенном, не было ни пятнышка, ни складочки. Тем, кто замечал аристократически небрежное обращение шевалье со своим костюмом, такой аккуратный вид казался чудом; шевалье, правда, не дошел до того, чтобы скрести платье стеклом — утонченная выдумка принца Уэльского,— но в свое подражание началам высшей английской элегантности г-н де Валуа вкладывал собственную изысканность, которую не могли оценить обыватели Алансона. Не обязан ли свет почитать тех, кто ничего ради него не жалеет? Не было ли здесь столь трудно осуществимого воздаяния добром за зло, согласно евангельскому завету? Такая опрятность и выхоленность очень пристали к голубым глазам, зубам цвета слоновой кости, ко всей внешности белокурого шевалье. Однако в наружности этого отставного Адониса не было ничего мужественного, и казалось, что он поибегал к прикрасам туалета, чтобы скрыть губительные следы военных действий на службе галантности. Ко всему сказанному надо добавить, что голос шевалье как бы про-

тиворечил его характерной для блондина хрупкости. Если бы вы не присоединились к мнению некоторых наблюдателей сердца человеческого и не решили, что голосу шевалье надлежало быть сродни его носу, то вас поразили бы широта и богатства этого голоса. Не обладая мощным баритоном, он прельщал глуховатым, как у английского рожка, звучанием средних нот, ровных и мягких, сильных и бархатистых. Шевалье отказался от уморительного костюма, которого все еще придерживались некоторые сторонники монархии, и стал смело одеваться на современный лад; он всегда появлялся во фраке каштанового цвета с золочеными пуговицами, в коротких, полуоблегающих панталонах из матового шелка, с золотыми пряжками у колен, в белом жилете без всякой вышивки, с галстуком, повязанным без воротника,— отголосок старинной моды, от которого он еще и потому не отступался, что мог таким образом выставлять напоказ свою шею, достойную какого-нибудь благоденствующего аббата. На его черных лакированных башмаках красовались четырехугольные золотые пряжки, о каких до нынешнего поколения не дошло даже воспоминаний. Шевалье оставлял на виду две часовые цепочки, протянутые рядом от одного жилетного кармана к другому,— опять-таки отголосок моды восемнадцатого века, которым не пренебрегли щеголи времен Директории. Этот костюм переходного времени, соединявший в себе две эпохи, шевалье носил с грацией маркиза, секрет которой был утрачен на французской сцене в тот день, когда с подмостков сошел Флери, последний ученик Моле. Частная жизнь этого старого холостяка, казалось, была на виду у всех, а в действительности представляла загадку. Он занимал по меньшей мере скромную квартиру на улице дю Кур, в третьем этаже дома, принадлежавшего г-же Лардо, лучшей в городе прачке, стиравшей тонкое белье и постоянно заваленной работой. Этим и объясняется чрезвычайная изысканность белья шевалье. По несчастью, случилось так, что в один прекрасный день всему Алансону пришлось поверить, будто г-н де Валуа не всегда вел себя, как подобает дворянину, и на старости лет тайно обвенчался с некоей Цезариной, матерью ребенка, имевшего дерзость появиться на свет непрошеным.

— Она так усердно раздувала для него свои утюги, что в конце концов воспламенился и он сам,— съязвил тогда некий г-н дю Букье.

Эта ужасная клевета омрачила на склоне лет жизнь впечатлительного дворянина, тем более что, как покажет настоящее повествование, он пережил притом гибель давно лелеемой надежды, ради которой принес немало жертв. Г-жа Лардо сдавала шевалье де Валуа две комнаты в третьем этаже своего дома за умеренную плату — сто франков в год. Достойный дворянин, что ни день обедавший в гостях, возвращался домой только ночевать. Стало быть, расходовался он лишь на завтрак, неизменно состоявший из чашки шоколада, хлеба, масла и каких-либо фруктов, смотря по времени года. Он разводил огонь лишь в самые сильные холода, исключительно по утрам. От одиннадцати часов утра и до четырех часов дня он гулял, ходил читать газеты, делал визиты. Поселившись в Алансоне, шевалье сразу же честно признался в своей бедности, сообщив, что все его богатство заключается в шестистах ливрах пожизненной ренты, последних крохах былой роскоши, четыре раза в год высылаемых ему его бывшим стряпчим, у которого хранились соответствующие бумаги. И действительно, местный банкир каждые три месяца отсчитывал ему полтораста ливров, приходивших на имя шевалье из Парижа от некоего Бордена, последнего прокурора Шатле. Это стало широко известно по той причине, что шевалье просил первого, кому доверился, сохранить все в глубокой тайне. И г-н де Валуа извлек пользу из своего несчастья: в лучших домах Алансона ему было обеспечено место за столом и приглашение на все вечера. Его таланты игрока, рассказчика, человека любезного и благовоспитанного были настолько признаны, что вечер считали неудавшимся, если на нем не присутствовал этот единственный в городе тонкий ценитель обычаев света. Хозяева дома и дамы не могли обойтись без его одобрительной гримаски. Когда, бывало, старый шевалье скажет на балу какой-нибудь молодой женщине: «На вас сегодня восхитительное платье!», то эта похвала радовала ее больше, чем даже зависть соперницы. Никому, кроме господина шевалье де Валуа, не дано было с такой непринужденностью произносить некото-

рые выражения минувших лет. *Сердечко мое, сокровище мое, горлица моя, владычица моя* — все любовные ласкательные словечки 1770 года приобретали в его устах неотразимую прелесть; словом, только ему была дозволена некоторая выспренность. Его комплименты, на которые он, впрочем, был скуповат, завоевали ему благосклонность старушек; он льстил всем, даже чиновникам, до которых ему нужды не было. За игорным столом шевалье выказывал такт, какой был бы оценен везде; он никогда не сетовал на неудачу, хвалил игру своих противников, когда им не везло; нисколько не пытался поучать партнеров, показывая им, как лучше всего разыграть партию. Когда во время *сдачи* затевались скучные споры, шевалье жестом, достойным Моле, вытаскивал табакерку, устремлял взгляд на княгиню Горицу, с достоинством открывал крышку, разминал и встряхивал свою понюшку, растирал ее в порошок, насыпал горкой, как только карты бывали сданы, он набивал нос табаком и водворял княгиню в жилетный карман — неизменно в левый! Лишь дворянин *славного* века (в противовес веку *великому*) мог найти такой переход от презрительного молчания к насмешке, никому не понятной. Он садился за карты с горе-игроками — это было ему на руку. Подкупающе ровный нрав его давал многим повод говорить: «Я в восторге от шевалье де Валуа!» И речь и манеры — все у него, казалось, было выдержано в таких же светлых тонах, как и его внешность. Он старался никого не задеть — ни мужчин, ни женщин. Равно снисходительный к физическим изъянам и к недостаткам разума, он с помощью княгини Горицы терпеливо выслушивал людей, рассказывавших ему о мелких неурядицах провинциальной жизни — о недоваренном яйце, поданном к завтраку, о кофе, в котором свернулись сливки; о смехотворных подробностях, касающихся здоровья, о внезапных пробуждениях, снах, визитах. Для того чтобы разыграть сочувствие, у шевалье был про запас жалостливый взгляд и классическая поза, которые делали его прелестным слушателем; он вставлял: «*Ах! скажите на милость! ну, и что же?*» — всегда изумительно кстати. Так до самой своей смерти он не дал никому заподозрить, что, пока катилась эта лавина глупостей, он отдавался воспоминаниям о самых волнующих эпизодах сво-

его романа с княгиней Горицей. Подумал ли кто хоть раз об услугах, какие может оказать свету угасшая страсть, и о пользе любви как источнике общительности? Этим, пожалуй, объясняется, почему шевалье оставался баловнем целого города, несмотря на постоянную удачу в картах,— ибо, уходя из гостей, он всегда уносил с собою франков шесть выигрыша. Проигрыши, о которых он, надо заметить, громко трубил, случались у него очень редко. Все, кто знавал его, сходятся на том, что никогда и нигде, даже в египетском музее в Турине, им не попадалась такая очаровательная мумия. Нет другой страны во всем мире, где паразитизм облекался бы в столь пленительную форму. Не было случая, чтобы самое глубочайшее себялюбие выражалось у кого-либо другого в более приятном и безобидном виде, нежели у этого дворянина; оно было ничуть не хуже самоотверженной дружбы! Если кто-нибудь приходил к г-ну де Валуа с просьбой о небольшой услуге, требовавшей некоторых хлопот, то уходил он от славного шевалье совершенно влюбленным в него, а главное — уверенным, что тот бессилен помочь или даже испортил бы все дело своим вмешательством.

Чтобы объяснить загадку безбедного существования шевалье, историк, к которому Истина, эта жестокая подстрекательница, пристает с ножом к горлу, вынужден вспомнить, как недавно, после знаменательных и печальных июльских дней, Алансон узнал, что сумма выигрышей г-на де Валуа за каждые три месяца составляла около ста пятидесяти экю и что изворотливый шевалье отважился посылать самому себе пожизненную ренту, дабы не сойти за неимущего в краю, где любят основательность. Многие его друзья (его уже не было в живых, заметьте!) с пеной у рта оспаривали это обвинение, называли все это баснями, считая, что шевалье был благородным, достойным дворянином, оклеветанным либералами. К счастью для ловких картежников, среди зрителей всегда найдется кто-нибудь, чтобы их поддержать. Не решаясь оправдывать постыдное поведение, эти почитатели наотрез отрицают его; не приписывайте им упрямства,— попросту у этих людей есть чувство собственного достоинства: правительства подают им пример такой добродетели, хороня своих мертвецов по но-

чам и не служа торжественных молебнов, когда проиграна битва. Если шевалье позволил себе пуститься на уловку, которая, впрочем, снискала бы ему уважение шевалье де Грамона, улыбку барона де Фенеста, рукопожатие маркиза де Монкада, разве он из-за этого стал менее учтивым или менее остроумным гостем, не столь незаменимым партнером, не столь восхитительным рассказчиком — усладой всего Алансона? Чем, собственно говоря, этот поступок, вполне согласованный с законами свободной воли, противоречит изысканным дворянским нравам? Когда многие вынуждены заботиться о пожизненной ренте для посторонних, что может быть естественнее, чем платить ее добровольно своему лучшему другу? Но Лай умер... К концу каких-нибудь пятнадцати лет подобного образа жизни шевалье собрал десять тысяч и несколько сот франков. С возвращением Бурбонов один из его давнишних друзей, маркиз де Помбретон, бывший лейтенант черных мушкетеров, вернул ему, по словам шевалье, тысячу двести пистолей, которые некогда, отправляясь в эмиграцию, взял у него в долг. Это событие наделало шума и впоследствии приводилось в пример как довод против насмешек, в которых изощрялась газета «*Конститюсьонель*» по поводу того, как платят долги некоторые эмигранты. Если кто-нибудь заговаривал при шевалье о благородном поступке маркиза де Помбретона, у бедняги краснела даже правая сторона лица. Все радовались тогда за г-на де Валуа, державшего совет с людьми денежными, как ему лучше употребить эти крохи своего состояния. Доверившись судьбам Реставрации, он поместил деньги в бумаги государственного казначейства, когда рента шла по пятьдесят шесть франков двадцать пять сантимов. Господа де Ленонкур, де Наваррен, де Верней, де Фонтэн и Ла Биллардиер, которые, по словам шевалье, знали его, выхлопотали ему пенсию в сто экю из королевской казны и послали крест святого Людовика. Навсегда осталось неизвестным, какими путями удалось старому шевалье добиться, чтобы его титул и звание были, таким образом, торжественно освящены,— одно несомненно: грамота о пожаловании креста святого Людовика за его заслуги в католических армиях Запада давала ему право на чин полковника в отставке. Следовательно, кроме мнимой

пожизненной ренты, которая никого тогда не смущала, у кавалера была тысяча франков действительного годового дохода. Несмотря на такую перемену к лучшему, он остался верен своему образу жизни и своим привычкам; только красная ленточка украсила фрак каштанового цвета и, так сказать, довершила облик дворянина. С 1802 года шевалье запечатывал свои письма очень старой золотой печаткой, довольно скверно вырезанной, но по которой Катераны, д'Эгриньоны, Труавили могли видеть, что герб его имеет французский щит, *рассеченный вертикально на две равные части: на красном поле — двойные косые полосы и на красном поле — пять золотых, крестообразно сомкнутых вершинами, ромбоидальных фигур; верх щита черный с серебряным крестом; увенчан щит рыцарским шлемом, девиз — Valeo* [1]. При наличии такого благородного герба тому, кто слыл побочным отпрыском рода де Валуа, можно и должно было садиться во все королевские кареты на свете.

Многие завидовали безмятежному существованию старого холостяка, заполненному искусно сыгранными партиями в бостон, триктрак, реверси, вист и пикет, хорошо переваренными обедами, грациозно втянутыми понюшками табаку и мирными прогулками. Почти все в Алансоне полагали, что это существование свободно от честолюбивых замыслов и серьезных забот; но нет человека, чья жизнь была бы так проста, как это кажется его завистникам. В самых забытых деревеньках вы найдете человеческих моллюсков, коловраток, с виду безжизненных, но одержимых страстью к собиранию чешуйчатокрылых или к конхилиологии и готовых на все, чтобы раздобыть какую-нибудь бабочку или *Concha Veneris* [2]. У шевалье не только были свои ракушки, но он к тому же лелеял честолюбивое желание, осуществить которое старался с хитростью, достойной папы Сикста V; он задумал жениться на одной богатой старой деве — безусловно, намереваясь воспользоваться этим браком как ступенью в высокие придворные сферы. Вот в чем был секрет его царственной осанки и его пребывания в Алансоне.

Как-то, в среду, рано поутру, почти в самый разгар

---

[1] Гожусь *(лат.)*.

[2] Раковина Венеры *(лат.)*.

весны *шестнадцатого* года, как любил выражаться шевалье, в ту минуту, когда г-н де Валуа облачался в халат из полинявшей камки, зеленой в цветочках, он услышал, несмотря на вату в ушах, легкие девичьи шаги на лестнице. В дверь не замедлили осторожно постучать три раза; затем, не дожидаясь ответа, в комнату старого холостяка змейкой проскользнула красивая девушка.

— А? Это ты, Сюзанна? — сказал шевалье де Валуа, не прерывая начатого дела — правки бритвенного ножа о ремень.— С чем пожаловала, бесценная проказница?

— Я пришла сказать вам кое-что, и, думается мне, это вас и обрадует и огорчит.

— Не о Цезарине ли речь?

— Только мне и заботы, что о вашей Цезарине! — отрезала она с видом, в одно и то же время задорным, многозначительным и беспечным.

Прелестная Сюзанна, чья забавная затея должна была так сильно повлиять на судьбы главных действующих лиц этой повести, служила гладильщицей у г-жи Лардо. Несколько слов относительно топографии дома. Прачечная занимала весь нижний этаж. В маленьком дворике сушились на волосяных веревках вышитые носовые платки, воротнички, шемизетки, манжеты, рубашки с жабо, галстуки, кружева, вышитые платья, все тонкое белье лучших домов города. По числу шемизеток жены управляющего окладными сборами шевалье брался узнать все подробности ее похождений, ибо рубашки с жабо и галстуки были тут в каком-то соотношении с шемизетками и воротничками. Хотя и осведомленный благодаря этой своего рода двойной бухгалтерии о любовных интригах всего города, шевалье ни разу не совершил ни одной бестактности, ни разу не отпустил ни одной двусмысленной колкости, которая затворила бы перед ним двери какого-либо дома (а уж он ли не был остер на язык!). Поэтому можете считать г-на де Валуа человеком исключительно благопристойным, чьи таланты заглохли, как это часто бывает, в слишком замкнутом кругу. Одно только позволял себе шевалье (в конце концов, ведь он был мужчина!) — лукавый взгляд исподтишка, от которого женщин бросало в жар и в холод; тем не менее его все любили, убеждаясь, как глубока

его скромность, сколько в нем сочувствия к милым слабостям. Дверь против двери с шевалье помещалась старшая мастерица г-жи Лардо, ее правая рука, сорокапятилетняя старая дева, страшная уродина. Выше были только чердаки, где зимой сушилось белье. Каждая квартира, как и та, что занимал шевалье, состояла из двух комнат, одна — окнами на улицу, другая — во двор. Этажом ниже шевалье жил дед г-жи Лардо, бывший корсар по имени Гревен, некогда, при адмирале Симезе, служивший в Индии, ныне старый, глухой паралитик. Что до г-жи Лардо, занимавшей другую квартиру второго этажа, то она, при своей слабости к людям высокого звания, могла по отношению к шевалье сойти за слепую. Для нее г-н де Валуа был самодержцем, который что ни делает — все хорошо. Случись какой-нибудь из ее работниц согрешить и осчастливить шевалье, г-жа Лардо сказала бы: «*Он так достоин любви!*» Таким образом, хотя у дома этого, как у всех домов в провинции, были, что называется, прозрачные стены, однако они становились непроницаемы, словно в воровском притоне, когда дело касалось г-на де Валуа. Будучи по врожденной склонности поверенным любовных интрижек всей прачечной, шевалье никогда не проходил мимо ее дверей, большую часть времени распахнутых настежь, не подарив чего-нибудь своим «кошечкам»: шоколадки, конфетки, ленточки, кружевца, золотого крестика, всякого рода дешевых побрякушек, от которых гризетки без ума. И они обожали доброго шевалье. Женщины инстинктивно угадывают мужчин, которых привлекает к ним один шелест их юбки, которые счастливы одной их близостью и никогда не позволяют себе такую глупость, как спрашивать проценты со своей любезности. У женщин в этом отношении чутье собаки, которая в обществе людей направляется прямо к тому, кто души не чает в животных. У бедного шевалье де Валуа сохранилась от прежней жизни потребность оказывать нежное покровительство, что в былое время отличало знатного вельможу. Он держался здесь, словно в загородном домике для любовных свиданий, то и дело одаривал женщин — единственные существа, которые отлично умеют брать подарки, потому что всегда могут отдарить. Не странно ли, что в эпоху, когда школяры, едва покинув коллеж, занимаются изы-

сканиями по поводу какого-нибудь символа или роются в мифах, никто еще не объяснил, что породило жриц любви восемнадцатого века? Не турниры ли пятнадцатого века? Еще в 1550 году рыцари бились в честь своих дам; в 1750 году на прогулках в Лоншане они выставляли напоказ своих любовниц; нынче они пускают там на скачки своих лошадей; во все времена дворянин старался создать свой особый образ жизни. Загнутые носки на башмаках у щеголей четырнадцатого века — в сущности, то же, что красные каблуки франтов восемнадцатого века, а в роскоши содержанок 1750 года столько же показного, сколько в чувствах странствующего рыцарства. Но где уж было шевалье разоряться на любовницу! Вместо конфет, завернутых в банковые билеты, он любезно преподносил всего-навсего пакетик со сдобными сухариками. Однако, к чести Алансона будь сказано, принимая эти сухарики, им радовались больше, чем некогда радовалась Дюте, получая от графа д'Артуа золоченый туалетный прибор или карету. Гризетки поняли величие шевалье де Валуа, присущее ему и в ничтожестве, и свои домашние вольности с ним держали в глубокой тайне. Если в городе, в некоторых домах, их расспрашивали о шевалье де Валуа, они почтительно отзывались об этом дворянине, они умышленно старили его; послушать их, так шевалье был достойным старцем, ведущим поистине святую жизнь; зато наедине с ним они готовы были взобраться к нему на плечи, как попугаи. Шевалье любил узнавать подноготную городских семейств — неизбежное достояние прачек,— и девушки заходили к нему по утрам выкладывать все аланссонские сплетни; он называл молодых прачек своими газетами в юбках, ходячими фельетонами; г-ну де Сартину никогда не снились соглядатаи столь сметливые, обходящиеся так дешево, которые к тому же сохраняли бы столько благородства при столь проказливом образе мыслей. Заметьте, что за завтраком наш шевалье потешался, как счастливейший из смертных.

Сюзанна, одна из его любимиц, умная и честолюбивая, таила в себе задатки какой-нибудь Софии Арну; притом она была хороша, как самая красивая куртизанка, какую когда-либо Тициан призывал позировать на черном бархате, чтобы вдохновить свою кисть на созда-

ние Венеры; однако ее лицо, хотя и тонкое в очертаниях лба и глаз, грешило в нижней своей части грубостью линий. То была нормандская красота, свежая, яркая, округлая; то было рубенсовское тело, под стать мускулатуре Геркулеса Фарнезского, а не тело Венеры Медицейской, грациозной возлюбленной Аполлона.

— Ну-с, дитя мое, выкладывай, какие там у тебя дела или делишки!

Повсюду, от Парижа до Пекина, шевалье привлек бы к себе внимание своей отеческой нежностью к гризеткам; они напоминали ему куртизанок былых времен, тех пресловутых цариц Оперы, которые славились на всю Европу в течение доброй трети восемнадцатого столетия. Само собой понятно, что дворянин, живший во время оно среди этой породы женщин — позабытой ныне, как все великое, как позабыты иезуиты и флибустьеры, аббаты и откупщики,— усвоил себе невозмутимое добродушие, грациозную легкость обращения, снисходительность без примеси эгоизма, облик простого смертного, который принимал Юпитер у Алкмены,— облик громовержца, который, позволяя себя дурачить, посылает ко всем чертям превосходство своих перунов и готов промотать весь Олимп, расточая его на безумства, на пирушки, на сонмы женщин, только бы укрыться подальше от Юноны. Несмотря на поношенный халат из зеленой камки, несмотря на убожество комнаты, служившей приемной, где была жалкая вышивка вместо ковра и старые, засаленные кресла, где стены были оклеены трактирными обоями с рисунками: тут — профилями Людовика XVI и членов его семьи на фоне плакучей ивы, там — текстом высочайшего завещания, оттиснутым как бы на погребальной урне, короче говоря,— сентиментальными выдумками роялизма времен террора; несмотря на весь этот упадок, от шевалье, брившегося перед старым туалетным зеркалом, задрапированным плохонькими кружевами, веяло духом восемнадцатого века!.. Весь изящный разврат его молодости всплывал вновь; казалось, шевалье опять богат — триста тысяч долга и собственная двухместная карета у подъезда. В нем было величие Бертье, который во время разгрома под Москвой отдавал приказы батальонам уже не существовавшей армии.

— Господин шевалье,— игриво промолвила Сюзанна,— стоит ли говорить: кажется, достаточно взглянуть!

И она повернулась боком — так, чтобы подтвердить свои слова явными доказательствами. Шевалье, видавший виды — можете не сомневаться,— не отводя бритвы от горла, покосился правым глазом на гризетку и притворился, что понял.

— Хорошо, хорошо, голубка моя, мы сейчас потолкуем. А по-моему, ты забегаешь вперед.

— Но, господин шевалье, не дожидаться же мне, пока матушка меня прибьет, а госпожа Лардо выгонит? Если я не уберусь живехонько в Париж, мне вовек не выйти замуж. Здесь мужчины такие чудаки!

— Чего же ты хочешь, дитя мое? Общество меняется, женщины, подобно знати, являются жертвой назревающего страшного беспорядка. За политическими неурядицами приходят неурядицы нравственные. Увы! Скоро женщина совсем перестанет существовать (он вынул вату, чтобы привести в порядок уши); она много потеряет, окунувшись с головой в чувство; она испортит себе нервы и лишится того милого и непритязательного удовольствия, которого в наши дни желали не стыдясь и которому предавались без жеманства, тогда к истерике (он почистил свои серьги) прибегали только затем, чтобы поставить на своем, а теперь женщины сделают из нее болезнь, которую придется лечить настойкой из флердоранжа (он расхохотался). Наконец сам брак станет чем-то отменно скучным (он взял в руки щипчики для выдергивания волос), а это была такая веселая штука в мои годы. Времена Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого, запомни это, дитя мое, были последним «прости» прекраснейшим в мире нравам.

— Но, господин шевалье,— возразила гризетка,— тут речь идет о нравственности и чести вашей Сюзанны. Надеюсь, вы меня не оставите.

— Как можно! — воскликнул шевалье, заканчивая прическу.— Я скорее согласился бы лишиться своего имени!

— А! — проронила Сюзанна.

— Так послушай же, мордашка! — сказал шевалье, развалясь на подушках большого кресла, в старину но-

сившего название *дюшесс*, которое г-жа Лардо где-то откопала для своего жильца.

Он привлек к себе великолепную Сюзанну. Красотка не противилась — такая высокомерная на улице, двадцать раз отказывавшаяся от богатства столько же из гордости, сколько из презрения к мелочным расчетам своих алансонских поклонников! При этом Сюзанна так смело выставила перед шевалье мнимое доказательство своей греховности, что этот старый греховодник, который выпытал на своем веку немало всяких тайн у созданий, куда более коварных, с первого взгляда определил, как обстоит дело. Он отлично знал, что девушки не шутят с истинным бесчестьем; но он не захотел опрокинуть постройку, возведенную этой забавной ложью.

— Мы клевещем на себя,— сказал ей шевалье, усмехаясь с неподражаемо тонким лукавством,— мы добродетельны, как та библейская красавица, чье имя мы носим; мы можем смело выйти замуж; но нам не хочется прозябать здесь, мы жаждем попасть в Париж, где очаровательные создания богатеют, если они умны, а мы далеко не глупы. Нам хочется поехать в столицу наслаждений — взглянуть, не припасены ли там для нас юные шевалье де Валуа, карета, бриллианты, ложа в Опере. Русские, англичане, австрийцы понавезли туда миллионы, из которых кое-что маменька обеспечила нам в приданое, произведя нас на свет красавицей. Наконец, мы исполнены патриотизма, мы хотим помочь Франции забрать свои деньги из карманов этих господ. Хе-хе! Дорогой ты мой ягненочек-бесеночек, все это не плохо. Может быть, в твоем кругу и покричат немножко, но успех все оправдает. Одно плохо, деточка,— безденежье, а им больны и ты и я. Так как у нас ума палата, то мы задумали пустить в ход наше доброе имя, поддев старого холостяка; но этот старый холостяк, душа моя, знает как свои пять пальцев все женские уловки,— другими словами, тебе легче насыпать соли воробью на хвост, чем заставить меня поверить, что я виновник твоего несчастья. Поезжай в Париж, крошка, поезжай туда за счет тщеславия какого-нибудь холостяка, я не только не помешаю, я помогу тебе, ибо старый холостяк, Сюзанна,— это сущий клад, припасенный самой природой для молодой девушки. Но не впутывай меня во все это. По-

слушай, царица моя, ты ведь так хорошо знаешь жизнь; подумай, сколько ты причинила бы мне горя и вреда, ведь ты расстроила бы мои брачные планы в этом краю, где придают такое значение благонравию; допустим, что ты попала в беду,— хотя я отрицаю это, плутовка! — так ты же знаешь, милочка, у меня ничего нет за душой, я беден, как церковная крыса. Ах, если бы мне жениться на мадемуазель Кормон, если бы мне снова разбогатеть, я, конечно, предпочел бы тебя Цезарине. Ты всегда казалась мне тонкой, как листочек сусального золота, и созданной для любви знатного вельможи. Я настолько верю в твои способности, что штучки, которые ты тут разыгрываешь, нисколько не захватили меня врасплох, я этого ждал. Однако для девушки это смелый шаг. Чтобы так поступить, ангел мой, нужен незаурядный ум. И я уважаю тебя за это.

Подтверждая свои слова, он слегка провел рукой по ее щеке, подобно епископу, совершающему миропомазание.

— Но, господин шевалье, уверяю вас, что вы ошибаетесь и что...

Она покраснела, не смея продолжать: шевалье с одного взгляда угадал и раскрыл весь ее замысел.

— Да, понимаю, тебе хочется, чтобы я поверил! Ну что ж, верю! Но послушайся моего совета, ступай к господину дю Букье. Ведь, кажется, уже пять-шесть месяцев, как ты относишь ему белье? Ну, вот! Я не спрашиваю, что происходит между вами; но я его знаю, он самолюбив, холост, очень богат, у него две с половиной тысячи ливров ренты, а он не тратит и восьмисот. Если ты такая умница, как я предполагаю, то повидаешь Париж за его счет. Ступай, козочка, ступай, окрути его, главное, будь тонкой, как шелковинка, и на каждом слове делай двойную петлю с узлом: он из тех, кто боится скандала, и если он дал тебе повод ославить его, то... словом, ты понимаешь, пригрози ему, что обратишься с жалобой к дамам из благотворительного комитета. Кстати сказать, он честолюбив. Ну что ж! Мужчина может многого добиться с помощью жены. А разве ты недостаточно хороша, недостаточно умна, чтобы устроить благополучие своего супруга? Тьфу, пропасть! Да ты затмишь красою любую придворную даму.

Сюзанне, для которой последние слова шевалье были откровением, уже не терпелось побежать к дю Букье. Чтобы ее уход не показался чересчур поспешным, она, помогая шевалье одеваться, забросала его вопросами о Париже. Шевалье догадался, что его урок не прошел даром, и облегчил ей отступление, отослав ее к Цезарине с просьбой принести ему шоколад, который г-жа Лардо готовила для него каждое утро. Сюзанна упорхнула, спеша к своей жертве, чью биографию мы здесь и сообщим.

Дю Букье, принадлежавший к старинному алансонскому семейству, представлял собой нечто среднее между мелким буржуа и захудалым дворянином. Его отец служил по судебному ведомству, в должности уголовного судьи. Очутившись после его смерти без средств, дю Букье, как все разорившиеся провинциалы, поехал искать счастья в Париж. В начале революции он пустился в аферы. Вопреки стремлениям республиканцев, для которых непогрешимая революционная честность — излюбленный конек, дела тех лет были далеко не чисты. Игрок на бирже, политический шпион, поставщик, который заодно с синдиком общины конфисковывал имущество эмигрантов, чтобы самому потом купить и перепродать его, министр и генерал — все в равной мере погрязли в аферах. С 1793 по 1799 год дю Букье состоял подрядчиком по поставке провианта для французских армий. Тогда он и обзавелся великолепным особняком, стал одним из финансовых тузов, заключал денежные сделки на паях с Увраром, держал открытый дом и вел скандальное существование в духе того времени, жизнь Цинцинната, собирающего мешки со злаками отнюдь не в поте лица своего, жизнь, которая изобиловала уворованными солдатскими пайками и увеселительными домиками с многочисленными содержанками, где задавались роскошные празднества в честь членов Директории. Гражданин дю Букье был свой человек у Барраса, весьма хорош с Фуше, на короткой ноге с Бернадотом и, надеясь стать министром, переметнулся, очертя голову, к партии, которая вплоть до победы при Маренго втайне подкапывалась под Наполеона. Если бы не атака Келлермана, если бы не смерть Дезэ, г-н дю Букье стал бы великим государственным мужем. Он являлся

одним из высших чиновников негласного правительства, которое счастливая звезда Наполеона заставила в 1793 году убраться за кулисы (см. «Темное дело»). Неожиданная победа при Маренго, дерзко вырванная из рук врага, принесла гибель этой партии, которая уже держала наготове отпечатанные воззвания с призывом вернуться к системе Горы на тот случай, если бы первый консул не устоял. Твердо убежденный, что Наполеону не восторжествовать, дю Букье вложил бóльшую часть своих денег в игру на понижение курса и держал двух гонцов на месте военных действий; один из них ускакал с поля битвы в тот момент, когда победа была на стороне Меласа, но четыре часа спустя, ночью, примчался второй курьер с вестью о разгроме австрийцев. Дю Букье проклял Келлермана и Дезэ, но не посмел проклясть первого консула, который должен был ему миллионы. Резкий переход от расчетов на миллионные барыши к разорению лишил поставщика всех его умственных способностей; он на несколько дней превратился в идиота, так как настолько в своей жизни злоупотреблял всякими излишествами, что был не в силах выдержать этот громовой удар. Если бы государство ликвидировало свой долг поставщику дю Букье, это позволило бы ему кое-что получить; однако тут не помогли никакие подкупы, он натолкнулся на ненависть Наполеона ко всем тем поставщикам, которые делали ставку на его провал. Г-н де Фермон, так смешно прозванный *Фермон-Берегу-Карман*, оставил дю Букье без гроша. Безнравственность его частной жизни, связь этого поставщика с Баррасом и Бернадотом еще больше, чем его биржевые махинации, вызвали недовольство первого консула; когда, пустив в ход остатки своего влияния, дю Букье добился, чтобы его внесли в государственный список в качестве главноуправляющего окладными сборами по Алансону, Наполеон вычеркнул его имя. От всего громадного богатства у дю Букье уцелели лишь тысяча двести франков пожизненной ренты; этот вклад — чистейшая прихоть — спас его от нищеты. Не зная ничего о результатах ликвидации, кредиторы оставили ему тысячу ливров консолидированной ренты, но зато всем им было уплачено сполна после взыскания по долговым обязательствам и продажи особняка де Босеанов, принадлежавшего дю Букье.

Так спекулянт, едва избежавший банкротства, сохранил свое имя незапятнанным.

Человек, разоренный первым консулом и окруженный громкой славой, которую создали ему близость его с руководителями прежних правительств, его образ жизни и кратковременная власть, заинтересовал город Алансон, где под шумок господствовал роялизм. Дю Букье, разъяренный против Бонапарта, рассказывающий о слабостях первого консула, о мотовстве Жозефины и о не подлежащих разглашению эпизодах революционного десятилетия, был принят весьма благосклонно. Хотя к этому времени дю Букье было верных сорок лет, он держался тридцатишестилетним холостяком; при среднем росте он был тучен, как истый поставщик, у него были выпуклые икры, словно у какого-то молодцеватого прокурора, резкие черты лица, приплюснутый нос с волосатыми ноздрями, черные глаза, бросающие из-под густых бровей взор проницательный, как у Талейрана, правда, уже несколько потускневший; он сохранил республиканские бакенбарды, а свою темную шевелюру отпустил до плеч. Его широкие руки с пучками волос на суставах пальцев и вздутыми синими жилами свидетельствовали о великолепно развитой мускулатуре. К тому же у него была мощная грудь, как у Геркулеса Фарнезского, а плечи его могли бы служить опорой колеблющейся государственной ренте. Нынче такие плечи увидишь разве что в кафе Тортони. Этот избыток физической силы был превосходно определен одним выражением, употребительным в минувшем столетии, а теперь едва ли кому известным: согласно галантному стилю недавнего прошлого, дю Букье сошел бы за настоящего *возмстителя чужих недоимок*. Но, как и у шевалье де Валуа, у дю Букье тоже были симптомы, которые шли вразрез со всем его общим видом. Так, голос бывшего поставщика не соответствовал его мускулатуре: не то чтобы он походил на слабенький писк, какой подчас издает горло таких вот двуногих тюленей,— наоборот, это был голос сильный, но глухой, передать который может лишь звук пилы, врезающейся в мягкое сырое дерево; словом, голос загнанного спекулянта.

Дю Букье долго еще носил костюм, модный в дни его славы: сапоги с отворотами, белые шелко-

вые чулки, короткие панталоны из рубчатого сукна коричневого цвета, жилет а ля Робеспьер и синий фрак. Несмотря на то, что ненависть первого консула придавала ему особые преимущества в глазах провинциальной роялистской знати, г-н дю Букье так и не был принят в семи-восьми семействах, составлявших своего рода Сен-Жерменское предместье Алансона, куда был вхож шевалье де Валуа. Он попытался с места в карьер предложить руку мадемуазель Арманде, сестре одного из наиболее уважаемых в городе аристократов, который, по расчетам дю Букье, мог бы в дальнейшем очень помочь осуществлению его замыслов, ибо поставщик мечтал о блестящем реванше. Он был отвергнут. Дю Букье утешился, вознагражденный расположением, какое выказывал ему десяток богатых семейств, тех, что в былые годы изготовляли алансонские кружева, владели пастбищами или племенными быками, занимались оптовой торговлей полотном,— здесь ему могла подвернуться хорошая партия. Старый холостяк не шутя сосредоточил все свои надежды на перспективе удачного брака, и его разнообразные способности, казалось бы, давали ему основание рассчитывать на это, ибо он был не лишен известной обо-

ротистости финансового дельца, которая многим сослужила службу. Подобно разорившемуся игроку, руководящему новичками, дю Букье намечал спекуляции, как знаток дела рассуждал о средствах, о шансах, о способах осуществления сделок. Он слыл хорошим администратором; часто вставал вопрос, не выбрать ли дю Букье мэром Алансона; но этому мешали его памятные всем шашни с республиканскими правительствами, он ни разу не был принят в префектуре. Все сменявшие друг друга правительства, даже правительство Ста дней, отказывались утвердить его алансонским мэром — вожделенный пост, ибо от него, по-видимому, зависел брак дю Букье с одной старой девой, на которой он в конце концов сосредоточил все свои надежды.

Отвращение к императорскому правительству сначала толкнуло дю Букье в роялистскую партию, где он оставался, невзирая на постоянные оскорбления; но когда, с первым возвращением Бурбонов, он, не без участия префектуры, был исключен из роялистской партии, этот новый отпор внушил ему ненависть к королевской

династии, столь же глубокую, сколь затаенную, ибо бывший поставщик наружно сохранял верность роялизму. Он тайно возглавил либеральную партию Алансона, незримо управлял выборами и при помощи ловко скрытых подвохов и вероломных происков стал страшным бичом Реставрации. Как все, кому только и осталось, что жить рассудительно, дю Букье придавал своей злобе безмятежность ручейка, едва приметного на взгляд, но неистощимого. Его ненависть, подобно ненависти дикаря, была так тиха, так терпелива, что вводила врага в заблуждение. Никакая победа не могла насытить его месть, которую он вынашивал целых пятнадцать лет, даже июльские дни 1830 года не были для нее достаточным торжеством.

Шевалье де Валуа не без умысла направил Сюзанну к дю Букье. Либерал и роялист разгадали друг друга, несмотря на то, что с великим искусством скрывали от всего города свои одинаковые намерения. Два старых холостяка были соперниками. Оба они составили себе план женитьбы на той самой девице Кормон, которую г-н де Валуа упомянул в разговоре с Сюзанной. Оба, прикрывая свои замыслы напускной безучастностью, подстерегали случай прибрать к рукам приданое старой девы. Так что даже если бы этих холостяков не разделяло несходство их политических симпатий, то одно лишь соперничество сделало бы их врагами. Люди принимают окраску той эпохи, которая их создала. Мужи эти подтверждали правильность данной аксиомы противоположностью своей исторической окраски, отмечавшей их лица и речи, их взгляды и костюмы. Один — крутого нрава, энергичный, размашистый и порывистый в движениях, с грубой, отрывистой речью, смуглый, темноволосый, темноглазый, с виду грозный, в действительности бессильный, как бунт,— был истинным порождением Республики. Другой — мягкий и учтивый, элегантный, холеный, стремящийся к намеченной цели при помощи медленно, но безошибочно действующих средств дипломатии, неизменно тактичный — был воплощением всех свойств старинного царедворца. Эти два недруга встречались почти каждый вечер на одном и том же поле боя. Шевалье вел войну благодушно, по-рыцарски, а г-н дю Букье церемонился меньше, однако пребывал в

рамках благопристойности, установленной светом, ибо ему нисколько не улыбалось быть выбитым из занятой позиции. Они-то видели друг друга насквозь. Но в городе, несмотря на свойственную провинциалам удивительную способность к выслеживанию, которую они обращают на все, даже на самые незначительные мелочи окружающей жизни, никто не заподозрил соперничества между этими двумя женихами. Шевалье был в более выгодном положении: он никогда не просил руки мадемуазель Кормон, тогда как дю Букье, потерпев фиаско в самом именитом доме края, примкнул к числу искателей ее руки и получил отказ. Но, очевидно, шевалье приписывал своему сопернику еще довольно большие шансы на успех, если нанес ему сильный удар из-за угла таким отравленным и отточенным клинком, каким была Сюзанна. Шевалье забросил лот в воды дю Букье и, как это скоро будет видно, не ошибся ни в одном из своих предположений.

Сюзанна понеслась, не чуя под собою ног, с улицы дю Кур, по улицам Порт де Сеэз и дю Беркай, на улицу Синь, где дю Букье пять лет тому назад приобрел провинциальный домик, сложенный из серого песчаника, который похож на нормандский гранитный бут или бретонский сланец. Бывший поставщик устроился комфортабельней кого бы то ни было в городе, ибо у него от прежнего великолепия уцелела кое-какая мебель; но под неприметным воздействием захолустного быта померк блеск павшего Сарданапала. Следы былой роскоши в его доме были так же уместны, как драгоценная люстра на гумне. И в крупном и в мелком здесь не хватало того, что связывает в одно целое все творения божеских и человеческих рук,— гармонии. На прекрасном комоде стоял кувшин для воды с крышкой — из тех кувшинов, что можно увидеть только поблизости от Бретани. Пол был устлан чудесным ковром, но на окнах пестрели разводами занавески из дешевого набивного коленкора. Камин из грубо разрисованного камня был совсем не под стать превосходным часам, посрамленным к тому же соседством жалких подсвечников. Лестница, по которой все поднимались не обтирая ног, не была окрашена. Наконец двери, аляповато расписанные местным маляром, оскорбляли глаз кричащими красками. Подобно всей эпо-

хе, представителем которой был дю Букье, дом этот являл собой беспорядочную груду всякого дрянного хлама и изумительных ценностей. Дю Букье, который считался человеком зажиточным, вел, как и шевалье, паразитический образ жизни; а тот всегда богат, кто не тратит своего дохода. Вся челядь его состояла из одного деревенского мальчишки, своего рода Жокриса, порядком бестолкового, не скоро приспособившегося к требованиям дю Букье, который обучил его, точно орангутанга, натирать полы, сметать пыль с мебели, чистить обувь и одежду, а по вечерам, когда дю Букье бывал в гостях, приходить за ним, в пасмурную погоду — только с фонарем, в дождливую — еще и с деревянными башмаками. Как это свойственно некоторым существам, способностей у этого малого хватало только на один порок: он был обжора. Нередко, когда где-нибудь давали парадный обед, дю Букье заставлял его сменять на ливрею короткую куртку из синей в клетку бумажной материи с широкими карманами, которые оттопыривались от носового платка, складного ножа, какого-нибудь плода или сдобной плюшки, и уводил его прислуживать. Вот когда Ренэ наедался в людской до отвала! Обратив для него исполнение обязанностей в награду, дю Букье заручился гробовым молчанием своего слуги-бретонца.

— Никак вы к нам, барышня? — произнес Ренэ, завидев входящую Сюзанну.— Нынче же не ваш день, у нас и белья-то нет для госпожи Лардо.

— Толстый олух! — со смехом отозвалась Сюзанна.

Хорошенькая девушка поднялась наверх, оставив Ренэ доедать миску молочной гречневой каши. Дю Букье, еще лежа в постели, обмозговывал планы своего обогащения, ибо ему были доступны теперь одни лишь честолюбивые мечты, как всем, кто на своем веку в избытке срывал цветы удовольствий. Честолюбие и азарт неисчерпаемы. Поэтому у человека нормального склада головные страсти долговечнее страстей сердца.

— Вот и я!— провозгласила Сюзанна, усаживаясь на кровать, и властным движением так резко раздвинула полог, что кольца завизжали на железных прутьях.

— С чем пришла, милочка? — произнес старый холостяк, садясь в постели.

— Сударь,— торжественно проговорила Сюзанна,—

вы, конечно, удивлены, что я ворвалась к вам; но я попала в такое положение, когда уж не беспокоишься о том, что́ о тебе скажут.

— Как так? В чем дело? — спросил дю Букье, скрестив на груди руки.

— Неужели вы не понимаете? — промолвила Сюзанна.— Я знаю,— продолжала она, скорчив премилую гримаску,— как смешна и назойлива в глазах мужчины бедная девушка, когда ее приводит к нему то, на что вашему брату наплевать. Но, сударь, познакомившись со мной поближе, узнав, что́ я готова совершить ради человека, который ответил бы мне такой же привязанностью, какую я могла бы, например, почувствовать к вам,— вы бы не пожалели, что женились на мне. Нечего говорить, конечно, здесь я мало могу вам быть полезной; но если бы нам с вами отправиться в Париж, я бы вам показала, как я способна содействовать карьере мужчины с вашим умом и средствами особенно сейчас, когда все правительство сверху донизу перекраивается и когда повсюду и везде хозяйничают иностранцы. Словом, между нами говоря, разве то, о чем идет речь,—несчастье? А быть может, это счастье, за которое в один прекрасный день вы бы многое дали. Ну, для кого вам жить? Для кого работать?

— Для кого же, как не для себя! —буркнул дю Букье.

— Старое чудовище, вам никогда не быть отцом! — изрекла Сюзанна, придав своим словам оттенок грозного пророчества.

— Полно, Сюзанна, не глупи,— возразил дю Букье,— мне так и кажется, что это все сон.

— Какой же яви вам еще надобно? — воскликнула Сюзанна, встав во весь рост.

Дю Букье, оторопев, повернул ночной колпак на голове с такой силой, которая явно указывала на необычайную работу мысли.

«Да он никак поверил,— подумала про себя Сюзанна,— и даже польщен! Боже ты мой, до чего этих мужчин легко обвести вокруг пальца!»

— Сюзанна, чего же ты от меня хочешь, черт возьми! Все это так странно... А я-то думал... А на деле... Но нет же, нет, быть не может!..

— Как! Вы не можете на мне жениться?

— Ах, вот что! Нет уж, извини, у меня есть обязательства.

— Не по отношению ли к мадемуазель Арманде или мадемуазель Кормон, которые вас уже один раз отставили? Послушайте, господин дю Букье, я не нуждаюсь для защиты своей чести в жандармах, которые потащили бы вас в мэрию. Я не останусь без мужа и сама знать не хочу того, кто не сумел оценить меня по достоинству. Но смотрите, как бы не пришлось вам в один прекрасный день раскаяться в своем поступке, потому что ни серебром, ни золотом вы не заставите меня отдать вам ваше достояние, раз вы нынче от него отказываетесь.

— Но, Сюзанна, почему ты думаешь, что это...

— Ах, сударь! — перебила его гризетка, драпируясь в мантию добродетели.— За кого вы меня принимаете? Я же не напоминаю вам ваших обещаний, хотя они-то и сгубили меня, бедную девушку, вся вина которой лишь в том, что она жаждет успеха не меньше, чем любви.

Дю Букье находился во власти множества разноречивых побуждений — радости, недоверия, расчетливости. Он с давних пор решил жениться на мадемуазель Кормон, ибо Хартия, о которой он только что раздумывал, открывала его честолюбию великолепную политическую карьеру депутата. А ведь брак со старой девой должен был вознести его так высоко, что он стал бы влиятельнейшим лицом города. Вот почему буря, поднятая коварной Сюзанной, повергла дю Букье в сильнейшее замешательство. Если бы не его заветная мечта, он, не задумываясь, женился бы на Сюзанне. Он бы открыто возглавил либеральную партию Алансона. Заключив подобный брачный союз, он тем самым отказался бы от высшего общества, чтобы снова примкнуть к буржуазному классу — купцам, богатым фабрикантам, владельцам пастбищ, которые, надо думать, подняли бы его на щит, как своего кандидата. Дю Букье уже предвидел значение партии левых. Он не скрывал, что предается многозначительным размышлениям, и, проводя рукой по голове, совсем сбил ночной колпак, прикрывавший лысину. Как это бывает со всеми, кто достиг большего, чем хотел и ожидал, Сюзанна была ошеломлена. Чтобы не выдать своего изумления, она приняла грустную позу,

подобающую девушке, обманутой своим обольстителем; но в душе она хохотала, как хохочет подгулявшая гризетка.

— Нет, детка, тебе не поймать меня в эту мышеловку, не на таковского напала!

Так коротко и ясно заключил свои размышления бывший поставщик. Дю Букье кичился тем, что принадлежит к школе философов-циников, которые, не желая стать *добычей* женщин, относят их всех к одной категории *подозрительных*. У этих твердолобых и в большинстве случаев мягкотелых мужчин имеются применительно к женщинам свои собственные заповеди. В их глазах они все, от королевы Франции до скромной модистки, по существу своему, распутницы, негодяйки и убийцы, и мало того — нечисты на руку, насквозь лживы, не способны ни о чем думать, кроме пустяков. Для этих людей женщины не более чем злонравные баядерки, которым лучше всего предоставить петь, плясать и смеяться; в женщинах они не видят ничего святого, ничего возвышенного, для них не существует поэзии чувств, а только одна грубая чувственность. Они — как те обжоры, которым не отличить кухни от столовой. Согласно их уставу, если женщину не тиранить на каждом шагу, она превратит мужчину в раба. Дю Букье был и в этом отношении полной противоположностью шевалье де Валуа. Произнеся последние слова, поставщик швырнул свой колпак в другой конец кровати движением, подобным тому, каким папа Григорий опрокинул бы зажженную свечу, изрекая грозную анафему, и тут Сюзанна узрела, что хохолок, украшавший череп старого холостяка, был накладным.

— Помните же, господин дю Букье,— величественно ответила Сюзанна,— что, придя к вам, я выполнила свой долг; помните, что я была обязана предложить вам свою руку и просить вашей; но не забудьте также, что в моих поступках не было ничего недостойного уважающей себя женщины: я не унизилась до того, чтобы плакать, как дурочка, я не настаивала, не надоедала вам. Теперь вы знаете мое положение. Надо ли говорить, что я не могу оставаться в Алансоне; матушка меня изобьет, а госпожа Лардо, которая кричит повсюду о нравственности, точно весь век разглаживает ее своими

утюгами,— та просто выгонит. Что ждет меня, бедную работницу? Больница? Сума? Нет! Лучше головой в воду — в Бриллианту или Сарту. Но не проще ли уехать в Париж? Мать найдет предлог для моего отъезда — какого-нибудь дядюшку, которому не терпится меня видеть, тетушку, которая в гроб глядит, благодетельницу, которой угодно вывести меня в люди. Остановка только за деньгами на проезд и на то, что вам известно...

Новость, сообщенная Сюзанной, имела для дю Букье в тысячу раз большее значение, чем для г-на де Валуа, а почему — знал только он да шевалье, и этой тайне предстояло быть разоблаченной лишь при развязке настоящей повести. Пока достаточно сказать, что выдумка Сюзанны произвела полную сумятицу в голове старого холостяка и он был не в состоянии все зрело обдумать. Не будь он в душе смущен и обрадован,— ибо польщенное самолюбие обратит всякого в простофилю,— он бы, верно, смекнул, что на месте Сюзанны любая порядочная девушка, с сердцем еще не тронутым, скорее согласилась бы сто раз умереть, чем завести подобный разговор, да еще спрашивать денег. Он бы подметил во взгляде гризетки хищную низость игрока, который готов на убийство, лишь было бы что поставить на карту.

— Значит, ты не прочь проехать в Париж? — спросил дю Букье.

При этом вопросе молния радости позолотила серые глаза Сюзанны, но счастливец дю Букье ничего не заметил.

— Ну да, сударь!

Поставщик стал плакаться на всевозможные нелепые затруднения: он только что уплатил последний взнос за дом, ему еще надо расквитаться с маляром, каменщиком, столяром. Но Сюзанна не прерывала его, она ждала, чтобы он назвал цифру. Дю Букье предложил сто экю. Сюзанна прибегла к тому, что на театральном языке называется *ложным выходом:* она направилась к двери.

— Но куда же ты? — забеспокоился дю Букье. «Вот они, холостяцкие радости,— подумал он.— Черт меня побери, я как будто ни сном ни духом не виноват!.. А нате вам! Достаточно было с ней пошутить, и, извольте видеть, она подает на вас вексель ко взысканию».

— Раз так, сударь,— молвила Сюзанна сквозь сле-

зы,— я иду к госпоже Грансон, казначее Общества вспомоществования матерям. Я знаю, она чуть ли не из воды вытащила одну несчастную девушку, попавшую в такую же беду.

— К госпоже Грансон?!

— Да,— сказала Сюзанна,— к родственнице мадемуазель Кормон, председательницы Общества вспомоществования матерям. Не во гнев вам будет сказано, дамы нашего города основали заведение, которое впредь не допустит, чтобы бедные девушки убивали своих младенцев и сами уходили в могилу, как то произошло, тому уже три года, в Мортани с красавицей Фаустиной из Аржантана.

— На, Сюзанна,— сказал дю Букье, протягивая ей ключ,— отопри сама секретер и возьми оттуда уже початый мешочек, в нем еще осталось шестьсот франков — больше у меня нет.

Старый поставщик всем своим убитым видом показал, с какой неохотой он покоряется этой печальной необходимости.

«Старый сквалыга! — подумала Сюзанна.— Погоди, я расскажу про твой парик».

Она сравнивала дю Букье с обаятельным шевалье де Валуа, который, правда, ничего ей не дал, но понял ее, поддержал советом и вообще так сердечно относился к гризеткам.

— Сюзанна, если ты меня обманываешь,— воскликнул дю Букье, увидев, что она запустила руку в ящик,— ты...

— Зачем мне обманывать, сударь? — перебила она его с царственной надменностью.— Ведь вы же дали бы мне эти деньги и так, стоило бы мне только попросить.

Раз уж его подобным образом призвали к галантности, поставщику ничего не оставалось, как вспомнить свои золотые денечки, и он проворчал в знак согласия что-то нечленораздельное. Сюзанна взяла мешочек и вышла, милостиво подставив старому холостяку лоб, и дю Букье коснулся его поцелуем с таким видом, точно хотел сказать: «Вот право, которое мне дорого обошлось. Но все же это лучше, чем услышать, как на суде какой-нибудь адвокатишка заклеймит тебя именем соблазнителя девушки, обвиняемой в детоубийстве».

Сюзанна спрятала мешочек в некое подобие плетеного ивового ягдташа, висевшее у нее на руке, и прокляла скупость дю Букье, потому что хотела получить тысячу франков. Стоит девушке, которую обуял бес, вступить на стезю плутовства, и она уж не знает удержу. Шагая по улице дю Беркай, хорошенькая гладильщица думала о том, что может статься, Общество вспомоществования матерям, возглавляемое мадемуазель Кормон, пополнит сумму, ассигнованную девушкой на свои путевые издержки, для алансонской гризетки довольно значительную. А к тому же она ненавидела дю Букье. Ей показалось, что холостяк побаивается, как бы слух о его мнимом преступлении не дошел до ушей г-жи Грансон; и вот, хотя Сюзанна рассудила, что, вероятно, не получит ни гроша от Общества вспомоществования, она захотела все же, покидая Алансон, опутать бывшего поставщика сетями провинциальной сплетни. В каждой гризетке всегда найдется некая толика обезьяньего коварства. Итак, напустив на себя скорбный вид, Сюзанна вошла в дом г-жи Грансон.

Госпожа Грансон, вдова артиллерийского подполковника, павшего под Иеной, была обладательницей всего лишь жалкой вдовьей пенсии в девятьсот франков, личной ренты в сто экю и единственного сына, которого она выкормила и воспитала, истратив на это все свои сбережения. Она жила на улице дю Беркай, в нижнем этаже унылого дома, одного из тех, которых путник, проезжая по главной улице любого провинциального городишки, может охватить одним взглядом. Три пирамидально расположенные ступени вели к боковой дверце; коридор, в конце которого находилась лестница, крытая наподобие деревянной галереи, выходил во внутренний дворик. По одну сторону коридора были расположены столовая и кухня, по другую — гостиная, на все случаи жизни, и спальня вдовы. Атаназ Грансон, молодой человек двадцати трех лет, ютившийся в мансарде над вторым этажом этого дома, вносил в убогое хозяйство своей матери шестьсот франков, получаемых в мэрии, где он занимался записью актов гражданского состояния— скромная должность, добытая при содействии мадемуазель Кормон, его влиятельной родственницы. Все сказанное позволяет каждому представить себе, как г-жа

Грансон в своей нетопленной гостиной с желтыми занавесками, с мебелью, обитой желтым трипом, расправляет, бывало, после ухода гостей маленькие соломенные половички, разостланные перед каждым стулом для того, чтобы не грязнился красный навощенный пол; как, взяв с рабочего столика свое рукоделие, она снова опускается в обложенное подушками кресло, под портретом артиллерийского подполковника, в простенке между двух окон — местечко, откуда ей видна вся улица дю Беркай, каждый прохожий и проезжий Это была старушка, одетая с мещанской непритязательностью, в соответствии с ее бледным, как бы истаявшим от горя лицом. В каждой мелочи, во всей обстановке этого дома сквозила суровая простота нищеты и вместе с тем чувствовались честные и строгие нравы провинции. В настоящую минуту мать и сын завтракали вдвоем в столовой — чашкой кофе и редиской с маслом Чтобы стало понятным, какое удовольствие должен был доставить г-же Грансон приход Сюзанны, нужно раскрыть тайные помыслы матери и сына

Атаназ Грансон был юноша среднего роста, худой и бледный, со впалыми щеками; черные, как уголь, глаза его искрились мыслью Не совсем правильные черты, извилины рта, сильно выдававшийся вперед подбородок и словно изваянный из мрамора прекрасный лоб, грустная задумчивость, порожденная сознанием своей нищеты, столь противоречившей силам, какие он в себе ощущал,— все обнаруживало в нем талантливого человека, связанного по рукам и ногам. Да, где угодно, только не в Алансоне, такая внешность доставила бы ему поддержку влиятельных людей или женщин, у которых есть дар угадывать скрытую гениальность Если это не был гений, то это была форма, в какую он облекается; если это не была сила великого духа, то это был отблеск ее, отраженный во взоре. Хотя Атаназ был наделен самыми возвышенными чувствами, застенчивость убийственными путами связывала в нем все — даже очарование юности, так же как нужда своим холодом сковывала порывы его дерзаний. Провинциальная жизнь, безысходная, не радующая ни похвалой, ни поощрением, очертила замкнутый круг, в котором угасала его мысль,— а ее заря еще даже не занялась К тому же в Атаназе была

нелюдимая гордость избранных натур, которая из-за бедности приходит еще в особое возбуждение и поднимает их силы в борьбе с людьми и обстоятельствами, но в начале поприща препятствует их продвижению. Гений действует двумя способами: либо он, подобно Наполеону и Мольеру, берет свое достояние, едва завидит его; либо, проявив себя, терпеливо ждет, когда о нем вспомнят. Молодой Грансон принадлежал к разряду одаренных людей, которые, не зная себе цены, легко падают духом. По натуре он был созерцатель и жил больше мыслью, чем действием. Пожалуй, он показался бы нецельным тому, кто не признает гения без искрометных страстей на французский лад; но его внутренний мир был богат, и бурные чувства, скрытые от окружающих его пошлых людей, могли придать ему ту внезапную решимость, которая приводит к роковой развязке и позволяет глупцам утверждать: *Он безумец!* Презрение, каким свет обдает нищету, убивало Атаназа; изнурительный жар одиночества, без притока свежего воздуха, ослаблял у его воли тетиву, которую приходилось снова и снова натягивать, и от этой ужасной, бесплодной игры уставала душа. Атаназ мог бы стать в один ряд с прославленными светилами Франции; но орлу, запертому в клетку и лишенному пищи, предстояло умереть голодной смертью, насмотревшись пылающим взором на альпийские вершины и воздушные просторы, где парит гений. Хотя его занятия в городской библиотеке остались никем не замеченными, он все же затаил в душе свои мечты о славе, ибо они могли ему повредить; но еще глубже схоронил он тайну своего сердца — страсть, от которой у него ввалились щеки и пожелтел лоб. Он любил свою дальнюю родственницу, ту самую девицу Кормон, которую подстерегали шевалье де Валуа и дю Букье, его неведомые соперники. Первоначально любовь эта зародилась из расчета. Мадемуазель Кормон считалась одной из первых богачек города, так что бедного юношу привели к любви жажда материального благополучия, тысячу раз поднимавшееся в душе желание усладить старость матери, потребность в достатке, необходимом для людей, живущих мыслью; но такой источник страсти, в конце концов весьма безобидный, заставлял его стыдиться собственных чувств. Кроме того, он боялся, что об-

щество осмеет любовь двадцатитрехлетнего юноши к сорокалетней девушке. Тем не менее страсть его была неподдельной; ибо то, что повсюду в делах подобного рода может показаться надуманным, в провинции вполне жизненно. И впрямь, тамошний уклад жизни, не знающий ни случайностей, ни перемен, ни тайн, делает брак необходимостью. Ни одна семья не примет к себе молодого вертопраха. Пусть в столице любовная связь такого юноши, как Атаназ, с прелестницей, подобной Сюзанне, показалась бы вполне естественной, но в провинции она отпугивает всех и наперед расстраивает всякую возможность брака для бедняка, хотя, конечно, денежки богатых женихов заставляют смотреть сквозь пальцы на их досадное прошлое. Тот, у кого нет средств, но есть сердце, не станет колебаться в выборе между распутством и чистой любовью: он предпочтет страдать от добродетели, нежели от порока. Но в провинции молодому человеку не легко встретить женщину, увлечься которой ему было бы дозволено; в краю, где все основано на расчете, к богатой красавице ему не подступиться; бедную красавицу ему запрещено любить: как говорят в таких случаях провинциалы, это означало бы повенчать горе с бедою; а следует заметить, что монашеское одиночество крайне опасно в юности. Этими обстоятельствами объясняется, почему провинциальная жизнь так прочно основана на браке. Поэтому живые и пылкие гении, принужденные искать опору в независимости бедняка, все до одного должны покидать эти холодные пределы, где мысль преследуется с грубым равнодушием, где человеку науки или искусства не найти женщины, которая могла бы и захотела бы стать для него сестрой милосердия. Кто поймет страсть Атаназа к мадемуазель Кормон? Конечно, не богачи — эти султаны нашего общества, где к их услугам целые гаремы, и не мещане, которые следуют большой дорогой, проторенной предрассудками, и не женщины, которые, не желая ничего знать о страстности художественных натур, требуют, чтобы они искали для себя отрады в сознании своей добродетели, и воображают, что оба пола подчинены одним и тем же законам. Пожалуй, здесь уместно обратиться к юношам, снедаемым мукой первых страстей, которую им приходится подавлять именно в ту пору жизни, когда

все силы бьют через край; к художникам, страдающим за свой талант, задушенный в объятиях нужды; к даровитым людям, сначала испытавшим гонения, лишенным поддержки, а зачастую и друзей и в конце концов вышедшим победителями над неудовлетворенностью, душевной и телесной, что одинаково тяжело. Тот, кому, по собственному опыту, хорошо знакома мучительная боль, терзавшая Атаназа; тот, кто, поставив себе цель, столь грандиозную, что нет возможности ее достигнуть, погружался в долгое и жестокое раздумье,— вот кто испытал никому не ведомые неудачи талантливого человека, сеющего зерна на бесплодном песке, вот кто хорошо знает, что сила желаний соразмерна богатству воображения. Чем выше взлет, тем ниже падение; и сколько при этом разбивается уз! Подобно Атаназу, они верили, что их ждет блестящее будущее, они проникли туда своим острым взором и думали, что от успеха отделяла их только прозрачная завеса; но эту незримую завесу общество превратило в железную стену. Понуждаемые призванием, любовью к искусству, они тоже неоднократно пытались извлечь для себя пользу из чувств, которые общество непрестанно подчиняет своим материальным расчетам. Как же так! Провинциальные обыватели заключают выгодные браки, заботясь о своем процветании, а бедному художнику или ученому запрещено ставить перед браком двойную цель — обеспечить достаток, необходимый для жизни, и тем самым поддержать творческую мысль? Волнуемый подобными думами, Атаназ Грансон сперва видел в женитьбе на мадемуазель Кормон способ устроить свою жизнь, упрочить свое положение; он получил бы возможность устремиться к славе, осчастливить мать, а что он способен преданно любить мадемуазель Кормон — это он знал. Вскоре из этих намерений, неожиданно для него самого, возникла истинная страсть: он принялся изучать старую деву и под властным воздействием привычки кончил тем, что перестал видеть в мадемуазель Кормон ее недостатки и стал находить одни лишь привлекательные черты. В любви двадцатитрехлетнего юноши чувственность занимает большое место! Из чувственного пыла возникает некая призма, сквозь которую глядят на избранницу. В этом отношении сцена у Бомарше, где Керубино хва-

тает в объятия Марселину, просто гениальна. И вот, если подумать, что в глубоком одиночестве, на которое обрекала Атаназа нищета, мадемуазель Кормон была единственной женщиной, доступной его взору, что она постоянно привлекала к себе его взгляд, что на нее падало самое яркое освещение,— не покажется ли эта страсть вполне естественной? Глубоко затаенное чувство должно было расти день ото дня. Подобно тому, как в озеро ежечасно по капле прибывает вода, так, в тиши и безмолвии, душу Атаназа наполняли муки, желания, надежды и думы. Чем шире раздвигался круг, очерченный в его душе воображением, поддержанный чувствами, тем величественнее казалась Атаназу мадемуазель Кормон, а робость его еще возрастала. Мать догадалась обо всем. Как истая провинциалка, она в простоте душевной уже прикидывала про себя все выгоды подобного союза. Она думала, что мадемуазель Кормон почла бы за счастье избрать себе мужем двадцатитрехлетнего исполненного талантов юношу, который прославил бы свою семью, да и весь край; но бедность Атаназа и лета девицы Кормон казались старушке непреодолимым препятствием: против него она ничего не могла придумать и полагалась только на терпение. Так же как у дю Букье, как у шевалье де Валуа, у нее была своя тактика, она подстерегала удобный случай, выжидала благоприятного часа со всей хитростью, какую может подсказать стремление к выгоде и материнская любовь. Г-жа Грансон ничуть не опасалась шевалье де Валуа; но она подозревала, что дю Букье, хотя и отвергнутый, не отказался от своих домогательств. Ловкий и скрытный враг старого поставщика, г-жа Грансон причиняла ему неслыханный вред, действуя на благо своему сыну, которому, впрочем, даже не заикнулась о своих происках. Кому же теперь не ясно, какое значение должен был приобрести вымысел Сюзанны, коль скоро она поведала бы его г-же Грансон? Что за оружие окажется в руках почтенной дамы-благотворительницы, казначеи Общества вспомоществования матерям! Как медоточиво станет она разглашать повсюду эту новость, собирая пожертвования для стыдливой Сюзанны!

В описываемое утро Атаназ, задумчиво облокотившись на стол, помешивал чайной ложечкой в пустой чаш-

ке, скользя озабоченным взглядом по убогой столовой— по красному полу, по стульям с соломенными сиденьями, по буфету из простого крашеного дерева, по занавескам в розовую и белую клетку, напоминавшим шахматную доску, по стенам, оклеенным выцветшими трактирными обоями, и по стеклянной двери, соединявшей эту комнату с кухней. Так как он сидел лицом к матери и спиной к камину, почти напротив двери, то перед взором Сюзанны нежданно предстало его бледное лицо, ярко освещенное светом, падавшим из окна, и обрамленное черными кудрями, его глаза, одушевленные отчаянием, горевшие огнем горького раздумья. Гризетка, наделенная безошибочным чутьем к нужде и сердечным мукам, почувствовала укол той электрической искры, происхождение которой никому не известно, ничем не объяснимо и которую иные вольнодумцы отрицают, хотя немало мужчин и женщин испытали на себе ее таинственный толчок. Это в одно и то же время — и луч, прорезывающий мрак грядущего, и предчувствие чистых радостей разделенной любви, и уверенность в обоюдном понимании. И это, прежде всего, как бы искусный и сильный удар мастерской руки по клавиатуре чувств. Взгляд заворожен неотразимым влечением, сердце взволновано, в душе и в ушах звучат напевы счастья, какой-то голос провозглашает: — *Это он!* А затем разум почти всегда обдает кипучий порыв струей холодной воды,— и всему конец. Целый залп мыслей, мгновенный, как удар грома, поразил Сюзанну в самое сердце. Молния истинной любви выжгла плевелы, разросшиеся под тлетворным веянием разврата и легкомыслия. Она поняла, сколько теряет в чистоте и в благородстве, позоря себя понапрасну. То, что накануне было в ее глазах не больше, чем шуткой, обернулось теперь в строгий приговор самой себе. Она готова была отказаться от будущих своих успехов. Но безысходность положения, бедность Атаназа, смутная надежда разбогатеть и, вернувшись из Парижа не с пустыми руками, сказать: «Я тебя давно люблю!» — сама судьба, если хотите, заставила иссякнуть этот благодатный дождь. Честолюбивая гризетка смиренно попросила г-жу Грансон уделить ей минутку для разговора, и та повела ее в свою спальню. Уходя, Сюзанна еще раз посмотрела

на Атаназа, увидела его все в той же позе и подавила слезы. Что касается г-жи Грансон, то она сияла от радости! Наконец-то в ее руках очутилось грозное оружие против дю Букье, теперь ей ничего не стоило нанести ему смертельную рану. Разумеется, она пообещала несчастной соблазненной девушке поддержку всех дам-благотворительниц, всех жертвователей Общества вспомоществования матерям; она предвкушала занятие на целый день — дюжину визитов, благодаря которым над головой старого холостяка соберутся грозовые тучи. Г-н де Валуа, предвидя в общих чертах такой оборот дела, все же не надеялся, что оно вызовет столько шума.

— Милое дитя мое,— обратилась г-жа Грансон к сыну,— ты знаешь, что мы обедаем сегодня у мадемуазель Кормон, приоденься же немножко. Ты напрасно пренебрегаешь своим туалетом, ведь ты стал похож на какого-то воришку. Надень свою красивую сорочку с жабо и зеленый фрак эльбефского сукна. У меня есть на то свои основания,— добавила она лукаво.— К тому же мадемуазель Кормон уезжает в Пребоде, и у нее соберется много гостей. А когда молодому человеку приходит пора жениться, ему, чтобы понравиться, нужно выставлять себя в выгодном свете. Господи, если бы только девушки были откровенны, ты бы, сынок, удивился, узнав, как мало им нужно, чтобы влюбиться: подчас для этого достаточно мужчине только прогарцевать во главе артиллерийского отряда или явиться на бал в костюме, который ловко сидит на нем. Нередко по какому-нибудь повороту головы, по грустной, задумчивой позе строишь догадки о целой жизни; мы, женщины, сочиняем себе роман, исходя из внешности героя; сплошь да рядом герой—дурак дураком, а свадьба уже сыграна. Приглядись получше к шевалье де Валуа, изучи, заимствуй его манеры; посмотри, как непринужденно он держится в обществе,— в нем нет и следа натянутости, не то, что у тебя. Да будь немного поразговорчивее. Право, можно подумать, что ты круглый невежда, а ведь ты знаешь назубок такое, что для других — просто тарабарщина.

Атаназ выслушал мать с удивлением, но покорно, затем встал, взял фуражку и отправился в мэрию, раздумывая: «Неужели маменька угадала мою тайну?» Он прошел по улице дю Валь-Нобль, где жила мадемуазель

Кормон,— небольшое развлечение, которое он позволял себе каждое утро, отдаваясь при этом тысяче безрассудных мыслей. «Она, конечно, и не подозревает, что в эту минуту мимо ее дома проходит молодой человек, готовый ее горячо любить, хранить ей верность и никогда не причинять огорчений; человек, готовый всецело предоставить ей распоряжаться ее имуществом! Боже мой! что за судьба! Двое людей живут в одном городе, в двух шагах друг от друга, состоят в родстве, и ничто не может их сблизить. А не объясниться ли мне с ней сегодня вечером?»

Между тем Сюзанна, возвращаясь к своей матери, не переставала думать о бедняге Атаназе; и как многие женщины, безгранично боготворящие любимого человека, она способна была бы пойти на то, чтобы ее красота стала для него ступенькой, с которой он мог бы дотянуться до венца славы.

Теперь необходимо зайти в дом старой девы, которая стала предметом стольких корыстных стремлений и должна была в этот вечер принимать у себя всех участников настоящей повести, исключая Сюзанну. Последняя, особа решительная и красивая, достаточно отважная, чтобы с первых шагов сжечь, подобно Александру Македонскому, свои корабли, начала борьбу с мнимого проступка, а затем сошла с алансонской сцены, немало поспособствовав напряженной занимательности действия. Кстати сказать, ее желания осуществились с лихвой. Она покинула родной город несколько дней спустя, снабженная деньгами и красивыми обносками, среди которых было прекрасное платье из зеленого репса и восхитительная зеленая шляпа с полями, подбитыми розовой тафтой,— преподношение шевалье де Валуа, которое было ей дороже всего, даже денег, пожертвованных ей дамами из Общества вспомоществования матерям. Если бы шевалье приехал в Париж в пору ее блистательных успехов, она, безусловно, все бросила бы ради него. Уподобившись целомудренной библейской Сусанне, которую старцы едва узрели мельком, она, счастливая, исполненная надежд, устраивалась в Париже, пока весь Алансон оплакивал ее горести, к которым дамы обоих обществ — вспомоществования бедным и вспомоществования матерям — изъявляли живейшее со-

чувствие. Если Сюзанна может служить образчиком тех красавиц-нормандок, которые, по мнению одного ученого медика, составляют треть всех женщин известной категории, поглощаемых чудовищем Парижем,— она все же оставалась в самых высоких и благопристойных кругах полусвета. В эпоху, когда, как говорил г-н де Валуа, женщина перестала существовать, Сюзанна превратилась просто-напросто в *мадам дю Валь-Нобль;* в прежние времена она была бы соперницей всяких Родоп, Империй и Нинон. Один из самых выдающихся писателей Реставрации взял ее под свое покровительство; уж не женится ли он на ней? Ему, как журналисту, наплевать на общественное мнение, поскольку он каждые шесть лет самолично фабрикует новое.

Во Франции почти во всех второстепенных префектурах существует салон, где собираются почтенные и уважаемые лица, которые, тем не менее, не принадлежат к сливкам общества. Хозяин и хозяйка дома причисляются к городской верхушке, и перед ними открыты все двери, без них в городе не обходится ни одно празднество, ни один обед, данный с дипломатической целью; однако владельцы замков, пэры — обладатели обширных земель, высшая знать департамента не бывают у них запросто, ограничиваясь в отношении их обменом официальными визитами и обоюдным приглашением на обед или вечер. Такой смешанный салон, где сходятся местное мелкое дворянство, духовенство, судейские чины, пользуется большим влиянием. Разум и дух целого края сосредоточены в этом обществе, положительном, не чванном, где каждый знает доходы соседа, где исповедуют полнейшее равнодушие к роскошной обстановке и щегольскому платью, расценивая их как пустяки сравнительно с каким-нибудь *клочком* пастбища в десять—двенадцать арпанов, покупка которого обдумывалась годами и потребовала множества ловких ходов. Непоколебимый в своих предубеждениях, справедливых или несправедливых, этот кружок единомышленников следует по одному и тому же пути, не заглядывая вперед и не оборачиваясь назад. Он не принимает ничего парижского без длительной проверки, так же упорно отказывается от кашемировых шалей, как и от помещения капиталов в бумаги государственного казначейства, прези-

рает новшества, ничего не читает и ничего не хочет знать: ни науки, ни литературы, ни промышленных изобретений. Кружок этот способен добиться смены префекта, который пришелся не ко двору; в случае если администратор в силах им противостоять, то кружок изолирует его по примеру пчел, которые покрывают воском улитку, заползшую в улей. Наконец здесь пересуды часто перерастают в торжественные приговоры. Поэтому, хотя гости здесь развлекаются только игрой в карты, все же молодые женщины от времени до времени появляются на этих вечерах; они приходят сюда за похвалой своему поведению, за признанием своего веса в обществе. Это первенство, пожалованное одному дому, частенько задевает самолюбие кое-кого из буржуа, но они утешаются, подсчитав, во что обходится такой салон, которым они пользуются даром. Если же среди горожан не оказывается состоятельного человека, которому было бы по карману держать открытый дом, местные важные шишки избирают для своих сборищ, как это и делали алансонцы, гостиную какой-нибудь безобидной особы, которая, в силу своего уклада жизни, характера или положения, предоставляет гостям у себя полную свободу, не заставляя настораживаться ничье тщеславие, ничьи интересы. Так влиятельное алансонское общество издавна собиралось у старой девы, на богатство которой без ее ведома метили г-жа Грансон — ее дальняя родственница — и оба старых холостяка, о чьих тайных надеждах нами только что было рассказано. Эта девица жила вместе со своим дядей с материнской стороны, в прошлом — главным викарием Сеэзской епархии, своим бывшим опекуном, после которого ей предстояло получить наследство. Семейство, единственной представительницей которого являлась в то время Роза-Мария-Виктория Кормон, исстари причислялось к самым уважаемым в провинции. Хотя и не дворянского происхождения, оно связано было с аристократией и нередко роднилось с нею; некогда оно поставляло управителей герцогам алансонским, судей — магистратуре и многочисленных епископов — церкви. Г-н де Спонд, дед мадемуазель Кормон с материнской стороны, был избран в Генеральные штаты от дворянства, а г-н Кормон, ее отец — от третьего сословия; однако и тот и другой отказались от своих

полномочий. Почти все последнее столетие девицы этого дома выходили замуж за местных дворян, так что семья Кормон столь прочно *вросла* в Ангулемское герцогство, что обвивала здесь каждое генеалогическое древо. Никакие другие буржуа не походили в большей степени на аристократию.

Дом, в котором жила мадемуазель Кормон, был выстроен в царствование Генриха IV Пьером Кормоном, управителем последнего герцога Алансонского, и никогда не выходил из владения семьи Кормон,— из всех явных ценностей, принадлежавших старой деве, он с особенной силой вызывал вожделение обоих ее старых поклонников. Между тем особняк этот не приносил никакой прибыли — напротив, служил источником одних только расходов; но в провинции такая редкость жилище, расположенное в центре города и все же вдали от неприятного соседства, красивое снаружи, удобное внутри, что желание завладеть этим домом было бы понятно всему Алансону. Старый особняк помещался в самой середине улицы дю Валь-Нобль, искаженно называвшейся Дол Нобль, вероятно, из-за понижения почвы, размытой в этом месте Бриллиантой, крохотной речушкой, пересекающей город. Этот дом достоин внимания по той внушительной архитектуре, которую ввела Мария Медичи. Хотя он сложен из гранита, породы, трудно поддающейся обработке, его углы, наличники окон и дверей отделаны выпуклыми шишками с алмазной гранью. Здание это двухэтажное; на его чрезвычайно круто поднятой крыше выступают вперед окна с лепными фронтонами, довольно изящно прилаженными к кровельному желобу, обшитому изнутри свинцом и по наружной стороне украшенному балясинами. В каждом простенке между окнами высовываются пасти фантастических животных без туловища, служащие водостоками и изрыгающие дождевую воду на широкие каменные плиты с пробуравленными в них пятью отверстиями. Конек крыши с обоих концов украшен свинцовыми букетами — символом буржуазии, так как в старину одной лишь знати принадлежало право ставить флюгеры. Со стороны двора, направо, помещаются каретные сараи и конюшни; налево — кухня, дровяной сарай и прачечная. Одна створка ворот, в которой имелась ка-

литка с колокольчиком и «глазком», оставалась отворенной, что позволяло прохожим видеть обширный двор с клумбой посредине, земляная насыпь которой окаймлялась низкой живой изгородью из бирючины. Несколько кустов роз, цветущих во все времена года, левкои, скабиозы, лилии и испанский дрок образовывали цветущую купу зелени, вокруг которой в летнее время расставлялись в кадках лавровые, гранатовые и миртовые деревья. Поразительная, доведенная до мелочности, чистота на этом дворе и во всех службах могла бы и заезжего человека навести на мысль, что здесь живет старая дева. Глаз, наблюдавший за этим хозяйством, очевидно, был глазом-блюстителем, досужим и придирчивым не столько по природе, сколько из потребности действия. Только старая дева, стремясь как-нибудь заполнить свой всегда праздный день, могла приказывать, чтобы выпалывали каждую травинку, пробившуюся между каменными плитами, и мыли гребень каменной ограды, требовать, чтоб двор непрестанно подметался, а кожаные занавеси каретного сарая ни на минуту не оставались незадернутыми. Только она была способна от нечего делать добиваться голландской опрятности в маленькой провинции, расположенной между Першем, Бретанью и Нормандией, областями, где спесиво проповедуют невежественное равнодушие к *комфорту*. Не было случая, чтобы, поднимаясь по ступеням, ведущим с двух сторон на площадку крыльца, шевалье де Валуа и дю Букье не подумали каждый про себя: один — что такой дом приличествовал бы пэру Франции, другой — что в нем следовало бы жить мэру города. С крыльца стеклянная дверь вела в прихожую, освещенную со стороны сада второй такой же дверью, выходившей на другой подъезд. Эта своего рода галерея, пол которой был выложен красными квадратными плитками, а стены обшиты панелью, высотою по грудь человека, представляла собою лазарет для увечных фамильных портретов: у одного был попорчен глаз, у другого — повреждено плечо; этот держал шляпу в уже не существующей руке, у того была ампутирована нога. Здесь гости оставляли плащи, деревянные башмаки, кожаные калоши и дождевые зонты, шапки, шубы. Это было хранилище, где каждый завсегдатай,

приходя, складывал свою амуницию, чтобы, уходя, взять ее отсюда. Кроме того, по стенам были расставлены скамьи для слуг, которые являлись сюда с фонарями, а в углу была большая печь, которую топили из-за холодного ветра, дувшего разом и со двора и из сада. Таким образом, дом был разделен на две равные части. В одной половине, со стороны двора, находилась лестница во второй этаж, большая столовая, выходившая в сад, затем буфетная, сообщавшаяся с кухней; в другой половине — гостиная в четыре окна и две маленькие комнатки за нею — будуар окнами в сад и кабинет окнами во двор. Второй этаж включал в себя полную семейную квартиру, а также покои старого аббата де Спонда. В мансардах, по всей вероятности, тоже имелся ряд помещений, где с давних пор селились крысы и мыши; их геройские ночные подвиги мадемуазель Кормон не раз описывала шевалье де Валуа, выражая удивление, что все средства истребить этих буйных грызунов оказывались тщетны. Сад, приблизительно в пол-арпана, был окаймлен Бриллиантой, названной так потому, что ее дно, все в крупинках слюды, кажется усыпанным блестками,— впрочем, только не в Валь-Нобле, где скудные воды речки мутны от красок и отбросов городских промышленных заведений. Как во всех провинциальных городках, где протекает речка, берег Бриллианты тесно застроен домишками, в каких зачастую творятся сомнительные дела; к счастью, в то время напротив сада мадемуазель Кормон жил мирный люд, скромные обыватели — булочник, пятновыводчик, краснодеревцы. Сад, полный простых цветов, заканчивался естественной высокой площадкой, своего рода набережной с несколькими ступеньками для спуска к Бриллианте. Представьте себе на перилах площадки большие вазы из синего с белым фаянса, откуда подымают головки левкои; взгляните налево и направо, где вдоль стен соседних владений тянутся две густые аллеи аккуратно подстриженных лип,— и вы получите понятие о пейзаже, исполненном целомудренного благодушия, безмятежной чистоты, о той скромной, незатейливой панораме, какую составляют противоположный берег с его наивными домиками, мелководная Бриллианта, сад с его густыми аллеями, прижавшимися к соседним стенам, и

почтенное жилище Кормонов. Какое спокойствие! Какая тишина! Ничего пышного, но ничего скоропреходящего; тут все кажется вечным. Итак, нижний этаж предназначался для приемов. Здесь все дышало старой нерушимой провинцией. Большая квадратная гостиная в четыре окна, с четырьмя дверями, была скромно обшита деревянной панелью, выкрашенной в серый цвет. Над камином висело единственное зеркало, продолговатой формы, а по верху простенка шел одноцветный рисунок, изображавший День, ведомый Часами. Такого же рода произведения мозолили глаза над каждой дверью, где художник изощрялся на избитую тему — Четыре времени года,— которая в большей части французских домов заставляет вас возненавидеть всех этих мерзких амуров, снимающих жатву, катающихся по льду на коньках, сеющих хлеб или перебрасывающихся цветами. Драпировки из зеленой камки, перехваченные шнуром с крупными кистями на концах, образовывали над каждым окном огромные балдахины. Мебель из крашеного и отлакированного дерева, с вышитой по канве обивкой отличалась изогнутыми формами, столь модными в прошлом веке, и навязчивыми медальонами с рисунками на сюжеты басен Лафонтена; однако кое-где по краям обивка на стульях и креслах была уже подштопана. С середины потолка, разделенного надвое толстой балкой, свисала старинная люстра горного хрусталя в зеленом чехле. На камине, между двумя голубыми севрскими вазами и привинченными к стене старинными жирандолями, стояли часы, изображавшие последнюю сцену из *Дезертира* — свидетельство поразительного успеха произведения Седена. Эти часы золоченой бронзы украшены были одиннадцатью человеческими фигурками, каждая величиной в четыре дюйма, на заднем плане — дезертир, окруженный конвоем, выходит из тюрьмы; на переднем — молодая женщина, протянув ему приказ о помиловании, лишается чувств. Каминная решетка, лопатки и щипцы были в том же стиле. По стенам были развешаны наиболее поздние портреты членов семьи Кормонов, одно или два произведения кисти Риго и три пастели Латура. Четыре карточных стола, доска для триктрака и стол для пикета загромождали эту просторную комнату, между прочим, единственную в до-

ме, где был настлан дощатый пол. Рабочему кабинету со сплошной старинной лаковой обшивкой, черно-красной с золотом, предстояло в недалеком будущем приобрести безумную стоимость, что и в голову не приходило мадемуазель Кормон; да она бы его не отдала и по тысяче экю за филенку, ибо в ее правила входило ничего не выпускать из рук. Провинция все еще верит в схороненный прадедами клад. Ненужный будуар был обит иззелена-синей старинной тканью, за которой в наше время охотятся все любители так называемого стиля Помпадур. Столовая, с каменным полом, выложенным черными и белыми плитками, с крашеными балками вместо плафона, была уставлена теми чудовищными по размерам буфетами с мраморной доскою, какие требуются для сражений, задаваемых в провинции желудкам. Стены покрывала роспись, изображавшая цветочные трельяжи. Стулья были из лакированного тростника, а двери — из цельного орехового дерева. Все здесь превосходно завершало патриархальный уклад, которым дышал этот дом как внутри, так и снаружи. Провинциальный дух тут все сохранил в нетронутом виде; в этом жилище ничто не было ни новым, ни древним, ни молодым, ни дряхлым. Холодная размеренность давала себя чувствовать во всем.

Всем туристам, бывавшим в Бретани, Нормандии, Мэне и Анжу, случалось видеть в главных городах этих провинций какой-нибудь дом, в той или иной степени похожий на особняк Кормонов, ибо он представляет собой типический образец буржуазных домов большей части Франции и заслуживает своего места в этом произведении, тем более что в нем выражены нравы и воплощено целое мировоззрение. Кто же еще не ощутил, насколько спокойной и косной была жизнь, протекавшая в стенах этого старого здания? Там была библиотека, но помещалась она немного ниже уровня Бриллианты; ее аккуратно переплетенным, расставленным в строгом порядке томам пыль нисколько не вредила,— она придавала им еще бóльшую ценность. Книги здесь хранились так же заботливо, как хранятся в этих лишенных виноградников провинциях цельные, тонкие, на славу ароматные и выдержанные годами произведения давилен Бургундии, Турени, Гаскони и Юга. Стоимость

провоза слишком значительна, чтобы выписывать плохие вина.

Общество, собиравшееся у мадемуазель Кормон, насчитывало без малого полтораста человек; кое-кто время от времени уезжал в деревню, одни болели, других личные дела заставляли разъезжать по департаменту; но существовали приверженцы, бывавшие ежедневно, помимо званых вечеров, подобно тому как некоторые люди, в силу обязанности или привычки, постоянно живут в городе. Все эти люди были в зрелых летах; мало кто из них когда-либо путешествовал, почти все они пребывали безвыездно в провинции, иные в свое время были причастны к шуанству. После того как начали давать награды тем, кто отличился в этой войне, стало возможно безбоязненно говорить о ней. Г-н де Валуа — один из застрельщиков последнего вооруженного восстания, во время которого погиб маркиз де Монторан, выданный своей любовницей, и отличился знаменитый Крадись-по-земле, впоследствии мирно занимавшийся торговлей скотом недалеко от Майенны,— в течение полугода давал ключ к разгадке кое-каких фортелей, которые выкидывали мятежники в схватках со старым республиканцем по имени Гюло, командиром полубригады, расквартированной в Алансоне с 1798 по 1800 год, оставившим после себя память в этом краю (см. «Шуаны»). Женщины наряжались мало, только по средам,— в день, когда мадемуазель Кормон давала обед, и те, кто обедал у нее в прошлую среду, приходили к ней с послеобеденным визитом. Вечером по средам происходил парадный прием; собиралось многолюдное общество, званые гости и постоянные посетители, разодетые in fiocchi [1]; две — три женщины, принеся с собой рукоделие, вязали или вышивали по канве; несколько девиц, ничуть не смущаясь, трудились над рисунками для алансонских кружев, чем они зарабатывали на свои нужды. Некоторые хитроумные мужья приводили с собой своих жен, ибо сюда мало приходило молодых людей; тут, бывало, сло́ва не шепнешь на ушко, чтобы это осталось незамеченным,— а следовательно, ни молодой женщине, ни девушке не грозила опасность услышать лю-

---

[1] В пух и прах *(итал.)*.

бовное признание. Каждый вечер, ровно в шесть, длинная прихожая наполнялась обычным скарбом, так как завсегдатаи приносили с собой кто палку, кто плащ, кто фонарь. Все эти люди так хорошо знали друг друга, привычки их были так безыскусственно патриархальны, что если случайно старый аббат де Спонд задерживался в саду, а мадемуазель Кормон — в своей комнате, то ни горничная Жозетта, ни лакей Жаклен, ни кухарка не докладывали им о приходе гостей. Тот, кто являлся первым, поджидал второго; потом, когда набиралось нужное число игроков для партии в пикет, бостон или вист, приступали к игре, не дожидаясь хозяев. С наступлением темноты на звонок прибегала Жозетта или Жаклен и зажигали огонь. Завидев свет в окнах, аббат семенил в гостиную. Каждый вечер все места за доской для триктрака, за тремя столами для бостона и столами для виста и пикета бывали заняты, что составляло в среднем от двадцати до тридцати человек, включая тех, кто развлекался беседой; но часто гостей собиралось свыше сорока. Тогда Жаклен освещал кабинет и будуар. Между восемью и девятью в прихожую начинали стекаться слуги, являвшиеся за своими господами, а в десять в гостиной уже не оставалось ни души (разве только грянула бы революция). В этот час завсегдатаи расходились по улице группами, обсуждая тот или иной ход игры или продолжая обмениваться замечаниями по поводу присмотренных *клочков* пастбища, разделов наследств, раздоров между наследниками и претензий аристократического общества. Совсем как театральный разъезд в Париже! Некоторые люди много болтают о поэзии, ничего в ней не смысля, и ополчаются против провинциальных нравов; но поставьте ногу на каминную решетку, облокотитесь левой рукой на колено и подоприте лоб ладонью, а потом, когда вы ясно представите себе окрестный пейзаж, сам этот дом, его внутреннюю жизнь, это общество с его интересами, разрастающимися за счет своей основательности, как тончайшая золотая пластинка, расплющенная между листами пергамента, задумайтесь над этой спокойной, цельной картиной и спросите себя: что такое человеческая жизнь? Постарайтесь решить, кому вы отдадите предпочтение— тому ли, кто начертил уток на египетских обелисках,

или тому, кто двадцать лет подряд играл в бостон с дю Букье, г-ном де Валуа, мадемуазель Кормон, председателем суда, прокурором, аббатом де Спондом, г-жой Грансон *e tutti quanti*[1]? Ежедневное неуклонное хождение по одной и той же тропе, по собственным старым следам может быть сочтено если не подлинным счастьем, то заменой его, настолько полной, что его назовут счастьем все люди, которых треволнения бурной жизни навели на мысль о блаженстве покоя.

Чтобы выразить в цифрах все важное значение салона мадемуазель Кормон, достаточно сказать, что, по подсчетам дю Букье — присяжного статистика этого общества,— постоянные посетители салона располагали ста тридцатью одним голосом в избирательной коллегии, а годовой доход с земель, принадлежащих им в этой провинции, составлял в целом миллион восемьсот тысяч ливров. Тем не менее Алансон не весь был представлен этим салоном — у высшей аристократии был свой; кроме того, дом управляющего окладными сборами служил чем-то вроде поддерживаемого правительством административного кабачка, где танцевали, интриговали, повесничали, влюблялись и ужинали. При посредстве лиц смешанного типа оба эти салона сообщались с салоном Кормон; но кружок Кормон строго осуждал все, что происходило в двух других лагерях; хулил роскошь обедов, определял качества мороженого, подаваемого на балах, обсуждал поведение дам, туалеты, любое новшество, которое вводилось в этих кругах.

Мадемуазель Кормон — своего рода фирма, под которой подразумевался влиятельный кружок,— само собой, должна была стать точкой прицела для двух таких отъявленных честолюбцев, какими были шевалье де Валуа и дю Букье. Обоим это сулило депутатство; а значит, в дальнейшем, звание пэра — дворянину, должность управляющего окладными сборами — поставщику. Создать господствующий салон в провинции так же трудно, как в Париже, а кружок в доме Кормон уже был создан. Жениться на мадемуазель Кормон значило воцариться в Алансоне. Из всех трех претендентов на руку старой девы только Атаназ ничего уже не взве-

---

[1] И всеми, сколько ни на есть *(итал.)*.

шивал и любил невесту не меньше, чем ее приданое. Не заключалась ли своеобразная драма — слово, в наши дни очень ходкое—в положении этих четырех героев? Не таило ли в себе нечто диковинное это тройное соперничество — немая осада старой девы, которая и не догадывалась ни о чем, несмотря на то, что испытывала огромное и вполне законное желание выйти замуж? Но, хотя все вышеизложенное позволяет считать безбрачие этой девицы чем-то из ряда вон выходящим, нетрудно объяснить, как и почему столь богатая особа при наличии трех претендентов все еще не была замужем. Во-первых, по семейным традициям мадемуазель Кормон непременно желала выйти за дворянина, но с 1789 по 1799 год все крайне не благоприятствовало ее притязаниям. Она хотела стать знатной дамой, но безумно боялась революционного трибунала. Эти два чувства, равные по силе, привели ее в состояние неподвижности, согласно закону, действующему как в статике, так и в психике. Впрочем, неопределенность нравится девушкам, пока они еще уверены, что молоды и вправе выбирать себе мужа. Франция знает, что в результате политической системы, которой придерживался Наполеон, множество женщин овдовело. В годы его правления число женихов далеко не соответствовало числу богатых невест. Когда Консульство водворило внутренний порядок, внешние трудности по-прежнему препятствовали замужеству мадемуазель Кормон. Если, с одной стороны, Роза-Мария-Виктория отказывалась выйти за старика, то с другой — боязнь насмешек и обстоятельства не давали ей выйти за юнца; а между тем родители спешили как можно раньше женить своих сыновей, чтобы избавить их от рекрутчины. Наконец упрямое чувство собственности не позволяло мадемуазель Кормон выйти и за военного, ибо она искала себе мужа не для того, чтобы отдать его императору, она хотела держать его при себе. Следовательно, с 1804 по 1815 год ей не под силу было тягаться с молодыми девушками, отбивавшими друг у друга завидных женихов, ряды которых поредели под жерлами пушек. Кроме пристрастия к знатному имени, мадемуазель Кормон страдала весьма простительной манией — она хотела быть любимой ради нее самой. Подумайте только, до чего это желание

ее довело! Чтобы проверить искренность своих поклонников, она пустила в ход всю свою изобретательность, придумывала тысячи ловушек. Она так ловко расставляла свои капканы, что бедняги все как один попадались в них, не выдерживая причудливых испытаний, каким они подвергались незаметно для себя. Мадемуазель Кормон не то что изучала, а прямо-таки выслеживала их. Легкомысленно оброненного слова, шутки, хотя частенько и не совсем понятой ею, было достаточно, чтобы она отвергала искателей как недостойных: этот не имел ни души, ни сердца; тот был вралем и дурным христианином; один не прочь был повести ее под венец, но только для того, чтобы вырубить потом ее леса и разжиться; другой был не такого нрава, чтобы сделать ее счастливой; тут она пронюхала наследственную подагру; там ее испугало безнравственное прошлое; она, подобно церкви, требовала непорочного служителя пред свой алтарь; к тому же она хотела, чтобы ее взяли замуж за ее кажущееся безобразие и вымышленные недостатки, как другие женщины хотят, чтобы на них женились за их несуществующие достоинства и сомнительные прелести. Притязания мадемуазель Кормон проистекали из самых тонких чувств женского сердца; она рассчитывала ублажить впоследствии своего возлюбленного, раскрыв перед ним тысячи своих совершенств после свадьбы, когда другие женщины обнаруживают тысячи пороков, которые они тщательно скрывали; но ее дурно поняли: благородной девушке попадались лишь одни пошлые душонки, которые руководились прозаическими расчетами и ничего не смыслили в возвышенных расчетах чувства. Чем больше приближалась она к той роковой поре, что так метко зовется второй молодостью, тем больше возрастала ее недоверчивость. Она нарочно выставляла себя в самом невыгодном свете и так искусно играла свою роль, что и последние завербованные женихи уже не решались связать свою судьбу с судьбой особы, чья добродетель, играя с ними в прятки, требовала длительного изучения (а на это мало охотников среди мужчин, предпочитающих добродетель, бросающуюся в глаза). Вечный страх этой девицы, как бы на ней не женились лишь из-за денег, сделал ее сверх меры беспокойной и подозрительной; она стала гнаться за богача-

ми, но богачам были доступны знатные невесты; она сторонилась бедняков, не веря в их бескорыстие, которому придавала столь большое значение в подобном деле; ничего удивительного, что ее разборчивость и сложившиеся обстоятельства рассеяли окружавших ее мужчин, тщательно перебираемых ею, словно лежалый горох на кухонной доске. И мужчины, которых бедная барышня все больше и больше презирала с каждым несостоявшимся сватовством, неизбежно представали перед ней в неверном свете. А как непременное следствие, в ее характере появились черты глубокой мизантропии, придававшей ее речам оттенок некоторой горечи, а взгляду какую-то суровость. Безбрачие влекло за собой все более строгий образ жизни, ибо, отчаявшись найти достойного мужа, она занялась самоусовершенствованием. Возвышенная месть! Она шлифовала для господа бога неотделанный алмаз, отвергнутый мужчинами. Общественное мнение не замедлило обратиться против нее, ибо толпа присоединяется к приговору, который выносит сама себе незамужняя особа, не вступая в брак, упуская или отвергая женихов. Каждый решает, что подобный отказ основан на тайных причинах, которые всегда дурно истолковываются. Одни твердили о каких-то недостатках в ее сложении; другие приписывали ей тайные пороки,— но бедняжка была чиста, как ангел, здорова, как дитя, и преисполнена стремления к супружеской жизни, ибо была создана самой природой для всех радостей, утех и тягот материнства.

Между тем и внешность мадемуазель Кормон не оказывала должной помощи ее желаниям. У нее была та красота, что совершенно неосновательно зовется *дьявольской*,— одна лишь цветущая свежесть юности, какую, с богословской точки зрения, дьяволу неоткуда взять (если только здесь не имеется в виду постоянно томящая дьявола жажда освежиться). У этой богатой невесты ноги никак не могли сойти за женские ножки; меж тем она часто в простоте душевной выставляла их напоказ, когда подбирала платье, выйдя в дождь из дому или из церкви св. Леонарда. То были мускулистые ноги с небольшими икрами, выпуклыми и жилистыми, как у матроса, с широкими и плоскими ступнями. Полный, крепкий стан, дородность кормилицы, пухлые руки

с красными кистями — все было в соответствии с ее пышными формами и тучной белизной, отличающими нормандских красавиц. Глаза навыкате, неопределенного цвета, придавали ее круглому лицу, в чертах которого не было никакой одухотворенности, баранье выражение—изумленное и тупое, что, впрочем, пристало старой деве: не будь Роза Кормон простушкой, она казалась бы ею. Форма ее орлиного носа не подходила к низкому лбу, ибо подобное строение носа почти всегда сочетается с красотою лба. Несмотря на толстые красные губы— признак большой доброты,— этот лоб указывал на такую скудость мысли, когда разум неспособен руководить сердцем; по-видимому, мадемуазель Кормон хотя и творила добро, но несколько угловато. А мы строго порицаем добродетельных людей за их недостатки, хотя у людей порочных охотно признаем их достоинства. Каштановые волосы необычайной длины придавали Розе Кормон ту красоту, которая проистекает от силы и изобилия — двух основных особенностей ее натуры. В свою лучшую пору мадемуазель Кормон старалась держать голову в три четверти оборота, чтобы показать прехорошенькое ушко, красиво выделявшееся на голубоватой белизне шеи и виска, подчеркнутой огромною копною волос. В таком виде, в бальном наряде, ее можно было счесть красавицей. Ее роскошные формы, высокий рост, крепкое здоровье вызывали у офицеров Империи восхищенный возглас: «Ай да девка!» Но с годами, под неуловимым воздействием безмятежной добродетельной жизни, весь этот жир так неравномерно распределился по ее телу, что исказил его первоначальные пропорции. Теперь бы никакой корсет уже не обрисовал бедер этой бедной девушки, которая стала похожа на колоду. Исчезла юная соразмерность ее груди, колоссальный объем которой внушал теперь опасение, что стоит мадемуазель Кормон нагнуться — и верхняя громада туловища, перевесив, увлечет ее всю за собой; однако природа наделила ее противовесом, который делал излишними обманчивые уловки турнюра. У нее все было без подделки. Подбородок, утроившись, укоротил шею и придал неповоротливость голове. У Розы Кормон не было морщин, у нее были складки; и шутники уверяли, будто она вынуждена прибегать к детской присыпке, чтобы не вос-

палялась кожа. Перед заманчивыми прелестями такой толстухи не мог устоять волнуемый страстными мечтами молодой человек, каким был Атаназ. Юное воображение, смелое по своей природе, манит изобильная фламандская красота. То была жирная куропатка, привлекающая чревоугодников. Немало элегантных парижан, запутавшихся в долгах, весьма охотно покорились бы необходимости исправнейшим образом доставлять счастье мадемуазель Кормон. Однако бедняжке уже перевалило за сорок! Теперь, после долгих усилий наполнить свою жизнь теми интересами, без которых женщина — не женщина, Роза Кормон, вынужденная, несмотря ни на что, оставаться в девицах, укрепляла свою добродетель самым суровым благочестием. Ее прибежищем стала религия, эта великая утешительница строго хранимой девственности. Три года мадемуазель Кормон, послушная своему довольно невежественному духовнику, умерщвляла плоть, три года она под его руководством прибегала к таким мерам самобичевания, которые, если верить новейшей медицине, действуют совсем не так, как ожидал этот жалкий священник, не очень-то сведущий в гигиене. Мало-помалу благодаря нелепому благочестию монашеская бледность стала разливаться по лицу Розы Кормон, которая не раз отчаивалась, видя, как ее некогда белая кожа покрывается желтизной — вестницей перезрелости. Легкий пушок, оттенявший по уголкам ее верхнюю губу, начал не на шутку расти и образовал как бы налет копоти. И виски стали принимать перламутровые тона. Словом, молодость пошла на убыль. В Алансоне было доподлинно известно, что кровь донимает мадемуазель Кормон; она заставляла шевалье де Валуа выслушивать ее откровенные признания, исчисляла ему свои ножные ванны, придумывала вместе с ним охлаждающие средства. В таких случаях шевалье, хитрая бестия, вытаскивал из кармана свою табакерку и вглядывался в княгиню Горицу, словно испрашивая у нее заключения по этому вопросу.

— Замуж пора, дорогая барышня, замуж! — говорил он.

— Но кому довериться! — восклицала она.

Тут кавалер стряхивал крупинки табака, забившиеся в складки жилета или шелковых панталон. Всему све-

ту этот жест показался бы вполне естественным; но бедную девушку он всегда тревожил. Томления беспредметной страсти были так велики, что Роза не смела посмотреть в лицо ни одному мужчине, боясь выдать своим взглядом терзавшее ее чувство. Из причуды, которая, пожалуй, была не чем иным, как продолжением ее прежнего образа действий, боясь, как бы кто не подумал, что она выжила из ума и гоняется за женихами, мадемуазель Кормон не очень любезно обходилась с теми, кто еще годился ей в мужья и нравился ей. Не понимая побуждений старой девы, всегда исполненных благородства, большинство лиц ее круга считало, что с холостяками, своими товарищами по несчастью, она обращается так из мести за снесенный или предвидимый отказ.

В начале 1815 года мадемуазель Кормон достигла рокового возраста — сорока двух лет, но никому в этом не признавалась. Теперь ее желание выйти замуж приобрело напряженность, граничившую с помешательством, так как она почувствовала угрозу потерять всякие шансы на потомство; а она в своем святом неведении больше всего на свете желала иметь детей. Не было в Аланконе человека, который приписал бы этой непорочной деве хотя бы один нечистый любовный помысел; она была полна любви, вообще ничего не зная о любви; то была католическая Агнеса, не способная ни на одну из хитростей мольеровской Агнесы. Уже несколько месяцев как она полагалась на счастливый случай. Роспуск императорских войск и восстановление королевской армии произвели переворот в судьбе многих военных,— они возвращались к себе на родину, кто с половинным жалованьем, кто с пенсией, а кто и без нее, но все с одной мыслью — избавиться от своей плачевной участи, положив ей конец, который для мадемуазель Кормон мог стать восхитительным началом. Мудрено, чтобы во всей окрестности не нашлось среди вернувшихся какого-нибудь честного вояки, достойного уважения, а главное — человека крепкого здоровьем и подходящих лет, с хорошим характером, за что можно было бы простить бонапартистские взгляды; вероятно, нашелся бы и такой, который стал бы роялистом с целью вернуть себе утраченное место в обществе. Исходя из этих расчетов, Роза

Кормон в начале года еще выказывала мужчинам прежнюю суровость. Однако военные, поселившиеся в Алансоне, все оказались либо слишком старыми, либо слишком молодыми, чересчур ярыми бонапартистами или чересчур большими негодяями, личностями, ведущими образ жизни, несовместимый с благонравием, достоинством и богатством мадемуазель Кормон, так что она с каждым днем все больше и больше теряла надежду. Старшие офицеры еще при Наполеоне воспользовались преимуществами своего положения и все пережени-лись,— они-то и стали роялистами в интересах своих семей. Сколько мадемуазель Кормон ни молила милосердного бога ниспослать ей супруга, дабы она могла вкусить счастье по-христиански, но, видно, ей на роду было написано умереть девой-мученицей, ибо не выискивался ни один мужчина, который сколько-нибудь годен был в мужья. Беседы, которые велись по вечерам в ее гостиной, давали настолько обстоятельный полицейский обзор всего города, что стоило какому-нибудь приезжему появиться в Алансоне, как мадемуазель Кормон уже получала точную справку о его образе жизни, средствах и достоинствах. Но Алансон—город, ничем не привлекательный для приезжих, через него не пролегает путь ни к одной столице, и счастливые случайности здесь невозможны. Моряки, направляющиеся из Бреста в Париж, даже не останавливаются тут. В конце концов бедная девушка поняла, что должна удовольствоваться местными жителями; вот почему она иногда смотрела зверем, на что хитроумный шевалье отвечал понимающим взором, вытаскивал табакерку и созерцал свою княгиню Горицу: г-н де Валуа знал, что с женской точки зрения верность прошлому служит порукой надежного будущего. Но мадемуазель Кормон, надо сознаться, была малосообразительна — она ничего не понимала в игре с табакеркой. Она удвоила свое неусыпное рвение к борьбе с *лукавым*. Суровое благочестие и строжайшие правила способствовали тому, что эти жестокие муки оставались тайной ее частной жизни. Каждый вечер, проводив гостей, она думала о своей погибшей молодости, о поблекшей свежести, о требованиях обойденной природы; и, принося в жертву к подножию креста свои мечты—эти поэмы, обреченные никогда не увидеть света,— она твердо да-

вала себе зарок: если встретится человек, готовый жениться на ней, не подвергать его испытаниям, а принять таким, каков он есть. В иные особенно томительные вечера она, испытуя свои сердечные склонности, мысленно уже соглашалась выйти за одного подпоручика, заядлого курильщика, которого она своими заботами, добротой и уступчивостью собиралась превратить в самого достойного человека на свете; ее не останавливало даже то, что он был по уши в долгах. Но для подобных фантастических браков требовалась тишина ночи, когда Розе Кормон нравилось разыгрывать возвышенную роль ангела-хранителя. На следующее утро, если постель девицы Кормон и свидетельствовала о беспокойном сне, зато свою барышню Жозетта заставала во всеоружии собственного достоинства; на следующее утро, позавтракав, Роза уже хотела другого мужа — добродушного помещика, лет сорока, моложавого, хорошо сохранившегося.

Аббат де Спонд не был способен помочь племяннице в ее матримониальных ухищрениях. Этот старичок, лет около семидесяти, приписывал напасти французской революции неисповедимым предначертаниям провидения и видел в ней не что иное, как кару, которая постигла разложившуюся церковь. Поэтому аббат де Спонд бросился на давно всеми заброшенный путь, который отшельники некогда прокладывали для себя в царствие небесное: он вел жизнь аскета, но без выспренности, без показной торжественности. Он скрывал от света свои добрые дела, нескончаемые молитвы и подвиги умерщвления плоти; он считал, что в такое смутное время все священники должны действовать подобным же образом, и поучал их своим примером. Обращая к миру спокойное, улыбающееся лицо, он в конце концов совершенно отрешился от мирских дел; его мысли были заняты заботами об участи обездоленных, о нуждах церкви и о спасении души. Он передал управление всем своим имуществом племяннице, которая ему вручала его доход, а он, выделив ей скромную сумму на свое содержание, остальные деньги потихоньку раздавал бедным и жертвовал на церковь. Вся нежность аббата сосредоточилась на племяннице, которая почитала его, как отца; но это был отец не от мира сего, нисколько не по-

нимавший волнений плоти, возносивший благодарность небу за то, что бог поддерживает его дорогую дочь в безбрачии, ибо сам аббат смолоду следовал взглядам святого Иоанна Златоуста, который писал, что «девственность настолько выше брака, насколько ангел выше человека». Из привычного почтения к дядюшке мадемуазель Кормон не смела признаться ему, как она жаждет замужества. Впрочем, старичку, который свыкся с распорядком дома, вряд ли пришлось бы по душе, если бы здесь водворился хозяин. Поглощенный мыслью о сирых и убогих, которым он помогал, погруженный в бездонную глубину молитв, он частенько проявлял рассеянность, которую в его кругу принимали за старческую забывчивость; малоразговорчивый, он хранил ласковое, благожелательное безмолвие. Высокого роста, сухощавый, важный и величественный в обращении, неизменно сохранявший на лице выражение кротости и глубокого душевного покоя, человек этот своим присутствием придавал дому Кормон священный авторитет. Он очень любил вольтерьянца шевалье де Валуа. Эти два славных обломка аристократии и духовенства, при всем несходстве характеров, чувствовали друг в друге что-то общее. Впрочем, отношение шевалье к аббату де Спонду было настолько же елейным, насколько оно было отеческим к гризеткам.

Кое-кто, быть может, подумает, что мадемуазель Кормон, идя к своей цели, не останавливалась ни перед чем; что, прибегая к узаконенным, дозволенным женщине уловкам, она обращалась к нарядам, к низко вырезанным корсажам, что она позволяла себе предосудительно кокетничать своими великолепными доспехами. Ничуть не бывало! Она держалась в своих одеждах стоически неподвижно, как часовой в караульной будке. Ее шляпы, платья и все прочие туалеты изготовлялись двумя алансонскими модистками, сестрами-горбуньями, не лишенными вкуса. Вопреки настояниям обеих мастериц, мадемуазель Кормон отвергала ловкие измышления элегантности; она хотела, чтобы все в ней было роскошно — и стан и уборы; и, пожалуй, тяжелый покрой ее платьев отлично шел к ее внешности. Всякому вольно смеяться над бедной девой! Но вы, благородные души, те, кто мало придает значения форме, облекающей

чувство, кто восхищается им повсюду, где бы оно ни было,— вы сочтете ее существом возвышенным! Тут некоторые поверхностные женщины попробуют оспаривать правдоподобность этого повествования; они скажут, что во всей Франции не сыскать такой глупышки, которая не умела бы искусно подцепить себе мужа, что мадемуазель Кормон — одно из тех нелепых исключений, какие здравый смысл запрещает возводить в тип; что самая целомудренная, не знающая жизни девушка, задумав поймать пескаря, всегда найдет приманку для своей удочки. Однако такая критика отпадает сама собой, когда подумаешь, что великая римско-католическая и апостольская вера еще крепко стоит в Бретани и в бывшем Алансонском герцогстве. Вера и благочестие не допускают подобных хитростей. Мадемуазель Кормон шествовала по пути спасения души — и тернии своего затянувшегося до бесконечности девства предпочитала злу обмана, греху лукавства. У девицы, вооруженной чувством благочиния, добродетель не могла пойти на уступки; поэтому люди, влекомые к ней любовью или расчетом, должны были бы сами решительно пойти на приступ. Кроме того, соберемся с духом, чтобы сделать одно признание, жестокое в такие времена, когда для одних религия — только средство, для других — только поэзия. Набожность вредит душевной зоркости. Милостью провидения она отнимает у душ, устремленных к вечному, способность замечать множество земных мелочей. Попросту говоря, святоши во многом глупы. Впрочем, эта глупость свидетельствует об усердии, с каким они возносят дух свой горé; правда, по утверждению вольтерьянца г-на де Валуа, чрезвычайно трудно решить: то ли глупым женщинам свойственно впадать в ханжество, то ли ханжам свойственно глупеть. Поверьте, самая чистая католическая добродетель, с ее страстной готовностью испить любую горькую чашу, с ее благоговейной покорностью велению божьему, с ее верой в печать божественного перста на всех живых творениях,— вот тот скрытый свет, который, проникнув в последние звенья этой истории, подчеркнет ее истинный смысл и, безусловно, возвысит ее в глазах тех, кто еще не утратил благочестия. Притом, если существует на свете глупость, отчего же не заняться страданиями глупых

людей, как занимаются страданиями людей гениальных? Первые — общественный элемент, бесконечно более распространенный, чем вторые. Итак, мадемуазель Кормон грешила в глазах света божественным неведением девственницы. Она была совсем лишена наблюдательности, что в достаточной степени подтверждалось ее обращением с женихами. В наше время молоденькая шестнадцатилетняя девушка, которая еще не держала в руках ни одного романа, прочла бы целые сотни страниц любви в глазах Атаназа, а мадемуазель Кормон ничего в них не заметила; она не распознала по его трепетным речам силу чувства, не смевшего себя выразить. Стыдливая сама, она не угадывала стыдливости у другого. Способная измышлять всякие тонкости высокого чувства, что было для нее гибельно с самого начала, она не распознала их в Атаназе. Такое психологическое явление не покажется необычайным тем, кто знает, что достоинства сердца не связаны с достоинствами ума, как гениальность не связана с благородством души. Люди совершенные весьма редки — недаром Сократ, прекраснейший из перлов человечества, соглашался с френологом своего времени, что он, мудрец Сократ, рожден был стать большим плутом. Великий полководец способен спасти свое отечество в битве при Цюрихе и стакнуться с поставщиками. Банкир сомнительной честности может оказаться государственным деятелем. Великий музыкант, которому дано слагать дивные мелодии, может совершить подлог. Женщина с чутким сердцем может быть дурой набитой. Наконец, благочестивая дева может обладать возвышенной душой и не услышать рядом с собой голоса другой прекрасной души. Странности проистекают равно как от физического, так и от душевного убожества. Мадемуазель Кормон, это добродушное создание, горевавшее, что, кроме нее и дядюшки, некому лакомиться ее вареньем, стала чуть ли не посмешищем. Даже люди, у которых старая дева вызывала симпатию своими достоинствами, а у иных и своими недостатками, зубоскалили по поводу ее несостоявшихся свадеб. Не раз в разговорах затрагивался вопрос о том, что станется с таким прекрасным имуществом, со сбережениями мадемуазель Кормон, а также с наследством ее дяди. С давних пор все вокруг подозревали,

что Роза, вопреки видимости, по существу *оригиналка*. В провинции не разрешается быть оригинальным — это значит иметь никому не понятные идеи, а здесь хотят равенства умов и равенства характеров. Брак мадемуазель Кормон стал с 1804 года столь сомнительным, что выражение *выйти замуж, как мадемуазель Кормон*, вошло у алансонцев в поговорку и было равносильно самому насмешливому отрицанию. Должно быть, насмешка отвечает одной из крайне настоятельных потребностей француза, если в Алансоне могли подтрунивать над такой превосходной особой. Она не только принимала у себя весь город, но была благотворительна, благочестива, беззлобна; она к тому же настолько слилась с духом и нравом алансонцев, что они любили ее, как чистейший символ своей жизни,— ибо она закоснела в обыденной жизни провинциальной глуши, она никогда ее не покидала, разделяла ее предрассудки, принимала к сердцу ее интересы, боготворила ее. Несмотря на восемнадцать тысяч годового дохода с земельной собственности — значительное состояние для провинции,— она во всем обиходе ничуть не отличалась от менее богатых семейств. Отправляясь в свое имение Преботе, мадемуазель Кормон пускалась в путь в старой одноколке, у которой плетеный кузов подвешен был на двух широких сыромятных ремнях и прикрыт двумя кожаными фартуками. За этой знакомой всему городу тележкой, в которую впрягали крупную запаленную кобылу, Жаклен ухаживал, словно за самым красивым парижским выездом: мадемуазель Кормон очень дорожила своим экипажем, она ездила в нем уже двенадцать лет, на что всегда с торжеством обращала внимание окружающих, радуясь этим ухищрениям скупости. Большинство горожан было признательно мадемуазель Кормон за то, что она не унижала их своей роскошью, не любила пускать пыль в глаза; надо думать, что, выпиши она коляску из Парижа, об этом судачили бы больше, чем о ее несостоявшихся свадьбах. Впрочем, старая одноколка доставляла ее в Преботе так же исправно, как это сделал бы самый блестящий экипаж. А ведь провинция, которая всегда видит перед собой конечную цель, мало заботится о красоте средств, были бы они только действительны.

Для полноты изображения домашнего быта мадемуазель Кормон и аббата де Спонда необходимо вокруг них сгруппировать Жаклена, Жозетту и кухарку Мариетту, которые радели о благополучии дяди и племянницы. Жаклен, сорокалетний мужчина, толстый, приземистый, краснолицый и черноволосый, похожий наружностью на бретонского матроса, служил в этом доме уже двадцать два года. Он подавал к столу, чистил скребницей лошадь, работал в саду, ваксил башмаки аббата, был на посылках, пилил дрова, правил одноколкой, ездил за овсом, сеном и соломой в Пребоде, а по вечерам, сонный, как сурок, пребывал в прихожей; по слухам, он любил Жозетту, тридцатишестилетнюю девушку, которую мадемуазель Кормон не держала бы у себя ни одного дня, если бы та вышла замуж. Поэтому бедные влюбленные копили деньги и втихомолку любили друг друга, с надеждой ожидая замужества барышни, как евреи— пришествия мессии. Жозетта, уроженка местности между Алансоном и Мортанью, была маленькой толстушкой; ее лицо, похожее на перепачканный абрикос, было довольно умным и выразительным; шла молва, что она вертит своей госпожой. Жозетта и Жаклен были уверены в благополучном исходе, и довольный вид их заставлял думать, что эта влюбленная парочка не откладывает счастья в долгий ящик. Кухарка Мариетта, которая тоже прожила в доме немало — целых пятнадцать лет,— мастерски готовила все блюда, бывшие в чести в этом краю.

Не следовало бы умалять значение и старой гнедой — крупной кобылы нормандской породы,— возившей мадемуазель Кормон в ее поместье Пребоде, ибо все пятеро обитателей дома питали к этому животному привязанность, граничившую с манией. Лошадь звали Пенелопой, она служила уже восемнадцать лет; она была всегда ухожена, всегда вовремя накормлена и напоена; Жаклен и барышня надеялись, что она послужит еще лет десять, а то и больше. Пенелопа являлась предметом постоянных разговоров и забот; бедная мадемуазель Кормон, не имея возможности излить свое материнское чувство на детей, как бы перенесла его нерастраченным на это счастливое четвероногое. Пенелопа помешала барышне завести канареек, кошек, собак — все,

что заменяет семью для существ, обреченных в человеческом обществе на одиночество.

Четверо верных домочадцев — ибо своей понятливостью Пенелопа поднялась до уровня этих славных слуг, меж тем как они опустились до покорной выносливости бессловесных тварей,— изо дня в день выполняли одну и ту же работу непогрешимо точно, как автоматы. «Что же,— говорили слуги на своем языке,— нанялся— продался». Мадемуазель Кормон, подобно всем, у кого нервы возбуждены одной навязчивой идеей, с каждым днем становилась все придирчивее, привередливее, не столько в силу характера, сколько из-за жажды деятельности. Лишенная возможности отдаться заботам о муже и о детях, об их нуждах, она цеплялась за мелочи. Могла часами ворчать по пустякам, из-за какой-нибудь дюжины салфеток, помеченных буквой «z», но положенных выше дюжины, помеченной буквой «o».

— И о чем только думает Жозетта! — кричала она.— Видно, ей уже ни до чего нет дела?

Как-то выдалась такая неделя, когда барышня ежедневно осведомлялась, не забыли ли в два часа задать Пенелопе очередную порцию овса,— и все только потому, что Жаклен один-единственный раз запоздал с этим. Ее убогое воображение всегда занято было пустяками: слой пыли, оставленный метелкой, ломтики хлеба, недостаточно поджаренные Марието́й, нерасторопность Жаклена, не успевшего занавесить окна от солнца, чтобы не выгорала мебель,— все эти мелкие провинности приводили к крупным ссорам, и барышня выходила из себя. Право, все на свете меняется, горячилась мадемуазель Кормон, прежних слуг не узнать; они отбились от рук, она была чересчур добра! Однажды Жозетта подала ей «День христианина» вместо «Пасхальной седьмицы». В тот же вечер весь город узнал об этом несчастье. Мадемуазель была вынуждена уйти домой из церкви св. Леонарда, из-за чего ей пришлось потревожить всех молящихся, и ее внезапный уход дал повод к нескромным шуткам, так что ей пришлось рассказать друзьям, чем было вызвано это происшествие.

— Жозетта,— кротко сказала она,— чтоб этого больше не было.

Сама того не подозревая, мадемуазель Кормон была

очень рада этим маленьким перебранкам, которые давали выход накопившейся желчи. У разума свои требования; у него, как и у тела, своя гимнастика. Эти перемены в расположении духа принимались Жозеттой и Жакленом так, как земледельцами перемена погоды. Трое славных людей говорили: «хорошая погода!» или «ненастье!», не ропща на небо. Порою, проснувшись, они спрашивали друг друга поутру, у себя на кухне, с какой ноги нынче встанет барышня, подобно тому как фермер вглядывается в предрассветный туман. В конце концов мадемуазель Кормон, как и следовало ожидать, стала любоваться собственным отражением в бесконечно малых величинах своей жизни. Она и господь бог, ее духовник и стирка белья, ее варенье и церковные службы, заботы о дядюшке — все это поглощало и без того слабый ум старой девы. Ничтожные мелочи непомерно разрастались в ее глазах в силу оптических свойств людского эгоизма, врожденного или благоприобретенного. Она пользовалась таким превосходным здоровьем, что малейшее расстройство пищеварительного аппарата расценивалось ею как нечто угрожающее. Впрочем, мадемуазель Кормон не выходила из повиновения медицине наших бабушек и четыре раза в году из предосторожности принимала очистительные, от которых могла бы околеть Пенелопа, но старая дева получала лишь хорошую встряску. Если Жозетта, одевая барышню, обнаруживала у нее прыщик где-нибудь на лопатках, еще не утративших атласистости, это вызывало грандиозные расследования по поводу каждого глотка пищи за всю истекшую неделю. Что было за торжество, если Жозетта напоминала своей госпоже о каком-нибудь чересчур остро приправленном заячьем жарком, от которого, очевидно, и вскочил проклятый прыщик. С какой радостью они восклицали в один голос:

— Несомненно, это от зайца!

— Мариетта слишком его наперчила,— продолжала барышня.— Сколько я ей твержу,— готовь *послаще* для дядюшки и для меня, но у Мариетты память короче...

— ...чем заячий хвост,— подсказывала Жозетта.

— Вот, вот! — подхватывала барышня.— У нее память короче заячьего хвоста. Ты это метко сказала!

Четыре раза в году, в начале весны, осени, лета и зимы, мадемуазель Кормон отправлялась на непродолжительное время в свое имение Пребоде. События, о которых ведется речь, происходили в середине мая, в ту самую пору, когда мадемуазель Кормон нужно было посмотреть, дали ли ее яблони достаточно *снега* — местное словцо, основанное на впечатлении от облетевшего яблоневого цвета. Если осыпавшиеся лепестки образуют под деревьями кольцевидную груду, плотную, как снежный пласт, землевладелец может ожидать обильных запасов сидра. Прикидывая таким способом, на сколько бочонков можно рассчитывать, мадемуазель Кормон в то же время наблюдала за ремонтом, неизбежным после зимы; она распоряжалась работами в огороде и фруктовом саду, которые доставляли ей множество припасов. Каждое время года приносило свои хлопоты. Перед отъездом из города мадемуазель Кормон устраивала прощальный обед для своих верных друзей, хотя через три недели ей предстояло снова с ними увидеться. Всякий раз весть об отъезде мадемуазель Кормон гремела по всему Алансону. Завсегдатаи, пропустившие перед этим один визит, спешили тогда к ней; ее приемные комнаты бывали полным-полны; каждый желал ей счастливого пути, словно ей предстояла поездка в Калькутту. А на следующее утро торговцы выходили на порог своих лавок. Стар и млад глазели на проезжавшую одноколку; казалось, они сообщали друг другу небывалую новость, повторяя наперебой: «Мадемуазель Кормон едет в Пребоде!» В одном месте слышалось: «Да, вот кто может не беспокоиться о завтрашнем дне!»—«Эх, приятель,— отвечал сосед,— это славная барышня; если бы деньги всегда попадали в такие руки, перевелись бы нищие в нашей стороне». А из другого места доносилось: «Вот так так. Значит, цветут наши «виноградники» — мадемуазель Кормон уже едет в Пребоде. Как это понять, почему так мало охотников на ней жениться?» — «А вот я бы не прочь пойти с ней под венец,— откликался какой-нибудь балагур.— Свадьба наполовину решена, раз одна сторона согласна; да другая не хочет, вот беда! Что толковать! Этот ананас не про нас, он для господина дю Букье!» — «Дю Букье... она ему отказала». В тот же вечер во всех гостиных многозначительно повто-

ряли: «Мадемуазель Кормон уехала», или: «Стало быть, вы допустили, чтобы мадемуазель Кормон уехала?!»

День, выбранный Сюзанной для скандальных изобличений, по игре случая совпал с такой именно средой — днем отъезда мадемуазель Кормон, когда барышня своими сборами в дорогу доводила Жозетту до того, что у той голова шла кругом. Итак, в это утро в городе творилось и говорилось много такого, что придало волнующий интерес прощальному сбору гостей. Пока старая дева обсуждала, что ей может понадобиться в дороге, а хитрый шевалье играл в пикет у царицы аристократического лагеря, мадемуазель Арманды д'Эгриньон, сестры старого маркиза д'Эгриньона,— госпожа Грансон успела обежать с десяток домов и раззвонить о происшествии во все колокола.

Если никто не относился безучастно к тому, какую мину скорчит соблазнитель на вечере, то для шевалье де Валуа и г-жи Грансон важно было знать, как примет эту новость мадемуазель Кормон в своей двойной роли девушки-невесты и председательницы Общества вспомоществования матерям. Что касается ни в чем не повинного дю Букье, то он, прохаживаясь по улице дю Кур, подумывал, уж не одурачила ли его Сюзанна; это подозрение убеждало его в справедливости правил, которых он держался относительно женщин.

По таким торжественным дням у барышни Кормон стол был накрыт к половине четвертого. В те годы фешенебельное общество Алансона только в исключительных случаях обедало в четыре часа. Во времена Империи там обедали еще по старинке — в два часа пополудни; но зато там ужинали! Если что тешило мадемуазель Кормон, если что доставляло ей невыразимое удовольствие, невинное, но безусловно покоящееся на эгоизме,— так это сознание, что она одета, как подобает хозяйке дома, поджидающей гостей. Стоило ей облечься в бранные доспехи, и луч надежды закрадывался во мрак ее сердца; тайный голос шептал ей, что не напрасно она так одарена природой, что скоро для нее найдется жених. Все это придавало свежесть ее желаниям, подобно тому, как она только что придала свежесть своей внешности; она вертелась у зеркала, с упоением разглядывала себя, наряженную в

платье из *двусторонней* ткани; чувство самодовольства не покидало ее и позднее, когда она спускалась в нижний этаж, чтобы окинуть придирчивым взглядом гостиную, кабинет и будуар. Она похаживала по комнатам с простодушной радостью богача, который поминутно обращается к мысли, что он богат и никогда не будет терпеть нужды. Она смотрела на свою вековечную мебель, на предметы старины, на китайский лак и думала, что все эти прелестные вещи ждут хозяина. Налюбовавшись на столовую, где на длинном, во всю комнату, столе, покрытом белоснежной скатертью, было расставлено, через равные промежутки, до двенадцати столовых приборов; произведя смотр бутылкам самых почтенных марок, выбранным по ее приказанию; тщательно проверив билетики с именами гостей, выведенными дрожащей рукою аббата — единственная возложенная на него хозяйственная обязанность, постоянно служившая поводом к нешуточным пререканиям из-за места для каждого приглашенного,— мадемуазель в нарядном своем платье присоединялась к дядюшке, который в ту пору, лучшую пору дня, гулял по площадке вдоль Бриллианты, прислушиваясь к щебетанию птиц, гнездившихся в густой зелени аллеи, где им не угрожали ни озорники-мальчишки, ни охотники. В эти часы ожидания Роза всегда подходила к аббату де Спонду с какими-нибудь нелепыми вопросами, чтобы втянуть доброго старика в занимательный, как ей казалось, спор. Это вытекало из одной ее особенности, которая и должна довершить портрет превосходной девицы.

Мадемуазель Кормон почитала беседу своим священным долгом: не то, чтобы она отличалась болтливостью — к несчастью, ее мозг и словарь были слишком бедны, чтобы она могла разглагольствовать,— но она внушила себе, что исполняет таким образом общественный долг, предписанный церковью, которая повелевает нам угождать ближним. Эта обязанность обходилась ей так дорого, что она советовалась со своим наставником, аббатом Кутюрье, по поводу такой добросовестной ребяческой учтивости. Невзирая на смиренное признание своей духовной дочери в том, что ей долго приходится ломать себе голову в поисках темы для разговора, старый священник, неумолимый в вопросах самоби-

чевания, прочитал ей целый отрывок из святого Франциска Сальского о долге светской женщины, о благопристойной веселости благочестивых христианок, которым надлежит держать свою строгость при себе и оказывать любезное внимание ближнему, дабы он не соскучился в их доме. Преисполненная сознания своего долга и боязни ослушаться духовника, который велел ей быть приветливо-разговорчивой, бедняжка обливалась по́том в своем корсете, когда разговор становился вялым,— таких мучений ей стоило выжать из головы какую-нибудь мысль, пытаясь оживить замиравшую беседу. В подобных случаях она разрешалась удивительными изречениями вроде, например, такого: *Никто не может быть в одно время в двух местах, разве только птичка,* чем однажды не без успеха вызвала диспут о вездесущности апостолов, в котором ровно ничего не поняла. Такие своего рода *открытия* снискали старой деве в ее кругу прозвище *доброй мадемуазель Кормон,* что в устах умников из этого общества значило: «она глупа как пробка и на редкость невежественна»; впрочем, многие люди ее уровня понимали лестный эпитет буквально и поддакивали: «О, мадемуазель Кормон превосходная особа!» Порой, движимая желанием сделать гостям приятное и тем самым выполнить свой долг перед светом, она задавала настолько несуразные вопросы, что все вокруг покатывались со смеху. Она, например, спрашивала, куда это правительство девает налоги, получаемые им с незапамятных времен; почему библия не была напечатана во времена Иисуса Христа, если ее составил еще Моисей? Она недалеко ушла от того country gentlman'a [1], который, слыша в палате общин постоянные разговоры о потомстве, встал со своего места, чтобы произнести следующий, прославивший его *спич*: «Господа, я слышу здесь постоянные разговоры о *потомках,* я бы очень хотел знать, что сделало государство Потомкия для Англии?» В таких случаях доблестный шевалье де Валуа, подметив улыбку, которой обменивались безжалостные полузнайки, устремлял на помощь старой деве все силы своей дипломатической находчивости. Старый аристократ, которому нравилось одари-

[1] Помещика *(англ.).*

вать женщин, уделял мадемуазель Кормон частицу своего ума; оказывая ей поддержку при помощи парадоксальных толкований, он чрезвычайно ловко прикрывал отступление, и иной раз могло показаться, что старая дева изрекла не такую уж глупость. Однажды она не шутя призналась, что не знает, какая разница между волами и быками. Обворожительный шевалье остановил взрыв хохота, ответив, что волы могут быть только дядюшками телок. Другой раз, слыша толки о коннозаводстве и о трудностях этого промысла — разговоры частые в краю, где имеется превосходный конский завод Пэна,—она спросила, почему лошади не приносят жеребят по два раза в год! Шевалье отвлек общий смех на себя.

— Это было бы вполне возможно! — сказал он. Присутствующие навострили уши.— Всему виной,— продолжал он,— естествоиспытатели, которые до сих пор не сумели заставить кобылиц носить меньше одиннадцати месяцев.

Шевалье де Валуа служил неблагодарной, ибо мадемуазель Кормон не поняла ни одной из его рыцарских услуг. Видя, что беседа оживляется, Роза начинала думать, что она не так глупа, как ей казалось. В конце концов она перестала замечать свое невежество и чувствовала себя прекрасно, уподобившись герою «Рассеянного», герцогу де Бранкасу, который так удобно расположился во рву, куда по неосторожности упал, что, когда пришли вытаскивать его оттуда, спросил, чего, собственно говоря, от него хотят. С этой довольно недавней поры старая дева избавилась от своей робости и приобрела апломб, придававший ее открытиям тот торжественный оттенок, какой вносится англичанами в их нелепые «патриотические» выходки и является как бы фатовством глупости.

Итак, подходя павою к дядюшке, она заранее смаковала вопрос, с каким обратится к нему, чтобы вывести его из безмолвия, всегда ее тревожившего: ей казалось, что он скучает.

— Дядюшка,— сказала она, повисая у него на руке и весело прижимаясь к нему (еще одна утеха ее воображения — она думала: «Будь у меня муж, я бы ходила с ним вот так!»), — дядюшка, если все на земле вершится по воле божьей, значит, все имеет свой смысл?

— Разумеется,— серьезно подтвердил аббат де Спонд, который, нежно любя племянницу, с неизменным ангельским терпением отрывался для нее от своих мыслей.

— А если, предположим, я останусь в девушках? Выходит, так угодно богу?

— Да, дитя мое,— ответил аббат.

— Но так как ничто не мешает мне выйти замуж хоть завтра, получается, что воля божья может быть нарушена моею волей?

— Все это было бы верно, если бы мы знали истинную волю божью,— ответствовал бывший приор Сорбонны.— Заметь, дочь моя, ты же говоришь *если*.

Бедняжка, надеявшаяся с помощью упоминания о всемогуществе божьем вовлечь дядюшку в обсуждение брачного вопроса, была озадачена; но люди тупоголовые следуют ужасающей логике детей, которые переходят от ответа на свой вопрос к новым вопросам и подчас ставят взрослых в весьма затруднительное положение.

— Дядюшка, но ведь господь создал женщин не для того, чтобы они оставались в девушках; пусть бы уж тогда они были либо все девушками, либо все женщинами. А то роли распределяются несправедливо.

— Дочь моя,— возразил аббат,— ты оспариваешь учение церкви, которая предписывает безбрачие, как самый верный путь в царство божие.

— Допустим, что церковь права, но ведь если бы все стали добрыми католиками, то род человеческий прекратился бы, дядюшка?

— У тебя чересчур много ума, Роза, его совсем не нужно столько, чтобы быть счастливой.

Такие слова вызывали улыбку удовольствия на устах бедной девушки и упрочивали выгодное мнение о собственной персоне, какое начинало у нее складываться. Вот так-то свет — друзья и недруги — оказывает поддержку нашим недостаткам! Тут беседа была прервана, так как один за другим стали приходить гости. В такие торжественные дни местные нравы допускали некоторую короткость между слугами и гостями. Мариетта, завидев председателя суда, первостатейного любителя хорошо покушать, заговаривала с ним:

— Ах, господин де Ронсере, я приготовила цветную капусту в сухарях именно для вас, потому что барышня знает, как вы любите это блюдо, и сказала мне: «Мариетта, не забудь про цветную капусту, к нам сегодня пожалует господин председатель!»

— Ах, эта добрая мадемуазель Кормон! — отвечал местный служитель правосудия.— Надеюсь, Мариетта, капусту приправляли не бульоном, а маслом? Так вкуснее!

Председатель суда отнюдь не гнушался заходить в кухонную палату совещаний, где Мариетта вершила свои дела, которые он оценивал взглядом чревоугодника и поддерживал советом знатока.

— Добрый день, сударыня,—обращалась Жозетта к г-же Грансон, которая всегда старалась подольститься к горничной,— мадемуазель позаботилась о вас — будет вам рыбное блюдо.

Что же касается шевалье де Валуа, то он говорил Мариетте непринужденным тоном знатного вельможи, который держит себя запросто:

— Ну-с, искуснейшая повариха, достойная креста Почетного легиона, не следует ли оставить место для какого-нибудь особенно лакомого кусочка?

— Да, да, господин де Валуа, будет заяц, привезенный из Пребоде, он весил четырнадцать фунтов!

— Прекрасно,— одобрял шевалье.— Ого, четырнадцать фунтов!

Дю Букье приглашения не получил. Мадемуазель Кормон, верная уже известной вам системе, порядком третировала этого пятидесятилетнего холостяка, к которому она питала какое-то безотчетное чувство, сокрытое в самых глубоких тайниках ее сердца; хотя она отказала ему, но по временам раскаивалась в этом; иногда ее охватывало как бы предчувствие, что рано или поздно она станет его женой, и вместе с тем ужас, который мешал ей желать этого брака. Под воздействием подобных мыслей душа ее была постоянно занята им. Республиканец геркулесовского сложения нравился ей, пускай она себе в этом и не признавалась. Хотя г-жа Грансон и шевалье де Валуа не могли уяснить себе противоречий мадемуазель Кормон, но, перехватив несколько раз простодушные красноречивые взгляды, ко-

торые она украдкой бросала исподлобья на г-на дю Букье, они оба старались разбить надежды бывшего поставщика, уже обманувшие его однажды, но еще не оставленные им. Двое приглашенных, занятые делами — что заранее служило им извинением,— заставили себя ждать; один из них — г-н дю Кудре, чиновник опекунского совета; другой — г-н Шенель, бывший управитель у д'Эгриньонов, стряпчий высшей аристократии, у которой он был принят и пользовался вполне заслуженным уважением,— между прочим, человек довольно состоятельный. Когда двое запоздавших пришли, Жаклен сказал им, видя, что те направляются в гостиную:

— *Они* все в саду.

Несомненно, желудки испытывали нетерпение, потому что чиновник опекунского совета— один из приятнейших людей в городе, достойный порицания только за то, что женился из-за денег на несносной старухе да постоянно отпускал нелепейшие каламбуры, которым сам же первый смеялся,— вызвал своим приходом легкий гул, каким в подобных случаях встречают последних запоздалых гостей. Дожидаясь обряда приглашения к столу, вся компания гуляла по площадке вдоль Бриллианты, разглядывая водяные растения, мозаику речного дна и живописные детали домиков, прикорнувших на другом берегу, их ветхие дощатые галерейки, окна с обветшалыми подоконниками, столбы, подпиравшие какую-нибудь покосившуюся лачугу, готовую упасть в речку, палисадники, где сушатся лохмотья, столярную мастерскую—словом, убогую окраину захолустного городишки, которой близость реки, ветви плакучей ивы, какой-нибудь куст роз придают бог знает что за прелесть, достойную кисти художника. Шевалье изучал лица всех присутствующих, так как ему было известно, что его зажигательный снаряд благополучно долетел до высших кругов города; но об этой важной новости касательно Сюзанны и г-на дю Букье вслух никто еще не обмолвился ни словом. Провинциалы в высшей степени владеют искусством процеживать сплетни; не наступил еще миг завести в гостиной беседу об этом странном приключении, нужно было всем сговориться. Поэтому гости шептали друг другу на ухо: «Вы знае-

те? — Да.— О дю Букье? — И красавице Сюзанне! — Мадемуазель Кормон ничего об этом не знает? — Нет.— А!» Хор сплетников звучал тихо и, постепенно нарастая, становясь все громче и громче, должен был грянуть во всю мощь за обедом, после того как подадут первую перемену. Вдруг шевалье де Валуа заметил г-жу Грансон, в зеленой шляпке, украшенной букетиками первоцветов; по лицу вдовы пробегал трепет. Не подмывало ли ее начать концерт? Хотя в однообразной жизни города подобная новость для всех была своего рода богатой золотоносной жилой, но наблюдательному и подозрительному шевалье показалось, что он увидел у этой старушки признаки какого-то особенно захватывающего чувства — радости по поводу торжества личных интересов!.. Он тотчас обернулся, чтобы всмотреться в Атаназа, и заметил, что тот погружен в многозначительное, сосредоточенное безмолвие. И вдруг взор, брошенный молодым человеком на бюст мадемуазель Кормон, сильно смахивавший на пару мощных литавров полкового оркестра, озарил душу шевалье внезапным светом. Эта вспышка позволила ему обозреть все прошлое.

«Ах, черт! — подумал он.— Какой щелчок я рискую получить».

Господин де Валуа подошел к мадемуазель Кормон, чтобы не упустить возможности предложить ей руку, когда пригласят к столу. Старая дева почтительно благоговела перед ним, ибо его имя и место, которое он занимал среди аристократических созвездий департамента, разумеется, делали его самым блестящим украшением ее салона. По совести говоря, мадемуазель Кормон вот уже двенадцать лет как желала стать госпожой де Валуа. Это имя служило своего рода ветвью, на которой держался целый рой представлений, возникавший в ее мозгу относительно знатности, ранга и внешних достоинств, требуемых ею от жениха; но если шевалье де Валуа был избранником ее души, разума и честолюбия, то эта старая развалина, хотя и завитая, как статуя Иоанна Крестителя в церковной процессии, отпугивала мадемуазель Кормон; если богачку и прельщал такой дворянин, то девицу Кормон не прельщал такой супруг. Вопреки замыслам шевалье, его показное равнодушие к вопросу о браке, а в особенности мнимая безупречность

его жизни в доме, переполненном хорошенькими гризетками, чрезвычайно роняли его в ее глазах. Этот аристократ, действовавший безошибочно в деле с пожизненной рентой, здесь ошибся в расчетах. Мадемуазель Кормон сама не подозревала, что ее мысли о чересчур благонравном шевалье можно было бы выразить в следующих словах: «Как жаль, что в нем нет ни капельки беспутства!» Наблюдатели человеческого сердца, подметив склонность святош к негодяям, удивляются такому влечению, которое они считают несовместимым с христианской добродетелью. Но прежде всего можно ли предложить нравственной женщине что-нибудь завиднее, чем выпавшее на ее долю счастье очищать, подобно угольному фильтру, мутные воды порока? И как, с другой стороны, не понять, что для благородных созданий, которые придерживаются строгих устоев и тем самым нерушимо хранят супружескую верность, столь естественно желать многоопытного мужа. Негодники — большие знатоки женского сердца. Итак, бедная девушка сокрушалась, что чаша любви разделена была для нее надвое. Только всевышний мог бы слить воедино шевалье де Валуа и дю Букье. Чтобы сделать понятным смысл тех немногих слов, которыми сейчас предстояло обменяться мадемуазель Кормон с шевалье де Валуа, необходимо упомянуть о двух важных обстоятельствах, вызывавших в городе толки и резкие разногласия. Здесь, кстати сказать, не обошлось без тайного вмешательства дю Букье. Одно дело касалось алансонского священника, который некогда присягнул конституции, но ныне начинал преодолевать отвращение со стороны католиков-роялистов, являя пример высочайшей добродетели. То был Шеверюс в миниатюре, и его так стали ценить, что, когда он умер, весь город его оплакивал. Мадемуазель Кормон и аббат де Спонд принадлежали к «малой церкви», великой в своем благочестии и бывшей для римской курии тем, чем предстояло стать крайним роялистам для Людовика XVIII. Аббат де Спонд не признавал той церкви, которая скрепя сердце шла на соглашение с конституционалистами. Упомянутый священник не был принят в доме Кормон, зато там благоволили к кюре церкви св. Леонарда, аристократического прихода Алансона. Дю Букье, этот ярый либерал

в шкуре роялиста, отлично знал, что недовольным, из которых черпает пополнение каждая оппозиция, необходимо объединяющее начало, и он уже успел привлечь симпатии среднего класса к этому кюре. А вот и второе дело. По тайному внушению все того же напористого дипломата в Алансоне зародилась мысль построить театр. Сеиды г-на дю Букье не знали своего Магомета, но именно поэтому они действовали с еще большим жаром, воображая, что защищают собственный замысел. Атаназ был одним из самых горячих поборников постройки зала для спектаклей и уже несколько дней хлопотал в различных отделах мэрии об этом предприятии, которому сочувствовала вся городская молодежь.

Дворянин предложил старой деве руку, чтобы пройтись по саду; она оперлась на нее, поблагодарив просиявшим взглядом за такое внимание, а шевалье произнес, хитро подмигнув в сторону Атаназа:

— Не следует ли вам, мадемуазель, поскольку вы прекрасно разбираетесь в вопросах общественного такта и притом состоите в некотором родстве с этим молодым человеком...

— Очень отдаленном! — перебила она.

— Не следует ли вам,— продолжал шевалье,— воспользоваться своим влиянием на мать и сына, чтобы предостеречь его от гибели? Не говорю уж о том, что он не весьма благочестив и поддерживает присягнувшего священника. Это еще не все! Есть кое-что посерьезнее; ведь он бросился, как полоумный, на путь оппозиции, не понимая, как его поведение отразится на всем его будущем! Он пустился на происки ради постройки театра; а сам — игрушка в руках этого замаскированного республиканца дю Букье.

— Боже мой, господин де Валуа,— отвечала мадемуазель Кормон,— его мать уверяет, что он умен, а он двух слов связать не может; только рот разевает, как *ворона*...

— ...или как воробей, которого провели на мя-*Кине!* — подхватил чиновник опекунского совета.— Я поймал на лету вашу фразу. Мое почтение, господин шевалье де Валуа,— прибавил он, расшаркиваясь перед аристократом с такой же развязностью, какую Анри

Монье приписывал Жозефу Прюдому, этому на редкость типичному представителю класса, к которому принадлежал чиновник опекунского совета.

Господин де Валуа ответил на поклон сухо и свысока, как вельможа, который держит себя на известном расстоянии: затем он повлек мадемуазель Кормон к каким-то вазам с цветами, давая этим понять нарушителю их беседы, что желает избавиться от подслушивания.

— Да и каких идей хотите вы,— зашептал шевалье, наклоняясь к самому уху мадемуазель Кормон,— от юношей, воспитанных в этих отвратительных императорских лицеях? Быть порядочным человеком и принадлежать к хорошему обществу — вот чем порождается способность к возвышенным идеям и к истинной любви. Не трудно, глядя на него, предсказать, что бедный мальчик совсем лишится рассудка и бесславно сойдет в могилу. Взгляните, как он бледен и худ!

— Его мать уверяет, что он слишком много работает,— простодушно ответила старая дева,—он занимается по ночам —и, как вы думаете, чем? —читает и пишет! Что проку для карьеры молодого человека в том, что он пишет по ночам?

— Оттого в нем и чуть душа держится,— отозвался шевалье, стараясь направить мысли старой девы на такую почву, где, как он надеялся, с его помощью она почувствует отвращение к Атаназу.— Поистине ужасные нравы были в этих императорских лицеях.

— О да! — согласилась простушка.— Ведь их, кажется, выводили на прогулку под барабанный бой? А наставники их были нечестивее язычников. Бедные дети, их к тому же одевали в мундиры, совсем как солдат! Придет же такое в голову!

— И вот что из этого вышло,— сказал шевалье, указывая на Атаназа.— Виданное ли дело в мое время, чтобы молодой человек стыдился взглянуть на хорошенькую женщину! А он на вас глаз не подымает! Я тревожусь за этого юнца, потому что отношусь к нему с участием. Предупредите его, чтобы он перестал строить козни заодно с бонапартистами, как сейчас, когда он хлопочет о зрительном зале; пусть откажется вся эта мелюзга от своих бунтарских требований (потому что для меня кон-

ституционалист и бунтарь — синонимы!) — тогда городские власти сами выстроят театр. И еще посоветуйте его матушке получше присматривать за ним.

— О! Она запретит ему водить знакомство с этими людьми на половинном жалованье и бывать в дурной компании. Я сейчас поговорю с ним,— сказала мадемуазель Кормон,— иначе он того и гляди потеряет место в мэрии. А чем они тогда будут жить?.. Страшно подумать!

Как Талейран говорил вслух о своей жене, так шевалье подумал, глядя на мадемуазель Кормон: «Второй такой дуры во всем свете не сыщешь! Честное слово дворянина! Добродетель, доходящая до глупости, тот же порок! Но какая прелестная жена для человека моих лет! Какие правила! Какое неведение!»

Вы, конечно, сами понимаете, что этот монолог, обращенный к княгине Горице, сопровождался приготовлением очередной понюшки.

Госпожа Грансон догадалась, что шевалье ведет разговор об Атаназе. Торопясь узнать результаты этой беседы, она на приличном расстоянии в шесть шагов следовала за мадемуазель Кормон, которая направилась к молодому человеку. Но в эту минуту Жаклен пришел доложить, что кушать подано. Старая дева взглядом подозвала к себе шевалье. Галантный чиновник опекунского совета, который стал усматривать в обращении старого аристократа заносчивость, ибо в ту пору провинциальное дворянство уже возводило перегородку между собой и буржуазией, был очень рад опередить шевалье де Валуа; он оказался поблизости от мадемуазель Кормон и округлил руку, которую та и вынуждена была принять. Шевалье из дипломатических соображений бросился к г-же Грансон.

— Мадемуазель Кормон принимает живейшее участие в вашем милом Атаназе, сударыня,— заговорил он, медленно выступая позади вереницы гостей,— но это участие разлетится в прах по вине вашего сына; он неверующий, он либерал, он из кожи лезет из-за этого театра, знается с бонапартистами и сочувствует священнику-конституционалисту. Из-за такого поведения он может лишиться должности в мэрии. Вы же знаете, как придирчиво правительство короля. А если его уво-

лят, где ваш дорогой Атаназ найдет себе другую службу? Смотрите, как бы он не уронил себя в глазах начальства!

— Я вам так признательна, сударь,— в тревоге проговорила бедная мать.— Вы правы, мой сын одурачен опасной шайкой, мне нужно немедленно открыть ему глаза.

Шевалье уже давным-давно, с первого взгляда, постиг душу Атаназа и распознал по некоторым признакам, как стойки его республиканские идеи, во имя которых готовы всем пожертвовать молодые люди его лет, увлеченные словом *вольность*, весьма неопределенным, весьма неясным, но являющимся для униженных знаменем восстания,— а восстание для них означает месть. Атаназ не мог не сохранять твердости в своей вере, ибо убеждения его исходили из страданий художника, из горестных наблюдений над социальным строем. Он не ведал, что в тридцать шесть лет, когда уже складывается мнение о людях, об их взаимоотношениях, о социальных нуждах,— в эту пору жизни убеждения, ради которых он теперь жертвовал всем своим будущим, должны были у него измениться, как это происходит с каждым человеком подлинно высокого ума. В Алансоне сохранять верность левым идеям означало вызвать неприязнь мадемуазель Кормон. Уж это г-н шевалье ясно понимал. Итак, алансонское общество, с виду такое мирное, внутри клокотало, под стать дипломатическим кругам, где хитрость, изворотливость, страсти, корыстолюбивые расчеты сосредоточиваются около важнейших вопросов международной политики.

Но вот гости стали усаживаться за стол, уставленный закусками, и принялись есть, как едят в провинции — не стыдясь своего аппетита,— а не так, как едят в Париже, где движение челюстей подчиняется неким особым законам, пытающимся действовать вопреки законам анатомии. Едят в Париже словно нехотя, там люди обманывают свое чревоугодие; в провинции же все делается естественно, и смысл жизни, быть может даже сверх меры, сосредоточен здесь на том великом и всеобщем деле насыщения желудков, на которое господь бог осудил свои творения. Когда с первой переменой было почти покончено, хозяйка дома бросила пресловутую

реплику, о которой потом говорилось два с лишним года,— да она вспоминается и поныне в гостиных у мелких буржуа Алансона, если речь заходит о замужестве девицы Кормон. Когда повели атаку на предпоследнее жаркое, беседа стала весьма многословной, оживленной и, естественно, коснулась театра и священника, давшего присягу конституции. На первых порах, в 1816 году, те, кого позднее прозвали местными иезуитами, в своем ревностном служении роялизму хотели изгнать аббата Франсуа из его прихода Дю Букье, обвиняемый г-ном де Валуа в том, что он поддерживает священника, что он — зачинщик всех козней, которые благородный шевалье готов был свалить на него с присущей ему ловкостью,— оказался на скамье подсудимых без защитника. Один лишь Атаназ был настолько прямодушен, что мог бы поддержать дю Букье, но он из скромности не решался излагать свои убеждения перед властелинами Алансона, хотя и считал их глупцами. Только в провинции еще встречаются молодые люди, которые соблюдают почтительность по отношению к пожилым людям, не позволяя себе ни восставать против них, ни перечить им. Беседа вдруг замерла, ибо на стол были поданы отменные утки с оливками. Мадемуазель Кормон, желая посоперничать со своими собственными утками, вздумала взять под защиту дю Букье, которого изобразили как гнусного интригана, способного перевернуть все вверх дном, и молвила:

— А я-то воображала, что господин дю Букье занят одним лишь ребячеством.

Замечание мадемуазель Кормон при создавшемся положении произвело действие удивительное. Она одержала полную победу — заставила княгиню Горицу уткнуться носом в стол. Шевалье, не ожидавший от своей Дульцинеи такого остроумия, пришел в восхищение и даже не сразу придумал похвалу, он бесшумно аплодировал кончиками пальцев, как принято рукоплескать в Итальянской опере.

— Она удивительно остроумна,— сказал он г-же Грансон.— Я всегда утверждал, что придет день и она покажет себя.

— А в интимной обстановке она просто обворожительна,— отвечала г-жа Грансон.

— В интимной обстановке, сударыня, все женщины умны,— заметил шевалье.

Когда взрыв гомерического хохота утих, мадемуазель Кормон захотела узнать, в чем же причина ее успеха. И тут-то хор сплетен зазвучал во всю мощь. Дю Букье превратили в матушку Жигонь мужского рода, в холостяка-чудовище, который-де вот уже пятнадцать лет самолично содержит воспитательный дом, целиком пополняемый его потомством. Наконец-то обнаружилось все безнравственное поведение поставщика. Оно было под стать его парижскому разгулу, и прочее, и прочее. Увертюра под управлением де Валуа — самого искусного дирижера в подобном оркестре — была великолепна.

— Не знаю, право,— с добродушнейшим видом сказал шевалье,— кто бы мог помешать этому дю Букье жениться на некоей мадемуазель Сюзанне *Как-Ее-Там?* Ведь вы говорите, ее зовут Сюзета? Правда, я живу у госпожи Лардо, но знаю этих девчонок лишь в лицо. Ежели эта Сюзон и есть та высокая стройная красотка с серыми глазами и маленькими ножками, у которой походка (хоть я, признаться, особенно не разглядывал) показалась мне весьма вызывающей, то, надо сказать, ее манеры гораздо изысканнее, чем у дю Букье. В Сюзанне есть по крайней мере благородство красоты; подобный брак в этом смысле был бы для нее мезальянсом. Знаете ли вы, что, когда император Иосиф возымел желание увидеть дю Барри в Люсьенне, он предложил ей пройтись под руку; бедная девица, пораженная такой честью, не решалась принять его руку, но император сказал ей: «Красавица — всюду королева». Заметьте, это был австрийский немец,— добавил шевалье,— и поверьте мне. Германия, слывущая у нас совсем неотесанной, на самом деле — страна рыцарского обхождения и прекраснейших манер, особенно поближе к Польше и Венгрии, где можно встретить...

Тут шевалье внезапно умолк, боясь слишком прямо намекать на свое личное счастье. Он только взял табакерку и поверил конец анекдота княгине, улыбавшейся ему целых тридцать шесть лет.

— Для Людовика Пятнадцатого это было слишком тонко,— сказал дю Ронсере.

— Да ведь как будто речь шла об императоре Иоси-

фе,— возразила мадемуазель Кормон тоном сведущего человека.

— Видите ли, сударыня,— ответил шевалье, перехватив лукавые взгляды, которыми обменялись председатель суда, нотариус и член опекунского совета,— госпожа дю Барри была Сюзанной для Людовика Пятнадцатого, обстоятельство, которое хорошо знают такие вертопрахи, как мы, но не должны знать молодые девицы. Ваше неведенье доказывает, что вы бриллиант чистейшей воды: рассказы о пороках исторических лиц прошли мимо ваших ушей.

Аббат де Спонд ласково взглянул на шевалье де Валуа и одобрительно наклонил голову.

— Разве мадемуазель не знакома с историей? — спросил чиновник опекунского совета.

— Вы припутываете Сюзанну к Людовику Пятнадцатому и еще хотите, чтобы я знала вашу историю,— отвечала кротким тоном мадемуазель Кормон, испытывая истинное наслаждение оттого, что блюда с утками были опустошены и гости так оживленно беседовали, а при последних словах хозяйки все смеялись с набитыми ртами.

— Бедное создание! — проговорил аббат де Спонд.— Если стряслась беда, то милосердие,— а эта божественная любовь столь же слепа, как и любовь языческая,— должно закрывать глаза на вину. Вы, племянница, стоите во главе Общества вспомоществования матерям, надобно помочь этой девушке, ведь ей будет нелегко найти себе мужа.

— Жалко ребенка! — произнесла мадемуазель Кормон.

— Как по-вашему, женится на ней дю Букье? — спросил председатель суда.

— Был бы он порядочным человеком, женился бы,— ответила г-жа Грансон,— но, право же, мой пес гораздо нравственнее

— Ну, я думаю, ваш Азор ему не уступит,— с тонкой улыбкой вставил чиновник опекунского совета, желая блеснуть остроумием.

За десертом все еще говорили о дю Букье, сыпали шутками, которым вино придало игривость. Каждый гость, подзадоренный опекунским чиновником, отвечал

на каламбур каламбуром. Говорили, что теперь па-*пеньку* потреплют, что довольно блаженствовал па-*паша* в своем гареме, теперь па-*пулей* вылетит из порядочного общества, что уж слишком подобные па-*почки* распустились, что па-*пашенька* плодородием никому не удружит; что дю Букье, попав в *папки*, попадет в переплет.

— В чаду любви плотской пребывая, помнит ли о *чадо*любии? Сомнительно,— сказал аббат де Спонд серьезным тоном, так что все сразу перестали смеяться.

— Да, на роли *благородных отцов* он не подходит,— поддержал шевалье де Валуа.

Церковь и дворянство снизошли до арены каламбуров, сохраняя все свое достоинство.

— Тсс! — произнес опекунский чиновник.— Слышите, дю Букье скрипит своими сапогами с отворотами, что нынче нам особенно *отвратительно* слышать.

Почти всегда случается, что человек и не догадывается о своей дурной славе; весь город занят им, на него клевещут, имя его позорят, но если у него нет друзей, он так ничего и не узнает. И невинный дю Букье, дю Букье, которому так хотелось быть виновником нежданного события, который только и мечтал о том, чтобы Сюзанна не солгала, дю Букье был бесподобен в своем неведении; никто и не обмолвился о том, что Сюзанна обличила его, и каждый к тому же считал неудобным спрашивать его о таком щепетильном деле, ибо человек, которого это касается, иной раз вынужден молчать и хранить тайну. Но все усмотрели что-то непристойное и даже вызывающее в самом появлении дю Букье, вошедшего в тот миг, когда все общество перешло пить кофе из столовой в гостиную, где уже собралось несколько вечерних гостей.

Мадемуазель Кормон, смешавшись, не решалась взглянуть на страшного обольстителя; она завладела Атаназом и принялась поучать его добронравию, излагая ему нелепейшие общие места роялистской политики и религиозной морали. У бедного поэта не было, как у шевалье де Валуа, табакерки, украшенной портретом княгини, ему негде было укрыться от потока глупостей, и он, с тупым видом внимая той, кого боготворил, взирал на ее огромный бюст, дышавший невозмутимым покоем, который присущ всему необъятному. Страсть пья-

нила юношу и превращала пискливый голосок старой девы в сладостный шепот, а ее глупые рассуждения — в глубокомысленные речи.

Любовь — это удивительный фальшивомонетчик, постоянно превращающий не только медяки в золото, но нередко и золото в медяки.

— Итак, Атаназ, вы мне обещаете?

Эти заключительные слова поразили слух счастливого молодого человека, как пробуждает нас внезапный шум.

— Что обещаю, мадемуазель? — переспросил он.

Мадемуазель Кормон порывисто встала, глядя на дю Букье, напоминавшего в тот миг толстого бога торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах; она подошла к г-же Грансон и шепнула ей:

— Бедный друг, а ведь ваш сын просто бестолков. Лицей погубил его,— добавила она, вспомнив, что шевалье де Валуа распространялся о дурном воспитании лицеистов.

Какой громовой удар! Бедный Анатаз, сам того не зная, мог разжечь пламя в сердце старой девы; если бы он прислушивался к ее словам, то заставил бы ее понять его страсть, ибо мадемуазель Кормон пребывала в том взволнованном состоянии, когда достаточно одного слова, но до глупости жадные желания, свойственные молодой и истинной любви, погубили его; так порою, по неведению, убивает себя дитя, полное жизни.

— Что ты сказал мадемуазель Кормон? — спросила госпожа Грансон у сына.

— Ничего.

«Ничего? Это я выясню!» — подумала она, откладывая на завтра все важные дела, ибо, в своей уверенности, что дю Букье пал в глазах старой девы, не придала значения ее словам.

Вскоре шестнадцать игроков заняли свои места за четырьмя столами. Четверо гостей избрали пикет, игру самую большую и рискованную. Г-н Шенель, прокурор и две дамы отправились в красный лаковый кабинет сыграть партию в триктрак. Были зажжены канделябры; общество мадемуазель Кормон, расположившееся у камина в креслах, вокруг столов, все разрасталось с

каждой вновь прибывавшей четой, которая неизменно спрашивала мадемуазель Кормон:

— Итак, завтра вы уезжаете в Пребоде?

— Что поделаешь — нужно! — следовал ответ.

По всему было видно, что хозяйка дома чем-то озабочена. Г-жа Грансон первая заметила необычное состояние старой девы: мадемуазель Кормон размышляла.

— О чем вы думаете, кузина? — наконец спросила она, входя в будуар, где сидела мадемуазель Кормон.

— У меня из ума не идет эта бедная девушка,— ответила она.— Я не я буду, если, как председательница Общества вспомоществования матерям, не потребую у вас для нее десять экю!

— Десять экю! — воскликнула г-жа Грансон.— Но вы же никогда столько не давали!

— Но, милая моя, так естественно иметь детей!

Эти безнравственные слова, сказанные от всего сердца, ошеломили казначею Общества вспомоществования матерям. По-видимому, дю Букье вырос в глазах мадемуазель Кормон.

— Поистине, дю Букье не только изверг, но и подлец,— сказала г-жа Грансон.— Сумел причинить зло, сумей расплатиться. Его дело, а не наше помочь этой девчонке, которая при всем том кажется мне большой негодяйкой, ибо в Алансоне можно было найти получше этого циника дю Букье! Нужно быть очень распутной, чтобы завести с ним шашни.

— Циник? Вы, моя дорогая, переняли у вашего сына все эти непонятные латинские слова. Конечно, я не собираюсь оправдывать господина дю Букье, но объясните мне, в чем тут распутство, если женщина предпочла одного мужчину другому?

— Дорогая кузина, допустим, вы бы вышли за моего сына Атаназа, что было бы вполне естественно, так как он молод, хорош собой, подает надежды, он прославит Алансон. А все бы попросту решили, что вы взяли себе такого молодого мужа для полноты счастья; злые языки болтали бы, что вы заготовили свое счастье впрок, чтобы никогда не иметь в нем недостатка; вероятно, нашлись бы завистницы, которые обвинили бы вас в развращенности. Эка важность! Вы были бы сильно и искренне любимы. Атаназ кажется вам бестолковым

потому, моя дорогая, что у него избыток ума; крайности сходятся. Что правда — то правда, он живет как пятнадцатилетняя девочка: уж *он*-то не испачкался в парижской грязи!.. Ну что ж! Примените к другим ту же пропорцию, как говаривал мой бедный муж: точно так обстоит дело между дю Букье и Сюзанной; только то, что в отношении вас было бы клеветой, в отношении дю Букье — сама истина. Вы понимаете?

— Не больше, чем китайскую грамоту,— ответила мадемуазель Кормон, широко раскрыв глаза и напрягая все силы своего разума.

— Так вот, кузина, раз уж приходится ставить точки над i, скажу вам, что Сюзанна не может любить дю Букье. А если сердце ни при чем в подобном деле...

— Но, кузина, как же любить, если не сердцем?

Тут г-жа Грансон мысленно сказала то, что думал шевалье де Валуа: «Бедненькая кузина непозволительно глупа».

— Дорогое дитя,— продолжала она вслух,— мне кажется, для того чтобы рожать детей, мало одной только духовной любви.

— Как же, моя дорогая, ведь и пресвятая дева...

— Но, милочка, дю Букье не святой дух!

— Правда,— согласилась старая дева,— он мужчина! И мужчина такого типа, что друзья из предосторожности должны заставить его жениться.

— Вы можете, кузина, добиться этого...

— Ну! Каким образом? — произнесла старая дева с жаром христианской любви к ближнему.

— Не принимайте его у себя до тех пор, пока он не женится; в данном случае ваш долг, во имя благопристойности и благочестия, подать пример порицания.

— По приезде из Пребоде я еще с вами об этом потолкую, дорогая моя госпожа Грансон. Надо посоветоваться с дядюшкой и с аббатом Кутюрье,— сказала мадемуазель Кормон, выходя в гостиную, где оживление достигло высшего предела.

Яркий свет, нарядные женщины, торжественный тон, внушительный вид этого собрания, весь его аристократический блеск преисполняли мадемуазель Кормон гордостью не в меньшей степени, чем ее гостей. Многие считали, что ничего лучшего не увидишь и в Париже, в

самых избранных кругах. Тем временем дю Букье, который играл в вист с г-ном де Валуа и двумя престарелыми дамами, г-жой дю Кудре и г-жой дю Ронсере, служил предметом скрытого любопытства. Несколько молодых женщин, притворяясь, что интересуются игрой, поглядывали на него, правда, украдкой, но так странно, что старый холостяк в конце концов встревожился, не допустил ли он какой-либо оплошности в своем туалете.

«Не сдвинулся ли у меня парик?» — подумал он, испытывая одну из тех смертельных тревог, которые терзают старых холостяков.

Он воспользовался своим проигрышем, закончившим седьмой роббер, чтобы встать из-за стола.

— Я не могу взять ни одной карты в руки, не потерпев неудачи,— сказал он,— мне решительно не везет в игре.

— Вам везет в другом,— сказал шевалье, бросая на него лукавый взгляд.

Разумеется, это словцо местного Талейрана обежало гостиную, где каждый вслух восхищался тонким остроумием шевалье.

— Находчивее господина де Валуа не сыскать,— сказала племянница кюре церкви св. Леонарда.

Дю Букье пошел посмотреться в продолговатое зеркальце над «Дезертиром» и не нашел в своем отражении ничего из ряда вон выходящего. После бесчисленных повторений все той же темы, видоизменяемой на все лады, около десяти часов произошло отплытие из длинной, как пристань, прихожей; не обошлось без проводов, устроенных мадемуазель Кормон для своих любимцев, с которыми она на прощанье целовалась на крыльце. Расходились группами — одни по Бретонской дороге и в направлении к замку, другие — в сторону квартала, выходящего на берег Сарты. Обычно тогда начинались разговоры, вот уже двадцать лет раздававшиеся в этот час на этой улице. Обычно тогда звучали все одни и те же слова: — У мадемуазель Кормон нынче вечером был прекрасный вид.— У мадемуазель Кормон? Она показалась мне странной.— Как дряхлеет этот бедный аббат! Вы заметили — он все дремлет? Он уже не знает, где его карты, он стал забывчив. Скоро нам придется, увы, потерять его.— Прекрасная пого-

да, завтра будет хороший день! Чудесные стоят дни для отцветающих яблонь.— Вы нас обыграли, как всегда, когда вместе с вами играет господин де Валуа.— Сколько же он выиграл? — За сегодняшний вечер — три или четыре франка. Он никогда не проигрывает.— Да, да. А не забудьте, что в году триста шестьдесят пять дней. Этак можно выиграть на покупку целой фермы.— Ах! Как нам пришлось отбиваться сегодня! — Вам позавидуешь, господа, вы уже дома, а нам надо пройти еще полгорода.— Мне вас не жалко, вы в состоянии завести одноколку, а ходите пешком.— Ах, сударь! Приданое дочери отнимает у нас одно колесо, содержание сына в Париже — другое.— Вы по-прежнему готовите его в чиновники? — К чему же надобно, по-вашему, готовить молодых людей?.. И потом, служить королю не зазорно.

Порой в дороге шли толки о сидре или льне, постоянно в одних и тех же словах и в одно и то же время года. Живи на этой улице какой-нибудь наблюдатель сердца человеческого, он по этим разговорам всегда узнавал бы, какой наступил месяц.

Но в этот вечер раздавались только игривые шутки, потому что дю Букье, одиноко шагавший впереди других, напевал, не подозревая, насколько это выходило кстати, знаменитую арию: «О нежный друг, ты слышишь детский лепет?..» По мнению многих, г-н дю Букье был человеком дельным, которого не оценили. С тех пор как новым королевским постановлением дю Ронсере был утвержден на посту председателя суда, он все больше тяготел к дю Букье. По мнению других, поставщик был человеком опасным, безнравственным, способным на все. В провинции, как и в Париже, тот, кто на виду, подобен статуе из прекрасной аллегорической сказки Аддисона: два рыцаря, съехавшиеся с разных сторон на перекресток, где высится эта статуя, сшиблись из-за нее, ибо один говорил, что она белая, другой считал ее черной; когда же они оба, уже поверженные наземь, видят, что она белая справа и черная слева, к ним на помощь является третий и находит, что она красная.

Возвращаясь домой, шевалье де Валуа размышлял: «Пора распустить слух о моей женитьбе на мадемуа-

зель Кормон. Сведения эти распространятся из салона д'Эгриньонов, проникнут прямым путем на улицу Сеэз к епископу, вернутся через главного викария к кюре церкви св. Леонарда, который не преминет сказать об этом аббату Кутюрье; таким образом, мадемуазель Кормон об этом узнает, и мой снаряд пробьет брешь в осаждаемой крепости. Старый маркиз д'Эгриньон пригласит аббата де Спонда на обед, чтобы пресечь сплетню, которая повредила бы мадемуазель Кормон, если бы я высказался против такой комбинации, и мне, если бы я был отвергнут. Аббат, как и следует ожидать, совсем запутается; к тому же мадемуазель Кормон не устоит перед визитом мадемуазель д'Эгриньон, которая докажет ей величие и плодотворность этого союза. Наследство аббата превышает сто тысяч экю, сбережения девицы должны достигать двухсот тысяч ливров с лишком, у нее свой дом, Пребоде и пятнадцать тысяч ливров ренты. Одно слово моему другу графу де Фонтэну, и я — мэр Алансона, депутат; а затем, заняв место на скамье правых, мы добьемся и пэрства, издавая клич: «Довольно прений!» или: «К порядку!»

Госпожа Грансон, вернувшись домой, крупно поговорила с сыном, никак не желавшим понять, что за связь между его политическими взглядами и любовью. Это была первая размолвка, нарушившая мирную жизнь бедного семейства.

Наутро, в девять часов, мадемуазель Кормон, погрузившись вместе с Жозеттой в одноколку и возвышаясь, подобно пирамиде, над ширью своего багажа, подымалась по улице Сен-Блез по направлению к Пребоде, где с ней должно было случиться неожиданное событие, ускорившее ее замужество и не предвиденное ни г-жой Грансон, ни дю Букье, ни г-ном Валуа, ни самой мадемуазель Кормон. Случай искуснее на выдумку, чем любой писатель.

На другой день после приезда в Пребоде, в восемь часов утра, за завтраком, когда мадемуазель Кормон, ничего не подозревая, выслушивала донесения сторожа и садовника, в столовую вторгся оторопелый Жаклен.

— Мадемуазель,— сказал он,— господин аббат прислал вам письмо с нарочным, с сыном тетушки Громор. Мальчишка вышел из Алансона на рассвете, и, глядите-

ка, он уже здесь. Он бежал так, что, поди, угнался бы за Пенелопой! Не дать ли ему стаканчик вина?

— Что могло стрястись, Жозетта? Уж не дядюшка ли...

— Он бы тогда не написал,— ответила горничная, угадав опасения своей госпожи.

— Скорей! Скорей! — крикнула мадемуазель Кормон, пробежав первые строки.—Пусть Жаклен запрягает Пенелопу. Постарайся, милая, чтобы в полчаса все было снова уложено,— сказала она Жозетте.— Мы возвращаемся в город.

— Жаклен! — крикнула Жозетта, уступая нетерпению, выразившемуся на лице мадемуазель Кормон.

Жаклен, наученный Жозеттой, придя в комнату, сказал:

— Как быть, мадемуазель? Ведь я только что задал Пенелопе овса.

— Какое мне дело? Я хочу сейчас же уехать.

— Но, мадемуазель, собирается дождь!

— Ну что ж! Придется помокнуть.

— Прямо как на пожар,— пробормотала Жозетта, уязвленная молчанием, которое хранила ее хозяйка, дочитывая письмо, читая и перечитывая его снова.

— Допейте же по крайней мере кофе, поберегите себя! Посмотрите, какая вы красная.

— Я красная, Жозетта? — сказала старая дева, направляясь к зеркалу с облупившейся амальгамой, показавшему ее лицо вдвойне искаженным. «Боже мой! — подумала мадемуазель Кормон.— Что, как я покажусь некрасивой!» — Живее, Жозетта, идем, помоги, милая, мне одеться. Я хочу быть готовой, когда Жаклен запряжет Пенелопу. В случае, если ты не успеешь уложить весь багаж в одноколку, я лучше оставлю его здесь, чем потеряю хотя бы одну минуту.

Если вы в полной мере поняли, как далеко зашла мадемуазель Кормон в своей мании во что бы то ни стало выйти замуж, вы разделите ее волнение. Почтенный дядюшка извещал свою племянницу, что г-н де Труавиль, внук его лучшего друга, отставной военный русской службы, захотел поселиться на покое в Алансоне и просил приютить его, во имя дружеских чувств, которые аббат питал к его деду, виконту де Труавилю, контр-ад-

миралу при Людовике XV. Придя в смятение, бывший старший викарий настоятельно просил племянницу вернуться, чтобы помочь ему принять гостя и поддержать честь дома, ибо письмо несколько задержалось в пути и г-н де Труавиль мог нагрянуть нынче же вечером. При подобной вести что значили заботы о каком-нибудь Пребоде? В такой момент сторож и садовник — свидетели необычайного волнения хозяйки — притихли, ожидая распоряжений. Когда она проходила мимо, они остановили ее, думая получить от нее указания, но в первый раз в жизни мадемуазель Кормон, эта самовластная старая дева, следившая в Пребоде за всем лично, сказала: *делайте, как хотите!*— отчего на слуг напал столбняк — ведь административные заботы госпожи простирались даже на учет и сортировку фруктов, чтобы распределять их в хозяйстве соответственно запасу тех или иных сортов.

— Не сон ли это все? — сказала Жозетта, видя, как ее госпожа летает по лестнице, подобно слону, которого бог одарил бы крыльями.

Невзирая на ливень, мадемуазель покинула Пребоде, оставив своих слуг полными хозяевами в усадьбе. Жаклен не осмелился на свой страх принять меры, чтобы подбавить прыти смирной Пенелопе, которая, уподобившись прекрасной царице, чье имя она носила, казалось, делала столько же шагов назад, сколько и вперед. Видя этот аллюр, мадемуазель резко приказала Жаклену пустить бедную перепуганную лошадь в галоп хотя бы ударами кнута: так старая дева боялась, что не успеет прилично убрать дом для приема г-на де Труавиля. По ее подсчетам, внуку дидюшкиного друга было не больше сорока лет; как военный, он, бесспорно, еще не женат, поэтому она давала себе слово, что с помощью дяди не выпустит г-на де Труавиля из своего дома, пока он не расстанется со своей холостяцкой свободой. Хотя Пенелопа пустилась вскачь, мадемуазель Кормон, поглощенная думами о своих нарядах и мечтами о супружеской жизни, несколько раз говорила Жаклену, что они ползут, как черепаха. Она вертелась на своем месте, не отвечая на расспросы Жозетты, и разговаривала сама с собой, как человек, обдумывающий великие планы. Наконец одноколка доехала до главной улицы

Алансона, которая со стороны Мортани зовется улицей Сен-Блез, возле «Гостиницы Мавра» носит уже название улицы Порт де Сеэз, а выходя на Бретонскую дорогу, становится улицей дю Беркай. Если отъезд мадемуазель Кормон каждый раз получал в Алансоне большую огласку, то можно себе представить, как должна была прогреметь весть о ее возвращении на другой же день по приезде в Пребоде, да еще в проливной дождь, который хлестал ее по лицу, но, казалось, нисколько ее не беспокоил. Всем бросилась в глаза бешеная скачка Пенелопы, да еще в столь ранний час, лукавый вид Жаклена, сваленные как попало узлы и, наконец, оживленная беседа Жозетты и мадемуазель Кормон, а в особенности их нетерпение. Поместья дома де Труавиль были расположены между Алансоном и Мортанью. Жозетта знала представителей различных ветвей рода Труавилей. Одно слово, оброненное барышней при въезде в город, ввело Жозетту в суть дела; после оживленного обсуждения они сообща установили, что ожидаемый де Труавиль, по всей вероятности, был дворянином сорока — сорока двух лет, холостым, не богатым и не бедным. Мадемуазель Кормон уже видела себя виконтессой де Труавиль.

— И подумать только, что дядюшка ничего не сообщает, ничего не знает, ни о чем не осведомлен! О, как это на него похоже! Он способен был бы потерять собственный нос, не держись тот крепко на его лице!

Вы, вероятно, заметили, что при подобных обстоятельствах старые девы ни в чем не уступают Ричарду III; они становятся остроумны, жестоки, смелы, щедры, и тогда им, словно подвыпившим клеркам, море по колено. Сразу же весь Алансон, от верхнего конца улицы Сен-Блез до Порт де Сеэз, узнал об этом поспешном возвращении, связанном с важными обстоятельствами; потрясающая новость понеслась по всем каналам общественной и частной жизни города. Кухарки, лавочники, прохожие передавали эту весть друг другу из дома в дом; затем она поднялась в высшие сферы. Вскоре не было семейства, где бы слова «Мадемуазель Кормон вернулась!» не произвели действия разорвавшейся бомбы. Между тем Жаклен спрыгнул с козел, которые он, за свою долголетнюю кучерскую службу, отпо-

лировал по способу, неизвестному краснодеревцам; он сам отворил закругленные вверху зеленые ворота, запертые в знак траура: в отсутствие мадемуазель Кормон дом всегда был закрыт для гостей, и его верные посетители угощали по очереди аббата де Спонда, а г-н де Валуа, чтобы не остаться в долгу, приглашал его на обед к маркизу д'Эгриньону. Жаклен по своему обыкновению ласково покликал Пенелопу, которую оставил посреди улицы; лошадь, приученная к этому маневру, сама сделала поворот, вошла в ворота и обогнула двор так, чтобы не попортить цветник. Жаклен взял ее под уздцы и подвел одноколку к крыльцу.

— Мариетта! — крикнула мадемуазель Кормон.

Но Мариетта была уж тут как тут — она запирала ворота.

— Я здесь, барышня!

— Гость не приехал?

— Нет, барышня.

— А дядюшка?

— Он в церкви, барышня.

Жаклен и Жозетта уже стояли на первой ступеньке крыльца и протягивали руки, чтобы помочь хозяйке, которая вылезла из одноколки и ступила на оглоблю, держась за кожаные фартуки. Мадемуазель бросилась в объятия слуг — уже два года, как она не рисковала пользоваться железной подножкой, прикрепленной к одноколке двойной скобой и ужасным приспособлением из двух больших болтов. Взобравшись на крыльцо, мадемуазель Кормон удовлетворенно оглядела двор.

— Мариетта, перестаньте возиться с воротами, идите сюда.

— Сущий содом! — сказал Жаклен Мариетте, когда она поравнялась с одноколкой.

— Ну, милая моя, что у тебя есть из провизии? — спросила мадемуазель Кормон, усаживаясь на скамью в длинной прихожей с видом человека, изнемогающего от усталости.

— Да нет у меня ничего,— ответила Мариетта, упершись кулаками в бока.— Вы же знаете, барышня, когда вас нет, господин аббат дома не обедает; вчера обедал у мадемуазель Арманды, я ходила за ним вечером.

— А сейчас где он?

— Господин аббат в церкви, он вернется не раньше трех.

— Дядюшка ни о чем не думает. Что бы ему послать тебя на рынок! Мариетта, отправляйся на рынок немедленно; не сори деньгами, но не жалей ничего, бери все самое лучшее, вкусное, тонкое. Пойди узнай в конторе дилижансов, как выписать паштеты. Мне нужны раки из ручьев Бриллианты. Который час?

— Да уж скоро десять.

— Ради бога, Мариетта, не теряй времени на болтовню. Дядюшкин гость может приехать с минуты на минуту; славно будет, нечего сказать, если придется подать ему завтрак...

Мариетта повернулась ко взмыленной Пенелопе и посмотрела на Жаклена с таким видом, точно хотела заметить: «На этот раз мадемуазель не выпустит из рук жениха».

— У нас с тобой особые дела, Жозетта,— заговорила старая дева,— надо подумать, где мы устроим спальню для господина де Труавиля.

С каким блаженством были сказаны слова *спальню для господина де Труавиля* (она произносила *Тревиля)*; сколько смысла было вложено в них! Старую деву переполняли надежды.

— Не угодно ли вам поместить его в зеленой комнате?

— В комнате монсиньора епископа? Нет, она находится слишком близко от моей,— сказала мадемуазель Кормон.— Это хорошо для монсиньора, человека святой жизни.

— Предоставьте ему комнату вашего дядюшки.

— Она до неприличия пуста.

— Да что там! Прикажите, мадемуазель, и в два счета кровать поставим в вашем будуаре, там, кстати, и камин есть. Моро живо найдет в своей лавке кровать, подходящую к обшивке стен.

— Ты права, Жозетта. Ну что ж, беги к Моро; посоветуйся с ним обо всем, я тебя уполномочиваю. Я согласна, но при условии, что кровать (кровать для господина де Труавиля!) поставят сегодня к вечеру, незаметно для

господина де Труавиля, даже если он застанет Моро еще здесь. А не возьмется Моро за это, так я положу господина де Труавиля в зеленой комнате, хотя там он будет слишком близко от меня.

Жозетта уже уходила, когда хозяйка снова позвала ее.

— Объясни все Жаклену — пусть он сам пойдет к Моро, а ты останься!—закричала она громким голосом, исполненным ужаса.— Надо же мне одеться! Что, если господин де Труавиль застанет меня в таком виде, а дядюшки-то нет, чтобы принять его! Ах, дядюшка, дядюшка! Ступай сюда, Жозетта, ты меня оденешь.

— А как же Пенелопа? — неосторожно молвила Жозетта.

Первый раз в жизни у мадемуазель Кормон сверкнули глаза.

— Вечно эта Пенелопа! Пенелопа тут, Пенелопа там! Пенелопа, что ли, хозяйка в этом доме?

— Но она вся в мыле, и ей еще не задали овса.

— Да пусть она околеет!—воскликнула мадемуазель Кормон.— «Лишь бы я вышла замуж!»—мысленно добавила она.

Столь кощунственные речи на минуту озадачили Жозетту; но одно движение госпожи — и она кубарем скатилась с крыльца.

— Жаклен, барышня белены объелась! — было первым словом Жозетты.

Так в этот день все складывалось для блестящего спектакля, решающего в жизни мадемуазель Кормон. Уже и без того весь город был взбудоражен пятью отягчающими положение обстоятельствами, которыми сопровождался внезапный приезд мадемуазель Кормон, а именно: проливным дождем; бешеным галопом несчастной Пенелопы, которая прискакала вся в мыле, тяжело поводя боками; необычно ранним часом приезда; беспорядочно сваленными узлами и, наконец, совершенно растерянным видом старой девы. Но когда Мариетта произвела опустошительный набег на рынок, когда Жаклен в поисках кровати явился к лучшему мебельщику Аланcона, что на улице Порт де Сеэз, в двух шагах от церкви,— это дало материал для самых серьезных догадок. Странное происшествие обсуждалось на Проспекте, на

гулянье; оно занимало всех, даже мадемуазель Арманду, у которой пребывал шевалье де Валуа. На протяжении двух дней Алансон был взволнован событиями столь важными, что некоторые кумушки восклицали: «Светопреставление, да и только!» Эта свежая новость во всех домах приводила к жгучему вопросу: «Что-то теперь происходит у Кормонов?» Аббат де Спонд — которого очень ловко выспросили, когда он, выйдя из церкви св. Леонарда, вместе с аббатом Кутюрье отправился погулять по Проспекту — простодушно разъяснил, что ждет виконта де Труавиля, дворянина, который служил во время эмиграции в России и теперь возвращается на жительство в Алансон. С двух до пяти по всему городу работал своеобразный устный телеграф; он оповестил алансонцев, что мадемуазель Кормон наконец-то нащла себе мужа путем переписки и собирается выйти за виконта де Труавиля. Одни говорили: «Моро уже делает кровать», другие добавляли: «Кровать будет на шести ножках». На улице дю Беркай, у г-жи Грансон, ей оставляли только четыре ножки. «Попросту кушетка»,— уверяли у дю Ронсере, где обедал дю Букье. Мелкая буржуазия утверждала, что кровать стоила тысячу сто франков. Но сходились на одном: это все *шкура неубитого медведя.* Дальше больше,— вздорожали карпы! Мариетта, набросившись на рынок, опустошила его дочиста. Вверху улицы Сен-Блез считали, что Пенелопа, должно быть, уже околела. Ее смерть, впрочем, подверглась сомнению у главноуправляющего окладными сборами. В префектуре же было достоверно известно, что лошадь испустила дух, огибая ворота особняка Кормон,— с такой быстротою старая дева гналась за своей добычей. Шорник с угла улицы Порт де Сеэз, набравшись смелости, явился якобы узнать, не повреждена ли таратайка мадемуазель Кормон, а на самом деле — выведать, не пала ли Пенелопа. От верхнего конца улицы Сен-Блез до нижнего конца улицы дю Беркай стало известно, что благодаря попечению Жаклена Пенелопа, эта безгласная жертва страстей своей госпожи, еще жива, но, кажется, захворала. По мнению тех, кто жил на Бретонской дороге, виконт де Труавиль был младшим сыном в семействе, без гроша за душой, ибо владения в Пѐрше принадлежали маркизу

де Труавилю, пэру Франции, отцу двоих детей. Для неимущего эмигранта этот брак был бы большим счастьем, да и для мадемуазель Кормон виконт был подходящим женихом; аристократия, жившая по Бретонской дороге, одобряла этот брак: старая дева не могла бы лучше употребить свое состояние. Но в глазах буржуазии виконт де Труавиль был русским генералом, который сражался против Франции и возвратился с огромным богатством, нажитым при санкт-петербургском дворе; это, мол, был *иностранец*, один из *союзников*, ненавистных либералам. Аббат де Спонд был, мол, тайным посредником в этом браке. Все, кто был вхож к мадемуазель Кормон без особых приглашений, решили во что бы то ни стало побывать у нее вечером. Среди этого общегородского переполоха, почти вытеснившего из памяти алансонцев Сюзанну, мадемуазель Кормон была, конечно, взволнована больше всех; она испытывала совсем новые чувства. Оглядывая свою гостиную, свой будуар, кабинет, столовую, она была охвачена жестоким опасением. Какой-то злой дух с насмешкой указывал ей на эту старинную роскошь; прекрасные вещи, которыми она с детства восхищалась, были взяты под сомнение, признаны старомодными. Короче говоря, она испытывала страх, который овладевает писателями, когда они читают свое творение, на их взгляд верх совершенства, какому-нибудь придирчивому или пресыщенному критику: оригинальные положения выглядят избитыми; наиболее изящные, тщательно отделанные обороты оказываются вдруг неясными или нескладными; образы нелепы и противоречивы, надуманность бросается в глаза Так и бедная девушка трепетала, представляя себе презрительную усмешку на устах г-на де Труавиля при виде этой гостиной в епископальном духе; она страшилась поймать холодный взгляд, брошенный на эту старинную столовую; наконец, она боялась, как бы рама не старила картину,— что если все эти древности бросят и на нее свой отсвет? От такого вопроса, заданного самой себе, ее мороз подирал по коже. В это время она бы отдала четверть своих сбережений за то, чтоб возможно было в одну минуту, одним мановением волшебного жезла, преобразить весь дом. И, право, каким же фанфароном должен быть тот генерал, которого не

пробирает дрожь накануне битвы! Бедная девушка чувствовала себя между Аустерлицем и Ватерлоо.

— Виконтесса де Труавиль,— твердила она мысленно,— прекрасное имя! По крайней мере наше богатство перешло бы к хорошему роду.

Она была во власти возбуждения, которое заставляло дрожать тончайшие разветвления ее нервов, столь давно затопленные жиром. Вся ее кровь, подхлестываемая надеждой, была в движении. Она чувствовала в себе силу, если понадобится, вести беседу с г-ном де Труавилем. Излишне говорить, какую деятельность развили Жозетта, Жаклен, Мариетта, Моро и его подручные. Это было усердие муравьев, занятых укладкой яиц. Все, что и так благодаря ежедневной уборке сияло безукоризненной чистотой, было заново выстирано, выглажено, вычищено, натерто. Парадный фарфор увидел свет. Камчатные скатерти, помеченные буквами A, B, C, D, покинули глубины сундуков, где они покоились под охраной тройной обертки, защищенные грозным строем булавок. Пересмотрены были наиболее ценные полки библиотеки. Наконец, мадемуазель не поскупилась на три бутылки знаменитого ликера г-жи Анфу, одной из самых прославленных среди заморских виноделов,— имя, любезное сердцам знатоков. Благодаря самоотверженности своих военачальников мадемуазель могла принять бой. Различные виды оружия, амуниция, кухонная артиллерия, батарея кладовой, провиант, боевые припасы, резервные части находились в полной готовности по всему фронту. Жаклену, Мариетте, Жозетте было приказано надеть парадную форму. Дорожки в саду были подчищены. Старая дева жалела, что нельзя сговориться с соловьями, гнездившимися в листве, и заказать им к вечеру самые красивые трели. Наконец в четвертом часу, как раз когда вернулся аббат де Спонд, а мадемуазель уже подумывала, что зря она так нарядно накрыла стол и приготовила изысканнейший обед, с улицы Валь-Нобль донеслись резкие звуки.

«Он!» — подумала Роза, чувствуя, что звуки эти отзываются у нее в самом сердце.

И впрямь, предваренный столькими сплетнями, дорожный кабриолет с пассажиром спустился по улице Сен-Блез, свернул на улицу дю Кур и произвел такую

сенсацию, что несколько мальчишек и взрослых последовали за ним и столпились у ворот особняка Кормон, чтобы посмотреть, как гость войдет в дом. Жаклен, чуявший близость собственной свадьбы, заслышав хлопанье бича еще на улице Сен-Блез, распахнул ворота настежь. Кучер, его знакомец, постарался лихо завернуть и со всего разгона осадил лошадей перед крыльцом. Разумеется, Жаклен угостил его в людской и отпустил, как полагается, сильно навеселе. Аббат вышел навстречу гостю, пока кабриолет разгружался с быстротой, на какую способны лишь воры, да и то в спешке. Экипаж поставили в каретник, ворота заперли, и в одну минуту не осталось никаких следов приезда г-на де Труавиля. Никогда два химических вещества не соединялись так быстро, как дом Кормон поглотил виконта де Труавиля. Хоть сердце мадемуазель стучало, словно у ящерицы, пойманной пастухом, она героически оставалась в своем кресле у камина. Жозетта открыла дверь, и виконт де Труавиль в сопровождении аббата де Спонда предстал перед старой девой.

— Племянница,— господин виконт де Труавиль, внук одного из моих школьных друзей. Господин де Труавиль,— моя племянница, мадемуазель Кормон.

«Ах! Милый дядюшка, как он умело представил нас друг другу»,— подумала Роза-Мария-Виктория.

Виконт де Труавиль, если обрисовать его в двух словах, был дю Букье-дворянин. Они рознились друг с другом лишь так, как рознятся грубая и благородная породы. Находись они сейчас оба тут, ни один самый ярый либерал не мог бы отрицать существование аристократии. Сила виконта отличалась изяществом; он сохранил великолепную осанку; у него были голубые глаза, черные волосы, смуглая кожа; ему, по всей вероятности, было не более сорока шести лет. Вы бы сказали, что это испанец, красота которого хорошо сохранилась в снегах России. Манеры, походка и поза выдавали дипломата, повидавшего Европу. Одет он был так, как полагается быть одетым в дороге человеку из общества. Г-н де Труавиль казался усталым; аббат предложил ему пройти в предназначенную для него комнату и был изумлен, когда племянница открыла будуар, превращенный в спальню. Мадемуазель Кормон и ее дядюшка

предоставили заезжему гостю заняться своим туалетом с помощью Жаклена, который принес все нужные свертки. Аббат де Спонд, в ожидании, когда г-н де Труавиль приведет себя в порядок, пошел прогуляться с племянницей по берегу Бриллианты. Хотя аббат де Спонд, по странному совпадению, проявлял большую, чем обычно, рассеянность, мадемуазель Кормон была погружена в свои думы не менее его. Оба шли молча. Старая дева никогда не встречала мужчины столь обаятельного, как этот олимпиец-виконт. Она не могла сказать себе на немецкий манер: «Вот мой идеал!»,— но чувствовала себя с головы до ног влюбленной и твердила про себя: «Вот то, что мне нужно!» Вдруг она сорвалась и полетела к Мариетте, чтобы узнать, можно ли подождать с обедом, не перестоится ли он.

— Дядюшка, этот господин де Труавиль весьма любезен,— сказала она вернувшись.

— Но, дочь моя, он еще не перемолвился с нами ни единым словом! — смеясь, возразил аббат.

— Однако это видно по его манерам, по лицу. Он холост?

— Не знаю, право,— ответил старик, который размышлял по поводу своего оживленного спора с аббатом Кутюрье о сущности благодати.— Господин де Труавиль писал мне, что хочет приобрести здесь дом. Будь он женат, он бы приехал не один,— продолжал он беспечно, ибо не допускал, что его племянница может помышлять о браке.

— Он богат?

— Он младший в младшей ветви,— ответил дядя.— Его дед командовал эскадрой; но отец этого молодого человека неудачно женился.

— Молодой человек! — повторила старая дева.— Но мне кажется, дядюшка, что ему добрых сорок пять лет,— сказала она, ибо безмерно желала, чтобы их лета совпадали.

— Да,— сказал аббат.— Но, Роза, бедному семидесятилетнему священнику сорокалетний мужчина кажется молодым.

В это время весь Алансон уже знал, что к мадемуазель Кормон приехал виконт де Труавиль. Вскоре гость

присоединился к хозяевам и стал восхищаться видом на Бриллианту, садом и домом.

— Господин аббат,— сказал он,— я бы ничего больше не хотел, как найти жилище, подобное этому.

Старая дева узрела в его фразе признание и потупила глаза.

— Вам, вероятно, здесь очень нравится, мадемуазель? — продолжал виконт.

— Как же мне может здесь не нравиться? Этот дом принадлежит нашей семье с 1574 года, когда один из наших предков, управитель герцога Алансонского, приобрел здесь землю и построил это здание,— сказала мадемуазель Кормон.— Оно стоит на сваях.

Жаклен доложил, что обед подан, и г-н де Труавиль предложил руку осчастливленной деве, которая старалась не слишком сильно опираться на нее, боясь показаться навязчивой!

— Здесь все так созвучно,— заметил виконт, садясь за стол.

— У нас даровая музыка — в нашем саду на деревьях полным-полно птиц: никто их не трогает, и песня соловья звучит всю ночь напролет,— сказала мадемуазель Кормон.

— Я говорю о созвучности всей обстановки в вашем доме,— разъяснил виконт, который не взял на себя труд приглядеться к старой деве и даже не заметил скудости ее ума.— Да, все здесь сто́ит друг друга — краски, мебель, лица.

— О, дом обходится нам дорого, налоги огромны,— ответила непревзойденная девица, уловив слово *сто́ит*.

— Вот как! Здесь большие налоги? — спросил виконт, слишком поглощенный своими мыслями, чтобы заметить нескладицу.

— Я не знаю,— отвечал аббат.— Племянница ведает и своим и моим состоянием.

— Налоги — это пустяки для богатых людей,— снова заговорила мадемуазель Кормон, которая вовсе не хотела показаться скупой.— Что до мебели, я ее оставлю, как она есть, без изменения, по крайней мере до замужества; а уж тогда здесь все должно быть по вкусу хозяина.

— У вас превосходные правила, мадемуазель,— с улыбкой сказал виконт,— вы осчастливите супруга.

«Никогда никто не говорил мне таких красивых слов»,— подумала старая дева.

Виконт похвалил распорядок дома и сервировку, признавшись, что считал провинцию отсталой, а оказывается, она весьма *комфортабельна.*

«Боже мой, что бы значило это выражение? — подумала мадемуазель Кормон.— Как на грех, нет шевалье де Валуа, он бы ответил! Ком-фор-та-бель-на! Не состоит ли это из нескольких слов? Ну-ка, смелее, возможно, это русское слово, откуда же мне его знать?»

— Но у нас здесь, сударь, самое блестящее общество,— снова заговорила она, набравшись смелости, чувствуя, что язык ее развязан, и проявляя вдруг то красноречие, которое обретают почти все человеческие существа при важных обстоятельствах.— У меня собирается весь город. Нынче же вы сможете сами судить об этом, ибо кое-кто из наших верных друзей безусловно уже узнал о моем возвращении и не замедлит навестить меня. Есть у нас знатный вельможа, шевалье де Валуа, он был принят при старом дворе, человек необычайно тонкого ума и вкуса; затем маркиз д'Эгриньон и его сестра мадемуазель Арманда (но тут мадемуазель Кормон прикусила язык и решила поправить дело)... девушка в своем роде замечательная,— добавила она.— Отказалась от замужества, чтобы оставить все свое состояние брату и племяннику.

— Ах, да! — произнес виконт.— Д'Эгриньоны... я припоминаю.

— Алансон — очень оживленный город,— продолжала старая дева, как заведенная.— Здесь много веселятся, главноуправляющий окладными сборами дает балы, префект — человек весьма обходительный; иногда монсиньор епископ удостаивает нас своим посещением...

— Ну, значит, я хорошо сделал,— засмеялся виконт,— решив вернуться сюда, чтобы, как заяц, умереть в своей норе.

— И я тоже,— сказала старая дева,— как заяц, не покину родного гнездышка.

Поговорку, повторенную в столь странном виде, виконт счел шуткой и улыбнулся.

«Ах,— произнесла про себя старая дева,— все идет хорошо, вот этот меня понимает!»

Беседа велась на избитые темы. Благодаря действию таинственной, непостижимой силы мадемуазель Кормон, подстрекаемая желанием быть любезной, находила в своем мозгу все обороты шевалье де Валуа. Это была как бы дуэль, в которой сам черт нацеливал дуло пистолета. Никогда еще противник не был лучше взят на мушку. Виконт был слишком светским человеком, чтобы говорить о великолепии обеда,— но само его молчание казалось похвалой. Смакуя дивные вина, щедро подливаемые ему Жакленом, он словно вновь, с острой радостью, обретал своих лучших друзей: настоящий ценитель не рукоплещет, он наслаждается. Г-н де Труавиль полюбопытствовал о ценах на земли, дома, места под застройку, он заставил мадемуазель Кормон долго описывать место слияния Бриллианты и Сарты. Удивлялся, что город расположен далеко от большой реки, топография края живо его занимала. Молчаливый аббат предоставил племяннице нить разговора. Мадемуазель всерьез поверила, что развлекает г-на де Труавиля, который ей благосклонно улыбался и, как ей казалось, запутался во время этого обеда больше, чем ее наиболее рьяные женихи запутывались в две недели. К тому же, заметьте, никогда еще ни одного гостя она не окружала такими заботами и не баловала таким вниманием. Право, как будто нежно лелеемый любовник осчастливил дом своим возвращением. Мадемуазель предупредительно подавала виконту хлеб, она не сводила с него глаз; стоило ему отвернуться, как она незаметно подкладывала ему кушанье, если оно, казалось, пришлось ему по вкусу; будь он чревоугодником, она бы до смерти его закормила; но не являлось ли это прекрасным образцом того, что она рассчитывала делать и в дни супружества? У нее хватило ума не ударить лицом в грязь, она смело распустила паруса, подняла флаг, держала себя королевой Алансона и похвастала своим вареньем. В конце концов она стала без зазрения совести хвалить самое себя, как будто уже не осталось никого, кто мог бы ее славословить. Она

заметила, что нравится виконту, ибо надежды так ее преобразили, что она стала почти женщиной. За сладким она не без тайной радости прислушивалась к суете в прихожей, к шуму в гостиной — вестникам сбора ее обычного кружка. Она указала на эту поспешность дядюшке и г-ну де Труавилю, усмотрев доказательство любви к ней в том, что являлось лишь результатом мучительного любопытства, охватившего весь город. Горя нетерпением показаться во всем своем величии, мадемуазель Кормон велела Жаклену подать кофе и ликеры в гостиную, куда, на диво всему избранному обществу, слуга принес великолепный кофейный прибор саксонского фарфора, извлекаемый на свет из шкапа лишь дважды в год. Все эти обстоятельства были подмечены гостями, злословившими под шумок.

— Черт побери! — воскликнул дю Букье.— Да ведь это ликеры госпожи Анфу, которые в доме подаются только четыре раза в год, по большим праздникам!

— Положительно пахнет свадьбой. Должно быть, все устроили путем переписки, еще год назад,— сказал председатель суда г-н дю Ронсере.— Вот уже год, как директор почтовых контор получает письма со штемпелем Одессы.

Госпожа Грансон вздрогнула. Господин шевалье де Валуа, у которого побледнела даже левая щека, несмотря на то, что он пообедал за четверых, почувствовал, что вот-вот выдаст свою тайну, и сказал:

— Не находите ли вы, что сегодня холодно? Я озяб!

— Это веяние России,— произнес дю Букье.

Шевалье посмотрел на него так, словно хотел сказать: «Молодцом держишься!»

Мадемуазель Кормон появилась такая сияющая, такая торжествующая, что показалась всем красивой. Этот необычайный блеск был вызван не только чувством; вся ее кровь с утра бушевала в ней, и нервы трепетали в ожидании решительных событий — лишь совокупность всех этих обстоятельств могла столь неузнаваемо изменить ее. Как она была счастлива, торжественно представляя виконта — шевалье, а шевалье — виконту, весь Алансон — господину де Труавилю, господина де Труавиля — всему Алансону! Случилось так — впрочем, по вполне понятным причинам,— что ви-

конт и шевалье, эти две аристократические натуры, в тот же миг почувствовали друг в друге нечто близкое, каждый из них видел в другом человека своего круга. Они разговорились, стоя у камина. Их обступили, и к их беседе, хотя она и велась вполголоса, прислушивались в благоговейном молчании. Чтобы верно схватить эффект этой сцены, нужно представить себе мадемуазель Кормон, спиной к камину, занятую приготовлением кофе для того, с кем она была уже помолвлена молвою.

Г-н де Валуа.

— Говорят, господин виконт, вы приехали обосноваться здесь?

Г-н де Труавиль.

— Да, сударь, я приехал купить дом... (*мадемуазель Кормон повертывается с чашкой в руке*). А мне нужен большой дом, чтобы разместить... (*мадемуазель Кормон протягивает чашку*) свою семью (*в глазах старой девы потемнело*).

Г-н де Валуа.

— Вы женаты?

Г-н де Труавиль.

— Уже шестнадцать лет, на дочери княгини Щербеловой.

Мадемуазель Кормон упала как подкошенная; увидев, что она зашаталась, дю Букье бросился к ней и подхватил ее на руки; перед ним распахнули дверь, чтобы он мог свободно пройти со своей огромной ношей. Пылкий республиканец нашел в себе силы, действуя по указанию Жозетты, отнести старую деву в спальню и уложить ее на кровать. Вооружившись ножницами, Жозетта разрезала чрезмерно туго затянутый корсет. Дю Букье грубо брызнул водой в лицо мадемуазель Кормон и на ее грудь, обширную, как Луара в половодье. Больная открыла глаза, увидела дю Букье и, узнав его, стыдливо вскрикнула. Дю Букье вышел, уступив место шести женщинам, которые явились в спальню во главе с г-жой Грансон, сиявшей от радости. Как поступил шевалье де Валуа? Верный своей системе, он прикрыл отступление.

— Бедняжка мадемуазель Кормон,— обратился он к г-ну де Труавилю, не спуская глаз с присутствующих и сразу пресекая смех высокомерным взглядом,— она страдает полнокровием, а не хотела пустить себе кровь перед отъездом в Пребоде (ее имение), и вот результат; приливы всегда усиливаются весной.

— Она вернулась сегодня утром в дождь,— сказал аббат де Спонд,— и, вероятно, немного простудилась, а это вызвало маленький приступ, она им подвержена. Но все обойдется.

— Она говорила мне третьего дня, что с ней это не случалось уже три месяца, и добавила, что крайне опасается, как бы здоровье не подвело ее,— продолжал шевалье.

«Ах! Так ты женат!» — мысленно произнес Жаклен, глядя на г-на де Труавиля, который попивал свой кофе маленькими глотками. Верный слуга разделял разочарование своей госпожи. Он догадливо унес ликеры г-жи Анфу, предназначавшиеся для холостого человека, а не для мужа какой-то русской женщины. Все эти мелочи были подмечены и дали повод к насмешкам. Аббат де Спонд знал, что привело г-на де Труавиля в Алансон, но по рассеянности ничего об этом не сказал,— так далек он был от мысли, что племянница заинтересуется г-ном де Труавилем. Что касается виконта, то, поглощенный целью своего путешествия и, подобно большинству мужчин, не склонный много говорить о своей жене, он не имел повода объявить себя женатым; впрочем, он думал, что мадемуазель Кормон знает об этом. Вернулся дю Букье, и его подвергли бесконечному допросу. В гостиную спустилась одна из шести женщин с вестью, что пришел врач, что мадемуазель Кормон значительно лучше, но она должна оставаться в постели и, очевидно, придется пустить ей кровь. Вскоре гостиная была полна. Пользуясь отсутствием мадемуазель Кормон, дамы пространно судили и рядили, они разукрашивали, расцвечивали, преувеличивали, раздували только что разыгравшуюся при участии мадемуазель Кормон трагикомическую сцену, которой предстояло на следующий день стать достоянием всего Аланcона.

— Славный этот господин дю Букье, и как только он вас донес! Что за силач! — сказала Жозетта своей

хозяйке.— Он побледнел, когда вам стало дурно; значит, он вправду все еще вас любит.

Фразой этой завершился торжественный и ужасный день.

Наутро рассказы о малейших обстоятельствах этой комедии обежали все дома Алансона, и, не к чести этого города, надо сказать, все поголовно хохотали. Но самые неугомонные насмешники поразились бы величию мадемуазель Кормон, будь они свидетелями того, как на другой день, после кровопускания, которое ей очень помогло, она с благородным достоинством и великолепной христианской покорностью судьбе подала руку невольному мистификатору, чтобы идти завтракать. Вам, жестокие шутники, высмеивавшие ее, не мешало бы послушать, как она говорила виконту:

— Госпоже де Труавиль будет нелегко найти здесь подходящую квартиру; прошу вас, сударь, располагайте моим домом на все время, пока вы не устроитесь.

— Но, мадемуазель, у меня две девочки и два мальчика, мы бы вас очень стеснили.

— Не отказывайте мне,— сказала она, сокрушенно глядя на него.

— Я вам это предлагал в ответном письме, которое я на всякий случай послал,— сказал аббат,— но вы его не получили.

— Как, дядюшка, вы знали...

Несчастная девица осеклась. Жозетта вздохнула. Ни виконт де Труавиль, ни дядя ничего не заметили. После завтрака аббат де Спонд повел виконта, как было решено накануне, осмотреть имеющиеся в Алансоне продажные и пригодные для застройки участки.

Оставшись одна в гостиной, мадемуазель Кормон сказала жалобно Жозетте:

— Милая, теперь я стала притчей всего города.

— Ну что ж, надо выйти замуж, сударыня!

— Но, милая, я совершенно не подготовлена сделать выбор.

— Подумать только! Я бы на вашем месте остановилась на господине дю Букье.

— Жозетта, господин де Валуа говорит, что это такой республиканец!..

— Все ваши господа сами не знают, что говорят:

ведь они твердят, что он обворовывал Республику, стало быть, он не очень-то ее жаловал,— возразила Жозетта, выходя из комнаты.

«Эта девушка большая умница»,— подумала мадемуазель Кормон, оставшись одна, во власти мучительных сомнений.

Она ясно видела, что только поспешное замужество положило бы конец всем толкам. Этот последний, явно позорный, провал в состоянии был довести ее до крайности, ибо люди, не наделенные умом, нелегко отказываются от раз намеченного пути, хорошего или дурного. Оба старых холостяка поняли, в каком положении должна была очутиться старая дева: поэтому и тот и другой решили непременно зайти к ней с утра пораньше — осведомиться о здоровье и, выражаясь по-холостяцки, *закинуть удочку*. Г-н де Валуа рассудил, что обстоятельства требуют особенно тщательного туалета, он принял ванну, он прихорашивался больше обычного. В первый и последний раз довелось Цезарине видеть, с каким непревзойденным искусством он наложил легкий слой румян. А дю Букье, этот неотесанный мужлан, подстрекаемый упрямой волей, махнул рукой на свой туалет, но зато явился первым. Подобные мелочи решают судьбы людей так же, как и судьбы государства. Атака Келлермана при Маренго, прибытие Блюхера в Ватерлоо, презрение, высказанное Людовиком XIV принцу Евгению, дененский кюре — все это важные причины удач или крушений; история их отмечает; однако ни для кого они не служат уроком, чтобы предусматривать все мелочи в собственной жизни. А между тем глядите, что получается! Герцогиня де Ланже (см. «Историю тринадцати») постригается в монахини из-за того, что у нее не хватило терпения подождать десять минут; следователь Попино (см. «Дело об опеке») откладывает на один день допрос маркиза д'Эспара; Шарль Гранде возвращается через Бордо, вместо того чтобы вернуться через Нант,— и все это именуется случайностью, роком. Минута, потребная, чтобы наложить на щеки легкий слой румян, разрушила все надежды шевалье де Валуа; этот дворянин должен был погибнуть именно так: он жил под покровительством Граций, и ему суждено было пасть от их руки. В тот миг, как шевалье бро-

сил последний взгляд на свой туалет, толстяк дю Букье ввалился в гостиную безутешной девы. Он угодил в ту минуту, когда среди ее размышлений, в которых все преимущества, так или иначе, были на стороне шевалье, мелькнула одна-единственная мысль в пользу республиканца. «Сам бог того хочет»,— подумала старая дева, увидев дю Букье.

— Мадемуазель, не истолкуйте превратно мою поспешность; мне не хотелось поручать этому остолопу Ренэ справиться о вашем здоровье, поэтому я пришел сам.

— Я совершенно здорова,— ответила она растроганно.— Благодарствуйте, господин дю Букье,— произнесла она после небольшой паузы с особенным выражением в голосе,— за проявленную вами заботу и за хлопоты, которые я вам вчера причинила...

Она вспомнила себя в объятиях дю Букье, и этот случай в особенности показался ей проявлением воли неба. Впервые она предстала перед мужчиной в подобном виде: с разорванным поясом, с разрезанной шнуровкой, со всеми своими женскими сокровищами, грубо извлеченными из скрывавшего их футляра.

— Нести вас было для меня таким удовольствием, что я даже не почувствовал тяжести.

Тут мадемуазель Кормон так посмотрела на дю Букье, как не смотрела еще ни на одного мужчину в мире. Ободренный поставщик бросил на старую деву многозначительный взгляд, пронзивший ее сердце.

— Я сожалею,— добавил он,— что это не дало мне права удержать вас навеки в своих руках. (Она внимала ему с восхищением.) Говоря между нами, в беспамятстве, там, на кровати, вы были прелестны. Ни разу в жизни не видел я женщины красивее, а я перевидал их немало на своем веку!.. Полные женщины тем-то и хороши, что стоит им только показать свою красоту, и они уже торжествуют победу.

— Вы изволите смеяться надо мной,— пролепетала старая дева.— Как нехорошо! И без того весь город, вероятно, злословит о том, что приключилось со мною вчера.

— Не будь я дю Букье, сударыня, если чувства мои к вам не оставались всегда неизменны. Ваш отказ не

мог заставить меня расстаться с заветными моими надеждами.

Старая дева потупила взор. Настала минута молчания, тягостного для дю Букье. Но мадемуазель Кормон уже решилась, она подняла глаза, полные слез, и нежно поглядела на дю Букье.

— Если это так, сударь,— проговорила она дрожащим голосом,— обещайте мне только жить по-христиански, никогда не перечить моим религиозным привычкам, оставить за мной право выбирать себе духовников, и я отдаю вам руку,— сказала она, протягивая ее поставщику.

Дю Букье схватил эту славную, толстую руку, полную экю, и благоговейно облобызал ее.

— Но я попрошу вас еще об одном,— продолжала мадемуазель Кормон, не отнимая руки.

— На все согласен, если это неисполнимо — исполню! (Заимствование у Божона.)

— Увы! — начала старая дева.— Во имя любви ко мне вам придется взять на душу грех, тяжкий грех, я знаю, ибо ложь — один из семи смертных грехов; но вы покаетесь потом, не правда ли? Мы вместе искупим его... (Они нежно посмотрели друг на друга.) А возможно, это будет ложь, которую сама церковь называет «ложь во спасение»?

«Не оказалась бы и эта вроде Сюзанны,— мелькнуло в голове у дю Букье.— Мне везет».

— Итак, мадемуазель? — произнес он вслух.

— Вы должны,— продолжала она,— сами объявить...

— Что?

— Что наш брак был решен еще полгода тому назад.

— Очаровательница! — произнес поставщик тоном безгранично преданного человека.— На подобную жертву можно согласиться лишь ради той, которую боготворишь уже десять лет.

— И это несмотря на всю мою суровость? — спросила она.

— Да, несмотря на всю вашу суровость.

— Господин дю Букье, я была несправедлива к вам.

Она снова протянула ему свою толстую, красную руку, которую дю Букье снова поцеловал.

В эту минуту дверь отворилась, и помолвленные, по-

смотрев, кто идет, увидели восхитительного — но опоздавшего! — шевалье де Валуа.

— А, прекрасная владычица дум моих! — произнес он, входя.— Вы уже на ногах?

Она улыбнулась шевалье и почувствовала, что сердце ее сжалось. Г-н де Валуа, замечательно моложавый и обольстительный, походил на Лозена, входящего в Пале-Рояль к принцессе королевской крови.

— Ну-с, любезный дю Букье,— проговорил он насмешливо, настолько он был уверен в успехе,— господин де Труавиль и аббат де Спонд измеряют ваш дом, как присяжные оценщики.

— По чести говоря,— отозвался дю Букье,— пожелай только виконт де Труавиль, и за сорок тысяч франков я готов отдать ему свой дом: мне он теперь ни к чему. Если мадемуазель позволит... Да ведь рано или поздно, а надо сказать... Мадемуазель, можно объявить?

— Да!

— *Ну-с, любезный шевалье,*— сказал бывший поставщик,— будьте же первым, кому я объявляю... (мадемуазель Кормон потупилась) о чести, о милости, которую оказала мне мадемуазель и которую я держу в секрете уже около полугода. Через несколько дней — наша свадьба, брачный контракт уже готов, завтра мы его подпишем. Вы сами понимаете, что мой дом на улице Синь мне больше не понадобится. Я исподволь подыскивал покупателя, и вполне естественно, что аббат де Спонд, *знавший об этом,* повел господина де Труавиля ко мне...

Эта грубая ложь казалась настолько правдоподобной, что шевалье попался на нее. Слова *любезный шевалье* были своего рода реваншем Петра Великого Карлу XII под Полтавой за прежние поражения. Для дю Букье это была сладкая месть за тысячи молча проглоченных колкостей; но, упоенный победой, он мальчишеским жестом провел по волосам и... сдвинул парик.

— Поздравляю вас обоих,— с подчеркнутой приятностью произнес шевалье,— и желаю вам кончить тем, чем кончаются все волшебные сказки: *они жили-поживали и добра наживали, и было у них много детей.*— И он принялся разминать понюшку.— Только, сударь

мой, вы забыли, что... носите парик,— добавил он саркастически.

Дю Букье покраснел, парик его на десять дюймов съехал на затылок. Мадемуазель Кормон взглянула, увидела голый череп и целомудренно опустила глазки. Дю Букье метнул на шевалье самый ядовитый взгляд, какой когда-либо останавливала жаба на своей жертве.

«Чертовы аристократы, вы пренебрегали мной, но будет день, и я уничтожу вас всех!» — подумал он.

Шевалье де Валуа вообразил, что он снова добился перевеса. Но мадемуазель Кормон была совсем не из тех девиц, что способны понять связь между париком дю Букье и пожеланием де Валуа; впрочем, если бы она и поняла — ее рука была отдана. Для шевалье стало ясно, что все потеряно. Действительно, заметив, что мужчины безмолвствуют, простодушная дева решила развлечь их.

— Сыграйте-ка вдвоем в пикет,— сказала она без всякого умысла.

Дю Букье усмехнулся и, в качестве будущего хозяина дома, пошел за ломберным столиком. Шевалье де Валуа — то ли совсем потеряв голову, то ли желая тут же на месте узнать причину своего поражения и помочь беде — поплелся за поставщиком покорно, как баран, которого ведут на убой. Он получил, словно обухом по голове, самый тяжелый удар, какой когда-либо постигал мужчину; ведь может и дворянин быть, по меньшей мере, ошеломлен. Вскоре возвратились достойный аббат де Спонд и виконт де Труавиль. Мадемуазель Кормон тотчас же вскочила, выбежала в прихожую и, отведя дядюшку в сторону, поведала ему на ухо о своем решении. Узнав, что дом на улице Синь подходит господину де Труавилю, она попросила будущего супруга сделать ей одолжение — сказать, якобы дядя знал, что дом продается. Она боялась доверить эту ложь аббату из-за его рассеянности. Ложь процветала вовсю, как если бы это была сама добродетель. Вечером весь Алансон узнал важную новость. Целых четыре дня город был взбудоражен не меньше, чем в дни событий злополучных 1814—1815 годов. Одни недоверчиво смеялись, другие допускали возможность такого брака; эти порицали, те одобряли. Среднее сословие алансонцев торжествовало, расцени-

вая помолвку как свою победу. На другой день шевалье де Валуа в кругу друзей произнес убийственные слова:

— Кормоны кончают тем, с чего начали! От управителя до поставщика — рукой подать!

Весть о выборе, сделанном мадемуазель Кормон, поразила бедного Атаназа в самое сердце, но он ничем не выдал ужасного смятения, овладевшего им. О помолвке он узнал в доме председателя суда дю Ронсере, где его мать играла в бостон. Г-жа Грансон взглянула на сына в зеркало, и ей показалось, что он побледнел; но он был бледен еще с утра, потому что неясные слухи об этой помолвке уже дошли до него. Мадемуазель Кормон была для Атаназа картой, на которую он ставил свою жизнь, и его уже охватывало леденящее предчувствие гибели. Когда душа и воображение преувеличивают размеры несчастья и взваливают его непосильным бременем на плечи и чело; когда ускользает долго лелеемая надежда, которая своим осуществлением укротила бы огненного ястреба, вонзившего когти в сердце; когда человек, не рассчитывая на свои силы, теряет веру в себя, когда он теряет веру в будущее, не полагаясь на всемогущество божье,— он разбивается насмерть. Атаназ по своему воспитанию был продуктом императорской эпохи. Вера в судьбу — религия императора — спустилась с трона до самых последних рядов армии и даже до школьных скамей.

Атаназ, уставившись глазами в карты г-жи дю Ронсере, стоял в каком-то оцепенении, а потому казался безучастным, и г-жа Грансон решила, что она заблуждалась относительно чувств сына. Мнимое безразличие Атаназа объясняло его отказ принести в жертву этому браку свои *либеральные* воззрения — слово, созданное незадолго до того специально для императора Александра и пущенное в ход, если не ошибаюсь, г-жой де Сталь, через Бенжамена Констана. Начиная с этого рокового вечера несчастный юноша избрал для своих прогулок самое живописное место на берегу Сарты, откуда рисовальщики, облюбовавшие Алансон, делают наброски его видов. Тут расположено несколько мельниц. Река оживляет однообразие полей. Берега Сарты украшены изящными, картинно разбросанными купами деревьев. Местность, хотя и плоская, не лишена скромной прелести, характерной для Франции, где свет не слепит глаза восточ-

ной яркостью, а туманы не удручают душу чрезмерной продолжительностью. Это была пустынная окраина. В провинции никто не интересуется красотами природы, то ли от пресыщения, то ли от полного отсутствия поэтической жилки. Если в провинции существуют аллеи, места для прогулок, какая-нибудь площадка, откуда глазам открываются дали,— туда никто не ходит. Атаназ полюбил этот уединенный, оживляемый рекою уголок, где под первыми улыбками вешнего солнца уже зеленели луга. Те, кому случалось видеть, как он сидит там под тополем, кто ловил на себе его проникновенный взгляд, иногда говорили г-же Грансон: «У вашего сына есть что-то на душе».

— Я знаю, чем он занят! — отвечала мать с довольным видом, давая понять, что он обдумывает какой-то большой труд.

Атаназ перестал вмешиваться в политику, он больше не высказывал своего мнения; но по временам он казался почти веселым, иронически веселым, как тот, кто поносит в душе весь мир. Этот юноша, не разделявший ни провинциальных взглядов, ни провинциальных удовольствий, мало кого занимал, он даже не возбуждал ничьего любопытства. Если кто заговаривал о нем с его матерью, то только из внимания к ней. Душа Атаназа не находила отклика ни в чьей другой душе; ни одна женщина, ни один друг не пришли осушить его слезы, он ронял их в воды Сарты. Если бы в это время здесь появилась великолепная Сюзанна, сколько бед предотвратила бы встреча этих двух существ, ибо они полюбили бы друг друга! А она все-таки приехала сюда. Рассказ об одном довольно необычайном происшествии, завязка которого произошла около 1799 года в «Гостинице Мавра», пробудил честолюбие Сюзанны и потряс ее детски-капризное воображение. Некая парижская девица, прелестная, как ангел, была подослана полицией обольстить маркиза де Монторана, одного из шуанских главарей, назначенных Бурбонами; она встретилась с ним в «Гостинице Мавра», как раз когда он возвращался из похода в Мортань; она его обольстила и предала. Эта легендарная особа, эта власть красоты над мужчиной, все отношения между Мари де Верней и маркизом де Монтораном поразили Сюзанну: с первых дней своей сознательной

жизни она стремилась играть мужчинами. Через несколько месяцев после своего бегства, направляясь с одним художником в Бретань, она не отказала себе в удовольствии побывать проездом в родном городе. Ей хотелось повидать Фужер, где произошла развязка авантюры маркиза де Монторана, и посетить театр этих красочных военных действий, трагические эпизоды которых, еще мало изученные, были известны ей с самой юности. К тому же она жаждала показаться в Алансоне в столь блестящем сопровождении и до неузнаваемости преображенной. Она рассчитывала заодно обеспечить безбедное существование своей матери и послать под благовидным предлогом бедняге Атаназу некоторую сумму денег, ибо в наши дни деньги являются для гения тем же, чем в середине века были боевой конь и доспехи, добытые Ревеккой для Айвенго.

Целый месяц в городе делали самые нелепые предположения относительно замужества мадемуазель Кормон. Составились две партии — маловеров, которые отрицали возможность этого брака, и верующих, которые настаивали на ней. К концу второй недели маловеры получили ощутительный удар: дом дю Букье был продан за сорок тысяч франков г-ну де Труавилю, пожелавшему приобрести в Алансоне совсем, совсем скромное жилище,— потому что в будущем, после смерти княгини Шербеловой, ему предстояло переселиться в Париж; он рассчитывал спокойно дожидаться наследства, занимаясь восстановлением хозяйства на своих землях. Такой факт, как продажа дома, казался достаточно убедительным. Но маловеры не сдавались. Они утверждали, что женится или не женится дю Букье, а дельце само по себе было весьма выгодно: ему-то дом обошелся только в двадцать семь тысяч франков. Верующие были сражены таким решительным заявлением маловеров. Шенелю, нотариусу мадемуазель Кормон, говорили опять-таки маловеры, никто еще словом не обмолвился относительно брачного контракта. На двадцатый день верующие, непоколебимые в своем убеждении, одержали решительную победу над маловерами. Г-н Лепрессуар, нотариус либералов, пришел в дом к мадемуазель Кормон, и там был подписан брачный контракт. Это была первая из многочисленных жертв, которые мадемуазель Кормон впредь была вы-

нуждена приносить своему супругу. Дю Букье питал глубокую ненависть к Шенелю; он приписывал его влиянию отказ, полученный им некогда от мадемуазель Арманды и, как он думал, повлекший за собой в свое время и отказ мадемуазель Кормон. Старый боец Директории ухитрился подъехать к достойной деве, считавшей, что она не умела понять прекрасную душу поставщика, и пожелавшей загладить свою вину перед ним: во имя любви она пожертвовала своим нотариусом! Тем не менее она ознакомила его с контрактом, и Шенель, человек, достойный быть героем Плутарха, в письменной форме оградил интересы мадемуазель Кормон. Именно это обстоятельство и послужило единственной причиной, оттягивающей свадьбу. Мадемуазель Кормон получила много анонимных писем. К своему величайшему изумлению, она узнала, что Сюзанна девственной непорочностью могла бы поспорить с нею самой и что соблазнитель в парике уже неспособен играть роль в подобных похождениях. Мадемуазель Кормон пренебрежительно отнеслась к анонимным письмам; но она написала Сюзанне, чтобы выяснить положение дел в связи с Обществом вспомоществования матерям. Сюзанна, до которой, разумеется, дошли слухи о предстоящей женитьбе дю Букье, призналась в своей хитрости и отослала Обществу тысячу франков, оказав таким образом весьма плохую услугу бывшему поставщику. Мадемуазель Кормон созвала чрезвычайное совещание общества, постановившее впредь оказывать помощь не в виду предстоящей беды, но только по ее свершении. Несмотря на различные подвохи, ставшие, на потеху всего города, предметом сплетен, которые со смаком пересказывались, оглашение было сделано в церкви и в мэрии. Атаназу пришлось подготовить брачное свидетельство. Во имя общественного целомудрия и всеобщего спокойствия невеста уехала в Пребоде, где дю Букье навещал ее по два раза в день: утром — с пышными уродливыми букетами в обеих руках—и под вечер, к обеду. Наконец в один пасмурный, дождливый июньский полдень в алансонской приходской церкви, на глазах у всего города состоялось бракосочетание мадемуазель Кормон и, *с позволения сказать, господина* дю Букье, как выражались маловеры. Из дома в мэрию и из мэрии в церковь новобрачные ехали в роскошной для Алансона

коляске, которую дю Букье выписал тайком из Парижа. Весь город рассматривал утрату старой одноколки как своего рода общественное бедствие. Шорник с улицы Порт де Сеэз громко выражал свое негодование, ибо терял пятьдесят франков ежегодного дохода, которые ему приносила починка одноколки. Алансон пришел в ужас, видя, как благодаря дому Кормон в городе водворяется роскошь. Каждый опасался, что вздорожают съестные припасы, непомерно повысится квартирная плата и нахлынут предметы парижской меблировки. Иных настолько терзало любопытство, что они совали Жаклену несколько монеток в десять су, только бы поближе рассмотреть эту коляску, посягавшую на экономику края. Пара лошадей, купленных в Нормандии, тоже немало напугала алансонцев.

— Кто же станет приезжать за лошадьми нашего завода, раз мы сами покупаем лошадей на стороне! — говорили в кружке дю Ронсере.

Хотя на первый взгляд вывод этот казался глупым, но в нем заключалась глубокая мысль относительно возможности для края загребать чужие деньги. Провинция видит национальное богатство не столько в активно обращающихся капиталах, сколько в бесплодном накоплении. В довершение всего сбылось убийственное пророчество старой девы. Пенелопа пала от плеврита, которым она заболела за полтора месяца до свадьбы хозяйки; ничто не могло ее спасти. Г-жа Грансон, Мариетта, г-жа дю Кудре, г-жа дю Ронсере — словом, весь город подметил, что мадам дю Букье ступила в церковь *левой ногой;* примета тем более ужасная, что в те времена слово *левый* уже начинало приобретать политический смысл. Священник, которому надлежало произнести проповедь, нечаянно открыл свой молитвенник на заупокойном псалме. Таким образом, этот брачный союз сопровождался предзнаменованиями столь мрачными, столь грозными, столь зловещими, что никто не предрекал ему ничего доброго. Все шло из рук вон плохо. О свадебном пире нечего было и думать, так как новобрачные уехали в Пребоде. Итак, говорили все друг другу, парижским обычаям предстояло одержать верх над провинциальными. Вечером весь Алансон судил и рядил обо всем этом вздоре; те, кто рассчитывал на лукулловское пиршество, обяза-

тельное для провинциальных свадеб и принимаемое обществом как непременная дань, почти поголовно возмущались. А свадьба Жозетты и Жаклена прошла весело; только эта парочка и опровергла все мрачные предсказания.

Дю Букье пожелал потратить всю сумму, вырученную от продажи дома, на то, чтобы отремонтировать и переделать по-модному старинный особняк Кормон. С этой целью он решил прожить полгода в Пребоде и перевез туда дядюшку де Спонда. Новость эта ужаснула весь город, каждый был охвачен предчувствием, что дю Букье задумал увлечь край на пагубный путь комфорта. Страх еще усилился, когда в одно прекрасное утро горожане увидели, как дю Букье, направляясь из Пребоде в Валь-Нобль, чтобы наблюдать за работами по дому, восседает, вместе с облаченным в ливрею Ренэ, в тильбюри, в который запряжена недавно купленная лошадь. Начало своей хозяйской деятельности дю Букье ознаменовал тем, что приобрел на женины накопления ренту государственного казначейства, которая шла по шестьдесят семь франков пятьдесят сантимов. Постоянно играя на повышение, он за год сколотил себе личный капитал, без малого равный капиталу его супруги. Однако все грозные предзнаменования, все катастрофические новшества потускнели перед одним происшествием, стоявшим в самой тесной связи с этим браком и придавшим ему нечто еще более роковое.

В вечер свадьбы Атаназ с матерью сидел после обеда за десертом в гостиной, перед камельком, где служанка, принеся охапку валежника, разожгла огонек, именуемый в здешних местах *угостительным.*

— Ну что ж! Пойдем сегодня вечером к председателю дю Ронсере, раз уж мы остались без мадемуазель Кормон,— сказала г-жа Грансон.— Господи! Я никогда не привыкну называть ее госпожой дю Букье, у меня язык не поворачивается произнести это имя.

Атаназ печально и принужденно взглянул на мать; у него не было сил ей улыбнуться, но ему хотелось выразить как бы признательность за эту наивную попытку если не исцелить, то смягчить его боль.

— Мама,— произнес он, и голос его прозвучал так нежно, так по-детски, как по-детски прозвучало это дав-

но забытое обращение.— Милая мама, побудем еще дома, здесь так хорошо у огня!

Мать, не поняв умом, вняла сердцем этой последней просьбе убитого горем сына.

— Хорошо, дитя мое, останемся,— сказала она,— мне, конечно, приятнее провести вечер в разговорах с тобой о твоих планах, чем за карточным столом, где я могу проиграться.

— Ты сегодня такая красивая, я бы все смотрел на тебя. К тому же и мысли мои нынче под стать этой невзрачной маленькой гостиной, где мы столько выстрадали.

— И где нам еще предстоит немало страдать, бедный мой Атаназ, пока ты добьешься признания. Я нужды не боюсь; но, мое сокровище, каково мне видеть, что безрадостно проходит твоя прекрасная молодость! Каково сознавать, что вся твоя жизнь — один только труд! Для матери — это нож в сердце; от такой муки я долго не могу заснуть по вечерам, с нею по утрам я пробуждаюсь. Боже мой, боже! Чем я прогневила тебя? За что ты меня наказываешь?

Она пересела с кресла на маленький стульчик и прижалась к Атаназу, положив голову к нему на грудь. В неподдельном материнском чувстве всегда есть прелесть влюбленности. Атаназ целовал глаза, лоб, седые волосы матери, свято желая прилепиться душою ко всему, чего касались его губы.

— Я никогда ничего не достигну,— сказал он, стараясь скрыть от матери роковое решение, которое зрело у него в голове.

— Вот тебе на! Ты, никак, падаешь духом? Не ты ли сам говорил, что мысль всемогуща? Лютеру понадобилось только десять пузырьков чернил, десять стоп бумаги и твердая воля, чтобы потрясти всю Европу. Что ж! Ты прославишься и станешь творить добро теми же средствами, какими он творил зло. Не твои ли это слова? Смотри, как внимательно я тебя слушаю и понимаю лучше, чем ты думаешь, ибо я все еще ношу тебя под сердцем — малейшая твоя мысль отдается во мне, как некогда легчайшее твое движение.

— Видишь ли, мама, я здесь ничего не добьюсь; и я не хочу, чтобы ты была свидетельницей моих терзаний,

усилий, тревог. Родная, позволь мне покинуть Алансон; лучше мне страдать вдали от тебя.

— А я хочу всегда быть подле тебя,— с достоинством возразила мать.—Как тебе страдать вдали от матери, от твоей маменьки, которая, если понадобится, станет твоей служанкой, а захочешь — исчезнет, чтобы тебе не мешать, но даже тогда не скажет, что ты загордился! Нет, нет, Атаназ, мы никогда не расстанемся.

Атаназ обнял мать так страстно, как умирающий обнял бы самое жизнь.

— И тем не менее я так хочу,— продолжал он.— Иначе ты меня потеряешь... Болеть душой вдвойне, за тебя и за себя, свыше моих сил. Ведь ты же хочешь, чтобы я жил, не правда ли?

Госпожа Грансон растерянно посмотрела на сына.

— Так вот что у тебя на уме! Мне не раз об этом говорили. Значит, ты уезжаешь?

— Да.

— Ты не уедешь, не сказав мне всего, не предупредив меня. Тебе же нужны вещи, деньги. У меня зашито в нижней юбке несколько золотых, ты их возьмешь.

Атаназ разрыдался.

— Вот все, что я хотел тебе сказать,— снова заговорил он.— Теперь я провожу тебя к председателю. Пойдем...

Мать и сын вышли. Атаназ расстался с матерью на пороге дома, где она собиралась скоротать вечер. Долго он смотрел на свет, пробивавшийся сквозь щели ставней; прижавшись к окну, он слушал, и его охватила какая-то исступленная радость, когда четверть часа спустя до него донесся голос матери, объявлявший: — *Большой шлем в червях!*

— Бедная матушка, я обманул тебя! — воскликнул он, выходя на берег Сарты.

Он подошел к красавцу тополю, под которым столько передумал за последние полтора месяца и где устроил себе сиденье из двух больших камней. Он любовался красотой природы, озаренной в этот час луной; за несколько часов пред ним снова пронеслось его славное будущее: он прошел по городам, повергаемым в волнение одним звуком его имени; он услышал приветственный гул толпы, он вдохнул фимиам празднеств, он по-

клонился призраку своей жизни; он предался победному ликованию, он воздвиг себе памятник, он призвал свои несбыточные мечты, чтобы сказать им «прости» на последнем олимпийском пиршестве. Подобное волшебство могло длиться лишь краткое время, и вот оно развеялось навсегда. В этот предсмертный час Атаназ обнял прекрасное дерево, к которому привязался, как к другу; затем положил в карманы сюртука два камня и застегнулся на все пуговицы. Из дому он преднамеренно вышел без шляпы. Он разыскал то глубокое место, которое давно наметил; без колебания скользнул он в воду, стараясь, чтоб не было никакого шума,— и шума почти не было. Когда, примерно в половине десятого, г-жа Грансон вернулась домой, служанка ничего не сказала ей об Атаназе, она подала ей письмо; г-жа Грансон развернула его и прочла следующие скупые слова: *Добрая моя маменька, я отправился в путь, не сердись на меня.*

— Нечего сказать, славно он меня провел! — воскликнула она.— Но белье! Но деньги! Ну что ж, он мне напишет, и я тогда поеду к нему. Детишки всегда воображают, что могут перехитрить отца с матерью! — И она спокойно улеглась спать.

За день до того, утром, как и ожидали рыбаки, Сарта разлилась. В эту пору мутные воды гонят множество угрей из их родных ручьев. Вот почему на том месте, куда бросился в воду горемыка Атаназ, уверенный, что его никогда не найдут, оказался раскинутый невод. Около шести часов утра рыбак вытащил труп юного самоубийцы. Две-три приятельницы, какие были у несчастной вдовы, очень осторожно подготовили ее к прибытию страшных останков. Можно себе представить, как весть об этом самоубийстве прогремела на весь Алансон. Еще накануне у талантливого юноши не было ни одного покровителя; на следующий день после его смерти раздавалось на тысячи голосов: «Кто-кто, а я бы, конечно, ему помог!» Так удобно выставить себя благодетелем без всяких затрат! Шевалье де Валуа пролил свет на это самоубийство. Из чувства мести этот дворянин рассказал о чистой, неподдельной, прекрасной любви Атаназа к мадемуазель Кормон. Г-жа Грансон, которую надоумил шевалье, вспомнила множество мельчай-

ших обстоятельств и подтвердила рассказ г-на де Валуа. История становилась трогательной, некоторые женщины плакали. Горе г-жи Грансон было затаенным, немым, мало кому понятным. Материнская скорбь по умершим детям бывает двух видов. Бывает так, что люди понимают всю глубину этой печали: утрата сына, всеми уважаемого, всеми любимого, молодого или красивого, на пути к успеху и богатству или уже прославившегося, вызывает всеобщее сочувствие; свет разделяет это горе и, придавая ему более широкий характер, смягчает его. Но есть другая скорбь, скорбь матери, которая одна только знает, чем было ее дитя, которая одна ловила его улыбки, которая одна подметила сокровища слишком рано скошенной жизни; при таком горе прячут от чужих глаз свой траурный креп, черней которого нет ничего. Горе это не поддается описанию; к счастью, немногие женщины знают, какую струну сердца оно обрывает навек. Еще до того, как г-жа дю Букье вернулась в город, жена председателя дю Ронсере, одна из ее закадычных приятельниц, поспешила бросить этот труп на розы ее радости и сообщить ей, от какой любви она отказалась; она тихонько влила не одну сотню капель полынной горечи в мед первого месяца ее брачной жизни. Возвращаясь в Алансон, г-жа дю Букье случайно столкнулась на углу улицы Валь-Нобль с г-жой Грансон... Взгляд умиравшей от горя матери поразил старую деву в самое сердце. В нем было проклятие, тысячу раз повторенное,— тысяча искр в одном луче. Взгляд этот ужаснул г-жу дю Букье, он предвещал ей, призывал на нее несчастье. В самый день катастрофы, вечером, г-жа Грансон, одна из тех, кто был наиболее нетерпимо настроен против городского священника, всегда ратовавшая за викария церкви св. Леонарда, содрогнулась при мысли о непреклонности католического учения, исповедуемого ее же партией. После того как она своими руками одела сына в саван, вспоминая о богоматери, г-жа Грансон, изнывая душой в мучительной тревоге, отправилась к присягнувшему священнику. Она застала этого скромного человека за разборкой пеньки и льна, которые он отдавал прясть всем нуждающимся женщинам и девушкам в городе, чтобы у них никогда не было недостатка в работе,— разумная благотворительность, ко-

торая спасла от нищеты не одно семейство, неспособное побираться. Кюре тотчас оставил свою пеньку и поспешил проводить г-жу Грансон в гостиную, где ожидавший его ужин своей скудостью напомнил измученной женщине ее собственный стол.

— Господин аббат,— сказала она,— я пришла вас умолять...— Не в силах окончить речь, она залилась слезами.

— Знаю, что́ привело вас ко мне,— ответил святой человек.— Я полагаюсь на вас, сударыня, и на вашу родственницу госпожу дю Букье, что в случае чего вы постараетесь умилостивить в Сеэзе епископа. Да, я помолюсь за ваше несчастное дитя; я отслужу по нем панихиду; но постараемся избежать огласки, не дадим повода недоброжелателям сбежаться в церковь со всего города... я один, без причта, ночью...

— Да, да, как вам угодно, только бы он лежал в освященной земле!— проговорила бедная мать и, взяв руку священника, поцеловала ее.

И вот, около полуночи четверо юношей, самых любимых товарищей Атаназа, крадучись перенесли гроб в приходскую церковь. Там уже находилось несколько подруг г-жи Грансон — группа женщин в черном, с опущенными вуалями, да еще семь-восемь юношей, которым поверял свои тайны этот безвременно погибший талант. Четыре факела освещали гроб, покрытый траурным крепом. Священник, которому прислуживал мальчик-клирошанин, на чью скромность можно было положиться, прочел заупокойные молитвы. Затем самоубийцу потихоньку отнесли в отдаленный угол кладбища, где крест из потемневшего от времени дерева, без надписи, отметил для матери его могилу. Атаназ жил и умер во мраке. Никто ни одним словом не выдал священника, епископ хранил молчание. Благочестием матери искупилось нечестие сына.

Прошло несколько месяцев, и однажды вечером бедная, обезумевшая от горя женщина, движимая, как все обездоленные, безотчетным желанием жадно прильнуть устами к своей горькой чаше, вздумала посмотреть на место гибели своего сына. Кто знает, может быть, инстинкт подсказывал ей, что под тополем она угадает его предсмертные мысли; а может быть, она хотела видеть

то, на что глядел в последний раз ее сын. Для одних матерей такое место — плаха, а для других — святыня. Терпеливые анатомы человеческой природы никогда не устанут твердить об истинах, о которые должны разбиться все теории, законы и философские системы. Скажем еще и еще раз: стремление мерить людские чувства единой меркой — нелепость; у каждого человека чувства сочетаются с элементами, свойственными только ему, и принимают его отпечаток.

Г-жа Грансон еще издали увидела женщину, которая, подойдя к роковому месту, воскликнула: *«Так вот где это было!»* Только одно существо оплакивало Атаназа, как его оплакивала мать. Этим существом была Сюзанна. Приехав утром в «Гостиницу Мавра», она узнала о несчастье. Если бы бедняга Атаназ был жив, она, вероятно, сделала бы то, о чем мечтают люди благородные, но неимущие и что не приходит в голову богачам: она послала бы ему несколько тысяч франков, написав: *«Деньги, данные вашим отцом взаймы своему другу, который возвращает их вам»*. Эта ангельская хитрость была задумана Сюзанной во время путешествия.

Куртизанка увидела г-жу Грансон и поспешила уйти, промолвив: «Я его любила».

Сюзанна, верная себе, не уехала из Алансона, пока не превратила в водяные лилии флердоранж, венчавший новобрачную: она первая объявила, что супруга г-на дю Букье навсегда останется девицей. Одним язвительным словом она отомстила и за Атаназа и за дорогого ей шевалье де Валуа.

Алансон стал свидетелем еще одного самоубийства, но медленного и вызывавшего жалость совсем иного рода, потому что Атаназ был сразу забыт обществом, которое желает и обязано поскорее забывать покойников. Бедный шевалье де Валуа умирал заживо, убивая себя ежедневно четырнадцать лет сряду. Спустя три месяца после женитьбы дю Букье свет не без удивления заметил, что сорочка шевалье пожелтела, а волосы причесаны кое-как. Взлохмаченный шевалье де Валуа не был больше шевалье де Валуа! Несколько зубов, белых, как слоновая кость, покинуло свой боевой пост, и ни один наблюдатель человеческого сердца не мог бы сказать, к какому корпусу они принадлежали, были ли они из

чужеземного или из туземного легиона, растительного или животного происхождения, время ли отняло их у шевалье, или он сам позабыл их в ящике туалетного стола. Галстук, равнодушный к щегольству, закрутился жгутом. Серьги загрязнились и потускнели. Морщины на лице шевалье углубились, почернели, а кожа стала походить на пергамент. Запущенные ногти нет-нет да окаймлялись черной полоской. Жилет был испещрен следами табачных понюшек, напоминавшими осенние листья. Вата в ушах теперь менялась очень редко. Уныние омрачало чело, бросало желтоватый отсвет на рытвины морщин. Словом, прекрасная постройка, столь искусно поддерживаемая, дала трещины и выявила этим всю власть духа над плотью: ибо наш белокурый шевалье, наш герой-любовник погиб, как только рухнула его надежда. До того нос шевалье выставлял себя в самом изящном виде; никогда он не ронял ни черных влажных крупинок, ни янтарных капель; но теперь этот нос, перепачканный табаком, постоянно выпирающим из ноздрей, обесчещенный мутной жидкостью, стекавшей по естественному желобку над верхней губой,— этот нос, не желавший больше мило выглядеть, обнаружи-
вал, чего стоило содержать его в порядке, он выдавал ту огромную заботу, какая прежде вкладывалась шевалье в уход за собственной персоной и своим упорством свидетельствовала о всем величии и настойчивости брачных видов шевалье на мадемуазель Кормон. Г-н де Валуа был окончательно уничтожен каламбуром дю Кудре, который, впрочем, стараниями шевалье получил за это отставку по службе. То была первая месть, осуществленная благодушным шевалье; тем не менее каламбур был убийственным и на сто шагов оставлял за собою все прежние каламбуры чиновника опекунского совета: господин дю Кудре, наблюдая эту носовую революцию, назвал положение шевалье *сносным*. В конце концов и анекдоты шевалье последовали примеру его зубов; затем все реже стали меткие словечки; только аппетит не ослабевал — в этом крушении всех надежд уцелел лишь желудок; если дворянин вяло готовил свои понюшки, зато ел он с прежней жадностью. Вам станет ясно, к какому оскудению мысли привела эта катастрофа, когда вы узнаете, что теперь

г-н де Валуа даже не так часто, как прежде, беседовал с княгиней Горицей. Как-то раз, когда шевалье пришел к мадемуазель Арманде, одна из его икр оказалась спереди берцовой кости. Клянусь, такое банкротство элегантности было чудовищно и поразило весь Алансон. Человек бодрый, как юноша, превратился в старца, муж, полный сил, в результате душевного упадка перешагнул из пятидесяти лет прямо в девяносто, он испугал общество. А кроме того, он выдал свою тайну: стало ясно, что он выжидал, что он подстерегал мадемуазель Кормон; терпеливый охотник прицеливался целых десять лет — и упустил добычу. Наконец-то немощная Республика взяла верх над доблестной аристократией, и это в самый разгар Реставрации! Форма восторжествовала над содержанием, дух был побежден материей, дипломатия — мятежом. И еще беда! Одна из гризеток, чем-то обиженная, разоблачила утренние забавы шевалье, и он прослыл развратником. Либералы отнесли на его счет всех подкидышей, прежде приписываемых дю Букье, но Сен-Жерменское предместье Алансона очень гордо встретило эту весть; оно смеялось и говорило: — *Ах, этот добрейший шевалье, что ж ему было делать?* Оно пожалело шевалье, приняло его в свое лоно, воскресило его улыбки, а над головой дю Букье собралась грозная ненависть. Одиннадцать человек оставили лагерь дю Букье — Кормон и перешли к д'Эгриньонам.

В результате этого брака в Алансоне прежде всего резко разграничились партии. Дом д'Эгриньонов представлял здесь высшую аристократию, так как вернувшиеся на родину Труавили примкнули к нему. Дом Кормон, при ловком содействии дю Букье, стал выразителем тех пагубных взглядов, которые, не будучи ни истинно либеральными, ни положительно роялистскими, породили выступление двухсот двадцати одного депутата в тот день, когда определилась борьба между самой священной и самой великой, единственно подлинной *королевской властью* и самой фальшивой, самой изменчивой, самой деспотической, так называемой *парламентской*, которую осуществляют избирательные собрания. Салон дю Ронсере, тайно связанный с салоном Кормон, стал открыто либеральным.

По возвращении из Пребоде аббат де Спонд испыты-

вал непрерывные горести, которые он глубоко таил в душе, ничего не говоря о них племяннице; он излил свою душу одной лишь мадемуазель Арманде и признался ей, что предпочел бы, если уж на то пошло, шевалье де Валуа этому, с позволения сказать, господину дю Букье. Никогда милейший г-н де Валуа не разрешил бы себе бестактно идти наперекор бедному старику, которому осталось жить считанные дни. Дю Букье все в доме уничтожил. Скупые слезы навернулись на потухшие глаза аббата, когда он рассказывал:

— Мадемуазель, у меня нет больше моей тенистой аллеи, которая пятьдесят лет служила мне местом ежедневных прогулок. Мои любимые липы спилены. В час моей смерти Республика еще раз является мне в образе грозного разрушителя домашнего очага!

— И все же будьте снисходительны к племяннице,— вмешался в разговор шевалье де Валуа,— республиканские идеи — первая ошибка молодости, которая ищет свободы, а находит самый страшный деспотизм, деспотизм бессильной черни. Ваша бедная племянница не по вине наказана.

— Что будет со мной в этом доме, где́ на стенах намалеваны голые плясуньи? Как я обрету мои липы, под сенью которых я читал молитвенник?

Подобно Канту, потерявшему нить мыслей, когда срубили сосну, на которую он привык смотреть во время размышлений, бедный аббат не мог вдохновиться молитвами, проходя по аллеям, лишенным тени,— дю Букье приказал разбить английский сад!

— Так лучше,— говорила г-жа дю Букье, вопреки собственному убеждению, покорствуя аббату Кутюрье, который предписывал ей угождать супругу.

Старый дом, заново отделанный, лишился своего прежнего блеска, своего патриархального добродушного вида. Подобно тому, как шевалье де Валуа, став небрежным, потерял самого себя, буржуазное величие салона Кормон исчезло, как только потолок окрасили в белое с золотом, обили стены голубым шелком и уставили турецкими диванами красного дерева. В столовой, убранной в новомодном стиле, кушанья, казалось, остывали быстрее, и ели там не так, как едали, бывало, прежде. Г-н дю Кудре уверял, что каламбуры застревают у него

в горле при одном взгляде на все намалеванные по стенам физиономии, которые таращат на него глаза. Снаружи дом еще отдавал провинцией, но внутри в нем уже обнаруживал себя поставщик времен Директории. На всем лежал отпечаток дурного вкуса биржевого маклера: колонны, разделанные под мрамор, зеркальные двери, греческие профили, лепные карнизы, смешение всех стилей, неуместная пышность. В Алансоне не менее двух недель судачили по поводу такой дотоле неслыханной роскоши; несколько месяцев спустя ею стали гордиться, и не один богатый фабрикант, обновив обстановку, устроил у себя нарядную гостиную. В городе стала появляться модная мебель; там можно было увидеть даже «астральные» лампы! Аббат де Спонд одним из первых постиг тайные печали, которые этот брак не мог не внести в личную жизнь его нежно любимой племянницы. Благородная простота — особенность, некогда отличавшая их совместное существование, исчезла в первую же зиму, когда дю Букье задавал по два бала в месяц. Звуки скрипок и нечестивая музыка светских празднеств в этой священной обители! Аббат, коленопреклоненный, молился все время, пока длилось веселье!

К тому же мало-помалу извратилась и политическая система, царившая в этом степенном салоне. Главный викарий разгадал дю Букье, он содрогнулся от его повелительного тона; не раз он замечал слезы на глазах племянницы, когда муж, отстранив ее от управления имуществом, оставил в ее руках лишь белье, стол и все прочее, что составляет удел женщины. Роза не была больше в доме хозяйкой: Жаклен, ограниченный теперь лишь кучерскими обязанностями, Ренэ, превращенный в грума, и повар из Парижа (Мариетта была разжалована в судомойки) подчинялись исключительно барину. В распоряжении г-жи дю Букье осталась одна Жозетта. А знаете ли вы, чего стоит отказаться от сладостной привычки властвовать? Торжество своей воли — одно из опьяняющих удовольствий в жизни великих людей, а для людей ограниченных в этом вся жизнь. Надо побывать в министрах и попасть в опалу, чтобы понять жгучую боль, испытанную г-жой дю Букье, когда она была низведена до состояния полной приниженности. Как часто она выезжала из дому, когда ей не хо-

телось, встречалась с людьми, которые были ей не по душе! Милые сердцу денежки уже больше не проходили через ее руки, и она, привыкшая свободно тратить сколько ей заблагорассудится, теперь была лишена этой возможности. Не вызывает ли всякая навязанная граница желание во что бы то ни стало переступить ее? Не причиняет ли все, что нарушает свободу воли, самые глубокие муки? Но это были пока только цветочки. Каждая уступка, сделанная бедняжкою супружеской власти, в те времена была продиктована любовью к мужу. На первых порах дю Букье прекрасно относился к жене; он держался превосходно, при всяком новом покушении на ее права он приводил ей веские доводы. В комнате, так долго пустовавшей, по вечерам у камина раздавались голоса супружеской четы. Вот почему первые два года своей замужней жизни г-жа дю Букье казалась очень довольной. У нее был тот особый, непринужденный и лукавый вид, каким отличается большинство молодых женщин, вышедших замуж по любви. Кровь больше не донимала ее. Новый облик г-жи дю Букье сбил с толку насмешников, опроверг слухи, ходившие насчет дю Букье, и привел в замешательство наблюдателей человеческого сердца. Роза-Мария-Виктория так боялась прогневить супруга, чем-нибудь досадить ему, лишиться его привязанности и его общества, что готова была пожертвовать ему всем, даже дядюшкой. Пустячные, глупые радости г-жи дю Букье обманули бедного аббата де Спонда, который легче переносил свои собственные страдания при мысли, что его племянница счастлива. Вначале весь Алансон думал то же, что и аббат. Но существовал один человек, которого провести было труднее, чем целый город! Шевалье де Валуа, укрывшись на священных вершинах высшей аристократии, проводил свою жизнь у д'Эгриньонов; он прислушивался к злословию и болтовне, день и ночь думая об одном — только бы не умереть, не отомстив. Он уже сразил каламбуриста, а теперь целился в самое сердце дю Букье. Бедный аббат уже постиг всю подлость первого и последнего возлюбленного своей племянницы, он содрогнулся, разгадав вероломную натуру ее мужа и его коварные махинации. Дю Букье обуздывал себя, памятуя о дядюшкином наследстве, совсем не

«СТАРАЯ ДЕВА»

«МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ».

хотел огорчать аббата и, однако, нанес ему смертельный удар, который уложил старика в гроб. Если вы согласны объяснить слово *нетерпимость* выражением *непоколебимость принципов*, если вы не находите нужным осудить бывшего викария-католика за тот стоицизм, которым Вальтер Скотт заставляет вас восхищаться в пуританине, отце Дженни Динс, если принцип *potius mori quam foedari* [1], которому вы удивляетесь в республиканском мировоззрении, вы согласны увидеть и в римско-католической церкви, то вы поймете скорбь, охватившую аббата де Спонда, когда в салоне мужа своей племянницы он встретил священника, присягнувшего конституции, которого он считал изменником, раскольником, еретиком, врагом церкви, клятвопреступником. Дю Букье, втайне честолюбиво стремившийся к господству над всем округом, захотел, в качестве первого залога власти, добиться возможности примирить священника церкви св. Леонарда с приходским кюре, и он достиг своей цели. Его жена полагала, что, принимая у себя аббата Франсуа, она способствует делу мира, а по мнению непоколебимого аббата Спонда, это было предательство. Г-н де Спонд увидел, что он одинок в своих убеждениях. К дю Букье приехал епископ и казался очень довольным, что вражде положен конец. Добродетели аббата Франсуа всех покорили, исключая ярого католика, готового воскликнуть вместе с Корнелем: «Во имя господа я доблесть ненавижу!»

Аббат умер, когда в епархии угасло правоверие.

В 1819 году благодаря наследству, оставленному аббатом де Спондом, доходы с земель г-жи дю Букье возросли до двадцати пяти тысяч франков, не считая ни Пребоде, ни дома на улице дю Валь-Нобль. Как раз к этому времени дю Букье вернул жене ее накопления, которые она ему доверила; он заставил употребить эти деньги на покупку земли, смежной с Пребоде, и превратил, таким образом, это поместье в одно из самых значительных в департаменте, потому что к Пребоде прилегали и владения аббата де Спонда. Никто не знал размеров личного капитала дю Букье, он отдал его в оборот Келлерам в Париже, куда ездил четыре раза в го-

---

[1] Лучше умереть, чем опозориться *(лат.)*.

ду. Так или иначе, в ту пору он уже слыл самым богатым человеком в департаменте Орн. Этот пройдоха, бессменный кандидат либералов, которому постоянно недоставало лишь семи-восьми голосов во всех выборных баталиях, разыгрывавшихся при Реставрации, притворно отрекался от либералов, желая быть избранным в качестве министерского роялиста; но, вопреки заступничеству конгрегации и магистратуры, правящие круги по-прежнему относились к нему с непреодолимым отвращением; этот злобный республиканец, распаленный честолюбием, задумал бороться с роялизмом и аристократией в краю, где они в ту пору одержали верх. Искусно разыгранная набожность позволила дю Букье опереться на церковников: он сопровождал жену к обедне, жертвовал на городские монастыри, оказывал денежную помощь конгрегации Сердца Иисусова, высказывался в пользу духовенства во всех случаях, когда оно выступало против города, департамента или государства. Пользуясь тайной поддержкой либералов и покровительством церкви, он, оставаясь конституционным роялистом, постоянно шел в ногу с аристократией департамента, чтобы погубить ее,— и погубил ее. Не упуская ни одной оплошности дворянской верхушки и правительства, он, опираясь на буржуазию, осуществлял в городе улучшения, вдохновителями и руководителями которых надлежало быть дворянам, пэрам и министерству, меж тем как те, наоборот, тормозили всякое улучшение из-за глупого соперничества, свойственного властям во Франции. Конституционные взгляды дю Букье вовлекли его в борьбу с аббатом Франсуа и в вопросах постройки театра, городского благоустройства, которое он предугадывал, выдвигал через либеральную партию и поддерживал во имя блага края в самый разгар дебатов. Дю Букье способствовал развитию промышленности в департаменте. Он ускорил расцвет этой провинции из ненависти к аристократическому предместью, расположенному по Бретонской дороге. Так подготовлял он месть владетелям замков, и особенно д'Эгриньонам, которых был готов в любой день переколоть отравленным кинжалом. Он дал средства на восстановление производства алансонских кружев; он оживил торговлю полотном — в городе открылась

прядильня. Участвуя, таким образом, во всех практических начинаниях, живо интересовавших население города, верша дела, о которых королевская власть и думать не думала, дю Букье не рисковал при этом ни на грош. С таким богатством, как у него, он мог спокойно ждать грядущих доходов со своих капиталов, тогда как люди предприимчивые, но стесненные в средствах, нередко вынуждены были отказываться от больших и выгодных дел в пользу своих счастливых преемников. Он взял на себя роль банкира. Этот Лафит в миниатюре давал под залог деньги на все новшества. Занимаясь общественно полезными делами, он очень неплохо обделывал и свои собственные дела: он являлся зачинателем страховых обществ, покровителем новых предприятий общественного транспорта; он внушал мысль о подаче петиций, чтобы добиться от властей постройки необходимых дорог и мостов. Местные правители, которых он опередил, таким образом, во всех начинаниях, усматривали в этом посягательство на свои права. Завязывалась бессмысленная борьба, ибо благо края требовало уступок со стороны префектуры. Дю Букье натравливал провинциальную знать против придворной и против пэрства. Наконец он подготовил устрашающее присоединение значительной части монархо-конституционной партии к борьбе против трона, которую поддерживали «Журналь де деба» и г-н де Шатобриан,— бездарная оппозиция, выросшая на основе гнусного корыстолюбия и ставшая одной из причин торжества буржуазии и газетчиков в 1830 году. Поэтому г-ну дю Букье, так же как и тем, кого он представлял, выпала радость взирать на погребение королевской власти, которую провинция провожала без всякого сожаления, охладев к ней по тысячам причин, указанных здесь далеко не полностью. Старый республиканец, не вылезавший из церкви, пятнадцать лет ломавший комедию, чтобы в конце концов упиться мщением, собственноручно, под рукоплескания толпы, сорвал белый флаг с мэрии. Ни один человек во Франции не бросал на новый трон, воздвигнутый в августе 1830 года, взгляда, более опьяненного ликующей местью. Он расценивал восшествие на престол младшей ветви как торжество революции. Для него победа трехцветного знамени была возрожде-

нием Горы, которая на этот раз должна была уничтожать дворян хотя и менее жестокими, но более надежными средствами, чем гильотина. Установление пэрства, которое уже не передавалось по наследству, организация национальной гвардии, укладывающей на одну походную кровать мелкого лавочника и маркиза; уничтожение майората, провозглашенное одним буржуазным стряпчим; лишение католической церкви ее главенствующей роли — все законодательные новшества августа 1830 года были для дю Букье лишь более искусным приложением принципов 1793 года. С 1830 года этот человек становится главноуправляющим окладными сборами, чего он добился благодаря своим связям с герцогом Орлеанским, отцом нового короля, Луи-Филиппа, и с господином де Фольмоном, бывшим управителем вдовствующей герцогини Орлеанской. Молва приписывает ему восемьдесят тысяч ливров ежегодного дохода. В глазах всего здешнего края господин дю Букье — человек добродетельный, почтенный, человек непоколебимых правил, неподкупный, обязательный. Благодаря ему Алансон, приобщившись к развитию промышленности, стал первым звеном, которое, возможно, свяжет в один прекрасный день Бретань с тем, что зовется современной цивилизацией. Жители Алансона, где в 1816 году не насчитывалось и двух частных экипажей, через десять лет смотрели на катившие по городским улицам коляски, кареты, ландо, кабриолеты и тильбюри как на самое обычное явление. Буржуазия и землевладельцы, вначале напуганные ростом цен, позднее увидели, что это прекрасно окупалось увеличением их доходов. С вещими словами председателя дю Ронсере: *Дю Букье — это сила!* — соглашался весь край. Но, к несчастью для его жены, под этими словами кроется страшное противоречие. Дю Букье — супруг ничем не походит на дю Букье — общественного и политического деятеля. Сей великий гражданин, вне дома такой свободомыслящий, благодушный, движимый любовью к своему краю, дома — деспот, абсолютно чуждый супружеских чувств. Глубоко вероломный, хитрый лицемер, этот Кромвель Валь-Нобля ведет себя в семейной жизни, как вел себя с аристократией, к которой ластился, чтобы погубить ее. Так же,

как его друг Бернадот, он надел бархатную перчатку на свою железную руку. Жена не дала ему потомства. Так подтвердились слова Сюзанны и намеки шевалье де Валуа. Но либеральная буржуазия, буржуазия монархо-конституционная, мелкое дворянство, магистратура и, как выражается «Конститюсьонель», «поповская партия» обвиняли в этом г-жу дю Букье. Она, мол, была совсем старухой, когда дю Букье на ней женился! Впрочем, бедной женщине повезло — в ее возрасте так опасно родить! Когда г-жа дю Букье со слезами поверяла свои горькие разочарования г-же дю Кудре и г-же дю Ронсере, эти дамы говорили ей: «Да вы с ума сошли, дорогая, вы не знаете, чего хотите; для вас ребенок — смерть!» К тому же многие мужчины, как, например, г-н дю Кудре, связывавшие свои надежды с торжеством дю Букье, заставляли своих жен петь ему хвалу. Старую деву изводили жестокими тирадами:

— Вы счастливица, душенька, что вышли замуж за такого одаренного человека, вас не постигнет участь многих женщин, которым достались в мужья люди нерешительные, не умеющие руководить ни делами, ни детьми.

— Ваш муж, милочка, сделал вас владычицей здешних мест, с ним вы не пропадете! Он заправляет всем Алансоном.

— А мне бы хотелось,— отвечала бедная женщина,— чтобы он меньше беспокоился о чужих и чтобы...

— Вы чересчур требовательны, милая госпожа дю Букье, все женщины завидуют, что у вас такой муж.

Дурно понятая людьми, которые стали осуждать ее, эта христианка находила в домашней жизни широкое поле для применения своих добродетелей. Она проводила свои дни в слезах, но на людях ее лицо постоянно выражало невозмутимое спокойствие. Для такой богобоязненной души разве не была преступной мысль, от которой постоянно щемило ей сердце: я любила шевалье де Валуа, а вышла замуж за дю Букье! Любовь Атаназа — еще один укор совести — преследовала ее в сновидениях. Смерть дяди, обнаружившая все испытанные им горести, сделала жизнь ее еще более мучительной, ибо она не переставая думала о том, как должен был страдать старик, видя перемену политических и рели-

гиозных правил в доме Кормон. Часто горе поражает нас с быстротой молнии, как это произошло с г-жой Грансон; но у старой девы оно расплывалось подобно капле масла, которая не сходит с ткани, а только медленно впитывается в нее.

Шевалье де Валуа был злокозненным виновником несчастья г-жи дю Букье. Ему во что бы то ни стало хотелось вывести ее из заблуждения, ибо шевалье — большой знаток в любви — не хуже разгадал дю Букье женатого, чем дю Букье холостого. Но этого хитрого республиканца не легко было поймать врасплох: его салон, само собой разумеется, был закрыт для шевалье де Валуа, так же как для всех, кто в первые дни женитьбы Букье отступился от дома Кормон. К тому же, обладая огромным богатством, он не боялся стать смешным, он царил в Алансоне, а о жене думал не больше, чем Ричард III мог бы думать о павшей на его глазах лошади, с помощью которой он выиграл сражение. В угоду своему супругу г-жа дю Букье почти порвала знакомство с д'Эгриньонами, но, оставаясь одна во время отлучек мужа в Париж, она наносила визит мадемуазель Арманде. И вот однажды, через два года после свадьбы г-жи дю Букье, на панихиде по аббату де Спонду, мадемуазель Арманда подошла к ней при выходе из церкви св. Леонарда, где происходила служба. Великодушная девушка рассудила, что подобные обстоятельства обязывают ее сказать несколько утешительных слов плачущей наследнице. Разговаривая о дорогом покойнике, они прошли вместе от церкви св. Леонарда до улицы дю Кур, а оттуда — до запретного особняка, куда г-жа дю Букье и вошла незаметно для самой себя, увлеченная прелестью беседы с мадемуазель Армандой. Бедной безутешной женщине, возможно, доставляло горестное удовольствие говорить о дядюшке с той, которую он так любил. Кроме того, ей хотелось услышать соболезнования из уст старого маркиза, которого она не видала уже около трех лет. Была половина второго, она застала там явившегося к обеду шевалье де Валуа, который, рассыпаясь в приветствиях, взял ее за руки.

— Ну вот, дорогая, достойная госпожа дю Букье,— сказал он ей взволнованно,— мы потеряли нашего друга; это был святой человек. Мы разделяем вашу скорбь.

Да, здесь эта утрата ощущается так же остро, как и в вашем доме... даже сильнее,— добавил он, намекая на дю Букье.

Когда каждый выразил г-же дю Букье свое соболезнование, сказав какую-нибудь фразу в похоронном стиле, шевалье весьма почтительно взял под руку г-жу дю Букье и отвел ее в амбразуру окна.

— Вы-то счастливы по крайней мере? — спросил он ее с отеческим участием.

— Да,— ответила она потупясь.

Услышав это *да*, мадам де Труавиль, дочь княгини Шербеловой, и старая маркиза де Катеран вместе с мадемуазель Армандой присоединились к шевалье. В ожидании обеда все вышли в сад, а г-жа дю Букье, отупев от горя, и не заметила маленького заговора, составленного против нее любопытствующими шевалье и дамами. «Она в наших руках, не узнаем ли мы разгадку?» — читалось во взглядах, которыми они обменялись.

— Для полноты счастья,— сказала мадемуазель Арманда,— вам нужно было бы обзавестись детьми, хорошеньким мальчиком вроде моего племянника...

На глазах г-жи дю Букье навернулись слезы.

— Я слышал, что вы всему виной. Говорят, вы боялись беременности? — сказал шевалье.

— Я?! — простодушно воскликнула она.— Да я бы заплатила за ребенка ста годами адских мучений!

Вокруг ловко поставленного вопроса завязался оживленный спор, направляемый с исключительным тактом виконтессой де Труавиль и старой маркизой де Катеран, которые так обошли бедную г-жу дю Букье, что она, сама того не подозревая, выдала свою супружескую тайну. Мадемуазель Арманда, взяв под руку шевалье, удалилась, предоставив трем женщинам толковать о браке. И тут у г-жи дю Букье открылись глаза на тысячи разочарований ее замужней жизни; а так как она по-прежнему оставалась *придурковатой*, то наперсницы забавлялись ее восхитительной наивностью. Хотя фиктивный брак мадемуазель Кормон сперва насмешил весь город, сразу узнавший эту новость, однако г-жа дю Букье получила признание и сочувствие всех женщин. Пока мадемуазель Кормон безуспешно гонялась за женихами, все насмехались над ней; но когда стало известно исклю-

чительное положение, в какое она попала благодаря строгости своих религиозных правил, все восхитились ею. *Бедная госпожа дю Букье* сменила *добрую мадемуазель Кормон*. Таким образом, шевалье удалось на некоторое время выставить дю Букье в отвратительном и смешном виде, но в конце концов смешное потеряло свою остроту, и, когда каждый посмеялся над дю Букье, злословие истощилось. К тому же многие полагали, что в пятидесятисемилетнем возрасте тайный республиканец имеет право и спасовать. Это происшествие до такой степени растравило ненависть, которую дю Букье питал к д'Эгриньонам, что он был совершенно беспощаден в час мести. Г-же дю Букье было приказано никогда не переступать порога их дома. В отместку за шутку, которую шевалье де Валуа с ним сыграл, дю Букье, только что создавший газету «Вестник департамента Орн», поместил в ней следующее объявление:

«Лицу, которое докажет существование господина де Помбретона до, во время и после эмиграции, будет вручен чек на тысячу франков ренты».

Несмотря на то, что, в сущности, брак г-жи дю Букье можно было считать мнимым, она находила в нем некоторые преимущества: все-таки куда приятнее было заботиться о самом замечательном человеке в городе, нежели жить одиноко. Уж лучше дю Букье, чем собаки, кошки и канарейки, которых обожают старые девы; он относился к жене более искренне и менее расчетливо, чем слуги, духовник и всякие охотники за наследствами. Позднее она узрела в своем супруге орудие божьего гнева, ибо признала неизмеримо грешными все свои помыслы о замужестве; она считала, что понесла заслуженную кару за горе, причиненное г-же Грансон, и за преждевременную кончину дядюшки. Послушная той религии, что предписывает лобызать карающую лозу, она превозносила своего мужа, она одобряла его перед всеми; но на исповеди или вечером на молитве она не раз плакала, прося бога простить отступничество мужа, который говорил обратное тому, что думал, который желал погибели аристократам и церкви — двум святыням дома Кормон. Хотя все ее чувства были поруганы и принесены в жертву, она, понуждаемая долгом радеть о благополучии супруга, оберегала его ото всего, что могло

бы ему повредить, и была привязана к нему непостижимой любовью, вероятно, порожденной привычкой, так что вся ее жизнь была сплошным противоречием. Она вышла замуж за человека, чей образ действий и мыслей был ей ненавистен, но о котором она должна была заботиться со всей положенной нежностью. Она чувствовала себя на седьмом небе каждый раз, когда дю Букье лакомился ее вареньем или находил обед вкусным; она следила, чтобы исполнялись его малейшие прихоти. Если он оставлял на столе бандероль, сорванную с газеты, г-жа дю Букье не выбрасывала ее и говорила слуге: «Оставьте, Ренэ, барин не зря положил ее здесь». Уезжал он — она хлопотала о его плаще и белье; в своих заботах о его материальном благополучии она была до мелочности предусмотрительна. Если он отправлялся в Пребоде, она уже накануне все поглядывала на барометр, чтобы узнать, благоприятна ли будет погода. Она засматривала ему в глаза, чтобы узнать, чего ему хочется, подобно собаке, которая и во сне видит и слышит своего хозяина. Когда же случалось, что толстяк дю Букье, покоренный этой любовью, по чувству долга обнимал супругу за талию и, целуя в лоб, приговаривал: «Славная ты женушка!» — слезы радости выступали на глазах бедного создания. По всей вероятности, дю Букье считал своей обязанностью подобные знаки благосклонности, доставлявшие ему благоговение Розы-Марии-Виктории, ибо даже католическая добродетель не принуждает до такой степени скрывать свои взгляды, как приходилось это делать г-же дю Букье. Однако часто язык отнимался у этой святой женщины, когда она слышала у себя в доме злобные речи людей, маскировавшихся под монархистов-конституционалистов. Она трепетала, предвидя гибель церкви, от времени до времени она отваживалась вставить какое-нибудь глупое слово или замечание, которое дю Букье пресекал одним взглядом. От такой жизни, раздираемой противоречиями, г-жа дю Букье дошла в конце концов до полной одури и решила, что проще и достойнее запрятать подальше свои мнения и ничем их не проявлять, ограничиваясь бессловесным прозябанием. Тогда у нее появилась рабская покорность, она считала, что сам бог велит сносить то приниженное состояние, в какое муж поверг ее. Она

исполняла волю супруга неукоснительно и без малейшего ропота. С той поры эта робкая овца шла по пути, указанному ей пастырем; она не покидала лона церкви и стала строжайшим образом выполнять все церковные обряды, не помышляя ни о сатане, ни о соблазнах его, ни о деяниях его. Итак, она представляла собой сочетание чистейших христианских добродетелей, и дю Букье безусловно стал одним из счастливейших мужей во всем королевстве Франции и Наварры.

— Она останется дурой до последнего своего вздоха,— безжалостно сказал отставной чиновник опекунского совета, который, однако же, обедал у г-жи дю Букье два раза в неделю.

Как это ни странно, но наша повесть была бы далеко не полна, если бы мы не упомянули здесь о том, что со смертью матери Сюзанны совпала смерть шевалье де Валуа. Шевалье умер вместе с монархией в августе 1830 года. Он отправился в Нонанкур, где присоединился к свите короля Карла X и благоговейно сопровождал его до Шербура вместе с Труавилями, Катеранами, д'Эгриньонами, Верней и прочими. Старый дворянин взял с собой пятьдесят тысяч франков— сумма, какую составляли его сбережения и стоимость ренты; он вручил эти деньги одному из верных друзей своих монархов для передачи королю, мотивируя свой поступок близостью смерти, а также тем, что эта сумма получена им милостями его величества и что, наконец, деньги последнего де Валуа принадлежат короне. Неизвестно, было ли сломлено его пылким усердием упорство Бурбона, который покидал Францию, свое прекрасное королевство, не захватив с собой ни гроша, и которого должна была тронуть беззаветная преданность шевалье,— но доподлинно известно, что Цезарине, единственной законной наследнице г-на де Валуа, едва осталось шестьсот франков ренты. Шевалье вернулся в Алансон, жестоко разбитый и горем и усталостью, и скончался тогда, когда Карл X вступил на чужую землю.

Госпожа дю Валь-Нобль и ее покровитель, боявшийся в то время мести либеральной партии, рады были воспользоваться предлогом, чтобы тайком уехать в деревню, где умерла мать Сюзанны. При распродаже с молотка имущества покойного шевалье де Валуа Сю-

занна, желая получить на память о своем первом и добром друге его табакерку, набила ей огромную цену—тысячу франков. Впрочем, портрет княгини Горицы сам по себе стоил этих денег. Два года спустя один молодой щеголь, коллекционировавший красивые табакерки прошлого века, выпросил у Сюзанны табакерку покойного шевалье, прельстившись великолепной отделкой вещицы. И вот драгоценная безделушка, наперсница самой прекрасной на свете любви, отрада всей старости шевалье, выставлена ныне напоказ в своего рода частном музее. Если мертвым ведомо, что творится после их смерти, то у шевалье, должно быть, покраснела вся левая сторона головы.

Если бы эта история достигла только одной цели — внушить обладателям благоговейно почитаемых реликвий священный трепет и призвать их делать приписки к завещанию, чтобы твердо определять судьбы этих драгоценных сувениров минувшего счастья, передавая их в дружеские руки,— она и то уже оказала бы громадную услугу рыцарственной и влюбленной части публики, но в ней содержится гораздо более возвышенная мораль... Не доказывает ли она необходимость новой системы воспитания? Не взывает ли она к просвещенному содействию министров народного образования, которым следовало бы создать кафедры антропологии — науки, в которой Германия опережает нас? Современные мифы поняты еще меньше, чем мифы древние, несмотря на то, что нас изводят мифами. Мифы теснят нас со всех сторон, они заменяют все. Если они, согласно гуманитарной школе, являются светочами истории, то они спасут империи от любой революции, при одном условии, что профессора истории доведут разъяснение этих мифов до широких масс французской провинции. Если бы мадемуазель Кормон была образованна, если бы существовал в департаменте Орн профессор антропологии, наконец, если бы она прочла Ариосто, то разве приключились бы страшные беды ее супружеской жизни? Она, пожалуй, доискалась бы, почему итальянский поэт заставил Анжелику предпочесть Медора (своего рода белокурого шевалье де Валуа) Роланду, который лишился боевого коня да только и знал, что приходить в неистовство. Не стал ли Медор мифической фигурой царедворца женской дер-

жавы, а Роланд — символом беспорядочных, неистовых, бессильных революций, которые все разрушают, ничего не создавая? Таково мнение одного из учеников г-на Балланша, мы его здесь приводим, слагая с себя всякую ответственность.

До нас не дошло никаких сведений о бриллиантовых серьгах. Вы можете ныне видеть г-жу дю Валь-Нобль в Опере. Благодаря тому, что ее первым наставником был шевалье де Валуа, она кажется женщиной хорошего общества, будучи просто-напросто хорошей женщиной.

Госпожа дю Букье еще жива,—не значит ли это, что она все еще страдает? Приближаясь к шестидесятилетнему возрасту — пора, когда женщины могут позволить себе быть откровенными,— она поведала по секрету г-же дю Кудре, муж которой в августе 1830 года снова занял прежнюю должность, что ей нестерпима мысль умереть девственницей.

Париж, октябрь 1836 г.

МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ

В центре главного города одной из наименее значительных префектур Франции, на углу улицы стоит дом; однако автор вынужден изменить и название улицы и даже самого города. Каждый поймет причины этой благоразумной скромности, которой от нас требуют приличия. Ведь писатель, становясь летописцем своего времени, касается стольких язв!.. Дом назывался «отель д'Эгриньон», однако прошу вас считать фамилию владельца вымышленной и столь же мало отвечающей действительности, как и все эти Бельвали, Флорикуры, Дервили из комедий или Адельберы и Монбрезы из романов. Имена главных героев также будут изменены. Автору хотелось бы нагромоздить здесь как можно больше противоречий и анахронизмов, чтобы похоронить правду под грудой неправдоподобных и нелепых деталей; но она все-таки пробьется наружу, как мощный побег невыдернутой лозы на перекопанном винограднике.

«Отель д'Эгриньон» был попросту домом, где проживал старик аристократ по имени Шарль-Мари-Виктор-Анж-Кароль, маркиз д'Эгриньон, или, следуя старинному написанию—дэ Гриньон. Местное купечество и мещанство в насмешку величали его скромный особняк «отелем», однако за двадцать лет большинство городских обывателей, говоря об обиталище маркиза, постепенно привыкли всерьез называть его «отель д'Эгриньон».

Имя Кароль (братья Тьерри, наверно, писали бы Ко-

роуль) носил некогда один из наиболее прославленных военачальников, пришедших с севера, чтобы покорить и закрепостить галлов. Кароли никогда не склоняли головы ни перед городами, ни перед королем, ни перед церковью, ни перед золотом. Некогда на них была возложена охрана «марки», одной из пограничных областей страны, и с тех пор титул маркиза почитался ими символом чести и долга, а не видимостью каких-то обязанностей. Ленное поместье д'Эгриньонов всегда принадлежало их роду. Это были исконные провинциальные аристократы, вот уже два века как позабытые двором, но зато не имевшие в крови ни капли чужеродной примеси, ставившие себя превыше всех сословий и слепо чтимые местным населением, как оно чтит суеверия или статую девы Марии, исцеляющую от зубной боли. Их род сохранился в глухой провинции, как сохраняются на дне реки почерневшие сваи древнего моста, построенного еще при Цезаре. В течение тринадцати столетий девушек из рода д'Эгриньонов неизменно выдавали замуж без приданого, или они уходили в монастырь; младшие сыновья всегда получали законную долю материнского наследства, становились воинами, епископами или женились на придворных дамах. Один из отпрысков младшей ветви рода д'Эгриньонов был адмиралом, затем сделался герцогом и пэром Франции и умер, не оставив потомства. Но маркиз д'Эгриньон, представитель старшей ветви, не пожелал принять герцогский титул.

— Я владею титулом маркиза по тому же праву, по какому король владеет французским государством,— заявил он коннетаблю де Люиню, бывшему тогда в его глазах весьма незначительной особой.

Не следует забывать, что во времена «смуты» некоторым из д'Эгриньонов отрубили головы. Вплоть до 1789 года члены этой семьи сохранили отвагу и гордость франков. Маркиз д'Эгриньон, описываемый в нашем повествовании, не эмигрировал: ведь он должен был охранять вверенный ему пограничный округ. Почтение, которое он сумел внушить местным крестьянам, спасло его от эшафота; однако ненависть подлинных санкюлотов оказалась достаточно могущественной, чтобы на все то время, пока он вынужден был скрываться, его включили в списки эмигрантов.

Именем суверенного народа округ конфисковал поместье д'Эгриньонов, леса были проданы как национальное достояние, невзирая на то, что маркиз, которому тогда минуло сорок лет, лично ходатайствовал об их сохранении. Его сестре мадемуазель д'Эгриньон, еще не достигшей совершеннолетия, удалось спасти небольшую часть поместья благодаря усилиям молодого управляющего маркиза, который от имени своей доверительницы потребовал раздела наследственного имущества; таким образом, после расчета, произведенного республикой, мадемуазель д'Эгриньон получила замок и несколько ферм. Маркиз дал деньги, и преданный Шенель приобрел на свое имя те земельные участки и те здания, которыми особенно дорожил его господин: церковь, церковный дом и прилегающий к замку парк.

Годы террора, которые так медленно тянулись для одних и так стремительно проносились для других, миновали, и маркиз д'Эгриньон, своей стойкостью внушивший уважение окрестным жителям, пожелал вернуться и поселиться в замке с сестрой, мадемуазель д'Эгриньон, чтобы привести в порядок свои владения—их спас верный Шенель, его бывший управляющий, ставший затем нотариусом. Но увы! Полуразрушенный и разграбленный замок был слишком велик, и восстановление его оказалось владельцу не по карману, ибо все феодальные поборы были отменены, леса вырублены, а из уцелевших земель он мог извлечь самое большее девять тысяч франков годового дохода!

В октябре 1800 года, когда нотариус привез д'Эгриньона в его родовой замок, он не в силах был подавить грустного волнения при виде маркиза, недвижно стоявшего среди двора и созерцавшего засыпанные рвы и изуродованные башни. Гордый потомок франков безмолвно смотрел то на небо, то на обезглавленные готические башенки, где раньше высились резные флюгера, и словно вопрошал бога о причинах этих социальных потрясений. Один Шенель мог понять глубокое горе старого аристократа, именовавшегося тогда гражданином Каролем. Маркиз д'Эгриньон долго молчал, вдыхая воздух родных мест, затем с глубокой грустью промолвил:

— Шенель, мы вернемся сюда позднее, когда смута кончится; до издания указа об умиротворении я не могу

жить здесь, ибо *они* запрещают мне восстановить мой герб.

Он указал на замок, отвернулся, вскочил на коня и поехал рядом с сестрой, прибывшей в тряской плетеной таратайке нотариуса.

А в городе никакого «отеля д'Эгриньон» уже не было — его снесли и построили на том месте две небольшие фабрики. Шенель истратил последний оставшийся у маркиза мешочек с луидорами и приобрел на углу площади старый дом с крутой крышей, флюгером, башенкой и голубятней; дом этот, где некогда находился сеньориальный, а затем уголовный суд, раньше также принадлежал маркизу д'Эгриньону. Скупщик национальных имуществ за пятьсот луидоров возвратил обветшавшее здание прежнему владельцу. И тогда-то, отчасти в насмешку, отчасти всерьез, дом и был назван «отель д'Эгриньон».

В 1800 году эмигранты начали возвращаться во Францию, и добиться, чтобы та или иная фамилия была вычеркнута из проскрипционных списков, уже не стоило особого труда. Одними из первых возвратились в город барон де Нуатр и его дочь: они были разорены. Маркиз д'Эгриньон великодушно предложил им приют в своем доме, где два месяца спустя барон и скончался от огорчений. Мадемуазель де Нуатр было двадцать два года, в жилах ее текла чистейшая дворянская кровь, и маркиз женился на ней, чтобы род д'Эгриньонов не угас; однако она, по вине неумелого врача, умерла родами, оставив, к счастью д'Эгриньонов, сына. Таким образом, бедный старик (хотя маркизу было тогда всего пятьдесят три года, тяжкие горести и превратности судьбы состарили его раньше времени) потерял последнюю отраду своей жизни, ибо скончавшаяся была прелестнейшим созданием и благороднейшей женщиной, в которой как бы возродилось ныне уже исчезнувшее светлое очарование женщин XVI века. Ее смерть была одним из тех ужасных ударов, которые сказываются в течение всей жизни. Простояв несколько мгновений у смертного ложа супруги, которая покоилась, как святая, со сложенными на груди руками, маркиз д'Эгриньон поцеловал ее в лоб; затем вынул часы, сломал механизм и повесил их над камином. Было одиннадцать часов утра.

— Мадемуазель д'Эгриньон,—сказал маркиз,—помолимся о том, чтобы этот час перестал быть роковым для нашего рода. Мой дядя архиепископ в этот час был убит; и в этот же час скончался мой отец...

Он опустился на колени возле кровати и приник к ней головой, сестра последовала его примеру. Через минуту оба поднялись; мадемуазель д'Эгриньон разрыдалась, но глаза маркиза, которыми он обвел комнату, новорожденного ребенка и мертвую мать, были сухи. Непреклонность древнего франка сочеталась в нем с христианской твердостью духа.

Это происходило во втором году нашего столетия. Мадемуазель д'Эгриньон было тогда двадцать семь лет, она слыла красавицей. Некий выскочка, местный уроженец, занимавшийся поставками для республиканских армий и имевший тысячу экю годового дохода, после продолжительных уговоров добился от Шенеля обещания передать мадемуазель д'Эгриньон его предложение руки и сердца. Брат и сестра были в равной степени разгневаны подобной дерзостью. Шенель пришел в отчаяние оттого, что дал себя уговорить какому-то дю Круазье. С этого дня ни в обращении с ним маркиза д'Эгриньона, ни в его словах нотариус уже не чувствовал прежней ласковой благосклонности, которую можно было даже принять за дружбу. Отныне маркиз выказывал ему только благодарность, и хотя это чувство было полно искренности и благородства, оно служило причиной постоянных страданий нотариуса. Существуют столь возвышенные души, что благодарность кажется им слишком роскошной наградой, они предпочитают чувство более ровное и спокойное, которое дается дружеским единомыслием и свободным излиянием сердец. Нотариусу Шенелю раньше было дано вкусить сладость этой почетной дружбы: маркиз поднял его до себя. Для старика аристократа добряк Шенель был чем-то средним между ребенком и слугой, добровольным вассалом и крепостным, привязанным всем существом к своему сюзерену. Д'Эгриньоны давно перестали видеть в Шенеле только нотариуса: их отношения питались искренней и прочной обоюдной привязанностью. Официальное положение нотариуса не имело решительно никакого веса в глазах маркиза, ему казалось, что Шенель по-прежне-

му его слуга, только переряженный нотариусом. А в глазах Шенеля маркиз неизменно оставался существом чуть ли не божественного происхождения; бывший управляющий преклонялся перед аристократией; вспоминая о том, что его отец некогда распахивал двери в доме д'Эгриньона и провозглашал «кушать подано», он не испытывал никакого стыда. Преданность Шенеля разорившемуся роду проистекала не только из чувства благоговения перед знатью, но и из своего рода эгоизма, ибо нотариус уже привык считать себя как бы членом этого семейства. Перемена в отношении к нему маркиза была для него тяжелым ударом. Когда он, несмотря на запрещение, дерзнул, наконец, заговорить о своем проступке, маркиз торжественно заявил ему:

— Шенель, до смуты ты ведь не позволил бы себе передать моей сестре столь оскорбительное предложение? Каковы же эти новые теории, если они совратили даже тебя!

Нотариус Шенель пользовался не только доверием, но и уважением всего города: неподкупная честность и значительное состояние способствовали его авторитету. После описанного случая в его сердце вспыхнуло непреодолимое отвращение к дю Круазье. И хотя Шенель не был злопамятным человеком, он все же постарался восстановить против своего врага многие знакомые семьи. Дю Круазье, человек мстительный, вынашивал в своей груди злобные замыслы чуть не два десятилетия, затаив против нотариуса и д'Эгриньонов ту глухую и беспощадную ненависть, какую можно встретить только в провинциальной глуши. Полученный отказ буквально уничтожил его в глазах насмешливых провинциалов, среди которых он намеревался жить и над которыми мечтал главенствовать. Катастрофа, постигшая его, была столь ощутимой, что последствия ее не замедлили сказаться. Одна старая дева, к которой он с горя посватался, также отвергла его. Таким образом, взлелеянные им честолюбивые мечты рухнули: во-первых, из-за отказа мадемуазель д'Эгриньон, союз с которой открыл бы ему доступ в Сен-Жерменское предместье провинции, во-вторых — из-за отказа старой девицы, настолько уронившего его престиж, что ему стоило немалого

труда сохранить некоторое влияние хотя бы во второразрядных кругах городского общества.

В 1805 году г-н де Ла-Рош-Гюйон, старший сын одного из наиболее именитых семейств округа, некогда породнившегося с д'Эгриньонами, попросил через Шенеля руки мадемуазель д'Эгриньон. Мари-Арманда-Клер д'Эгриньон отказалась даже выслушать нотариуса.

— Вы должны были бы понять, милый Шенель, что я теперь мать,—сказала она, укладывая спать племянника, прелестного пятилетнего ребенка.

Старик маркиз встал, направился к сестре, которая только что отошла от кроватки, и почтительно поцеловал ей руку; затем уселся на прежнее место и, овладев собой, наконец произнес:

— Вы истинная д'Эгриньон, сестра моя!

Достойная девушка вздрогнула и залилась слезами. Г-н д'Эгриньон, отец маркиза, будучи уже в преклонном возрасте, женился вторым браком на внучке откупщика, получившего дворянство при Людовике XIV. Семья д'Эгриньон считала этот брак невероятным мезальянсом, однако ему не придавали особого значения, ибо от него родилась только одна дочь. Арманде это было известно. Хотя брат неизменно относился к ней с исключительной добротой, он видел в ней до этого случая чужую; теперь данный ею ответ как бы узаконивал ее положение в семье. Но разве этот ответ не являлся прекрасным венцом всего ее благородного поведения? В течение одиннадцати лет, со дня совершеннолетия Арманды, каждый ее поступок был отмечен чистейшим самопожертвованием. А перед братом она благоговела.

— Я умру девицей д'Эгриньон,—просто ответила она нотариусу.

— Для вас не может быть более достойного имени,— отозвался Шенель, полагая, что сделал комплимент.

Бедная девушка покраснела.

— Ты сказал глупость, Шенель,—заметил маркиз, одновременно и польщенный словами бывшего слуги и недовольный, что они огорчили его сестру.—Урожденная д'Эгриньон может выйти даже за Монморанси: у нас кровь чище, чем у них. На гербе д'Эгриньонов—рыцарь в золотых латах и лев с двумя алыми перевязями, и за

девятьсот лет наш герб не изменился, оставшись в точности таким же, как в первый день. Отсюда девиз «Cil est nostre» [1], принятый нашим родом на одном из турниров Филиппа-Августа; отсюда рыцарь и лев.

«Я не помню, чтобы когда-нибудь встречал женщину, столь сильно поразившую мое воображение, как поразила его мадемуазель д'Эгриньон,— пишет Блонде, которому современная литература обязана, между прочим, и этой историей.— Я был, правда, еще очень юным, почти ребенком, и, может быть, впечатления, оставленные ею в моей памяти, обязаны яркостью своих красок тому влечению к чудесному, которое присуще этому возрасту. Когда я видел еще издали, как она, ведя за руку своего племянника Виктюрньена, не спеша идет по широкой аллее, где я играл с другими детьми, меня пронизывало чувство, напоминавшее действие гальванического тока, и, как я ни был юн, мне казалось, что в моей душе пробуждается новая жизнь. У мадемуазель Арманды были рыжевато-каштановые волосы, ее щеки покрывал легчайший, отливавший серебром пушок, который мне страшно нравился, и я старался повернуться так, чтобы солнечный свет падал на ее профиль; я отдавался обаянию ее мечтательных глаз с зеленоватым оттенком, от взгляда которых меня бросало в жар. Я начинал кататься по траве, делая вид, что играю, а на самом деле, чтобы оказаться как можно ближе к ее маленьким ножкам и полюбоваться ими. Белизна ее кожи, тонкость черт, чистые линии лба, изящество стройного стана каждый раз вновь поражали меня, хотя я и не сознавал, что стан ее строен, лоб прекрасен, а овал лица — совершенство. Я восхищался ею так же, как в этом возрасте молятся дети, сами хорошенько не ведая о чем. Когда мои упорные взгляды, наконец, привлекали ее внимание и она спрашивала мелодичным голосом, казавшимся мне полнозвучнее всех голосов на земле: «Что ты тут делаешь, мальчик? Отчего ты так смотришь на меня?» — я подходил ближе, переминался с ноги на ногу, грыз ногти и, наконец, краснея, отвечал: «Не знаю». А если случалось, что она гладила меня белой рукой по голове и

[1] Это наш герб *(лат.)*.

спрашивала, сколько мне лет, я убегал и уже издали кричал: «Одиннадцать». Когда мне доводилось читать «Тысячу и одну ночь» и в сказке действовала царица или фея, я наделял их лицом и походкой мадемуазель д'Эгриньон. А когда учитель рисования заставлял меня срисовывать античные головы, я замечал, что волосы у них лежат так же, как у мадемуазель д'Эгриньон. Позднее сумасбродные мечты одна за другой исчезли, но мадемуазель Арманда, при появлении которой на главной аллее мужчины почтительно расступались, чтобы дать ей дорогу, и смотрели ей вслед, любуясь волнующимися складками ее длинного коричневого платья, пока она не скрывалась из виду,— мадемуазель Арманда осталась жить в уголке моей памяти как идеал женской красоты. Изящные очертания ее фигуры, которые иногда обрисовывал порыв ветра и которые я угадывал, несмотря на ее широкое платье, эти совершенные очертания вновь воскресли в моих юношеских мечтах. А еще позднее, когда я упорно стремился постичь некоторые тайны человеческой души, память подсказывала мне, что мое уважение к мадемуазель д'Эгриньон, родившееся еще в ранней юности, быть может, вызвано было особым выражением, запечатленным в чертах ее лица и во всем облике. Спокойствие ясного чела в сочетании с затаенной душевной пылкостью, благородное достоинство всех движений, ореол неизменно исполняемого долга — все это глубоко трогало и покоряло меня. Дети гораздо более восприимчивы к незримым воздействиям идей, чем принято думать: они никогда не смеются над человеком, заслуживающим почитания, подлинная прелесть их трогает, красота влечет, ибо они сами прекрасны, а между явлениями одной и той же природы существует таинственная связь. Мадемуазель д'Эгриньон была в свое время для меня предметом почтительного преклонения, и даже теперь, когда мое бурное воображение иной раз увлекает меня по витой лестнице средневекового замка, оно неизменно рисует мне образ мадемуазель Арманды, как символ далеких рыцарских времен. Когда я читаю старинные хроники, она встает передо мной в образах прославленных женщин — то она Агнесса, то Мари Туше, то Габриэль. Я наделяю ее той любовью, которой она могла бы любить,

но которая так и осталась погребенной в ее сердце. Это небесное видение, мелькнувшее среди моих смутных детских мечтаний, и теперь предстает мне сквозь туман моих грез».

Запомните этот портрет, он верно отражает и физические и нравственные черты оригинала! Мадемуазель д'Эгриньон — одна из наиболее поучительных фигур этой повести, она дает наглядный пример того, что добродетели могут принести вред, если они не озарены светом разума.

В течение 1804—1805 годов две трети эмигрировавших семейств вернулись во Францию, и почти все, кто был из той же провинции, что и маркиз д'Эгриньон, опять водворились в своих наследственных поместьях. Не обошлось и без отступников: многие дворяне пошли на службу к Наполеону — одни оказались в его армии, другие — при дворе; а некоторые породнились с семействами новых богачей. Все, кто связал свою судьбу с Империей, вернули себе состояние и благодаря щедрости императора получили обратно свои земли и леса; многие осели в Париже; но несколько древних дворянских родов остались верны изгнанной аристократии и павшей монархии: это были Ла-Рош-Гюйоны, Нуатры, Верней, Катераны, Труавили и другие; иные были богаты, иные — бедны; однако для них важно было не золото: превыше всего они почитали древность рода и чистоту крови, подобно тому, как для антиквара ценность медали — не в ее весе, а в сохранности букв и изображения и в древности чеканки. Эти семьи признали своим главою маркиза д'Эгриньона; его дом сделался местом их собраний. Здесь император, властитель Франции, неизменно оставался всего лишь господином Буонапарте; здесь властвовал Людовик XVIII, живший тогда в Митаве; здесь департамент по-прежнему именовался провинцией, а префектура — интендантством.

Своей прямотой, честностью и бесстрашием маркиз д'Эгриньон снискал искреннее восхищение окружающих, а его несчастья, твердость и непоколебимая верность своим взглядам заслужили ему уважение всего города. Маркиз, эта великолепная развалина, сохранял то неподдельное величие, которое мы находим в гран-

диозных обломках прошлого. Рыцарская щепетильность д'Эгриньона была настолько известна, что во многих случаях враждующие стороны единодушно избирали его своим судьей. Все хорошо воспитанные люди из числа сторонников империи и даже местные власти относились к его предрассудкам снисходительно, а к его личности — с уважением. Но бо́льшая часть нового общества, люди, которые во время Реставрации стали называться «либералами» и во главе которых тайно стоял дю Круазье, издевались над «отелем д'Эгриньон» — оазисом, куда допускались только чистокровные аристократы и притом примерного поведения. Их злоба разгоралась тем сильнее, что многие почтенные люди, вполне достойные мелкопоместные дворяне, а также некоторые представители префектуры упорно продолжали считать салон маркиза д'Эгриньона единственным местом, где собирается хорошее общество. Префект, камергер императорского двора, всячески старался туда проникнуть, а пока смиренно посылал в «отель» свою супругу, урожденную Гранлье. И вот люди отвергнутые, из ненависти к этому провинциальному Сен-Жерменскому предместью в миниатюре, прозвали салон маркиза д'Эгриньон «Музеем древностей». Самого маркиза они упорно именовали «господином Каролем», причем сборщик налогов, посылая ему повестки, неизменно прибавлял в скобках: «бывшему дэ Гриньону». Это старинное написание фамилии маркиза заключало в себе насмешку.

«Что касается меня,— писал Эмиль Блонде,— то, обращаясь к воспоминаниям детства, я должен сознаться, что, невзирая на все мое уважение, даже любовь к мадемуазель Арманде, название «Музей древностей» всегда вызывало у меня невольный смех.

«Отель д'Эгриньон» стоял на углу двух улиц; гостиная выходила двумя окнами на одну и двумя окнами на другую из этих улиц — самых людных в нашем городе. До Рыночной площади было шагов пятьсот. Гостиная походила на стеклянную клетку, и каждый идущий мимо непременно заглядывал в нее. Мне, двенадцатилетнему мальчугану, эта комната всегда казалась одной из тех диковинок, о которых вспоминаешь впоследствии как о чем-то, стоящем на грани действи-

тельности и фантазии, причем не знаешь даже, к чему она была ближе. Гостиная — в прошлом зал судебных заседаний — находилась над подвальным помещением с решетчатыми отдушинами,— некогда там томились местные преступники, а теперь была кухня маркиза. Не знаю, испытал ли я при виде громадного и роскошного камина в Лувре, с его чудесной скульптурой, столь же глубокое изумление, как перед большущим камином этой гостиной, пестро узорчатым, словно дыня, и украшенным вверху барельефом, изображавшим Генриха III на коне (при нем эта провинция, некогда самостоятельное герцогство, была присоединена к королевским землям). Потолок поддерживали балки из каштанового дерева, которые, перекрещиваясь, образовали квадраты с вписанными в них арабесками. Края этого великолепного плафона были позолочены, но позолота уже потускнела и была едва заметна. Стены были обтянуты шелковыми ткаными обоями; на них в шести картинах изображался суд Соломона, а на резных золоченых рамах резвились амуры и сатиры. По желанию маркиза в гостиной выложили узорный паркет. Среди всякого хлама, оставшегося после продажи замков в 1793—1795 годах, нотариусу удалось разыскать консоли в стиле Людовика XIV, штофную мебель, столы, стенные часы, люстры и фигурные канделябры — все эти вещи чрезвычайно украсили нелепо-огромную, похожую на сарай гостиную, совершенно не соответствовавшую размерам дома; только смежная с ней передняя была такой же высоты. Она служила когда-то приемной президиального суда, и к ней, в свою очередь, примыкал зал для совещаний, превращенный теперь в столовую. Под этими обветшавшими сводами— жалкими останками безвозвратно ушедшего прошлого — прохаживалось девять-десять вдовствующих аристократок; у одних тряслась голова, другие почернели и высохли, как мумии; иные держались неестественно прямо, другие— согнулись в три погибели; все они были разряжены в более или менее диковинные платья, находившиеся в полном разладе с модой, напудренные волосы завивали в букли и носили чепцы с пышными бантами и пожелтевшими кружевами. Никакие рисунки, самые карикатурные и самые глубокомысленные, не

могли бы передать фантастический облик этих старух, которые и сейчас еще встают в моей памяти и гримасничают в моих сновидениях после каждой встречи с какой-нибудь старой женщиной, напоминающей их лицом или одеждой. Но потому ли, что я сам, испытав немало горя, приобрел способность проникать в сокровеннейшие тайники человеческого сердца, научился понимать все человеческие чувства, особенно сожаление об утраченном и горечь старости, мне кажется, нигде потом — ни у умирающих, ни у живых — не видел я таких глаз — серых, тусклых, погасших глаз или черных и лихорадочно блестевших, как у некоторых старух в этой гостиной. Словом, наиболее зловещие образы, созданные мрачной фантазией Матюрена или Гофмана, не вызывали во мне такого ужаса, как эти горбатые фигуры, двигавшиеся подобно автоматам. Один из моих приятелей, в детстве такой же проказник, как я, говорил: «Румяна актеров уже не поражают меня, после того как я видел эти застарелые, несмывающиеся румяна». В комнате мелькали плоские, но изрытые морщинами лица, похожие на деревянные лица щелкунчиков, которых выделывают в Германии. Я видел сквозь оконные стекла безобразные горбы и развинченные фигуры, причем никак не мог уловить их строение и связь между отдельными членами тела; передо мной появлялись то квадратная, выставившаяся вперед челюсть, то костлявое плечо, то необъятные бедра. Когда эти женщины ходили по комнате, они казались мне не менее жуткими, чем когда сидели за картами, неподвижные, точно мертвецы. Лица мужчин, собиравшихся в этой гостиной, своими поблекшими, серыми тонами напоминали выцветшую обивку стен. Старики эти, несомненно, были поражены недугом нерешительности; платье их приближалось к современной моде больше, чем у старух, но седина, увядшие лица, восковая кожа, морщинистые лбы и угасший взгляд роднили их со старухами, и это сходство разрушало ту относительную реальность, которую им придавала современная одежда. Уверенность в том, что я неизменно в один и тот же час увижу эти фигуры за карточным столом или просто сидящими в креслах, еще больше подчеркивала в них нечто театральное, напыщенное, неестественное. Нико-

гда я потом не входил в знаменитые дворцовые хранилища в Париже, Лондоне, Вене, Мюнхене, где старики сторожа показывают вам все великолепие былых времен, без того, чтобы мысленно не населить эти кунсткамеры фигурами из Музея древностей. Мы, школьники девяти-десяти лет, сговорившись, нередко, в виде развлечения, бегали поглядеть на эти диковинки в стеклянной клетке. Но едва я замечал пленительную мадемуазель Арманду, я вздрагивал, а затем с завистливым восхищением любовался прелестным ребенком Виктюрньеном, который нам всем казался существом более совершенным, чем мы. Среди преждевременно разбуженных кладбищенских мертвецов это юное и свежее создание поражало нас чем-то необычным. Не отдавая себе в том отчета, мы чувствовали себя ничтожными и ограниченными буржуа перед столь горделивым сборищем аристократов».

Катастрофы 1813—1814 годов, которые привели к падению Наполеона, возродили к жизни завсегдатаев Музея древностей, а главное, внушили им надежду на возврат их прежнего влияния; но события 1815 года и бедствия, вызванные иностранной оккупацией, а затем колебания правительства отсрочили до дня падения Деказа осуществление чаяний этих людей, столь живо описанных Блонде. Таким образом, наше повествование начинается собственно лишь с 1822 года.

Несмотря на привилегии, которые Реставрация дала в 1822 году эмигрантам, состояние маркиза д'Эгриньона не увеличилось. Пожалуй, ни один из дворян, пострадавших от революционных законов, не разорился так безнадежно, как он. Доходы его до 1789 года основывались главным образом на феодальных правах на ленные владения; многие знатные роды старались дробить свои земли как можно мельче, чтобы взимать больше податей и поборов. Дворянские семьи, находившиеся в подобном положении, были разорены и не имели никакой надежды улучшить его, ибо указ Людовика XVIII о возвращении бывшим эмигрантам непроданных имений ничего не мог им вернуть; а принятый впоследствии закон о возмещении убытков также не мог ничего им возместить. Каждому известно, что поместья, которых лишились д'Эгриньоны, перешли в казну под

названием «национальных имуществ». Маркиз д'Эгриньон принадлежал к числу роялистов, отклонивших всякое соглашение с теми, кого он называл не революционерами, а бунтовщиками, или, употребляя более парламентский термин,— либералами и конституционалистами. Вожаками этих роялистов (оппозиция называла их просто «ультра») были смелые ораторы «правой», которые, после первого же заседания палаты в присутствии короля, попытались, как, например, г-н де Полиньяк, протестовать против Хартии, изданной Людовиком XVIII, рассматривая ее как неудачный указ, вызванный временной необходимостью, и полагая, что король его пересмотрит. Маркиз д'Эгриньон не пожелал участвовать в обновлении обычаев и нравов, которое попытался осуществить Людовик XVIII, и спокойно оставался в стороне, всегда готовый поддержать крайних правых; он ожидал, что ему возвратят все его огромное состояние, и не допускал даже мысли о каком-то «возмещении убытков», которым было так озабочено министерство Виллеля, желавшее таким путем укрепить королевский престол, уничтожить роковое неравенство в имущественном положении дворян, продолжавшее существовать, несмотря на новые законы. Необычайные происшествия, которые привели к Реставрации 1814 года, и еще более необычайное событие—возвращение к власти Наполеона в 1815 году, новое бегство Бурбонов и их вторичное возвращение, все эти легендарные перипетии современной истории произошли, когда маркизу было уже шестьдесят семь лет. В таком возрасте даже у самых непокорных натур того времени, не столько ослабевших от лет, сколько подорванных потрясениями в годы революции и Империи и похоронивших себя в провинциальной глуши, жажда действия иссякла и осталась лишь ярая непримиримость взглядов; почти все эти люди оказались замкнутыми в тесные рамки спокойной и раздражающей своим однообразием провинциальной жизни. А разве не величайшее несчастье для политической партии, если она состоит из стариков, да к тому же еще и сами ее идеи устарели? В 1818 году законная королевская власть казалась прочно утвердившейся, но маркиз задал себе вопрос, что, собственно, делать ему, семидесятилетнему старцу, при

дворе? Какой пост может он там занять, какой деятельности может посвятить себя? И гордый аристократ д'Эгриньон решил (впрочем, ему ничего другого и не оставалось) удовольствоваться торжеством монархии и религии и ожидать результатов этой неожиданной и сомнительной победы, которая была на деле всего лишь перемирием. Он продолжал царить в своем салоне, столь удачно прозванном «Музеем древностей». При Реставрации люди, побежденные в 1793 году, оказались победителями, и безобидная шутливость этого прозвища приобрела некоторую ядовитость.

Городок, где жил д'Эгриньон, как и большинство провинциальных городов, не избежал той ненависти и зависти, которые обычно порождаются борьбой партий. Вопреки всем ожиданиям, дю Круазье все-таки женился на богатой старой деве, когда-то отказавшей ему, женился, несмотря на то, что его соперником был известный баловень местной аристократии — некий шевалье, чье славное имя нам надлежит сохранить в тайне. Будет достаточно, если мы, следуя старинному обычаю города, приведем лишь его титул: ибо все его называли просто «шевалье», подобно тому, как при дворе называли графа д'Артуа просто «Месье». Брак дю Круазье не только вызвал самую беспощадную войну, какие бывают лишь в провинции,— он ускорил в городе происходивший повсеместно разрыв между крупным и мелким дворянством, между буржуазией и дворянством, на миг было объединившимися под давлением всемогущей власти Наполеона. Этот внезапный разрыв причинил Франции немало бед. Наиболее характерная черта французов — тщеславие и самолюбие. Именно оскорбленным самолюбием множества людей объясняется и пробудившаяся в них жажда равенства, хотя самые рьяные новаторы впоследствии решили, что равенство невозможно. Роялисты жалили либералов в самые уязвимые места. Обе партии, особенно в провинции, обвиняли друг друга во всевозможных мерзостях и занимались постыдной клеветой. В политике творились тогда самые черные дела; эти партии стремились привлечь на свою сторону общественное мнение и обеспечить себе голоса невежественной толпы, которая сама раскрывала объятия и тянулась к лю-

дям достаточно ловким, чтобы дать ей в руки оружие. Эта вражда вылилась в борьбу нескольких лиц. А враги политические стали тотчас и личными врагами. В провинции трудно не перейти врукопашную по поводу таких вопросов и интересов, которые в столице принимают общую, чисто теоретическую форму и поэтому придают особый вес их защитникам: например, г-н Лафит или Казимир Перье уважали в г-не де Виллеле или г-не де Пейронне человека. Лафит, который довел дело до стрельбы в министров, охотно спрятал бы их у себя в особняке, явись они к нему 29 июля 1830 года. Бенжамен Констан послал виконту де Шатобриану свою книгу о религии, сопроводив ее лестным письмом, в котором сознается, что он кое-что почерпнул у этого министра Людовика XVIII. В Париже люди — это олицетворение системы; в провинции же, наоборот, системы воплощены в живых людях и притом с непостоянными страстями; эти люди подстерегают друг друга, вторгаются в частную жизнь своих противников, извращают их речи; следят друг за другом, словно дуэлянты, готовые при малейшей неосторожности врага всадить ему в бок смертоносную шпагу, и стремятся вызвать эту неосторожность; они поглощены своей ненавистью, как безжалостные азартные игроки игрой. Здесь человека осыпают эпиграммами и преследуют клеветническими наветами под предлогом борьбы с его партией.

В этой войне, которая Музеем древностей велась учтиво и без желчи, а в особняке дю Круазье принимала самые свирепые формы вплоть до употребления отравленного оружия, как у дикарей,— тонкая ирония и преимущества развитого ума были на стороне аристократии. А хорошо известно, что из всех ран, наносимых словом и взглядом, самые неизлечимые наносятся насмешкой и презрением. С той поры, когда шевалье покинул гостиные, где встречалось смешанное общество, и удалился на священную гору аристократии, он направил стрелы своего остроумия против салона дю Круазье и разжег войну, не задумываясь о том, до чего жажда мщения может довести кружок дю Круазье в борьбе с Музеем древностей. В отель д'Эгриньон допускались только благонамеренные и безупречные дво-

ряне и женщины, вполне уверенные друг в друге; здесь не могло быть места никакой нескромности. Поэтому их речи и мнения, каковы бы они ни были,— хорошие или дурные, правильные или ложные, возвышенные или нелепые,— не могли дать пищи для насмешек. Чтобы высмеивать аристократов, либералам приходилось избирать мишенью их политические действия,— тогда как роялисты были в более выгодном положении: чиновники, занимавшие промежуточное место между враждебными лагерями и заискивавшие у родовитого дворянства, пересказывали новости и разговоры, дававшие немало поводов для насмешек над либералами.

Сознание своей униженности, которую сторонники дю Круазье живо ощущали, еще более усиливало их жажду мести. В 1822 году дю Круазье встал во главе промышленников департамента, подобно тому, как д'Эгриньон стоял во главе дворянства. Таким образом, каждый из них представлял определенную партию. Вместо того чтобы открыто и не лукавя признаться в своем сочувствии крайне левой, дю Круазье объявил себя сторонником тех взглядов, которые были впоследствии сформулированы в заявлении «двухсот двадцати одного». Поэтому он получил возможность объединить вокруг себя представителей суда, местной администрации и финансов. Люди, собиравшиеся в салоне дю Круазье, являлись не меньшей силой, чем завсегдатаи Музея древностей, к тому же они были многочисленнее, моложе, деятельнее и в конце концов приобрели решающее влияние на все дела департамента, а Музей древностей продолжал держаться в стороне, как бесплатное приложение к королевской власти, которой партия крайних роялистов нередко мешала, ибо способствовала ее промахам и даже толкала на путь ошибок, ставших для монархии роковыми.

Либералы, которым в этом непокорном департаменте никогда не удавалось провести в парламент хотя бы одного из своих кандидатов, знали, что в случае, если дю Круазье будет избран, он окажется среди левого крыла центра или даже среди крайних левых. Банкирами дю Круазье были три брата Келлер; старший из них блистал в палате среди девятнадцати представителей левого крыла, этой фаланги, прославленной всеми ли-

бералными газетами, и все три брата преуспевали благодаря своей близости с графом де Гондревилем, пэром-конституционалистом, пользовавшимся расположением Людовика XVIII. Итак, конституционная оппозиция была готова в последний момент передать дю Круазье свои голоса, обещанные для вида подставному кандидату,— если бы дю Круазье удалось собрать достаточное число голосов роялистов, чтобы обеспечить себе большинство. На каждых выборах роялисты проваливали дю Круазье, ибо верхушка роялистской партии во главе с маркизом д'Эгриньоном неизменно отгадывала, разбирала и осуждала все его уловки, и каждые выборы все более усиливали ненависть этого неудачливого кандидата и его партии к аристократам. Ничто так не разжигает вражду политических группировок, как бесполезность с трудом расставленной западни.

В 1822 году борьба партий, носившая в первые годы Реставрации чрезвычайно острый характер, казалось, затихла. И салон дю Круазье и Музей древностей, узнав все сильные и слабые стороны друг друга, видимо, ожидали счастливого случая, играющего для партии роль провидения.

Близорукие люди довольствовались этим мнимым спокойствием, которое обманывало даже монарха; но тем, кто ближе знал дю Круазье, было ясно, что он, как и все, кто живет холодным рассудком, будет мстить беспощадно, тем более что эта месть разжигалась политическим честолюбием. Дю Круазье, который некогда краснел и бледнел при одном имени д'Эгриньонов или шевалье и вздрагивал, упоминая о Музее древностей или слыша, как о нем упоминают другие, теперь прикидывался невозмутимым, точно индеец. Он приветливо улыбался своим врагам, хотя по-прежнему ненавидел их и с каждым часом следил за ними все пристальнее. А им казалось, что, отчаявшись в победе, дю Круазье решил жить спокойно. Одним из его ближайших сподвижников, также участвовавших в расчетах этой затаенной ярости, был председатель суда, г-н дю Ронсере, мелкопоместный дворянин, тщетно добивавшийся чести быть принятым в Музее древностей.

Небольшого состояния д'Эгриньонов, которое забот-

ливо и умело оберегал нотариус Шенель, едва хватало на то, чтобы поддерживать скромное существование маркиза: хотя он вел жизнь, подобающую дворянину, но не позволял себе ни малейшей роскоши. В доме маркиза жил воспитатель молодого графа Виктюрньена — единственной надежды рода д'Эгриньонов,— бывший монах-ораторианец, рекомендованный епископом, и ему приходилось платить известное вознаграждение. Жалованье кухарки, горничной мадемуазель Арманды, старика камердинера маркиза и еще двух слуг, господский стол для четверых и расходы по воспитанию молодого графа, ради которого не жалели денег, поглощали все средства д'Эгриньонов, несмотря на крайнюю бережливость мадемуазель Арманды, мудрую распорядительность Шенеля и преданность слуг. Старик нотариус все еще не мог произвести никакого ремонта в полуразрушенном замке. Он ожидал, пока истекут сроки договоров, заключенных еще в 1809 году с арендаторами земель д'Эгриньона, намереваясь изыскать затем новые способы для увеличения доходов маркиза — или путем улучшения обработки земли, или в результате понижения курса денег. Маркиз не вникал ни в мелочи хозяйства, ни в управление имениями. Узнай он, какие героические усилия делал Шенель, чтобы, по выражению хозяек, свести концы с концами, это поразило бы его как громом. Но никто из домочадцев не решался разрушить иллюзии старого аристократа, приближавшегося к концу своего жизненного пути.

Величие рода д'Эгриньонов, о котором не думали ни придворные, ни правительство и которое за пределами городских стен и ближайших окрестностей никому даже не было известно,— это величие в воображении маркиза и его приверженцев воскресало во всем своем былом великолепии. Они были убеждены, что в лице Виктюрньена род д'Эгриньонов обретет новый блеск, когда разоренные дворяне возвратятся в свои поместья или когда достойный наследник появится при дворе, чтобы служить королю и жениться, как женились в старину д'Эгриньоны, на девице из рода Наварренов или Кадиньянов, д'Юкзелей, Босеанов или Бламон-Шоври, соединяющей в себе все преимущества высокой родовитости с красотой, умом и добродетельным характером.

«МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ»

«МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ».

Завсегдатаи, собиравшиеся каждый вечер в Музее древностей поиграть в карты,— шевалье, Труавили (произносите «Тревили»), Ла-Рош-Гюйоны, Кастераны (произносите «Катераны»), герцог де Верней — давно привыкли видеть в гордом маркизе особу необычайной значительности и поддерживали в нем его упования. В них не было ничего несбыточного, и, вероятно, надежды маркиза исполнились бы, если бы можно было вычеркнуть из истории Франции последние сорок лет. Но самые почтенные, самые бесспорные права, которые Людовик XVIII попытался закрепить хартией, датировав ее «двадцать первым годом» своего царствования, не будут иметь силы, если они не подтверждены всеобщим согласием. Д'Эгриньонам недоставало того, на чем зиждется современная политика,— то есть денег, главной опоры новой аристократии; не умели они также показать себя необходимыми участниками дальнейшего исторического развития; славу такого участия можно теперь завоевать и при дворе, и на полях сражений, и в дипломатических салонах, и на общественной трибуне, и с помощью книг или авантюр. Эта слава необходима каждому новому поколению, как своего рода священное миропомазание. Знатная семья, пребывающая в бездействии и забвении, подобна девице на выданье, глупой, некрасивой, бедной и добродетельной,— словом, имеющей все основания быть несчастной. Брак между мадемуазель де Труавиль и генералом Монкорне не только ничему не научил Музей древностей, но едва не оказался причиной разрыва между Труавилями и салоном д'Эгриньонов, заявившим, что «Тревили себя запятнали».

Лишь один среди всех окружавших маркиза людей не разделял их иллюзий. Надо ли говорить, что это был старик нотариус Шенель? Хотя его преданность старинному роду, представленному ныне тремя лицами, была беспредельной, что достаточно убедительно подтверждается нашим повествованием, хотя он вполне разделял взгляды маркиза и находил их правильными,— Шенель все же обладал здравым смыслом и приобрел столь обширный опыт, ведя дела большинства видных семей департамента, что не мог не учитывать мощного движения умов и не признать великих перемен,

вызванных ростом промышленности и новыми нравами. Бывший управляющий видел, как революция от разрушительных деяний 1793 года, когда она вкладывала оружие в руки мужчин, женщин, детей, воздвигала эшафоты, рубила головы и выигрывала сражения на полях Европы, перешла к мирному осуществлению идей, некогда освятивших эти грозные события. После пахоты и сева наступало время жатвы. Шенель понимал, что революция определила сознание нового поколения, он осязал реальность фактов, видел тысячи ран и чувствовал, что возврата к прошлому быть не может; то, что королю отрубили голову, казнили королеву, отобрали землю у дворян — все это в его глазах завело страну слишком далеко, затрагивало слишком много интересов, чтобы заинтересованные позволили уничтожить плоды этих действий. Шенель трезво смотрел на вещи. Его фанатическая преданность д'Эгриньонам была беспредельной, но не слепой и становилась от этого еще благороднее. Вера, позволяющая молодому монаху узреть небесных ангелов, все же не так сильна, как у старого монаха, который этих ангелов ему показывает. Шенель походил на старого монаха, он отдал бы свою жизнь, защищая священную раку с мощами, хотя бы в ней уже завелись черви. Всякий раз, когда Шенель с тысячью предосторожностей пытался объяснить своему бывшему господину все эти «новшества», то иронизируя над ними, то притворно удивляясь или негодуя, на устах маркиза неизменно появлялась высокомерная улыбка, а в его душе, видимо, жила твердая уверенность, что все это «безумие» пройдет, как проходили многие другие. Никто не замечал, насколько внешний ход событий поддерживал предубеждения гордых защитников этих развалин былого. Действительно, что мог ответить Шенель старому маркизу, когда тот с властным жестом говорил ему:

— Бог смел с лица земли Буонапарте с его армиями и новыми могучими вассалами, сокрушил воздвигнутые им престолы и развеял в прах его горделивые замыслы! Бог освободит нас и от всего остального.

Шенель грустно поникал головой, не смея возразить: «Не сметет же бог с лица земли всю Францию?»

Оба они были великолепны в эту минуту: один про-

тивился бурному потоку фактов, словно древняя, поросшая мхом гранитная глыба, нависшая над альпийской пропастью, другой созерцал бегущие воды с мыслью о том, как бы обратить их на пользу. Добрый и почтенный нотариус горько вздыхал, замечая, какие непоправимые разрушения производят аристократические предрассудки в нравственных принципах и слагающихся взглядах юного графа Виктюрньена д'Эгриньона.

Тетка его боготворила, отец боготворил, и молодой наследник был в полном смысле этого слова избалованным ребенком; впрочем, он давал основания для горделивых надежд и отца и матери — ибо тетка была ему истинной матерью. Однако, какой бы нежной и предусмотрительной ни была девушка, ей всегда недостает особого, чисто материнского ясновидения, которое дается природой только родной матери. Тетка, связанная со своим питомцем такими чистейшими узами любви, какими мадемуазель Арманда была связана с Виктюрньеном, может обожать его не меньше, чем мать, может быть столь же внимательной, доброй, нежной, снисходительной; но в строгости ее не будет той бережности и того такта, которыми одарено сердце матери; у нее не будет внезапных предчувствий и смутных тревог, столь знакомых матери, у которой все еще трепещут, как струны, нервные и душевные связи, соединявшие ее с младенцем; мать на всю жизнь сохраняет неразрывную связь со своим ребенком, чувствует как бы толчок от каждого его страдания и трепет от каждой радости, словно это — события ее собственной жизни. Если с физической точки зрения природа и создала в лице женщины как бы нейтральную почву для развития ребенка, то она не лишила ее способности в некоторых случаях вполне сливаться со своим созданием; когда материнство духовное сочетается с материнством физическим, мы видим то чудесное, скорее еще не объясненное, чем необъяснимое, явление, которое составляет сущность материнской любви. Катастрофа, описанная в этой повести, еще раз подтверждает общеизвестную истину: матери никто не заменит. Мать предвидит беду задолго до того, как девушка вроде мадемуазель Арманды в нее поверит, хотя бы эта беда уже пришла. Одна про-

зревает несчастье, другая пытается смягчить его последствия. Материнская привязанность у девушки — искусственна и обычно сопровождается слепым обожанием. Это мешало Арманде держать в должной строгости красивого мальчика.

Знание жизни и многолетний деловой опыт развили в старике нотариусе особую наблюдательность, полную прозорливой настороженности, которая походила на материнскую способность предчувствовать беду. Но он так мало значил в этом доме, особенно после того, как впал в немилость, дерзнув допустить возможность брачного союза между девицей из рода д'Эгриньонов и каким-то дю Круазье, что решил впредь слепо подчиняться взглядам этой аристократической семьи. Он — лишь простой солдат, стоящий на своем посту и готовый, если понадобится, умереть, и к его мнению никто не прислушивается, даже в минуты самой грозной опасности; разве только он случайно окажется в положении королевского нищего из «Антиквария», которого судьба привела на берег моря в ту минуту, когда лорд и его дочь были застигнуты приливом.

Дю Круазье усмотрел возможность жестоко отомстить д'Эгриньонам, воспользовавшись нелепостью воспитания, полученного молодым графом. Он надеялся, по меткому выражению вышеупомянутого автора, утопить врага в ложке воды.

Эта надежда помогала ему хранить вид молчаливой покорности и вызывала на его губах злобную усмешку.

Едва граф Виктюрньен подрос настолько, что мог уже усваивать отвлеченные идеи, ему начали внушать мысль о его превосходстве над прочими людьми: за исключением короля он равен всем аристократам Франции. А все не принадлежащие к дворянству — существа низшей породы, с которыми он не имеет ничего общего, по отношению к ним у него нет никаких обязанностей; это — побежденные и попранные враги, и с ними ему незачем считаться, их мнения должны быть дворянину безразличны; они же обязаны его почитать. На свою беду Виктюрньен зашел в этих взглядах слишком далеко, следуя той прямолинейной логике, которая обычно приводит подростков и юношей к крайним выводам как в добре, так и в зле. Его внешняя привлекательность

так же утверждала его в этих теориях. Ребенок редкой красоты, Виктюрньен превратился затем в молодого человека, столь совершенного, что любой отец мог только мечтать о таком сыне. Среднего роста, но хорошо сложенный, он был стройным и даже несколько хрупким на вид, но на самом деле сильным юношей. Как и у всех д'Эгриньонов, у него были блестящие голубые глаза, красиво очерченный нос с горбинкой, безукоризненный овал лица и золотисто-белокурые волосы, удивительная белизна кожи, легкая и грациозная походка, изящные ноги и руки, тонкие длинные пальцы с слегка отогнутыми кончиками, тонкие запястья и щиколотки —словом, та гармония всех линий и непринужденность движений, которая у человека, как и у лошади, является признаком породы. Ловкий, проворный, охотник до всяких физических упражнений, он стрелял из пистолета без промаха, фехтовал, как шевалье Сен-Жорж, сидел на коне, как прирожденный наездник. Поэтому всем своим внешним обликом Виктюрньен мог бы польстить тщеславию самых требовательных родителей, кстати сказать, справедливо оценивающих влияние, которое оказывает на людей красота. Будучи такой же привилегией, как и благородное происхождение, красота не может быть благоприобретена, она всюду получает признание и нередко ценится больше, чем богатство и талант; ей достаточно предстать перед людьми, чтобы победить, и от нее требуют только, чтобы она существовала. Помимо этих двух великих преимуществ — знатности и красоты,— судьба одарила Виктюрньена д'Эгриньона пылким умом, удивительной способностью все усваивать и отличной памятью. Поэтому он был отлично образован и гораздо более сведущ, чем обычно бывают молодые провинциальные дворяне, которые в зрелые годы становятся страстными охотниками, курильщиками или просто весьма почтенными помещиками, развязно рассуждают о науке и литературе, об искусстве и поэзии и высокомерно третируют все проявления таланта, оскорбляющие их своим превосходством. Маркиз д'Эгриньон надеялся, что благодаря блестящим природным данным Виктюрньена и полученному им образованию сбудутся его честолюбивые отцовские мечты: он уже видел сына маршалом Франции, если тот пожелает избрать военную карь-

еру, послом — если его привлечет дипломатия, министром — если ему понравится административная деятельность; все в государстве будет к его услугам. Маркиз тешил себя мыслью, что не будь даже его сын д'Эгриньоном, он все равно создал бы себе положение, обладая столь блестящими качествами.

Счастливое детство Виктюрньена, его золотая юность никогда ни в чем не встречали отказа. Он был кумиром в доме, никто не смел противиться прихотям этого юного принца, который, естественно, и стал эгоистичным, как всякий принц, настойчивым, как самый необузданный средневековый кардинал, дерзким и заносчивым, причем все окружающие восторгались этими пороками, ибо считали их неотъемлемыми качествами истинного аристократа.

Шевалье мог служить типичным представителем того доброго старого времени, когда захмелевшие мушкетеры бесчинствовали в парижских театрах, колотили ночных дозорных и судебных приставов, вытворяли, подобно пажам, сотни проказ и неизменно вызывали улыбку на устах короля, если только проказы были забавны. Этот бывший красавец и волокита, этот бывший герой уличных похождений немало способствовал печальной развязке нашего повествования. Галантный старик, который уже давно не находил ни в ком понимания, был счастлив встретить желторотого Фоблаза, напомнившего ему собственную молодость. Не смущаясь тем, что теперь настали иные времена, он заронил в сознание юного Виктюрньена дерзкие софизмы энциклопедистов, рассказывал ему анекдоты, бывшие в ходу при Людовике XV, восхвалял нравы пятидесятых годов восемнадцатого века, описывал оргии, происходившие в охотничьих домиках, безумства, совершавшиеся ради куртизанок, и ловкие проделки над кредиторами,—словом, развертывал перед юношей те картины нравов, которые послужили основой для комедий Данкура и сатир Бомарше. К сожалению, эта развращенность, прикрытая изысканной утонченностью, рядилась в одежды вольтерьянства. Если шевалье иногда заходил слишком далеко в своих рассказах, он сейчас же стремился сгладить впечатление ссылками на правила дружеской компании, которым дворянин обязан следовать. Но Виктюрньен воспринимал из всех этих разгла-

гольствований лишь то, что поощряло его страсти. Кроме того, он видел, что и отец смеется вместе с шевалье. Оба старика были уверены, что врожденная гордость д'Эгриньонов — достаточно надежная преграда, она удержит юношу от всего недостойного; и решительно никто в доме не допускал даже мысли, что отпрыск д'Эгриньонов способен совершить что-либо противное чести. Честь, этот великий принцип монархии, пустивший глубокие корни в сердцах всех членов рода д'Эгриньонов, озарял, подобно маяку, каждый их поступок, воодушевлял каждую мысль,— прекрасный принцип, который только и мог бы сохранить дворянство. «Д'Эгриньон не должен позволять себе того-то и того-то, ибо он носит имя, связующее будущее с прошлым»,— эти слова служили своеобразным припевом, которым и старик маркиз, и мадемуазель Арманда, и Шенель, и завсегдатаи особняка убаюкивали в детстве Виктюрньена. Таким образом, в этой юной душе в одинаковой степени было заложено и добро и зло.

Когда Виктюрньену исполнилось восемнадцать лет, он начал бывать в местном обществе и вскоре почувствовал некоторое противоречие между внешним миром и замкнутым мирком обитателей отеля д'Эгриньонов, однако не стал допытываться причин. Причины эти следовало искать в Париже. Молодой граф еще не знал, что люди, столь смелые в своих суждениях и столь решительно высказывающиеся в доме его отца, держатся весьма осмотрительно в присутствии врагов, общаться с которыми их вынуждают собственные интересы. Его отец завоевал себе право открыто высказывать свои мнения. Никому не приходило в голову спорить с семидесятилетним стариком, каждый охотно прощал лишившемуся всего человеку его приверженность к старому порядку.

Не понимая истинного положения вещей, Виктюрньен повел себя так, что скоро восстановил против себя всю городскую буржуазию и мещанство. Во время охоты у него произошли неприятные осложнения, которые вследствие его запальчивости едва не привели к серьезному судебному процессу. Шенелю с трудом удалось замять дело с помощью денег; но старик так и не решился рассказать об этом маркизу. Маркиз был бы несказанно изумлен, если бы узнал, что его сын привлекается к ответственно-

сти за охоту на своих собственных землях, в собственных лесах и угодьях, в царствование одного из потомков Людовика Святого! Посвящать старика во все эти неприятности было бы слишком рискованно, говорил Шенель. Молодой граф разрешал себе в городе шалости и другого рода. Шевалье называл их «интрижками»; завершились они тем,что Шенелю пришлось дать приданое нескольким девицам, неосмотрительно поверившим легкомысленным обещаниям графа жениться; Виктюрньену угрожали также процессы по обвинению в совращении несовершеннолетних; а эти процессы при тех строгостях, какие пошли в нынешнем суде, могли бы, без своевременного вмешательства Шенеля, кончиться для молодого графа весьма и весьма печально. Однако «победы» над буржуазным правосудием придавали Виктюрньену все больше храбрости. Привыкнув всегда выходить сухим из воды, он уже не знал удержу в своих проказах, так как считал, что суды страшны для простолюдинов, но не для него. То, что молодой граф строго порицал у людей простого звания, то для себя он считал вполне дозволенным развлечением. Его поступки, склад характера, склонность презирать новые законы и подчиняться только нормам аристократического кодекса — все это было тщательно изучено, прослежено, проверено несколькими ловкими пронырами из числа приверженцев дю Круазье. Воспользовавшись этим, они старались уверить народ, что клеветнические измышления либералов — подлинные разоблачения и что в основе правительственной политики лежит стремление возродить старый режим во всей его полноте; и до чего же они были довольны, что обрели хотя бы косвенные доказательства для своих утверждений! Председатель суда дю Ронсере, как и королевский прокурор, охотно соглашался на все поблажки, не противоречившие его служебным обязанностям; он даже умышленно шел на них, чтобы дать либералам повод кричать о его слишком большой снисходительности к дворянам. Таким путем он под видом услуг разжигал ненависть к семейству д'Эгриньонов. Этот мерзкий интриган лелеял мысль показать свою неподкупность в ту минуту, когда у него в руках окажутся серьезные улики и ему можно будет рассчитывать на сочувствие общественного мнения. Дурные наклонности молодого графа коварно поддерживали двое-трое моло-

дых людей, входивших в его свиту; они завоевали его расположение своим раболепством; они льстили ему, преклонялись перед его суждениями, всячески поддерживали в нем веру в главенствующую роль дворянства — и это в такую пору, когда дворяне могли сохранить свое влияние лишь при условии упорной, по меньшей мере полувековой осторожности. Дю Круазье надеялся, что попустительство д'Эгриньонов в отношении губительных сумасбродств молодого повесы доведет семью до полной нищеты, что их замок будет разорен, а земли распроданы по частям с торгов. Дальше этого он не шел в своих мечтах: он не верил, подобно председателю суда дю Ронсере, что Виктюрньен каким-нибудь иным путем попадет в руки правосудия. Мстительным планам этих двух людей весьма способствовали чрезмерное самолюбие Виктюрньена и постоянная его погоня за наслаждениями. Сын председателя дю Ронсере, семнадцатилетний юноша, один из собутыльников графа и наиболее коварный льстец, особенно успешно выполнял роль подстрекателя. Дю Круазье оплачивал этого добровольного шпиона и весьма ловко наставлял его в деле совращения высокородного и красивого юноши; посмеиваясь, он учил его разжигать дурные наклонности своей жертвы. А Фабиену дю Ронсере, который был от природы завистлив, остроумен и имел склонность к софистике, даже нравилась эта игра. Она доставляла ему те утонченные развлечения, которых так не хватает умным людям в провинции.

Между восемнадцатью и двадцатью одним годом Виктюрньен стоил бедному нотариусу около восьмидесяти тысяч франков, причем ни мадемуазель Арманда, ни маркиз ничего не подозревали. Больше половины этих денег было истрачено на прекращение судебных дел, угрожавших графу, остальные ушли на всякие излишества молодого повесы. Из десяти тысяч франков, составлявших годовой доход маркиза, пять тысяч поглощали расходы по дому; на содержание маркиза и мадемуазель Арманды, несмотря на всю ее бережливость, уходило свыше двух тысяч франков; так что пенсион будущего наследника не превышал ста луидоров. А что такое две тысячи франков для того, кто должен бывать в свете и одеваться хотя бы прилично? Да один гардероб поглощал всю эту сумму!

Виктюрньен выписывал себе белье, платье, перчатки и духи из Парижа. Он пожелал иметь хорошую верховую английскую лошадь и лошадь для тильбюри. Ведь ездил же господин дю Круазье верхом на английской лошади и имел, кроме того, тильбюри. Так неужели допустимо, чтобы буржуазия затмила аристократию? Затем молодой граф потребовал себе грума, который носил бы ливрею с фамильным гербом д'Эгриньонов. Польщенный тем, что задает тон всему городу и департаменту, всей молодежи, Виктюрньен вступил на путь прихотей и роскоши, которые так пристали красивым и остроумным молодым людям. А Шенель все это оплачивал, пользуясь, правда, как старинные парламенты, своим правом увещания, но делал он это с ангельской кротостью.

«Как жаль, что этот добряк так надоедлив!» — думал Виктюрньен всякий раз, когда нотариус затыкал некоторой суммой денег зияющую дыру в его бюджете.

Будучи вдов и бездетен, Шенель в глубине души как бы усыновил Виктюрньена. Он радовался, видя, как сын его бывшего хозяина проезжает по главной улице города, покачиваясь на высоком сиденье своего тильбюри, с длинным хлыстом в руке и розой в петлице, красивый, нарядный, вызывающий всеобщую зависть. Когда Виктюрньену спешно нужны были деньги — после проигрыша у Труавилей, у герцога де Верней, у префекта или у главного управляющего окладными сборами — и он являлся в скромный домик на улице Беркай к старику нотариусу, который был для него провидением, то тихий голос юноши, его беспокойный взгляд и вкрадчивые движения так действовали на старика, что граф, едва войдя, тотчас получал желаемое.

— Ну, что с вами? Что случилось? — спрашивал Шенель взволнованным голосом.

В особо важных случаях Виктюрньен усаживался, принимал вид меланхолический и задумчивый и, жеманясь, предоставлял Шенелю вытягивать из него каждое слово. Заставив добряка испытать самую жестокую тревогу, ибо тот уже начинал опасаться грозных последствий столь безудержного мотовства, он наконец признавался в каком-нибудь грешке, который можно было прикрыть ассигнацией в тысячу франков. Шенель, помимо нотариальной конторы, имел около двенадцати тысяч

франков годового дохода. Из этого фонда нельзя было черпать бесконечно. Восемьдесят тысяч франков, которые пошли прахом ради Виктюрньена, составляли сбережения старика, отложенные им на то время, когда маркиз соберется отправить сына в Париж, или чтобы способствовать удачной женитьбе молодого графа. В отсутствие Виктюрньена Шенель обретал свою обычную трезвость и прозорливость и постепенно расставался с теми иллюзиями, которыми еще тешили себя маркиз и его сестра. Убедившись, что юноша совершенно не способен вести себя достойно, Шенель горячо желал поскорее женить его на какой-нибудь благонравной и благоразумной девице из дворянской семьи. Видя, что Виктюрньен делает наутро противоположное тому, что обещал накануне, Шенель недоумевал, как может юноша с таким благородным образом мыслей столь дурно вести себя. Впрочем, чего ждать от молодых людей, которые охотно признаются в своих ошибках, даже раскаиваются в них и тут же опять их повторяют. Люди с сильным характером каются в своих грехах лишь перед самими собой и сами себя карают. Что же касается слабовольных, они идут проторенной дорожкой, им слишком трудно с нее свернуть. Виктюрньен, в котором воспитатели, друзья и уже вкоренившиеся привычки ослабили силу скрытой гордости, побуждающей людей к великим деяниям, оказался во власти того безволия, каким страдают сластолюбцы; это случилось в ту пору его жизни, когда его воля, чтобы окрепнуть, нуждалась в суровых испытаниях и в борьбе с превратностями судьбы, создавших такие характеры, как принц Евгений, Фридрих II и Наполеон.

Шенель замечал в Виктюрньене ту неукротимую, бешеную жажду наслаждений, которая естественна у людей больших дарований и рождается из потребности возместить удовольствиями затраты напряженной умственной энергии; но тех, кто предается одному лишь сладострастию, неудержимо влечет в пропасть. И старика временами охватывал ужас; затем, вспоминая о прекрасных порывах и широком уме, делавших юношу столь примечательным, Шенель снова успокаивался. Он говорил себе то же, что говорил маркиз, когда до него доходили слухи о шалостях Виктюрньена: «Молодежи нужно перебеситься».

Когда Шенель жаловался шевалье на склонность молодого графа постоянно делать долги, тот выслушивал его с насмешливым видом, растирая между пальцами понюшку табаку.

— Объясните мне, пожалуйста, милейший Шенель, что такое государственный долг? — спрашивал он в ответ.— А ежели Франция имеет долги, то почему же, черт побери, их не иметь Виктюрньену? Ныне, как и во все времена, принцы делают долги, все аристократы делают долги. Может быть, вы хотели бы, чтобы мальчик скаредничал? Вы знаете, как поступил наш великий Ришелье,— не кардинал, тот был негодяй, он жаждал погубить знать,— а маршал Ришелье? Знаете, что он сказал, когда его внук, принц де Шинон, последний из рода Ришелье, признался ему, что, находясь в университете, не истратил своих карманных денег?

— Нет, господин шевалье, не знаю.

— Так вот: он выбросил кошелек в окно метельщику и сказал внуку: «Тебя, значит, не научили быть принцем?»

Шенель молча опустил голову. А вечером, засыпая, честный старик подумал, что в нынешние времена, когда исправительная полиция существует для всех, подобные теории ужасны. Он видел в них зародыш грядущей гибели славного рода д'Эгриньонов.

Без этих пояснений, рисующих одну из сторон провинциальной жизни во времена Империи и Реставрации, трудно было бы понять ту сцену, с которой и начинается наше повествование; она произошла в конце октября 1822 года в Музее древностей однажды вечером, после игры в карты, когда высокородные посетители отеля, старые графини, молодые маркизы и баронессы произвели подсчеты выигрышей и проигрышей и удалились. Старик маркиз прохаживался по гостиной, а мадемуазель д'Эгриньон сама тушила свечи на карточных столах; маркиз был не один, а в обществе шевалье. Эти два обломка прошлого века говорили о Виктюрньене. Шевалье намеревался открыть маркизу глаза на поведение его сына.

— Да, маркиз,— говорил шевалье,— ваш сын только даром тратит здесь свое время и свою молодость. Вы должны, наконец, послать его в Париж.

— Я всегда полагал, что если мой преклонный воз-

раст помешает мне самому явиться ко двору, где, говоря между нами, я даже не знаю, что мне делать в наше время и среди новых людей, окружающих короля,— я по крайней мере пошлю к королю своего сына, который засвидетельствует его величеству нашу преданность. Король должен что-нибудь сделать для графа д'Эгриньона: дать ему, скажем, полк, или должность при дворе, или, наконец, предоставить ему возможность отличиться. Мой дядя архиепископ претерпел жестокие муки, я отменно воевал и ни разу не покинул поля боя, в отличие от тех, кто счел своим долгом последовать за принцами; по моему мнению, король оставался во Франции, и знать должна была оставаться здесь. И что же! Теперь никто даже не вспоминает о нас, тогда как Генрих Четвертый, наверно, уже написал бы д'Эгриньонам: «*Приезжайте, друзья мои! Мы победили!*» Мы, пожалуй, стоим побольше Тревилей, а между тем два Тревиля уже стали пэрами Франции, еще один Тревиль попал в депутаты от дворянства (маркиз принимал избирательные коллегии за собрания представителей его сословия). Право же, о нас больше не думают, как будто бы мы уже не существуем! Я все ждал, что принцы, путешествуя, проедут через наш город. Но раз они не едут к нам, придется ехать к ним.

— Я в восторге от того, что вы намерены ввести в свет нашего дорогого Виктюрньена,— ловко ввернул шевалье.— Наш город — просто дыра, и юноше грешно зарывать здесь свои таланты. Самое большее, на что он может рассчитывать, это встретить какую-нибудь норманду, достаточно глупую, невежественную и богатую. Но что ему с ней делать? Жениться? О творец!

— Я твердо надеюсь, что он женится не ранее, чем получит достойную его должность в королевстве или при дворе,— сказал маркиз.— Однако имеется серьезное препятствие...

Вот каково было единственное препятствие, которое, по мнению маркиза, мешало Виктюрньену начать блестящую карьеру.

— Мой сын,— со вздохом продолжал он после паузы,— граф д'Эгриньон не может явиться ко двору как нищий, его следует снабдить всем необходимым. Увы! У нас уже нет, как два века назад, своей свиты из дво-

рян. Ах, шевалье! Верите ли, несмотря на то, что все разрушено до основания, мне кажется, будто только вчера господин де Мирабо нанес дворянству свой сокрушительный удар! Нынче важно лишь одно — иметь деньги; вот, по-моему, единственное благодеяние, которым мы обязаны Реставрации. Королю нет дела до того, ведете ли вы свой род от Валуа или от завоевателей Галлии, ему важнее знать, платите ли вы налог в тысячу франков. Поэтому я не могу послать графа ко двору, не дав ему с собой хотя бы тысяч двадцать экю.

— Да, этой безделицы вполне достанет, чтобы он появился там с блеском, достойным его имени,— заметил шевалье.

— Так вот,—сказала мадемуазель Арманда,—я просила Шенеля прийти сегодня вечером. Видите ли,—обратилась она к шевалье,— с того самого дня, когда Шенель предложил мне выйти замуж за какого-то ничтожного дю Круазье...

— О мадемуазель, это было возмутительно!..— воскликнул шевалье.

— Непростительно! — добавил маркиз.

— Так вот,— продолжала мадемуазель Арманда,— мой брат не в силах был превозмочь себя и не обращался к Шенелю ни с одной просьбой.

— К вашему бывшему слуге? — подхватил шевалье.— Да вы бы, маркиз, оказали этим Шенелю только честь, такую честь, которой он гордился бы до конца своей жизни.

— Нет,— отвечал маркиз,— я считаю это ниже своего достоинства.

— Речь идет не о достоинстве; это необходимость,— продолжал шевалье, слегка выпрямившись.

— Никогда! — воскликнул маркиз с таким надменным жестом, что шевалье решил открыть всю правду своему старому другу.

— Ну, хорошо,— начал он,— ежели вы не знаете, то позвольте мне сказать вам, что Шенель уже дал вашему сыну что-то около...

— Мой сын не способен принять что бы то ни было от Шенеля,— воскликнул маркиз, гордо выпрямляясь и прерывая шевалье.— У вас, допускаю, он мог попросить двадцать пять луидоров.

— Что-то около ста тысяч ливров,— невозмутимо продолжал шевалье.

— Как! Граф д'Эгриньон должен сто тысяч ливров какому-то Шенелю? — с глубокой болью воскликнул старик.— Ах, не будь он моим единственным сыном, я сегодня же вечером отправил бы его служить капитаном в колонии! Задолжать ростовщикам, которым платишь огромные проценты,— это я еще допускаю, но зависеть от Шенеля, от человека, к которому я привязан!..

— Да, дорогой маркиз, наш очаровательный Виктюрньен промотал сто тысяч ливров,— повторил шевалье, стряхивая табачные крошки со своего жилета.—Это, конечно, немного. В его годы я... Впрочем, оставим в покое наши воспоминания о былом. Граф живет в провинции, и для такого города, как наш, это уже недурно, он далеко пойдет; я вижу в нем ту беспорядочность, которой наделены люди, совершающие впоследствии великие деяния...

— И он спокойно спит там, наверху, ничего не сказав отцу! — воскликнул маркиз.

— Он спит невинным сном младенца, ведь он успел пока сделать несчастными лишь пять-шесть мещаночек, а теперь ему уже нужны герцогини,— отозвался шевалье.

— Но ведь он может навлечь на себя королевский приказ о заточении без суда!

— *Они* отменили эти приказы,— сказал шевалье.— Вы помните, какой поднялся крик при попытке ввести чрезвычайные суды? Нам даже не удалось сохранить военные суды, которые господин де Буонапарте называл «военными комиссиями».

— А что же нам делать, если наши сыновья окажутся безумцами или негодяями? Мы уже не можем посадить их под замок? — спросил маркиз.

Шевалье посмотрел на этого отца, доведенного до отчаяния, и не посмел ему ответить: «Мы будем вынуждены их лучше воспитывать...»

— И вы все это скрыли от меня, мадемуазель д'Эгриньон! — продолжал маркиз, обратившись к сестре.

В словах маркиза все еще сказывалось раздражение: обычно он звал ее «сестрица».

— Но, сударь, если молодой человек, живой и пылкий, обречен на праздность в таком городе, как наш,

что же ему остается делать? — отозвалась мадемуазель д'Эгриньон, не понимавшая, отчего брат ее так разгневан.

— Долги, черт побери! — подхватил шевалье.— Ведь он играет в карты, заводит амуры, охотится, а все это в наши дни стоит недешево.

— Ничего не поделаешь, пора его отправить ко двору,— сказал маркиз.— Завтра же я посвящу этому утро и напишу нашим родственникам.

— Я немного знаком с герцогами де Наваррен, де Ленонкур, де Мофриньез и де Шолье,— сказал шевалье, хотя отлично знал, что эти герцоги его давным-давно позабыли.

— Мой милый шевалье, чтобы представить д'Эгриньона ко двору, вовсе не нужно столько церемоний,— прервал его маркиз. «Сто тысяч ливров! — подумал он.— Этот Шенель довольно смел. Вот плоды проклятой смуты! «Господин» Шенель осмеливается оказывать покровительство моему сыну! Надо будет все-таки его спросить... Впрочем, нет, это сделает моя сестрица. Пусть Шенель возьмет в залог наши поместья. Затем надо задать хорошую головомойку этому молодому повесе,— ведь кончится тем, что он разорится».

Шевалье и мадемуазель д'Эгриньон нашли вполне естественной уверенность маркиза, которая всякому другому показалась бы смешной. Больше того, они были глубоко тронуты почти страдальческим выражением, появившимся на лице старика. В эту минуту маркиз д'Эгриньон был во власти каких-то зловещих предчувствий, он впервые почти постигал свою эпоху. Он опустился в глубокое кресло у камина, позабыв о Шенеле, который должен был прийти и которого он не хотел ни о чем просить.

В те времена внешний облик маркиза вполне удовлетворил бы людей с поэтическим воображением: на его сильно полысевшей голове серебрились остатки шелковистых волос, ниспадавших с затылка седыми прядями, завивавшимися на концах. Благородный аристократический лоб, похожий на прекрасный лоб Людовика XV, Бомарше и маршала Ришелье, ничем не напоминал ни массивного квадратного лба маршала Саксонского, ни сжатого, жесткого и слишком выпуклого лба Вольтера:

он имел изящную форму и переходил в мягко очерченные желтоватые виски. Глаза маркиза сверкали той горячностью и отвагой, над которыми возраст не имеет власти. У него был нос принцев Конде и приветливый рот Бурбонов, способный, по выражению графа д'Артуа, произносить лишь слова, полные ума и доброты. Его щеки, скорее впалые, чем округленные, гармонировали с сухощавым, еще стройным станом и породистыми руками. Шея была стянута галстуком, повязанным так, как бывают повязаны галстуки у маркизов на гравюрах, украшающих сочинения прошлого века, и какие вы можете увидеть на Сен-Пре и Ловласе, на героях мещанина Дидро или изящного Монтескье (смотри первые издания их сочинений). Маркиз неизменно носил парадный белый, шитый золотом жилет, на котором блестела командорская лента ордена св. Людовика, синий сюртук с длинными загнутыми полами, украшенными лилиями,— своеобразный костюм, принятый королем; но маркиз не отказался ни от коротких французских панталон, ни от белых шелковых чулок, ни от парика с буклями и ежедневно в шесть часов вечера читал только «Котидьен» и «Газетт де Франс»; конституционная пресса обвиняла эти две газеты в мракобесии и тысяче чудовищных монархических и религиозных крайностей, а маркиз считал, что они полны еретических и революционных идей; какие бы крайние взгляды ни высказывали печатные органы, они всегда умереннее, чем мнения наиболее рьяных представителей партий. Автора, живописующего этот великолепный персонаж, наверное, будут обвинять в том, что он нарушил истину, тогда как он, наоборот, смягчил наиболее резкие тона и затушевал слишком яркие черты оригинала.

Маркиз д'Эгриньон оперся локтями о колени и обхватил руками голову. Все время, пока он предавался горестным размышлениям, мадемуазель Арманда и шевалье молча переглядывались. Мучила ли маркиза мысль о том, что он обязан будущностью сына своему бывшему управляющему? Сомневался ли он в том, что молодому графу будет оказан должный прием при дворе? Сожалел ли, что не сумел подготовить появление Виктюрньена в блестящих придворных кругах, безвыездно просидев все эти годы в провинциальной глуши, где

его удерживала бедность, мешавшая ему самому появиться при дворе? Маркиз тяжело вздохнул и поднял голову.

Так вздыхали в те годы многие представители истинной и верной престолу аристократии, того провинциального дворянства, которое находилось в пренебрежении, а также многие из тех, кто со шпагой в руке противостоял в свое время шквалу революции.

— А что было сделано для таких людей, как дю Геник, Фердинанд, как Фонтэн или брат Монторана, которые до конца не покорились? — прошептал он.— Тем, кто сражался мужественнее всех, швырнули подачку — какую-то жалкую пенсию или должность коменданта в пограничной крепости! Или еще того лучше: дали бюро лотереи графине де Бован, чья энергия вдохновляла и поддерживала Шаретта и де Монторана.

Было очевидно, что вера маркиза в королевскую власть поколеблена. Мадемуазель д'Эгриньон всячески пыталась успокоить брата относительно предстоящего путешествия Виктюрньена; как раз в это время под самыми окнами гостиной на сухой мостовой послышались шаги Шенеля, и вскоре в дверях, распахнутых старым камердинером маркиза Жозефеном, без доклада показался Шенель.

— Шенель, мой мальчик...

Нотариусу было шестьдесят девять лет. У него была убеленная сединами голова и широкое, благообразное лицо. Он носил панталоны столь необъятной ширины, что Стерн удостоил бы их эпического описания; чулки на нем были шерстяные, на башмаках поблескивали серебряные пряжки, сюртук напоминал сутану священника, а длинный жилет — жилет школьного учителя.

— ...Ты поступил весьма самонадеянно, ссудив деньгами графа д'Эгриньона! — продолжал маркиз.— И ты вполне заслужил, чтобы я их немедленно тебе вернул и больше тебя на глаза к себе не пускал, ибо ты этим только поощрял его пороки!

Наступило минутное молчание, какое воцаряется обычно, когда король при всех распекает придворного. Старик нотариус стоял перед маркизом с сокрушенным и смиренным видом.

— Виктюрньен сильно тревожит меня, Шенель,—

продолжал уже мягче маркиз.— Я хочу отослать его в Париж, чтобы он послужил королю. Ты сговоришься с моей сестрой, как сделать, чтобы он предстал там, как подобает д'Эгриньону. Мы сочтемся...

Маркиз величественно удалился, снисходительно кивнув Шенелю.

— Благодарю, господин маркиз, за милость,— сказал старик, все еще не решаясь сесть.

Мадемуазель Арманда встала, желая проститься с братом; она уже успела позвонить, в дверях стоял слуга со свечой и ожидал маркиза, чтобы проводить его в спальню.

— Садитесь, Шенель,— сказала старая девица, возвращаясь.

С присущей женщинам деликатностью мадемуазель Арманда сумела смягчить суровость обращения маркиза с бывшим управляющим; Шенель, правда, угадывал за этой суровостью подлинную привязанность. Эта привязанность, которую маркиз испытывал к своему бывшему слуге, сильно напоминала, однако, любовь хозяина к собаке: готовый подраться со всяким, кто посмеет дать пинка его псу, он рассматривает это животное как неотъемлемую часть своего существа, которая, не будучи вполне тождественна с ним, представляет самое дорогое в нем — его чувства.

— Графу в самом деле пора уезжать из этого города,— наставительно произнес нотариус.

— Да,—согласилась мадемуазель Арманда.—А что, он позволил себе какую-нибудь новую шалость?

— Нет, мадемуазель.

— Ну так в чем же вы его обвиняете?

— Я его не обвиняю, мадемуазель. Нет, не обвиняю. Я далек от каких бы то ни было обвинений. И никогда не буду обвинять, что̀ бы он ни сделал!

Разговор оборвался. Шевалье, как человек догадливый, начал усиленно позевывать, делая вид, что его клонит ко сну. Затем вежливо извинился и вышел из гостиной, хотя ему хотелось спать не больше, чем утопиться. Демон любопытства сделал взгляд шевалье особенно зорким и осторожной рукой вытащил из его ушей вату, которой старик обычно затыкал их.

— Ну, Шенель, у вас есть какие-то новости? — тревожно спросила мадемуазель Арманда.

— Да,— ответил Шенель,— но этих вещей нельзя открывать маркизу: его тут же может разбить паралич.

— Говорите же,— промолвила она, откинув прекрасную голову на спинку кресла и бессильно опустив руки, как человек, приготовившийся безропотно принять смертельный удар.

— Мадемуазель, несмотря на весь свой ум, молодой граф стал игрушкой в руках негодных людишек, неистово жаждущих мщения: им хотелось бы нас разорить и унизить! Этот господин дю Ронсере, председатель суда, претендует, как вам известно, на принадлежность к высшей знати...

— Его дед был всего-навсего стряпчим,— заметила мадемуазель Арманда.

— Я знаю,— отвечал нотариус.— Поэтому-то его у вас и не принимают; он не бывает ни у Труавилей, ни у герцога де Верней, ни у маркиза де Катерана; но он один из столпов салона дю Круазье. Фабиен дю Ронсере, с которым ваш племянник может общаться, не слишком себя роняя (ведь нужны же ему товарищи),— так вот, этот молодой человек — главный советчик графа и толкает его на всякие сумасбродства, он и еще двое—трое других, принадлежащих к стану вашего врага, врага господина шевалье, к партии того, кто полон ненависти к вам и ко всему дворянству. Все они надеются разорить вас с помощью вашего племянника и увидеть, как он себя опозорит. Заговором руководит этот мошенник, этот плут дю Круазье, который прикидывается роялистом. Его бедная жена — вы с ней знакомы — ни о чем не подозревает; я узнал бы все гораздо раньше, если бы она была способна предвидеть зло! В течение некоторого времени, пока эти молодые ветрогоны еще не были посвящены в тайну, никто ничего не знал. Но понемногу зачинщики дошутились до того, что выдали себя, и даже дураки поняли, в чем дело; после недавних шалостей графа они в пьяном виде кое о чем проболтались. А мне их слова передали люди, которым больно видеть, как столь красивый, обаятельный и знатный юноша губит себя в погоне за наслаждениями; сейчас его еще жалеют, через несколько дней... его... Я не смею выговорить.

— Его будут презирать, да? Скажите, скажите, Шенель! — горестно воскликнула мадемуазель Арманда.

— Увы! Разве можно помешать даже порядочным обитателям нашего города, которые с утра до вечера не знают, чем занять себя, совать нос в дела своих ближних? Уже точно подсчитано, сколько граф проиграл в карты; оказывается, за два месяца он спустил тридцать тысяч франков; и, конечно, каждый спрашивает себя, где он достает деньги. Когда кто-нибудь об этом болтает при мне, я сейчас же ставлю его на место! Но... Неужели вы думаете, говорил я им еще нынче утром, что если у семейства д'Эгриньонов отняли право взимать подати в их поместьях, то посягнули при этом и на их драгоценности? Молодой граф имеет право вести себя, как ему угодно; и пока он ничего вам не должен, извольте молчать.

Мадемуазель Арманда протянула руку, которую нотариус почтительно поцеловал.

— Добрый Шенель!.. Друг мой, где вы достанете нам денег на это путешествие? Ведь Виктюрньену нельзя явиться ко двору, если он не сможет жить там так, как того требует его звание!

— О мадемуазель! Я уже занял денег под свое имение Жард.

— Как? У вас больше ничего нет? Боже мой,— воскликнула она,— чем мы отблагодарим вас?

— Приняв от меня сто тысяч франков, которые я берегу для вас. Вы понимаете, что переговоры об этом займе пришлось вести тайно, чтобы не подорвать уважения к вам. Ведь в глазах города я тоже член семьи д'Эгриньонов.

На глазах мадемуазель Арманды выступили слезы. Шенель, заметив их, благоговейно коснулся губами края ее пелеринки.

— Ничего, все обойдется,— продолжал он,— молодым людям нужно перебеситься. Посещение парижских салонов изменит образ мыслей молодого графа. А ведь здесь... право же, хотя ваши старинные друзья — благороднейшие и достойнейшие люди, с ними не слишком весело. Чтобы развлечься, молодой граф вынужден водить знакомство с низшими и еще вздумает, чего доброго, якшаться со всяким сбродом.

На другой день из сарая выкатили старую дорожную

карету д'Эгриньонов, и шорник начал приводить ее в порядок. После завтрака отец торжественно сообщил молодому графу о принятых на его счет решениях: он должен явиться ко двору и попросить у короля какой-нибудь должности. По пути пусть решит, какую карьеру желает избрать: флот и сухопутные войска, министерства и посольства, служба при дворе — все ему будет доступно. Король, конечно, оценит поведение д'Эгриньонов, которые, желая сохранить милости двора для наследника их рода, до сих пор никогда ни о чем не просили.

За время своих сумасбродств молодой д'Эгриньон составил себе некоторое понятие о нравах и обычаях парижского высшего света и начал разбираться в реальной жизни. Но, так как ему предстояло покинуть эту глушь и расстаться с родительским кровом, он внимательно выслушал напутствие своего почтенного отца и не сказал ему в ответ, что ныне поступают во флот и в армию уже не так, как прежде; что получить чин младшего лейтенанта в кавалерии можно, лишь окончив специальную военную школу или прослужив сначала в пажах; что сыновья наиболее знатных семей поступают в Сен-Сир и Политехническую школу совершенно так же, как и сыновья разночинцев, после предварительных конкурсных испытаний, причем дворянин рискует тем, что какой-нибудь разночинец обгонит его.

Расскажи Виктюрньен все это маркизу, он мог бы не получить нужных денег на жизнь в Париже; поэтому молодой граф не стал разубеждать отца и тетку: пусть воображают, что он непременно будет разъезжать в королевской карете, поддерживать блистательный престиж рода д'Эгриньонов, в который они верят до сих пор, и водить знакомство лишь с самыми знатными аристократами. Маркиз, глубоко опечаленный тем, что может дать сыну лишь одного слугу, предложил ему своего старого камердинера Жозефена, верного человека, который будет заботиться о нем; расставаясь с Жозефеном, маркиз надеялся впоследствии заменить его молодым слугой.

— Помните, сын мой,— сказал он молодому графу,— что вы — Кароль, что в ваших жилах течет чистейшая дворянская кровь, без всякой недостойной примеси, что на вашем гербе стоит девиз: «Cil est nostre»—и это дает вам право повсюду высоко держать голову и домогать-

ся даже руки королевы. Благодарите же за это вашего отца, как я благодарил своего. Наши предки свято блюли честь рода, и потому ныне мы можем смело глядеть всем в глаза и преклоняем колено лишь перед возлюбленной, пред королем и пред богом. Вот величайшая из ваших привилегий.

Добряк Шенель, присутствовавший за завтраком, не вмешивался ни в эти геральдические воспоминания, ни в послания к могущественным особам, но он просидел всю ночь над письмом к своему близкому другу, одному из старейших парижских нотариусов. Подлинно отцовские чувства Шенеля к Виктюрньену остались бы непонятными, если бы мы не привели этого письма, которое можно сравнить с наставлениями Дедала Икару. Именно в мифологии приходится искать сравнений, достойных поистине античных доблестей этого человека.

«Дорогой и высокочтимый Сорбье!

Я с умилением вспоминаю о том, что обучался нашей почтенной профессии у твоего отца и что ты тогда полюбил меня, бедного, незаметного клерка. И вот, во имя этих воспоминаний о сладостных годах нашего ученичества, я обращаюсь к тебе с просьбой об услуге — первой и последней за всю нашу долголетнюю жизнь, сотрясаемую политическими бурями, которым я, быть может, обязан тем, что сделался твоим коллегой. Об этой услуге я прошу тебя, мой друг, вероятно, стоя уже одной ногой в могиле, прошу, ради моих седых волос, которые иначе выпадут от горя,— внемли моим мольбам! Друг мой Сорбье! Речь идет не обо мне и не о моих родных! Супругу свою, госпожу Шенель, я потерял, детей у меня нет. Увы! Речь идет о бо̀льшем, чем моя семья, если бы я имел ее; речь идет о единственном сыне маркиза д'Эгриньона, чьим управляющим я имел честь состоять по окончании моего обучения в нотариальной конторе, куда меня определил его отец за свой собственный счет, в намерении сделать из меня человека. На эту семью, вскормившую меня, обрушились все бедствия революции. Мне удалось спасти кое-что из их достояния, но что это в сравнении с утраченным великолепием! Сорбье, никакое красноречие не могло бы выразить, насколько я привязан к этому высокородному семейству, которое на моих глазах едва не

поглотила пучина времен: изгнание, конфискация имущества, бездетная старость! Сколько бедствий! Затем господин маркиз женился, его жена умерла родами, подарив семье наследника, и ныне из всех членов дорогого мне семейства полон жизни только этот прекрасный, благородный и драгоценный ее отпрыск. Все будущее славного рода — в руках этого юноши, который, развлекаясь, наделал кое-каких долгов. И в самом деле, как жить в провинции на жалкую сотню луидоров? Да, друг мой, сто луидоров — вот к чему пришел великий род д'Эгриньонов! В этих обстоятельствах отец молодого графа счел необходимым послать его в Париж ко двору, чтобы просить покровительства у короля. Но Париж—это поистине вертеп, опасный для молодежи. Нужно обладать здравым смыслом нотариуса, чтобы жить там в границах умеренности. Я был бы, впрочем, в отчаянии, если бы бедный мальчик познал лишения, испытанные нами. Помнишь ли ты, с каким удовольствием мы однажды поделили маленький хлебец, сидя в задних рядах партера Французской Комедии, предварительно потратив чуть не сутки, чтобы попасть на «Женитьбу Фигаро»? До чего же мы были слепы! Невзирая на бедность, мы чувствовали себя счастливыми. Но может ли дворянин быть счастлив в нищете? Нищенская жизнь для дворянина—вещь противоестественная. Ах, Сорбье! Если человек имел счастье собственной рукой приостановить падение пышного генеалогического древа — одного из самых славных в королевстве,— то он, разумеется, к нему привязывается, любит его, лелеет, жаждет снова увидеть его в цвету. Поэтому ты не будешь дивиться тем предосторожностям, которые я предпринимаю, как и тому, что я прибегнул к твоей просвещенной помощи для блага нашего молодого человека. Д'Эгриньоны ассигновали сто тысяч франков на поездку молодого графа в Париж. Ты увидишь его и убедишься, что во всем Париже не найдется юноши, который мог бы сравниться с ним! Прими же в нем участие, как будто это твой собственный и единственный сын. Наконец, я уверен, что и госпожа Сорбье не откажется помочь тебе в той моральной опеке, которую я на тебя возлагаю. Содержание, назначенное графу Виктюрньену, составляет две тысячи франков в месяц; но ты начнешь с того, что вручишь ему десять тысяч франков на первые

расходы. Итак, семья обеспечила графу два года жизни в Париже; в случае его поездки за границу мы изыщем дополнительные средства. Прими участие в этом деле, мой старый друг. Не спеши раскрывать перед юношей кошелек и, не докучая нравоучениями, представляй убедительные доводы, удерживая его, сколь можно, от мотовства, и постарайся, чтобы он не забирал деньги за месяц вперед без особо важных к тому причин; однако не доводи юношу до отчаяния, ежели будет затронута его честь. Наблюдай за его поведением, за тем, как он проводит свое время, где бывает. Следи за его связями. Шевалье сказал мне, что танцовщица из Оперы нередко обходится дешевле придворной дамы. Наведи справки и отпиши мне. Если ты очень занят, не будет ли госпожа Сорбье так добра присмотреть за молодым графом? Пусть проведает, где он бывает. Быть может, она захочет стать ангелом-хранителем столь прелестного и знатного юноши? Бог воздаст ей за это сторицей. Быть может, сердце у нее содрогнется, когда ей станет известно, как велики опасности, подстерегающие в Париже молодого графа Виктюрньена; ведь вы увидите его: он столь же прекрасен, сколь молод, и столь же умен, сколь доверчив. Если он сблизится с какой-нибудь дурной женщиной, госпожа Сорбье сумеет лучше, чем ты, предостеречь его от грозящих ему бед. Графа сопровождает старый слуга, у которого ты многое можешь узнать. Порасспроси хорошенько Жозефена, я приказал ему советоваться с тобою во всех затруднительных обстоятельствах. Но зачем я все это тебе говорю? Разве мы сами не были молоды, не шалили? Так вспомни же наши проказы и призови на помощь свою юность, старый друг! Один господин, проживающий в нашем городе, едет в Париж, он вручит тебе переводный вексель на казначейство в сумме шестидесяти тысяч франков. Прими и т. д.».

Если бы супруги Сорбье последовали наставлениям Шенеля, им, наверно, пришлось бы держать трех сыщиков, чтобы следить за графом д'Эгриньоном. Но надо признать, что Шенель в выборе казначея проявил немалое благоразумие. Банкир выдает деньги лицу, которому у него открыт кредит, до тех пор, пока в кассе имеются соответствующие фонды; благодаря распоряжению Шенеля

молодой граф, испытывая нужду в деньгах, был бы вынужден каждый раз обращаться к Сорбье, который, конечно, не преминул бы воспользоваться своим правом увещания.

Узнав, что он будет располагать ежемесячно двумя тысячами франков, Виктюрньен с трудом скрыл свою радость. Он мало знал Париж и вообразил, что на эти деньги будет жить там, как принц.

Через день молодой граф уехал, напутствуемый благословениями всех обычных посетителей Музея древностей; вдовствующие аристократки осыпали его поцелуями и пожеланиями, старик отец, тетка и Шенель проводили его до городской заставы, и у всех троих глаза были полны слез. Внезапный отъезд юноши был в течение нескольких вечеров предметом городских пересудов и особенно взволновал пылавших ненавистью посетителей салона дю Круазье. Бывший поставщик, председатель суда и их приверженцы, поклявшиеся погубить д'Эгриньонов, увидели, что жертва ускользает из рук. Их мстительные планы строились в расчете на пороки молодого повесы, а он отныне оказывался вне досягаемости.

В силу своеобразных особенностей человеческой природы дочь праведницы нередко становится куртизанкой, а дочь развратницы — праведницей. Так и Виктюрньена по закону противоположности, обусловленному, без сомнения, законом тождества, столь неудержимо влекло в Париж, что рано или поздно он должен был бы уступить этому влечению. Воспитанный в старинной провинциальной дворянской семье, окруженный спокойно и кротко улыбавшимися домочадцами и степенными, преданными слугами, вполне подходившими к патриархальному укладу жизни этого дома, мальчик знал только достойных и почтенных друзей. За исключением несравненного шевалье, все окружающие держались степенно, речи их были всегда благопристойны и поучительны.

Его ласкали женщины в серых юбках и вышитых митенках, описанные Блонде. Отчий дом был обставлен с той старинной, строгой роскошью, которая меньше всего способна пробудить ветреные желания. Наконец, его воспитал аббат, чуждый всякого ханжества, проникнутый той идиллической мягкостью, какая обычно бывает у стариков, доживших до рубежа двух столетий: они приносят

нам засохшие розы своего многолетнего опыта и поблекшие цветы нравов и обычаев своей далекой юности. Но Виктюрньен, которого, казалось, все это должно было приучить к серьезности, внушить ему стремление поддержать славу своего исторического рода и смотреть на свою жизнь как на служение великому и почетному делу,— Виктюрньен, наоборот, прислушивался к самым опасным идеям. Свое знатное происхождение он рассматривал лишь как ступеньку, годную для того, чтобы подняться над остальными людьми. Присмотревшись к кумиру домашнего очага д'Эгриньонов, которому они столь усердно курили фимиам, Виктюрньен почувствовал его внутреннюю пустоту. И тогда юноша сделался одним из наиболее ужасных, но распространенных типов нашего общества. Он стал последовательным и законченным эгоистом. Привыкнув в результате привитого ему аристократического культа собственного «я» следовать только своим прихотям, которые восторженно поощрялись и воспитателями, лелеявшими его в раннем детстве, и первыми товарищами его юношеских проказ, Виктюрньен научился в конце концов расценивать все явления жизни лишь сообразно с тем удовольствием, которое они ему доставляли; при этом он был уверен, что всегда найдутся добрые души, готовые исправить его глупости; их вредная услужливость в конце концов погубила его. Воспитание Виктюрньена, хотя оно было и возвышенным и благочестивым, тем не менее слишком обособило юношу от других людей и скрыло от него истинный характер времени, конечно, весьма далекий от сонной провинциальной жизни! А уверенность, что ему предназначена особая судьба, побуждала его стремиться в высшие круги общества. Молодой граф привык судить о фактах не по их социальному значению, а лишь с точки зрения их выгоды для него; он находил, что хороши те его поступки, которые приносят ему пользу, и по примеру деспотов считал, что для каждого отдельного случая должен быть свой закон; эта теория играет в отношении порочных поступков ту же роль, какую играет необузданная фантазия для созданий искусства, постоянно порождая в них уродливые крайности. Одаренный проницательностью и сметливостью, он судил обо всем верно и метко, но поступал неосмотрительно и

дурно. Какая-то непонятная незавершенность натуры, встречающаяся у весьма многих молодых людей, дурно отражалась на его поведении. Несмотря на живой ум, подчас поражавший своим неожиданным блеском, достаточно было, чтобы в нем заговорила чувственность, как разум его затуманивался и точно угасал. Виктюрньен был бы загадкой для мудрецов и мог бы смутить даже самых непревзойденных сумасбродов. Страсть, как грозовой вихрь, мгновенно разрастаясь, обволакивала, как тучей, обычно ясные и светлые просторы его сознания; а потом, после беспутства, соблазну которого он не в силах был противостоять, им овладевало полное бессилие души и тела, и он почти впадал в какое-то слабоумие. Такие люди, будучи предоставлены самим себе, способны опуститься на дно жизни, и они же могут достичь вершин государственной деятельности, если их вовремя поддержит твердая рука сурового друга. Ни Шенель, ни отец, ни тетка не понимали этого юношу, столь поэтичного какими-то сторонами своего существа, но чья душа, в самой своей сердцевине, была поражена злокачественным безволием.

Отъехав на несколько лье от родного города, Виктюрньен уже перестал испытывать какие-либо сожаления. Он уже не вспоминал ни о нежно любившем его старике отце, который видел в нем родоначальника многих грядущих поколений д'Эгриньонов, ни о тетке, чья самоотверженная любовь граничила с безрассудством. Он рвался с роковой горячностью в Париж, который и раньше рисовался ему каким-то сказочным городом, где осуществятся его заветные мечты. Он верил в то, что будет первенствовать и там, как первенствовал благодаря имени отца в своем родном городе и департаменте. Но в нем говорила даже не гордость, а всего лишь тщеславие; по мере приближения к огромному городу его мечты о наслаждениях безмерно разрастались. Переезд он совершил очень быстро. Карета, словно не отставая от бега его мыслей, стремительно перенесла Виктюрньена из тесного захолустья в огромный мир раскинувшейся перед ним столицы. Он остановился в отличной гостинице на улице Ришелье вблизи бульваров и ринулся на завоевание Парижа, подобно тому, как устремляется на луг изголодавшийся конь. Виктюрньен не замедлил увидеть разницу

между Парижем и родным городом. Скорее удивленный, чем испуганный ею, юноша, с присущей ему сообразительностью, быстро понял, как он ничтожен среди этого вавилонского столпотворения и как безрассудно было бы противиться мощному потоку новых идей и обычаев. Для него было достаточно незначительного факта, чтобы окончательно понять это. Накануне Виктюрньен вручил письмо отца герцогу де Ленонкуру, одному из французских вельмож, пользовавшихся наибольшей благосклонностью короля. Юноша посетил герцога в его великолепном особняке, увидел его среди роскоши и на другой день встретил на бульваре; герцог прогуливался пешком, с зонтиком в руке, без всяких регалий, даже без голубой орденской ленты, которую в старину кавалеры ордена не имели права снимать.

Герцог и пэр, первый королевский камергер, де Ленонкур при всей своей изысканной учтивости не мог сдержать улыбки, читая письмо маркиза, с которым был в родстве. И эта улыбка ясно сказала Виктюрньену, что расстояние между Музеем древностей и Тюильри гораздо больше, нежели шестьдесят лье: между ними легло несколько веков.

В каждую эпоху король и двор окружают себя фаворитами, совершенно несхожими ни по имени, ни по качествам с приближенными других царствований. Здесь повторяется лишь самый факт, а не личности. Если бы история не подтверждала этого наблюдения, оно показалось бы невероятным. Двор Людовика XVIII выдвигал на первые места совсем иных людей, чем те, которые украшали собою двор Людовика XV,— Ривьеров, Блакасов, д'Аварэ, Дамбрэ, Вобланов, Витролей, д'Отишана, Ларош-Жаклена, Паскье, Деказа, Лене, де Виллеля, Лабурдонне и других. Сравните двор Генриха IV с двором Людовика XIV, и вы не найдете там даже пяти уцелевших знатных родов: Вильруа, фаворит Людовика XIV, был внуком простого писца, выдвинувшегося при Карле IX. А племянник Ришелье уже потерял к этому времени почти всякое значение. Д'Эгриньоны, державшиеся чуть не принцами при Валуа, еще остававшиеся всемогущими при Генрихе IV, не имели уже никакого веса при дворе Людовика XVIII, даже и не вспоминавшего о них. Нынче многие аристократические роды, как, на-

пример, Фуа-Грайи, д'Эрувили, чьи имена не менее славны, чем имена лиц, принадлежащих к царствующей фамилии, за отсутствием денег, этого единственного двигателя нашего времени, пребывают в безвестности, равной полному угасанию.

Как только Виктюрньен все это понял,—а он считал, что образ жизни знати определяется только ее влиятельностью,— молодой граф почувствовал, что оскорблен буржуазным парижским равенством, этим чудовищем, сожравшим при Реставрации последние остатки прежнего сословного строя, и захотел отвоевать себе утраченное д'Эгриньонами место; он выбрал для этого довольно опасное, хотя уже изрядно притупившееся оружие, которое наш век еще оставил в руках дворянства. Виктюрньен стал подражать нравам тех, кого Париж осчастливил своим дорогостоящим вниманием, счел нужным завести собственных лошадей, красивые экипажи и другие принадлежности современной роскоши. Необходимо «идти в ногу с веком», сказал ему по этому поводу де Марсе, первый парижский денди, которого Виктюрньен встретил в первом же парижском салоне. К несчастью, юноша попал в среду парижских повес, вроде де Марсе, Ронкероля, Максима де Трай, де Люпо, Растиньяка, Ванденеса, Ажуда-Пинто, Боденора, Ла-Рош-Гюйона и Манервиля, с которыми он встречался у маркизы д'Эспар, у герцогинь де Гранлье, де Карильяно, де Шолье, у маркиз д'Эглемон и де Листомэр, у госпожи Фирмиани, у графини де Серизи, в Опере, в посольствах,— словом, всюду, куда ему открывало доступ его знатное имя и богатство. В Париже имя аристократа, принятого и признанного Сен-Жерменским предместьем, знающим провинциальную знать как свои пять пальцев, служит как бы отмычкой, легко отпирающей двери, которые с трудом раскрываются перед людьми малоизвестными и героями второразрядных гостиных. Виктюрньен предстал перед своими родственниками не в качестве просителя, поэтому они встретили его чрезвычайно любезно и гостеприимно; он сразу же понял, что единственный способ что-нибудь от них получить — это ничего не домогаться. Если первым побуждением парижанина является желание оказать новичку покровительство, то за этим обычно следует гораздо более продолжительный период высокомерного презре-

ния к нему. Гордость, надменность, тщеславие — все, как хорошие, так и дурные чувства молодого графа, подсказывали ему, что надо держаться наступательной тактики. И тогда оказалось, что герцоги де Верней, д'Эрувиль, де Ленонкур, де Шолье, де Наваррен, де Гранлье, де Моффриньез, принцы де Кадиньян и де Бламон-Шоври просто жаждут представить королю этого очаровательного наследника старинного рода. Виктюрньен явился в Тюильри в великолепном экипаже с гербами д'Эгриньонов; однако его представление королю показало молодому графу, что народ доставляет монарху слишком много забот, и ему некогда думать о дворянстве. Граф внезапно понял, что режим Реставрации, опиравшийся на престарелых политиков и одряхлевших царедворцев, обрекает молодых дворян на рабское прислужничество; он убедился в том, что для него не найдется достойного места ни при дворе, ни на государственной службе, ни в армии — словом, нигде. И тогда юноша бросился очертя голову в водоворот светских удовольствий. Введенный в Елисейский дворец, к герцогине Ангулемской, в особняк Марсан, он встречал всюду ту преувеличенную учтивость, с какой полагается принимать наследника древнего рода, о котором вспоминают, лишь увидев его перед собой. Впрочем, тут играли роль не одни воспоминания: Виктюрньена окружали изысканной любезностью, видя в нем будущего пэра и блестящего жениха; тщеславие помешало ему открыть свое истинное положение, и он продолжал разыгрывать из себя богача. Все так восхищались его манерами, он был так счастлив своим первым успехом, что ложный стыд, испытываемый многими молодыми людьми,— стыд перед необходимостью отказаться от уже одержанных побед, заставил его продолжать взятую на себя роль. Он снял на улице дю Бак небольшую квартиру с конюшней, каретным сараем и всей обстановкой, необходимой для жизни щеголя, на которую с самого начала обрек себя.

Для этой роли потребовалось пятьдесят тысяч франков. Молодой граф благодаря непредвиденному стечению обстоятельств получил деньги, несмотря на меры, предусмотрительно принятые дальновидным Шенелем. Послание Шенеля, правда, пришло в контору его друга, но уже не застало Сорбье в живых. Увидев деловое письмо, вдо-

ва Сорбье, женщина отнюдь не поэтическая, передала его преемнику покойного мужа. Новый нотариус, Кардо, сообщил молодому графу, что переводный вексель на казначейство, выданный на имя его предшественника, недействителен. На патетическое послание провинциального нотариуса, столь длинное и тщательно продуманное, господин Кардо ответил четырьмя строчками, не для изъявления сочувствия Шенелю, а для получения приказа на свое имя. Шенель переписал переводный вексель на имя нового нотариуса. Мало склонный разделять сентиментальные чувства своего корреспондента, Кардо был очень рад возможности оказать услугу графу д'Эгриньону и выдал всю сумму, которую от него потребовал Виктюрньен. Люди, знающие парижскую жизнь, отлично понимают, что нужно вовсе не так уж много мебели, экипажей, лошадей и прочего, чтобы промотать пятьдесят тысяч франков; поэтому не удивительно, что Виктюрньен вскоре задолжал еще тысяч двадцать франков своим поставщикам, которые на первых порах охотно оказывали ему кредит, ибо общественное мнение и Жозефен, этот второй Шенель в ливрее, довольно быстро раздули слухи о состоянии молодого графа.

Через месяц после приезда Виктюрньен был вынужден взять еще десять тысяч франков у своего нотариуса. Он теперь часто играл в вист у герцогов де Наварренов, де Шолье, де Ленонкуров и в клубе. Сначала он выиграл несколько тысяч франков, но, проиграв затем пять или шесть тысяч, почувствовал необходимость всегда иметь при себе деньги для игры. Виктюрньен обладал тем складом ума, который нравится в обществе и помогает отпрыскам знатных родов достигать самого высокого положения. Его не только сразу же приняли в круг золотой молодежи, но он даже сделался предметом зависти. А почувствовав эту зависть, юноша испытал такое пьянящее чувство торжества, которое, конечно, не могло пробудить в нем благоразумия. Напротив, он повел себя совершенно безрассудно. Он знать не желал, каковы его средства, и швырял деньги направо и налево, точно кошелек его был неистощим; он запрещал себе думать о том, к чему все это может привести. В это бурно веселящееся общество, в этот круговорот празднеств участники допускаются, как актеры на сцену, в самых ослепительных

костюмах, причем никто не спрашивает об их состоянии: заниматься денежными вопросами считается там самым дурным тоном. Подобно природе, каждый должен уметь приумножать свои богатства втайне. Можно еще иронически осведомиться о размерах богатства того, кого не знаешь, или поболтать о его разорении, но не больше. Молодой человек, который, подобно Виктюрньену, пользуется покровительством могущественных аристократов из Сен-Жерменского предместья и которому даже они приписывают состояние гораздо большее, чем у него имеется (хотя бы для того, чтобы от него отделаться — очень тонко, очень галантно, легким намеком, случайно брошенной фразой), молодой человек — титулованный, благонамеренный, остроумный, красавец, блестящий жених, отцу которого до сих пор принадлежат старинные наследственные поместья и родовой замок,— такой молодой человек будет, конечно, принят с распростертыми объятиями повсюду, где есть скучающие молодые женщины, маменьки с дочками на выданье или веселые вертушки без приданого. Поэтому свет с улыбкой посадил Виктюрньена в первые ряды своего театра. Эти первые ряды — подобие кресел, которые некогда ставились на сцене для маркизов, и по сей день существуют в Париже, где меняются лишь названия, но не суть вещей.

Среди представителей Сен-Жерменского предместья, которые все были наперечет, Виктюрньен встретил двойника шевалье в лице видама де Памье. Видам был вторым шевалье де Валуа, но возведенным в десятую степень: он пользовался всеми преимуществами богатства и высокого положения. Этому любезному старику охотно доверялись всевозможные тайны, он служил как бы газетой аристократического предместья; впрочем, видам не отличался излишней болтливостью; как и все газеты, он разглашал лишь то, что можно разглашать. Виктюрньену пришлось, таким образом, еще раз выслушать теории, которые ему некогда проповедовал шевалье. Видам без обиняков посоветовал д'Эгриньону заводить связи с женщинами из общества и рассказал ему о собственных похождениях в молодости. Но проделки, допускавшиеся в те времена, настолько чужды современным нравам, когда душа и страсть играют такую роль в любовных делах, что бесполезно передавать его рассказ людям, которые

едва ли поверят ему. Добрейший видам сделал больше: он в заключение сказал Виктюрньену:

— Я приглашаю вас завтра отобедать со мной в одном кабачке. А после Оперы, куда мы отправимся для пищеварения, я поведу вас в один дом, где вы встретите некоторых особ, жаждущих с вами познакомиться.

Видам угостил Виктюрньена обедом в «Роше де Канкаль»; здесь, кроме него, оказалось лишь трое приглашенных: де Марсе, Растиньяк и Блонде. Эмиль Блонде, земляк молодого графа, был писателем; он получил доступ в высший свет благодаря связи с очаровательной молодой женщиной, родом из той же провинции, что и д'Эгриньоны, красавицей графиней де Монкорне, урожденной де Труавиль; муж ее, граф де Монкорне, принадлежал к числу наполеоновских генералов, перешедших на сторону Бурбонов. Де Памье терпеть не мог обедов, в которых участвовало больше шести человек. Он считал, что в таких случаях не может быть ни настоящего очарования беседы, ни подлинного смакования кушаний и вин, которое дано лишь знатокам.

— Я еще не сказал вам, дитя мое, куда собираюсь повести вас сегодня вечером,— сказал он Виктюрньену, беря его руку в свои и похлопывая по ней.— Мы направимся к мадемуазель де Туш, где соберется тесный кружок хорошеньких молодых женщин, претендующих на ум. Литература, искусство, поэзия — словом, всякие таланты там в чести. Этот салон уже давно является одним из наших умственных центров; все идеи, которые там высказываются, отмечены налетом монархической морали; это — знамение нашего времени.

— Там порой скучаешь и устаешь, как будто надел новые сапоги, зато там бывают женщины, с которыми нигде больше нельзя поговорить,— заметил де Марсе.

— Если бы все поэты, которые приходят туда, чтобы обтесать свою музу, были такими, как наш приятель,— сказал Растиньяк, снисходительно похлопывая Блонде по плечу,— то еще можно было бы повеселиться. Но все эти оды и баллады, мелкотравчатые поэтические размышления и широковещательные романы слишком уж заполонили и умы и салоны.

— Лишь бы сочинители не избаловали нам женщин да развращали бы побольше молодых девиц,— сказал де Марсе,— и я ничего против них не имею.

— Господа,— отозвался, улыбаясь, Блонде,— это уж вы вторгаетесь в мою область.

— Молчи! Ты украл у нас самую очаровательную светскую женщину, плут,— воскликнул Растиньяк,— а нам уж нельзя и украсть хоть некоторые твои идеи!

— Да, этому вертопраху здорово везет,— сказал видам, теребя Блонде за ухо.— Но, быть может, Виктюрньену сегодня повезет еще больше.

— Уже? — воскликнул де Марсе.— Да он здесь всего месяц, он едва успел стряхнуть с себя пыль своего древнего замка и смыть рассол, в котором его сохраняла тетка; он едва успел завести себе приличную английскую лошадь, модное тильбюри, грума...

— Нет у него никакого грума,— возразил Растиньяк, прерывая де Марсе,— он привез «из своих мест» какого-то деревенского простофилю; Бюиссон, портной, знающий толк в ливреях, уверяет, что этот увалень не умеет носить даже куртки.

— Мне думается,— важно заметил видам де Памье,— что вам следовало бы, дети мои, брать пример с Боденора, который имеет перед всеми вами то преимущество, что он завел себе настоящего английского грума — «тигра».

— Вот, господа, до чего дошли французские дворяне! — воскликнул Виктюрньен.— Для них самое важное иметь «тигра», английскую лошадь и всякие безделушки!..

— Однако,— сказал Блонде, обращаясь к Виктюрньену,— ваш здравый смысл меня приводит в ужас! Да, юный моралист, это все, что у вас осталось. Вы даже не можете похвалиться той расточительной щедростью, которой прославился пятьдесят лет назад наш дорогой видам! Теперь мы кутим на втором этаже какой-нибудь гостиницы на улице Монторгейль. Нет больше войны с кардиналом, не существует уже Лагеря золотой парчи. Наконец, вот вы, граф д'Эгриньон, ужинаете с каким-то господином Блонде, младшим сыном провинциального судьи, которому вы там, у себя, руки бы не подали, но который лет через десять преспокойно может занять ме-

сто рядом с вами среди пэров Франции! Вот после этого и верьте, если можете, в свое превосходство.

— Ну и что же,— сказал Растиньяк,— мы перешли от факта к мысли, от грубой физической силы к духовной. Мы говорим о...

— Не будем говорить о наших бедствиях,— сказал видам,— я хочу умереть весело и спокойно. Если наш друг еще не завел себе «тигра», то сам он из породы львов, и поэтому ни в каком тигре не нуждается.

— Нет, он не обойдется без тигра,— сказал Блонде,— он ведь здесь новичок.

— Хотя лоск у него и недавний, мы принимаем графа в наш круг,— продолжал де Марсе.— Он достоин нас, он понимает дух времени, он умен, знатен, красив, мы его полюбим, мы его поддержим, мы его доведем...

— До чего? — спросил Блонде.

— Вот любопытный! — отозвался Растиньяк.

— С кем вы его собираетесь свести нынче вечером? — спросил де Марсе.

— С целым сералем,— ответил де Памье.

— Черт побери! — сказал де Марсе.— Что это за принцесса, ради которой любезный видам столь суров с нами? Я буду просто в отчаянии, если не узнаю, кто она...

— А ведь и я был когда-то таким же фатом,— сказал видам, указывая на де Марсе.

После обеда, который прошел весьма приятно, причем беседа велась в тоне пленительного злословья и изящного цинизма, Растиньяк и де Марсе поехали с видамом и Виктюрньеном в Оперу, чтобы направиться оттуда всем вместе к мадемуазель де Туш. Эти двое повес, точно высчитав время, прибыли туда, когда должно было окончиться чтение трагедии, ибо находили, что чрезвычайно вредно вкушать на ночь столь тяжелую пищу. Их главной целью было — шпионить за Виктюрньеном и смущать его своим присутствием: чисто мальчишеская шалость, к которой, однако, примешивалась желчная досада завистливых денди. В манерах Виктюрньена чувствовался тот дерзкий задор, с каким держатся пажи, и это придавало ему особую непринужденность. Наблюдая за поведением новичка в гостиной мадемуазель де

Туш, Растиньяк удивился, с какой быстротой молодой человек успел усвоить манеры светского общества.

— А ведь этот маленький д'Эгриньон далеко пойдет,— шепнул он своему спутнику.

— Трудно сказать,— ответил де Марсе,— но начал он хорошо.

Видам представил молодого графа одной из самых любезных и самых ветреных герцогинь того времени, чьи любовные приключения вызвали скандал лишь лет пять спустя. Она была тогда в полном расцвете своей славы; уже ходили, правда еще ничем не подтвержденные, слухи о некоторых ее увлечениях, и это придавало ей тот особый блеск, который придает не только мужчине, но и женщине первое прикосновение парижской клеветы: ведь клевета равнодушна к ничтожествам, и это приводит их в бешенство. Женщина эта была герцогиня де Мофриньез, урожденная д'Юкзель. Ее свекор был в ту пору еще жив, и принцессой де Кадиньян она стала лишь позднее. Приятельница герцогини де Ланже и виконтессы де Босеан, двух блестящих красавиц, уже исчезнувших с парижского горизонта, она теперь близко сошлась с маркизой д'Эспар, у которой оспаривала недолговечный титул царицы великосветских салонов.

Долгое время ей покровительствовала многочисленная родня; но герцогиня принадлежала к тому типу женщин, которые неведомо как с непостижимой быстротой и легкостью способны промотать все богатства земного шара и даже луны, если бы только можно было до них достать. Эта сторона ее натуры только еще начинала сказываться, и лишь один де Марсе сумел постичь ее. Увидев, что видам подвел Виктюрньена к этой прелестной женщине, опасный денди наклонился и прошептал на ухо Растиньяку:

— Мой друг, он будет проглочен — фюйть,— как шкалик водки извозчиком.

Вульгарное сравнение де Марсе как нельзя лучше определило грядущую развязку этой еще только возникавшей страсти. Внимательно рассмотрев Виктюрньена, герцогиня де Мофриньез без памяти в него влюбилась. Ангельский взгляд, которым она поблагодарила видама де Памье, своей пылкостью, наверно, вызвал бы рев-

ность влюбленного. Когда женщины находятся в обществе мужчин, подобных видаму, и чувствуют себя в безопасности, они напоминают лошадей, выпущенных в широкую степь: они тогда становятся естественными, им нравится даже приоткрывать свои нежные чувства. Герцогиня и видам посмотрели друг другу в глаза, и этот взгляд не отразился ни в одном из зеркал, его никто не перехватил.

— Как она старательно подготовилась! — сказал Растиньяк де Марсе.— Какой девический туалет, какая лебединая грация в этой белоснежной шее, какой взгляд непорочной мадонны; и это белое платье с кушаком, как у девочки! Кто бы поверил, что ты уже прошел через все это?

— Но именно поэтому она и имеет такой вид,— торжествующе отозвался де Марсе.

Молодые люди с улыбкой переглянулись. Г-жа де Мофриньез заметила их улыбку и догадалась о ее причине. Она окинула обоих фатов таким холодным взглядом, каких француженки до заключения мира не знали; эти взгляды были ввезены во Францию англичанками вместе с английской серебряной посудой, упряжью, лошадьми и чисто британским ледяным выражением лица, замораживающим атмосферу в любой гостиной, где находятся несколько английских леди. Молодые люди сделались серьезными, как приказчики, которые получили нагоняй от хозяина и ждут, чтобы их простили.

Воспылав страстью к Виктюрньену, герцогиня задумала разыграть роль романтической Агнессы, которой, на беду нашей молодежи, увлекаются многие женщины; она с такой же легкостью задумала изобразить из себя небесного ангела, с какой решила, что в сорок лет обратится не к благочестию, а к литературе и наукам. Г-жа де Мофриньез во всем старалась быть оригинальной; она сама придумывала для себя наряды и роли, чепчики и мнения, туалеты и манеры. В первые годы после замужества, когда она еще походила на молодую девушку, она старалась прослыть женщиной многоопытной и даже испорченной, позволяла себе вести с людьми наивными разговоры на рискованные темы, показывавшие настоящим развратникам, сколь она еще на самом деле простодушна. Дата ее брака была всем хоро-

шо известна, и она не могла убавить себе ни одного года; так как дело шло уже к двадцати шести, то она решила принять вид полной непорочности. Когда герцогиня шла, казалось, она вот-вот оторвется от земли, и широкие рукава ее платья трепетали, точно крылья. При каждом чуть нескромном слове, помысле, взгляде она сокрушенно возводила очи горе. Даже Мадонна великого генуэзского живописца Пиолы, убитого из зависти как раз в то время, когда он собирался повторить великое создание Рафаэля, даже эта Мадонна, самая целомудренная из всех мадонн, едва видная сквозь запыленное стекло ниши на одной генуэзской улице,— даже она показалась бы Мессалиной в сравнении с герцогиней де Мофриньез. И дамы только диву давались, каким чудом столь ветреная и легкомысленная особа с помощью одного лишь туалета вдруг превратилась в воздушное, небесное создание, чья чистая душа, пользуясь модным в ту пору выражением, была белее снега альпийских вершин. Как удалось ей так легко и быстро разрешить явно иезуитскую задачу и столь ловко показать свою грудь, которая была еще белоснежнее ее души, стыдливо прикрыв ее легкой дымкой газа? Как умела она выглядеть столь бесплотной и при этом метать смертоносные взгляды? Казалось, ее сладострастный, почти бесстыдный взор сулит бездну наслаждений, но слетавший вслед за тем с ее уст аскетический вздох о радостях нездешней жизни тотчас же отнимал всякую надежду. Наивные молодые люди — а в те времена они еще водились в рядах королевской гвардии — недоумевали, дозволено ли мужчине, даже в минуты самой интимной близости, говорить «ты» этой Белой даме, этой звездной туманности, сошедшей на землю с Млечного Пути. «Ангельский» стиль, пользовавшийся успехом в обществе в течение нескольких лет, оказался особенно удобным для таких женщин, у которых пленительный бюст сочетался с весьма решительной философией и которые прикрывали благочестивыми ужимками непомерные вожделения. Эти небесные создания отлично знали, что естественное желание любого знатного мужчины вернуть их на землю сулит им немало земных благ. Однако эта мода позволяла им спокойно пребывать в полукатолических, полуоссиановских эмпиреях; благода-

ря ей они могли (а они именно этого желали) пренебрегать низменными сторонами повседневной жизни, устранять многие сложности. Де Марсе угадал, что герцогиня решила действовать именно в таком духе; видя, что Растиньяк едва ли не ревнует к Виктюрньену, он перед уходом шепнул ему:

— Не огорчайся, дружок,— хорошо там, где нас нет! Дельфина Нусинген поможет тебе нажить состояние, а герцогиня тебя бы разорила. Эта женщина обходится слишком дорого.

Растиньяк ничего не ответил де Марсе: он знал, что́ такое Париж. И хорошо знал, что самая изысканная, самая знатная, самая бескорыстная светская женщина, которой ничего и поднести нельзя, кроме букета, не менее опасна для молодого человека, чем были некогда опасны оперные дивы. Но эти дивы уже давно отошли в область преданий. Нынешние театральные нравы превратили танцовщиц и актрис в довольно комическое явление: они — как бы олицетворенная Декларация прав женщины; это — куклы, которые по утрам выступают в роли добродетельных и почтенных матерей семейства, а вечером — в мужских ролях смело выставляют напоказ свои ноги, обтянутые узкими панталонами. В тиши провинциального кабинета добряк Шенель верно предугадал один из тех подводных рифов, о который мог разбиться молодой граф. Сияние, излучаемое г-жой де Мофриньез, ослепило Виктюрньена, он с первой же минуты оказался в плену и не мог глаз отвести от детского кушака герцогини, от приворожи́вших его кудрей, словно завитых рукою феи. Уже достаточно развращенный, юноша почему-то сразу же поверил этой мишурной, кисейной непорочности, этому неземному выражению лица, продуманному во всех тонкостях, подобно закону, тщательно обсужденному в обеих палатах парламента. Но, видно, так тому и быть: кто обречен поверить женской лжи, тот непременно по́верит ей!

Для двух влюбленных окружающий их мир важен не более, чем рисунок на обоях. Герцогиня была, без преувеличения, одной из десяти первых и общепризнанных красавиц Парижа. Впрочем, все знают, что в мире влюбленных столько же «первых красавиц», сколько «самых лучших произведений» в современной литературе. В

возрасте Виктюрньена разговор, который он вел с герцогиней, поддерживать нетрудно. Благодаря своей молодости и незнанию парижской жизни он мог не быть начеку, мог не обдумывать каждое слово и взгляд. Возвышенная религиозная сентиментальность, которая теперь в моде, обычно служит у собеседников прикрытием для весьма насмешливых и лукавых мыслей и совершенно исключает милую непринужденность и беспечное остроумие старинной французской беседы; в наше время влюбленные видят друг друга словно через плотную вуаль. Виктюрньен обладал именно той степенью провинциальной неискушенности, какая нужна, чтобы пребывать в почтительном и непритворном восторге; это и нравилось герцогине, ибо если мужчина разыгрывает комедию, ему так же трудно обмануть женщину, как и женщине — мужчину. Г-жа де Мофриньез с замиранием сердца подумала, что заблуждение на ее счет молодого графа обещает по крайней мере полгода чистой любви. Она была так прелестна, эта голубица, прикрывавшая жаркий пламень своих очей золотистой бахромой ресниц, что маркиза д'Эспар, подойдя к ней, чтобы проститься, шепнула: «Хорошо, душенька, очень хорошо». Затем прекрасная маркиза предоставила своей сопернице путешествовать по современной карте «страны нежности», которая вовсе не такая нелепость, как иные полагают. Карта этой страны покрывается из века в век новыми именами, но все ее дороги ведут в ту же столицу. За час интимной беседы на диване в уголке гостиной, на глазах всего общества, герцогиня довела юного д'Эгриньона до чисто сципионовского великодушия, до легендарной преданности Амадиса, до самоотречения в духе средних веков, которые, вместе с башнями, кинжалами, кольчугами, латами, длинноносыми башмаками и прочей романтической бутафорией, начали входить тогда в моду. Г-жа де Мофриньез превосходно владела оружием недомолвок и, точно иголки в подушечку, как бы нечаянно и незаметно вонзала их в сердце Виктюрньена. Она искусно роняла намеки, очаровательно лицемерила, щедро осыпала юношу туманными обещаниями, которые, едва зародив в нем надежду, тут же таяли, словно лед на солнце; наконец, она коварно будила в нем желания, искусно скрывая те, которые уже

пробудились в ней самой. В конце этой сладостной встречи она ловко накинула на него петлю, пригласив побывать у нее, и сделала это с такой кошачьей грацией, которую невозможно передать словами.

— Ах, вы меня забудете! — лепетала она.— Столько женщин будут ухаживать за вами, вместо того чтобы вас просвещать... Но вы еще вернетесь ко мне, когда разочаруетесь в них. Придете ли вы до этого?.. Нет! Впрочем, поступайте, как вам захочется. Мне, скажу чистосердечно, ваши посещения доставили бы большую радость. Так редко встречаешь людей с душой, а я верю, что она у вас есть. Ну, прощайте: если мы будем говорить с вами дольше, пожалуй, о нас заговорят другие.

И она буквально упорхнула. После отъезда герцогини Виктюрньен просидел недолго; но этих минут было достаточно, чтобы окружающие угадали его состояние по особому, счастливому выражению лица, имеющему нечто общее со скрытым торжеством человека, проникшего в чужую заветную тайну, и с блаженной сосредоточенностью святоши, когда он, получив отпущение грехов, выходит из исповедальни.

— Нынче вечером госпожа де Мофриньез довольно ловко достигла цели,— заметила герцогиня де Гранлье, когда в гостиной мадемуазель де Туш осталось всего шесть человек: де Люпо, докладчик в государственном совете, пользовавшийся благосклонностью короля, Ванденес, виконтесса де Гранлье, Каналис и г-жа де Серизи.

— *Д'Эгри*-ньон и *Мофри*-ньез — эти две фамилии так созвучны, что должны были бы слиться,— заметила г-жа де Серизи, претендовавшая на остроумие.

— Вот уже несколько дней, как она мечтает отдохнуть под сенью платонической любви,— сказал де Люпо.

— Она же погубит бедного малого,— вставил Шарль де Ванденес.

— В каком смысле? — спросила мадемуазель де Туш.

— О! И морально и материально, в этом не может быть сомнения! — подхватила виконтесса вставая.

Эти жестокие слова вскоре стали для молодого графа д'Эгриньона жестокой действительностью. На другое же утро он написал тетке письмо, в котором изобразил

свои первые успехи в гостиных Сен-Жерменского предместья теми радужными красками, какими бывает расцвечен мир, когда на него смотрят сквозь призму любви. Граф постарался так описать радушный прием, который ему всюду оказывали, чтобы польстить самолюбию отца. Маркиз заставил дважды прочитать ему это длинное письмо и потирал руки, слушая рассказ об обеде, который видам де Памье, его старинный знакомый, дал в честь молодого д'Эгриньона, и о том, как Виктюрньен был представлен герцогине; но он выказал крайнее недоумение по поводу присутствия на этом званом обеде младшего сына судьи Блонде, того самого Блонде, который во время революции занимал должность общественного обвинителя.

Этот вечер был для Музея древностей праздником: все обсуждали успехи молодого графа. О знакомстве юноши с герцогиней де Мофриньез хозяева едва упомянули, и шевалье был единственным, с кем об этом поговорили по душам. В письме отсутствовала неприятная приписка, которой обычно заканчиваются все послания молодых людей домой,— в нем не упоминалось о деньгах, этой основе всех основ. Мадемуазель Арманда сообщила содержание письма Шенелю. Он был совершенно счастлив и не высказал никаких сомнений или опасений. И шевалье и маркиз полагали, что молодой человек, заслуживший любовь герцогини, непременно станет одним из первых при дворе, где, как и в старину, всего добиваются с помощью женщин. Все решили, что выбор юноши недурен. Вдовствующие аристократки тут же перебрали любовные похождения де Мофриньезов от царствования Людовика XIII и до Людовика XVI, к счастью, не коснувшись более давних времен; словом, они были в восторге. Г-жу де Мофриньез чрезвычайно хвалили за ее благосклонное внимание к Виктюрньену. Остается лишь пожалеть о том, что разговоров, которые велись в Музее древностей, не услышал какой-нибудь драматург, жаждущий написать правдивую комедию.

Виктюрньен получил нежнейшие письма от отца, тетки и шевалье, просившего напомнить о нем видаму, с которым они в 1778 году вместе ездили в Спа, сопровождая знаменитую венгерскую принцессу. Шенель тоже написал молодому д'Эгриньону. И каждая строка всех

этих писем дышала той лестью, к которой был приучен с детства несчастный юноша. А мадемуазель Арманда чувствовала себя так, точно сама участвовала в радостях г-жи де Мофриньез.

Окрыленный одобрением семьи, молодой граф, уже не раздумывая, вступил на гибельный и разорительный путь дендизма. Он завел пять лошадей и считал, что это еще очень скромно — у де Марсе их было четырнадцать. Он дал ответный обед видаму, пригласив на него де Марсе, Растиньяка и даже Блонде. Обед обошелся в пятьсот франков. Эти господа, в свою очередь, чествовали его с не меньшей пышностью. Он много и несчастливо играл в вист, бывший тогда в моде. Виктюрньен так распределил свое время, что, несмотря на полную праздность, был всегда занят. Каждый день с двенадцати до трех он бывал у герцогини; затем встречался с нею снова в Булонском лесу: граф ехал на своей английской лошади, герцогиня — в экипаже. В солнечные дни влюбленные нередко совершали прогулки верхом. А по вечерам молодого графа ждали светские приемы, балы, празднества, спектакли. Виктюрньен блистал повсюду, ибо он повсюду рассыпал жемчуг своего остроумия, верно и метко судил о людях, жизни и событиях: он был подобен плодовому дереву, дающему только цветы. Юный денди вел ту утомительную жизнь, при которой люди растрачивают душу еще больше, чем деньги, зарывают самые блестящие таланты,— жизнь, где гибнет самая неподкупная честность и ослабевает самая закаленная воля. Герцогиня — это чистое, хрупкое, ангельское создание — находила немалое удовольствие, участвуя в развлечениях молодых холостяков: она любила бывать на премьерах, ей нравились проказы и неожиданные забавы. Ей еще ни разу не довелось побывать в кабачке, и д'Эгриньон однажды повез ее ужинать в «Роше де Канкаль»,—она восхитительно провела там время в обществе любезных светских кутил, которым читала нравоучения; остроты и веселье в тот вечер не уступали блеску самого ужина. За этим кутежом последовали другие. Тем не менее страсть Виктюрньена все еще сохраняла свой ангельский характер. Да, г-жа де Мофриньез оставалась ангелом, которого не могла коснуться земная скверна, ангелом — в театре Варьете, когда она смотрела не-

пристойные и вульгарные фарсы, смешившие ее до упаду; ангелом — под перекрестным огнем вольных, но очаровательных шуток и скандальных сплетен, которыми забавлялись участники изысканных увеселений; она оставалась томным ангелом в закрытой ложе театра Водевиль; ангелом — когда подмечала позы танцовщиц в Опере и разбирала их с опытностью старого волокиты; ангелом в театре «Порт-Сен-Мартен» и в маленьких театриках на бульварах; ангелом на балах-маскарадах, где она резвилась, как школьник; ангелом, мечтающим о любви жертвенной, героической, самозабвенной и вместе с тем требующим от д'Эгриньона, чтобы он покупал еще одну лошадь, если ей не нравилась масть его прежней лошади, и чтобы у него были повадки английского лорда с миллионным доходом. Ангелом она была и за картами. И уж, конечно, ни одна буржуазка не могла бы со столь ангельским видом сказать д'Эгриньону: «Поставьте за меня». Совершая безумства, она так божественно безумствовала, что можно было душу продать дьяволу, лишь бы поддержать в этом ангеле вкус к земным радостям!

В первую зиму молодой граф взял у нотариуса Кардо, отнюдь не спешившего воспользоваться своим правом увещания, такой *пустяк*, как тридцать тысяч франков сверх суммы, высланной Шенелем. Изысканно вежливый, но решительный отказ нотариуса в ответ на новую просьбу о деньгах заставил Виктюрньена вспомнить об этом дефиците; отказ был тем более досаден и неприятен, что граф перед тем проиграл в клубе шесть тысяч франков и не мог туда показаться, не уплатив их сполна. Убедившись в непреклонности Кардо, который уже выдал ему в долг тридцать тысяч франков (тут же написав об этом Шенелю) и всячески похвалялся этим доверием, оказанным им любимцу прекрасной герцогини,— д'Эгриньон был вынужден посоветоваться с нотариусом о том, где же раздобыть денег, так как речь шла о долге чести.

— Напишите несколько переводных векселей на банкира вашего отца, отнесите их в парижский банк, с которым он связан, и там их, наверно, учтут, а потом напишите родным, чтобы они внесли банкиру эту сумму.

Виктюрньен был в отчаянии, и тут внутренний голос

подсказал ему в качестве поручителя имя дю Круазье, о враждебных чувствах которого к аристократии молодой человек, видя подобострастие дю Круазье перед ней, даже не подозревал. Итак, он написал дю Круазье весьма непринужденное письмо, уведомляя его, что выдал на него переводной вексель на десять тысяч франков, которые и будут возвращены господином Шенелем или мадемуазель Армандой д'Эгриньон, как только они получат от графа извещение. Затем Виктюрньен отправил еще два трогательных письма тетке и Шенелю. Когда дело идет о том, чтобы броситься в пропасть, молодые люди проявляют необыкновенную ловкость и изобретательность, и все им удается. В то же утро Виктюрньен узнал фамилии и адреса парижских банкиров, имевших дела с дю Круазье,— это были братья Келлеры, рекомендованные ему де Марсе,— этот молодой человек знал положительно весь Париж. Келлеры беспрекословно вручили д'Эгриньону под расписку сумму, указанную в векселе: они были должны дю Круазье. Но карточный долг оказался пустяком в сравнении с другими расходами графа. Счета дождем посыпались на Виктюрньена.

— Как? Ты занимаешься этой чепухой? — смеясь, спросил однажды утром д'Эгриньона Растиньяк.— Ты приводишь в порядок счета? Вот уж не ожидал от тебя такого мещанства.

— Поневоле приходится о них думать, милый мой... У меня набралось долгу на двадцать тысяч с лишним.

Де Марсе, заехавший за д'Эгриньоном, чтобы повезти его на скачки, вытащил из кармана изящный бумажник, извлек оттуда двадцать тысяч франков и протянул молодому графу.

— Вот самый лучший способ их не проиграть! — воскликнул он.— Я сегодня рад вдвойне, что выиграл их вчера у своего уважаемого папаши, лорда Дэдлей.

Эта чисто французская любезность совершенно пленила д'Эгриньона, который тут же наивно поверил в дружбу де Марсе; он не стал платить долгов, а истратил эти деньги на развлечения. А де Марсе с несказанным удовольствием наблюдал за тем, как д'Эгриньон, по выражению, принятому среди денди, все глубже «вязнет» в долгах, и, прикидываясь его другом, даже с удовольствием подталкивал его, чтобы тот скорее по-

шел ко дну; он завидовал Виктюрньену: ведь герцогиня афишировала свои отношения с графом, тогда как от де Марсе она в свое время требовала сохранения глубочайшей тайны. Впрочем, этот щеголь принадлежал к числу тех жестоких, бездушных насмешников, которым зло доставляет такое же удовольствие, как турчанкам — баня. И вот, когда де Марсе взял на скачках приз и все участники пари собрались в загородной харчевне, где нашлось несколько бутылок хорошего вина, он, смеясь, сказал д'Эгриньону:

— А ведь эти счета, которые тебя так беспокоят, верно, даже и не твои?

— Но разве он стал бы тогда из-за них беспокоиться? — спросил Растиньяк.

— А чьи же они? — спросил д'Эгриньон.

— Тебе разве неизвестно положение герцогини? — заметил де Марсе, снова вскочив в седло.

— Нет,— отозвался заинтригованный д'Эгриньон.

— Ну так вот, милый мой,— пояснил де Марсе,— имей в виду: тридцать тысяч она должна у Викторины, восемнадцать у Убигана, по одному счету у Эрбо, у Натье, у Нуртье, у Латур—словом, у нее долгов на сто тысяч франков.

— У этого ангела? — сказал д'Эгриньон, устремляя глаза к небу.

— Вот тебе стоимость ее крылышек! — насмешливо воскликнул Растиньяк.

— Она и задолжала столько, милый мой, именно потому, что она ангел,— заявил де Марсе.— Но все мы,— продолжал он, переглянувшись с Растиньяком,— видали немало ангелов, попавших в подобное положение. Женщины, друг мой, просто восхитительны: ведь они ничего не смыслят в деньгах, они в такие дела не вмешиваются, это их не касается; они лишь гости «на пиршестве жизни», как выразился уж не помню какой поэт, умерший на больничной койке.

— Откуда вы узнали о ее долгах, если я ничего не знаю? — простодушно удивился д'Эгриньон.

— Ты узнаешь о них последний, так же как она последняя узнает о твоих долгах.

— А я полагал, что у нее сто тысяч ливров годового дохода,— сказал граф.

— Ее муж,— продолжал де Марсе,— разошелся с ней и живет из экономии в полку; у него тоже ведь есть кое-какие должишки, у нашего дорогого герцога! Да вы что, с неба свалились? Научитесь, как мы, знать долги своих друзей. Мадемуазель Диана (я полюбил ее за это имя), Диана д'Юкзель вышла замуж, имея в год шестьдесят тысяч франков личного дохода, а ее дом вот уже восемь лет поставлен на столь широкую ногу, что обходится ей теперь уже в двести тысяч франков; совершенно ясно, что все ее поместья заложены на сумму, намного превышающую их стоимость; в один прекрасный день ей придется подать сигнал бедствия, и ангел будет обращен в бегство... знаете кем? Судебным приставом, который не постесняется сцапать этого ангела, как он сцапал бы любого из нас.

— Бедный ангел!

— Да, голубчик! Жизнь в парижском раю — весьма дорогое удовольствие! Ведь ангелам приходится каждое утро белить себе щечки и крылышки,— добавил Растиньяк.

Так как д'Эгриньону уже не раз приходило на ум сознаться в денежных затруднениях своей дорогой Диане, то он даже содрогнулся, вспомнив, что успел задолжать шестьдесят тысяч франков и что вот-вот получит счета еще тысяч на десять. Он уехал опечаленный. Ему не удалось скрыть своей озабоченности от друзей, которые, сидя за обедом, говорили друг другу:

— Кажется, этот мальчишка д'Эгриньон уже завяз. Нет у него парижской закалки; еще, чего доброго, пустит себе пулю в лоб! Да он просто глуп... и т. д.

Однако молодой граф быстро утешился. Камердинер подал ему два письма. Первое было от Шенеля. Не вскрывая конверта, Виктюрньен почувствовал, как от него отдает ворчливой преданностью и прописными истинами; он оставил его в неприкосновенности до вечера. Взявшись за второе, он с глубоким удовлетворением прочел исполненные чисто цицероновского пафоса риторические периоды дю Круазье, который, как Сганарель перед Жеронтом, на коленях умолял молодого графа не оскорблять его в дальнейшем предварительным внесением денег под те векселя, которые молодой граф соблаговолит выдать на него. Письмо это заканчивалось фра-

зой, до того напоминавшей кассу, полную золотых монет и открытую к услугам знатного рода д'Эгриньонов, что Виктюрньен повторил жест Сганареля, Маскариля и всех тех, кто считает, что деньги не пахнут. Убедившись, что отныне он может пользоваться неограниченным кредитом у братьев Келлер, граф весело распечатал письмо Шенеля; однако вместо ожидаемых им четырех мелко исписанных страниц, полных всевозможных назиданий (казалось, он уже видит слишком знакомые слова об осторожности, чести, достойном поведении и т. д., и т. д.), молодой человек нашел всего несколько строк. Он прочел их, и голова у него пошла кругом. Вот они:

«Ваше сиятельство,

От всего моего состояния осталось лишь двести тысяч франков; умоляю вас не выходить за пределы этой суммы, если вы соблаговолите принять ее от преданнейшего слуги вашего семейства, каковым с почтением и остаюсь

Шенель».

— Этот старик — герой из Плутарха,— сказал себе Виктюрньен, бросая письмо на стол. Его охватила досада; перед лицом такого великодушия он почувствовал свое ничтожество.

— Да, пора исправиться,— решил он.

Вместо того, чтобы пообедать в ресторане, где он тратил каждый раз от пятидесяти до шестидесяти франков, молодой человек решил сэкономить эти деньги, пообедав у герцогини де Мофриньез; он рассказал ей историю с письмом.

— Мне бы хотелось увидеть этого человека,— сказала она, и глаза ее при этом засверкали, как две неподвижные звезды.

— А зачем он вам?

— Я поручила бы ему вести мои дела.

Диана была восхитительно одета, ей захотелось оказать честь Виктюрньену, который был обворожен той легкостью, с какой она относилась к своим делам, вернее к своим долгам.

Затем красивая парочка отправилась в Итальянскую оперу. Никогда еще эта обольстительная красавица не казалась столь воздушной, столь близкой к небесам.

Никто из сидевших в зале не поверил бы, что ее долги достигли той цифры, которую де Марсе утром назвал молодому графу. Никакие земные заботы, казалось, не могли омрачить это прекрасное чело, дышавшее достоинством самых высоких и непоколебимых женских добродетелей. Ее томная мечтательность если и могла быть отблеском земной любви, то лишь той, которую она целомудренно в себе подавила. Большинство мужчин готово было держать пари, что Виктюрньена до сих пор водят за нос, тогда как женщины были уверены в падении их соперницы; они втайне восхищались ею, как Микельанджело втайне восхищался Рафаэлем. Одна уверяла, что Виктюрньен любит Диану за ее золотые волосы, ибо во всей Франции нет подобных; другая считала главным достоинством герцогини удивительную белизну кожи, ибо сложена она, как всем известно, отвратительно, только одеться умеет; третьи находили, что д'Эгриньон любит Диану за восхитительные ножки — единственное, что в ней есть хорошего, так как фигура у нее плоская, как доска. Но, что особенно ярко рисует парижские нравы,— мужчины все наперебой утверждали, будто роскошную жизнь д'Эгриньона оплачивает герцогиня, а женщины весьма прозрачно намекали на то, что, как выразился Растиньяк, крылышки этого ангела оплачивает Виктюрньен. Когда влюбленные возвращались из театра, молодой человек, гораздо больше встревоженный долгами герцогини, чем своими собственными, раз двадцать чуть не заговорил на эту тему, но слова тут же замирали у него на устах, когда он в неверном свете каретных фонарей бросал взгляд на это неземное создание, вызывавшее в другом те чувственные соблазны, которые ею самой всегда овладевали как бы против воли и лишь после тяжелой борьбы с чисто ангельской непорочностью. Герцогиня была настолько умна, что не твердила на каждом шагу о своей добродетели и чистоте, как это делали подражавшие ей провинциальные львицы; она действовала гораздо искуснее: она внушала это без слов тому, ради кого приносила столь великие жертвы. Спустя полгода, она все еще делала вид, что почитает смертным грехом самый невинный поцелуй руки, и с такой ловкостью заставляла добиваться ее милостей, что казалась после грехопадения еще больше ан-

гелом, чем до него. Только парижанки умеют придавать всегда новую прелесть лунному свету и романтичность— звездам, попадать в ту же трясину и выходить из нее все более очищенными и непорочными. В этом — высшая ступень утонченной парижской культуры. Женщины, живущие по ту сторону Рейна или Ламанша, сами верят в тот вздор, который несут; а парижанки заставляют верить в него своих любовников; они льстят их тщеславным чувствам и мыслям, чтобы сделать их счастливее. Некоторые лица пытались было умалить достоинство герцогини, уверяя, что она первая попадается в собственные сети. Но это низкая клевета! Герцогиня не верила никому и ничему, кроме самой себя!

В начале зимы 1823—1824 года за Виктюрньеном в банке братьев Келлеров числилось двести тысяч франков долга, о котором ни Шенель, ни мадемуазель Арманда и не подозревали. Чтобы скрыть источник, откуда он черпал средства, Виктюрньен время от времени просил Шенеля выслать ему тысячи две экю; он писал лживые письма отцу и тетке, оба были счастливы и спокойны за него и, подобно большинству счастливых людей, не подозревали, что они обмануты. Только один человек знал тайну ужасной катастрофы, уготованной знатному и славному роду по вине его отпрыска, очарованного соблазнами парижской жизни: проходя вечером мимо Музея древностей, дю Круазье радостно потирал руки, предвкушая скорое достижение своей цели. Цель эта была уже не столько разорение, сколько бесчестье семьи д'Эгриньонов, и он инстинктом ненависти угадывал, что роковой час близится. Дю Круазье окончательно убедился в этом, когда узнал, что молодой граф наделал таких долгов, бремени которых ему не выдержать. И тут дю Круазье, перейдя в наступление, начал с того, что нанес смертоносный удар самому ненавистному своему врагу — достойному Шенелю. Добрый старик жил на улице Беркай в доме с островерхой крышей и мощеным двориком, вдоль стен которого росли кусты вьющихся роз, заглядывавшие в окна второго этажа. За домом лежал обыкновенный провинциальный садик, обнесенный сырой и мрачной оградой. Клумбы в нем были окружены бордюром из самшита. Серая аккуратная входная дверь с решетчатым окошечком и звонком не менее, чем

вывеска, свидетельствовала о том, что «здесь проживает нотариус».

Было пять часов пополудни, старик отдыхал после обеда; он сидел перед камином в своем старом кресле, обитом черной кожей, натянув на ноги крашеные картонные сапоги, защищавшие его от жара. Шенель привык ставить ноги на каминную решетку и, помешивая угли, спокойно отдавался пищеварению после плотного обеда. Он любил хорошо покушать! Увы! Без этого маленького недостатка разве не был бы он более совершенным, чем дозволено быть человеку? Нотариус только что выпил чашечку кофе, и старушка домоправительница не спеша удалилась, унося поднос, на котором она уже больше двадцати лет подавала кофе; Шенель ожидал своих клерков, перед тем как отправиться играть в карты; он размышлял — не спрашивайте о ком и о чем: редкий день проходил без того, чтобы старик не говорил себе: «Где он? Что он делает?», полагая, что Виктюрньен еще находится сейчас в Италии вместе с прекрасной герцогиней. Одной из самых больших радостей для людей, наживших себе состояние собственным трудом, а не получивших его по наследству, являются воспоминания о тех усилиях, которыми они его завоевали, и мечты о том, что́ они приобретут на скопленные ими денежки, причем глагол «иметь» спрягается тогда во всех временах. И этот человек, все чувства которого слились в одну-единственную привязанность, испытывал двойное наслаждение при мысли о том, что приобретенные им с трудами земли, столь тщательно выбранные и возделанные, когда-нибудь увеличат достояние рода д'Эгриньонов. Удобно устроившись в старом кресле, он предавался радостным надеждам и смотрел то на сооружение из раскаленных углей, воздвигнутое его щипцами, то на встающие перед его мысленным взором картины будущего благосостояния д'Эгриньонов, возрожденного с его помощью. Представляя себе молодого графа счастливым, он испытывал глубокое удовлетворение от того, что сделал это счастье целью своей жизни. Шенель был не лишен ума, и не одно только слепое чувство руководило его беспредельной преданностью, у него была своя гордость; он походил на тех аристократов, которые, восстанавливая колонны в старинных соборах,

оставляют на них свои имена; так и он навеки вписывал свое имя в семейные предания д'Эгриньонов. Пусть в них говорится и о старике Шенеле.

Но тут его размышления прервала домоправительница, вошедшая с испуганным и растерянным видом.

— Где-нибудь горит, Бригитта? — шутливо осведомился Шенель.

— Вроде того,— ответила она.— Пришел господин дю Круазье, желает поговорить с вами.

— Господин дю Круазье!—повторил старик, и ледяное острие подозрения так мучительно кольнуло его в сердце, что он выронил из рук щипцы. «Господин дю Круазье,— подумал он,— наш главный враг,— здесь!»

А дю Круазье уже входил, крадучись, словно кот, почуявший сливки. Он вежливо поклонился, сел в предложенное нотариусом кресло и предъявил счет на двести двадцать семь тысяч франков, включая проценты: это была сумма, выданная Виктюрньену по переводным векселям за его, дю Круазье, счет. Теперь он требовал уплаты, грозя немедленным преследованием будущего наследника д'Эгриньонов по всей строгости закона. Шенель, растерянно перебирая векселя, умолял врага прежде всего сохранить все это в тайне. И враг обещал молчать, если ему будет заплачено в течение сорока восьми часов. Он крайне стеснен в деньгах, ему пришлось выручить местных фабрикантов... Словом, дю Круазье пустил в ход все те выдумки, которыми, однако, нельзя обмануть ни людей, просящих взаймы, ни нотариусов. Старик смотрел на него потухшим взглядом, он едва сдерживал слезы: ведь заплатить этот долг он мог только заложив свои земли за остаток их стоимости. Узнав, с какими трудностями связано для Шенеля возмещение денег, дю Круазье как будто забыл о своих стесненных обстоятельствах и вдруг предложил нотариусу купить у него имение. Продажа была оформлена в два дня. Не мог же бедняга Шенель допустить, чтобы его любимец угодил за долги на пять лет в тюрьму! Итак, через несколько дней у нотариуса уже не оставалось ничего, кроме его домика, конторы и поступлений от клиентов. И вот обобранный Шенель ходил по своему кабинету, обшитому мореным дубом, смотрел на балки из каштанового дерева с узорной нарезкой, на

вьющиеся растения у окон, не думая уже ни о фермах, ни о своей любимой загородной усадьбе Жард.

— Что ожидает мальчика? Нужно вернуть его домой и женить на богатой наследнице,— говорил себе Шенель, шагая по комнате; глаза у него были тусклые, голова тяжелая.

Нотариус не знал, как приступить к разговору с мадемуазель Армандой, в каких выражениях сообщить ей ужасную новость. Человек, только что уплативший из своего кармана долги Виктюрньена, чтобы спасти честь дорогой ему семьи, страшился заговорить об этом деле. Направляясь с улицы Беркай в особняк д'Эгриньонов, бедный старик трепетал, как молодая девушка, которая убегает из родительского дома, предчувствуя, что она вернется туда в отчаянии, с ребенком на руках. А мадемуазель Арманда только что получила от племянника очаровательное и лицемерное письмо; судя по этому письму, можно было считать молодого графа счастливейшим человеком в мире. Побывав с герцогиней де Мофриньез на водах и в Италии, он прислал тетке дневник своего путешествия. Каждая фраза дышала любовью к г-же де Мофриньез. То он живописал Венецию, то восторженно рассказывал о шедеврах итальянского искусства, то восхищался Миланским собором или Флоренцией; тут он рисовал картины Апеннин, сравнивая их с Альпами, там — деревушку вроде Кьявари, где все создано для счастья. Бедная мадемуазель Арманда была так очарована, что ей виделось, как над этими местностями, где он любил, витает ангел, своею нежностью придающий этим красотам пламенный оттенок. Она упивалась письмом племянника, как должна упиваться такими письмами добронравная девица, созревшая в приглушенном зное подавленных страстей и с неизменной радостью приносящая в жертву все свои желания на алтарь семейной жизни. Нет, Арманда не была похожа на ангела, как герцогиня, она напоминала те пожелтевшие от времени прямые, тоненькие и стройные статуэтки, которые удивительные ваятели прошлого расставили некогда в сырых нишах соборов и у подножия которых вырастают вьюнки, распускаясь в один прекрасный день над их головой нежным голубым колокольчиком.

В эту минуту именно такой колокольчик распускал-

ся на глазах у непорочной девицы: мадемуазель Арманда лелеяла в своем воображении молодую пару, она не считала предосудительной любовь замужней женщины к Виктюрньену, хотя, будь это другой, при любых обстоятельствах порицала бы ее; но Арманда сочла бы просто преступлением, если бы герцогиня не воспылала страстью к ее племяннику. Тетки, матери и сестры создают для своих племянников, сыновей и братьев особые законы.

Итак, Арманда мысленно перенеслась в Венецию, видела себя среди волшебных дворцов, которые высятся вдоль Большого канала и словно построены руками фей. Она плыла в гондоле с Виктюрньеном, и он рассказывал ей о том, какое счастье чувствовать в своей руке нежную руку герцогини, быть любимым ею и скользить по каналам этого города, этой царицы и возлюбленной итальянских морей. Но ее небесное блаженство было внезапно нарушено: в конце аллеи показался Шенель. Увы! Песок хрустел у него под ногами, как тот песок, который высыпает из своих роковых часов неумолимая смерть, попирая его босой костлявой пятой! Этот зловещий шорох и лицо Шенеля, полное безнадежного отчаяния, вызвали у старой девицы мучительное волнение, какое испытывает человек, вынужденный вдруг вернуться из царства грез к печальной действительности.

— Что случилось? — воскликнула она, словно пораженная прямо в сердце.

— Все погибло! — ответил Шенель.—Если мы не вмешаемся, молодой граф обесчестит семью.

Он показал ей векселя и описал те муки, которые пережил за последние четыре дня; его слова были скупы, но трогательны и решительны.

— Несчастный! Он нас обманывал! — воскликнула мадемуазель Арманда, сердце которой чуть не разрывалось от волнения.

— Скажем наше mea culpa [1], мадемуазель,— твердо продолжал старик,— это мы приучили его своевольничать; ему нужен был строгий наставник, которым не могли быть ни вы, ибо вы девица, ни я, которого он ни в грош не ставил. Увы, он рос без матери!

---

[1] Моя вина *(лат.)*.

— Какой-то рок тяготеет над знатными семьями, приходящими в упадок,— прошептала мадемуазель Арманда, и глаза ее наполнились слезами.

В эту минуту они увидели маркиза. Старик возвращался с прогулки, держа в руках письмо сына, которое тот написал ему по возвращении из путешествия; граф рассказывал отцу о своих успехах в аристократическом обществе Италии. Виктюрньен был принят в лучших домах Генуи, Турина, Милана, Флоренции, Венеции, Рима, Неаполя; он, конечно, был обязан этим лестным приемом своему древнему имени, а отчасти и герцогине. Словом, он там появился во всем блеске, как и подобает настоящему д'Эгриньону.

— Могу тебя порадовать, Шенель,— обратился маркиз к нотариусу.

Мадемуазель Арманда сделала знак Шенелю — в нем был и ужас и горячая мольба,—и старик нотариус все понял. Пусть этот несчастный отец—лучший образец рыцарской чести — умрет, сохранив свои иллюзии. Шенель молча склонил голову, и между великодушным нотариусом и благородной девушкой был заключен договор молчания и верности.

— Да, Шенель,— продолжал маркиз,— все-таки д'Эгриньоны не так путешествовали по Италии в пятнадцатом веке, когда маршал Тривульций служил Франции под началом одного из д'Эгриньонов, которому был подчинен также и Баярд: другие времена, другие нравы. Впрочем, герцогиня де Мофриньез стоит маркизы де Спинола.

И маркиз, оседлав своего любимого конька, пустился в генеалогические изыскания с таким фатоватым видом, словно он сам был когда-то любовником маркизы де Спинола, а теперь обладал герцогиней де Мофриньез.

Когда удрученные союзники, сидевшие рядом на скамье и терзаемые теми же думами, остались одни, они долго не могли заговорить о том, что их мучило, и обменивались лишь отрывочными фразами, глядя вслед счастливому отцу, который удалялся, жестикулируя и, видимо, рассуждая сам с собой.

— Что будет с Виктюрньеном?— проговорила, наконец, мадемуазель Арманда.

— Дю Круазье отдал Келлерам распоряжение, что-

бы они больше не выдавали ему денег без надлежащих документов,— ответил Шенель.

— У него, верно, есть еще долги,— продолжала мадемуазель Арманда.

— Боюсь, что да.

— Если ему неоткуда будет взять денег, что он сделает?

— Страшусь даже подумать...

— Необходимо вырвать его из этой среды, привезти сюда, иначе он бог знает до чего дойдет.

— Именно — бог знает до чего...— угрюмо повторил Шенель.

Мадемуазель Арманда не поняла,— она еще не могла понять зловещего смысла этих слов.

— Как спасти его от этой женщины, от герцогини, которая, может быть, и увлекает его на дурной путь?

— Чтобы не расставаться с ней, он пойдет даже на преступление,— сказал Шенель, ища менее жестоких слов для слишком жестокой мысли.

— Преступление!— повторила мадемуазель Арманда.— Ах, Шенель, только вам может прийти в голову такая мысль,— добавила она, метнув на него гневный и грозный взгляд, один из тех женских взглядов, которые, кажется, могут испепелить даже богов.— Дворяне способны только на одно преступление — и это государственная измена, за которую им, как и королям, отрубают голову на обтянутом черным сукном эшафоте.

— Теперь совсем другие времена,— сказал Шенель, покачав головой, которая, по милости Виктюрньена, окончательно облысела.— Наш король-мученик умер не так, как Карл английский.

Это замечание успокоило гордый гнев аристократки; она содрогнулась, все еще не в силах поверить Шенелю.

— Завтра мы решим, что делать,— сказала она,— нужно все обдумать. На случай беды у нас еще есть поместье.

— Да,— отозвался Шенель,— ведь вы с маркизом разделились, большая часть принадлежит вам, и вы можете заложить ее, ничего ему не говоря.

В этот вечер мужчины и дамы, игравшие в гостиной

маркиза в вист, реверси, бостон, триктрак, заметили на обычно спокойном и ясном лице мадемуазель Арманды какое-то волнение.

— Бедная великодушная девочка! — заметила старуха маркиза де Катеран.— Она, верно, все еще страдает. Женщина не может предвидеть заранее, на что она обрекает себя, жертвуя всем ради семьи.

На другой день, посоветовавшись с Шенелем, мадемуазель Арманда решила ехать в Париж спасать племянника от гибели. Кто, как не женщина, любящая Виктюрньена, словно родная мать, могла вырвать его оттуда? Мадемуазель Арманда решила повидать герцогиню де Мофриньез и открыть ей правду. Однако, чтобы оправдать эту поездку в глазах маркиза и всего города, нужен был предлог. Мадемуазель Арманда пренебрегла своей стыдливостью добродетельной девицы и дала понять, что она больна и нуждается в советах искусных и знаменитых врачей. Одному богу известно, какие сплетни пошли на этот счет. Но что могла значить для мадемуазель Арманды ее личная честь, когда на карту была поставлена честь семьи! Она уехала. Шенель принес ей свой последний кошелек с луидорами, она взяла его так же равнодушно, как взяла свою белую шляпку и ажурные митенки.

«Благородная душа! Сколько в ней мягкости!» — думал Шенель, усаживая ее в экипаж вместе с горничной в сером платье, похожей на монахиню.

Дю Круазье подготовил свое мщение с той расчетливостью, с какой истый провинциал рассчитывает все. Только дикари, крестьяне и жители провинции способны так хитро и всесторонне обдумать свои дела; поэтому, когда они от мысли переходят к делу, они действуют наверняка. Дипломаты — просто младенцы в сравнении с этими тремя классами «млекопитающих», у которых времени хоть отбавляй, тогда как его совершенно не хватает людям, вынужденным думать сразу о множестве вещей, все направлять и все предвидеть в великих деяниях человеческих. Трудно сказать, изучил ли дю Круазье сердце бедного Виктюрньена настолько, что предугадал, с какой легкостью тот попадется в расставленные сети, или он воспользовался случаем, которого терпеливо ожидал в течение многих лет? Но одна подроб-

ность свидетельствует о том, что удар был подготовлен довольно искусно. Кто держал дю Круазье в курсе денежных дел молодого графа? Братья Келлер? Или сын председателя дю Ронсере, изучавший право в Париже? Достоверно одно: как только дю Круазье убедился, что герцогиня де Мофриньез находится в крайности, а граф д'Эгриньон впал в безысходную нужду, хотя до сих пор еще искусно скрывает ее, он написал Виктюрньену письмо, уведомляя его о том, что запретил Келлерам отныне выдавать ему какие бы то ни было суммы. А несчастный молодой человек в это время всячески изощрялся, чтобы слыть живущим в роскоши! В письме, извещавшем жертву дю Круазье о том, что братья Келлеры отныне не будут выдавать денег без надежного обеспечения, между преувеличенно почтительными заверениями и подписью был оставлен довольно значительный пробел. Отрезав эту часть письма, можно было без особого труда сделать из нее переводный вексель на любую сумму. Дьявольское послание дю Круазье кончалось на третьей странице, четвертая оставалась чистой. Оно пришло в ту минуту, когда Виктюрньена охватило глубочайшее отчаяние. После двух лет самой радостной, сладостной, самой беззаботной и роскошной жизни он стоял теперь перед угрозой неумолимой нужды и полной невозможности достать денег. Путешествие его закончилось не без денежных затруднений. Графу удалось с большим трудом и при помощи герцогини выжать кое-какие суммы из парижских банкиров. Теперь эти долги вставали перед ним в виде беспощадных векселей, неумолимых требований банков и угрозы коммерческого суда. Среди последних наслаждений несчастному юноше казалось, что его вот-вот коснется острием своей шпаги Командор. В разгаре кутежей он уже слышал, подобно Дон Жуану, тяжкую поступь статуи, поднимавшейся по лестнице. Его пронизывало невыносимой дрожью зловещее сирокко неоплаченных долгов. Спасти его мог только случай. До сих пор он в лотерее жизни всегда выигрывал, и в течение пяти лет его кошелек всегда был полон. Виктюрньен утешал себя тем, что после Шенеля явился дю Круазье, а после дю Круазье откроется еще какая-нибудь золотая жила. Кроме того, он нередко выигрывал крупные суммы за зе-

леным столом. Игра уже не раз спасала его от рискованных шагов. Но часто, в пылу безрассудной надежды, он устремлялся в «Клуб иностранцев» и там спускал все, что выиграл в вист в своем клубе или в светской гостиной. Жизнь его, вот уже два месяца, напоминала бессмертный финал моцартовского «Дон Жуана»! Этот финал должен вызывать содрогание у молодых людей, попавших в такие же тиски, как Виктюрньен. Ничто не может лучше раскрыть великую силу музыки, чем это вдохновенное воспроизведение ужаса и тревог, порождаемых жизнью, отданной сладострастию, чем эта страшная картина души, жаждущей забыться и забыть о своих долгах, о поединках, обманах, неудачах. Здесь Моцарт является счастливым соперником Мольера. Грозный финал, огненный, мощный, полный отчаяния и ликования, ужасных призраков и манящих женских образов, в котором мы слышим трепет последних порывов страстей, воспламененных вином и яростным инстинктом самосохранения,— весь этот демонический и вдохновенный спектакль разыгрывался сейчас в душе Виктюрньена! Он видел себя покинутым, без друзей, а впереди ему мерещилась могильная плита, где, как на последней странице захватывающей книги, начертано было слово: «Конец». Да, да, все для него кончено! Он заранее представлял себе тот холодный и насмешливый взгляд, ту злорадную улыбку, с которой приятели встретят весть о его разорении! Теперь Виктюрньен отлично знал, что из всех тех, кто рисковал крупными суммами за карточными столами, которые в Париже найдешь повсюду — на бирже, в клубах, в гостиных,— никто не пожертвует хотя бы мелкой ассигнацией, чтобы спасти друга. Шенель, верно, уже ничего не имеет: он, Виктюрньен, сам разорил его. И в то время как граф улыбался герцогине, сидя рядом с нею в Итальянской опере в ее ложе, на виду у всего зала, завидовавшего счастью этой парочки, сердце юноши раздирали фурии. Чтобы понять, в какую пропасть сомнения, отчаяния и безнадежности он был ввергнут, достаточно сказать, что этот юноша, столь горячо любивший жизнь и готовый даже на низость, лишь бы сохранить ее — ведь «ангел» делал эту жизнь такой прекрасной,— что этот сластолюбец и шалопай, недостойный имени д'Эгриньонов, поглядывал

на свои пистолеты и подумывал о самоубийстве. Он, который не потерпел бы даже намека на оскорбление, осыпал себя самыми беспощадными упреками, какие человек может делать только самому себе.

Письмо дю Круазье Виктюрньен бросил распечатанным на своей постели: когда Жозефен подал его, было девять часов утра и молодой граф еще спал. Накануне он был в Опере, хотя мебель была уже описана; Виктюрньен провел часть ночи в тайном убежище сладострастия, где обычно встречался с герцогиней после придворных праздников, после самых блестящих балов, после самых пышных приемов. Любовники ничем не нарушали приличий. Убежищем их любви служила простая и убогая с виду мансарда, входя в которую герцогиня де Мофриньез волей-неволей наклоняла голову, увенчанную перьями или цветами. Но внутреннее убранство, наверное, было создано руками индийских пери. Прежде чем погибнуть, графу хотелось проститься с этим прелестным гнездышком: он сам его украсил, желая окружить герцогиню достойной ее поэзией; но отныне из волшебных яиц, разбитых налетевшей бурей, уже не выпорхнут белые голубки, яркие колибри, розовые фламинго и тысячи причудливых птиц, которые еще летают у нас над головой в последние дни нашей жизни. Увы! Пройдет три дня, и ему придется бежать, ибо истекал последний срок взысканий по векселям, которые он выдал ростовщикам. Вдруг в голове у него мелькнула чудовищная мысль: бежать с герцогиней, поселиться с ней в каком-нибудь неведомом уголке Северной или Южной Америки; но бежать, захватив состояние, а кредиторам оставить неоплаченные векселя. Для того чтобы осуществить этот план, достаточно было отрезать от письма дю Круазье ту часть, где стояла его подпись, превратить ее в вексель и предъявить Келлерам. В душе Виктюрньена произошла тяжелая внутренняя борьба, во время которой он пролил немало слез; дворянская честь на этот раз восторжествовала, но очень относительно. Виктюрньен решил подвергнуть проверке чувство своей прекрасной Дианы и поставил осуществление своего плана в зависимость от ее согласия на бегство. Он направился к герцогине на улице Фобур-Сент-Оноре; Диана была в одном из тех кокетливых неглиже, которые

стоили немалых денег и забот, зато позволяли ей уже с одиннадцати часов утра изображать ангела.

Госпожа де Мофриньез была несколько задумчива: ее мучили те же заботы, что и Виктюрньена, но она переносила их мужественно. Среди многообразных женских характеров, описанных физиологами, один особенно опасен; женщинам этого типа присущи необычная душевная сила, беспощадная трезвость взгляда, дар быстрых решений и какая-то беспечность, вернее способность с легкостью нарушать такие запреты, перед которыми остановился бы даже мужчина. Все это обычно бывает скрыто под личиной самой хрупкой и грациозной внешности. Этот тип женщин представляет собой сочетание или, вернее, борьбу двух начал, которые свойственны, по мнению Бюффона, только мужчине. Остальные, представительницы слабого пола обычно лишены этой двойственности. Если они нежны, если они матери, если они верны — так уж всей душой, если скучны и ничтожны — так уж всецело; их нервная система находится в согласии с их темпераментом, а темперамент — с их образом мыслей; но женщины, подобные герцогине, способны и на самую благородную, возвышенную чувствительность и на самую низкую, эгоистическую жестокость. Одна из заслуг Мольера в том, что он превосходно описал,— правда, с одной только стороны,— такой тип женщины в образе, наиболее удавшемся ему и словно высеченном из мрамора, а именно — в образе Селимены. Селимена — воплощение аристократки, так же как Фигаро, это второе издание Панурга, олицетворяет народ. Словом, изнемогая под бременем чудовищных долгов, герцогиня, совершенно как Наполеон, который мог по своей воле забывать о мучивших его мыслях и снова возвращаться к ним, приказала себе посвятить лишь несколько минут обрушившейся на нее лавине забот, с тем чтобы принять окончательное решение. Она умела как бы со стороны созерцать собственное крушение, вместо того чтобы поддаться ему и похоронить себя под обломками. Черта, конечно, удивительная, но если ее видишь в женщине, она пугает.

За то время, которое прошло между ее пробуждением, когда она собралась с мыслями, и той минутой, когда она принялась за свой туалет, герцогиня успела ох-

ватить внутренним взором размеры грозившей ей опасности и все возможности грандиозной катастрофы. Она перебрала в уме оставшиеся ей выходы: бежать за границу; броситься на колени перед королем и признаться в своих долгах; соблазнить какого-нибудь дю Тийе или Нусингена и уплатить долги, играя на бирже. Банкир-буржуа, давая ей золото, должен быть настолько догадлив, чтобы говорить лишь о прибыли, а об убытках не упоминать,— подобная тактичность способна скрасить все. И эти возможности и самая катастрофа были продуманы ею холодно, спокойно, бестрепетно. Подобно натуралисту, который, взяв самый прекрасный экземпляр семейства бабочек и пронзив его булавкой, укладывает его в вату, так г-жа де Мофриньез, уступая требованиям минуты, выбросила из сердца любовь, чтобы потом, как только будет спасена ее герцогская корона, вновь вернуться к своей высокой страсти, покоившейся в непорочно-белой вате. Не испытывая ничего похожего на те колебания, которые Ришелье открывал лишь отцу Жозефу, а Наполеон вначале таил от всего света, она сказала себе: «Одно из двух». Когда вошел Виктюрньен, она сидела у камина и отдавала приказания относительно своего туалета: если погода позволит, она поедет в Булонский лес.

Несмотря на блестящие, хотя и неразвившиеся способности и острый ум, граф испытывал сейчас то, что надлежало бы испытывать этой женщине: сердце его отчаянно билось, нарядный денди покрылся испариной, он все еще не решался коснуться краеугольного камня своей жизни, ибо тогда рухнула бы пирамида их совместного существования. Он так боялся узнать правду! Самые смелые мужчины предпочитают обманывать себя в тех случаях, когда узнать правду — значит быть униженным и опозоренным, хотя бы только в собственных глазах! Наконец Виктюрньен, чтобы положить конец колебаниям, обронил фразу, содержавшую признание.

— Что с вами? — были первые слова Дианы де Мофриньез, которыми она встретила своего дорогого Виктюрньена.

— Дело в том, дорогая Диана, что я попал в ужасное положение; утопающий, который уже захлебывается и идет ко дну, и тот счастливее меня.

— Перестаньте! — воскликнула она.— Пустяки! Какой вы еще ребенок! Ну, что такое? Говорите!

— Я окончательно запутался в долгах и прижат к стене.

— Только и всего? — отозвалась она, улыбаясь.— Денежные дела всегда можно так или иначе уладить; непоправимы только сердечные катастрофы.

Несколько успокоенный тем, что герцогиня сразу поняла его положение, Виктюрньен развернул перед ней яркую картину своей жизни за два с половиной года, правда, с изнанки, но не без таланта, а главное — не без остроумия. Его рассказ был не лишен тех поэтических прикрас, на которые обычно пускаются люди в критические минуты, и он сумел придать ему блеск утонченного презрения к жизни и людям. Все это было в высшей степени аристократично. Герцогиня слушала, как она умела слушать. Одну ногу она поставила на скамеечку и оперлась локтем о колено; ее по-детски сплетенные пальчики охватывали изящный подбородок. Диана, не отрываясь, смотрела графу в глаза; в лазури ее глаз вспыхивали мгновенно сменявшиеся чувства, как зарницы между двух туч. Чело герцогини было спокойно, рот не улыбался — в знак серьезности, внимания и любви,— губы беззвучно шевелились, как будто она повторяла слова возлюбленного. А если вас так слушают, вы готовы поверить, что душа слушательницы полна глубочайшей любви к вам. И когда граф предложил этой женщине, чье сердце неразрывно было соединено с его сердцем, бежать вместе, он не мог не воскликнуть:

— Вы ангел!

Ибо красавица ответила уже до того, как заговорила.

— Хорошо, хорошо,— сказала герцогиня, которая, вместо того чтобы отдаться порыву любви, изображаемой ею, погрузилась в какие-то комбинации, которые она хранила про себя,— но дело не во мне, друг мой... («Ангел» забыл о самом себе.) Подумаем о вас. Да, мы уедем, и чем раньше, тем лучше. Устройте все: я последую за вами. Хорошо покинуть Париж и свет! Я буду незаметно готовиться к отъезду, чтобы не подать никакого повода для подозрений.

Слова «я последую за вами» были произнесены так, как их в те времена произнесла бы мадемуазель Марс, заставив вздрогнуть две тысячи зрителей. Когда герцогиня де Мофриньез предлагает торжественным тоном великую жертву любви, она уже уплатила все долги. Разве можно говорить с ней после этого о низменных подробностях? Виктюрньен мог тем легче утаить способы, к каким хотел прибегнуть для выполнения своего намерения, что Диана предусмотрительно его не расспрашивала: она продолжала оставаться, по выражению де Марсе, «гостьей на увенчанном розами пиру», который каждый мужчина должен был ей уготовить. Виктюрньен не желал уходить, пока она лаской не скрепит своего обещания: ему необходимо было почерпнуть в своем счастье мужество, чтобы дерзнуть на поступок, который будет, конечно, дурно истолкован; но он рассчитывал — и это придало ему бодрости,— что тетка и отец так или иначе замнут «эту историю», он даже надеялся, что Шенель все-таки изобретет какой-нибудь выход. Впрочем, «эта история» являлась единственным способом занять денег под родовые поместья. Имея триста тысяч франков, любящая пара, скрывая от всех свое счастье, заживет в каком-нибудь венецианском дворце; там они позабудут весь мир! Они заранее рисовали себе эту романтическую жизнь вдвоем!

На другой день Виктюрньен написал чек на триста тысяч франков и явился с ним к Келлерам. Келлеры уплатили, так как у них в это время имелись деньги на счете дю Круазье; но одновременно предупредили его письмом, чтобы он впредь не давал денежных распоряжений, не известив банк заранее. Дю Круазье, весьма удивленный, затребовал свой счет, который и был ему послан. Счет этот все ему объяснил: час мести пробил.

Как только в руках у Виктюрньена оказались деньги, он отнес их к г-же де Мофриньез, а та заперла их в секретер и пожелала сказать миру последнее «прости», побывав еще раз в Опере. Виктюрньен был задумчив, рассеян, озабочен; он начинал отдавать себе отчет в содеянном. Вечер в ложе герцогини мог обойтись ему слишком дорого. Не лучше ли было бы, подумал он, надежно припрятав эти триста тысяч франков, сесть

в почтовую карету, примчаться к Шенелю и открыться ему во всем? Но, уходя из театра, герцогиня бросила Виктюрньену восхитительный взгляд, так и горевший желанием еще раз побывать в их гнездышке, которое она так любила! Граф был слишком молод: он уступил и потерял еще и ночь. На другой день он был в три часа в особняке Мофриньезов, чтобы получить от герцогини последние распоряжения и среди ночи уехать с нею.

— А зачем нам уезжать? — сказала она.— Я много думала о вашем плане. Виконтесса де Босеан и герцогиня де Ланже бежали. Поэтому мое бегство будет слишком банальным. Давайте смело встретим грозу. Это будет гораздо красивее. И я уверена, что мы победим!

Виктюрньен едва не потерял сознание, ему показалось, что он весь изранен и истекает кровью.

— Что это с вами? — воскликнула прекрасная Диана, подметив в нем колебание, которого женщины не прощают.

Умный мужчина должен отвечать согласием на все капризы женщины и затем незаметно подсказывать ей мотивы для противоположного решения, делая вид, что это ее право — без конца менять свой выбор, мнения и чувства. В душе Виктюрньена впервые вспыхнул гнев, какой охватывает натуры слабые и мечтательные: он подобен грозе с дождем и редкими вспышками молнии, но без раскатов грома. И граф обошелся весьма грубо с этим ангелом, которому верил и ради которого поставил на карту больше, чем жизнь: честь своего рода.

— Так вот к чему пришли мы после двух с половиной лет нежной любви! — воскликнула она.— Вы мне сделали больно, очень больно! Уходите прочь! Я больше не хочу вас видеть. Я-то думала, что вы меня любите, но теперь я вижу, что жестоко ошибалась.

— Я вас не люблю?! — растерянно выговорил молодой человек, сраженный этим обвинением.

— Нет, не любите, сударь.

— Как вы можете это говорить! — воскликнул он.— Ах, если бы вы знали, что я совершил ради вас!

— А что такое вы совершили ради меня, сударь? — спросила она.— Как будто не ваш долг — сделать все для женщины, которая столько сделала для вас?

— Вы даже недостойны узнать это! — крикнул в бешенстве Виктюрньен.

— А!

После этого выразительного «А!» Диана опустила голову, подперла ее рукой и долго сидела так, холодная, неподвижная, неумолимая, как подобает ангелам, не разделяющим никаких человеческих чувств. Когда д'Эгриньон увидел зловещую позу своей возлюбленной, он позабыл о грозившей ему опасности. Разве он только что не оскорбил самое небесное создание в мире? Граф жаждал получить прощение, он бросился к ногам Дианы де Мофриньез и, осыпая их поцелуями, плакал, умолял. Несчастный молодой человек пробыл у ног безмолвной герцогини два часа, но напрасно он безумствовал — лицо ее по-прежнему оставалось ледяным, и только время от времени по нему катились крупные слезы, которые она спешила тут же стереть, чтобы не дать осушить их недостойному любовнику. Герцогиня разыгрывала ту скорбь, которая придает женщинам величие и святость. За первыми двумя часами последовали еще два. Графу, наконец, удалось завладеть рукой Дианы, но рука была холодна и бездушна. Эта прекрасная рука, дарившая ему такие сокровища нежности, казалась теперь гибкой веткой дерева: она ничего не выражала; она не была ему дана, он сам схватил ее. Виктюрньен больше не ощущал в себе жизни, перестал мыслить. Он не заметил бы солнца в небе. Что делать? Как поступить? Какое принять решение? В таких случаях мужчина способен сохранить хладнокровие, только если обладает такой же выдержкой, как тот каторжник, который, выкрав ночью золотые медали из Королевской библиотеки, явился утром к своему честному брату, чтобы их переплавить; когда брат спросил его: «Что нужно сделать?», каторжник ответил: «Свари мне кофе». Но Виктюрньен словно оцепенел, его мозг затопили волны мрака. Среди этой мглы, подобно образам Рафаэля, написанным на черном фоне, перед ним проплывали картины сладострастных ласк, с которыми он должен был теперь навеки распроститься. А герцогиня все с тем же презрительным и неумолимым выражением лица играла концом своего шарфа и бросала гневные взгляды на Виктюрньена; она кокетничала своими воспо-

минаниями, называла любовнику его соперников, словно в гневе решила заменить кем-нибудь из них этого неблагодарного человека, способного в одно мгновение отречься от любви, продолжавшейся больше двух лет.

— Ах,— говорила она,— уж, конечно, этот прелестный молодой человек, Феликс де Ванденес, который так верен госпоже де Морсоф, не позволил бы себе подобной сцены: он-то в самом деле любит! А де Марсе, этот страшный де Марсе, которого все почитают таким жестоким,— он груб только с мужчинами, а всю свою утонченную нежность приберегает для женщин. Да, Монриво погубил герцогиню де Ланже, как Отелло — Дездемону, но в порыве бешенства, доказывающем его безумную любовь; это хоть не так пошло, как обыкновенная ссора! Такая гибель даже приятна! Всем известно, что хилым, тщедушным блондинам нравится мучить женщин, они способны властвовать только над бедными слабыми созданиями, они и любят-то только для того, чтобы хоть в этом почувствовать себя мужчинами. Тиранство в любви — для них единственная возможность показать свою силу. Она сама не понимает, как могла подчиниться блондину! У де Марсе, Монриво, Ванденеса, у этих красавцев-брюнетов, в глазах играет солнце!

На Виктюрньена сыпался целый поток злых острот, и казалось, они проносятся со свистом, точно пули. Каждым своим словом Диана унижала, колола, ранила, как десять дикарей, когда они хотят хорошенько помучить привязанного к столбу врага.

Наконец граф, выведенный из терпения, воскликнул: «Да вы с ума сошли!» — и выбежал вон, бог знает в каком состоянии! Он правил лошадью так, точно никогда не держал в руках вожжи. Он задевал встречные экипажи, проезжая через площадь Людовика XV, налетел на тумбу и мчался, сам не зная куда. Его лошадь, не чувствуя направляющей руки, неслась по набережной д'Орсе прямо в свою конюшню. На углу улицы Университета кабриолет остановил Жозефен.

— Граф,— сказал перепуганный старик,— не извольте возвращаться домой, там пришли вас арестовать...

Виктюрньен решил, что причина приказа об аресте— подложный чек, который, кстати сказать, еще не мог

попасть в руки королевского прокурора, а не выданные им настоящие векселя. На самом деле они вот уже несколько дней переходили из рук в руки и теперь благодаря стараниям коммерческого суда выступили на сцену в сопровождении сыщиков, понятых, мировых судей, полицейских, жандармов и прочих представителей общественного порядка. Но, подобно большинству преступников, Виктюрньен только после совершенного преступления подумал об опасных его последствиях.

— Я пропал! — воскликнул он.

— Да нет же, ваше сиятельство, поезжайте дальше, в гостиницу Лафонтена, что на улице Гренель. Там вы найдете мадемуазель Арманду; они приехали; лошади запряжены в карету, и барышня вас тотчас увезут.

В полной растерянности Виктюрньен судорожно ухватился за эту возможность спасения, словно утопающий за соломинку; он помчался в гостиницу, застал там тетку и кинулся ей на шею. Она рыдала, точно кающаяся Магдалина, точно сама была соучастницей грехов, совершенных ее племянником. Они тотчас сели в карету и скоро очутились за Парижской заставой, на дороге, ведущей в Брест. Виктюрньен, удрученный, хранил молчание. Когда тетка и племянник, наконец, были в силах заговорить друг с другом, между ними продолжалось то роковое недоразумение, из-за которого Виктюрньен, забыв обо всем, бросился в объятия мадемуазель Арманды: он думал о своем подлоге, а тетка—о его долгах и векселях.

— Вы знаете все, тетушка,— сказал он.

— Да, бедное дитя мое, но мы здесь—и поможем тебе. Сейчас я не буду бранить тебя, ободрись.

— Меня нужно будет спрятать.

— Может быть... Да, это отличная мысль.

— Хорошо бы устроить так, чтобы мы приехали ночью и я мог незаметно войти в дом к Шенелю!

— Ты прав, нам тогда легче будет скрыть все от твоего отца. Бедный ангел, как он страдает! — промолвила она, лаская своего недостойного племянника.

— О, теперь я понимаю, что такое бесчестье! Оно охладило пыл моей любви.

— Несчастный мальчик! Столько счастья и столько страданий!

Мадемуазель Арманда прижимала пылающую голову Виктюрньена к своей груди, целовала его лоб, влажный от испарины, несмотря на холод, как некогда жены-мироносицы лобызали чело Иисуса, обвивая его тело пеленами.

Блудный сын был, как он того и хотел, глубокой ночью доставлен в мирный дом Шенеля на улицу Беркай, но случаю было угодно, чтобы, явившись туда, он, как говорится, попал прямо волку в пасть. Шенель только что закончил переговоры о продаже своей конторы старшему клерку г-на Лепрессуара, который считался нотариусом либералов, так же как сам Шенель считался нотариусом аристократов. Молодой клерк принадлежал к довольно богатой семье, которая могла внести Шенелю солидный задаток в сто тысяч франков.

«Имея сотню тысяч франков,— говорил себе в эту минуту Шенель, потирая руки,— можно погасить немало долгов. Молодой человек, наверно, связался с ростовщиками, мы запрем его здесь, я сам отправлюсь в Париж и угомоню этих псов».

Шенель, честный, добродетельный, достойный Шенель, называл *псами* кредиторов своего обожаемого дитятки, графа Виктюрньена!

Будущий владелец конторы на улице Беркай как раз выходил от Шенеля, когда коляска мадемуазель Арманды подъехала к дому. Вполне понятно, что в провинциальном городе появление коляски у дверей старика нотариуса, и притом в столь поздний час, не могло не вызвать любопытства молодого человека, который притаился в нише какой-то двери и увидел мадемуазель Арманду.

«Мадемуазель Арманда д'Эгриньон здесь? Глубокой ночью? Что же происходит у д'Эгриньонов?»— сказал он про себя.

Шенель встретил Арманду с довольно таинственным видом и прикрыл рукой ночник. Заметив Виктюрньена, старик с первых же слов, сказанных ему на ухо мадемуазель Армандой, понял все; он окинул взглядом улицу, которая была тиха и безлюдна, затем сделал знак графу; тот выскочил из коляски и вбежал во двор, но— на свою гибель: убежище его было теперь известно преемнику Шенеля.

— Ах, ваше сиятельство!— воскликнул бывший нотариус, когда Виктюрньен был водворен в комнату, дверь которой выходила в кабинет Шенеля и куда, следовательно, можно было проникнуть, только переступив через труп старика.

— Да, сударь,— отвечал молодой человек, поняв смысл этого восклицания своего старого и преданного друга,— я вас не послушался и скатился на дно пропасти, где мне, видно, придется погибнуть.

— Нет, нет,— сказал старик, торжествующе взглянув на мадемуазель Арманду и графа.— Я продал свою контору. Я достаточно поработал и давно подумываю об отдыхе. Завтра в полдень у меня будут сто тысяч франков, а с такими деньгами можно многое уладить. Мадемуазель,— продолжал он,—вы, наверно, утомлены, садитесь-ка в коляску, поезжайте домой и ложитесь спать. Делами займемся завтра.

— А он в безопасности?— спросила Арманда, указывая на Виктюрньена.

— Да,— ответил старик.

Тетка обняла племянника, уронив на его лоб несколько слезинок, и уехала.

— Добрый Шенель, что значат ваши сто тысяч франков в моем положении?— сказал граф старику нотариусу, когда они уселись и заговорили о делах.—Вы, видно, не знаете всей меры моих несчастий!

И Виктюрньен рассказал обо всем. Шенель был сражен. Если бы не его беспредельная преданность, он, может быть, не вынес бы этого удара. Казалось, старик уже давно утратил способность плакать, но теперь из его глаз в два ручья бежали слезы. На несколько мгновений он стал как бы ребенком, им овладело безумие; так теряет разум человек, увидев, как горит его дом, как пламя охватывает колыбель его детей, когда он слышит потрескивание их пылающих волос. Затем Шенель встал, он словно вырос, сказал бы Амио, воздел старческие руки и потряс ими в отчаянии и безумии.

— Пусть ваш отец сойдет в могилу, ничего не узнав, молодой человек! Довольно того, что вы дошли до подлога, не будьте же еще отцеубийцей! Бежать? Нет! Вас приговорят заочно. Несчастный юноша, почему вы не подделали мою подпись? Я-то ведь уплатил бы и не пе-

редал вексель прокурору! А теперь я бессилен. Вы меня живьем упрятали в могилу. Дю Круазье!.. Что делать? Как быть? Если бы вы убили кого-нибудь, это еще иногда прощается, но подлог! Подлог!А время, время-то летит,— проговорил он с отчаянием, указывая на свои старые стенные часы.— Теперь вам нужен фальшивый паспорт. Одно преступление влечет за собой другое. Необходимо...—продолжал он после короткой паузы,— необходимо прежде всего спасти честь рода д'Эгриньонов.

— Но ведь деньги-то остались у госпожи де Мофриньез! — вдруг воскликнул Виктюрньен.

— А! — отозвался Шенель.— Тогда еще есть надежда, правда очень слабая. Удастся ли нам смягчить дю Круазье, купить его? Он может получить, если захочет, все родовые земли д'Эгриньонов. Я пойду к нему, подниму его с постели,— предложу все, чего он захочет. Прежде всего скажу, что подлог совершил я, а не вы. Меня приговорят к каторжным работам, но я слишком стар, они могут только посадить меня в тюрьму.

— Но ведь вексель написан моей рукой,— сказал Виктюрньен, ничуть не удивленный этой безрассудной преданностью.

— Глупец!.. Простите, господин граф. Надо было заставить Жозефена написать вексель,— воскликнул старик в бешенстве.— Он славный малый и взял бы все на себя. А теперь — конец, все рухнуло,— продолжал Шенель и, обессилев, опустился на стул.— Дю Круазье жесток, как тигр, остережемся будить его. Который час? Где вексель? В Париже его можно было бы выкупить у Келлеров, они пошли бы на это. Ах, в таком деле каждый пустяк может погубить нас! Один неверный шаг, и мы пропали. Во всяком случае нужны деньги. Слушайте, никто не знает, что вы здесь, спрячьтесь хоть в погреб, если надо. Я же еду в Париж, немедленно... Слышите, как раз подходит почтовая карета из Бреста.

В один миг к старику вернулись все силы молодости, живость, энергия: он быстро собрал в дорогу нужные вещи, взял деньги, затем схватил со стола шестифунтовый хлеб, отнес его в соседнюю каморку и, втолкнув туда своего приемного сына, запер дверь на ключ.

— Ни звука,— сказал он ему,— сидите тут до моего возвращения; по вечерам не зажигайте огня, или вас ждет каторга! Вы меня поняли, господин граф? Да, каторга, если кто-нибудь в городе проведает, что вы здесь.

Шенель вышел из дома, наказав домоправительнице говорить всем, что он болен, никого не принимает, всех выпроваживать и отложить все дела на три дня. Затем он отправился к почтмейстеру, наплел ему целую романтическую историю — у него в данном случае оказался даже дар романиста — и добился обещания, что, если в карете окажется место, его возьмут без подорожной и что его внезапный отъезд будет сохранен в тайне. К счастью, почтовая карета оказалась пустой.

Приехав в Париж следующей ночью, нотариус в девять часов утра уже был у Келлеров; там он узнал, что роковой чек три дня как возвращен дю Круазье; выясняя все это, он не обмолвился ни одним словом, которое могло бы скомпрометировать графа. Перед тем как уйти из банкирской конторы, он спросил, нельзя ли, возместив сумму долга, получить чек обратно. Франсуа Келлер ответил, что владельцем документа является дю Круазье, и он волен оставить его у себя или вернуть. Тогда нотариус в отчаянии отправился к герцогине. В столь ранний час она никого не принимала. Но Шенелю была дорога каждая минута; он сел в прихожей, набросал несколько строк и, прибегая то к подкупу, то к строгости, то к уговорам, все-таки заставил наглых и неприступных слуг герцогини передать ей записку.

Хотя госпожа де Мофриньез еще лежала в постели, она, к удивлению всей челяди, приняла у себя в спальне чудно̀го старика в черных коротких штанах, шерстяных чулках и башмаках с пряжками.

— Что случилось, сударь? — спросила она, привставая с подушек, в своем пленительном неглиже.— Чего он хочет от меня, этот неблагодарный?

— Случилось то, ваша светлость,— воскликнул добряк,— что у вас находятся наши сто тысяч экю!

— Да,— отозвалась она,— так в чем же дело?

— Эта сумма получена с помощью подлога, из-за которого наш граф может угодить на каторгу, а совершил он этот подлог из любви к вам,— торопливо говорил Шенель.— Как вы, столь умная женщина, не догадались?

Вместо того чтобы бранить молодого человека, вам следовало расспросить его да вовремя удержать и спасти от беды. А теперь, дай бог, чтобы несчастье оказалось поправимым! Нам понадобится все ваше влияние при дворе.

С первых же слов, объяснивших ей, в чем дело, герцогине стало стыдно за свое отношение к столь пылкому любовнику; она испугалась также, как бы ее не обвинили в соучастии. Желая показать, что она и не коснулась этих денег, Диана пренебрегла всеми приличиями, хотя, впрочем, не считала нотариуса за мужчину: резким движением сбросив с себя пуховую перинку, она кинулась к секретеру, мелькнув мимо Шенеля точно ангел на виньетке к стихам Ламартина, и, протянув ему сто тысяч экю, сконфуженно юркнула опять в постель.

— Вы — ангел, сударыня,— сказал Шенель (видно, такова уж была ее судьба — всем казаться ангелом!).— Но это еще не все,— прибавил он,— я рассчитываю на вашу помощь, чтобы спасти нас.

— Спасти вас? Я добьюсь этого или сама погибну! Как же сильно нужно любить, чтобы решиться на преступление! Ради какой женщины совершались подобные дела? Бедный мальчик! Спешите домой, не теряйте времени, милый господин Шенель. Положитесь на меня, как на самого себя.

— Ах, ваша светлость! Ваша светлость!—только и в силах был выговорить бедный старик, так он разволновался. Он плакал, он готов был плясать, но побоялся сойти с ума и взял себя в руки.

— Теперь мы еще посмотрим, чья возьмет! Мы спасем его! — сказал он, уходя.

Затем Шенель поспешил к Жозефену, который отпер ему секретер и письменный стол Виктюрньена, где хранились документы молодого графа; старик, к счастью, нашел там несколько писем от дю Круазье и от Келлеров, которые могли пригодиться. Затем он сел в дилижанс, уже готовый к отходу. Он щедро заплатил почтальонам, и тяжелая колымага помчалась со скоростью почтовой кареты, а так как с ним ехало двое пассажиров, спешивших не меньше, чем он, то они решили даже пообедать, не выходя из экипажа. Дорога словно неслась им навстречу, и нотариус, пробыв в отлучке три дня, снова очутился до-

ма на улице Беркай. Хотя было еще только одиннадцать часов вечера, Шенель понял, что прибыл слишком поздно: у входа стояли жандармы, а когда нотариус подошел ближе, то увидел, что по двору ведут молодого графа,— он был арестован. Будь это в его власти, старик, конечно, убил бы всех представителей правосудия и солдат, но он мог только кинуться на шею Виктюрньену.

— Если мне не удастся замять дело, вам придется, не дожидаясь обвинительного заключения, покончить с собой,— прошептал Шенель ему на ухо.

Виктюрньен был так ошеломлен, что только посмотрел на старика, не понимая его.

— Покончить с собой? — переспросил он.

— Да! Если у вас не хватит храбрости, мой мальчик, рассчитывайте на меня,— сказал Шенель, сжимая ему руку.

Несмотря на боль, которую в нем вызывало это зрелище, он продолжал стоять среди двора, едва держась на дрожащих ногах, и смотрел, как его любимое дитя, графа д'Эгриньона, наследника столь славного рода, уводят жандармы в сопровождении полицейского комиссара, мирового судьи и судебного пристава. Решительность и самообладание вернулись к старику лишь тогда, когда эта группа скрылась из виду, смолк шум их шагов и на улице снова воцарилась тишина.

— Сударь, вы схватите насморк,— сказала Бригитта.

— Пошла ты к черту! — нетерпеливо крикнул старик.

Бригитта, которая за двадцать девять лет службы у Шенеля не слышала по своему адресу ничего подобного, выронила свечку; но, не обращая внимания на ужас домоправительницы, даже не расслышав ее возмущенного восклицания, нотариус пустился бежать на улицу Валь-Нобль.

«Спятил! — сказала про себя Бригитта.— Да, признаться, и есть от чего. Куда его понесло? Разве его теперь догонишь? А что с ним будет? Уж не топиться ли побежал?»

Бригитта разбудила старшего клерка и послала его на берег реки, получившей печальную славу после самоубийства молодого человека, подававшего блестящие надежды, и недавней гибели соблазненной девушки. А Ше-

нель спешил к дому дю Круазье. Там была его последняя надежда. Подлоги преследуются судом только по жалобе пострадавших лиц. Если бы дю Круазье согласился, жалобу можно было объяснить недоразумением; Шенель все еще надеялся купить этого человека.

В тот вечер у супругов дю Круазье собралось гораздо больше гостей, чем обычно. Хотя председатель суда дю Ронсере, первый помощник королевского прокурора Соваже и бывший хранитель ипотек дю Кудре, удаленный от должности потому, что голосовал не за того, за кого следовало, решили держать дело графа д'Эгриньона в тайне, но г-жа дю Ронсере и г-жа дю Кудре по секрету разболтали о нем одной или двум из своих ближайших приятельниц. И новость быстро распространилась среди того полудворянского, полубуржуазного общества, которое обычно собиралось у дю Круазье. Каждый сознавал серьезность этого дела и не решался заговорить о нем открыто. Кроме того, приверженность г-жи дю Круазье к высшей аристократии была настолько общеизвестна, что гости, горевшие желанием узнать подробности беды, обрушившейся на семью д'Эгриньон, едва решались перекинуться вполголоса двумя-тремя словами. Лица, наиболее заинтересованные, ждали той минуты, когда г-жа дю Круазье удалится в свою спальню, чтобы там, вдали от критического ока мужа, предаться перед сном своим религиозным обязанностям. Едва хозяйка дома удалилась, как приверженцы дю Круазье, знавшие о тайных замыслах этого видного промышленника, окинули взором присутствующих, но, заметив в гостиной несколько лиц, чьи мнения и интересы внушали им подозрения, продолжали играть в карты. Около половины двенадцатого остались только ближайшие приятели дю Круазье — Соваже, судебный следователь Камюзо с женой, супруги Ронсере, их сын Фабиен, супруги дю Кудре и Жозеф Блонде, старший сын старика судьи,— всего десять человек.

Рассказывают, что Талейран, сидя в некую роковую ночь за картами у герцогини де Люинь, в три часа утра прервал игру, положил на стол часы и обратился к остальным игрокам с вопросом, есть ли у принца де Конде еще дети, кроме герцога Энгиенского.

— Зачем вы спрашиваете о том, что вам и так хорошо известно? — отозвалась г-жа де Люинь.

— Затем, что если у принца больше нет детей, то род де Конде прекратился.

Воцарилось минутное молчание; затем игра продолжалась. Жест Талейрана повторил и дю Ронсере,— потому ли, что знал этот эпизод из современной истории, или потому, что люди мелкие в политической жизни невольно подражают великим. Он взглянул на свои часы и сказал, прервав игру в бостон:

— Сейчас арестован молодой граф д'Эгриньон, и это столь гордое семейство навсегда обесчещено.

— Значит, вам все-таки удалось поймать мальчишку? — радостно воскликнул дю Кудре.

Присутствующие, за исключением председателя суда, помощника прокурора и дю Круазье, выразили крайнее изумление.

— Граф только что арестован в доме Шенеля, где он скрывался,— веско произнес г-н Соваже, помощник прокурора. Он считал, что при своих способностях мог бы быть министром полиции, но его недооценивают.

Соваже был тощий и долговязый курчавый брюнет лет двадцати пяти, с длинным оливковым лицом и ввалившимися глазами, окаймленными снизу широкой синеватой тенью, а сверху — морщинистыми, темно-бурыми веками. У него был хищный, крючковатый нос, поджатые губы и дряблые щеки, впалые от чрезмерных занятий и честолюбивых томлений. Он принадлежал к числу тех посредственностей, которые ждут благоприятного случая и готовы пойти на все, лишь бы выдвинуться, не переходя при этом границ дозволенного и сохраняя видимость законности. При всей своей важности он был подхалимом и краснобаем. Тайну убежища молодого графа он узнал от преемника Шенеля, однако приписывал это открытие своей прозорливости. Сообщенная им новость, видимо, сильно удивила Камюзо, но на основании следствия, произведенного Соваже, он дал приказ об аресте, выполненный с такой быстротой. Камюзо был белокурый коротышка лет тридцати, обрюзгший и уже успевший располнеть; у него был землистый цвет лица, как почти у всех чиновников, проводящих жизнь в своих кабинетах или залах для заседаний; его маленькие светло-желтые глазки смотрели на

мир с недоверием, которое частенько принимают за хитрость.

Госпожа Камюзо кинула на мужа красноречивый взгляд, как бы говоривший: «Разве я не была права?»

— Значит, дело дойдет до суда? — спросил следователь.

— А вы сомневались? — ответил дю Кудре.— Все кончено: ведь граф попался.

— Важны присяжные,— заметил г-н Камюзо.— Для этого процесса префект сумеет подобрать подходящих людей, а если принять во внимание право прокуратуры и право защиты на отвод, то останутся только те, кто будет настроен в пользу оправдания. Мой вам совет пойти на мировую,— продолжал он, обращаясь к дю Круазье.

— На мировую? — вмешался председатель суда.— Но делу ведь уже дан ход?

— Оправдают графа д'Эгриньона или осудят, все равно он будет опозорен,— сказал помощник прокурора.

— Я — гражданский истец,— заявил дю Круазье,— с моей стороны выступит Дюпен-старший. Посмотрим, как д'Эгриньоны вырвутся из его когтей.

— Поверьте, они сумеют защититься,— сказала г-жа Камюзо,— и найдут в Париже хорошего адвоката; вашим противником может оказаться Берье. Вот и найдет коса на камень.

Дю Круазье, Соваже и председатель дю Ронсере посмотрели на следователя — и у всех троих мелькнула одна и та же мысль. Вызывающий тон, каким молодая женщина бросила эту пословицу в лицо заговорщикам, решившим погубить семью д'Эгриньонов, пробудил в них тревогу, хотя каждый скрыл ее, как умеют скрывать свои чувства только провинциалы, привыкшие быть постоянно на глазах друг у друга и хитрить точно монахи, живущие в одном монастыре. Г-жа Камюзо сразу заметила, как вытянулись их лица, едва они почуяли, что следователь может выступить против планов дю Круазье.

Заметив, что муж высказал свои затаенные мысли, она решила выяснить силу и глубину ненависти дю Круазье и выведать, чем он купил поддержку Соваже,

который действовал с такой поспешностью и вразрез с желанием властей.

— Во всяком случае,— сказала она,— если по этому делу из Парижа приедут знаменитые адвокаты, процесс обещает быть весьма интересным; но дело, вероятно, все же успеют замять, пока оно не перешло из камеры следователя в уголовный суд. Можно думать, что правительство втайне приложит все усилия к тому, чтобы спасти молодого человека, который принадлежит к старинному роду и имеет такую возлюбленную, как герцогиня де Мофриньез. Поэтому мы вряд ли будем свидетелями громкого скандала.

— Как вы, однако, смело судите, сударыня! — строго заявил председатель.— Или вы полагаете, что суд, который будет разбирать это дело и выносить приговор, способен действовать из соображений, чуждых справедливости?

— События доказывают обратное,— ответила она, лукаво посмотрев на помощника прокурора и председателя суда, ответивших ей холодным взглядом.

— Объяснитесь, сударыня,— сказал Соваже.— Можно подумать, что мы не выполняли своего долга.

— Не придавайте значения словам моей жены,— заметил Камюзо.

— Но разве то, что сказал господин председатель, не предрешило исход дела, который должен зависеть от судебного следствия? — продолжала она.— А ведь следствие еще только предстоит, и никакого решения вынесено еще не было?

— Мы сейчас не в суде,— язвительно заметил помощник прокурора,— к тому же все это мы отлично знаем.

— Королевский прокурор пока еще ничего не знает,— ответила она, глядя на него с насмешкой.— Он поспешит вернуться из палаты депутатов. Наделали вы ему хлопот! Вероятно, он выступит сам.

Помощник прокурора нахмурил свои густые брови, и его сообщники прочли на его челе запоздалые сожаления. Затем воцарилось глубокое молчание, и слышался только шорох тасуемых и сбрасываемых карт. Супруги Камюзо, увидев в отношении себя такую холодность, поспешили удалиться, решив не мешать заговорщикам.

— Камюзо,— сказала жена уже на улице,— ты слишком поторопился. Зачем ты дал этим людям основание подозревать, что ты не сочувствуешь их планам? Как бы они не подложили тебе свинью.

— А что они могут? Я здесь единственный судебный следователь.

— Но кто им помешает исподтишка оклеветать тебя и добиться твоей отставки?

В это мгновение они столкнулись с Шенелем. Старик узнал следователя. Дальновидность многоопытного нотариуса подсказала ему, что судьба д'Эгриньонов находится в руках этого молодого человека.

— Ах, сударь,— воскликнул Шенель,— вы нам крайне нужны! Я хотел бы сказать вам только одно словечко. Извините меня, сударыня,— обратился он к г-же Камюзо, отводя в сторону ее мужа.

Как верная сообщница, супруга следователя осталась стоять на страже, не спуская глаз с дома дю Круазье, чтобы прервать разговор мужа с Шенелем, если кто-нибудь оттуда выйдет, однако г-жа Камюзо не без основания решила, что враги, вероятно, обсуждают те соображения, которые она только что выдвинула, и поэтому появятся не скоро.

Шенель увлек следователя в тень дома и зашептал ему на ухо:

— Вам обеспечена поддержка герцогини де Моффриньез, принца Кадиньяна, герцогов де Наваррена, де Ленонкура, хранителя государственной печати, канцлера, короля — словом, всех, если вы захотите отстоять д'Эгриньонов. Я только что из Парижа, мне все было известно, и я поспешил объяснить дело двору. Мы рассчитываем на вас, это останется между нами. Если же вы примете сторону наших врагов, я завтра снова поеду в Париж и подам жалобу на лицеприятные действия местных судебных властей, ибо многие из них были нынче вечером у дю Круазье, ели и пили у него вопреки закону, и вообще они ему друзья-приятели.

Шенель, будь это в его власти, готов был привлечь к делу д'Эгриньонов самого господа бога. Не дожидаясь ответа, он помчался с быстротою молодого оленя к дому дю Круазье.

А г-жа Камюзо так настойчиво стала требовать от мужа, чтобы он открыл ей, о чем с ним говорил Шенель, что следователь не выдержал натиска и выполнил ее желание; слушая его рассказ, она повторяла каждую минуту: «Ну разве я не была права, мой друг?» — слова, которые женщины твердят даже тогда, когда они неправы,— в этом случае уже менее кротко. Пока Камюзо дошел до дома, он вполне успел признать превосходство своей супруги, а также счастье быть ее мужем; это признание, несомненно, предвещало супругам приятную ночь. Шенель же вскоре встретил своих врагов, как раз выходивших от дю Круазье, и с беспокойством решил, что тот, пожалуй, уже лег спать: это было бы для Шенеля несчастьем, ибо обстоятельства требовали быстрых и решительных действий.

— Именем короля, откройте! — крикнул он слуге, запиравшему входную дверь.

Он только что упомянул имя короля перед каким-то ничтожным, но честолюбивым следователем, и это слово опять сорвалось с его губ; он сам не знал, что говорит, он был почти в бреду. Дверь отворилась, и Шенель, словно вихрь, ворвался в прихожую.

— Вот что, приятель,— обратился он к слуге,— если ты сейчас же разбудишь госпожу дю Круазье и вызовешь ее сюда, ты получишь сто экю. Можешь сказать ей все, что захочешь.

Когда Шенель очутился в роскошной гостиной дю Круазье, по которой тот ходил большими шагами, к нотариусу вернулись обычное спокойствие и хладнокровие. Несколько мгновений они мерили друг друга взглядом, и в нем отразилась их двадцатилетняя взаимная вражда и ненависть. Один уже схватил за горло д'Эгриньонов, другой бросился, как лев, на их защиту.

— Сударь,— наконец заговорил Шенель,— смиренно кланяюсь вам. Вы уже подали жалобу?

— Да, сударь.

— А когда?

— Вчера.

— Никакого другого документа, кроме приказа об аресте, пока не составлено?

— Вероятно,— отозвался дю Круазье.

— Я пришел договориться с вами.

— Суд уже занялся этим делом, расследование пойдет в обычном порядке, приостановить уже ничего нельзя.

— Не будем говорить об этом... Я в вашей власти, у ваших ног.

Шенель упал на колени и с мольбой протянул руки к дю Круазье.

— Чего вы требуете? Хотите получить наши поместья? Наш замок? Берите все, но возьмите жалобу обратно, оставьте нам только жизнь и честь. Кроме всего этого, я готов быть вашим слугой. Можете мной располагать, как вам угодно!

Дю Круазье предоставил старику стоять на коленях, а сам опустился в кресло.

— Вы не будете мстить, вы добры, вы не настолько нас ненавидите, чтобы отказаться от полюбовного соглашения,— говорил нотариус.— От вас зависит, чтобы к утру юноша уже был на свободе.

— Весь город знает об его аресте,— ответил дю Круазье, наслаждаясь своей местью.

— Это большое несчастье; но, если не будет ни суда, ни вещественных доказательств, все можно уладить.

Дю Круазье погрузился в размышления, и Шенель решил, что им овладело корыстолюбие; в сердце старика ожила надежда, что он победит врага с помощью этого могущественного двигателя человеческих интересов. В эту решающую минуту вошла г-жа дю Круазье.

— Подите сюда, сударыня, помогите мне уговорить вашего любезного супруга,— обратился к ней Шенель, все еще стоя на коленях.

Госпожа дю Круазье, пораженная, поспешила поднять старика. Шенель рассказал ей суть дела. Когда эта достойная дочь управителя герцогов Алансонских узнала, о чем идет речь, она обернулась к дю Круазье, глаза ее были полны слез.

— Ах, сударь! — сказала она.— Неужели вы можете колебаться? Ведь д'Эгриньоны — гордость всего нашего края!

— Как будто в этом дело! — воскликнул дю Круазье и, вскочив, снова взволнованно зашагал по комнате.

— А тогда в чем же? — удивленно спросил Шенель.

— Дело, господин Шенель, идет о Франции, о нашем отечестве, о народе, о том, чтобы показать вашим господам аристократам, что существует правосудие, существуют законы, существуют буржуа и мелкие дворяне, которые не хуже их и наконец поймали их. Нельзя на охоте ради одного зайца истоптать десяток колосящихся полей, нельзя позорить семьи, совращая бедных девушек, нельзя презирать людей, которые не менее достойны, чем мы, нельзя безнаказанно издеваться над ними в течение десяти лет; все эти обиды растут и образуют лавины, а лавины в конце концов обрушиваются и засыпают господ аристократов. Вы же мечтаете о возврате старого порядка, вы хотите порвать общественное соглашение — Хартию, в которой записаны наши права.

— Что же из этого следует? — проговорил Шенель.

— Разве не наша священная обязанность открыть народу глаза? — воскликнул дю Круазье.— Он наконец поймет, каковы нравственные устои вашей партии, когда увидит, что дворянин сидит на скамье подсудимых, как любой проходимец. Он поймет, что простые люди, которые дорожат своей честью, сто́ят больше, чем знатные господа, которые позорят ее. Суд присяжных существует для всех. Я выступаю в этом деле как защитник народа, как друг законов. Вы сами дважды толкнули меня к народу — сначала отказавшись породниться со мной, а затем не допустив в свое общество. Теперь вы пожинаете то, что посеяли.

Эта речь испугала и Шенеля и г-жу дю Круазье. К ее ужасу, характер мужа вдруг предстал перед ней в истинном свете, как будто внезапная вспышка осветила не только прошлое, но и предстоявшее ей будущее. Казалось, ничто не может поколебать этого неумолимого человека. Однако Шенель не отступил даже перед невозможным.

— Как, сударь! Неужели вы не простите? Разве вы не христианин? — произнесла г-жа дю Круазье.

— Я прощаю, сударыня, так же, как прощает бог,— на определенных условиях.

— Какие же это условия? — спросил Шенель, в душе которого блеснул луч надежды.

— Скоро выборы, я желаю получить все голоса, которыми вы располагаете.

— Вы их получите,— сказал Шенель.

— Я желаю,— продолжал дю Круазье,— чтобы меня и мою жену каждый вечер, запросто, и хотя бы с видимостью дружелюбия, принимали у себя маркиз д'Эгриньон и его близкие.

— Я еще не знаю, как это сделать. Но вы будете приняты.

— Я желаю получить от вас в связи с этим делом закладную на четыреста тысяч франков, на основе письменного соглашения, чтобы всегда держать вас под угрозой.

— Мы согласны,— ответил Шенель, все еще не признаваясь в том, что у него при себе сто тысяч экю.— Но это соглашение будет находиться у третьего лица, а после уплаты долга и вашего избрания оно должно быть возвращено д'Эгриньонам.

— Нет, только после замужества моей внучатой племянницы, мадемуазель Дюваль, у которой со временем будет, вероятно, четыре миллиона. При заключении брачного контракта я и моя жена назначим эту девицу нашей наследницей; она должна выйти за вашего молодого графа.

— Никогда! — сказал Шенель.

— Никогда? — переспросил дю Круазье, опьяненный сознанием своей власти.— В таком случае — спокойной ночи.

«Какой же я дурак! — сказал себе Шенель.— Ну что мне стоило соврать подобному человеку!»

Дю Круазье, довольный, что он пожертвовал выгодой ради своего оскорбленного самолюбия, вышел из комнаты; он насладился вдоволь тем, что унизил Шенеля, поиграл судьбами знатной семьи, этой надежды аристократии департамента, и взял д'Эгриньонов за горло. Затем он поднялся в спальню, оставив жену с Шенелем. Он упивался своим торжеством, он считал победу уже одержанной, ибо был убежден, что сто тысяч экю растрачены и д'Эгриньоны вынуждены будут для их уплаты продать или заложить свои поместья; судебный процесс казался ему неизбежным. Дела о подлоге улаживаются без труда, если полученная обманом сумма

возмещается. Объектами подобного рода преступлений обычно бывают люди богатые, которые мало заинтересованы в том, чтобы стать причиной бесчестия неосторожного человека. Но дю Круазье не желал так просто отказаться от своих прав. Итак, он лег спать, предаваясь сладостным мечтам о скором осуществлении своих честолюбивых замыслов — либо с помощью судебного процесса, либо путем предложенного им брака, и с удовольствием прислушивался к доносившемуся до него из гостиной жалобному голосу Шенеля, изливавшего свои горести г-же дю Круазье.

Будучи глубоко верующей католичкой, роялисткой и горячей сторонницей аристократии, г-жа дю Круазье всецело разделяла благоговение нотариуса перед д'Эгриньонами. Только что разыгравшаяся сцена глубоко ее оскорбила. Правоверная роялистка услышала во всем этом злобные завывания либералов, которые, по словам ее духовника, жаждали уничтожения католицизма. Для г-жи дю Круазье «левые» олицетворяли 1793 год, с его мятежами и казнями.

— Что сказал бы ваш дядя, этот святой человек? Ведь он слышит нас! — воскликнул Шенель.

Госпожа дю Круазье не ответила, но по ее щекам скатились две крупные слезы.

— Вы послужили однажды причиной смерти бедного юноши и вечного горя его матери,— продолжал Шенель, видя, как метко он наносит удары, и готовый совсем разбить сердце этой женщины, лишь бы спасти Виктюрньена.— Неужели вы хотите смерти мадемуазель Арманды, которая недели не проживет, если семья будет опозорена? Или смерти бедного Шенеля, вашего старого нотариуса, который своими руками убьет молодого графа в тюрьме до того, как ему предъявят обвинительное заключение, а затем покончит с собой, чтобы самому не пойти под суд за убийство?

— Друг мой, довольно, довольно! Я готова сделать все, лишь бы замять это дело, но я по-настоящему узнала господина дю Круазье всего несколько минут назад... Вам я могу признаться... Выхода нет.

— А если он все-таки существует?

— Я полжизни отдала бы, чтобы он нашелся,— за-

кончила она, решительно качнув головой, как бы подтверждая этим горячее желание найти выход.

Подобно первому консулу, который в битве при Маренго до пяти часов вечера терпел поражение, а в шесть одержал победу благодаря отчаянной атаке Дезэ и грозному натиску Келлермана, Шенель, несмотря на то, что все его надежды рухнули, вдруг увидел возможность победы. Надо было быть Шенелем, многоопытным нотариусом, бывшим управляющим, бывшим мелким клерком у метра Сорбье-старшего, нужны были те внезапные прозрения, которые рождает отчаяние, чтобы стать равным Наполеону и даже превзойти его: ибо это не было даже битвой при Маренго, это было Ватерлоо, и Шенель, увидев пруссаков, решил одержать над ними победу.

— Сударыня, вы, чьи дела я вел в течение двадцати лет, вы — гордость буржуазии, как д'Эгриньоны — гордость аристократии, знайте, что спасение этого семейства в ваших руках! А теперь ответьте мне: позволите ли вы опозорить прах вашего дяди, честь д'Эгриньонов, достоинство бедного Шенеля? Хотите ли вы погубить мадемуазель Арманду, которая плачет от горя? Или, наоборот, вы хотите искупить свои грехи, порадовать своих предков, управителей герцогов Алансонских, и успокоить душу вашего дяди-аббата? Если бы он мог восстать из могилы, он повелел бы вам сделать то, о чем я молю вас на коленях!

— Но что же? — воскликнула г-жа дю Круазье.

— Вот они, эти злосчастные сто тысяч экю,— сказал он, извлекая из кармана пачку банковых билетов.— Возьмите их, и все будет кончено.

— Если дело только в этом,— продолжала она,— и я не навлеку на мужа каких-нибудь неприятностей...

— Вы сделаете ему только добро,— сказал Шенель.— Вы спасете его от вечных мук ценой легкого разочарования здесь, на земле.

— Он не будет скомпрометирован? — спросила г-жа дю Круазье, глядя на Шенеля.

И тогда Шенель угадал затаенные мысли, мучившие несчастную женщину. Г-же дю Круазье приходилось выбирать между верностью заповедям религии, предписывающим жене ее обязанности по отношению к мужу, и

верностью престолу и церкви: она видела, что ее муж заслуживает порицания,— и не смела его порицать; она очень хотела бы спасти д'Эгриньонов — и не решалась действовать вопреки интересам мужа.

— Нисколько,— сказал Шенель,— ваш старый нотариус клянется вам на святом евангелии...

Шенель отдал все; ему осталось только пожертвовать д'Эгриньонам вечным спасением своей души, и он рискнул этим спасением, произнося кощунственную ложь; но надо было или ввести в заблуждение г-жу дю Круазье, или погибнуть. Он тут же составил и продиктовал расписку в получении ста тысяч экю, пометив ее пятью днями раньше, чем был предъявлен роковой чек,— он вспомнил, что дю Круазье именно в эти дни уезжал в имение жены, чтобы распорядиться относительно некоторых работ.

— Поклянитесь мне,— сказал Шенель, когда г-жа дю Круазье взяла деньги и когда расписка оказалась у него в руках,— подтвердить следователю, что вы действительно получили эту сумму в указанный день?

— А это не будет ложью?

— Только ложью во спасение.

— Я не могу пойти на нее, не поговорив с моим духовником, аббатом Кутюрье.

— Хорошо,— отозвался Шенель,— но руководствуйтесь в этом деле лишь его советами.

— Обещаю.

— Не возвращайте денег господину дю Круазье раньше, чем вы не дадите показаний следователю.

— Хорошо,— ответила она,— да ниспошлет господь мне силу предстать перед судом человеческим и поддержать там ложь.

Поцеловав руку г-жи дю Круазье, Шенель величаво выпрямился: он напоминал в эту минуту одного из пророков на картинах Рафаэля в Ватикане.

— Душа вашего усопшего дяди ликует; вы навеки искупили вину, которую некогда совершили, сочетавшись браком с врагом престола и церкви.

Эти слова произвели столь сильное впечатление на богобоязненную душу г-жи дю Круазье, что Шенелю пришло на ум заручиться поддержкой аббата Кутюрье, ее духовного наставника. Нотариус знал, с каким упорст-

вом люди благочестивые, поднявшись на защиту своих идей, добиваются их торжества; и он решил как можно скорее привлечь в этой борьбе на свою сторону церковь; он отправился в отель д'Эгриньонов, разбудил мадемуазель Арманду и, рассказав о событиях этой ночи, попросил ее немедленно поехать в епископство, чтобы доставить прелата на поле боя.

«Боже, ты должен спасти род д'Эгриньонов! — воскликнул про себя Шенель, медленным шагом возвращаясь домой.— Теперь все сведется к юридическому поединку. Мы имеем дело с людьми, действиями которых руководят страсти и корыстные интересы, и мы можем всего от них добиться. Этот дю Круазье воспользовался отсутствием королевского прокурора, который нам предан, но находится сейчас в Париже, на сессии палаты... Все же непонятно, каким образом они забрали в руки его старшего помощника, и тот, не посоветовавшись с начальством, передал жалобу в суд? Завтра утром нужно будет непременно проникнуть в эту тайну, нащупать почву, и, если у меня окажутся в руках все нити заговора, быть может, придется опять съездить в Париж и там, через госпожу де Мофриньез, прибегнуть к помощи высоких особ».

Таковы были мысли бедного старика, поседевшего в юридических битвах; и он правильно оценивал положение. Наконец нотариус лег, изнемогая от усталости и пережитых треволнений. Однако перед тем как заснуть, он перебрал в уме всех членов суда, стараясь проникнуть испытующим взором в тайны их честолюбивых помыслов и выяснить, каким путем можно на них воздействовать, каковы его шансы в этой борьбе. Подведя краткий итог тщательному разбору, которому Шенель подверг совесть этих людей, мы дадим читателю некоторое представление о судебных нравах в провинции.

Все судьи и прокуроры, вынужденные начать свою карьеру и осуществлять свои честолюбивые мечтания в провинциальной глуши, мечтают о Париже, жаждут блистать на этой широкой арене, где бывают громкие политические процессы, где суд тесно связан с животрепещущими общественными интересами. Но в этот юридический рай проникают лишь немногие избранники, а де-

вять десятых претендентов рано или поздно бывают вынуждены навсегда обосноваться в провинции. Поэтому в каждом провинциальном трибунале, в каждом суде существуют две резко очерченные категории чиновников: одна — это отчаявшиеся честолюбцы, которые довольствуются почтением, с каким обитатели провинции обычно относятся к представителям правосудия, или те, кто окончательно погрузился в ее тихую, сонную жизнь; другая категория — это энергичные, а иногда и действительно одаренные молодые люди, честолюбие которых не могут охладить никакие разочарования, а жажда выдвинуться постоянно разжигает его в этих служителях Фемиды и доводит их до какого-то неистовства. В те времена роялизм вдохновлял молодых ревнителей правосудия на борьбу с врагами Бурбонов. Любой помощник прокурора мечтал тогда о грозных речах, жаждал крупных политических процессов, в которых мог бы выказать свое усердие, привлечь внимание начальства и выдвинуться. Кто из судейских чиновников не завидовал суду, в чьем округе бывал раскрыт бонапартистский заговор? Кто не жаждал выследить какого-нибудь Карона или Бертона или обнаружить подготовку к вооруженному восстанию? Эти пылкие честолюбцы, чьи надежды поддерживались упорной борьбой партий, ссылались на благо государства и необходимость укрепить во Франции монархический строй; они были необычайно дальновидны, проницательны, предусмотрительны; они неукоснительно исполняли свои полицейские обязанности, шпионили за населением и толкали его на путь покорности, с которого оно не смело сойти. Вера в монархию придавала тогдашней юстиции черты фанатизма; притязая на исправление ошибок старинных парламентов, новейшие суды действовали заодно с церковью — быть может, даже слишком открыто. В эту эпоху юстиция показала себя скорее усердной, чем искусной, она меньше грешила макиавеллизмом, чем откровенностью взглядов, шедших вразрез с общими интересами страны, которую она пыталась оградить от возможных в будущем революций. Но в целом среди судейского сословия было слишком много буржуазных элементов, оно было слишком доступно влиянию мелких страстей, порождаемых либерализмом, и должно было рано или

поздно стать конституционным, а в час решительной схватки — перейти на сторону буржуазии... В огромном организме судебной власти, как и власти административной, таилось немало лицемерия или, говоря точнее, духа подражания, который вечно заставляет Францию копировать двор и, с невинным видом, обманывать его.

Два указанных нами типа юристов имелись и в том суде, который должен был решить судьбу молодого д'Эгриньона. Председатель суда дю Ронсере и старик судья по фамилии Блонде принадлежали к категории смирившихся, готовых довольствоваться своей судьбой и навсегда обосновавшихся в провинции. Среди представителей честолюбивой молодежи были следователь Камюзо и Мишю, назначенный благодаря покровительству знатного семейства Сен-Синь заместителем судьи; он рассчитывал при первой возможности перейти в уголовный суд в Париже.

Председатель дю Ронсере был спокоен за свое место, полагаясь на закон о несменяемости судей; считая, что аристократия не относится к нему с тем почтением, которого он достоин, дю Ронсере принял сторону буржуазии, прикрыв свое разочарование маской независимости; он, очевидно, не понимал, что при своих взглядах будет вынужден остаться на всю жизнь лишь председателем окружного суда. Вступив на этот путь, он, следуя логике вещей, волей-неволей связал все свои надежды на карьеру с победой дю Круазье и «левых». Его не любили ни в префектуре, ни в суде. Дю Ронсере должен был ладить с властями и поэтому казался либералам подозрительным. Таким образом, его не считала своим ни одна из партий. Вынужденный снять свою кандидатуру в депутаты в пользу дю Круазье, дю Ронсере потерял всякое влияние и играл только второстепенную роль. Фальшивость его положения повлияла на его характер, он стал озлобленным и желчным. Устав от необходимости держаться двойственной политики, он втайне решил встать во главе либеральной партии и, таким образом, взять верх над дю Круазье. Поведение председателя суда в деле графа д'Эгриньона было первым шагом на этом пути. Он являлся уже вполне типическим представителем буржуазии, которая оскверняет своими ничтожны-

ми страстями великие интересы страны; неустойчивая в политике, она сегодня стоит за существующую власть, а завтра — против; она все компрометирует и ничего не защищает, приходит в отчаяние от совершенного ею зла и порождает новое, не желает признать собственного ничтожества и докучает власти, прикидываясь ее скромной — а на самом деле наглой — служанкой; требует от народа повиновения, в то время как сама не желает повиноваться королевской власти; охваченная завистью к сильным мира сего, она непременно желает свести их до своего уровня, как будто величие совместимо с ничтожеством, а власть может существовать без силы

Председатель был тощий и долговязый шатен; у него был покатый лоб, реденькие волосы, разноцветные глаза, лицо в прыщах и поджатые губы. Говорил он с хриплым присвистом, так как страдал астмой. Он был женат. Его жена, грузная и весьма нескладная особа, следовала самым нелепым модам и отчаянно рядилась. Она держалась королевой, носила только яркие цвета и, выезжая на бал, неизменно водружала на голову тюрбан — головной убор, столь излюбленный англичанками и имеющий огромный успех у провинциальных дам. Супруги получали четыре-пять тысяч франков годового дохода; вместе с жалованьем председателя их ресурсы составляли тысяч двенадцать в год. Несмотря на скупость, они из тщеславия раз в неделю принимали гостей. Жили они в старинном доме, принадлежавшем г-же дю Ронсере, и, храня верность добрым старым обычаям города, где дю Круазье старался насадить современную роскошь, не переставили у себя с самой свадьбы ни единой вещи. Дом их, выходивший одним фасадом во двор, а другим — в небольшой сад, повернулся к улице боковой стеною, с одним окном в каждом этаже, и был увенчан щипцом крутой крыши в виде треугольника. Все владение окружала высокая ограда, вдоль которой со стороны сада тянулась каштановая аллея, а со стороны двора — службы. Сад был отделен от улицы ветхой, заржавевшей решеткой; во двор вели ворота, стиснутые двумя стенами и прикрытые широким навесом. Такой же навес украшал и парадное крыльцо. Под навесами было душно, темно, затхло. В стене, отделявшей дом от соседнего, было пробито несколько окошечек, забран-

ных решетками, как в тюрьме. Цветам, казалось, не хотелось расти на квадратных клумбочках этого садика, который был виден каждому через редкую решетку. В нижнем этаже дома, по одну сторону большой прихожей, была расположена гостиная, с окном на улицу и застекленной дверью в сад. По другую сторону находилась такой же величины столовая. Эти три комнаты вполне отвечали унылому виду дома. На потолках перекрещивались разрисованные балки, а квадраты между ними были украшены скупым, утомительным для глаз орнаментом в виде ромбов с резными деревянными розетками. Стенная роспись крикливых тонов поблекла и потемнела. В гостиной висели красные шелковые, выгоревшие от солнца портьеры и стояла выкрашенная в белый цвет мебель, обитая поблекшим штофом. Камин украшали часы времен Людовика XV и безвкусные жирандоли с восковыми свечами, которые зажигались лишь в высокоторжественные дни, когда супруга председателя совлекала зеленый чехол со старинной люстры, украшенной подвесками из горного хрусталя. Три карточных стола с изъеденным молью зеленым сукном и столик для триктрака были к услугам непритязательных гостей, которых хозяйка угощала сидром, пышками, каштанами, сахарной водой и оршадом собственного приготовления. С некоторых пор она стала раз в две недели подавать гостям чай с довольно скверным пирожным. Каждые три месяца дю Ронсере давали званый обед с тремя переменами, о котором предварительно трубили по всему городу; он подавался на отвратительном сервизе, но приготовлялся с тем мастерством, каким отличаются только провинциальные кухарки. Трапеза, достойная Гаргантюа, продолжалась шесть часов кряду. И тут председатель старался посрамить изысканные обеды дю Круазье той хвастливой расточительностью, на которую иногда способны скряги. Так весь образ жизни дю Ронсере во всех мелочах соответствовал его характеру и ложному положению. Дома ему не нравилось, хотя он сам не понимал, почему, но он не решался даже на малейший расход, чтобы изменить установленный порядок, ибо с особым удовольствием откладывал каждый год семь-восемь тысяч франков: дю Ронсере мечтал как можно лучше обеспечить своего сына Фабиена, не желавшего стать ни судьей, ни адво-

катом, ни чиновником и приводившего отца в отчаяние своим бездельем.

Из-за брачных планов у председателя возникло соперничество со старшим судьей Блонде, который уже давно познакомил своего сына Жозефа с семейством Блан-дюро. У этих богатых торговцев полотном была единственная дочь, на ней-то председатель и мечтал женить своего Фабиена. Так как брак Жозефа Блонде зависел от его назначения исправляющим должность судьи, чего отец надеялся добиться для него, выйдя в отставку, председатель всячески мешал намерениям судьи и тайком обрабатывал родителей девицы. Не случись истории с молодым д'Эгриньоном, отец и сын Блонде, пожалуй, были бы оставлены в дураках коварным председателем, состояние которого было гораздо больше, чем у его соперника.

Судья Блонде — жертва маневров вероломного председателя — принадлежал к числу тех любопытных фигур, какие бывают погребены в провинциальной глуши, как старинная монета в гробнице; ему было тогда около шестидесяти семи лет; это был хорошо сохранившийся высокий старик, напоминавший каноников доброго старого времени. Его лицо ровного красноватого цвета, изрытое оспой, вследствие чего нос походил на штопор, было довольно характерным; оно оживлялось быстрыми, обычно насмешливыми глазками и саркастическим подергиванием лиловатых губ. До революции он был адвокатом, а затем сделался общественным обвинителем и оказался одним из наиболее снисходительных представителей этой грозной профессии. Добряк Блонде, как его обычно называли, смягчал строгость революционных решений тем, что на все соглашался и ничего не выполнял. Вынужденный заключить в тюрьму нескольких аристократов, он тянул их процесс до девятого термидора с таким искусством, что заслужил всеобщее уважение. И понятно, что добрейший Блонде должен был сделаться председателем суда; но при реорганизации этих судов он был отстранен Наполеоном, чья антипатия к республиканцам сказывалась в каждой мелочи его правления. Когда император увидел на полях списка против фамилии судьи пометку о том, что Блонде был общественным обвинителем, император осведомился у Камбасереса, не най-

дется ли в округе какого-нибудь отпрыска старинной судейской семьи, чтобы назначить его на это место. Так дю Ронсере, чей отец был советником парламента, стал председателем суда. Невзирая на нежелание императора, главный канцлер в интересах правосудия оставил Блонде судьей, ссылаясь на то, что старый адвокат — один из наиболее опытных французских юристов.

Талантливый судья, знаток старого, а позднее — новейшего законодательства, Блонде мог бы пойти далеко; но, подобно многим выдающимся умам, он ни во что не ставил свои юридические познания и почти целиком посвятил себя занятию, весьма далекому от его профессии, отдавая ему все свои помыслы, время и способности. Чудак страстно увлекался садоводством; он состоял в переписке с самыми известными любителями, лелеял честолюбивую мечту создать новые виды, интересовался ботаническими открытиями — словом, жил в мире цветов.

Как все цветоводы, он пристрастился к одному избранному цветку: его любимицей была герань. Поэтому суд, процессы, вся реальная жизнь отступали на задний план перед той фантастической, полной волнений жизнью, которую старик Блонде вел среди своих невинных красавиц, с каждым днем все сильнее пленявших его. Уход за садом, увлекательные занятия цветоводством приковывали старого судью к его оранжерее. Если бы не эта страсть, он был бы избран во время Империи депутатом и, без сомнения, блистал бы в Законодательном корпусе. Женитьба Блонде тоже была причиной того, что он затерялся в провинциальной глуши. Судья имел глупость в сорок лет жениться на восемнадцатилетней девушке, которая через год родила сына Жозефа. Три года спустя в г-жу Блонде, первую красавицу в городе, влюбился префект департамента; их связь оборвалась только с ее смертью. От префекта, как было известно всему городу, да и самому Блонде, у нее родился второй сын — Эмиль. Г-жа Блонде, которая могла бы пробудить честолюбие в душе мужа и одержать верх над его страстью к цветам, потворствовала увлечению судьи ботаникой и не желала покидать город, так же как и префект уклонялся от перевода в другую префектуру, пока была жива его возлюбленная. Блонде, которому в его возрасте была уже не под силу борьба с молодой женщиной, находил утешение

в своей оранжерее и нанял прехорошенькую служанку для ухода за непрерывно сменявшимися красавицами своего сераля. Пока судья высаживал, отсаживал, пересаживал, поливал, прививал, скрещивал и менял окраску своих цветов, г-жа Блонде тратила его деньги на моды и наряды, блистая в залах префектуры; от этой необыкновенной любви, которой в конце концов стал восхищаться весь город, ее отвлекали лишь заботы о воспитании Эмиля, нераздельно слитого в ее представлении все с той же страстью. Эмиль, дитя любви, был столь же красив и умен, как Жозеф недалек и невзрачен. Старый судья, ослепленный отцовской любовью, был привязан к Жозефу не меньше, чем его жена к Эмилю. Двенадцать лет Блонде безропотно покорялся судьбе, он закрывал глаза на связь жены, сохраняя, подобно аристократам XVIII века, вид, полный благородства и достоинства; но, как это бывает у людей спокойного нрава, он затаил глубокую ненависть к младшему сыну. В 1818 году, после смерти жены, он изгнал этого чужака, послав его в Париж изучать право и определив ему содержание в тысячу двести франков в год; никакими мольбами и жалобами у него нельзя было вырвать лишний сантим. Эмиль Блонде пропал бы без поддержки своего настоящего отца.

Дом судьи — один из самых красивых в городе. Он стоит почти напротив префектуры и выходит на главную улицу опрятным двориком с решетчатыми железными воротами меж двух кирпичных колонн. От каждой из этих колонн к смежным домам отходят решетки, поставленные на невысокую, в половину человеческого роста, кирпичную стенку. Двор, шириной в десять и длиной в двадцать туазов, разделен ведущей от калитки к дому кирпичной дорожкой на два сплошных цветника. Заботливо обновляемые во все времена года, они радуют глаз ликующими сочетаниями красок. Из-под этой массы цветов поднимаются вьющиеся растения, как бы набрасывая великолепный плащ на стены двух соседних домов. На увитых жимолостью кирпичных колоннах стоят терракотовые вазы с кактусами, прижившимися в новом климате, и прохожие дивятся их уродливым, в колючих наростах, листьям, словно пораженным неведомой ботанической болезнью. Ярко-зеленые жалюзи приятно ожив-

ляют незатейливый фасад кирпичного дома, окна которого украшены дугообразными, тоже кирпичными, карнизами. Сквозь застекленную дверь и длинный коридор, в конце которого находится такая же дверь, можно видеть главную аллею сада, занимающего около двух арпанов. Из окон гостиной и столовой, расположенных, как и стеклянные двери коридора, друг против друга, видны сплошные цветочные ковры, застилающие этот уголок. Кирпичный фасад за два столетия принял оттенок ржавчины и бурого мха вперемежку с зеленоватыми тонами, и все это приятно сочетается со свежей листвой деревьев и кустарников. Путешественник, бродящий по городу, не может не залюбоваться этим домом, который так изящно обрамлен цветами, мхом, листьями и утопает в них до самой крыши, украшенной двумя глиняными голубями.

Кроме этого старого дома, где вот уже столетие не производилось никаких изменений, у судьи было около четырех тысяч франков дохода с земель. Из чувства мести, достаточно, впрочем, оправданной, он задумал передать и дом, и земли, и должность сыну Жозефу; всему городу было известно о его замысле. Судья сделал завещание в пользу Жозефа, отказав ему все, чем закон разрешает отцу наделить одного из сыновей в ущерб другим. Более того: г-н Блонде последние пятнадцать лет копил деньги, чтобы оставить туповатому Жозефу сумму, достаточную для выкупа части земли, которой по закону нельзя было лишить Эмиля. Изгнанный из родительского дома, Эмиль Блонде сумел создать себе положение в Париже; правда, скорее в моральном, чем в материальном смысле. Лень и беспечность Эмиля глубоко удручали его настоящего отца, который был отрешен от должности после одной из смен министерства, столь частых в период Реставрации, и умер почти разоренным, тревожась за участь сына, одаренного от природы самыми блестящими способностями. Эмиль нашел для себя опору в дружбе мадемуазель де Труавиль, вышедшей замуж за графа де Монкорне; он знал ее еще до замужества. Мать Эмиля была жива в ту пору, когда из эмиграции вернулись Труавили, с которыми г-жа Блонде находилась в отдаленном родстве. Она воспользовалась этим, чтобы ввести Эмиля к ним в дом. Бедная женщина

предчувствовала, какое будущее ждет ее сына, она уже видела его осиротевшим, и от этого мысль о смерти была для нее горька вдвойне; она стремилась найти покровителей, которые поддержали бы ее сына. Ей удалось сблизить Эмиля со старшей из девиц Труавиль, которая не могла, однако, выйти за него замуж, хотя и была увлечена им. Между ними установилась нежная привязанность, напоминавшая отношения Павла и Виргинии. Г-жа Блонде пыталась укрепить взаимное чувство молодых людей; предвидя, что оно может увянуть, как обычно увядают подобные ребяческие увлечения, эти первые опыты любви, она внушала своему сыну, что в семье Труавилей он должен видеть свою будущую опору. Когда г-жа Блонде, уже на пороге смерти, узнала о браке мадемуазель де Труавиль с генералом Монкорне, она обратилась к ней с торжественной просьбой никогда не покидать Эмиля и руководить его первыми шагами в парижском обществе, где г-жа де Монкорне призвана была блистать благодаря положению своего мужа. К счастью, оказалось, что Эмиль не нуждается в покровительстве. В двадцать лет он вступил на литературное поприще, где сразу выдвинулся. Не меньшим успехом он пользовался в светском обществе, куда его ввел отец в то время, когда имел еще возможность обеспечить ему приличное содержание. Эта рано пришедшая известность и светский такт Эмиля укрепили, быть может, узы дружбы, соединявшие его с графиней. Возможно, что г-жа де Монкорне (в ее жилах текла, кстати, и русская кровь — ее мать была дочерью княгини Шербеловой) отвернулась бы от своего друга детства, если бы он погряз в бедности и все силы ума тратил на борьбу с преградами, с которыми столкнулся и в свете и в литературном мире Парижа; но к тому времени, когда в бурной жизни Эмиля наступила трудная полоса, их взаимная привязанность была уже прочной и нерушимой. В описываемую нами пору Блонде, с которым молодой д'Эгриньон встретился в Париже на первом же ужине, слыл одним из столпов журналистики. В политическом мире его считали выдающейся величиной, и он вполне оправдывал эту репутацию. Чудак Блонде не имел ни малейшего представления о том, как выросло могущество прессы при конституционном правительстве; никому не приходило в голову говорить с ним о сыне, о

котором он и слышать не хотел; и судья ничего не знал ни об этом отверженном сыне, ни о влиянии, которым он пользовался.

Честность была таким же неотъемлемым качеством судьи, как страсть к цветам; для него существовали в жизни лишь право и ботаника. Он принимал тяжущихся, выслушивал их, разговаривал с ними, показывал им свои цветы; он получал от них в подарок дорогие семена; но, усевшись в судейское кресло, г-н Блонде становился воплощением нелицеприятия. Эти черты его, как судьи, были известны всем и каждому, и к нему стали являться лишь для вручения документов, проливающих свет на дело; никто не пытался его обмануть. Познания, ученость и пренебрежение к своему таланту делали Блонде столь незаменимым для дю Ронсере, что даже, помимо видов на девицу Бландюро, председатель не побрезговал бы никакими тайными кознями, чтобы помешать отставке судьи: если бы ученый старик покинул суд, дю Ронсере сам не мог бы обосновать ни одного судебного приговора. Блонде не знал, что его сын Эмиль в течение одного дня осуществил бы заветные желания старика отца. Судья вел самую простую жизнь, достойную героев Плутарха. Вечером он изучал дела, утром ухаживал за цветами, днем судил. Хорошенькая служанка, которая уже успела состариться и покрыться морщинами, как яблоко на пасху, смотрела за хозяйством, которое велось по всем правилам суровой бережливости. Мадемуазель Кадо ни на минуту не расставалась с ключами от шкапов и кладовой; она была неутомима: сама ходила на рынок, занималась уборкой, стряпала и ни разу не пропустила обедни. Чтобы дать представление о жизненном укладе этой семьи, достаточно сказать, что отец и сын ели только подпорченные фрукты, так как мадемуазель Кадо имела привычку подавать на десерт самые перезрелые; в доме не знали вкуса свежего хлеба и строго соблюдали установленные церковью посты. Садовник получал паек, вроде солдатского, и находился под неусыпным надзором этой старой султанши, которая пользовалась таким уважением, что обедала вместе с хозяевами. Во время трапезы ей приходилось все время сновать между кухней и столовой.

Родители мадемуазель Бландюро соглашались на брак

их наследницы с Жозефом Блонде лишь при условии, что этот захудалый адвокат будет назначен на должность заместителя судьи. Стремясь подготовить сына к судейским обязанностям, отец усердно вколачивал ему в голову необходимые для этого знания. Блонде-сын почти все вечера проводил в доме своей невесты, где после возвращения из Парижа бывал и Фабиен дю Ронсере, что не внушало, однако, ни малейших опасений ни старому, ни молодому Блонде. Законы бережливости, управлявшие этой жизнью, где все было размерено с точностью, достойной «Взвешивателя золота» Герарда Доу, где не разрешалось истратить даже лишнюю крупинку соли, где из всего старались извлечь пользу,— эти законы отступали перед требованиями оранжереи и сада. «Хозяин помешался на своих цветах»,— говорила мадемуазель Кадо, не считавшая, однако, помешательством слепую любовь старика к Жозефу; она сама разделяла это чувство, холила Жозефа, штопала ему чулки и предпочла бы, чтобы деньги, расходуемые на сад, тратились на него.

Сад Блонде, содержавшийся в отличном состоянии единственным садовником, был пересечен аллеями, которые посыпались речным песком и тщательно расчищались; по обе стороны на длинных куртинах чуть покачивались редчайшие цветы. Казалось, здесь были собраны все ароматы, все краски; здесь можно было увидеть несметное множество горшочков, выставленных на солнце, ящериц на стенах, установленные в ряд железные лопаты и кирки — словом, все невинные принадлежности садоводства и изящные образцы его продукции, все, что оправдывает эту страсть, милую сердцу многих. В конце оранжереи судья устроил обширный амфитеатр, на уступах которого размещались пять-шесть тысяч горшков герани — великолепная прославленная коллекция, на которую приходили любоваться во время ее цветения жители города, а некоторые даже являлись для этого из соседних департаментов. Императрица Мария-Луиза, проезжая через город, удостоила эту необыкновенную оранжерею своим посещением и пришла в такой восторг от представившегося ей зрелища, что рассказала о нем Наполеону, и тот пожаловал старому судье орден Почетного легиона. Ученый садовод, нигде не бывавший, за ис-

ключением семьи Бландюро, понятия не имел о тайных маневрах председателя. Лица, которые могли бы проникнуть в замыслы дю Ронсере, слишком боялись его, чтобы предостеречь безобидных Блонде.

Что касается Мишю, то этот молодой человек, имевший влиятельных покровителей, не особенно интересовался несложными делами провинциального суда; гораздо больше стараний прилагал он, чтобы понравиться светским дамам города, которые принимали его по рекомендации семьи Сен-Синь. Он обладал годовым доходом в двенадцать тысяч франков, был на хорошем счету у всех маменек, и жизнь казалась ему сплошным праздником. Делами суда Мишю занимался больше для очистки совести, как школьники занимаются приготовлением уроков. На совещаниях он охотно соглашался с чужим мнением и неизменно повторял: «Да, господин председатель». Но под этим кажущимся безразличием скрывалось умственное превосходство человека, который изучал право в Париже и уже отличился как помощник судьи. Широта мышления позволяла ему быстро справляться с делами, в которых надолго увязали Блонде и председатель: он нередко помогал им разрешать запутанные вопросы. В щекотливых случаях председатель и его заместитель совещались с исправляющим должность судьи, они поручали ему излагать самые сложные решения и всегда удивлялись быстроте его работы, в которую старику Блонде не приходилось вносить никаких поправок. Пользовавшийся покровительством самых чванных аристократических кругов, молодой и богатый судья жил вне интриг и мелочных провинциальных интересов. Без него не обходился ни один пикник, он шутил с барышнями, ухаживал за маменьками, танцевал на балах и играл по большой. Словом, он отлично справлялся с ролью судьи-аристократа, не роняя, однако, своего звания, о котором умел напомнить умно и кстати. Пленяла в нем и простота, с какой он принял и усвоил провинциальные нравы, не пускаясь в их критику. Поэтому общество прилагало все усилия, чтобы скрасить его вынужденное пребывание в глуши.

Королевского прокурора, талантливого юриста, подвизавшегося и на политическом поприще, председатель побаивался. Будь прокурор в городе, делу Виктюрньена

не был бы дан ход. При своей ловкости и большом практическом опыте прокурор сумел бы замять его. Председатель и дю Круазье решили воспользоваться для осуществления своих злокозненных планов его отъездом на сессию палаты депутатов в Париж, где он слыл одним из наиболее видных ораторов правительственной партии; они довольно ловко рассчитали, что раз дело дойдет до суда и будет предано огласке, его уже не удастся замять никакими способами. Надо сказать, что ни один прокурор не принял бы в те времена без внимательного рассмотрения, а то и специального доклада генеральному прокурору жалобы по обвинению в подлоге на старшего сына одного из знатнейших семейств королевства. Прокуратура вместе с административной властью попыталась бы найти тысячу путей к полюбовному соглашению, чтобы не дать хода жалобе, которая могла бы привести неосторожного молодого человека на каторгу. То же самое, пожалуй, было бы сделано и для почтенной либеральной семьи, не слишком открыто враждебной престолу и церкви. При таком положении вещей дю Круазье нелегко было добиться принятия жалобы и ареста молодого графа. Вот каким образом председателю суда и дю Круазье удалось все же достичь цели.

Соваже, молодой адвокат роялистского образа мыслей, который получил место первого помощника прокурора только потому, что пресмыкался перед власть имущими, в отсутствие своего начальника вершил дела в прокуратуре. От него зависело дать ход жалобе дю Круазье и распорядиться начать следствие. Соваже, человек незначительный и к тому же без всяких средств, жил исключительно на жалованье. Власти всецело рассчитывали на чиновника, который во всем от них зависел. Председатель суда сумел воспользоваться этим обстоятельством. В тот день, когда желанный документ очутился в руках дю Круазье, г-жа дю Ронсере, по наущению мужа, долго говорила с Соваже; она старательно подчеркивала, как ненадежна карьера сменяемого чиновника прокуратуры: достаточно каприза министра, одного случайного промаха, чтобы погубить все его будущее.

— Если вы добросовестный человек и откажетесь поддержать несправедливое требование властей,— вы пропали. И вот,— сказала супруга председателя помощ-

нику прокурора,— вы можете сейчас умно использовать ваше положение, чтобы выгодно жениться, а это навсегда оградит вас от несчастных случайностей; имея состояние, вам нетрудно будет получить пост несменяемого судьи. Что и говорить, случай — единственный в своем роде. У господина дю Круазье, как вам известно, никогда не будет детей; все состояние его и жены перейдет к их племяннице, мадемуазель Дюваль. Господин Дюваль — владелец металлургического завода, у него самого кругленький капитал, да и отец его — он еще жив — человек со средствами. У обоих Дювалей не меньше миллиона, и они удвоят этот капитал с помощью дю Круазье, который теперь связан с крупными парижскими банками и промышленниками. Родители мадемуазель Дюваль, конечно, выдадут свою дочь согласно желанию ее дядюшки, господина дю Круазье,—во внимание к двойному наследству, которое получит его племянница,— ведь у жены дю Круазье нет родственников, и она тоже, без сомнения, обяжется по свадебному контракту отписать все мадемуазель Дюваль. Вам известна ненависть дю Круазье к д'Эгриньонам, окажите ему услугу, станьте на его сторону, дайте ход его жалобе на молодого д'Эгриньона, который совершил подлог. Начните судебное преследование немедленно, не запрашивая мнения прокурора. А затем — молите бога, чтобы министр сместил вас за беспристрастное выполнение вашего долга вопреки намерениям властей — и счастье ваше обеспечено. У вас будет очаровательная жена, и вы получите приданое, которое даст вам тридцать тысяч франков годового дохода, не говоря о надеждах еще на четыре миллиона, которые перейдут к вам лет через десять.

Чтобы уговорить первого помощника прокурора, понадобился еще один вечер. Председатель суда и Совaже решили держать все дело в тайне от старика судьи, от Мишю и младшего товарища прокурора. Уверенный в беспристрастии Блонде,— если ему будут предъявлены убедительные улики,— председатель твердо рассчитывал на большинство, не считая Камюзо. Но все эти расчеты рухнули, так как судебный следователь неожиданно перешел на сторону врага. Председатель добивался, чтобы жалобе был дан ход, прежде чем

о ней узнает прокурор. Но не предупредят ли его Камюзо или младший товарищ прокурора?

Знакомство с семейной жизнью судебного следователя Камюзо, вероятно, поможет читателю понять, почему Шенель надеялся привлечь молодого чиновника на сторону д'Эгриньонов и отважился обратиться к нему прямо на улице, пытаясь соблазнить его. Камюзо, сын — от первой жены — известного парижского торговца шелком, обосновавшегося на улице Бурдонне, вступил на судебное поприще по желанию отца, который питал на его счет честолюбивые замыслы. Женившись, он приобрел не только жену, но и протекцию придверника королевского кабинета, протекцию, казалось бы, скромную, но вескую, она уже принесла свои плоды — назначение на пост судьи, а затем судебного следователя. Старик Камюзо при заключении брачного контракта обеспечил сына годовым доходом в шесть тысяч франков, что равнялось приданому его покойной матери за вычетом суммы, на которую он сам притязал в качестве супруга; девица Тирион принесла Камюзо в приданое всего лишь около двадцати тысяч франков, а так как жалованье провинциального судьи не превышает тысячи пятисот франков в год, молодая чета очутилась в стесненном положении, тщательно скрывая его от посторонних глаз. Судебные следователи получают сверх своего оклада тысячу франков на чрезвычайные расходы и особые работы, связанные с их обязанностями. Поэтому должность следователя, сопряженная с утомительными трудами, служит, тем не менее, предметом зависти и домогательств. Поскольку судебного следователя могут во всякое время сместить, не удивительно, что г-жа Камюзо выбранила своего мужа за то, что он так некстати разоткровенничался в присутствии председателя. Мари-Сесиль-Амели Тирион за три года своего замужества убедилась, что бог благословил ее брак: за это время она дважды, как по расписанию, разрешилась от бремени — мальчиком и девочкой. Но она смиренно молила бога впредь не благословлять ее столь щедро, так как благодаря этой милости господней стесненность их жизни грозила превратиться в нищету. Капиталов господина Камюзо-отца им предстояло, видимо, ожидать еще долго. Кроме того, это

наследство сулило не более восьми-десяти тысяч франков дохода каждому из детей торговца: у него их было четверо. А к тому времени, когда наконец сбудется то, что сваты обыкновенно именуют надеждами, следователю, чего доброго, придется уже думать об устройстве собственных детей. Поэтому каждому будет понятно положение г-жи Камюзо, весьма решительной и благоразумной маленькой женщины. Она слишком ясно сознавала, какие пагубные последствия может повлечь за собой каждый промах мужа, чтобы не вмешиваться в его судейскую деятельность.

Амели была единственной дочерью старого слуги Людовика XVIII, слуги, который последовал за королем в Италию, Курляндию, Англию и был пожалован должностью придверника при королевском кабинете, так как более высокие посты были ему не по плечу. На домашнюю обстановку Амели как бы падал отблеск королевского двора. Отец описывал ей вельмож, министров и других важных особ, о которых он докладывал королю, которых вводил к нему и которых видел при выходе из королевского кабинета. Не удивительно, что Амели Тирион, выросшая, так сказать, на пороге Тюильри, переняла правила жизни и поведения, господствовавшие при дворе, и усвоила закон безусловного повиновения властям предержащим. Поэтому она мудро рассудила, что, став на сторону д'Эгриньонов, ее муж угодит герцогине Мофриньез и заслужит благоволение двух высокопоставленных семейств, которые поддержат ее отца, когда он, выбрав подходящую минуту, замолвит словечко королю. И тогда Камюзо при первом же благоприятном случае будет переведен поближе к Парижу, а затем и в самый Париж. Это повышение, о котором она так мечтала, которого так жаждала, принесло бы оклад в шесть тысяч франков, удобную жизнь в доме ее отца или старика Камюзо и все преимущества, какие сулила супругам близость богатых родителей. Если пословица «с глаз долой, из сердца вон» приложима к большинству женщин, то с еще большим правом ее можно отнести к семейным чувствам или к покровительству министров и королей. Во все времена люди, лично прислуживавшие королю, удачно устраивали свои дела; нельзя не интересо-

ваться тем, кого видишь изо дня в день, будь это всего-навсего лакей.

Госпожа Камюзо, надеясь, что она не заживется в этом городе, сняла маленький домик на улице Синь. Город был не особенно бойкий, и такой промысел, как сдача внаем меблированных квартир, здесь не развился. Между тем семья следователя была недостаточно богата, чтобы жить в гостинице, как Мишю. Поэтому парижанка волей-неволей довольствовалась мебелью местного изделия. Памятуя о весьма умеренных доходах мужа, она сняла этот на редкость неприглядный дом, который, впрочем, был приятен своей незатейливой простотою. Прижавшись к соседнему дому, он выходил фасадом во двор; на улицу с каждого этажа глядело одинокое окно. Двор был огорожен с двух сторон каменными стенами, окаймленными кустами роз и крушины, а в глубине его, против дома, находился навес, опиравшийся на две кирпичные арки. В этот мрачный дом, еще более омраченный тенью высокого орешника, стоявшего посреди двора, можно было проникнуть через маленькую калитку. В первом этаже, куда вело крыльцо с перилами и решеткой искусного литья, но сильно заржавевшей, устроена была столовая с окнами на улицу, а с другой стороны — кухня. В конце коридора находилась деревянная лестница во второй этаж, тоже состоявший из двух комнат —кабинета следователя и спальни. Одна из комнат мансарды предназначалась для кухарки, а вторая для горничной, вместе с которой помещались и дети. Потолки во всей квартире были пересечены побеленными известкой балками, промежутки между которыми были оштукатурены. Две верхние комнаты и столовая в первом этаже были украшены замысловатыми панелями, говорившими о неистощимом терпении столяров XVIII столетия. Эти деревянные панели, выкрашенные в грязно-серый цвет, выглядели весьма уныло. Кабинет следователя был обставлен так же, как и все кабинеты провинциальных юристов: большой письменный стол, кресло красного дерева, книжный шкаф с необходимыми для каждого изучающего право книгами, скудная мебель, привезенная из Парижа. В комнате г-жи Камюзо обстановка была местного происхождения: белые с голубым ткани, ковер и та причуд-

ливая мебель, которая может сойти за модную, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что все это фасоны, отвергнутые Парижем. Что касается комнаты в нижнем этаже, это была обычная провинциальная столовая: голая, холодная, с отсыревшими и выцветшими обоями. И в этой неприглядной комнате, с видом на орешник, на ограду, обрамленную мрачной листвой, на пустынную улицу, живая, веселая женщина, привыкшая к развлечениям и шуму Парижа, проводила весь день одна или в обществе скучных и глупых гостей; она даже предпочитала одиночество их пустой болтовне; ведь стоило ей позволить себе проблеск остроумия, как начинались бесконечные кривотолки, только ухудшавшие ее положение. Детьми она занималась не столько из любви к ним, сколько для того, чтобы хоть чем-нибудь скрасить свою почти отшельническую жизнь. Ум ее питался лишь одним: интригами, которые завязывались вокруг нее, происками обывателей, их честолюбивыми устремлениями, всегда узкими и ограниченными. Поэтому она легко проникала в тайны, о которых даже и не подозревал ее муж. Сидя у окна в своей комнате и уронив на колени вышиванье, Амели видела перед собой не навес, под которым лежали дрова, не горничную, занимавшуюся стиркой, а Париж, где все радует глаз, все полно жизни; она мечтала о столичных празднествах, она оплакивала свою жизнь в холодной провинциальной тюрьме. Она сокрушалась о том, что живет в тихом городке, где нет и не будет ни заговоров, ни громких дел. И ей чудилось, что она долго еще будет прозябать в этом углу, в тени орешника.

Госпожа Камюзо была маленькая белокурая женщина, полная и свежая, с чересчур выпуклым лбом, тонкими губами и выступающим вперед подбородком— черты, еще как-то скрашиваемые молодостью, но рано придающие женщине старообразный вид. Ее глаза, живые, умные, но слишком ясно выражавшие простодушную жажду успеха и зависть к чужой удаче, порожденную приниженным положением, двумя огоньками освещали это заурядное лицо, как бы облагораживая его силою чувства, которое исчезнет впоследствии, когда придет успех. Амели прибегала ко всевозможным ухищрениям, чтобы получше одеться, изобретала от-

делки, вышивки; она обдумывала свои наряды вместе с горничной, вывезенной из Парижа, и поддерживала этим в провинции свою репутацию парижанки. В городе побаивались язвительности Амели и не любили ее. Наблюдательная и хитрая, как большинство праздных женщин, которым нечем заполнить свой день, она проникла в конце концов в сокровенные замыслы председателя; поэтому она посоветовала Камюзо объявить ему войну. Дело молодого графа могло послужить следователю превосходным поводом для открытия военных действий. Прежде чем отправиться на вечер к г-ну дю Круазье, она без труда доказала мужу, что в этом деле старший помощник прокурора действует наперекор намерениям начальства. Задача Камюзо — воспользоваться этим процессом как ступенью для успеха, оказав услугу семье д'Эгриньонов, гораздо более влиятельной, чем сторонники дю Круазье.

— Девицу Дюваль никогда не выдадут за Соваже, это только приманка. Наши Макиавелли с улицы Валь-Нобль, ради которых он готов пожертвовать своим положением, обведут его вокруг пальца. Ты увидишь, Камюзо, что этот несчастный для д'Эгриньонов процесс, эта коварная затея председателя, который действует в интересах дю Круазье, окажется тебе на руку,— сказала Амели мужу, вернувшись домой.

Хитрая парижанка поняла, что председатель тайно ведет осаду Бландюро, ей было ясно, почему он силится разрушить планы старика Блонде, но она не видела для себя выгоды в том, чтобы предупредить судью или его сына об угрожавшей им опасности; она развлекалась завязавшейся комедией, не подозревая всего значения раскрытой ею тайны: предложения, сделанного родителям мадемуазель Бландюро от имени Фабиена дю Ронсере через посредство преемника Шенеля. В случае если бы председатель попытался вредить ее мужу, г-жа Камюзо могла бы в свою очередь пригрозить дю Ронсере, что она предупредит садовода о замышляемом похищении цветка, который Блонде надеялся пересадить в свою оранжерею.

Шенель не сумел отгадать, подобно г-же Камюзо, какими средствами дю Круазье и председатель суда перетянули на свою сторону старшего помощника проку-

рора, но, стремясь разобраться в различных людях и интересах, сосредоточенных вокруг геральдических лилий королевского суда, он решил, что может рассчитывать на прокурора, Камюзо и Мишю. А раз двое судей на стороне д'Эгриньонов — этого достаточно, чтобы приостановить процесс. Наконец нотариус был хорошо осведомлен о заветных мечтах старика Блонде и не без оснований рассчитывал, что даже этот беспристрастный человек пойдет на сделку с совестью ради цели всей своей жизни — назначения сына на пост заместителя судьи. И Шенель заснул, полный надежд: он решил, что пойдет к Блонде и поможет ему осуществить его давнюю мечту, открыв старику глаза на вероломство председателя дю Ронсере. Приобретя этим поддержку судьи, Шенель рассчитывал вступить в переговоры со следователем, которого надеялся убедить если не в полной невиновности Виктюрньена, то хотя бы в том, что он совершил просто неосторожность, и свести все дело к опрометчивому поступку ветреного юноши. Сон Шенеля не был ни спокоен, ни долог, ибо на рассвете домоправительница разбудила его, доложив о прибытии самого обворожительного персонажа этой повести, принявшего вид обаятельнейшего юноши в мире,— герцогини де Моффриньез, которая приехала в карете, одна, переодетая мужчиной.

— Я здесь, чтобы спасти его или погибнуть вместе с ним,— сказала она нотариусу, которому казалось, что он все еще спит и видит сон.— У меня с собой сто тысяч франков,— их дал мне король из своих личных средств, чтобы купить подтверждение невиновности Виктюрньена, если его враг продажен. На случай неудачи я привезла яд, который избавит графа от всего, даже от обвинения. Но неудачи не будет. Следом за мной едет королевский прокурор, которого я известила о том, что здесь происходит; он не мог явиться вместе со мной, так как дожидается указаний от министра юстиции.

Шенель ответил герцогине не менее драматической сценой: завернувшись в халат, он упал к ее ногам и поцеловал их, прося извинить его за то, что он от радости забылся.

— Мы спасены,— воскликнул старик, отдавая одновременно распоряжение Бригитте приготовить для гер-

цогини все необходимое после ночи, проведенной в почтовой карете.

Взывая к мужеству прекрасной Дианы, он просил ее отправиться с ним к судебному следователю не мешкая, пока еще не совсем рассвело, ввиду необходимости держать это посещение в тайне, чтобы никто не мог даже подозревать о прибытии герцогини де Мофриньез.

— Разве мой паспорт не в порядке? — спросила герцогиня, показав Шенелю документ на имя виконта Феликса де Ванденеса, докладчика в государственном совете и личного секретаря короля.— И разве я так уж плохо играю роль мужчины? — продолжала она, поправляя локоны своего модного парика и играя хлыстом.

— Ах, госпожа герцогиня, вы — ангел! — воскликнул Шенель со слезами на глазах. (Ей суждено было всегда оставаться ангелом, даже в мужском костюме.) — Застегните ваш сюртук, закутайтесь получше в плащ, обопритесь на мою руку и побежим к Камюзо, пока на улицах никого нет.

— Я, значит, увижу человека по имени Камюзо?

— Да, и к тому же обладателя носа, достойного этого имени [1].

Старик нотариус, несмотря на глубокое душевное смятение, считал необходимым подчиняться капризам герцогини — смеяться, когда она смеялась, плакать, когда она плакала; но его поражало легкомыслие этой женщины, которая, даже занимаясь важным делом, находила в нем повод для шуток. Но чего бы не сделал он ради спасения Виктюрньена? Пока Шенель одевался, г-жа де Мофриньез пила кофе со сливками, поданный ей Бригиттой; герцогиня нашла, что провинциальные кухарки превосходят парижских поваров, пренебрегающих тонкостями, столь важными для подлинных знатоков. Благодаря предусмотрительности, к которой Бригитта приучилась на службе у своего хозяина, любителя покушать, она могла подать герцогине превосходный завтрак. Затем Шенель и его очаровательный спутник направились к дому супругов Камюзо.

---

[1] *Камюзо* — курносый.

— А! Существует и госпожа Камюзо?— сказала герцогиня.—Ну тогда все уладится.

— Тем более,— ответил Шенель,— что госпожа Камюзо явно скучает в нашем провинциальном обществе, она — парижанка.

— В таком случае с ней можно говорить откровенно.

— Вы сами решите, что ей открыть и о чем умолчать,— смиренно сказал Шенель.— Я полагаю, что госпоже Камюзо будет чрезвычайно лестно принять у себя герцогиню де Мофриньез. Чтобы не рисковать, вам придется, вероятно, остаться у нее до наступления темноты, если только вы не сочтете это неудобным.

— А что, она хорошенькая, эта госпожа Камюзо? — спросила герцогиня с фатоватым видом.

— В своем доме она, можно сказать, королева,— ответил нотариус.

— В таком случае она несомненно вмешивается в судебные дела,— продолжала герцогиня.— Лишь во Франции, любезный господин Шенель, жены сочетаются браком не только с мужьями, но и с их делами — должностью, торговлей или другими занятиями. В Италии, Испании, Англии жены считают для себя зазорным заниматься делами и всецело предоставляют это мужьям. Они знать не желают о делах и так же упорно отстаивают свое право на это неведение, как наши французские мещаночки — право на полную осведомленность, особенно, если дело касается общности имущества супругов,— так, кажется, это называется на вашем юридическом языке? Француженки — народ ревнивый, и в вопросах семейной политики они хотят знать все. Вот почему во Франции, при любых жизненных осложнениях, чувствуется, что за спиной мужчины стоит женщина — она руководит мужем, дает ему советы и указания. Мужчины от этого обычно только выигрывают. А в Англии, если женатый человек за долги попадет на сутки в тюрьму, то по его возвращении домой жена, чего доброго, устроит ему сцену ревности.

— Ну вот мы и пришли — и никого не встретили,— сказал Шенель.— Герцогиня, в этом доме вы будете царь и бог: ведь отец госпожи Камюзо по имени Тирион — придверник при кабинете короля.

— А король и не вспомнил об этом! Он ни о чем не

думает! — воскликнула герцогиня.— Ведь Тирион-то и докладывал о нас — принце де Кадиньяне, господине де Ванденесе и обо мне! Да, здесь — мы хозяева. Обсудите все хорошенько с мужем, а я тем временем поговорю с супругой.

Горничная, занятая умыванием и одеванием двоих детей, ввела посетителей в холодную и тесную столовую.

— Отнесите эту карточку вашей хозяйке,— сказала герцогиня на ухо горничной,— но вручите лично ей. Если вы будете скромны, моя милая, вас поблагодарят.

Горничная, услышав женский голос и глядя на прелестное лицо юноши, стояла как громом пораженная.

— Разбудите господина Камюзо,— сказал ей Шенель,— и скажите, что я его жду. У меня к нему важное дело.

Горничная поднялась наверх. Через несколько мгновений г-жа Камюзо в утреннем платье опрометью сбежала с лестницы и повела к себе красивого незнакомца, предварительно втолкнув в кабинет полуодетого Камюзо вместе с предметами его туалета и приказав ему одеться и ждать ее. Весь этот переполох произвела визитная карточка, на которой было написано: «Герцогиня де Мофриньез». Дочь придверника при кабинете короля поняла все.

— Ну и дела, господин Шенель, можно подумать, что в наш дом молния ударила,— вполголоса сказала горничная.— Барин одевается в своем кабинете, вы можете пройти к нему.

— Никому ни слова! — ответил нотариус.

Шенель, чувствуя поддержку знатной дамы, заручившейся устным согласием короля на любые меры, необходимые для спасения графа д'Эгриньона, принял властный вид; на Камюзо это подействовало гораздо сильнее, чем смирение, которое выказал бы нотариус, будь он одинок и беспомощен.

— Сударь,— начал Шенель,— вас, может быть, удивили вчера мои слова, но я говорил серьезно. Семья д'Эгриньонов рассчитывает, что вы сумеете правильно повести следствие по делу, из которого она должна выйти с незапятнанным именем.

— Сударь,— ответил следователь,— я не стану говорить о том, как оскорбительны ваши слова для меня лично, а в моем лице и для правосудия. Ваше положение в доме д'Эгриньонов служит вам некоторым оправданием. Но...

— Простите, что я перебиваю вас,— сказал Шенель.—Я высказал вам то, что думает, но не может высказать вслух ваше начальство; люди с головой должны это понять, а ведь вы— человек с головой. Допустим даже, что юноша поступил опрометчиво. Но неужели вы думаете, что королю, двору и министерству будет приятно, если в суде присяжных будут позорить такое имя, как д'Эгриньон? Разве падение знатных исторических домов — в интересах королевской власти, да и вообще в интересах страны? Возьмите равенство, этот лозунг современной оппозиции. Разве существование высшей аристократии, освященной временем, не является одной из его гарантий? А ведь в этом деле даже и опрометчивости не было; мы попросту — ни в чем не повинные люди, попавшие в расставленную нам западню.

— Любопытно было бы знать — как? — сказал следователь.

— Сударь,— продолжал Шенель,— в продолжение двух лет господин дю Круазье безотказно разрешал графу д'Эгриньону выписывать на него переводные векселя на крупные суммы. Мы представим вам векселя на сумму свыше ста тысяч экю, уже оплаченные графом, причем деньги вносил я — заметьте хорошенько — иногда до, иногда по истечении срока платежа. Граф д'Эгриньон может представить расписку, выданную ему еще до того числа, которым помечен чек, рассматриваемый как подложный. Разве вам не ясно теперь, что жалоба дю Круазье — плод ненависти и партийных раздоров? И не есть ли это обвинение — подлый навет опаснейших врагов престола и церкви на наследника старинного дворянского рода? Во всем этом деле не больше подлога, чем в моей нотариальной конторе. Вызовите к себе госпожу дю Круазье, которой еще неизвестно о подаче жалобы, и она подтвердит вам, что я внес ей деньги и что она оставила их у себя для передачи отсутствовавшему тогда мужу, который их почему-то у нее не требует.

А допросите дю Круазье— и он вам, наверное, скажет, что ему неизвестно о внесении мною денег госпоже дю Круазье.

— Сударь,— отозвался следователь,— подобные утверждения вы можете делать в гостиной маркиза д'Эгриньона или высказывать их людям, ничего не смыслящим в делах,— они вам, возможно, поверят. Но судебный следователь, если только он не безнадежный тупица, никогда и мысли не допустит, чтобы столь покорная жена, как госпожа дю Круазье, хранила у себя сто тысяч экю, ни слова не сказав о них мужу, или что старик нотариус не известил дю Круазье по его приезде об уплате денег.

— Старик нотариус уехал в Париж, сударь, чтобы положить конец рассеянной жизни графа.

— Я еще не допрашивал графа д'Эгриньона,— сказал следователь,— его показания прольют свет на это дело.

— Он в одиночном заключении? — спросил нотариус.

— Да,— ответил следователь.

— Сударь,— воскликнул Шенель, поняв, какая опасность грозит графу,— вы, как следователь, можете быть за или против нас; перед вами выбор — либо установить, исходя из показаний госпожи дю Круазье, что деньги были внесены до предъявления чека, либо допросить обвиненного в подлоге несчастного юношу, который в смятении может все перепутать и погубить себя. Решите сами, что правдоподобнее: забывчивость женщины, ничего не смыслящей в делах, или подлог, совершенный одним из д'Эгриньонов.

— Не в том дело,— возразил следователь,— нам надо установить, превратил ли граф д'Эгриньон в чек последнюю страницу письма, адресованного ему господином дю Круазье.

— Он имел на то полное право,— воскликнула г-жа Камюзо, стремительно входя в комнату в сопровождении прекрасного незнакомца.— Ведь господин Шенель уже внес деньги...— Она наклонилась к мужу и зашептала ему на ухо:— Ты будешь заместителем судьи в Париже при первой же вакансии. В этом деле заинтересован сам король, у меня есть полная гарантия, тебя не за-

будут. Этот молодой человек — герцогиня де Мофриньез, только не проболтайся, что ты ее видел; выгораживай смелее молодого графа.

— Господа,— сказал Камюзо,— если даже я, как следователь, дам заключение в пользу д'Эгриньона, могу ли я отвечать за приговор суда? Господину Шенелю и тебе, моя милая, ведь известны намерения председателя суда.

— Та-та-та,— ответила г-жа Камюзо,— повидайся сегодня же утром с господином Мишю, расскажи ему об аресте молодого графа, и вас уже будет двое против двоих, ручаюсь тебе. Ведь Мишю — парижанин, и ты знаешь, как он предан аристократии. Рыбак рыбака видит издалека.

В это время у дверей раздался голос мадемуазель Кадо, доставившей следователю срочное письмо. Камюзо вышел и тотчас же вернулся, читая вслух следующие строки:

«Заместитель председателя суда просит господина Камюзо присутствовать на судебных заседаниях сегодня и в последующие дни, дабы суд мог работать в полном составе во время отсутствия господина председателя.

Примите и проч.»

— Конец следствию по делу д'Эгриньона! —воскликнула г-жа Камюзо.— Не говорила ли я тебе, друг мой, что они сыграют с тобой скверную шутку? Председатель уехал, чтобы оклеветать тебя перед генеральным прокурором и председателем королевского суда. Тебя сместят, прежде чем ты успеешь закончить следствие. Теперь тебе ясно?

— Вы сохраните свое место, сударь,— сказала герцогиня.— Надеюсь, что королевский прокурор прибудет вовремя.

— К приезду королевского прокурора,—с азартом воскликнула г-жа Камюзо,—все должно быть закончено. Да, да, мой милый,—сказала она, глядя на остолбеневшего мужа.—А этот старый лицемер, председатель суда, задумал нас перехитрить, это ему припомнится! Ты собираешься поднести нам сюрприз, а твоя покорная слуга Сесиль-Амели Тирион приготовит тебе целых два! Бедный чудак Блонде! Ему повезло, что

председатель уехал добиваться нашего смещения. Теперь-то он женит своего увальня на мадемуазель Блондюро. Да, придется как следует встряхнуть старика. Ты, Камюзо, отправляйся к Мишю, а мы с герцогиней тем временем побываем у Блонде. Не удивляйся, если сегодня по городу пройдет слух, что я прогуливалась утром с любовником.

Госпожа Камюзо взяла под руку герцогиню и повела ее к дому старика судьи самыми глухими закоулками во избежание нежелательных встреч. А Шенель отправился в тюрьму, куда его тайком провел Камюзо, чтобы переговорить с молодым графом. Кухарки, лакеи и встающие рано обыватели, видевшие г-жу Камюзо с герцогиней в каком-нибудь отдаленном уголке города, приняли молодого человека за ее любовника, приехавшего из Парижа. Как и предвидела Сесиль-Амели, вечером слушок о ее неприличном поведении уже передавался из уст в уста, со злоречивыми прибавлениями. Г-жа Камюзо и ее мнимый любовник застали старика Блонде в оранжерее; он поздоровался с женой своего коллеги, а на прелестного юношу бросил тревожный и испытующий взгляд .

— Разрешите представить вам двоюродного брата моего мужа,—сказала г-жа Камюзо, кивнув в сторону герцогини,— одного из известных парижских садоводов. Он здесь проездом из Бретани и задержался у нас на один только день. Он много наслышан о ваших цветах и кустарниках, и я взяла на себя смелость привести его к вам в такую рань.

— А! Так вы, сударь, садовод!— сказал Блонде.

Герцогиня молча поклонилась.

— Взгляните,— продолжал судья.— Это мое кофейное дерево. А это — чайное.

— Почему, хотелось бы мне знать, вдруг изволил отбыть господин председатель? —спросила г-жа Камюзо.—Держу пари, что этот отъезд имеет отношение к моему мужу.

— Именно так. Вот, сударь, самый оригинальный кактус в мире,—сказал Блонде, показывая гостю горшок с растением, походившим на изъеденный проказой индийский тростник.— Он привезен из Новой Голландии. Вы что-то очень молоды, сударь, для садовода.

— Оставьте ваши цветы, дорогой господин Блонде,— сказала г-жа Камюзо.— Дело идет о вас самих, о ваших надеждах, о браке вашего сына с мадемуазель Бландюро. Председатель хочет оставить вас в дураках.

— Полноте...— недоверчиво произнес судья.

— Да,— продолжала она.— Если бы вы больше интересовались светом и меньше своими цветами, то знали бы, что и приданое и надежды, которые вы лелеяли, пестовали, растили, выхаживали,—все это будет вот-вот сорвано рукой хитреца.

— Сударыня!

— Да! Ни у кого в городе не хватит мужества открыть вам глаза и тем самым отважиться на разрыв с председателем. Но я здесь чужая, я скоро переселюсь в Париж, мне поможет этот молодой человек. Так вот говорю вам, что преемник Шенеля официально просил руки девицы Клэр Бландюро от имени молодого дю Ронсере, которому отец и мать дают пятьдесят тысяч экю. Фабиен обещал при этом сделаться адвокатом и добиваться назначения на должность судьи.

Старик уронил горшок с кактусом, который собирался показать герцогине.

— О мой кактус! О мой сын! Мадемуазель Бландюро!.. Ну вот... Сломался цветок кактуса!

— Да нет же, все еще можно поправить,— сказала, смеясь, г-жа Камюзо.— Хотите видеть сына через какой-нибудь месяц в судейском кресле? Мы скажем вам, как взяться за дело.

— Пройдите сюда, сударь, посмотрите мою герань. Это сказочное зрелище — она теперь как раз в цвету. Зачем,— спросил Блонде у г-жи Камюзо,—вы говорите со мной обо всех этих делах в присутствии вашего двоюродного брата?

— Все зависит от него,—быстро ответила г-жа Камюзо.— Забудьте и думать о назначении вашего сына, если вы когда-нибудь обмолвитесь об этом молодом человеке.

— О!

— Этот молодой человек — редкостный цветок.

— А!

— Это герцогиня де Мофриньез, посланная коро-

лем, чтобы спасти молодого д'Эгриньона, которого вчера арестовали по обвинению в подлоге. Жалоба подана дю Круазье. Герцогиню поддерживает министр юстиции, и все, что она обещает, будет выполнено.

— Кактус уцелел! — сказал судья, подвергавший тщательному осмотру драгоценное растение.— Да, так что вы говорите?..

— Посовещайтесь с Камюзо и Мишю. Постарайтесь побыстрее замять это дело,—и сын ваш будет судьей. Это назначение подоспеет вовремя, оно позволит вам положить конец интригам, которыми дю Ронсере оплел семью Бландюро. И не заместителем судьи будет ваш сын, а кое-кем получше: он еще до конца года станет преемником Камюзо. Сегодня приезжает королевский прокурор, и Соваже придется выйти в отставку ввиду позиции, занятой им в этом деле. Мой муж предъявит вам в суде документы, которые устанавливают невиновность графа и доказывают, что вся история с подлогом—ловушка, расставленная дю Круазье.

Старик судья вошел в своего рода олимпийский цирк, на уступах которого расположились шесть тысяч цветочных горшков с геранью. Он поклонился герцогине и сказал:

— Сударь, если то, чего вы добиваетесь,—законно, все будет сделано.

— Сударь,— ответила герцогиня,— передайте завтра же ваше прошение об отставке Шенелю, и я даю вам слово, что через неделю ваш сын получит назначение. Но прежде переговорите с королевским прокурором, пусть он подтвердит вам мои слова... Вы, юристы, свои люди, вам легче будет столковаться между собой. Но скажите ему, что герцогиня де Мофриньез дала вам слово. Прошу вас никому не говорить о моем приезде,— добавила она.

Старик поцеловал руку герцогини и, безжалостно срезав самые прекрасные цветы, подал ей букет.

— О нет, что вы! Преподнесите их лучше госпоже Камюзо,—воскликнула герцогиня.—Это выглядело бы противоестественно: цветы в руках молодого человека, идущего под руку с хорошенькой женщиной!

— Прежде чем отправиться в суд,— сказала Блонде г-жа Камюзо,—пойдите к преемнику Шенеля и выпы-

тайте у него правду о предложении, которое он сделал родителям Клэр Бландюро от имени господина и госпожи дю Ронсере.

Старик судья, пораженный двуличием председателя, неподвижно стоял у ограды и глядел вслед своим посетительницам, которые почти бегом направились домой, выбирая наименее людные улицы. Здание, которое он целых десять лет с таким трудом возводил для любимого сына, рушилось у него на глазах. Возможно ли это? Он заподозрил какую-то каверзу и поспешил к преемнику Шенеля.

Ровно в половине десятого, перед самым началом заседания, заместитель председателя суда Блонде, следователь Камюзо и старший помощник судьи Мишю уже были в комнате для совещаний; тотчас после прихода Камюзо и Мишю, которые явились вместе, старик судья запер дверь.

— Что ж это, господин заместитель председателя,— начал Мишю,— господин Соваже, оказывается, отдал предписание об аресте графа д'Эгриньона, не поставив в известность прокурора? Он потворствует каверзам какого-то дю Круазье, врага правительства! Да это что называется — шиворот-навыворот. Председатель в свою очередь уезжает и тем самым приостанавливает следствие! А нам ничего не известно об этом процессе! Уж не собираются ли они связать нам руки?

— Впервые слышу об этом деле,— сказал Блонде, весь кипевший при мысли, что председатель обхаживает Бландюро.

Преемник Шенеля, приверженец дю Ронсере, попался на удочку, которую закинул старик судья, чтобы выведать у него правду, и рассказал все, как было.

— Хорошо еще, что мы уведомляем вас об этом, уважаемый коллега,— сказал Камюзо Блонде,— иначе не видать бы вашему сыну ни судейских лилий, ни мадемуазель Бландюро.

— Мой сын и его женитьба здесь ни при чем,—отозвался судья.—Речь идет о графе д'Эгриньоне: виновен он или нет?

— По-видимому,— сказал Мишю,— деньги были переданы Шенелем госпоже дю Круазье. Из простого на-

рушения формальностей создали преступление. Если верить жалобе, молодой человек отрезал конец письма с подписью дю Круазье и превратил его в чек на банк Келлеров.

— Неосторожность!—вставил Камюзо.

— Но если дю Круазье получил деньги, почему же он подал жалобу?—спросил Блонде.

— Он еще не знает, что деньги были переданы его супруге, а быть может, просто прикидывается,—сказал Камюзо.

— Месть провинциала,—вернул Мишю.

— И все-таки это походит на подлог,— возразил старик Блонде, у которого никакая страсть не могла замутить чистоту судейской совести.

— Вы полагаете?—сказал Камюзо.—Но если даже допустить, что граф не имел права предъявлять чек за подписью дю Круазье, здесь не было подделки подписи. Он счел, что это право у него есть: ведь Шенель уведомил его, что деньги внесены.

— Тогда где же здесь подлог? — спросил Блонде.— Сущность подлога по гражданскому законодательству — это нанесение материального ущерба другому лицу.

— Если даже придерживаться толкования дю Круазье,—продолжал Камюзо,—то ясно, что граф просто воспользовался чужой подписью с целью получить деньги у банкира вопреки распоряжению дю Круазье не предоставлять ему дальнейшего кредита.

— Ну, уж это, господа, по-моему, сущие пустяки, мелкая придирка,—произнес Блонде.—Ведь деньги были внесены. Графу д'Эгриньону, пожалуй, следовало бы дождаться чека, но поскольку ему срочно понадобились деньги, он их... Полноте! Месть, расходившиеся страсти—вот что такое ваша жалоба. По мысли законодателя, подлог возникает там, где существует намерение присвоить себе чужие деньги, воспользоваться какой-либо выгодой, не имея на то права. Здесь мы подлога признать не можем: ни в римском, ни в современном законодательстве мы не найдем для этого никаких оснований—в рамках гражданского права, разумеется, так как в этом деле нет ни подделки официального документа, ни подделки подписи должностного лица. Част-

ное право связывает подлог с намерением совершить кражу, а какая же здесь кража? Но в какие времена мы живем, господа! Председатель суда покидает город, чтобы затянуть следствие, которое должно было бы уже закончиться! Я только сегодня раскусил этого господина—нашего почтенного председателя, но отплачу ему за свою ошибку и даже с процентами за просрочку. Пусть отныне сам пишет свои решения. Вы должны, господин Камюзо, действовать со всей возможной быстротой.

— Да. Я считаю,— сказал Мишю,— что недостаточно выпустить графа на поруки, надо немедленно снять с него обвинение. Все зависит от допроса дю Круазье и его жены. Вы можете их вызвать в суд во время заседания, господин Камюзо, допросить до четырех часов, составить доклад сегодня вечером, а завтра, еще до заседания, мы все обсудим.

— Во время прений сторон мы решим, как нам действовать дальше,—сказал Блонде следователю.

Трое судей облачились в свои мантии, и заседание началось.

В полдень епископ вместе с мадемуазель Армандой прибыл в отель д'Эгриньон, где уже находились Шенель и г-н Кутюрье. После краткого совещания между прелатом и духовником г-жи дю Круазье последний поспешил к своей духовной дочери.

В одиннадцать часов утра дю Круазье получил повестку: ему предлагалось явиться между часом и двумя в кабинет судебного следователя. Он пришел в суд, охваченный вполне понятной тревогой. Председатель, который не мог предвидеть ни приезда герцогини де Мофриньез, ни близкого возвращения королевского прокурора, ни внезапного сговора трех судей, не позаботился наметить для Круазье план действий на случай, если начнется следствие. Оба не ожидали такого быстрого развития событий. Круазье поспешил явиться в суд, чтобы узнать, как настроен Камюзо. Ему пришлось давать показания. Следователь задал ему шесть вопросов: «Является ли подлинной его подпись на документе, который оспаривается им как подложный? — Состоял ли он, дю Круазье, до этого случая в каких-либо деловых отношениях с графом д'Эгриньоном? —

Не получал ли граф д'Эгриньон какие-либо суммы по переводным векселям на дю Круазье, с последующим извещением или без извещения? — Не написал ли он, дю Круазье, письма графу с разрешением в любое время рассчитывать на его кредит? — Не погашал ли Шенель уже несколько раз долги графа д'Эгриньона? — Не отлучался ли он, дю Круазье, из города в таких-то числах?»

На все эти вопросы дю Круазье ответил утвердительно. Несмотря на его многословные объяснения, следователь неизменно приводил банкира к необходимости простого выбора между «да» и «нет». Когда вопросы и ответы были занесены в протокол, следователь ошеломил дю Круазье следующим заключительным вопросом: «Было ли ему, дю Круазье, известно, что сумма, обозначенная в чеке, который он объявляет подложным, внесена ему, дю Круазье, еще за пять дней до числа, выставленного на чеке,—согласно показанию Шенеля и уведомлению, посланному вышеупомянутым Шенелем графу д'Эгриньону?»

Этот вопрос испугал дю Круазье. Он спросил, что означает подобный вопрос. Уж не он ли—обвиняемый, а граф д'Эгриньон—истец? Он заметил, что если бы деньги были у него, он не подал бы жалобу на графа.

— Суд доискивается истины,—сказал следователь, отпуская его. Предварительно он внес в протокол последнее замечание дю Круазье.

— Но, сударь, деньги...

— Деньги у вас,—сказал следователь.

Явился в суд и Шенель, вызванный на тот же час. Правдивость его объяснений была подтверждена показаниями г-жи дю Круазье. Следователь уже допросил графа д'Эгриньона; тот, по указанию Шенеля, предъявил ему первое письмо дю Круазье, в котором банкир предоставлял графу право выписывать переводные векселя на его имя, не обижая его предварительным внесением денег. Затем он показал следователю письмо Шенеля, в котором нотариус уведомлял графа о внесении им г-ну дю Круазье ста тысяч экю. Учтя все эти обстоятельства, суд признал молодого графа невиновным. Круазье вернулся домой бледный от гнева, с таким трудом сдерживая ярость, что на губах у него вы-

ступила пена. Он застал жену в гостиной, у камина; она вышивала ему туфли. Взглянув на него, она задрожала, но решила покориться неизбежному.

— Сударыня,—крикнул дю Круазье, запинаясь от гнева,—что вы такое показали у следователя? Вы меня опозорили, предали, погубили!

— Я вас спасла, сударь,— ответила г-жа дю Круазье.—Если вы когда-либо породнитесь с д'Эгриньонами, если ваша племянница выйдет замуж за молодого графа, то за эту высокую честь благодарите меня и мое сегодняшнее поведение.

— Чудеса! Валаамова ослица заговорила,— воскликнул дю Круазье,— теперь я уж ничему не удивлюсь. А где сто тысяч экю, которые, по словам Камюзо, находятся у меня?

— Вот они,— ответила ему жена, вытаскивая пачку банковых билетов из-под подушки кресла.— Я не совершила смертного греха, заявив, что господин Шенель вручил их мне.

— В мое отсутствие?

— Вас тут не было.

— Вы мне клянетесь в этом своим вечным спасением?

— Клянусь,— сказала она спокойно.

— Почему вы мне ничего не сказали? — спросил он.

— Это — мое упущение. Но оно послужит вам на пользу. Ваша племянница станет когда-нибудь маркизой д'Эгриньон, а вы, быть может, пройдете в депутаты,— если только умно поведете себя в этом злосчастном деле. Вы слишком далеко зашли, сумейте отступить.

Дю Круазье бегал из угла в угол по гостиной, дрожа от лихорадочного волнения, а его супруга с не меньшим волнением ждала, чем кончится эта прогулка. Наконец дю Круазье позвонил.

— Сегодня вечером я никого не принимаю, заприте парадное,— сказал он лакею.— Всем, кто придет, говорите, что мы уехали за город. Мы отправимся тотчас после обеда, позаботьтесь, чтобы он был подан на полчаса раньше обычного.

Вечером во всех гостиных, в лавочках, среди бедняков, нищих, аристократов, торговцев — словом, во всем городе передавалась из уст в уста невероятная новость:

об аресте графа д'Эгриньона по обвинению в подлоге. Говорили, что дело графа д'Эгриньона будет разбираться в суде присяжных, что его ждет суровый приговор, позорное клеймо. Те, кому была дорога честь дома д'Эгриньонов, опровергали этот слух. С наступлением темноты Шенель зашел к г-же Камюзо за юным незнакомцем, которого он проводил в отель д'Эгриньон: там их ждала несчастная Арманда. Она отвела к себе прекрасную г-жу Мофриньез, которой уступила свою комнату. Епископа поместили в комнате Виктюрньена. Когда Арманда осталась наедине с герцогиней, она бросила на нее взгляд, полный невыразимой печали.

— Ваш долг,—сказала она,— помочь бедному юноше, который погубил себя ради вас и которому все в этом доме жертвуют собой.

Герцогиня уже окинула зорким взглядом женщины комнату мадемуазель д'Эгриньон и увидела в ней, как в зеркале, всю жизнь этой благородной девицы; пустая, холодная, без малейших следов роскоши, комната эта напоминала келью монахини.

Герцогиня, взволнованная картиной прошлого, настоящего и будущего Арманды, понимая, какой невероятный контраст между этой картиной и ею самой, не могла сдержать слез, которые потекли по ее щекам; это был ее ответ Арманде.

— Ах! Я неправа, простите меня, герцогиня,—сказала Арманда, в которой чувства христианки пересилили голос крови,— вы ничего не знали о нашей нищете, мой племянник не посмел вам признаться в ней. Впрочем, глядя на вас, можно все понять, даже преступление.

У Арманды, худой и бледной, прекрасной, как те тонкие и строгие лики, которые умели писать только немецкие мастера, тоже стояли слезы в глазах.

— Утешьтесь, мой ангел,— произнесла наконец герцогиня,— он спасен.

— Да, но честь, но его будущность! Шенель сказал мне, что королю все известно.

— Мы постараемся помочь беде,—сказала герцогиня.

Арманда спустилась в гостиную, где застала Музей древностей в полном составе. Явились все завсегдатаи,

чтобы приветствовать епископа и окружить вниманием маркиза д'Эгриньона. Шенель, заняв сторожевой пост в прихожей, просил каждого вновь прибывающего ни одним словом не обмолвиться об ужасном событии, чтобы почтенный старец не узнал о нем до конца своих дней. Неподкупный потомок франков был способен убить сына или дю Круазье, признав преступником либо одного, либо другого. Как нарочно, старик, довольный возвращением сына в Париж, говорил о нем больше обыкновенного. Король вскоре упрочит положение Виктюрньена, он позаботится, наконец, о д'Эгриньонах. Гости, глубоко подавленные, превозносили молодого графа за прекрасное поведение. Мадемуазель Арманда старалась подготовить маркиза к неожиданному появлению сына, говоря, что Виктюрньен, разумеется, навестит их, что он уже, пожалуй, в пути.

— Полно!—сказал маркиз, стоя у камина.—Если он успешно выполняет свои обязанности, пусть остается там, где находится, и не думает о радости, которую его приезд доставил бы старику отцу. Служба королю— на первом месте.

Трепет охватил тех, кто слышал слова маркиза. Ведь если Виктюрньена осудят, палач коснется раскаленным железом плеча одного из д'Эгриньонов! Наступила минута томительного молчания. Старая маркиза де Катеран отвернулась: она не могла удержать слезы, скатившейся по ее нарумяненной щеке.

На другой день, часов в двенадцать, возбужденные обыватели, пользуясь прекрасной погодой, высыпали на главную улицу и рассеялись по ней группами; у всех на устах было одно: громкое дело графа д'Эгриньона. Правда ли, что молодой граф в тюрьме? Внезапно в конце улицы Сен-Блез, со стороны префектуры, показался хорошо знакомый всему городу тильбюри графа д'Эгриньона. Лошадью правил сам граф, находившийся в обществе никому не известного, очаровательного юноши; оба были веселы, смеялись, болтали, в петлицах у них красовались бенгальские розы. Это была одна из тех ошеломляющих неожиданностей, которые не поддаются описанию. В десять часов утра суд вынес превосходно мотивированное заключение о прекращении дела за отсутствием состава преступления, и молодому

графу была возвращена свобода. Дю Круазье был как громом поражен особой оговоркой суда: д'Эгриньону предоставлялось право преследовать его за клевету. Старик Шенель как бы случайно проходил в это время по главной улице, рассказывая встречному и поперечному, что дю Круазье посягнул на честь д'Эгриньонов, расставив им мерзкую западню, и если его не привлекут к ответственности за клевету, то этой снисходительностью он будет обязан лишь всем известному благородству д'Эгриньонов. Вечером этого знаменательного дня, после того как маркиз д'Эгриньон ушел спать, молодой граф, мадемуазель Арманда и красавец паж, собравшийся уезжать, остались в гостиной вместе с шевалье, от которого нельзя было скрыть, что очаровательный юноша—в действительности—женщина; за исключением трех судей и г-жи Камюзо, ему одному во всем городе было известно о приезде герцогини.

— Дом д'Эгриньонов спасен,— сказал Шенель,— но он не оправится от полученного удара за целое столетие. Теперь надо уплатить долги, и вам ничего не остается, господин граф, как жениться на богатой наследнице.

— И не слишком привередничать,—сказала герцогиня.

— Снова неравный брак!—воскликнула Арманда.

Герцогиня рассмеялась.

— Лучше уж жениться, чем умереть,—отчеканила она, извлекая из жилетного кармана флакончик, который получила в аптеке Тюильрийского дворца.

Мадемуазель Арманда содрогнулась, а Шенель взял руку красавицы герцогини и поцеловал ее, даже не испросив на то разрешения.

— Да вы, я вижу, просто безумцы,—продолжала герцогиня.—Вы застряли где-то в пятнадцатом веке, а ведь сейчас уже девятнадцатый. Дорогие мои, дворянства больше нет, существует лишь аристократия. Наполеоновский кодекс убил дворянские привилегии, как пушка убила феодализм. Имея деньги, вы станете гораздо знатнее, чем теперь. Женитесь на ком хотите, Виктюрньен, и вы сделаете вашу жену знатной дамой—вот единственно прочная привилегия, оставшаяся у французского дворянства. Разве Талейран не женился

на госпоже Грандт, нисколько не уронив себя? А брак Людовика Четырнадцатого со вдовой Скаррона?

— Да, но он женился не на деньгах,— сказала Арманда.

— А вы приняли бы у себя графиню д'Эгриньон,— спросил Шенель,—если она была бы племянницей какого-нибудь дю Круазье?

— Быть может,—ответила герцогиня,—но король-то уж, без сомнения, был бы рад видеть ее при дворе. Вы, видно, не имеете понятия о теперешних веяниях!— прибавила она, заметив, с каким удивлением ее слушают.—Виктюрньен побывал в Париже, он знает положение дел. При Наполеоне мы имели больше веса, чем нынче. Женитесь на мадемуазель Дюваль, женитесь на ком хотите, Виктюрньен, ваша жена будет такой же доподлинной маркизой д'Эгриньон, как я—герцогиня де Мофриньез.

— Все погибло, даже честь,— поникнув, сказал шевалье.

— Прощайте, Виктюрньен,—промолвила герцогиня, целуя юношу в лоб,—мы больше не увидимся. Самое лучшее для вас—жить на своих землях; воздух Парижа вам вреден!

— Диана!—в отчаянии воскликнул молодой граф.

— Сударь, вы забываетесь,—холодно сказала герцогиня. Отбросив роль мужчины, перестав быть возлюбленной, она снова обернулась не только ангелом, но и герцогиней, не только герцогиней, но и мольеровской Селименой.

Герцогиня де Мофриньез с достоинством поклонилась своим собеседникам, исторгнув у шевалье последнюю слезу восхищения, пролитую им в честь прекрасного пола.

— Как она напоминает мне княгиню Горицу!— проговорил он вполголоса.

Диана вышла. Кучер щелкнул бичом, и этот звук напомнил Виктюрньену, что его прекрасному роману, его первой юношеской страсти пришел конец. В минуту опасности Диана могла еще видеть в молодом графе возлюбленного; но теперь, когда он был спасен, она презирала его, как человека малодушного.

Шесть месяцев спустя Камюзо получил должность

заместителя судьи в Париже, а через некоторое время был назначен следователем. Мишю стал королевским прокурором. Добряк Блонде был произведен в советники при королевском суде; он пробыл в Париже ровно столько времени, сколько было необходимо для выхода в отставку, и, вернувшись в родной город, снова поселился в своем очаровательном домике. Жозеф Блонде сел на судейское кресло, которое занимал его отец, и остался на нем до конца своих дней, без всяких видов на повышение; он стал супругом мадемуазель Бландюро, которая изнывает от скуки в своем кирпичном и цветочном раю, словно карп в мраморном бассейне. Наконец Мишю и Камюзо были награждены орденами Почетного легиона, а старик Блонде—офицерским крестом. Что касается старшего товарища прокурора Совaже, то он был переведен на Корсику, к большому удовлетворению дю Круазье, у которого, разумеется, не было ни малейшего желания выдать за него племянницу.

По наущению председателя суда, дю Круазье обратился в королевский суд с ходатайством о пересмотре дела—и проиграл. Либералы твердили на всех перекрестках, что молодой д'Эгриньон совершил подлог. Роялисты, в свою очередь, расписывали гнусные козни обуреваемого жаждой мести бесчестного дю Круазье. Между ним и Виктюрньеном состоялась дуэль. Она кончилась удачно для бывшего поставщика, который тяжело ранил молодого графа и как бы поддержал этим свои обвинения. Дело о подлоге еще сильнее распалило обе враждующие партии, так как либералы кстати и некстати вытаскивали его на свет божий. Дю Круазье, неизменно терпевший поражение на выборах, потерял всякую надежду выдать свою племянницу за молодого графа, особенно после дуэли.

Через месяц после утверждения приговора королевским судом Шенель, изнуренный этой ужасной борьбой, скончался, упоенный победой, как умирает старый верный пес от клыков дикого кабана, распоровшего ему брюхо. Старик умер счастливым, насколько он мог быть счастлив, оставляя дом д'Эгриньонов почти разоренным и молодого графа в нищете, изнывающим от скуки, без всяких надежд на лучшее будущее. Эти

жестокие заботы и полный упадок сил доконали бедного старика. Но среди всех потерь и огорчений, среди тяжелых невзгод на его долю выпала большая радость. Старый маркиз, уступая просьбам сестры, вернул Шенелю былую дружбу. Знатный аристократ посетил маленький домик на улице Беркай и сел у изголовья своего старого слуги, хотя так никогда и не узнал обо всех принесенных им жертвах. Шенель, приподнявшись, прочел «Ныне отпущаеши»; маркиз обещал ему, что его похоронят в фамильном склепе замка, близ могилы, где будет покоиться и сам маркиз, в ногах у своего господина, едва ли не последнего из д'Эгриньонов.

Так умер один из представителей исчезающей породы верных и бескорыстных слуг. В этом слове порой чувствуется неприятный привкус, но здесь ему возвращено его подлинное значение: феодальная привязанность вассала к своему сюзерену. Это чувство, сохранившееся ныне лишь кое-где в провинциальной глуши или у нескольких старых королевских слуг, делало честь и знати, которая умела внушать подобные привязанности, и буржуазии, которая умела их питать. Такая беспредельная и безусловная преданность в наши дни уже невозможна. Во Франции самоотверженные слуги знатных семейств отошли в прошлое, так же как неограниченные монархи, наследственные пэры или неотчуждаемые поместья, пожалованные историческим родам, чтобы навеки упрочить их величие. Шенель был не только одним из безвестных героев, действующих на поприще частной жизни, он был и поистине значительным явлением. Постоянное и бесконечное самоотречение наложило на этого человека печать величия и благородства. И разве не выше оно, чем героическая способность оказать благодеяние, требующая от человека лишь минутного усилия? Качества, обнаруженные Шенелем, можно встретить главным образом в тех слоях населения, которые занимают промежуточное положение между нищим народом и пышной, блистательной аристократией и сочетают скромные добродетели буржуа с утонченными идеями дворянина, озаряя их светом образованности.

Виктюрньен, о котором при дворе сложилось небла-

гоприятное мнение, не мог найти в Париже ни богатой невесты, ни должности. Король упорно отказывался пожаловать пэрское достоинство д'Эгриньонам — единственная милость, которая могла бы спасти Виктюрньена от бедности. Пока был жив его отец, молодому графу нечего было и думать о женитьбе на дочери богатого буржуа, и он вынужден был кое-как влачить существование в отцовском доме, пробавляясь воспоминаниями о двух годах блестящей парижской жизни и о любви прекрасной герцогини. Печальный, угрюмый, он прозябал между глубоко удрученным отцом, полагавшим, что сын его болен хандрой, и снедаемой горем теткой. Шенеля с ними уже не было. Маркиз умер в 1830 году, после свидания с Карлом X, проезжавшим через Нонанкур. Великолепный д'Эгриньон, в сопровождении других знатных дворян из Музея древностей, еще достаточно бодрых для такой поездки, явился засвидетельствовать свою преданность королю и присоединиться к жалкой свите низвергнутой династии. Этот акт мужества в наши дни может показаться ничтожным, но страсти, кишевшие в дни мятежа, придавали ему в те времена оттенок величия.

Маркиз умер со словами: «Галлы торжествуют!»

И тогда оказалось, что дю Круазье одержал полную победу: через неделю после смерти старика отца Виктюрньен, теперь маркиз д'Эгриньон, согласился жениться на мадемуазель Дюваль; он получил за ней приданое в три миллиона франков; кроме того, супруги дю Круазье включили в брачный контракт обязательство завещать ей все свое состояние. Во время брачной церемонии дю Круазье заявил, что дом д'Эгриньонов не имеет себе равного среди знатных домов Франции. Маркиза д'Эгриньона, который в один прекрасный день будет обладателем годового дохода в сто тысяч экю, можно встретить каждую зиму в Париже, где он ведет привольную холостую жизнь; у знатных вельмож прошлого он перенял лишь одно — равнодушие к жене, на которую граф не обращает никакого внимания.

«Что касается мадемуазель д'Эгриньон,— говорит Эмиль Блонде, которому мы обязаны подробным рассказом обо всех этих происшествиях,— то если она и потеряла сходство с небесным образом, который запе-

чатлен в моей памяти со времен детства, то в возрасте шестидесяти семи лет она осталась наиболее скорбной и примечательной фигурой Музея древностей, где она все еще царит. В последний раз я видел ее, когда приезжал на родину за документами, необходимыми для моей женитьбы. Отец мой, узнав, на ком я женюсь, был так изумлен, что потерял дар слова, и вновь обрел его, лишь узнав, что я префект.

— Ты рожден префектом,— с улыбкой произнес он.

Бродя по городу, я встретил мадемуазель Арманду, которая показалась мне еще более величественной, чем когда бы то ни было. Глядя на нее, я вспомнил Мария на развалинах Карфагена. Разве не пережила она крушения всех своих верований, всех надежд? У нее осталась лишь вера в бога. Всегда печальная, молчаливая, она сохранила от былой красоты одни глаза, поражавшие необычайным блеском. Когда она шла к обедне с молитвенником в руках, я, увидев ее, подумал, что она молит бога отозвать ее в иной мир».

Жарди, июль 1837 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены провинциальной жизни

ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ

Начало романа «Евгения Гранде» было опубликовано в журнале «Эроп литерер» в сентябре 1833 года под заглавием «Евгения Гранде, провинциальная история».

В декабре 1833 года роман был полностью напечатан в первом издании «Сцен провинциальной жизни». Произведение делилось на семь глав: 1. «Буржуазные типы», 2. «Кузен из Парижа», 3. «Провинциальная любовь», 4. «Посулы скупца, клятвы любви», 5. «Семейные невзгоды», 6. «Так устроен мир», 7. «Заключение». Роману предшествовало краткое авторское вступление, и заканчивался он послесловием (в последующих изданиях ни вступление, ни послесловие больше не публиковались).

Вступление Бальзака к «Евгении Гранде» представляет большой интерес. Писатель обосновывал в нем важность изображения провинциальной жизни. «В провинциальной глуши,— писал Бальзак,— нередко встречаются лица, достойные серьезного изучения, характеры, исполненные своеобразия, человеческие жизни, внешне спокойные, но тайно разрушаемые необузданными страстями...

Если художники слова пренебрегают удивительными сценами провинциальной жизни, то происходит это не из-за презрения к ним, ие из-за недостатка наблюдательности, но, быть может, вследствие творческой беспомощности». Заканчивая свое вступление, Бальзак подчеркивал, что предлагает вниманию читателя неприкрашенный, незамысловатый рассказ о том, что ежедневно происходит в провинции.

Близкий Бальзаку молодой французский критик Феликс Давен писал в апреле 1835 года в своем «Введении», которым открывалось отдельное издание «Этюдов о нравах» Бальзака: «Евгения Гранде» знаменует собой революцию, которую совершил г-н Бальзак в жанре романа. Здесь нашла свое завершение победа правды в искусстве. Здесь изображена драма, происходящая в обыденной, повседневной жизни... Словом, здесь описана жизнь, как она есть, и книга эта такова, каким должен быть настоящий роман».

В 1843 году Бальзак включил «Евгению Гранде» в пятый том первого издания «Человеческой комедии» (первый том «Сцен провинциальной жизни»), внеся в текст произведеиия небольшие редакционные изменения. Деление на главы отсутствовало.

В 1844 году роман «Евгения Гранде» был переведеи на русский язык Ф. М. Достоевским и опубликован в журнале «Репертуар и Пантеон» (книги 6-я и 7-я).

Роман «Евгения Гранде» явился важным этапом в творческом развитии Бальзака: этим произведением писатель начал новый цикл своих «Этюдов о нравах» — «Сцены провинциальной жизни». В романе в полной мере сказалось реалистическое мастерство писателя.

Известна высокая оценка, которую дал произведению А. М. Горький. «..мне попалась... книга — «Евгения Гранде»,— читаем мы в автобиографической повести «В людях».— Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды».

Стр. 16. *Талейран*, Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат, отличался крайней политической беспринципностью.

Стр. 38. *«Методическая энциклопедия»* — многотомное справочное издание, выходившее во Франции в конце XVIII — первой трети XIX века.

«Монитер» (или «Всемирный вестник») — французская газета; в период наполеоновской империи, Реставрации и Июльской мо-

нархии — правительственный орган, в котором печатались официальные материалы.

Стр. 39. *Вестолл*, Ричард (1765—1836) — английский художник и график, иллюстрировавший собрания сочинений Шекспира, Мильтона и других писателей.

Финден, Вильям и Эдуард — английские художники и граверы первой половины XIX века. Иллюстрации Вильяма Финдена к «Дон-Кихоту» Сервантеса и к сочинениям Байрона пользовались широкой известностью.

Стр. 43. *Чантри*, Френсис (1782—1841) — английский скульптор. Имеется в виду скульптурный портрет Байрона работы Чантри.

Стр. 47. *Фоблаз* — главное действующее лицо фривольного романа французского писателя Луве де Кувре (1760—1797) — «Любовные приключения кавалера де Фоблаза».

«Опасные связи» — роман французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803), содержащий описание развращенных нравов французского аристократического общества второй половины XVIII века.

Стр. 56. *...у фидиева Юпитера...* — *Фидий* — знаменитый древнегреческий скульптор (V век до н. э.). Бальзак упоминает об известной статуе Зевса работы Фидия. Эта статуя у римлян называлась Юпитером Олимпийским.

Стр. 80. *...надпись: Мане — Текел — Фарес...* — По библейской легенде, эта надпись, означающая: «Подсчитано, взвешено, поделено»,— была начертана невидимой рукой на стене залы, в которой пировал царь Вавилона Валтасар, и предвещала ему близкую гибель (отсюда выражение «Валтасаров пир»).

Стр. 91. *...стоила хвоста собаке Алкивиада...* — Имеется в виду исторический анекдот об афинском политическом деятеле и полководце Алкивиаде (ок. 451 — 404 годы до н. э.), который велел отрубить хвост своей собаке, чтобы заставить жителей города говорить о себе.

Стр. 96. *Бентам*, Иеремия (1748—1832) — английский буржуазный правовед и моралист, проповедник утилитаризма. Нравственная теория Бентама посвящена восхвалению капитализма и защите ничем не ограниченной свободы деятельности капиталистического хищника-дельца. К. Маркс дал уничтожающую оценку теории Бентама, назвав самого автора ее «гением буржуазной глупости».

Стр. 120. *...в романах Августа Лафонтена.*— *Лафонтен*, Август (1758—1831) — немецкий писатель, автор многочисленных сентиментально-бытовых романов.

Стр. 130. *Боссюэ*, Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ и придворный проповедник, идеолог абсолютизма, автор сочинений на богословские темы.

Стр. 132. *...драмы, происходившие в знаменитом роде Атридов.*— По древнегреческим сказаниям, над родом Атридов тяготело проклятие, послужившее причиной многочисленных и тяжелых преступлений членов этого рода.

Стр. 168. *Капталь* — средневековый феодальный титул, был распространен в провинции Гасконь (в Юго-Западной Франции).

Стр. 170. *...как господа Дрё появились в один прекрасный день в качестве маркизов Брэзе.*—Родовое дворянское поместье Брэзе, купленное в конце XVII века богатым буржуа Дрё, было королевским указом превращено в маркизат. Таким образом потомки Дрё стали маркизами Дрё-Брэзе.

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГОДИССАР

«Прославленный Годиссар» был опубликован впервые во втором томе «Сцен провинциальной жизни» в 1833 году («Этюды о нравах XIX века», дат. 1834 годом). В 1843 году рассказ «Прославленный Годиссар» вошел в шестой том первого издания «Человеческой комедии» (второй том «Сцен провинциальной жизни») и был напечатан вместе с «Провинциальной музой» под общей рубрикой «Парижане в провинции».

К жанру сатирического рассказа, построенного на развернутой характеристике одного героя, Бальзак пришел не сразу. В 1830—1831 годах Бальзак печатал в еженедельной юмористической прессе («Карикатура», «Мода», «Силуэт» и др.) серию бытовых «зарисовок с натуры», принадлежавших к распространенным в ту пору во Франции нравоописательным, или, как их тогда называли, «физиологическим», очеркам. В этих очерках Бальзак нарисовал галерею социальных портретов разнообразных представителей французской буржуазии, восторжествовавшей после Июльской революции 1830 года («Бакалейщик», «Министр», «Банкир» и т. д.). В работе над очерками росло и крепло мастерство писателя, его умение создавать глубоко типические социальные образы, одним из которых явился Годиссар.

Стр. 193. *Шахабахам* — имя султана из водевиля Скриба «Медведь и Паша», модного в описываемое Бальзаком время.

Стр. 194. *Французские карбонарии* — тайная республиканская организация, созданная во Франции в начале двадцатых годов XIX века по образцу организации итальянских карбонариев, боровшихся за освобождение Италии от австрийского ига.

Стр. 195. *Жимназ* — парижский театр, открытый в 1820 году. В нем ставились главным образом водевили и одноактные комедии.

Сент-Пелажи — парижская тюрьма (разрушена в 1899 году).

Стр. 196 *Майе* — карикатурный образ горбуна, появившийся во французских сатирических изданиях после Июльской революции 1830 года и олицетворявший буржуа. С уст Майе, изображавшегося обычно в форме национального гвардейца, не сходили демагогически употреблявшиеся им слова «хартия», «гражданин» и т. п.

Попино, Ансельм — приказчик парфюмерной лавки, впоследствии фабрикант-парфюмер — вымышленное действующее лицо, встречающееся в ряде произведений «Человеческой комедии».

Стр. 202. *Телемское аббатство.*— Под этим названием в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532—1564) изображен необычайный «монастырь», в котором молодые мужчины и женщины проводят время в занятиях науками и искусством. Девизом Телемского аббатства было изречение: «Делай, что хочешь».

Стр. 205. *Шарантон* — небольшой городок в окрестностях Парижа, где находится больница для душевнобольных.

Стр. 216. *Вико*, Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский буржуазный ученый, философ и социолог.

Стр. 217. *Балланш*, Пьер-Симон (1776—1847) — французский реакционный философ и писатель-мистик.

Стр. 220. *Николе*, Жан-Батист (1728—1796) — основатель парижского ярмарочного театра, пользовавшегося успехом в описываемое Бальзаком время.

СТАРАЯ ДЕВА

Повесть «Старая дева» первоначально публиковалась в газете «Ля пресс» в октябре — ноябре 1836 года. В 1837 году «Старая дева» была издана в третьем томе «Сцен провинциальной жизни», а в 1844 году — переиздана в составе «Человеческой комедии» (то-

же в третьем томе «Сцен провинциальной жизни»). Помимо общего замысла, который объединяет произведения, составляющие социально-историческую эпопею Бальзака, «Старая дева» связана с «Человеческой комедией» и так называемыми «возвращающимися персонажами». Например, в романе «Музей древностей» действуют персонажи «Старой девы»: дю Букье и его жена (правда, под именем дю Круазье), шевалье де Валуа и многие другие (см также «Жизнь холостяка», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета куртизанок», «Беатриса», «Комедианты неведомо для себя», где Бальзак сообщает о судьбе Сюзанны, принявшей имя г-жи дю Валь-Нобль).

Стр. 226. *...Ламот-Валуа, замешанной в деле об ожерелье.*— Графиня де Ламот, приближенная королевы Марии-Антуанетты, обвиненная в краже ожерелья, была подвергнута наказанию кнутом, клеймению каленым железом и тюремному заключению.

Стр. 227. *...несколько шуанил* — то есть принимал участие в роялистском движении шуанов.

Моле, Франсуа-Рене (1734—1802)—французский актер, исполнял роли главным образом «первых любовников»; пользовался репутацией изящного и элегантного человека.

Стр. 228. *Кифера* — прозвище Афродиты, богини любви, связанное с городом Кифера, где существовал древний культ этой богини.

Стр. 234. *Барон де Фенест* — герой сатирического романа французского писателя Агриппы д'Обинье (1552—1630) «Приключения барона де Фенеста».

Монкада — Франсиско де Монкада (1586—1635) — испанский военачальник; отличался большой изворотливостью при выполнении дипломатических поручений.

Стр 238. *Сартин,* Габриель (1729—1801) — крупный чиновник, долгие годы служивший в уголовном суде и полиции.

Арну, София (1744—1802) — оперная певица; считалась в свое время одной из блестящих по красоте и уму французских женщин.

Стр. 239. *Алкмена* — в античной мифологии возлюбленная Юпитера; Юпитер, пленившись ею, принял вид ее супруга Амфитриона и добился благосклонности Алкмены.

Бертье, Луи-Александр (1753—1815) — маршал наполеоновской армии.

Стр. 243. *Цинциннат*, Люций Квинкций — римский консул (460 год до н. э.), диктатор (458 и 439 годы до н. э.), пользовавшийся репутацией человека, приверженного к простой сельской жизни и земледельческому труду.

Баррас, Поль-Жан, виконт (1775—1829) — один из руководителей контрреволюционного переворота 9 термидора 1794 года, приведшего к гибели якобинской диктатуры, член правительства Директории, беспринципный политик и спекулянт.

Бернадот, Шарль (1764—1844) — наполеоновский маршал; с 1813 года участвовал в борьбе с наполеоновской Францией; с 1818 года — король Швеции, принявший имя Карла XIV Иоанна.

Стр. 244. *Мелас*, Михаэль-Фридрих-Бенедикт, барон (1729—1806) — австрийский фельдмаршал, участник битвы при Маренго.

Стр. 249. *Жокрис* — традиционный персонаж французских средневековых фарсов; отличался наивностью и доверчивостью и потому постоянно попадал в глупое положение.

Стр. 269. *Седен*, Мишель-Жан (1719—1797) — французский драматург.

Стр. 273. *Избирательные коллегии* — коллегии по выбору в палату депутатов. Согласно закону от 29 июня 1820 года, крупные собственники обладали исключительным правом заседать как в окружных, так и в департаментских коллегиях, располагая таким образом двумя голосами.

Стр. 279. *Агнеса* — действующее лицо комедии Мольера «Урок женам» (1622).

Стр. 284. *...спасти свое отечество в битве при Цюрихе и стакнуться с поставщиками.*— Речь идет о генерале Андре Массена (1756—1817), командовавшем французскими войсками в битве при Цюрихе (1799); злоупотребляя своим положением, он наживался на бесчестных сделках с военными поставщиками.

Стр. 293. *...уподобившись герою «Рассеянного», герцогу де Бранкасу...*— «Рассеянный» — очерк, входящий в «Характеры, или Нравы нашего века» (1688), книгу французского сатирика-моралиста XVII века Жана де Лабрюйера.

Стр. 298. *Шеверюс*, Жан-Луи, де (1768 — 1836) — кардинал.

Стр. 299. *Сеид* — раб основателя мусульманской религии Магомета и его верный последователь.

Стр. 300. *Жозеф Прюдом* — комический персонаж, выведенный

французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877) в «Мемуарах Жозефа Прюдома» и в комедии «Величие и падение господина Прюдома»; самодовольный буржуа, глупец, возомнивший себя мудрым политиком и произносящий на каждом шагу банальные и бессмысленные трескучие фразы.

Стр. 304. *Матушка Жигонь* — один из персонажей французского марионеточного театра; обычно появляется в окружении своих многочисленных маленьких детей.

Стр. 307. *...бога торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах...* — На серебряных франках времен Республики был изображен Гермес; в античной мифологии Гермес считался покровителем торговли.

Стр. 311. *Аддисон, Джозеф* (1672—1719) — английский писатель-просветитель.

Стр. 331. *...прибытие Блюхера в Ватерлоо...* — Имеется в виду неожиданное для французов появление прусских войск под командованием генерала Гебхарда-Леберехта Блюхера (1742—1819) во время битвы при Ватерлоо (1815).

...презрение, выказанное Людовиком XIV принцу Евгению... — Евгений Савойский, принц Кариньянский (1663—1736), оскорбленный отказом Людовика XIV дать ему полк, перешел на службу в австрийскую армию, где стал одним из полководцев.

Денеиский кюре.—Существовала легенда, что победой при Денене (1712), сыгравшей решающую роль в прекращении войны за испанское наследство, французы были обязаны денеискому кюре, который подсказал маневр, выгодный для их армии.

Стр. 337. Мари де Верней и *маркиз де Монторан* — действующие лица романа Бальзака «Шуаны».

Стр. 353. *Дженни Динс* и *ее отец* — персонажи романа Вальтера Скотта (1771 — 1832) «Эдинбургская темница».

Стр. 363. *Анжелика, Медор, Роланд* — герои поэмы итальянского писателя Людовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1532)

МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ

Начало романа Бальзак напечатал в журнале «Кроник де Пари» в марте 1838 года. Его продолжение, названное Бальзаком «Провинциальное соперничество», появилось в газете «Конститюсьонель» в сентябре—октябре того же 1838 года.

В 1839 году «Музей древностей» был выпущен отдельным изданием в двух томах. Роман делился на главы: 1. «Два салона», 2. «Дурное воспитание», 3. «Дебют Виктюрньена», 4. «Прекрасиая Мофриньез», 5. «Шенель помогает д'Эгриньонам», 6. «Провинциальный суд», 7. «Судебный следователь», 8. «Судебный поединок», 9. «Неравный брак».

В 1844 году «Музей древностей» вошел в издание «Человеческой комедии», в третий том «Сцен провинциальной жизни». В этой окончательной редакции романа деление на главы было упразднено.

Стр. 365. *Братья Тьерри* — Огюстен Тьерри (1795—1856) и его брат Амедей (1797—1873) — французские буржуазные историки.

Стр. 366. *...во времена «смуты»..:* — французские аристократы называли «смутой» французскую буржуазную революцию XVIII века.

Стр. 378. *...события 1815 года...* — Речь идет о побеге Наполеона с острова Эльбы, его возвращении во Францию в марте 1815 года и вторичном правлении, получившем в истории название «Ста дней» (20 марта — 22 июня 1815 года).

Закон о возмещении убытков — В апреле 1825 года реакционное министерство во главе с одним из лидеров крайних роялистов, Виллелем, провело закон, по которому дворяне-эмигранты, чьи поместья были во время французской буржуазной революции XVIII века конфискованы и превращены в национальное имущество, получили вознаграждение в общей сумме до одного миллиарда франков. Самые крупные суммы получили приближенные короля.

Стр. 379. *Полиньяк*, Жюль-Арман (1780—1847) — французский реакционный политический деятель, крайний роялист; в 1829—1830 годах возглавлял кабинет министров Франции.

...протестовать против Хартии, изданной Людовиком XVIII... — Имеется в виду так называемая «Конституционная хартия», подписанная Людовиком XVIII в 1814 году и провозглашавшая установление во Франции конституционной монархии с двухпалатным парламентом.

Стр. 380. *Шевалье* — один из низших дворянских титулов во Франции.

Граф д'Артуа, Шарль (1757—1836) — брат французского короля Людовика XVIII; впоследствии (1824—1830) французский король Карл X.

Стр. 381. *Лафит*, Жак (1767—1844) — французский банкир, один из лидеров либеральной оппозиции в период Реставрации; играл активную роль в дни буржуазной Июльской революции 1830 года. В начале Июльской монархии возглавил кабинет министров Франции.

Перье, Казимир (1777—1832) — французский банкир и политический деятель; в период Реставрации был одним из лидеров либеральной оппозиции. Сделавшись в 1831 году министром внутренних дел Франции, жестоко подавил восстание лионских ткачей.

Пейронне, Шарль (1778—1854) — французский политический деятель, крайний роялист, один из реакционных министров в царствование Карла X.

Констан, Бенжамен (1767—1830) — французский политический деятель, буржуазный либерал и писатель. Бальзак имеет в виду его книгу «О религии».

Шатобриан, Франсуа-Рене (1768—1848) — французский реакционный писатель; был недолгое время министром иностранных дел при Людовике XVIII.

Стр. 382. *...в заявлении «двухсот двадцати одного»*.— Имеется в виду политическая декларация большой группы депутатов французского парламента, требовавших в марте 1830 года отставки ультрароялистского кабинета Полиньяка.

...среди девятнадцати представителей левого крыла...—Во французском парламенте в описываемое время существовала группа «левых» депутатов.

Стр. 388. *«Антикварий»* — роман Вальтера Скотта.

Стр. 390. *Данкур*, Флоран (1661—1725) — второстепенный французский драматург-комедиограф, считавший себя учеником Мольера.

Стр. 398. *...ведете ли вы свой род от Валуа...*— Французская королевская династия Валуа находилась у власти с 1328 по 1589 год.

Стр. 401. *Сен-Пре* — действующее лицо романа Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Новая Элоиза».

Ловлас (или Ловелас) — развратный светский щеголь, персонаж романа английского писателя Сэмюеля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (точнее, «Кларисса, или История молодой леди»).

Стр. 407. *...можно сравнить с наставлениями Дедала Икару*.— По древнегреческим мифологическим сказаниям, Дедал изобрел

крылья для полета в воздухе. Его сын Икар вопреки наставлениям отца поднялся слишком высоко вверх, и солнечные лучи растопили воск, которым были скреплены крылья; Икар упал в море и утонул.

Стр. 417. *Видам* — старинный дворянский титул во Франции.

Стр. 418. *...оды и баллады, ...поэтические размышления...* — Бальзак намекает на модные в двадцатые годы XIX века произведения французских поэтов-романтиков Гюго («Оды и баллады») и Ламартина («Поэтические размышления»).

Стр. 432. *Сганарель* и *Жеронт* — действующие лица комедии Мольера «Лекарь поневоле».

Стр. 433. *Маскариль* — популярный во французской комедии XVII—XVIII веков образ плутоватого лакея, ловкого интригана и пройдохи.

Стр. 440. *Баярд*, Пьер (ок. 1473—1524) — французский полководец. Историческое предание изображало его образцом рыцарской чести и доблести, «рыцарем без страха и упрека».

Стр. 446. *Бюффон*, Жорж-Луи Леклер (1707—1788) — французский ученый-натуралист, автор многотомной «Естественной истории».

Селимена — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп», светская кокетка

Панург — действующее лицо романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 449. *Мадемуазель Марс.* — Марс Анна-Франсуаза (1779—1847) — известная французская актриса.

Стр. 455. *Амио*, Жак (1513—1593) — французский писатель-гуманист; перевел на французский язык «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Стр. 460. *Герцог Энгиенский* (1772—1804) — член королевской фамилии Бурбонов, казненный по приказанию Наполеона I в 1804 году по обвинению в государственной измене.

Стр. 470. *Первый консул.* — После государственного переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 года власть во Франции перешла в руки трех консулов — Наполеона Бонапарта (первый консул), Сийеса и Роже-Дюко. В 1802 году Наполеон сделался уже единственным консулом, а в 1804 году — императором Франции.

Маренго — селение в Северной Италии, где в июне 1800 года

французские войска под командованием Бонапарта одержали победу над австрийской армией.

Дезэ, Луи (1768—1800) — французский генерал, убитый в битве при Маренго.

Келлерман, Франсуа-Кристоф (1735—1820) — генерал, затем маршал наполеоновской империи.

Ватерлоо — селение в Бельгии, где 18 июня 1815 года армия Наполеона I потерпела решительное поражение, в результате которого Наполеон вынужден был отречься от престола.

Стр. 473. *Карон,* Огюстен-Жозеф (род. в 1774 г.) — подполковник французской армии. Участвовал в заговоре карбонариев в Бельфоре; казнен в 1822 году.

Бертон, Жан-Батист (род. в 1769 г.) — французский генерал в отставке, руководитель восстания карбонариев в городе Туаре; казнен в 1822 году.

...старинных парламентов... — До буржуазной революции 1789—1794 годов во Франции парламентами назывались учреждения с судебными и административными функциями, состоявшие из представителей всех трех сословий.

Стр. 481. *Павел и Виргиния* — герои сентиментально-идиллического романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) «Павел и Виргиния».

Стр. 491. *Макиавелли,* Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Его имя — синоним циничного и беспринципного политика, не останавливающегося ни перед какими, даже преступными средствами.

Стр. 513. *...в дни мятежа...* — то есть в дни буржуазной Июльской революции 1830 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены провинциальной жизни

Евгения Гранде. *Перевод Ю. Верховского* 5
Прославленный Годиссар. *Перевод Н. Коган* 186
Старая дева. *Перевод С. Викторовой* 226
Музей древностей. *Перевод В. Станевич* 365
Примечания 514

БАЛЬЗАК
Собрание сочинений
в 24 томах. Том VI.

Редактор
Б. С. Вайсман

Иллюстрации художника
Т. В. Шишмаревой.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 25/II 1960 г. Изд. № 418.
Тираж 350 000 экз. Зак. 41.
Форм. бум. 84 × 108¹/₃₂. Бум. л. 8,25.
Печ. л. 27,06 + 4 вкл. (0,41 п. л.).
Уч.-изд. л. 28,97.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.